

Антология Сатиры и Юмора России XX века



Антология Сатиры и Юмора России

Антология Сатиры и Юмора России XX века

# Валентин Катаев

Антология Сатиры и Юмора России



Антология

Сатиры и Юмор

XX века

Антология

Юмора России XX века

Юмора России XX века

Юмора России XX века

XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

# Гостиница "Астория"



ЛЕНИНГРАД, ул. ГЕРЦЕНА, д. 39 т. А.О. 00-31

Горюх Сергей Николаевич!

Степень твою востановил и унес-  
нул. Я так подписала на газетку.  
Отец прости, старший редактор, что  
ты не подписал имени твоего.

Горюх

Горюх

Горюх

Коммунистический

Горюх

Коммунистический.

Отец (своими руками)

Сов. село.

Горюх

Горюх.

Каждому вы. Но так что никто не  
был другой редактор приватный автор  
свои.

Отец прости, что сделал. Неужели  
как вы и с вами. Горюх

2) Желая, чтобы мне не было  
близко или же лучше там же  
быть с малю стеньга алачским  
в управлении по охране государ-  
ственных прав. Попробуйте задержать  
он, думаю, не откажется.

В остальном бы лучше отъехать  
назад!

Пожалуйста!

Сирис делов в воскресенье и  
хотел поехать на "Полу" 0  
вечером 1984 по дороге  
Самой.

Хотел, конечно, ехать, конечно.

Нам Камбоджа

Замы

1986

*Гостиница „Астория”*



правос

Насилие

Через

Колосовичу  
Владимир

Вильчур

Коллективизм.

Огачен (св. велич. гримотренка)  
Св. Сало

Cal. Calm

но носит

Грескати.

Каждому Вет. по 100 руб. и 100 руб. на  
пол. 100 руб. и 100 руб. на 100 руб.

Одговори на прашања: Како се чувствуваат? Како се понашаат?





# Антология Сатиры и Юмора России XX века



Василий Михайлович

Антология Сатиры и Юмора России XX века

---

# Валентин Катаев

---

МОСКВА «ЭКСМО» 2008

УДК 82-7  
ББК 84(2Рос-Рус)6-7  
К 29

## АНТОЛОГИЯ САТИРЫ И ЮМОРА РОССИИ XX ВЕКА Валентин Катаев

Серия основана в 2000 году



*С июня 2003 г. за создание «Антологии Сатиры и Юмора России XX века» издательство «Эксмо» — лауреат премии международного фестиваля «Золотой Остап»*

### Редколлегия:

Аркадий Арканов, Никита Богословский, Владимир Войнович,  
Игорь Иртеньев, проф., доктор филолог. наук Владимир Новиков,  
Лев Новоженев, Бенедикт Сарнов, Александр Ткаченко,  
академик Вилен Федоров, Леонид Шкурович

Главный редактор, автор проекта  
*Юрий Кушак*

Дизайн переплета *Ахмеда Мусина*

Фотоматериалы — из личного архива наследников автора

В оформлении использованы  
фрагменты работы Кукрыниксов

**Катаев В.**

К 29 Антология Сатиры и Юмора России XX века. Том 54 /  
Валентин Катаев. — М.: Эксмо, 2008. — 864 с.: ил.

УДК 82-7  
ББК 84(2Рос-Рус)6-7

ISBN 978-5-699-27598-4 (т. 54)  
ISBN 5-04-003950-6

© В. Катаев, наследники, текст, 2008  
© П.В. Катаев, Ю.Н. Кушак.  
Составление, 2008  
© ООО «Издательство «Эксмо»,  
оформление, 2008



# Содержание

Абсолютное чувство юмора Павел Катаев	9
--	---

## Горох в стенку

### Юмористические рассказы, фельетоны

Страшный перелет	25
Красивые штаны	43
Иван Степанч	51
Кедровые иголки	58
Всесоюзная редкость	61
Упрямый американец	63
Смерть Антанты	64
Мой друг Ниагаров	66
Фантомы	91
Товарищ Пробкин	106
Насхальный рассказ	110
Бородатый малютка	112
Сорвалось!	116
Выдержал	119
Загадочный Саша	122

Лунная соната	124
Моединонок	127
Сплошное хулиганство	129
Случай с Бабушкиной	133
Шахматная малярия	136
Мрачный случай	139
До и по	143
Искусство опровержений	146
Экземпляр	148
Первомайская Пасха	153
Самоубийца поневоле	157
О долгом ящике	160
Сказочка про административную репку	164
Конотопская нарпытка	166
Беременный мужчина	169
Дочь Миронова	171
Транит науки	174
Ау, папаша!	177
Мускляя личность	180
Спутники молодости	185
Неотразимая телеграфистка, или Преступление мистера Климова	190
В Западную Европу	193
Игнатий Пуделякин	211
Емельян Черноземный	215
Внутренняя секреция	222

Золотое детство	225
Толстовец	228
Похвала глупости	231
Жертва спорта	235
Собачья жизнь	237
«Наши за границей»	242
Автор	248
«Мы вышли в сад...»	262
«На голом месте...»	266
Париж — Вена — Берлин	269
Два гусара	286
Записки толстяка	289
Парадокс	295
Монолог мадам Фисаковой	299
Критика за наличный расчет	303
Однофамилец	306
Донжуан	309
Мимоходом	313
Умная мама	315
Оперативный Загребухин	318
Советы молодой красавице	322
С Новым годом!..	326
Ионыч из Вашингтона	328
Гамлет	332
История шедевра	335
Обезьяна	337

Остров Эрендорф

339

Растратчики

471

Святой колодец

615

Кубик

735

Воспоминания

839



# Абсолютное чувство юмора

## Предисловие

Сначала немного о Катаеве и его литературной судьбе.

Писатель Валентин Петрович Катаев родился в 1897 году в Одессе. Представляете? Более века назад. А умер в 1986 году в Москве.

Он прожил восемьдесят девять лет. Большой срок для человеческой жизни.

Вспоминая раннее детство, Катаев рассказывал, что уже тогда решил стать писателем.

Сшил из бумаги несколько тетрадок и, написав на обложке «Собрание сочинений», принялся переписывать туда рассказы, стихи и даже, кажется, приступил к сочинению романа.

Что касается собраний сочинений, то у Катаева их было три.

Издание третьего, пожизненного, было завершено, когда он уже лежал в больнице. Последний, десятый, том, только что вышедший из типографии, отец успел подержать в руках в больничной палате за несколько дней до смерти.

У него всегда было ощущение того, что живет во времени, которое достойно быть воспетым в литературе.

Пытаюсь наметить какие-то сюжеты жизни отца, что позволило бы через конкретные факты получить общее представление о таком большом явлении в литературе, как Валентин Катаев.

Сюжетов много.

Вот, скажем, такой — «Катаев и война».

Его жизнь включила две мировые войны. В одной из них, Первой, он участвовал в качестве воина. В 1915 году



он отправился добровольцем на фронт, был ранен, контужен, отравлен газами. От вольноопределяющегося дослужился до прапорщика. Награжден двумя солдатскими Георгиевскими крестами и орденским знаком Анны «За храбрость», вручавшимся вместе с шашкой.

Во время Великой Отечественной, будучи военным корреспондентом, он печатал очерки и репортажи с разных фронтов на страницах центральных газет.

Впечатления, полученные во время боевых действий, легли в основу большого числа рассказов, очерков, повестей.

Наиболее известное «военное» произведение — повесть «Сын полка» о маленьком мальчике-сироте, оказавшемся в прифронтовой полосе на территории Белоруссии, оккупированной немецкими войсками.

Военные впечатления легли в основу большого числа рассказов о боевых действиях, о военном быте, но главное, конечно, о людях в нечеловеческих обстоятельствах, таящих в себе опасность уничтожения.

Уже будучи зрелым, даже старым человеком, Катаев снова вернулся к теме войны, написав «Юношеский роман».

Мы с отцом часто говорили о войне, и я хорошо запомнил его размышления об этом историческом явлении. Как-то во время Великой Отечественной войны, кажется в 1943 году или же в конце 1942 года, отец привез с фронта несколько маленьких зенитных снарядов — их можно назвать также большими патронами — и поставил у себя на письменном столе.

Это были очень красивые предметы, покрашенные яркой краской, сверкающие, точно елочные игрушки. Вообще их хотелось иметь, хотя никакой практической пользы они дать не могли.

— Вот видишь, — говорил отец. — Они могут лишь убивать.

Меня эти красивые штучки притягивали к себе, как магнит. Больше того — мне мало их было просто рассматривать. Я хотел их держать в руках и даже мечтал разобрать и посмотреть, что там внутри. Отец вдруг понял, что

для пятилетнего мальчика это слишком большое искушение, и очень скоро унес эти смертоносные игрушки из дома.

Потом, вспоминая об этом эпизоде, отец повторял, что предметы, созданные для войны, совершенно бесполезны для нормальной человеческой жизни, например, осколок артиллерийского снаряда невозможно использовать даже как пепельницу, потому что там обязательно оказываются просверленные дырочки.

Продолжая перечислять сюжеты, можно назвать и такой «Катаев и Одесса». Или — «Катаев и революция». Речь идет, конечно, об отражении этих тем в произведениях писателя. И все же это лишь формальный взгляд на творчество. Скорее всего, все эти сюжеты можно объединить одним, общим, а именно — «Поэзия в творчестве Катаева».

Он писал стихи, начиная с самого раннего детства и, можно сказать, до конца жизни. За год до смерти он совершил давно задуманное — собрал все или почти все свои стихотворения и переписал их в семь больших блокнотов.

Осуществить мечту, издать томик своих стихотворений, ему не удалось.

Катаев родился в Одессе, но давным-давно перебрался в Москву. Москва стала его домом, с ней связана его работа, его литературная известность. Но настоящей родиной оставалась Одесса, из которой он и его друзья поэты были вытеснены, выдвинуты на север. Если вдуматься в эту ситуацию, можно понять, что это была, по существу, самая настоящая эмиграция, хотя возникает вопрос — как можно эмигрировать из одной части страны в другую? Страна действительно была одна — огромный Советский Союз. Но тут вступали в действия обстоятельства, которых вроде бы в социалистическом государстве не могло быть. Образовалась Украинская социалистическая республика, и русскоязычный город Одесса оказался на ее территории. Провозглашенный интернационализм не действовал, русский язык подвергся гонениям. Отсюда и необходимость эмиграции.

Конечно же, эта тема достаточна серьезна и требует глубокого изучения. Однако же ее невозможно обойти молчанием в разговоре о судьбе и творчестве многих русских

писателей — выходцев из Одессы, в том числе и Валентина Катаева.

О Катаеве-поэте широкой публике ничего, или почти ничего, не известно. Хотя его поэтический дар высоко оценен не только поэтами его эпохи, но и современными выдающимися поэтами.

Своим произведениям Катаев часто давал в названии стихотворные строки. «Белеет парус одинокий». Это начальная строка стихотворения Лермонтова «Парус». «Алмазный мой венец» — строчка из черновика Пушкина к «Борису Годунову».

Повесть «Сухой лиман» (последнее произведение Катаева, опубликованное в «Новом мире» в год его смерти) имела первое название «Ветка Палестины» — слова, взятые отцом из стихотворения Лермонтова.

Теперь об этом смешно говорить, но тогда в редакции журнала «Новый мир» потребовали изменить название и даже, не боясь проявить свой идиотизм, объяснили это политическими соображениями. Сейчас, мол, очень напряженное положение на Ближнем Востоке, идет борьба палестинского народа за свое освобождение, так что не время говорить о Палестине, пусть даже это лишь упоминание о растении.

Действительно, стихотворение Лермонтова посвящено пальмовой ветке.

Всю свою бесконечную любовь к поэзии Катаев выразил в романе «Алмазный мой венец». Здесь под вымышленными именами показаны живые поэты, великие поэты советской эпохи, рожденные революцией и, как правило, уничтоженные этой же революцией. На страницах романа звучит великая поэзия.

Вспоминаю, отец сказал как-то, что для него стихотворения, написанные разными поэтами, являются таким же материалом для творчества, для его произведений, как, скажем, окружающая природа...

Кроме того, Катаев сделал открытие, что каждый поэт некогда был смертельно ранен неудачной любовью и эта рана побуждает поэта к творчеству. Эта мысль нашла свое отражение в «Алмазном венце».

Неисчерпаема тема «Катаев и революция».



Уже стало общим местом утверждение, что все выдающиеся писатели и поэты России двадцатого века — дети революции. Разумеется, это так. Другое дело, как революция отнеслась к своим детям. Она относилась к ним бездушно и жестоко, отправляя на казни и каторгу, коверкая судьбы.

Отец как-то рассказал мне о старом революционере, которого знал по Одессе. До революции это был водитель трамвая. Кстати сказать, трамвай появился в Одессе чуть ли не первым во всей России. Так вот, этот человек за свою революционную деятельность получил длительный тюремный срок, а затем был сослан на каторгу в Сибирь, где также провел много лет.

Он участвовал в установлении новой, советской, власти в Одессе и когда власть была установлена, отказался от политической деятельности и вернулся на свою «основную» работу — водителем трамвая.

Так должны поступать истинные революционеры, считал отец, проявляя тем самым свой революционный романтизм и идеализм.

Жизнь показывает, что, придя к власти, никто не отдаст ее другому, напротив, вцепляется в нее мертвой хваткой, борется за власть до последней капли крови. Таким образом, борьба за идеалы превращается в борьбу за личное положение. Этого, конечно, по глубокому убеждению писателя, быть не должно, однако же есть...

Конечно, говорить о темах, связанных с творчеством Катаева, не очень-то плодотворно, слишком формально. Потому что любое произведение, к какой бы «теме» его ни отнести, написано одним человеком, пронизано единым духом творчества, и именно этот дух творчества крупного писателя интересно исследовать.

Спроси мы у Катаева, каков его творческий метод, он бы, скорее всего, иронически улыбнулся в ответ.

Какой может быть метод, когда он сочинял в полубессознательном состоянии, отрешившись полностью от окружающего, как бы переходя в другое измерение.

Катаев в дни своей ранней молодости, еще до Октябрьской революции, общался с Иваном Бунинным. Он с интересом наблюдал за тем, как работает великий писатель. Об

этом он написал, в частности, в одном из своих ранних рассказов «Золотое перо».

«Золотое перо академика, столь долго пролежавшее в изящном дорожном чемодане, не потеряло своей остроты. Зеленые гляцевитые строки ложились вслед его экономному бегу, направленному старой опытной рукой, и две страницы, скупно исписанные твердым почерком, известным всей России, трижды выправленные до последней запятой, сохли в левом углу бюро, придавленные лакированными пресс-папье. Шесть дней назад, после завтрака, академик заперся, снял серый пиджак, засучил рукава крахмальной рубашки, надел круглые большие очки, сделавшие его костяную орлиную голову похожей на голову совы, придвинул стопку отлично нарезанной бумаги и, скрутив длинными пергаментными пальцами толстую папироску из крепкого крымского табаку, написал первую строку повести о старом, умирающем князе».

Нескольких слов оказалось достаточным, чтобы «нарисовать» объемный портрет Бунина. Это свидетельство очевидца.

Через много лет Бунин переправил Катаеву из Парижа свою книгу с дарственной надписью: «Валентину Катаеву от академика с золотым пером. Иван Бунин».

(Бунин, в свою очередь, «нарисовал» портрет Валентина Катаева в своих заметках «Окаянные дни».)

Сам Катаев, рассказывая о том, как он работает, утверждал, что в это время находится в бессознательном состоянии, что его рукой движет божественная сила.

Однако вне творческого процесса Катаев глубоко обдумывает природу литературного труда, пытается постигнуть тайну слова и мастерства. На эту тему можно найти у Катаева, в его заметках и эссе, много интересного. Вот, например, что он пишет в статье «Слово надо любить»:

«Писатель не зря зовется художником слова.

Тем же, чем цвет (краска) для живописца, звук для композитора, тем же, чем объем и пространство являются для скульптора и архитектора, — тем же самым является для писателя слово.

Но слово богаче.

Слово содержит в себе не только элементы цвета, рит-

ма, звука, пространства и времени, слово не только является образом (ибо бывает слово — образ), но слово, прежде всего, есть мысль. И это — главное...

Слово стоит в своем смысловом ряду. Вынутое из этого смыслового ряда и механически пересаженное в другой смысловой ряд, оно тускнеет, засыхает, превращается в мертвый штамп, в равнодушную отписку. Бриллиант превращается в булыжник. Зеленый росток засыхает.

А вот цитата из «Новогоднего тоста» (1945 год):

«...не следует забывать о богатейших музыкальных возможностях русского языка. Слово — это мысль. Верно. Но слово — также и звук... Каждая синтаксическая форма есть вместе с тем и музыкальная фраза.

Мы в одно и то же время пишем, мыслим и слышим.

Литературное произведение создается на музыкальной канве. Интонация — это мелодия. Мелодия не есть привилегия только поэзии. Мелодия — основа прозы...

Мопассан считал, что для писателя в первую очередь необходимо зрение. Я считаю, что для писателя в первую очередь необходим слух. Подчеркиваю — в первую очередь. Это не значит, что зрения не надо. Зрение — тело. Но слух — душа. Отсутствие музыкального чутья превращает даже самое «добротное» литературное произведение в более или менее талантливый протокол. Отсюда истекают и скука, и серость, и посредственность».

Говоря о Катаеве, нельзя не вспомнить о журнале «Юность». Он был его «отцом-основателем», его первым редактором, и с его именем связано появление в нашей литературе большого числа молодых литераторов.

Отец прекрасно знал по собственному опыту, каких невероятных трудов стоит писателю публикация своего произведения, и поэтому главной своей задачей, как руководителя журнала, считал всемерное облегчение этого процесса для начинающих авторов. А любовь к литературе и ее глубокое понимание открыли дорогу к читателю целой плеяды молодых поэтов и прозаиков из поколения шести-десятильников.

Теперь это уже маститые писатели, занявшие свои прочные места в истории советской и российской литера-

туры. Их имена широко известны, и нет надобности их перечислять...

Однако вернемся к «Антологии».

В «чистом» виде сатира и юмор представлены здесь главным образом произведениями, написанными отцом в 20-е годы. Именно в то время он широко сотрудничал с различными периодическими изданиями — газетами и журналами, где публиковал юмористические рассказы и фельетоны.

Особое место в ряду таких изданий занимает «Гудок», и о нем следует рассказать подробнее.

Казалось бы — какое отношение к сатире и юмору могла иметь ведомственная газета Народного комиссариата железнодорожного транспорта? Однако же имела, и более того — вошла в историю советской литературы и журналистики. Дело в том, что в 20-е годы прошлого столетия волею судеб там собралась компания молодых и талантливых литераторов, приехавших из провинции в «новую» столицу молодого Советского государства Москву в поисках средств существования и литературной славы.

О работе в «Гудке» отец часто вспоминал в своих произведениях. Вот, например, что он пишет в очерке о Константине Сергеевиче Станиславском:

«Станиславский очень доброжелательно относился к нам, новым драматургам Художественного театра, но имел о нас странное представление.

По случайности Булгаков, Олеша и я работали тогда в железнодорожной газете «Гудок», и Станиславский почему-то вообразил, что все мы рабочие-железнодорожники, и при случае любил этим козырнуть. Я сам слышал, как он кому-то говорил:

— Утверждают, что Художественный театр не признает пролетарского искусства, а вот видите, мы уже ставим вторую пьесу рабочего-железнодорожника, некоего Катаева, может быть, слышали?»

Говоря о второй пьесе «рабочего-железнодорожника, некоего Катаева», Станиславский имел в виду «Квадратура круга», которую под его присмотром ставил на сцене Московского художественного театра режиссер Николай Горчаков. Первой же пьесой Валентина Катаева, поставлен-



ной на прославленной сцене, была инсценировка его романа «Растратчики», опубликованного в 1927 году в журнале «Красная новь» и принесшего автору широкую известность и в Советской России, и за рубежом.

Вернемся к газете «Гудок».

С удовольствием привел цитату из воспоминаний отца о Станиславском, потому что хорошо знаю — в жизни и литературной судьбе моего отца газета «Гудок» занимала очень большое, можно даже сказать — громадное место. Начать с того, что гонорары за «статьи, заметки, маленькие фельетоны, стихи, политические памфлеты...» давали возможность существовать приезжему литератору в огромной и в первое время чужой и негостеприимной Москве. Собственно говоря, среди сотрудников редакции таких литераторов — голодных, приезжих и талантливых — было большинство, и все они совместными усилиями создавали газету, которая завоевала у многочисленных читателей огромную популярность.

Перечисление фамилий бывших сотрудников «Гудка», составивших в дальнейшем славу российской литературы и журналистики, займет вместе с комментариями не одну страницу. К счастью, в этом нет необходимости — все персонажи до сих пор на слуху, так как вошли в историю культуры и стали ее неотъемлемой частью.

В воспоминаниях отца об «эпохе» «Гудка», всегда насыщенных юмором и ностальгической грустью, обязательно присутствовали рассказы о «начальниках», то есть о редакторах газеты, ее политических руководителях, которым партия поручила «святое дело пропаганды» железнодорожного транспорта.

Эти большевики и политкаторжане вынуждены были общаться с богемой — пьяницами и гуляками, совершенно случайно прибывшимися к столь серьезной газете. Но что оставалось делать — других-то не было! Впрочем, другие были, но хотелось иметь яркие и талантливые материалы, которые эти хорошие и приличные «другие» дать не могли.

Привожу цитату из книги моего отца «Алмазный мой венец», проливающую свет на взаимоотношения авторов и начальников.

Вот, например, история появления в газете Ильи Ильфа — «друга», как он называется в «Венце».

— А что он умеет? — спросил ответственный секретарь.

— Все и ничего, — сказал я.

— Для железнодорожной газеты это маловато, — ответил ответственный секретарь, легендарный Август Потоцкий, последний из рода польских графов Потоцких, подобно Феликсу Дзержинскому примкнувший к революционному движению, старый большевик, политкаторжанин, совесть революции, на вид грозный, с наголо обритой круглой, как ядро, головой и со сложением борца-тяжеловеса, но в душе нежный добряк, преданный товарищ и друг всей нашей компании. — Вы меня великодушно извините, — обратился он к другу, которого я привел к нему, — но как у вас насчет правописания? Умеете вы изложить свою мысль грамотно?

Лицо друга покрылось пятнами. Он был очень самолюбив. Но он сдержался и ответил, прищурившись:

— В принципе пишу без грамматических ошибок.

— Тогда мы берем вас правщиком, — сказал Август.

Обычно правщики ограничивались исправлением грамматических ошибок и сокращениями, придавая письму незатейливую форму небольшой газетной статейки.

Друг же поступил иначе. Вылушив из письма самую суть, он создал совершенно новую газетную форму — нечто вроде прозаической эпиграммы размером не более десяти-пятнадцати строчек в две колонки. Но зато каких строчек! Они были просты, доходчивы, афористичны и в то же время изысканно изящны, а главное, насыщены таким юмором, что буквально через несколько дней четвертая полоса, которую до сих пор никто не читал, вдруг сделалась самой любимой и заметной...

Это была маленькая газетная революция.

Старые газетчики долго вспоминали невозвратно далекие золотые дни знаменитой четвертой полосы «Гудка»...

А вот описание того, как выплачивался гонорар, чему предшествовало составление автором счета за проделанную работу.

«Каждый такой счет должна была подписать заведую-

щая финансовым отделом, старая большевичка из ленинской гвардии еще времен «Искры».

Эта толстая пожилая дама в вязаной кофте с оторванной нижней пуговицей, с добрым, но измученным финансовыми заботами лицом и юмористической, почти гоголевской фамилией — не буду ее здесь упоминать — брала счет, пристально его рассматривала и чесала поседевшую голову кончиком ручки, причем глаза ее делались грустными, как у жертвенного животного, назначенного на заклание.

— Неужели все это вы умудрились настрочить за одну неделю? — спрашивала она, и в этой фразе как бы слышался осторожный вопрос: не приписали ли вы в своем счете что-нибудь лишнее?

Затем она тяжело вздыхала, отчего ее обширная грудь еще больше надувалась, и, обтерев перо о юбку, макала его в чернильницу и писала на счете сбоку слово «выдать».

Автор брал счет и собирался поскорее покинуть кабинет, но она останавливала его и добрым голосом огорченной матери спрашивала:

— Послушайте, ну на что вам столько денег? Куда вы их девааете?

Эти, в сущности, скромные выплаты казались ей громадными суммами.

Куда вы их девааете?

...Она бы ужаснулась. Ведь мы были одиноки, холосты, вокруг нас бушевал нэп. Наконец, «экуте ле богемьен» — это ведь было не даром!

(«Экуте ле богемьен» — с французского — «Слушать цыган».)

От себя же могу добавить: мой отец, бывший некогда сотрудником газеты «Гудок», всю оставшуюся жизнь вспоминал это легендарное время с любовью и благодарностью.

Митрофан Горчица, Оливер Твист, Старик Саббакин — так молодой Катаев подписывал свои газетные и журнальные поделки. Последний псевдоним — «Старик Саббакин» — надолго «прилип» к отцу. Так его называли друзья и товарищи, пока один за другим не ушли из жизни: Ильф, Петров, Бабель, Булгаков, Зощенко, Олеша... Отец остался

один и продолжал жить в образовавшейся вокруг него пустоте.

Конечно же, всю оставшуюся жизнь он скучал без них, друзей своей молодости, людей, близких по духу, размышлял об их судьбах и, по существу, поставил всем им памятники в своей так называемой «новой» прозе. Не удивительно, что в «Антологию» вошли «Святой колодец» и «Кубик», произведения, которые, казалось бы, и не имеют прямого отношения к юмористическому и сатирическому жанру. Но в них есть страницы, искрящиеся юмором, и возникают гротесковые фигуры, характеризующие быт и нравы такой все еще близкой эпохи...

Разумеется, настоящий том включает в себя юмористические рассказы, в свое время собранные Катаевым в сборник «Горох в стенку». Здесь не только произведения этого жанра двадцатых, тридцатых, сороковых, но и несколько сатирических миниатюр, написанных отцом в семидесятые годы для журнала «Крокодил». Один из этих коротеньких рассказов — «Обезьяна» — не что иное, как беглый набросок портрета Юрия Олеши.

В двадцатых годах написаны приключенческий роман «Остров Эрендорф», сатирическая повесть «Растратчики», прославившая автора в России и за границей, а также водевиль «Квадратура круга» (1928 год), с триумфом поставленный на сцене Московского художественного театра. Эта «гениальная шутка» вот уже более восьмидесяти лет не сходит с подмостков российских и зарубежных театров.

Говоря о Катаеве-юмористе следует упомянуть и другие его комедии: «Дорога цветов», «Домик», «День отдыха».

Остались любопытные свидетельства Чуковского, нашего соседа по переделкинской даче, связанные с еще одной комедией Катаева — «Понедельник».

20 сентября 1953 года Корней Иванович оставляет в дневнике пространную запись:

«...Катаев рассказал мне содержание своей будущей пьесы, которая называется «Членский билет», — о жулике, который 25 лет считался писателем, т.к. состряпал какую-то давно забытую ерундистику в молодости. С тех пор он ничего не писал, но все по инерции считают его литератором. Он известен. Его интервьюируют, он читает лекции

в Литинституте, передает им своей «творческий опыт». Готовится его юбилей. Главное участие в подготовке юбилея принимает он сам. Все идет гладко. В каком-то писательском поселке он хочет получить участок для дачи. Ему охотно дадут, но просят предъявить членский билет. А билет утерян. Он пытается достать в Союзе писателей дубликат. Но там заведен порядок: потерявший билет обязан представить все свои труды; и если о них будет дан благоприятный отзыв — его примут в члены Союза. А у него никаких трудов нет, и представить ему нечего. Он совершенный банкрот. Юбилей срывается. Его враги торжествуют. И... вдруг он находит свой членский билет! Ура! Больше ничего и не требуется. Начинается юбилейное чествование. Депутации приходят с венками, пионеры с галстуками и т.д., и т.д. Товарищи, никогда не теряйте членских билетов...»

Проходит несколько месяцев, и 15 февраля 1954 года в дневнике Чуковского появляется следующая запись:

«Вчера Катаев прочитал мне второй акт своей пьесы. Окончательно решено, что она будет называться не «Членский билет», не «Юбилей», а «Понедельник». Я непрерывно смеялся, слушая. Очень похоже на правду и очень смешно. «Будь я помоложе, я бы из тебя Гоголя сделала», — говорит жена писателя зятю... Катаев боится, что пьесу не разрешат, и принимает меры: выводит благородную девушку, которая ненавидит по-советски всю эту пошлость, выводит благородного Сироткина, выводит благородную машинистку, которая должна сообщить зрителям, что Правление возмущено поведением Корнеплодова. Но ведь в конце концов Правление Союза писателей выдает даже деньги на этот юбилей — хотя бы и второго разряда».

Отмеченные Чуковским опасения отца о судьбе комедии оправдались. Работу над пьесой «Понедельник», которую в Ленинградском театре комедии ставил Николай Николаевич Акимов, удалось довести лишь до генеральной репетиции, после чего спектакль был закрыт.

В заключение приведу небольшой фрагмент из воспоминаний Александра Раскина.

«...у Катаева, — говорил мне Чуковский, — абсолютное чувство юмора. Это его самая сильная сторона. И при этом

какая быстрота реакции. Вот послушайте. Как-то летним вечером Жень (внук Корнея Ивановича) повез меня покататься на своем мотороллере. Ну, вы понимаете, ездит он довольно быстро. По дороге идет с кем-то Валентин Петрович. Я успеваю ему крикнуть: «Прогулка перед сном...» — и тут же слышу ответ: «Перед вечным сном!» Вы понимаете, он успел бросить реплику.

И какую!»

Оценка, данная Корнеем Ивановичем Чуковским чувству юмора Катаева, годится, пожалуй, не только для названия предисловия к настоящему тому «Антологии сатиры и юмора», но и определяет характер всего творчества Валентина Катаева в целом.

*Павел КАТАЕВ*

# Горох в стенку

*Юмористические рассказы,  
фельетоны*







# Страшный перелет

## I

**П**оэт Саша ерошил волосы

и с остервенением курил папиросу за папиросой. Его фантазия была чудовищна. Кроме того, ему страшно хотелось жрать. А это можно было сделать, только закончив работу и получив деньги. Представление о прохладном пиве и о виртуозно нарезанной вобле приводило его в состояние спазм. Обыкновенная пивная, торчавшая под боком, казалась ему раем и возбуждала его изобретательность.

Кадр ложился за кадром, бумага обугливалась под бешеным карандашом. В порядке кадров Елена скрывалась от Пейча, Пейч стрелял из револьвера, автомобиль на рискованных поворотах швыряло задними колесами за край дороги, и таинственный незнакомец судорожно цеплялся за перерезанные тросы.

Одним словом, это было нечто удивительное...

На этом месте больше ни слова о поэте.

Конечно, опытный и хитрый писатель, воспитанный в добрых традициях экономного русского романа, вообще постарался бы избежать описания поэта Саши. Но я, ничтожнейший из ангелов, не мог отказаться от удовольствия хоть краем пера зацепить этого голодного богемца с Мясницкой улицы, этого бесшабашного халтурщика, который... Однако довольно!

Нужно же мне было с чего-нибудь начать этот рас-

сказ, основная тема которого, смею вас уверить, будет все-таки чисто авиационная.

Читатель, пожалуйста, забудьте о Саше и сосредоточьте свое внимание на дальнейшем, имеющем прямое отношение к рассказу.

## II

Матапаль был толст, лыс и богат.

Своей толщиной он был обязан доброй, выдержанной буржуазной наследственностью. Его отец с большим трудом протискивался в широкую дубовую дверь собственной банкирской конторы, а его дед был, по словам очевидцев, в полтора раза толще отца. Своей лысиной Матапаль был обязан исключительно себе самому. Его абсолютная по форме и объему лысина, вылощенная и блестящая, как слоновая кость, была предметом его самых нежных забот и гордости. Кроме того, она доказывала легкомысленный нрав Матапала и его умение пожить в свое удовольствие.

Своим богатством Матапаль был в равной мере обязан и своему отцу, и самому себе. Он был великолепным экземпляром очень приличного и уважаемого международного коммерческого мошенника. Его барыши неизменно строились на самом рискованном фундаменте, а успех его предприятий зависел от длинной цепи запутаннейших коммерческих комбинаций темноватого свойства.

Его работа была не чем иным, как постоянным завязыванием и развязыванием узлов, созданием и ликвидацией конфликтов, лавированием в непостижимой путанице часов, минут и секунд.

Ни один самый опытный железнодорожный диспетчер не сумел бы, я полагаю, так быстро и так точно составить расписание поездов без риска устроить крушение, как Матапаль, для которого было вполне достаточно пяти минут, чтобы смонтировать тончайший финансовый план, исключаяющий возможность неприятных столкновений интересов.

В настоящий момент Матапаль орудовал в Москве.

Неделю тому назад он удачно ликвидировал чрезвычайно опасный узел в Берлине, а теперь ему надо было укрепиться на Ильинке.

Предприятие сулило громадные барыши, но оно требовало небывалого риска и осторожности. Матапаль поставил на карту все.

Он не сомневался в успехе. Дело складывалось блестяще.

Нужно было еще сделать два-три тонких хода — и дело сделано.

### III

Стрелки часов на Берлинском почтамте поднялись и сомкнулись ножницами на той самой высокой точке свещающегося циферблата, выше которой не может подняться ни одна пара часовых стрелок в мире.

Надо было торопиться. Каждая минута была на счету.

Чтобы не потерять драгоценный пепел, доверенный Григория Матапалья в Берлине аккуратно уложил вонючую сигару в специальное углубление прилавка.

Он сунул телеграмму в окошко.

Бородатая тиролька четырнадцать раз ткнула карандашом слева направо в экстренную депешу и такое же число раз ткнула справа налево. Убедившись таким образом, что вместе с адресом экстренных слов было именно четырнадцать, она любезно пролаяла цену.

Доверенный Матапалья заплатил, спрятал сдачу и квитанцию в бумажник и легкомысленно хлопнул себя по котелку.

Он честно сделал все от него зависящее, чтобы предотвратить катастрофу.

К сожалению, он сам узнал слишком поздно о гнусных планах Винчестера.

Заседание назначено на десять часов следующего дня, и лисица Винчестер, пользуясь отсутствием Матапалья, несомненно сумеет склонить на свою сторону акционеров. Тогда Матапаль разорен.

До заседания оставалось двадцать два часа.

От Москвы до Берлина не менее тысячи пятисот километров. Матапаль не может успеть.

Экстренная телеграмма — да. Это единственное, что мог сделать доверенный Матапалья, честный и исполнительный немец.

И он это сделал.

Затем он поднял двумя пальцами сигару, ласково кивнул бородатой тирольке и, заложив руки в карманы полохатых штанов, отправился пешком на Гартенштрассе в один нейтральный дом, где любой господин его возраста и темперамента мог очень дешево и очень весело провести остаток ночи.

Итак, доверенный Матапалья веселился, телеграмма летела, но сам Матапаль еще ничего не подозревал.

#### IV

В течение целого дня Матапаль обделывал свои дела. Подобно художнику, кончающему картину, он наносил последние удары кистью.

Он стремительно колесил по Москве. Его безупречную соломенную шляпу с муаровой лентой и серый шевитовый пиджак самого модного покроя можно было встретить везде.

Матапаль мерцал за стеклами телефонных будок, он изгибался над пюпитрами банкирских контор, с ловкостью фокусника он вывинчивал золотое перо из очень дорогой автоматической ручки и с треском выдирал листки из блокнота.

Матапаль высчитывал на левом манжете разницу курсов, в то время как на правом были записаны номера телефонов, домов и комнат. Он переводил рубли в доллары, доллары во франки, и наоборот. Он посылал экстренные телеграммы, ломился в окошко спешной почты, обжигался кофе в Эрмитаже и совал в карман «Экономическую жизнь».

Матапаль крутил пуговицу на жилете нужного человека, топал замшевыми кремовыми туфлями на ненуж-

ного маклера, кидался в лифт, открывал дверцы автомобиля и отражался вверх ногами в расчищенном в лоск паркете иностранной миссии.

В девятом часу вечера рабочий день Матапалья блестяще окончился.

Он простоял минуту в холодном дыму и треске душа, вытерся махровым полотенцем, стал сизым и переоделся.

Теперь он мог развлечься.

Матапаль вышел на Театральную площадь. Небо было еще светлым и зеленым. Часы на трамвайных остановках светились восходящими лунами. Зеленые лошади над латинским портиком Большого академического театра монументально презирали трамваи и моторы.

Последний аэроплан возвращался на Ходынку, грохоча над Кремлем, и мальчишки, задрав головы, с криками лупили по Волхонке за моторной птицей.

Но взрослые уже давно перестали обращать внимание на самолеты.

Чудо стало бытом.

Матапаль посмотрел вверх.

Его коммерческий мозг никак не мог согласовать разницу курса с легкой, прочной машиной, стремительно передвигавшейся в воздухе и наполнявшей кварталы города грохотом и металлическим пением. Он ненавидел ее.

— Гражданин, пожертвуйте на Воздушный флот!

Матапаль остановился.

Перед ним стояла стриженная девица в очках, с красной лентой через плечо. Матапаль опустил в кружку небольшой кредитный билет. Девица вынула из корзиночки медную ласточку и приколола к лацкану фланелевого пиджака Матапалья.

— Гражданин, с этой минуты вы друг Воздушного флота. Поздравляю вас!

— Позвольте! — закричал Матапаль.

Но девица с красной перевязью уже скрылась.

Матапаль косо посмотрел на птичку, которая аккуратно сидела у него на груди.

— Черт возьми, — пробормотал Матапаль и отправился на Кузнецкий мост.

Там в этот час было возбуждающее оживление. Красавицы самых разнообразных стилей, наружностей, возрастов и возможностей смутно отражались в золотистых стенках галантных магазинов.

Матапаль был весьма склонен к легкомысленным авантюрам невинного свойства.

Он остановился на углу Петровки и, озарив спичкой свои толстые щеки и поля соломенной шляпы, закурил сигару.

Закуривая, он бегло прицелился в высокое белое эспри. Дама улыбнулась краем вишневого ротика. Она безошибочно оценила этого полного, элегантного и, конечно, вполне кредитоспособного иностранца.

Матапаль приложил руку к шляпе.

После короткой перестрелки глаз и шагов она была разбита наголову. Матапаль сказал «сударыня» и взял ее под руку.

В двенадцать часов ночи лифт поднимал Матапалья и его даму на крышу дома Нирензее.

Матапаль морщился. Он положительно боялся высоты. Гораздо лучше было бы поужинать в Эрмитаже. Там было низко и котлеты были, конечно, лучше.

Но дама была другого мнения. Дамы вообще всегда склонны к высотам и пристрастны к звездам.

— Матапаль, вы трус! Вы боитесь высоты. Какой же вы после этого друг Воздушного флота?

Матапаль рассердился.

Он вырвал из лацкана медную птичку и бросил ее под ноги. В это время лифт остановился. Мальчик в красной курточке открыл дверь.

— Пожертвуйте на Воздушный флот!

Матапаль остановился.

Стриженная девица посадила на его грудь медную птичку и сказала штампованным голосом:

— Гражданин, с этой минуты вы — друг Воздушного флота. Поздравляю вас!

Матапаль сунул в кружку кредитку.

Девушка исчезла.

— Это — рок, — пробормотал Матапаль и вдруг почувствовал совершенно необъяснимое волнение и тошноту.

Они сели за столик. Ветер гулял по изумительным скатертям, и звезды переливались в небе и в стаканах. Играл оркестр.

Внизу шумела ночная Москва.

Там ползли светящиеся жуки автомобилей и последних вагонов трамвая. Из ярких окон пивных и ресторанов неслась музыка, смешиваясь с гулом толпы и треском пролетов.

Светящиеся рекламы были выбиты на крышах электрическими гвоздями.

Экраны светились голубым фосфором, показывая курс банкнотов, преysкуранты вин, виды Нижнего Новгорода и последние конструкции аэропланов.

Матапаль взглянул вниз и увидел ослепительную надпись: «Жертвуйте на Воздушный флот».

У него закружилась голова, и необъяснимое предчувствие приближающегося несчастья засосало под ложечкой.

— Заморозьте бутылку Абрау-Дюрсо, — сказал Матапаль лакею.

Медная птичка аккуратно и зловеще сидела на его груди.

## V

Извините!

Здесь я опять принужден возвратиться к поэту Саше. Это необходимо. Два слова.

Я должен только заметить, что он сидел в пивной с друзьями и пил пиво. Кроме пива, он пил также похожий на чернила портер. На столе стояло очень много бутылок, хирургически нарезанная вобла исправно возбуждала жажду. Дочерна выпеченные яйца служили великолепным фоном для красных скорлупок раков, а хор пел:

В каком-то непонят-анам сне

Он овладел, без-умец, ма-но-ою!

Саша кричал:

— Сказал, что получу? И получил. Написал и получил. И никаких гвоздей. Такого наворотил, такого наворотил! Еще парочку пива! Одно слово — монтаж. А-ва-н-тюра! Пейте, сукины дети!

Он пьянствовал третий день.

А телеграмма доверенного грустно пела в проводах международного телеграфа о всех подлостях Винчестера.

## VI

На улице уже было четверть четвертого утра. Светало.

В номере было еще три с четвертью ночи.

Матапаль с треском распечатал телеграмму.

Он испустил тихий вопль и опустился в кресло.

Этот вопль был похож на вопль рыболова, когда выдернутая из воды большая рыба вдруг переворачивается на солнце никелевым ключом, описывает сабельную дугу и с веселым плеском падает с крючка в воду.

Матапаль прочел телеграмму еще четыре раза.

Он почувствовал, что колени у него слабеют, а лыси-на покрывается жемчужной испариной.

— Черт возьми! Я должен быть там!

Увы, это было невозможно: полторы тысячи километров и восемнадцать с половиной часов.

— Нет, это немыслимо. Значит, я — банкрот.

У него дрогнули коленки.

— Нет, нет, и еще шестьдесят раз нет!

Он застучал кулаками по столу. Стучал долго. Затем из стука вывел формулу:

— Никогда! Проклятый Винчестер! Осел доверенный!

Полторы тысячи и восемнадцать — невозможно!

Матапаль опустил голову и увидел на лацкане пиджака медную птичку. Она сидела очень аккуратно и настойчиво.

Матапаль вспомнил:

«С этой минуты — вы друг Воздушного флота, по-здравляю вас, гражданин!»



Матапаль бросился к телефону:

— Справочная! Черт возьми, справочная!

Он похолодел.

Лететь? Сейчас? Так высоко и так долго?

Он опустил трубку

Разоряться? Потерять все? Может быть, сесть в тюрьму?

Он схватил трубку

— Барышня, черт вас раздери сверху донизу, справочную!.. Алло! Справочная!

Через две минуты он уже знал все.

Аппарат летит сегодня с Ходынки в восемь часов утра. Мест нет. Но если гражданин имеет экстренную необходимость и приличную сумму фунтов стерлингов, то, может быть, кто-нибудь из пассажиров согласится уступить свое место.

Матапаль вспомнил моторную птицу, поворачивающуюся на страшной высоте над Театральной площадью, вспомнил грохоты, жужжанье и крен. Он затем вспомнил фотографию в иллюстрированном журнале: холмик, в который воткнуто два скрещенных пропеллера, и очень много венков и лент с трогательными надписями.

Нет, нет! Ни за что, пусть лучше тюрьма!

После этого Матапаль начал колебаться и колебался долго. Вся его душевная постройка представляла не что иное, как очень хорошо известную конструкцию детской игрушки «мужик и медведь». Потянешь за одну палочку — мужик лупит топором по пню, потянешь за другую — медведь. «Лететь» и «разоряться» исправно вперемежку стучали по лысой голове Матапаля ровно три часа и пятнадцать минут.

В конце концов Матапаль наглядно представил себе кучу фунтов, долларов, червонцев и франков, представил себе голубую чековую книжку, представил себе серебряное ведро, из которого торчит смоляная голова «редерер», и понял, что лучше смерть, чем разорение. Тем более что разорение наверное, а смерть — это еще большой вопрос.

Он решился.

Башмаки, щетки, флаконы полетели в плоскую крокодилю пасть отличного английского чемодана.

Электрический звон наполнил коридоры гостиницы «Савой», серебряной цепочкой скользнул по лестнице и упал на голову сонного портье.

Все пришло в движение.

Матапаль требовал счет и требовал автомобиль.

Он кидался червонцами, забывал о сдаче, лихорадочно совал в карман спички и «Экономическую жизнь». Наконец написал, за отсутствием бумаги, на портрете какой-то очень красивой дамы срочную, вне всякой очереди, телеграмму своему доверенному в Берлин и велел отправить ее ровно в девять часов утра, если он не возвратится в отель.

«Савой» гремел.

Мотор подавился шариками и закашлялся у стеклянных дверей.

## VII

Летчик приложил ладони к глазам и посмотрел на солнце.

Солнце было ослепительным и косым.

Часовой с винтовкой стоял в воротах аэродрома. На кончике штыка сияла острая звездочка.

Летчик скинул рубаху и облился из синего кувшина страшно холодной водой, которая брызнула радужными искрами.

Он вытерся насухо полотенцем с синей каймой и сделал гимнастику Мюллера. У него было худощавое, мускулистое тело и очень загорелое лицо с белым пятном на лбу. Он был весел и силен. Сегодняшний полет должен был дать ему вдвое больше долларов, чем обычно. Сегодняшний перелет должен быть особенным. Это даже, черт возьми, интересно!

Летчик уперся руками в траву, выставил колени острым углом, напрягся и сделал вверх ногами стойку, изогнувшись хорошо натянутым луком.

Механик пробовал мотор.

## VIII

Матапаль оторвал дверцу автомобиля.

Желтый английский чемодан, ударяясь углами и перекручиваясь, как коробка папирос, неуклюже полетел на спину Матаपालа.

Переулочек рванулся.

Часы против «Метрополя», где стояла унылая толпа за билетами железной дороги, показали тридцать пять минут восьмого.

Зеленые лошади Большого театра шарахнулись на крышу Мюра, «Рабочая газета» отпрыгнула назад, ломая шпильмы в садике Театральной площади, колонны Дома Союзов рухнули на какую-то старушку с узелком, пивные мгновенно переменялись вывесками с рыбными магазинами, первый Дом Советов посторонился боком, и Тверская длинной струной вытянулась, гудя под колесами мотогора. Матапаль крепко ухватился за поля своей несравненной соломенной шляпы.

Часы на Садово-Триумфальной мигнули тридцать пять минут восьмого.

Зеленые лошади взбесились на Триумфальной арке и помчались галопом вниз по Тверской.

Петербургское шоссе тревожно просигнализировало «Пром», но Матапаль только зажмурился, и мотор, подпрыгнув на повороте, врезался в деревянные ворота «Добролета».

Какие-то часы показали без четверти восемь.

Матапаль ворвался в контору, потрясая чековой книжкой.

Молодой человек грустно улыбнулся:

— К сожалению... Все места заняты.

Матапаль ударил шляпой по стене.

— Сто фунтов отступного. Чек на предъявителя. Я — Матапаль.

Молодой человек развел руками.

Он хотел объяснить Матапалю, что это никак невозможно.

— Двести фунтов! — заревел Матапаль.

Тогда из угла поднялся очень тощий человек с подведенными глазами, в довольно странном костюме. Он сказал:

— Давайте чек, и я вам уступлю свое место.

Матапаль написал грозную цифру и отодрал листик.

Было без четырех минут восемь.

Молодой человек успел сказать:

— Шестиместный. Прямое сообщение без спуска.

И еще что-то.

Матапаль бежал с чемоданом по зеленой траве к аэроплану, который сидел возле сарая, как птенец, только что вылупившийся из этого деревянного и полотняного яйца.

На вышке крутились какие-то черные шарики и блестяли приборы. Там трепался веселый вымпел.

К аэроплану спешили другие пассажиры.

— Четыре балла! — закричал кто-то, и сейчас же грянул мотор.

Матапаль схватился руками за поручни.

Ловкий оператор крутил свой треногий аппарат, производя съемку отлета.

Сердце Матапаля в последний раз кануло в пропасть и уже не поднималось оттуда в течение семи часов.

Мотор страшно загремел. Тросы запели струнами.

Какой-то человек в шлеме пробежал по крылу и скрылся в люке на крыше.

Матапаль бросил чемодан в сетку и уселся в соломенное кресло. Вслед за ним в кабину влез американец с трубкой и в громадных роговых очках. Он строго посмотрел на бледного Матапаля и сказал:

— Мосье, прошу вас быть спокойным и не мешать мне.

Затем он сел рядом с Матапалем в кресло.

Кто-то снаружи закричал:

— Пускаю!

Американец сказал:

— Пускайте!

В кабину влетела дама в густой вуали. Она испуганно оглянулась по сторонам и уселась в угол, закрыв лицо руками. Сейчас же вслед за дамой в дверь вдвинулся очень

подозрительного типа человек с подмазанными глазами и со следами многих пороков на испитом бледном лице. Он уселся против дамы. Затем влез механик. Одно место оказалось пустым.

— Контакт!

— Есть контакт!

Мотор положительно разрывался.

Матапаль посмотрел в окно. Человек подошел к черной доске, написал на ней мелом непонятную букву и цифру. Затем он опустил ракету.

Кабину качнуло. Домики и люди поползли назад. Аэроплан начал подпрыгивать.

— Остановите! Я хочу сойти! — закричал Матапаль и ужасе.

Но сердитый американец строго взял его за локоть и сказал:

— Мосье! Это невозможно. Сидите. Вы мне испортите все дело.

— Но я не хочу лететь!

— Поздно!

## IX

Матапаль почувствовал, что аэроплан перестал подпрыгивать. Казалось, он стоит на месте. Матапаль посмотрел в окно. Они летели. Маленькие домики, крошечные люди и кустики игрушечным планом смешались внизу. Отдаленная Москва лежала слева сзади грудой кубиков, наполовину розовых, наполовину голубых. Несколько ослепительных золотых куполов сверкало среди них. Матапаль узнал пожарную каску Христа Спасителя. У него закружилась голова и потемнело в глазах. Когда он очнулся, в кабине было все по-прежнему. Американец сидел, как гранитное изваяние.

Дама в густой вуали тревожно крутила головой.

Подозрительный тип с порочным лицом в упор смотрел на даму. Его подмазанные глаза сверкали. Скулы упруго двигались. Под его ужасным взглядом дама все тре-

вожнее и тревожнее поворачивала голову. Грудь у нее волновалась. По всем данным, пассажиры не были знакомы между собой. Но Матапаль вдруг почувствовал, что между американцем и порочным типом существует какая-то странная связь. Несомненно, назревало нечто ужасное.

Американец вынул изо рта трубку, выколотил о каблук пепел и тихо свистнул. Подозрительный тип вскочил.

— Елена, это ты! — закричал он и сдернул с дамы вуаль.

Бледная как полотно дама с подведенными глазами посмотрела на него с ужасом и презрением.

— Позвольте! — воскликнул Матапаль. — Вы не смее-те так обращаться с незнакомой женщиной!

— Ни с места! — прохрипел американец, опуская свою железную руку в лимонной перчатке на жирное плечо Матапалья.

Матапаль прирос к соломенному креслу.

— Вы мне испортите все дело. Сидите, черт возьми! Это его любовница. Она бежит от него. Пейч, делайте свое дело!

— Елена! — прохрипел Пейч.

Глаза Елены сверкнули.

— Да, это я, негодяй!

Пейч расхохотался.

— Теперь ты в моих руках! Я знаю, что мне надо с тобой делать. Молись!

Пейч одной рукой схватил даму за руку, а другой с треском опустил раму окна. Ветер ворвался в кабину и сорвал шляпу с головы Матапалья.

— Что он хочет делать?

Американец схватил Матапалья за горло.

— Этот осел испортит нам все. Сидите смирно, или я выброшу вас в окно! Ни с места!

Пейч схватил даму поперек туловища и начал впихивать в раскрытое окно.

— Левее, левее! — закричал американец.

Дама отбивалась, но Пейч был сильнее. Еще секунда, и Елена со страшной высоты полетит вниз головой на землю.

— Ка-ра-ул! — завопил Матапаль. — Пилот! Остановите аппарат! Здесь совершается убийство!

Тогда американец вытащил из кармана очень большой автоматический пистолет и ткнул его в живот Матапалья.

— Попробуйте открыть свою пепельницу еще раз!

Вдруг Пейч опустил Елену и отшатнулся от окна. Он прохотонал:

— Я погиб! «Черная рука» преследует нас по пятам.

Елена посмотрела в окно, и крик восторга вырвался из ее груди.

— Я спасена!

Матапаль краешком глаза, боясь пошевелиться, посмотрел в окно. В воздухе следом за ним, но гораздо выше летел жуткий аэроплан. Он был весь белый, и только на каждом крыле чернел отпечаток гигантской черной руки.

— Он не должен настигнуть нас! — воскликнул Пейч и вылез из окна на крыло.

Елена упала без чувств.

— Очень хорошо, — сказал американец, пряча в карман пистолет. — Господин Матапаль, не хотите ли глоток виски? Это помогает.

Он протянул Матапалью бутылку.

— Б-благодарю в-вас, — пробормотал Матапаль.

## Х

Между тем события разворачивались.

«Черная рука» приближался. Это был гоночный моноплан.

Уже ясно было видно пилота и пассажира. Пассажир, приподнявшись у сиденья, размахивал руками и стрелял из револьвера. Звука не было слышно, но тугие клубки белого дыма выскакивали из револьвера. Позади него грозно стояло нечто похожее на пулемет, возле которого возился еще один человек.

Кабину мотнуло. Матапаль упал с кресла.

Аэроплан сделал резкий поворот и круто взял вверх.

Началась погоня.

Матапаль проклинал себя, и свою жадность, и негодя Винчестера, и дурака доверенного. О, если бы он мог предвидеть хоть тысячную часть того, что делалось, он бы никогда не сел в эту проклятую кабину!

Аэроплан швыряло справа налево и наоборот. Его подымало вверх и опускало стремительно вниз. Он скользил на крыло, крутился штопором и почти становился на хвост. «Черная рука», как ястреб, висел над ним, и из револьвера пассажира вылетали клубочки резкого дыма.

Погоня продолжалась долго.

Несколько раз Матапаль кидался на колени перед флегматичным механиком в кожаной куртке, который не торопясь пил ром, и протягивал ему щеки самых разнообразных ценностей. Он умолял его полезть к пилоту и заставить его сдаться «черной руке». Но механик криво улыбался в рыжий ус и не двигался с места.

Матапаль трясло и швыряло от стенки к стенке, переворачивая его внутренности. Матапаль рыдал. Он был в ужасе. Он проклинал тот час, когда ступил ногою на подножку трапа. Но увы! Все было бесполезно. Смерть приближалась.

Наконец «черная рука» настиг аэроплан. Минуту он шел вровень с ним. Тогда пассажир сделал невероятное, головоломное движение и спрыгнул на крыло аэроплана, прямо на Пейча, который отстреливался из пистолета.

Аэроплан закачался. Матапаль стал молиться на всех языках, которые он знал.

Аэроплан качался и кренился.

Очевидно, на крыле происходила борьба не на жизнь, а на смерть. Елена и американец, затаив дыхание, прилипли к окну.

Аэроплан мотнуло в последний раз, и он выровнялся.  
— Ах! Пейч!

Матапаль увидел, как черное тело человека полетело, раскинув, как тряпка, руки и ноги, вниз.

Американец восторженно захлопал в ладоши.



— Ол райт! Это нечто исключительное. Браво, Пейч, браво, Елена! Стаканчик виски, господин Матапаль!

Тогда в окно влез новый человек — это был бандит в пилумаске и в черном трико. Он устало опустил в соломенное кресло и залпом выпил стакан.

Американец посмотрел на часы.

— В нашем распоряжении еще сорок минут. Механик, передайте Пейчу эту бутылку и эти сандвичи.

Механик захватил продукты, открыл люк и просунул их куда-то наружу, в ветер и грохот мотора.

— Друзья мои, я думаю, можно было бы соорудить еще неплохой грабеж в воздухе, а, как вы думаете? Отлично, Джонс, начинайте!

Черная маска подошла к Матапалю и взяла его за горло. Елена стала быстро его обыскивать. Матапаль, пригн на корточки и выпучив глаза, со шляпой на затылке, готов был скончаться от разрыва сердца. Его аккуратно обокрали и связали по рукам и по ногам.

— Умоляю вас... не выбрасывайте меня из окна... Я очень не люблю... когда меня сбрасывают с аэроплана.

Американец расхохотался.

— Терпение, дружище!

## XI

Через полчаса американец развязал Матапалья, вернул ему бумажник, предложил стакан виски и закурил трубку.

Аэроплан снижался. Деревья, быстро увеличиваясь, понеслись под колесами, и Матапаль увидел поле, усеянное людьми и автомобилями.

— Перелет кончен. Мы прилетели.

Аэроплан ударился колесами о землю и, прыгая, пробежал еще десятка три саженьей.

Толпа окружила его. Американец и Елена выскочили из кабины, и через минуту они уже взлетали над толпой. Их качали. Матапаль взял чемодан и вылез на свежий воздух. В полицию. Как можно скорее. Но почему эта тол-

па так восторженно кричит? Вдруг он остолбенел. Веселый Пейч спускался откуда-то сверху, цепляясь за тросы и снимая кепи.

— Вы живы?

— А почему мне было быть мертвым?

Матапаль положил чемодан на траву и разинул рот.

Толпа подхватила Пейча и долго качала.

Наконец господин в цилиндре влез на крышу автомобиля. В руке у него был роскошный букет цветов. Наступила тишина. Он сказал:

— Господа! Я счастлив, что мне выпала честь приветствовать наших дорогих товарищей Пейча, Джо, Елену и господина Гута, кото...

Матапаль не выдержал:

— Как? Приветствовать бандитов! Их надо немедленно же отправить в полицию!

В толпе поднялся ропот:

— Уберите этого сумасшедшего. Тише! Внимание! Говорите дальше!

Господин в цилиндре продолжал:

— Да, господа! Сегодня замечательный день. Наша фирма может гордиться. Сегодня наша фирма совершила безумно трудную и опасную съемку исключительной трюковой картины «Черная рука, или Драма в облаках» по сценарию известного русского поэта Саши.

— Да здравствует русский поэт Саша! — крикнули в толпе.

— Господа! Съемка производилась с двух аэропланов на высоте трех тысяч метров. Мистер Джо прыгнул на этой высоте с одного аппарата на другой, что и было зафиксировано двумя аппаратами, установленными на самолетах. Кроме того, съемка производилась в кабине «Фоккера», где блестяще провела свою роль наша любимица Елена!

— Да здравствует Елена!

— Господин Пейч был выше всяких похвал. Он бегал по крыльям и великолепно имитировал падение с аэроплана, подменив себя тряпичной куклой.

— Да здравствует Пейч!

— Кроме того, еще случайный пассажир, господин Матапаль, который присутствует среди нас, благодаря своей счастливой комедийной внешности внес большое оживление в съемку и позволил тут же, на месте, симпронизировать экспромтом водевиль «Ограбление толстяка Пили в воздухе».

— Да здравствует Матапаль!

Матапаль покачулся.

## ХП

Когда он пришел в себя, возле него стоял уполномоченный, который говорил:

— Господин Матапаль! Мотор ждет вас. В вашем распоряжении еще четыре часа. Как хорошо, что вы прилетели: теперь Винчестер будет раздавлен. Вам нехорошо?

Матапаль сделался сразу строгим и деловитым:

— Мы поедем обедать. Кстати, какой сегодня курс доллара?..

1920

## Красивые штаны

Ух было двое — прозаик и поэт. Имена не важны, но они ели.

А в соседнем номере этой громадной, запущенной, похожей на взломанный комод гостиницы, полной пыли, иноя, кавалерийского звона и пехотного топота, на поло-ситом тюфяке сидел голый приват-доцент Цирлих и читал Апулея в подлиннике. Он окончил университет по романскому отделению, умел читать, писать и разговаривать на многих языках, служил по дипломатической чисти, но ему очень хотелось кушать.

Бязевая рубашка с тесемками и мешочные штаны с клеймом автобазы висели на гвоздике. Кроме этих шта-

нов и этой рубахи, у филолога Цирлиха ничего не было, и он берег их, как барышня бальный туалет.

У соседей ели. Он отлично представлял себе, как они ели и что они ели. Фантазия, обычно не свойственная филологу, на этот раз рисовала незабываемые фламандские натюрморты. Не менее четырех фунтов отличного черного хлеба и крупная соль. Очень возможно — самовар. Во всяком случае, звук упавшей кружки был непередаваем.

Цирлих взялся обеими руками за кривую, как тыква, голову и прислушался. Они жевали.

Цирлих проглотил слюну. Это было невыносимо. Затем он обшарил пыльными глазами совершенно пустой номер. Бездна формальность. Пустота есть пустота. Ничего съестного не было. Тогда он торопливо облизнулся и на цыпочках подкрался к замочной скважине.

Они сидели за письменным столом и в две ложки ели салат из помидоров, огурцов и лука. Миска была очень большая. Рядом с миской лежал мокрый кирпич хлеба. Над самоваром висели пар и комариное пение. Солнце жарило по полотняной шторе, где выгорела тень оконного переплета.

«Жрут», — горестно подумал приват-доцент.

Минуту он колебался, а затем проворно надел штаны. Он знал, что надо делать. Надо вежливо постучать в дверь и сказать: «К вам можно?» И затем: «Вот что, ребяташки, нет ли у вас перышка, — у меня сломалось...»

Вежливо постучать!

Вчера, позавчера, в прошлую среду, в прошлую пятницу и в субботу он вежливо стучал к соседям. Нет, это недопустимо.

Цирлих горестно снял штаны и повесил их на гвоздик. Голод тоже должен иметь пределы! Но голод пределов не имел. Они ели. Филолог схватился за голову и быстро надел штаны.

Он вежливо постучал.

За дверью началась паника и через две минуты стихла.

— Войдите!

Приват-доцент покашлял, устроил светскую улыбку и

пошел. Они сидели за письменным столом, но на столе, заваленном громадными листами газет, ничего не было. Не было даже самовара.

«Скотины! — подумал филолог. — Успели все попрягать. Хоть шаром покати. Неужели самовар поставили в умывальник?»

Он пожевал губами, завязал на горле тесемки рубахи красивым бантиком.

— Здравствуйте, друзья!

— Здравствуйте, профессор!

— Вот что, ребятушки...

Цирлих раздул щеки и подул на собственный нос.

— Вот что, дорогие мои товарищи... Видите ли, братья писатели, какого рода дело... Гм...

Он посмотрел еще раз на стол и вдруг заметил край хлеба, вылезшего из газет. И Цирлих уже не мог отвести от него глаз, как птичка не может отвести глаз от изумрудных глаз удава.

— В чем дело, Цирлих?

Угол черной буханки совершенно ясно выделялся на телеграммах РОСТА.

— Мне очень хочется кушать, — тихо сказал Цирлих.

Он спохватился. Он тряхнул своей крепкой головой и весело крикнул:

— Я, знаете ли, очень люблю хлеб и очень люблю помидоры и огурцы! Я хочу чаю!

Прозаик побледнел. Какая неосторожность!

— Вот могу вам предложить кусочек хлеба... Пасек получил. На артиллерийских курсах. А насчет помидоров, знаете ли...

Нет, нет, салата он не мог заметить. Салат был слишком замаскирован.

Поэт грустно улыбнулся.

— Кушайте, Цирлих, хлеб, а вот помидоров, ей-богу, нет. Сами сидим ничего не евши третьи сутки... то есть вторые.

Цирлих поспешно отодрал кусок хлеба и плотно забил его в рот.

— Садитесь, Цирлих!

Цирлих сел. Глаза у него были бессмысленны, щеки надуты, а губы жевали.

— Как вы поживаете, Цирлих?

Цирлих трудно глотнул кадыком, покрутил головой и развел руками.

— Плохо?

Цирлих кивнул и подавился.

— Паяк на службе дают?

Цирлих вытер рукавом вспотевший нос.

— В чрезвычай-но ог-раниченном коли-честве, — с трудом произнес он, глядя на хлеб. — Да, друзья мои, в очень ограниченном количестве. Я получаю в месяц одну четвертую часть дипломатического пайка, что составляет... гм... если не ошибаюсь... Разрешите, я у вас отщипну еще небольшой кусочек хлебца?

— Отщипните, Цирлих, — стиснув зубы, сказал прозаик, — отщипните, отчего ж...

— Спасибо, ребяташки...

— Пьесы агитационные надо писать, Цирлих, вот что, — сумрачно сказал поэт, открывая шкаф.

В совершенно пустом, гулком, громадном шкафу висели новые синие, очень красивые штаны.

— Вот видите?

— Вижу. Брюки.

— То-то, брюки. Синие. Красивые. Новые. Штаны-с, можно сказать.

— Приобрели?

— Приобрел. Сегодня. Да-с. Я и говорю: пьесы надо писать, Цирлих.

Цирлих поднял брови:

— Покупают?

— Ого-го, еще как покупают! Только пишите!

Цирлих заволновался:

— А вы знаете, это идея! Агитационные?

— Агитационные.

— Серьезно?

— Чего уж серьезнее. Штаны видели?

— Это идея, ребятушки! Только я, как бы вам сказать, недостаточно опытен в драматической форме. Конечно, можно кое-что восстановить в памяти. Я думаю, это мольеровский театр, занявший в истории французской...

— Не надо истории, Цирлих! К черту Мольера!

— Ребятюшки, ей-богу, это идея! — воскликнул очень радостно Цирлих. — Только вы, братцы, мне должны помочь немножко!

— Ладно, поможем.

— А о чем же писать?

— О голоде. Только попроще. В два счета.

Цирлих возбужденно доел хлеб, полюбовался красивыми штанами, подул себе в нос и пошел писать пьесу.

Прозаик и поэт всю ночь слышали в соседнем номере шелест бумаги, скрип пера, тяжелое сопение и шлепанье босых пяток. Цирлих писал. На рассвете он вежливо постучал в дверь. Его впустили. Он возбужденно взмахнул ручкой, с которой слетела клякса на штаны.

— Извините за беспокойство, постановка должна быть несложной?

— Несложной. Как можно проще.

— Хлеба нету, ребятушки?

— Нету.

Цирлих потоптался и ушел. Цирлих писал все утро, весь день и весь вечер. От голода шумело в ушах, а в глазах возились магнитные иголки. Они ели огурцы и круглый лук. Ночью Цирлих громко постучал в дверь.

— Войдите.

Он вошел. У него в руке развевались исписанные листки. Он взволнованно сел на подоконник, взял со стола кусок хлеба, сунул в рот и, жуя, сказал:

— Написал я, ребятушки, пьесу. Хочу ее вам прочитать.

— Длинная?

— Короткая. Один акт.

— Читайте, Цирлих!

И Цирлих прочел свою пьесу. Пьеса была такая. Голодная степь, вдалеке железнодорожное полотно, посре-

дине степи лежит брошенный младенец пяти месяцев, над младенцем летает ворона, вокруг младенца бегают волк, псица, суслик; кроме того, ползает умная змея. Вышеупомянутые животные ведут диалог в духе Метерлинка на тему о голоде, о брошенном младенце и несознательности общества. Волк хочет съесть младенца. Змея укоряет волка в жестокости, суслик плачет. Ворона предсказывает близкое избавление. Псица начинает кормить младенца собственной грудью. Тогда приходит поезд. Паровоз сверкает огненными глазами. Из длинного санитарного состава выходит сестра милосердия. Она не опоздала! Младенец спасен. Волк бежит. Змея торжествует. На санитарном составе написано: «Все, как один, на помощь голодающему населению Поволжья».

Цирлих прочитал пьесу, положил листки на стол и посмотрел воспаленными глазами на слушателей.

— Ну, ребятушки, что вы на это скажете?

Поэт спрятал глаза.

— Как вам сказать, Цирлих... Пьеса как пьеса, хорошая пьеса, задумана интересно, но...

Цирлих похолодел.

— Да, Цирлих, задумана она интересно, но уж очень постановка сложная.

— Вы думаете? — спросил Цирлих, дуя в нос.

— Да, я так думаю. Помилуйте, у вас там фигурирует целый санитарный поезд!

Цирлих умоляюще развязал у горла тесемочки.

— Так ведь он бутафорский. Так сказать, картонный. Нарисованный ведь!

— Ну, скажем, поезд — еще туда-сюда, но младенец, младенец... Разве можно выводить в пьесе трехмесячного младенца, Цирлих?

Цирлих закинул голову.

— Он пятимесячный, и потом он у меня не говорит. Роль, так сказать, без слов. Можно даже этакую куклу смастерить, бутафорскую.

— Гм! Разве что бутафорскую! Ну а волка и псицу за-



чем вы вывели? Кстати, почему псица? Что это такое — псица?

— Псица — это женский род от слова «пес». Славянизм.

— Ага. Ну разве что славянизм. Но кто же вам согласится играть псицу, вы об этом подумали?

— Подумал. Он загримируется. Станет на четвереньки и будет ходить. Это я как раз обдумал хорошо.

— Ну ладно, это еще туда-сюда, но ворона, ворона! Ворону-то как играть? Ведь летает она у вас, Цирлих?

Цирлих долго молчал, а потом глухо сказал:

— А у Ростана в «Шантеклере» как же? Куры участвуют. А у меня ворона. Разница ведь невелика?

— Невелика. Допустим. Это еще туда-сюда. Ну, там ворона, суслик — это не важно в конце концов. Но змея! Цирлих, вы вдумайтесь в это: змея! Понимаете: на сцене змея! Это невозможно. Змея убивает всю вещь. Змею Политпросвет не купит.

Цирлих покрылся зернистым потом. Он глухо прошептал:

— Да. Змею я не учел.

Наступило тягостное молчание.

— Что ж делать, ребятушки?

— Выбросьте змею, замените ее кем-нибудь другим.

— Нет! Это невозможно. Без змеи пропадет вся композиция. Змея — резонер.

Цирлих уныло поник.

— Может быть, — сказал он, почесывая переносицу и гуно оглядывая пыльными глазами потолок, — может быть... как-нибудь... из пожарного шланга сделать змею?.. И чтоб за нее... говорил суфлер... А, ребятки?

— Нет, Цирлих! Змея не пройдет.

Поэт посмотрел на стол. На столе ничего съестного не было. Стол был завален газетами.

— Вы бы, Цирлих, другое что-нибудь написали.

— Придется написать. Спокойной ночи, ребятушки... Пойду попробую.

— Попробуйте, попробуйте. До свидания.

Цирлих пришел к себе, снял рубаху и штаны, сел на полосатый тюфяк и взялся за голову. Его мутило. Сил не было. Они ели. Цирлих подкрался к замочной скважине. На столе стояла миска с салатом. Был хлеб и круглый лук. Цирлих сел к столу, вдавил карандаш в переносицу так, что на переносице осталась лиловая точка, и долго сидел. Потом он начал писать новую пьесу. Он писал всю ночь. Зеленые колеса летали перед его глазами. Руки опускались. Есть хотелось до такой степени, что тошнило. Со двора пахло жареным. Он писал ночь, утро и полдень. В полдень он лег на полосатый тюфяк и представил себе большой кусок хлеба с маслом, кружку молока и яичницу. Базар был недалеко, на базаре продавали борщ и жареную колбасу. Там были плетеные калачи и молоко. Продать было нечего. Цирлих взялся за голову, вздохнул и, косо отражаясь в зеркале всем своим белым и дряблым телом, подобрался к шкафу соседей. Он слышал стук своих ногтей по полу, и сердце у него щелкало, как ремингтон. Он открыл шкаф. Красивые штаны висели среди этого громадного гардероба, как повешенный в очень пустом и большом зале. Цирлих не подумал о том, что красть грех и что он приват-доцент, о том, что он умеет читать, писать и говорить на многих языках. Цирлих подумал о том, сколько дадут за штаны, о том, что если его поймают, то побьют.

Продавать краденые штаны было очень стыдно, но зато после Цирлих два часа ходил по базару и ел. Он ел хлеб и круглый лук, ел борщ со сметаной и собачью колбасу, пил молоко и курил папиросы.

Наевшись до тяжести, Цирлих осторожно пробрался в свой номер и зашил в полосатый тюфяк три фунта хлеба, сотню папирос, много луку и огурцов. Он снял рубашку с тесемками и штаны с клеймом автобазы и повесил их на гвоздик. Он поджал под себя ноги и принялся за Апулея.

Вечером пришли они и ели. Ели, вероятно, круглый лук и хлеб, но это было не важно. Тогда Цирлих не торопясь надел штаны, сделал очень измученное лицо и постучался.

За дверью поднялась паника, и через две минуты его впустили.

На столе не было ничего съестного, и стол был завален газетами.

— Вот что, ребяташки... я очень хочу есть, дайте мне кусочек хлеба.

— Увы, Цирлих! — вздохнул прозаик.

— На нет и суда нет, — грустно подтвердил Цирлих.

— Пьесу надо писать, батенька! Пьесу! — мрачно заметил поэт и подошел к шкафу. — Вот, не угодно ли взглянуть — брючки. Штаны. Красота!

С этими словами он открыл шкаф.

Цирлих печально завязывал на горле тесемочки и смотрел вниз и в сторону.

1922

## Иван Степанч

Ежевечерне в толпе, штурмующей ворота, можно было видеть неизвестного человека, прижатого спиной к желтому плакату, изображавшему роскошных атлетов в перчатках, похожих на головы мопсов.

Четыре гигантских экрана обслуживали северный, южный, восточный и западный секторы города. Через каждые пять минут они сообщали имена победителей и результаты фантастических пари.

Восемнадцать аэропланов летало над бронированным куполом цирка, сбрасывая на цилиндры опоздавших груды летучек с правилами бокса и списками фаворитов.

Две тысячи американцев и столько же американок, не считая негров и детей, ежевечерне заполняли громадную кубатуру Спортинг-Паласа.

Неизвестный явно выделялся в громадной толпе совершенно одинаковых рогланов и джимперсов. На нем было рыжее пальто.

Билеты на матчи стоили баснословных денег. Самые дешевые — десять долларов, самые дорогие...

Откуда этот человек взялся, чем занимается и где ночует — было неизвестно. Может быть, об этом знал полисмен 794-го участка, совершающий ночной обход в туманном районе доков Реджинальд-Симпля, или хозяин подозрительного бара, где неизвестный иногда пил сода-виски, внимательно изучая русско-английский словарь.

Однако поглощенные боксом рогланы и джимперсы батальонами ломились в ворота, не обращая на него ни малейшего внимания.

Он выжидал.

Молодой любознательный негр, повернувшись, чтобы взглянуть на экран, где появился новый бюллетень, толкнул плечом не менее молодого американца, вынимавшего из перчатки билет. Цилиндр качнулся на голове мистера, а билет упал. Негр растерянно оскалил свои коровьи зубы. Мистер взорвался. Неизвестный быстро нагнулся, схватил билет и ринулся в ворота, подальше от дерущихся. Начинался суд Линча.

Бронированные стены цирка еще содрогались от бесшумного топота красных башмаков, стука палок, свистков, аплодисментов и криков. Джаз-банд играл негритянский туш. Победитель раскланивался и снимал перчатки. Победленного растирали мохнатым полотенцем. На арену летели апельсины и сигары. Директор торжествовал.

Вдруг произошло замешательство. Головы двух тысяч американцев и стольких же американок, не считая детей и негров, повернулись в одну сторону. Сверху, из-под самого купола, по рогланам и джимперсам, по цилиндрам и лысым энергично катился неизвестный, наскоро извиняясь за беспокойство и лихорадочно перелистывая словарь.

Через минуту он уже стоял на арене, возле судейского столика. Наступила тишина. Тогда неизвестный иронически улыбнулся, бросил презрительный взгляд на дюжину гологоловых чемпионов, высунувшихся из-под пор-

тер, справился со словарем и, выставив вперед ногу в свиной краге, очень старательно сказал:

— Меня зовут Иван Степанч, и я обязуюсь победить на очереди всех многоуважаемых чемпионов, состязающихся здесь.

Жюри с энтузиазмом удалилось в директорский кабинет. Публика неистовствовала. Чемпионы были подавлены. Иван Степанч загадочно улыбнулся.

Затем на арену выступил роскошный директор (фрак, цилиндр, сигара):

— От лица чемпионата принимаю вызов многоуважаемого, но, к сожалению, неизвестного борца Иван Степанча. Прошу его сообщить свои условия.

Иван Степанч перелистал словарь и тщательно сообщил:

— Две недели тренировки, сто тысяч призов, один фунт ростбифа и полпинты пива, один завтрак, обед и ужин ежедневно и сигары.

Условия были приняты. Джаз-банд играл негритянский туш.

— Ставлю один против ста, что этот негодяй раздавит всех этих бездельников, как клопов! — воскликнул нитроглицериновый король, потрясая чековой книжкой.

Немедленно четыре гигантских плаката сообщили четырём секторам города о появлении на горизонте таинственного незнакомца Иван Степанча, обладающего оглушительным секретом бокса и обещавшего победить всех чемпионов. Вес столько-то, объем столько-то, бицепсы столько-то. Первый матч тогда-то.

Роскошный кабинет директора цирка, заклеенный мужественной конструкцией афиш. Директор — откинувшись в кресле. Иван Степанч — выставив ногу в свиной краге. Директор — предвкушая небывалые барыши. Иван Степанч — добросовестно листающий словарь. Осгильное пространство завалено грудями репортеров. Чековая книжка директора, как голубь, вылетает из боково-

го кармана, охотно теряя перья. Вспыхивает магний. Щелкают затворы репортерских кодаков.

Две тысячи американцев и столько же американок, не считая негров и детей, спешно заключали пари, общая цифра которых доходила до 8000, на сумму не менее 16 000 000 долларов.

Иван Степанч занял лучший номер в фешенебельном отеле на Гардинг-стрит.

Спортивные журналы подняли тираж втрое. Автомобили с трудом продвигались среди гор летучек с портретом Иван Степанча, тысячами тонн сбрасываемых с аэропланов. На бирже начиналась паника. Иван Степанч с аппетитом завтракал.

Двадцать четыре американки, среди которых было пять высококвалифицированных старух, восемь девочек, десять вдов и остальные — дочери миллиардеров, ломились в номер Иван Степанча...

Иван Степанч сидел в номере, рассеянно обедал и в промежутках играл на гитаре.

Между тем подавленные чемпионы, предчувствуя близкое посрамление, не зевали. Они решили во что бы то ни стало узнать секрет. Двенадцать человек, стол, шесть бутылок коньяку, негодяй хозяин и недорогой наемный убийца явились великолепным материалом для уголовных построений. На эстраде танцевали фокстрот.

Директор цирка подозревал. Роняя пепел на лацкан фрака, он схватил трубку настольного телефона.

Вежливый Гарри Пиль, гениальный сыщик Скотленд-Ярда, иронически повесил трубку и не торопясь приклеил себе рыжую бороду.

Иван Степанч грустно ужинал. В дверь ломились американки, заключая между собой пари и лихорадочно подкупая хитрых лакеев.

Недорогой наемный убийца решительно надвинул кепи на порочные глаза. Чемпионы потирали руки. Время состязания грозно приближалось.

Ежедневно Иван Степанч приезжал на автомобиле в Спортинг-Палас на тренировку. Он быстро выходил из

лимузина, отбиваясь от двадцати четырех американок, обстреливавших его бананами, туберозами и чековыми книжками.

Дабы ни один нескромный глаз не мог проникнуть в мировую тайну Иван Степанча, ко времени его приезда тренерский зал освобождался от недовольных чемпионов. Иван Степанч вышел в зал, и директор, затаившись гаваной, бдительно развалился в кресле против хлопнувшей двери.

— А теперь надо действовать. Кажется, он уже там, — пробормотал наемный убийца, заgrimированный водосточной трубой.

Он висел вдоль наружной стены тренерского зала, на высоте десяти футов от уровня моря. Небольшой карманный лом и цепкие пальцы сделали свое дело. Негодяй осторожно вынул один из кирпичей и заглянул в тренерский зал. Иван Степанч стоял перед контрольным мячом и задумчиво перелистывал словарь.

Убийца затаил дыхание. Сейчас он узнает азиатскую тайну Иван Степанча...

А в это время Гарри Пиль с ловкостью молодой змеи полез по ребру соседнего небоскреба.

Ничего не подозревавший Иван Степанч перелистывал словарь, изредка поднимая глаза к потолку и старательно выговаривая:

— Будьте добры, мистер, дайте мне один билет на очень скорый поезд в Сан-Франциско.

— Тысяча чертей, хороший прием! — буркнул негодяй с легкой завистью. — Этот парень мне начинает нра...

Но он не окончил фразы. Тяжелая рука Гарри Пили легла на его плечо.

— Ни с места, негодяй! Именем закона вы арестованы! Приближались полисмены.

Не зная того, что он был на волосок от смерти, Иван Степанч особенно ласково улыбнулся директору и сел в автомобиль.

— Пожалуйста, на вокзал, — сказал он шоферу.

Мотор помчался. Но следом за ним помчались два

других мотора. Один, легковой, — с Гарри Пилем, другой, грузовой, — с двадцатью четырьмя американками.

Они настигли Иван Степанча у самого вокзала.

Гарри Пиль ловко прыгнул из своей машины прямо в машину Иван Степанча и спешно надел на бедного шофера наручники, затем, повернув к расстроенному чемпиону добродушное лицо, гениальный сыщик приподнял котелок.

— Мистер, негодяи хотели вас похитить как раз накануне состязания. Вас везли на вокзал. Но, к счастью, я подоспел как раз вовремя.

Двадцать четыре американки торжествовали.

— Да здравствует Иван Степанч! — кричала восторженная толпа.

Иван Степанч перелистал словарь и старательно сказал, раскланиваясь.

— Напрасно вы беспокоитесь, я не боюсь негодяев.

В день состязания директор потирал руки. Иван Степанч грустно натягивал на свои тощие, но очень волосатые ноги красивое трико.

Десяток сыщиков во главе с Гарри Пилем шныряли в коридорах цирка, охраняя Иван Степанча от злостных покушений.

Чемпионы волновались в ожидании страшного жребия.

Спортинг-Палас содрогался, как лейденская банка. Джаз-банд играл туш. Двадцать четыре американки рыдали от нетерпения.

Наконец на арене появился директор:

— Мистеры, состязание начинается. Сейчас будет брошен жребий.

Двенадцать чемпионов всех цветов интернациональной радуги выступили в зыбкую полосу ослепительных прожекторов. Вслед за ними вышел тощий Иван Степанч. Цирк задрожал от аплодисментов. Иван Степанч слабо раскланивался.

Двенадцать жребиев было брошено в цилиндр директора, и двенадцать чемпионов, обливаясь холодным потом, опустили в него мускулистых рук.



Жребий достался чемпиону среднего веса, голландцу Ивану Гутену. Голландец поблел, спешно начал письмо в Амстердам, своей престарелой матушке.

Иван Степанч, загадочно улыбаясь, положил на ковер словарь.

Иван Гутен передал письмо директору цирка, в последний раз пожал одиннадцать рук товарищей-чемпионов и вышел в круг, надевая перчатки.

Раздался свисток. «Будь что будет», — подумал несчастный голландец, не смея отвести своих честных глаз от ироничных глаз Ивана Степанча.

С отчаянием обреченного кинулся к неумолимому Ивану Степанчу и дал ему в морду.

Кожаная голова мопса закрыла на секунду всю узкую голову Ивана Степанча.

Вентиляторы жужжали в мертвой тишине, как аэропланы, разбрасывая сильные электрические искры.

Иван Степанч пошатнулся и упал. Судьи схватились за часы, считая секунды.

Голландец вдавил голову в богатырские плечи и ждал гибели. Он не сомневался, что ближайшие три секунды принесут ему гибель.

По правилам бокса, борец, пролежавший более десяти секунд, считается побежденным.

Прошла одна секунда, две и три.

Вентиляторы жужжали. Иван Степанч лежал.

Четыре, пять, шесть, семь.

Иван Степанч лежал.

Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать и тринадцать.

Гробовое молчание.

Прошло еще две минуты, после чего на арену вышли четверо очень красивых лакеев в простых фраках, взяли Ивана Степанча за руки и за ноги и унесли.

Публика неистовствовала.

— Что это значит, негодяй? — заревел директор.

Иван Степанч с трудом раздвинул левым глазом возду-

тую разноцветную щеку, перелистал словарь и старательно выплюнул на ковер четыре передних зуба.

Толпа громила Спортинг-Палас.

1923

## Кедровые иголки

Сонькин шумно ворвался в кабинет директора треста. Директор в это время говорил по двум телефонам, писал доклад, пил чай с бубликами и считал на счетах. Лицо у него было измучено. Он удивленно посмотрел на незнакомого Сонькина.

— Я — Сонькин. Здравствуйте. Вы можете заработать.

— Да? — спросил обалдевший директор, плохо воображая, что ему говорят.

— Пишите аванс на пять тысяч золотом, и через пару дней они уже будут у вас на складах.

— Кто — они?

— Кедровые иголки. Сто пятьдесят тысяч пудов.

— К-кедровые и-иголки? Вы с ума сошли?

Сонькин снисходительно улыбнулся:

— Именно кедровые, именно иголки, и именно это вы, скорей, сошли с ума.

— Милый, но для чего же нам кедровые иголки, если наш трест занимается исключительно рыбой? И вообще, не мешайте мне работать! Я занят... Да, да! Я слушаю! Алло! Кто говорит?.. Червонцы? Ничего подобного — товарные рубли! И воблу, естественно! Алло!!

Сонькин уютно развалился в кресле, разглядывая бронзовую собаку на директорском столе.

Директор покончил с телефоном и принялся за доклад.

Сонькин улыбнулся краем левого глаза и дружески посоветовал:

— Все-таки вам надо купить кедровые иголки.

— Вы еще здесь?! — воскликнул директор. — Това-

ищ, вы мне мешаете работать! Вы видели на дверях надпись «Без доклада не входить»? Попрошу вас выйти.

Сонькин опечалился.

— А где у вас написано, чтоб без доклада выходить?

— Курьер, выведите его! Он мне действует на нервы.

— Курьер, не надо! Я сам. Товарищ директор, до свиданья! Я уже ушел. Так не забудьте: вам надо купить кедровые иголки!

Директор зарычал.

Сонькин интимно подмигнул курьеру и выскользнул из кабинета.

В кабинет вошел секретарь.

Он учтиво изогнулся.

— Семен Николаевич, исключительный случай! Сто пиадесят тысяч пудов кедровых иголок, баснословно дешево! Верных тридцать процентов! Пять тысяч рублей комиссом и...

Директор вытаращил глаза:

— Что? Опять кедровые иголки? И вы тоже? Милый, но для чего же нам вышеупомянутые иголки, если мы трест «Рак-рыба»?

Секретарь пожал плечами:

— Выгодно-с!

— Но объясните, почему?

— Потому-с!

Директор схватился за голову:

— Отстаньте от меня! Мне не нужны кедровые иголки. Поняли? Ступайте!

Секретарь грустно улыбнулся.

— Слушаюсь! А все-таки вам нужно купить кедровые иголки.

Директор повалился головой в бумаги.

На цыпочках вошел курьер. Он осторожно поставил ткан чаю на бумаги и застенчиво пробормотал:

— Товарищ директор! Вам надо купить кедровые иго...

— Вон! — зарычал директор.

Позвонил телефон. Директор сорвал трубку.

Из телефонной трубки послышался тоненький голос:

— Вам надо купить кедровые и...

Директор разбил стулом телефон и бросился домой.

— Маня! Они меня замучили. Обед готов?

Жена сняла с головы шляпку, которую она только что примеряла, нежно посмотрела на директора треста и тихо сказала, опустив ресницы:

— Милый, ты должен купить кедровые иголки!

Директор упал без чувств.

Сонькин работал.

— Ну, как мы себя чувствуем? — спросил врач, ощущая директорский пульс.

— Нич-чего, спасибо, — бледно улыбаясь, сказал директор. — Кедровых иголок, надеюсь, можно не покупать?

Доктор поднял кверху указательный палец:

— Именно вам надо купить кедровые иголки!

Директор тихо заплакал.

— Господи, на что же мне сто пятьдесят тысяч пудов этих проклятых иголок? Хоть бы граммофонные они были, а то кедровые!

В гостиной попутай кричал через короткие промежутки:

— Вам надо купить кедровые иголки!

Директор спал плохо и видел во сне пожарную лестницу, которая говорила:

— Вам надо купить кедровые иголки. Понятно?

На следующее утро осунувшийся и похудевший директор входил в переднюю треста. Швейцар весело снял с него пальто.

— Ну что, товарищ директор, изволили купить кедровые иголочки?

Директор бросился в кабинет и прохрипел:

— Хорошо! Черт с вами! Позвать этого, как его, который иголки... Манькина... Я покупаю эти самые...

— Так я уже здесь, — нежно сказал Сонькин, вылезая из-под ящика письменного стола. — Вот ассигновочка на пять тысяч рублей золотом. Подпишите. И через пару дней они будут у вас на складе. Мерси! Бегу расплачиваться с агентами. До свидания! Моя фамилия Сонькин, не забудьте.

Сонькин стремительно исчез, потрясая ассигновкой. Директор глухо рыдал.

Продолжение — в судебном отделе любой московской газеты.

1923

### Всесоюзная редкость

**М**не стоило больших трудов вытащить Ивана Ивановича из дому. Он упирался руками и ногами, презрительно морщился и фыркал.

Наконец-то мы очутились на территории выставки. Тогда я взял гражданина Витиева за рукав и сказал:

— Ну-с! Протрите хорошенько свое меньшевистское пенсне, пригладьте патлы, чтобы они на глаза не лезли, и любуйтесь. Видите? Это все сделала ненавистная вам Советская власть в итоге невероятно тяжелых пяти лет революции. А вы еще, помните, говорили: «Погубили Россию большевики! Демагоги! Предатели!» Ведь говорили?

— Говорил, — мрачно сознался гражданин Витиев.

— То-то! А теперь и любуйтесь. Видите — вон киргизская юрта, вон показательная новая, советская деревня... Опять же образцовый скот, инвентарь и сельскохозяйственные машины. Может быть, желаете видеть иностранный отдел? Пожалуйста! Рукой подать... Надеюсь, теперь-то вы не станете отрицать, что глубоко ошибались насчет большевиков?

— Заблуждался, — глухо сказал Витиев.

— Вот и отлично! Теперь погуляйте, посмотрите, поучитесь, так сказать, а мне надо в одно местечко сбегать, я сейчас вернусь. Прощайте!

Через десять минут я увидел, что возле какого-то недостроенного павильона собралась громадная толпа.

— В чем дело?

— Да как же, гражданин! Экспонат. Живого меньшевика показывают.

Я с трудом пробрался через толпу и очутился возле недостроенного павильона. Иван Иванович робко стоял на каком-то пустом ящике и, качая бородкой, неуверенно лепетал:

— Товарищи... погубили Россию... это самое... большевики... демагоги. Хозяйство разрушено... Рабочие голодают...

В толпе раздался дружный хохот.

Рабочий в синей блузе весело подмигнул:

— Ишь ты! Живой меньшевик! И где только такой экспонат достали?

Какой-то мальчишка деловито заметил:

— Ён игрушечный. На пружинку заводится.

— Да ну?

— Вот тебе и ну!

— Ребята, не мешайте слушать, пущай говорит. А ну, ты, волосатый, заводи пластинку про Учредительное собрание!

Иван Иванович растерянно заморгал глазами и, робко кашлянув, сказал:

— Да здравствует это самое... Учредительное собрание. Толпа залилась дружным хохотом.

— Ай да экспонат!

— Ископаемый, можно сказать. Теперь такого днем с огнем не сыщешь. А ведь в свое время на каждом переулке торчал, и ничего — никто не удивлялся! Переменилась Советская Россия за пять лет! Ох, переменилась!

Обратно мы ехали на извозчике. Я нежно поддерживал потрясенный экспонат за талию. Иван Иванович наклонился к моему плечу и говорил плачущим голосом:

— Не понимаю, для чего эти самые выставки устраивают?.. Только хороших людей обижают. Погубили Россию большевики... Демагоги... Да здравствует Учре...

И устало махнул рукой.

На территории выставки весело гремела музыка.

1923

### Упрямый американец

Счетыре часа я водил мистера Смита по выставке.

Я показал ему хлопок, жесть, железо, дерево, кожу, сало...

Американец молчал как истукан.

— Мистер Смит, — сказал я задушевно, — товарищ Смит... Ну хоть теперь, когда мы уже все смотрели, скажите искренне и чистосердечно свое мнение о нашей выставке.

Американец поправил роговые очки.

— Замечательная выставка! Спорить не буду. Но это все показное. Это все — пышная витрина магазина, в котором ничего нет. Я уверен, что девяносто девять процентов посетителей вашей хваленой выставки под пиджаками не имеют даже рубаш.

— О! — воскликнул я.

— Хотите пари?

— Хочу.

— Тысяча фунтов против одного!

— Есть. Эй, молодой человек! Будьте любезны. На одну минутку. Десять фунтов хотите заработать? Хотите? Отлично! Снимите пиджак. Да не стесняйтесь, чудак вы, снимайте. Здесь дам поблизости нет.

Американец ехидно улыбался.

Молодой человек застенчиво снял пиджак.

— Прошу убедиться — великолепная егерская рубаша.

— Это единичный случай, — тупо сказал американец.

— Ах, единичный случай! Хорошо. Папаша! Дядя! Как вас там? Будьте любезны, снимите пиджак. Да не стесняйтесь, папуля. Червонец заработаете. Прошу убедиться. Рубаха. Не стану, конечно, уверять, что она батистовая, но что из хорошего домашнего полотна, так это факт. Спасибо, папуля, за мной червонец.

— Это не факт.

— Великолепно! Возьмем третьего. Эй, снимите пиджак! Не стесняйтесь! Здесь все свои люди. Вот чудак! Червонец заработаете!

Молодой человек испуганно покраснел и пытался улизнуть. Американец злорадно улыбнулся:

— Э, нет, подождите, снимайте пиджак!

Я схватил молодого человека за шиворот и стащил с него пиджак.

О, ужас! На молодом человеке не было рубахи.

— Ага! — закричал американец. — Я же был уверен. Я говорил!

Разъяренный молодой человек закрылся пиджаком и смущенно пробормотал:

— Это ошен нэкарашо — так поступайт с заграничным гостем. Я буду жаловаться нах дейтче миссия...

Американец был убит. Он выложил, по крайней мере, полфунта фунтов и исчез.

Я расплатился с потерпевшими и, весело насвистывая, пошел жертвовать на Воздушный флот.

1923

## Смерть Антанты

Антанта доживает последние дни.

Из газет

**А**нтанта сидела на подушках в глубокой, но очень удобной семейной калоше и умирала.

Возле нее шептались доктора:

— Острое малокровие и воспаление Рурской области.



— Положение серьезное.

— Позвольте, коллега! Совершенно наоборот. Сильная форма конференции с легкой примесью разжижения финансов.

— Гм!

— Что касается меня, то я думаю, что у пациентки английская болезнь.

— Не может этого быть! Английская болезнь — детская болезнь. А пациентка — особа пожилая.

— Вот-вот! Значит, впала уже в детство.

— По-моему, у больной французская болезнь.

— А также испанка.

— Скорее, турчанка...

— Во всяком случае, сильные приступы социализма нилицо.

— Вы хотели сказать — на лице?

— И на лице. Тоже. Ссадины порядочные.

— Коллеги, обратите внимание: болезненное сужение... проливов и вывих Моссула.

— Ерунда! Мы имеем дело с чисто психическим заблуждением.

— Вы думаете?

— Уверен. У больной опасная мания.

— Именно?

— Мания величия.

— Ну, это не так опасно. Я думаю, что у нее есть другая мания, более серьезная.

— Какая?

— Гер-мания.

— Что вы говорите?

— Ну да. Больная все время бредит углем.

— Это плохой симптом.

Бедные и богатые родственники, разбившись на группы, тихо совещались по углам.

— Наследство?

— Гро-мад-ное.

— Что вы говорите?

— Одних... долгов сколько!..

— А кто же... будет платить, если старуха протянет ноги?

— Как вы выражаетесь! Стыдитесь!

— А черт с ней! Чего стесняться! Никто не слышит. Вы лучше скажите, кто будет платить долги?

— Естественно кто: родственники.

— Да? Вы думаете? Ну, я пошел, мне пора. Я и так на десять минут опоздал. Бегу, бегу!

— До свидания. Впрочем, я тоже... опоздал. Бегу

Родственники бросились бежать, как крысы с тонущего корабля.

— Тише! У больной падает...

— Пульс?

— Нет, франк.

— Дайте зеркало. Что, никого нет? Все сбежали? Ну и родственнички!

— Ну что ж! Вечная ей, как говорится, память! Спи с миром, дорогая собак... То есть, что это я говорю?.. Тетя.

А с улицы доносилось пение «Интернационала».

Это синеглазые кредиторы грозно надвигались в дверь, сжимая в руках неоплаченные счета.

Счета за войну, за рурский уголь, за врангелевскую авантюру, за расстрелянных коммунистов и еще за многое другое.

Лица у них были беспощадны.

1923

## Мой друг Ниагаров

### 1. Ниагаров в рабочий кредит

Мой приятель, небезызвестный Ниагаров, осмотрел меня с ног до головы уничтожающим взглядом и сказал:

— Брюки длиннее, чем полагается, на пол-аршина, чего нельзя сказать о рукавах, которые короче на три четверти. Хи-хи! И потом — что это за набрюшник?.. Ах, не

нибрюшник, говоришь? А что же это такое?.. Ах, жилет! Ниноват, ви-но-ват! Спорить не буду. Конечно, может быть, это у вас называется жилет, только не так я себе представляю эту часть туалета. Что, специально в Конотоп ездил заказывать костюмчик? Сознайся, плутишка! В Конотоп?

Я застенчиво опустил глаза.

— В Мосшвею. Ездил. Специально. Заказывать. На Петровку.

— На Петровку? Ми-лый, да на Петровке я тебе оденусь, как молодой принц!

— Ну, брат, на рабочий кредит не очень оденешься.

— А что такое?

— А то. Приказчики не уважают. «Забирай, говорят, что дают. Много вас тут, разных-всяких, с талончиками шляется». Я не успел и глазом моргнуть... Раз-два... На все деньги, и вот видишь...

Ниагаров уничтожающе сверкнул глазами:

— Деревня! Шляпа! Одевайся, идем.

Через полчаса мы с Ниагаровым входили в магазин Мосшвеи на Петровке. Ниагаров засунул руки в карманы и, крутя папиросу в небрежно стиснутых зубах, подошел к приказчику.

— Будьте любезны. Костюм. Самый лучший. И шляпу. Самую лучшую. Полдюжины рубаш. Самых лучших. Живо.

— В рабочий кредит? — подозрительно осведомился осторожный приказчик.

Ниагаров сдвинул брови:

— Бол-ван! Не видишь, с кем разговариваешь!

— Виноват, вашсясь... Простите... не признал... Писька, стульчик господину! Митька, сними с господина шляши! Колька, принеси господину стакан воды. Разрешите-с снять-с мерочку-с...

Ниагаров вертелся перед зеркалом и, презрительно искривив губы, цедил:

— Черт знает что! Под мышками жмет. Воротник лежит на затылок. Брюки короткие. Не годится. Другой!

— Сей минут, вашсясь... Пожалте ножку. Так. Согните ручку. Так. Красота. Как вылитый.

— Матерьял дрянй! Не годится. Другой...

Через два часа, одетый с ног до головы, как молодой принц, Ниагаров небрежно подошел к кассе.

— Получите. Талон. Моя фамилия Ниагаров. Мне еще тут остается кредиту на два червонца. Отметьте. Мальчик, отвори дверь. До свидания!

С неподражаемой грацией поскрипывая новыми башмаками, Ниагаров прошел мимо обалделого приказчика и вышел на улицу. Вот тебе и рабочий кредит!

— Видал-миндал? Де-рев-ня! А теперь разрешите вас чествовать обедом в «Праге». Тут у меня еще два червонца от кредита осталось.

— Жаль ведь...

— Младенец! При известном умении кредитом можно воспользоваться с большой помпой. Учись, юноша! Извозчик, в «Прагу»!

## 2. Лекция Ниагарова

Громадная аудитория Политехнического музея была переполнена учащейся молодежью и профессорами. Деловитые рабфаковцы нетерпеливо ерзали на скамьях. Свердловки нервно теребили клеенчатые тетрадки. Строгие очки профессоров, френчи инженеров и буденновки генштабистов говорили о важности и серьезности предстоящей лекции.

Я мечтательно облокотился на барьер и думал: «О, милая, отзывчивая советская молодежь, которая так трогательно тянется к солнцу знания, преодолевая на своем пути житейские невзгоды, холод и даже голод! О, седые, умудренные наукой ученые, которые, подобно своим ученикам, пришли сюда для того, чтобы обогатиться новыми положительными знаниями из области прикладной техники! О, серьезные генштабисты, еще так недавно переносившие все опасности Гражданской войны, которые урвали из своего скромного бюджета львиную долю для

того, чтобы купить билет на эту исключительную лекцию! Они все пришли сюда для того, чтобы услышать (как об этом гласили тезисы на афише) о потрясающих достижениях человеческого гения в области междупланетных сообщений. И ни одного режущего пятна. Ни одного толстого нэпмановского лица. Ни одного кричащего туфле...

Я запнулся и окаменел. Изящно раздвигая толпу и рассыпая направо и налево «пардон, пардон», с красивым желтым портфелем под мышкой, прямо на меня шел Ниагаров. Его галстук был непередаваемо роскошен, и остроносые малиновые туфли стоили не менее восьми червонцев. Он снисходительно улыбался и благоухал.

— Ниагаров! — воскликнул я в изумлении. — Как ты сюда попал? По имеющимся у меня достоверным сведениям, здесь не предвидится ни хореографических эскизов Голейзовского, ни игривого кабаре с участием Хенкина, ни даже маленькой семейной партии в баккара. Тебя, очевидно, ввели в заблуждение. Или, может быть, ты, плутишка, бросил шумный и рассеянный образ жизни и начал на старости лет интересоваться проблемами междупланетного сообщения... хи-хи...

— Мой друг, — строго остановил меня Ниагаров, — проблема междупланетного сообщения интересовала меня с детства.

— Но...

Ниагаров кисло поморщился и сказал с ударением:

— Проблема междупланетного сообщения интересовала меня с детства, и сегодня я наконец решил выступить с публичной лекцией по этому интересному вопросу.

— Что?! Ты?! Читать?! О междупланетном сообщении?! Лекцию?! А ты себе температуру мерил?

— На нас смотрят, — прошипел Ниагаров. — Пойдем. Ты меня провалишь... Сиди здесь, дурак, — сказал Ниагаров, кинув меня на диван, когда мы пришли в артистическую. — Сиди и молчи.

К Ниагарову подошел молодой человек. Ниагаров отвел его в сторону.

— Сколько?

— Пятьдесят червонцев. Ни одного билета.

— Гм! Извозчик стоит?

— Стоит.

— Мгм... Ну, в таком случае, Бузя, давайте третий звонок.

Я кинулся к Ниагарову:

— Ниагаров, ты этого не сделаешь!

— Вот еще глупости. Посиди здесь, я сейчас приду.

С этими словами Ниагаров открыл дверь и, величественно улыбаясь, вышел на эстраду. Раздались аплодисменты. Я приоткрыл дверь.

— Милостивые государи, милостивые государины, товарищи, я бы сказал, граждане, — начал Ниагаров баритоном, небрежно играя автоматической ручкой. — Как вы, вероятно, догадались, предметом нашего сегодняшнего собеседования будет проблема междупланетного общения.

Профессор поправил очки. Свердловки начали записывать, рабфаковцы одобрительно улыбнулись.

— В сущности, господа, что такое междупланетное сообщение? Как и показывает самое название, междупланетное сообщение есть, я бы сказал, воздушное сообщение между различными планетами, кометами и звездами. То есть безвоздушное. В чем же, господа, разница между воздушным сообщением и сообщением безвоздушным? Воздушное сообщение — это такое сообщение, когда сообщаются непосредственно через воздух. Безвоздушное сообщение — это такое сообщение, когда сообщаются без всякого воздуха. Приведем пример. Аэроплан. Что такое аэроплан? И чем он отличается, скажем, от автомобиля? И здесь и там мотор. И здесь и там бензин. И здесь и там колеса. На первый взгляд как будто никакой разницы и нет. Но, господа!.. Виноват, вы, кажется, что-то сказали?.. Вот здесь, в шестом ряду... Ничего? Простите, пожалуйста! Итак, пойдём дальше. Значит, ав-

гомогиль... Виноват? Вы хотите, чтобы я перешел непосредственно к проблеме междупланетных сообщений? Пожалуйста! Как вам известно, господа, поверхность земного шара покрыта толстым слоем воздуха, что не может не поминать на движение нашей планеты в плоскости своей аклиптики...

— Эклиптики, — поправили Ниагарова из четвертого ряда.

— Простите, эклептики. Совершенно верно. Ошибся, так сказать, этажом ошибся. Знаете, есть такой анекдот, что пьяный муж пришел домой и видит, что его жена целуется с каким-то неизвестным молодым человеком...

Ниагаров сделал паузу и общительно подмигнул первым рядам.

Публика зашумела.

— Позвольте, — слышались голоса, — мы сюда пришли, чтобы слушать о междупланетном сообщении, а не о пьяном молодом человеке!!

— Да в том-то и дело, — весело воскликнул Ниагаров, — что молодой человек был трезвый, а муж был пьян как сапожник!

— Довольно! Довольно! — слышались голоса. — Деньги назад!

— Господа! — выкрикнул Ниагаров. — Если вы не понимаете шуток, то я буду говорить о междупланетном сообщении. Междупланетное сообщение...

На эстраду вышел человек в очках и сердито стукнул грифином по столу. Я закрыл глаза.

— Довольно! Вы мне баки автомобилями не забивайте. Что вы порете чушь про междупланетное сообщение между кометами? Да вы знаете, что такое комета?

— Что это, экзамен?

— Я вас спрашиваю по-человечески: вы знаете, что такое комета?

— А вы знаете? — цинично спросил Ниагаров, играя автоматической ручкой.

Публика с ревом ринулась на эстраду, ломая скамьи.

— Бузя! Тушите свет! — крикнул Ниагаров, пролетая мимо меня как вихрь. — Грузите кассу на извозчика!..

— Можно подумать, что проблема междупланетных сообщений более опасна, чем проблема японского землетрясения или проблема аборта, — сказал мне на следующий день Ниагаров, меняя компресс. — Ерунда! Лишь бы кассир был свой парень и извозчик не подвел. Послезавтра у меня лекция о проблеме омоложения.

— Безумец! И ты будешь читать? — ужаснулся я.

— Если хватит морды, — весело улыбнулся Ниагаров, — как говорится в одном старом еврейском анекдоте.

### 3. Знаток

Роскошный и шумный Ниагаров схватил меня за руку и воскликнул:

— Как! Ты еще не на выставке! Жалкий провинциал! Пойдем. Я буду твоим гидом. Я, брат, специалист в этой области. Я, брат, можно сказать, всю эту самую выставку собственными руками выстроил. Подойди к любому мальчишке-папироснику и спроси: «Мальчик-папиросник, кто выстроил Всероссийскую сельскохозяйственную выставку?» — и мальчик-папиросник тебе скажет: «Ее выстроил Ниагаров». Ну?

— Хорошо, поедем! — сказал я.

Ниагаров засиял:

— Вот умница! Сейчас мы это устроим в два счета это тут, рядом. Эй, извозчик! На Сельскохозяйственную выставку — полтинник.

— Что вы, вашсиясь! Два рублика! Конец-то какой — не иначе как десять верст.

Ниагаров смутился:

— Ну уж и десять! Я-то отлично знаю, где эта самая выставка помещается. Верст семь, не больше. Полтора, одним словом.

Мы поехали.



— Вот, смотри и удивляйся! — нравоучительно сказал Ниагаров, когда мы после долгих поисков главного входа попали на территорию выставки. — Удивляйся и учись. Это тебе, брат, не твоя Балта. Выставка, брат! Все-рос-сий-ски-я! Одна только ее площадь занимает девяносто пять квадратных верст. Специально для нее Крымский мост построен. Я строил. Ну, дружище, пойдем. Вот, видишь павильон?

— Вижу, — застенчиво сознался я.

— Так знай же, о юноша, что этот павильон не что иное, как точная копия Байдарских ворот. Только моря не хватает. Не успели. Я строил.

— А почему он такой маленький?

— Младенец! А что ж, по-твоему, Байдарские ворота больше? Уж будьте уверены! Три недели строил, до последнего сантиметра все вымерял.

— А почему он деревянный? И почему возле него хвост стоит? И потом...

— Эх, провинция-матушка! Это туристы очереди дожидаются. Точная копия. Хочешь, подыдемся?

Мы подошли.

Один из туристов колотил кулаками в дверь Байдарских ворот и орал:

— Гражданин! Вы уже три часа уборную занимаете! Польза же так! Ведь люди дожидаются!

— Пойдем отсюда, — развязно сказал Ниагаров. — Это не так интересно. Сейчас ты упадешь в обморок от изумления. Я покажу тебе... гм... Я покажу тебе настоящую швейцарскую корову...

— Не может быть!

— Молчи, несчастный! Здесь все может быть. Гляди! Чудесный экземпляр! Ты только посмотри. Какой хвост, какая чудесная шоколадная шерсть, а глаза-то, глаза! Прямо как у лошади, умные.

— Ниагаров, — укоризненно сказал я, — как тебе не стыдно! Во-первых, швейцарские экспонаты на выставку не принимаются по случаю бойкота, а во-вторых, это не корова, а лошадь. И не экспонат, а она запряжена в телегу.

Но Ниагаров не унывал.

— Вздор! Это не важно! Пойдем! Ты сейчас упадешь в обморок. Живых бухарцев видел? Нет? Эх, глушь, глушь! Гляди! Видишь, какие полосатые, просто прелесть! Брови у них, по обычаям ислама, насурьмлены, а ноги выкрашены. Можешь потрогать руками, если хочешь. Это можно.

Один из бухарцев оглянулся и оказался хорошенькой женщиной.

— Нахал! Вы не смеете приставать к порядочной женщине!

— Смотри-ка! — воскликнул Ниагаров. — Английская территориальная пехота! Видишь, дуся, какая у них красивая форма?

Английский пехотинец подошел к Ниагарову и сказал:

— Гражданин, если будете приставать к женщинам, отправлю в район.

— Ладно, — сказал опечаленный Ниагаров. — В таком случае сейчас я вам покажу нечто исключительное. Голову потеряете. Пивная-с. Настоящая пивная «Новая Бавария».

На тот этот раз он оказался прав. Пивная была «Новая Бавария». И через час я потерял голову.

#### 4. Птичка божия

Ниагаров ворвался в кабинет редактора:

— Здравствуйте, товарищ редактор! Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Работаете?

— Работаю.

— Работайте, работайте! Кто не работает, тот не ест, как говорится. Правильно. И вообще — мир хижинам, война дворцам! Принес тебе стишки. Лирика. Незаменимо для октябрьского номера. Пятьдесят за строчку — деньги на бочку. А, как тебе это нравится? Видал-миндал? Это, брат, тебе не фунт изюму. Слушай:

Птичка божия не знает  
Ни заботы, ни труда,  
Хлопотливо не свивает  
Долговечного гнезда.  
В долгу ночь на ветке дремлет,  
Солнце красное взойдет...

И так далее! А? Каково? Сознайся, плутишка, что ты не ожидал такой прыти от старика Ниагарова. Я, брат, профессионал! Буржуазный поэт! Ха-ха! Гони монету...

Редактор покрутил отяжелевшей головой:

— Это нам, товарищ, не подходит.

— Почему же оно вам не подходит? — обидчиво заинтересовался Ниагаров.

— Потому что несовременное.

— Несовременное? А красное солнце, которое взойдет. — это тебе что? Прямой намек на социальную революцию! Определенно!

— Не подходит. Потому — у вас «птичка божия» и «гласу бога»... Принесите что-нибудь пролетарское. И без бога. Тогда пойдет.

Ровно через год Ниагаров стоял против редактора:

— Пей мою кровь. Без бога. Пролетарское. Слушай:

Птичка наша уж не знает  
Ни заботы, ни труда,  
Хлопотливо не свивает  
Долговечного гнезда.  
В долгу ночь на ветке дремлет,  
Солнце красное взойдет...

Обрати внимание: *«Солнце красное взойдет»!*

Птичка гласу Маркса внимлет,  
Встрепенется и поет...

— Не пойдет. Нет идеологии. Нет современности. И попом — что это за птичка, которая не знает ни забот, ни труда? В концлагере место такой птичке, а не на страни-

цах советской печати. О Колчаке что-нибудь лучше написали бы!

Ниагаров увял.

— Жалко. А если я с идеологией, и с современностью, и с Колчаком напишу?

— Тогда пойдет. До свидания! Закрывайте за собой дверь!

Через год Ниагаров возбужденно сказал:

— Вот. С идеологией. Современное, и про Колчака есть.

Птичка наша уже знает  
И заботы и труды,  
Хлопотливо выкидает  
Колчака она в пруды...  
В долгу ночь на ветке дремлет...  
Солнце красное взойдет!  
Птичка нас...

— Не пойдет, — перебил редактор. — Несовременно. Ниагаров сардонически захохотал.

— А Колчак — это тебе не современное?

— В прошлом году было современно, а теперь несо-  
временно. Теперь надо про польскую войну писать. Не  
пойдет.

Год спустя Ниагаров посмотрел в упор на редактора и  
процедил сквозь зубы:

Птичка польская не знает  
Ни заботы, ни труда,  
Хлопотливо не...

— Не пойдет!

— Позвольте. Там дальше...

— Знаю, знаю! И «солнце» не пойдет, и «красное» не  
пойдет, и «взойдет» тоже не пойдет. Ничего не пойдет. Не-  
современно.

— А Польша?

— Устарело. О нэпе теперь писать надо. Закрывайте за собой дверь!

— Здравствуйте!

Птичка божия не знает  
ни заботы, ни труда,  
Нэп для птички не свива...

— Не пойдет.

— Почему?

— Потому что нет идеологии.

— А солнце красное, которое взойдет, — это вам не идеология?

— Использовано. Кроме того, у вас там сказано, что птичка вострепнется и поет. А что она поет — неизвестно. Может быть, что-нибудь контрреволюционное? До свидания. Закрывайте за со...

За дверью послышался печальный голос Ниагарова:

— Обратите внимание:

Солнце красное взойдет,  
Птичка гласу бога внимлет,  
Вострепнется и поет:  
«Это есть наш пос-лед-ний  
И ре-ши-тель-ный бой...»

## 5. Ниагаров-журналист

В первом этаже редактор сказал Ниагарову:

— Товарищ Ниагаров! вы не человек, а вихрь. В двух словах — гоните сочный, выпуклый, яркий и незабываемый очерк из жизни моряков. Наша газета «Лево на борту» щедро заплатит вам. Можете? Когда будет готово?

— Через десять...

— Ну, это долго.

— Через пять.

— Ниагаров, пять дней — это слишком долго!

— Чудак, вы говорите — дней, а я говорю — минут.

Хе-хе! Где у вас тут ближайшая машинистка? Вот эта блондинка? Благодарю вас. Мадемуазель, вы свободны? Заняты? Ерунда! Ведомости подождут. Пишите...

Через пять минут Ниагаров загнал редактора в правый угол.

— Ну-с! Прошу убедиться. Слушай: «Митька стоял на вахте. Вахта была в общем паршивенькая, однако, выкрашенная свежей масляной краской, она производила приятное впечатление. Мертвая зыбь свистела в снастях среднего компаса. Большой красивый румб блистал на солнце медными частями. Митька, этот старый морской волк, поковырял бушпритом в зубах и весело крикнул: «Кубрик!» Это звонкое и колоритное морское восклицание как нельзя больше соответствовало переживаемому моменту. Дело в том, что жалованья не платили третий месяц, а райкомвод спал. Ау, райкомвод, проснись! Не мешало бы райкомводу завязать себе на память несколько морских узлов в час!» Все.

Редактор лежал без чувств.

Ниагаров сунул ему рукопись в карман.

— Вот чудак! Не выдержал выпуклости старого пирата Ниагарова. Плачешь, старик? В море захотелось? Ну, плачь, плачь. За деньгами приду позже. У меня еще вагон дел.

Во втором этаже Ниагаров сказал редактору:

— Что у вас тут? Газета «Рабочий химик»? Ладно. Я знаю, что тебе надо. Тебе надо, чтобы было ярко, выпукло, сочно и из быта химиков. Через пять минут. Где у вас тут машинистки? Что? Ведомости пишут?.. Пишите, мадам!.. Вот, готово. Ну-с, старина, слушай: «Старый химический волк Митя закурил коротенькую реторту и, подбросив в камин немного нитроглицерину, сказал: «Так что, ребята, дело — азот». — «Известно, форменные спирохеты, — подтвердили ребята, вытирая честные, изъеденные суперфосфатом руки об спецодежду, которую завком обещал выдать еще в августе, а теперь декабрь... и тянут. — Не мешало бы кое-кому и всыпать нафтали-

ну». Ну как тебе это нравится? Что, даже слезы на глаза навернулись? То-то! Ниагаров, брат, знает, как и что. Ну, приди в себя, за деньгами загляну позже. У меня еще уйма работы, побегу к железнодорожникам.

— Где у вас тут машинистка? Здравствуйте, барышни... Готово? Мерси... Ну, слушай: «Старый железнодорожный волк открыл семафор и вошел в тендер, где ютились его честная, несмотря на ее многочисленность, семья. Посреди комнатки, оклеенной портретами вождей железнодорожного пролетариата, весело потрескивая, горела букса. «Умаялся я, Октябрина», — сказал Митрий жене. «И то, Май Петрович, и как не умаяться! Чай, до сих пор спецодежды не выдали?» — «Не выдали, Октябрина, ох, не выдали. А я, глядь, свои буфера сносил совсем». Где-то далеко за водокачкой грустно гудел шлагбаум. По шпалам шел местный П-42».

Вдалеке в голову Ниагарова били склянки. Этажей было пять, а Ниагаров летел с самого верхнего. А вы говорите — профессиональная печать!

## **6. Ниагаров-производственник**

Небезызвестный Ниагаров, потомственный и почетный спец, помощник директора мебельной фабрики «Дагиль стулья», сделал эффектную паузу и продолжал бархатным баритоном:

— Итак, милостивые государи, милостивые государины, граждане и, я бы сказал, товарищи! Обрисовав в ярких красках основные задачи нашего сегодняшнего производственного совещания, я хотел бы остановиться на вопросах, непосредственно связанных с самим производством стульев, столов, гарнитуров и прочих предметов, являющихся основным и перманентным элементом нашей, так сказать, альма-матер.

— Вот так здорово завинтил! — раздался робкий возглас из задних рядов.

Ниагаров строго постучал автоматической ручкой по столу и продолжал:

— Именно-с, альма-матер... И нечего хихикать! Каждый образованный человек должен знать, что это значит. А если вы, товарищ из седьмого ряда, мало интеллигентны и интеллектуально консервативны, можете покинуть аудиторию. Да-с! Итак, господа, поменьше слов, побольше дела. Перед нами стоит сложная и ответственная задача — удешевить свое производство и вытеснить с рынка частную мебель, но, прежде чем подойти к вопросу вплотную, мы должны бросить ретроспективный взгляд на все этапы, пройденные мебельным производством за последние двести-триста лет. Гм... В своем поступательном движении эволюция мебельного производства эпохи Ренессанса была тесно связана с живописными школами того времени. Это может показаться парадоксальным, но си нон э вэро, э бэн травато, как говорили великие знатоки мебели, древние римляне...

Среди рабочих начался шум. Раздались голоса:

— Да ты нам баки не забивай древними римлянами!

— Ближе к делу!

— Ты лучше скажи, как лучше стулья делать — на шпильках или на гвоздях?

Ниагаров обиделся.

— Господа, попрошу не шуметь! Разрешите мне, как незаменимому спецу, осветить мебельный вопрос в широком масштабе, в аспекте мировой истории, при ярком свете беспощадного анализа фактов, которые по своей эквивалентно...

— Довольно!

— Заткни фонтан!

— Что ты нам тычешь в глаза аспектом да эквивалентом? Ты нам лучше про мебель говори. Как ее подешевле да получше сделать?

Ниагаров слегка побледнел.

— Вы хотите, чтобы я говорил непосредственно про



мебель? Хорошо. Я буду говорить про мебель. Возьмем, например, господу, стул. Из чего состоит стул? Стул состоит из четырех ног, спинки и сиденья... Гм... да... Гм... Ни первый взгляд — просто. Но, господу, то есть товарищи... Возьмем простой стул и бросим на него ретроспективный взгляд в ракурсе конкретизированного и перманентного производства...

Аудитория, ломая на своем пути скамьи, с воем ринулась на Ниагарова. Ниагаров ловко увернулся от летящей в него галоши и юркнул в боковую дверь.

— Беда с этими спецами! — со вздохом говорили рабочие. — Ты ему про стулья, а он тебе про ретроспективный!

На другой день Ниагаров уже выступал на другом производственном совещании.

Полузакрыв глаза и изящно помахивая автоматической ручкой, он вдохновенно говорил о производстве автомобиля под углом перманентно изменяющейся ситуации исторических событий, с точки зрения ретроспективного анализа мирового империализма.

## 7. Похождения Ниагарова в деревне

Небезызвестный Ниагаров выкинут из пятнадцати учреждений: из пяти за взятки, из пяти за пьянство, из пяти по сокращению. Вот Ниагаров, а вот его орудия увеселения: граммофон, гитара и кошка.

---

— А между прочим, жрать хочется. Ба, идея! Поеду в деревню. Там, говорят, шефов любят. А ну-ка, где мои большие очки и мой красивый портфель?

— Однозвучно гремит колокольчик. Гай-да тройка! Ямщик, погоняй лошадей! Знай, кого везешь: Ниагарова везешь! Ка-к-каналья!

— Кто едет?

— Ниагаров едет. Из центра. Не иначе как шеф.

— Ты председатель сельсовета? Каналья! Почему без колокольного звона меня встречаешь? Не потерплю! Vedi меня в красный угол. Пироги чтоб! И прочее чтоб!

— Я, братец ты мой, с самим Ваней Калининым на дружеской ноге!

— Какой же он Ваня, ежели его Михаил Ивановичем звать!

— Деревенщина. Для кого Михаил Иванович, а для кого и просто Ваня. Ведь мы с ним друзья детства. Учились вместе. В кадетском корпусе.

— А ты, баба, не пищи! Я с тобой по-хорошему... Шефскую работу среди женщин, можно сказать, веду не покладая рук, а ты упираешься. Нехорошо, баба! Нельзя от смычки уклоняться, баба!

— А это-та что? Кооператив? Очень приятно. Отнеси, братец, этот мешочек мучицы в мою бричку. Да сахарку прихвати. Так сказать, от подшефной волости дорогому шефу на добрую память. Хи-хи!

— Плохая у вас изба-читальня, ребята! Самоучителя танцев нету. Смотреть противно. Тьфу!

— А это что? Касса взаимопомощи? А ну-ка, проверим, как она у вас работает. Дай-ка мне, братец кассир, до среды червячка два-три. Мерси. Старайся, кассир! Я тебя не забуду, кассир! Прощай, кассир!

— Прокатный пункт. Всякие там молотилки для удобрения. Ерунда! И-и... Су-пер-фос-фат.

— Ты мне лучше, председатель, покажи самогонный завод. Желаю искоренять пьянство!

— Очень хороший завод. Вот это я понимаю. Ведер шить в день, чай, добываете?.. Больше? Ого!! Молодец! Старый. Я тебя не забуду. Ик!

— Черт возьми, крепкий спиртыга! Ик! Где это я? Издрасствуй, свинья. Дай я тебя поцелую, детка. Люблю. Ик! Жив... жив... жив... жи-вотно-водство. Я тебя не забуду, свинья. Спокойной ночи, свинка!

— Кто едет?

— Настоящий шеф едет. А тот оказался липой!

— Предъявите, гражданин, ваши документы. Посмотрим, какой вы есть шеф.

— П... п... пожалуйста! Удостоверение о досрочном освобождении из тюрьмы, квитанция за электричество, повестка от народного следова...

### **8. Ниагаров-радиолобитель**

Ниагаров деловито ворвался в мою комнату и отрывисто бросил:

— Работает хорошо?

— Ч-чего... работает?

— Радио, говорю, хорошо работает?

— Совсем не работает, — застенчиво сознался я.

— А что такое? — встревожился Ниагаров. — Антенны пошаливают? Или, может, землю плохую для заземления покупали?

Мне было совестно обманывать этого чистосердечного добряка.

— У меня вообще... нет радио... — глухо прошептал я.

Ниагаров схватился за голову:

— Как?.. У вас?.. Вообще?.. Нет?.. Радио?.. Да вы с ума сошли! Да в таком случае я должен вам немедленно его устроить... Не-мед-лен-но.

— Зачем же... немедленно? — бледно улыбнулся я.

— Никаких возражений, именно немедленно! Никаких отказов! Ни-ни! Тем более что это так просто... Домашними средствами. Без особых затрат и дорогостоящих приспособлений. В два счета. Раз-раз — и готово. Клянусь, что через каких-нибудь полчаса вы будете, не сходя с места, наслаждаться большим академическим балетом. Впрочем, к делу. Не такой человек Ниагаров, чтобы зря языком болтать. Где у вас тут ближайший чердак?

У меня потемнело в глазах.

— Это что?

— Т-трубка телефонная.

— Телефонная? Это хорошо. А вот мы ее сейчас. Чик-чик — и готово. Была телефонная трубка — и нету, так сказать, телефонной трубки! Да вы не волнуйтесь! Чудак человек, нельзя же, чтоб радио — и было вдруг без трубки. А это что?

— З-з-звонок электрический.

— Оч-чень хорошо! Отличная антенна! Где ножницы? Спокойно! Чик-чик. Готово. Мерси! А это что такое?

— Ф-ф-форточка.

— Гениально! А вот мы ее сейчас. Чик-чик. Дзынь — и ваших нет... Чудак человек — опять плачет. Чего, спрашивается? Ведь нужно же куда-нибудь заземление всунуть?.. Холодно? Ерунда! Говорят, на днях опять потеплеет. А это что у вас такое из бокового кармана торчит?

— Ч-ч-ч-часы-ы...

— Замечательно! А ну-ка, давайте их сюда. Да не бойтесь, ничего ужасного не будет. Чик-чик — и готово. Я только маленькую пружинку из них вытащил, а остальное можете носить себе на здоровье. Чудак человек, не может же быть радио без детектора. А это что?

— Г-г-г-граммофон. Только, товарищ, он очень... дорогой...

— Дорогой? Тем лучше... Виноват, одну минутку. Где у нас молоток? Мерси. Чик-чик — и гото...

Через два часа я стоял на обломках своего семейного очага и, грозно потрясая над головой остатками дорогой пишущей машины, кричал Ниагарову:

— Негодяй! Ты ввел меня в заблуждение обманчивыми перспективами дешевого радио. Ты разорил меня и мою семью. Впереди мрак и нищета... Но я готов простить тебя, подлый Ниагаров, если услышу по твоему паршивому радио хоть один самый малюсенький звук. Хоть одно самое микроскопическое слово. Ну? Где же твоя радиопередача? Говори, гадина!

Ниагаров обидчиво заморгал глазами:

— Честное слово... вы меня прямо удивляете! Вы же понимаете, что я сделал все от меня зависящее. Как же можно что-нибудь услышать, если заземление плохое! Я же не виноват, что земля у вас под домом ни к черту...

Ниагаров не окончил своих гнусных оправданий.  
Я искалечил его.

### **9. Романтические скакуны гражданина Ниагарова**

— Алла верды! — закричал роскошный и шумный Ниагаров, с грохотом врываясь в мой номер. — Селям алейкум!..

Я лежал на кровати, меланхолически ловя за задние ноги больших и угрюмых владикавказских клопов.

На Ниагарове была новенькая черкеска с патронами на груди, большой серебряный кинжал, пара добрых кремневых пистолетов с насечками, карабин в косматом чехле и бутылка-термос.

— Что с тобой случилось, Ниагаров? — вяло интересовался я. — Можно подумать, что тебя сократили с места службы и, лишившись своего честного пятнадцатого разряда, в припадке вполне понятного острого отчаяния,

ты решил открыть небольшой кавказский ресторанчик с подачей напареули и шашлыка на вертеле?

— Ишак и баран! — сердито сказал Ниагаров. — В тебе нет никакой романтики... По Военно-Грузинской дороге ездил?

— Не ездил, — сознался я.

— Безумец! Он!! Не ездил!! По! Военно!! Грузинской!! Дороге?!?! В таком случае немедленно одевайся и едем. В седле держаться умеешь? Не умеешь? Тем лучше. Я тебя быстро научу. Главное — держись все время на шенкелях, хорошенько подтяни подпругу. Если будешь падать в Дарьяльское ущелье, не хватай коня за уши — карабахские жеребцы этого терпеть не могут.

— Я не хочу ехать по Военно-Грузинской дороге, — бледно запротестовал я.

— Ни-ни! — твердо сказал Ниагаров. — Никаких возражений! Иначе ты меня кровно оскорбишь, и я буду вынужден тебя немножко зарезать вот этим найшаурским клинком, доставшимся мне по наследству от самого Шамиля. Ну? По рукам? Едем?

— По рукам, — вздохнул я. — Едем.

— Вот и прекрасно! — воскликнул Ниагаров. — Сейчас я закажу у швейцара карабахских скакунов, и не пройдет какого-нибудь часа, как мы уже будем мчаться на головокружительной высоте, обгоняя встречных орлов и пугая горных газелей.

Я с дрожью вздохнул.

— Алла верды, — сказал Ниагаров швейцару, — селям алейкум... Слушай, кацо! Тыфлыс знаешь? Военно-Грузинская дорога знаешь? Так вот, я и мой кунак — ми желаем проехать по Военно-Грузинской дороге на Тыфлыс...

— Понимаю, — сказал швейцар.

— Два карабахских скакуна имеешь?

— Чего-с?

— Скакунов, говорю, карабахских имеешь? — внуши-

гельно отчеканил Ниагаров. — Потому я и мой кацо, который кунак, мы оба-два желаим на Тыфлыс верхом схать.

— Помилте-с... Верховых-с лошадок-с не держим-с! А которые граждане интересуются по Военно-Грузинской дороге проехать, обнакновенно на автобусах ездют. Прикажете два билетика-с?

— Эх, вы! Мещане! — бодро сказал Ниагаров. — Никакой в вас романтики нету! Ну да уж все равно. Раз нет карбахских скакунов, валяй два билета на автобус. Только чтоб задние места были...

— Ну, дружище, теперь держись! Смотри и удивляйся! — сказал Ниагаров, когда стосильный новенький открытый автобус марки «Фиат», наполненный экскурсантами, по удобному шоссе въехал в небольшие горы. — Сейчас ты увидишь Кавказ во всей его величественной красе, полной пленительной романтики и дикой прелести. Сейчас ты увидишь потрясающее Дарьяльское ущелье, где дикий Терек с воем и грохотом, играя, несет по своему кипящему руслу валуны и обломки скал... Ты увидишь сейчас развалины замка на вершине недоступной скалы, где, по преданиям, жила легендарная царица Тамара... Ты увидишь бешеные водопады, ты прочтешь на угрюмых скалах, повисших над пропастью, неизвестно кем выбитые цитаты из знаменитой поэмы легендарного грузинского поэта Шота Руставели. Ты увидишь бродячего певца, пробирающегося по легендарной неприступной горной тропе, который сжимает в смуглых руках потрясающую зурну, с тем чтобы в непосредственной близости к дикому небу воспеть дикую красоту знаменитых девушек Кайшаурской долины... Ты увидишь дикого орла, который, с недоступной поднявшись вершины, парит неподвижно со мной наравне... Ты, наконец, будешь свидетелем дикого нападения легендарных чеченцев, которые с высоты неприступных скал ринутся вниз, на наш потрясающий караван, кото...

Многие из экскурсантов рыдали.

— Товарищи, — торжественно провозгласил Ниагаров. — Внимание! Сейчас мы въезжаем в упомянутое мною Дарьяльское ущелье. Как видите, слева легендарный непроходимый Терек, а справа, на неприступной скале, знаменитый замок потрясающей царицы Тамары. Попрошу снять головные уборы!

Я с жадностью прижал к глазам бинокль и навел его на стены знаменитого и неприступного замка Тамары.

— Ну, дружище, что ты на это скажешь, жалкий филлистер и пошлый отрицатель романтики?

— Потрясающее зрелище, — сознался я, содрогаясь и ликуя.

Но в это время машина остановилась, и шофер, закатав штаны, деловито перешел Терек, направляясь к замку Тамары.

— Эй! Кацо! — закричал Ниагаров, бледнея. — Алла верды! Остановись, безумец! Что ты хочешь делать?

— Папирос купить, — флегматично ответил шофер, сплевывая через легендарный Терек. — Тут, в замке Тамары, единственный приличный кооператив, а во всех остальных замках Тамары пока что частники засели, так что, пожалуй, до самой Кайшаурской долины доброкачественной продукции нигде и не достанешь...

— Ну-с, — деловито заметил Ниагаров после напряженного получасового молчания, — ну-с, дружище... Сейчас мы будем проезжать мимо легендарных скал, повисших над пропастью, где выбиты знаменитые цитаты из непревзойденного творения феноменального поэта Шота Руставели. Ба! Вот и цитаты! Хватай бинокль и читай, пользуйся случаем. Не правда ли, незабываемые строфы? Это как раз из первой части легендарной поэмы «Носящий барсову шкуру». Читай же, читай!..

Я приложил к глазам бинокль, не без труда отыскал среди грязных камней легендарную цитату и прочел ее вслух:

СПЕШИ, ТОВАРИЩ, В СБЕРКАССУ —  
ПОЛУЧИШЬ УДОВОЛЬСТВИЙ МАССУ!



Немного повыше было написано красной краской:

**ВСЕ ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ЗАЕМ  
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ.**

Два часа ехали молча. Вдруг Ниагаров очнулся.

— Н-нуте-с! — с деланой бодростью воскликнул он. — Нуте-с... Теперь, мой скептический друг, держись. Из-за этого страшного поворота на беззащитных путешественников всегда нападают легендарные разбойники, чеченцы-джигиты, которые...

И действительно, из-за поворота вдруг выскочило несколько туземцев. С громкими криками они бросились к машине.

— Граждане! Приготовьте оружие! — фальцетом закричал Ниагаров, дико вращая торжествующими глазами и пытаясь извлечь из ножен кинжал. — Предлагаю биться до последней капли крови. Алла верды!

— Чего кричишь? — сухо заметил шофер, замедляя машину. — Режут тебя, что ли? Не видишь — люди газетку московскую просят. Матчем между Капабланкой и Алехиным очень интересуются. Спрячь ножик...

— Товарищи! — через два с половиной часа встрепенулся Ниагаров. — Смотрите и умиляйтесь! Видите в отдалении черную точку? Это не что иное, как фигура легендарного бродячего певца, местного трубадура, который, пробираясь по неприступной горной тропинке, в непосредственной близости к дикому небу, играет на своей старинной зурне, воспевая в мелодичных стихах дикую красоту популярных красавиц легендарной Кайшаурской долины... Внимание, сейчас мы поравняемся с ним. Шофер, будьте любезны, остановите машину, для того чтобы мы все могли услышать упоительную мелодию и непревзойдимые слова, которые...

Машина остановилась. На дороге стоял молодой туземец. В руках он действительно держал туземный музыкальный инструмент и действительно, перебирая струны

вышеупомянутого инструмента, пел нечто туземное и элегическое...

— Ага! Что я говорил! — с торжеством воскликнул Ниагаров. — А ты еще, скептик несчастный, не верил в существование высокой романтики!

В эту минуту молодой туземец с силой ударил по струнам инструмента и запел резвым голосом:

Это очень некрасиво —  
Нет у нас кооператива.  
Кооператива нет, —  
Куда смотрит сельсовет?

Разве это не позор,  
Что доселе среди гор  
Частный прячется хозяйчик,  
Бедняков грызет, как зайчик?

— Местный селькор, — пояснил шофер.

— Псевдоним «Красный Шакал», — любезно добавил молодой туземец, с новой силой ударяя по струнам.

— Товарищи! Граждане! Внимание! — хрипло крикнул Ниагаров. — Смотрите, орел летит! Я же вам говорил, а вы не верили! Смотрите, смотрите! Живой, настоящий орел, с отдаленной поднявшись вершины, парит неподвижно со мной наравне...

Над шоссе с шумом пронесся аэроплан.

Через два часа Ниагаров очнулся от обморока и, поднявшись со дна автобуса, обвел окрестности мутными глазами. Вдруг лицо его оживилось.

— Товарищи! Внимание! — пискнул он. — Шедевр романтической красоты! Слияние Арагвы с Курюю. Средневековый легендарный монастырь. Мцыри. Лермонтов... Дикая красота... Мрачный пейзаж... Обратите внимание...

Из-за внезапного поворота в темноте вдруг блеснуло море электрического света. Необыкновенно полновесные, плавные, широкие и солидные воды шумели в шлюзах

новой, мощной электростанции. Было светло как днем. И над плотиной возвышалась фигура Ленина.

— ЗАГЭС, — коротко сказал шофер.

По приезде в Тифлис я выгрузил из автобуса безжизненное тело Ниагарова и на извозчике отвез его в местное отделение Исторического музея, где он в состоянии полного оцепенения находится, вероятно, и по сей час, являясь редким экземпляром вымирающей породы русских романтиков.

1923 — 1927

## Фантомы

### I

... *У* так, все было как полагается...

Ночь... Революция... Метель... Москва.

Вероятно, я прошел тридцать верст и обошел сто улиц. И подымался и опускался. Я натыкался на греческие портики и скользил по обледенелым помоям проходных дворов. Я видел белый снег на черной голове Пушкина, который держал за спиной полубелую шляпу и смертельно кучал. В каком-то узком, высоком и темном переулке стоял дом, созданный для того, чтобы в нем родился Золя: каменноугольный, плоский и по-европейски старомодный. Напротив стоял другой дом, уходивший верхушкой во мрак. На нем было написано «крыша». Но почему крыша и чем она замечательна, я не успел обдумать, так как передо мною появился человек. Он возник из воздуха, из небольшого снежного вихря, не иначе. Гробовая зельность газового фонаря упала на его остренькую мордочку с мышинными глазками. Человек был одет крайне легкомысленно. Бабыя стеганая кацавейка поверх солдатской шинели, носившей на себе отпечаток сотни пехотных дивизий и распространявшей дезинфекционный запах доб-

рого санитарного эшелона. Ноги карлика были обкручены замогильными обмотками. Громадные солдатские башмаки, разъехавшиеся по всем швам носорожьими панцирями, еле защищали грязные ноготки детских пальчиков. Человечек испустил страшный вопль:

— О-у-э!

Тогда я еще не знал, что это — клич фантомов.

Теперь, через полтора года, когда я пишу эти строки, мне слишком хорошо известно значение этого ночного жуткого вопля. Сейчас второй час ночи. Слева от моего стола, свернувшись калачиком, спит жена. Под розовую щеку она положила ковшиком обе руки и, уткнув круглый, детский нос в подушку, обиженно сопит и сладко жует губами. Стол мой вплотную придвинут к двери. Дверь закрыта на крючок. За дверью — «они». Они говорят монотонно, тягуче, длительно, неинтересно, плоско. Но говорят, говорят, говорят... И вдруг за окном раздается стук. Моментально они поднимают невообразимый шум. Мебель трещит и падает. Валятся какие-то стекла. Пружины матраса бьют, как провинциальные стенные часы.

Раздается вопль: «О-у-э!..» Слышится сухое щелканье языка: «Эге!» И только что прибывший фантом, неуклюже зацепившись за подоконник, грузно валится в комнату. Гуп! Мой письменный стол содрогается. Жена испуганно вскрикивает во сне «ах!», открывает широкие синие глаза и минуту смотрит на меня в упор, ничего не понимая. Потом засыпает.

Десять минут за дверью они, захлебываясь, веселятся. Они палят вопросами и ответами, грузно хохочут, визжат, задыхаются, танцуют, суетятся, просят папироску, ищут спичек, декламируют, заывая, Андрея Белого. Кричат «тише, господа» и «просим». Проходит десять минут — и снова они впадают в деловитое уныние, и говорят, говорят, говорят. . Вот, например, под самой дверью кто-то бубнит таким деловым, небрежным, даже усталым голосом: «Видите ли, на днях я беру в аренду дом, так что вы не беспокойтесь. Сто двадцать четыре комнаты. Никакого ремонта. Освещение электрическое, отопление

шаровое, окна на юг. Представьте, до сих пор никем не занято! В центре города. Я сам удивляюсь. Дайте папироску. Плохая? Это ничего, благодарю вас...»

Впрочем, я, кажется, отклонился в сторону.

Итак, человек, возникший из воздуха, испустил вопль: «(О)-у-а!» Он склонил голову в эскимосской шапке набок, подобрался ко мне, сложил ручки на груди крылышками мифа и заговорил бабьим голосом:

— Ба! Кого я вижу? И вы здесь, в Москве? Приветствую вас, приветствую!

Я присмотрелся и, черт возьми, узнал его. Конечно, что тот же самый молодчик, который в свое время, на юге, предсказывал антихриста дрянным пятистопным ямбом и таскал за собой какую-то рыжую лошадь, уверяя, что это святая женщина Софья Ивановна.

— Милый Валя! Это — провидение! Да. Я знал, что встречу вас. Знал-с. Да. Я должен вам показать Москву. Гм! Немедленно. Это моя священная обязанность. Час ночи? Это ничего. Самое подходящее время. Пойдемте.

У меня не было ни малейшего основания отказаться.

Он вцепился в мой рукав и поволок через сугробы.

Всю дорогу он говорил. Он называл улицы и показывал дома, в которых обитали «совершенно изумительные люди». Он забегал вперед, путаясь под ногами, вертелся мелким бесом, расточал ласки и улыбки. Через каждые две фразы он восклицал в припадке конспиративного энтузиазма:

— Валя! Вы должны с ней познакомиться! Она святая женщина. Великая блудница!

— Лошадь-то?

Он укоризненно хихикал.

— Ай-яй-яй! Нехорошо! Святая женщина. Магдалина. Великая блудница, кристальный человек — Вера Трофимовна. Мученица.

Затем он, подмигивая, шептал мне в бок:

— Скупа, скупа-с. Врать не буду. Как черт скупа, но при случае может бутылку спирту поставить. Совершенно изумительная женщина! Святая. Мужа в милицию оп-

ределила. Красть заставила. Выгнали-с. А святая. Вы должны с ней познакомиться. Идемте-с. Не сопротивляйтесь. Грешно. А насчет ночлега не беспокойтесь. Будет. Святая женщина.

Мы пересекли какую-то часть ни с чем не соразмерного и затейливого города и наконец вышли на Чистые пруды. Здесь было меньше свету и больше снегу. Выпала пороша. В полупрозрачных белых облаках прорезывалась зеленоватая ущербная луна. Черная вязь деревьев смутно и дико рисовалась на ее туманном пятне. Голосили невесть какие петухи.

Это была Москва! Да, это была Москва, это были Чистые пруды, и в Кривом переулке над воротами дома мутным фосфором горела цифра.

Карлик засуетился еще пуще:

— Сюда-с, сюда-с! Держитесь за мой хлястик.

Он втоптал меня в туннель подворотни и втокнул в черную дыру. Я трахнулся головой о притолоку. В полной тьме (как за пазухой) он заставил меня опускаться и подыматься по каким-то ступенькам. Наконец послышался стук в дверь.

— Э-о-у! Эгэ? Войдите! (Из недр.)

Он потянул скобку. Дверь была не заперта. Темнота скрипнула и раскололась. Прямо в нос ударило крепким сивушным запахом. Следом за карликом, конфузясь от света, через гремящую железным хламом прихожую я вошел в комнату.

Великая блудница, кристальный человек, изумительная женщина Вера Трофимовна валялась посреди комнаты на громадном пружинном матрасе, завернувшись по голые толстые плечи в стеганое одеяло, пахнущее халвой и крысами. Над ней в пыльной, пышной, ужасающей люстре тупо горела одна дрянная электрическая лампочка слабого накала. Дюжина крыс метнулась из-под наших ног и дробным галопом брызнула в черные углы, полные антикварной дряни и окурков. Перед ложем великой блудницы стоял обеденный стол. Посреди стола ле-

мала горка сахарного песку. Рядом чулок и стоптанный башмак с левой ноги. Несколько ложек, грозных размеров бюстгальтер, полтора фунта хлеба, стеклянный кубок, скелет селедки, «Дали» Брюсова, картофельная шелуха, краска для губ, пудреница, машинка для снятия сапог.

Увидев нас, великая блудница еще раз сказала «эгэ» и щелкнула языком. Затем она заговорила, и больше уже никогда в жизни я не видел ее молчаливой. Это было стихийное бедствие. Катастрофа. Универсальные брошюры по всем вопросам литературы, техники, философии, этики, социологии и животноводства сыпались из этой мрачной щели, как из взломанного шкафа полковой библиотеки. Она уничтожала меня цитатами, зловеще хохотала, высовывала из-под одеяла толстую голую купеческую ногу, праскала облупленными яйцами глаз, чесалась под мышками, забивала в рот куски хлеба и жрала столовой ложкой сахарный песок.

Моему карлику не терпелось. Ему тоже страсть как хотелось поговорить. Он поправлял круглые стальные очки, потирал ручки-крылышки, мыкался по углам, совал в рот корки и приговаривал:

— Очень хорошо-с. Вот именно-с. Святая женщина. Великая блудница. Что я хотел бишь сказать? Да... Новая мемория...

Громадная, неуклюжая, обляпанная кашей кирпичная печь занимала четверть комнаты. Она стояла боком. Она угнетала своей сапожной трубой. Она была воплощенным надругательством над идеей домашнего очага. Все печи, виденные мною в период 1919—1921 годов, бледнели перед этим детищем военного коммунизма.

Обо мне забыли. Я уныло снял шапку и, как извозчик, пришедший на квартиру получать деньги с пьяного седока, нелепо путался в лисьей шубе с чужого плеча, которая в Харькове казалась мне весьма столичной. Мебель красного дерева, стеклянные горки, копии Маковского, румяные тройки и синие ящики на лаковых ларьках, бронзовые шандалы, японские ширмы, золоченые стулья, пор-

тьеры, сапоги, статуэтки, старинные монеты, сушеные грибы и немывые тарелки — вся эта московская бутафория, все было покрыто черной паутиной и хлопьями густой пыли. За окнами угадывалась свежая синева ночи.

Она все говорила и говорила. Карлик не вытерпел. Он выждал удобную паузу и резвой рысью ринулся по афоризмам великой блудницы. Они заливались в два голоса.

Насколько великая блудница в своих тирадах была бескорыстна, настолько карлик был расчетлив и корыстен. Она была просто глупа. Глупа восхитительной глупостью шестипудовой эмансипированной купеческой дочки, окончившей Высшие женские курсы и ударившейся в антропософию. Он был глуп далеко не просто. Он был глуп талантливо. Он говорил невероятную чепуху об иезуитах, об антихристе, о патриархе Тихоне, о мистике Соловьеве и о прочем в этом же духе, не забывая, однако, время от времени вздохнув, прошептать:

— Я взалкал, Вера Трофимовна! Взалкал. Хорошо бы поесть чего-нибудь. Да. О чем бишь я? Да...

Она была скупа, эта несчастная Рекамье N-го переулка. Но он был еще более настойчив. Она подбросила в печку дров и поставила на огонь громадную кастрюлю какого-то варева.

Этого карлику показалось мало. Он подмигнул мне украдкой и пошел сыпать таким отборным горошком, что блудница не выдержала. Она выпросталась из своего тряпья и зашлепала босиком в соседнюю комнату, откуда несколько раз уже выходил безмолвный, дубовый солдат с дымящимися ведрами. (Я ничему не удивлялся.) Она выскочила из таинственной комнаты, прижимая к пудовым грудям бутылку спирта, вакхически повела бедрами и, жадно закусив толстые губы, хрипло воскликнула: «Эгэ?» Ей было смертельно жалко своего добра, но у меня был настолько провинциальный вид, что не убить меня на месте широтой своей строгановской натуры было выше ее сил.





Валя Катаев. Чем не дук Ришелье?..



*И. Антоненко*

*ОДЕССА.*

Пока еще читатель. Но сколько уже впереди.  
Около 1900-го года



Дедушка писателя Отец Василий Катаев, бабушка Павла Павловна Катаева, дядя Николай Васильевич Катаев.

Стоят: *справа* — отец писателя Петр Васильевич, а *слева* его брат Константин.

60-е годы XIX века



Братья Катаевы — старший Валентин и младший Женечка  
(будущий писатель Евгений Петров).  
Одесса, 1903 год





Петр Васильевич Катаев с сыновьями  
в Швейцарских Альпах во время путешествия по Европе  
летом 1912 года



Валентин Петрович Катаев с женой Эстер Давыдовной и детьми — двухлетней Женечкой и новорожденным Павликом на даче возле автомобиля марки «Форд», привезенного из Америки Ильфом и Петровым по просьбе Катаева. Этот «Форд» был приобретен на катаевский гонорар и подарен писателем жене в честь рождения дочери.

В тот день была поставлена и последняя точка в рукописи знаменитой повести «Белеет парус одинокий».

Подмосковная Клязьма, лето 1938 года



Катаев—отец, опять же с детьми: Павлом Валентиновичем Катаевым ( будущим прозаиком и драматургом) и Евгенией Валентиновной (уже журналисткой).  
Переделкино, шестидесятые годы XX века



Желающих получить автограф у самого Валентина Катаева было несметное множество, как и на этом снимке.

За плечом Катаева (в профиль) его сын Павел.  
Пушкинские горы, 60-е годы прошлого века



## II

Да, доложу я вам, это был спирт. Самогонный, правда, но какой выделки! Давненько я не пробовал такого спирта. За первой бутылкой явилась вторая. Мы пили спирт из стеклянного кубка. Мы сыпали в него сахар, мы доливали его кофе, мы безумствовали. Тупая желтая лампочка размножалась под потолком со сказочной быстротой. Дубовый солдат проплывал взад и вперед, размахивая дымящимся ведром. Карлик снял шинель и в одной кацавейке вытапывал русскую. Она разметала свои русые подрубленные волосы. Грудь ее болталась. Она палила в меня порнографическими декадентскими стишками, восклицая:

— А? У вас на юге так писать умеют?

Это меня взорвало.

— У нас? На юге? Так? Писать? Ха-ха-ха!

Я не владел собой.

— А Нарбута Владимира «Александру Павловну» читали, сударыня? Нет?

Я вытащил из сапога книжку.

Карлик хлопал по бедрам рукавицами. Я ее раздавил. Его очки сверкнули и погасли. В стихах, которые я прочел, точек было больше, чем слов. И, клянусь, я эти точки яростно заполнил.

Ну и спирт же был, черт его подери! Часы у соседей прозвонили пять, а потом что-то много — не то четырнадцать, не то семнадцать. Дубовый солдат дымился, как миска щей, из которой торчат тараканьи усищи. Карлик лежал в углу и простирали вверх руку. Я потребовал подушку и три квадратных аршина чего-нибудь подходящего. Меня ткнули в темную комнату и уложили на неудобном. Ветер засвистал в ушах, и меня понесло вниз головой к чертовой матери в обратную перспективу.

Вчера тоже дул пронзительный ветер. День был яркий и ледяной. Ветер брил мои щеки. Он подметал булыжные мостовые незнакомых мне улиц, глодал голые, обледенелые с подветренной стороны деревья, раздувал до

невероятного блеска полярное стеклянное солнце, низко и косо висевшее в васильковом мартовском небе.

Шесть трактиров встретили меня у вокзала почетным караулом. Четыре из них были «Орел», остальные — «Тула». Улица называлась Садовая. Это был Курский вокзал. Это была Москва. Я был раздавлен.

Роскошный извозчик, вероятно родной сын того самого лихача в островерхой лисьей шапке, который в свое время возил князя Нехлюдова, коварный раскосый татарин типа Золотой Орды, потребовал с меня половину всех моих провинциальных сбережений. Я не осмелился возразить. Он был слишком столичен, а я слишком ничтожен. Он назвал меня «вашсиясь» и повез.

Я не скрою от вас ничего.

В тот миг я мечтал раскусить Москву, как орех. Я мечтал изучить ее сущность, исследовать, осмотреть, познать, проанализировать.

Я мечтал увидеть наркомов и Кремль, пройти по Тверской, снять шапку перед мелкими куполами арбатских часовен (о, Бунин, Бунин!), потрогать колесо Царь-пушки.

На каждой улице, по моим расчетам, должен был гулять кто-нибудь из великих — Шалапин в шубе или Маяковский в полосатой фуражке и шарфе.

Я знал, что в Москве есть кафе союза поэтов и еще кафе «Стойло Пегаса», битком набитые неоклассиками и имажинистами.

Исследовать Москву!

Не так-то легко это было сделать.

Немедленно же я попал в коварный заговор.

Улицы и переулки, дома и бульвары, церкви и автомобили, трамваи и тресты — они все сговорились против меня. Извозчик был с ними. Я ничего не понимал.

Несуразный город поворачивался ко мне углами и трещинами переулков. Дома шарахались и разбегались во все стороны. Трамваи пронеслись мимо, пугая мое нищее воображение литерами и искрами. Все без исключения в автомобилях были наркомы. Пешеходы сплошь

состояли из знаменитых. За десять минут, пока мы ехали по некоей монументальной улице, я насчитал не менее ста шестидесяти Шаляпиных и такое же количество Маяковских.

Часы на трамвайных остановках явно были в заговоре. Они путали время и приводили меня в замешательство. В начале улицы стрелки показывали четверть четвертого. В конце — без четверти четыре. А когда меня провозили через площадь, заваленную трамваями, на гигантском циферблате было десять минут пятого.

Я проехал через весь город, но не заметил ни Кремля, ни Щукинской галереи, ни Каменного моста, откуда Чехов так любил слушать пасхальный звон. Я даже не видел «Ира», того самого «Яра», где герои русских романов прожигали с цыганами отцовские деньги.

Зато я увидел зеленых лошадей.

Я запомнил их на всю жизнь. Они сделались моей путеводной звездой, моим ориентировочным пунктом, самым любимым моим местом в Москве. Их была четверка. Они летели над латинским портиком какого-то официального здания, вытянув ноги и классические шеи. Впоследствии я узнал, что это здание — Большой академический театр, а лошади эти — квадрига, как мне потом объяснили.

Человек, к которому я вошел в комнату, с ужасом посмотрел на мою дорожную корзинку и на сапоги. Он побледнел. Это был известный писатель.

Он был мужественным человеком.

Он поборол свой ужас и, бледно улыбнувшись, воскликнул глухим шепотом, — невероятно, но факт, он воскликнул именно шепотом:

— Ах, как я рад! Давно?

Мы расцеловались.

— Давно. Пятьсот улиц и тысячи переулков тому назад. Из Харькова. Я видел зеленых лошадей и множество часов, которые были заодно с извозчиком. Щукинской галереи я не видал. Дайте мне чаю. Я умираю от Москвы.

Он указал мне угол: сорок штук дорожных корзинок, столько же подушек и столько же чайников.

Я поставил свою наверх.

Мне дали чаю.

В соседней комнате пищал писательский младенец. Писательская жена кончиками пальцев сжимала виски. Сорок одна корзинка занимала треть комнаты. Копна корректур лежала на письменном столе, ожидая необходимой выправки. За окном, к вечеру, начиналась метель.

Я спрятал свои некрасивые сапоги под стул и жизне-  
радостно развлекал хозяев украинскими новеллами. В то же время я лихорадочно прикидывал, где бы мне расположиться на ночь. За печкой было бы, конечно, самое приятное, но на худой случай я бы не отказался и в сенях. Три стакана чаю, пора и честь знать. Однако хозяин тягостно молчал. Тогда я развязно встал и потянулся:

— Эх-эх-хе! Пора бы и на боковую.

Хозяин побледнел.

— Да, — сказал он, — уже того... десятый час. А вы что же, квартиру-то имеете?

Конечно, это была пустая формальность. Он знал, что у приезжих в Москву комнаты быть не может. Это знал и я. Но в лице хозяина я усмотрел нечто заставившее содрогнуться мое очерствевшее за пять лет сердце. Нет, положительно, у меня не хватило сил зарезать его, этого лихого хлебосола. Да, я украл в 1921 году в одном знакомом доме простыню, что отрицать бесполезно, но на убийство, честное слово, я был еще неспособен. Я небрежно зевнул.

— Квартиру? Да, имею.

Он обалдел.

Это была настоящая победа. Первая московская победа, она же, впрочем, и поражение.

Он весело встрепенулся:

— Так что же вы, голубчик? Еще стаканчик? Или хотите бай-бай? Ну, доброй вам ночи. Не буду задерживать, дуся, поезжайте, отдохните с дороги. Завтра — обедать. Где же вы устроились?

— Устроился? В районе этого самого...

— Вот и чудесно! Рад за вас. Прекрасный район.

Я попросил у него разрешения оставить свою корзину до завтра. Он с восторгом разрешил. Он умолял ее оставить. Он жалел, что это не велосипед в сосновом ящике.

Мы нежно простились.

Выпуская меня, писатель тревожно выглянул из сеней во мрак. Ночь и вьюга охватили меня в недрах этого собачьего переуллка, что в районе Трубной площади. Впрочем, впоследствии оказалось, что площадка Собачья, а переуллок Трубниковский, а вся эта музыка в совокупности помещалась в районе Арбата. Но в ту жуткую, вьюжную ночь мне ничего не было известно. Снег валил резко и обильно. Одинокий (эпитет каков, эпитет каков!), одинокий газовый фонарь задыхался в его дифтеритных налетах. Черный ветер дул в ресницы и жег уши.

Куда идти? Черт его знает?..

Единственная московская улица, известная мне из русской литературы, была Тверская. Та самая, по которой «возок несется чрез ухабы», но где находились вышеупомянутые ухабы — было покрыто мраком. И ни одного прохожего.

Мороз крепчал.

Увы, я не могу выразиться менее банально, ибо это был действительно добрый, выдержанный мороз и он действительно крепчал, черт его подери.

Идти можно было налево или направо. Я выбрал из двух зол меньшее и пошел направо. В десяти шагах я нагнулся на прохожего. Это был великолепный экземпляр замораживающего младенца. Драповое пальто, барашковый воротник, борода, пенсне и руки в карманах. Я обрадовался:

— Скажите, как пройти на Тверскую?

Он с трудом разодрал обледеневшие усы и жалобно ответил:

— Я приезжий. Но, быть может, вы знаете, как мне найти квартиру известного писателя? Это где-то здесь, поблизости, я уверен, но я забыл улицу и номер.

— Пятый дом налево. Торопитесь. Злоумышленники похищают вашу корзинку и чайник.

Он дико вскрикнул и кинулся во мрак.

Я закурил и, весело насвистывая «Интернационал», пошел дальше. Я шлялся по метели битых два часа, но никто не мог указать мне, как попасть на таинственную улицу. Не менее десятка прохожих застенчиво говорили:

— Я тоже приезжий. Но, быть может, вы знаете, как мне найти квартиру известного писателя?

Положительно Москва была населена провинциальными гостями моего столичного друга.

Улица сменялась улицей. Москвичи отсутствовали. Толпы «нездешних» двигались в этой великолепной ночной путанице светящихся циферблатов, косого снега, пылающих вензелей кино и загадочных слов «Моссельпром», выбитых электрическими гвоздями в черном небе.

Остальное вам известно.

### III

Я проснулся. Я вернулся из обратной перспективы неизвестно в котором часу утра и неизвестно где. Забыл.

Я лежал на сундуке. Вся комната была заставлена примусами, бидонами, змеевиками, бутылками. Это была очаровательная химическая лаборатория, небольшое предприятие на полтора ведра в день. Четыре примуса дружно гудели четырьмя синими розами, полными пчел. Окно было заставлено шкафом и завешено тряпками. Лампочка слабого накала горела сбоку мертво и угнетенно. Великая блудница деловито ползала меж синих роз с иголкой и, вся в пламени, звенела пожарными касками примусов. Стекланные стрекозы меркли над бидонами. Подо мною, в сундуке, слышалось сладкое сахарное брожение и посаывание. Там, в кадучках, под подушками шипела сахарная брага. Дубовый солдат возился с ведрами.

«Они» встали чуть свет.

Когда еще на улицах было пусто и розово, в утренний час белых столбов дыма и липовых толстых лопат двор-

ников, румяная бабенка Дуняша и ее сын Андрейка звенели в прихожей бутылками и шушукались с великой блудницей. Они положили в мешок товар, погрузили его на салазки-ледянки и двинули (от ворот поворот) по крепкому снежку, хрустящему, как огурец. Великая блудница всунула деньги куда-то под юбку, в панталоны.

Затем мальчик в башлыке, молочник, наливал у печки молоко в голубую саксонскую вазу. Великая блудница хитро говорила:

— За деньгами завтра придешь. Нету. Завтра об эту самую пору, утречком. Нету денег, видишь? Ну да, об эту пору самую. За мною две кружки.

Мальчик потоптался, высморкался в передней и, громыхнув листовой жестью, ушел.

Вдруг над самым моим ухом зазвенел телефон. Вера Трофимовна вихрем, подобрав юбки и мелькая голыми ногами, ринулась через аппараты, через пламя и змеешники к моему сундуку. Надо мною висел телефон. Она схватила трубку и всунула ее в растрепанные патлы возле уха. Ее глаза были круглы и толстые губы закушены. Она навалилась на меня локтем и, нервно почесывая затылок, сказала:

— Эгэ? Алло! Да, да...

Затем она завопила в трубку:

— Иван Платоныч, это невозможно! Это черт знает что! Это вас не касается... Что? Извините меня, пожалуйста, но этот номер не пройдет... — И пошла, и пошла. Она истерически хохотала и ругалась басом. Она вся наливалась кровью и багровела. Ее крутые глаза круглели и пучились.

Она повесила трубку и стала носиться по комнате, на ходу одеваясь, подмазывая губы и ресницы, прихлебывая из саксонской вазы молоко, суя щипцы в горящий примус и в рот — хлебный мякиш. При этом она говорила, говорила и говорила. Она была взбешена. Она выболтала мне все. Звонил экс-муж, Иван Платоныч. Негодяй. Мошенник, но с большими связями в милиции. Взяточник. Композитор-скрябинист. Они разводились. Он жил на

стороне. Они делили обстановку и вещи. Она дала ему какие-то брильянты, лишь бы он убрался из квартиры. Он съехал. Теперь он шантажирует. Скотина. Кроме того (глаза круглы и голос — конспиративный хрип)... он влюблен. В нее. Он ее домогается. Он будет стрелять. Это ужасный человек. Демонический. Швейная машинка ее, а не его. Она это так не оставит. Он дьявольски ревнив. Он подглядывает за ней в окна. Каждые полчаса он звонит. Он умоляет, грозит, хохочет. У него связи. Его знают все, он злой гений. Он «засыпет» самогон. Он такой! Он все может. Ах он сейчас придет!

— Ты его сейчас увидишь, Ивана Платоныча. (Это мне. На «ты».)

А карлик лежал на диванчике и, задрав ноги, ждал, когда дадут «подшамать», перелистывая с голодным отращиванием «Миги» Брюсова.

Я умывался в ванной. Крысы пищали за трубами. Полотенца не было. Утирался портьерой.

Иван Платоныч пришел, несмотря на восемнадцать градусов холода, в черном испанском плаще и сомбреро. Его лицо и длинный голубой нос в совокупности были похожи на тот нарисованный указательный палец, под которым обычно пишется: «Мужская уборная — первая дверь налево». Он держал во рту длиннейшую английскую трубку, пустую, впрочем. Он был высок и тощ, как антенна. С первого взгляда было ясно, что его пожирают высокие страсти и низкие инстинкты. Он криво и загадочно улыбался. Он сел за стол, щедро расставил ноги и процедил сквозь зубы:

— Ну-с, Вера Трофимовна... Как мы вырешим вопрос относительно швейной машинки и бронзовой девочки? А? Ну что, ваша фабрика работает?

Великая блудница заметалась, прыгая по золоченым стульям и саксонским вазам. Она кричала, топала ногами, швыряла небьющимися предметами и закусывала губу. Было видно по всему, что она дьявольски боится своего демонического «экса», у которого связи.

Он ледяным тоном требовал мебель. Она исступленно



кричала о брильянтах. Он язвительно спрашивал о ее любовниках. Она швырялась стоптанным башмаком с левой ноги. Он грозился съездить к Бондарчуку. Она вопила: «Вы этого не сделаете!» Он цедил: «Отдайте швейную машинку». Тогда начались счеты. Оба они понижали голос и шипели друг против друга, как две змеи. И вдруг из этого шипа взвывалось ракетой: «Ах! Если на то пошло, то кто крал дрова? Кто достал ордер на красный шкаф? Кто?..» — и дальше свистящим шепотком о браслетах.

Очевидно, в свое время «было дело под Полтавой».

Она рванула ящик стола и бросила ему в лицо браслет. Он повертел его, посмотрел пробу.

— Мерси, — сказал он. — За вещами я пришлю завтрак, но, может быть, ты одумаешься?..

Она стояла перед ним — руки в боки — в позе разгневанной царицы.

— Композитор! Негодяй! Оставьте меня в покое. Уволите свои вещи к черту!

Он закутался в плащ и исчез, хрипя пустой трубкой.

Потом она металась по комнатам, надевая лиловую шубу и рыжую папаху. Она кричала:

— Я этого не оставлю! Я поеду к Бондарчуку! Я ему подложу свинью!

Бондарчук был участковый надзиратель и жил рядом.

Как только она вылетела, карлик полез искать «шамонки». Он набивал рот холодной кашей и сахарным песком. Он блистал стальными очками и сокрушенно крутил мышинной своей головой.

— Ахти, какие неприятности! И вот всегда так. Взял-ки я от всего этого... Да, о чем бишь я? Да: кристальные люди. Оба. Он — совершенно изумительный композитор. Мил. Вы не знаете его Прелюдии смерти? Напрасно. Не от мира сего человек. Она тоже изумительная. Блудница. Грешница. Скупа-с. Скупа-с. Но...

И, закатив глаза, он рассыпался мелким горошком.

«Черта теперь меня отсюда выселят!» — весело подумал я и пошел к писателю за вещами.

В этот твердый, белый день я увидел Москву опять. Глениные лошади летели над портиком, вытянув класси-

ческие ноги и шеи. Хрипели автомобили. Трамваи сыпали искрами. Летел снег. Папиросники продавали «Иру» и «Яву». Зеленая черепица Китай-города и круглые Никольские ворота двигались панорамой через синие стекла пенсне, над лавочкой оптика. Кремль стоял грудой золотых яблонь и шахматных фигур. Василий Блаженный распустил свой павлиний хвост. Мосты на Москве-реке были в толстом снегу. Свистели полозья. Фыркали лошади. Стежанными громадами вставляли тресты. В частных коммерческих магазинах висели бревна осетров, которые сочились желтым жиром. Восковые поросята лежали за стеклами Охотного ряда. Перед «Рабочей газетой» зевачи читали «Крокодил».

Да, это была Москва. Это был нэп.

Снег мелко стриг множество заводных людей. Которые были с портфелями, которые без портфелей.

Я втащил свою корзинку в комнату, отодвинул при­мусы в угол, застелил сундук простыней и сказал:

— Довольно бродячей жизни. Здесь я буду жить долго. Черта вы меня выселите отсюда!

1924

## Товарищ Пробкин

Я тяжело вздохнул:

— Так-то, брат Саша! Засосала коммунистов мелкобуржуазная мещанская стихия. Канарейки. Пеленки. Суп с лапшой, голубцы и клюквенный кисель, одним словом... Такие-то дела.

— Не скажи. Я знаю многих, которые... Одним словом, пойдем. Я тебе покажу удивительного человека — Пробкина, коммуниста, вернее кандидата, его недавно в кандидаты перевели. А за что? За то, что в условиях нэпа, в самый, так сказать, разгар мелкобуржуазной стихии, умудрился сохранить всю свою коммунистическую чистоту. Можешь себе представить — он живет по прин-

циям девятнадцатого года, кристальная душа, а его в кандидаты на испытание, как нерабочий элемент... Одним словом, идем...

Нам открыл дверь швейцар.

— Что, товарищ Пробкин, секретарь коммуны имени Октябрьской революции, дома?

— Так точно-с. У себя в библиотеке-читальне-с. Как прикажете доложить?

— Доложи, братец, что экскурсия пришла. Обозревать коммуны.

— Слушаю-с.

Я удивленно открыл рот, но Саша ущипнул меня за локоть.

— Молчи, дурак, удивляться будешь потом, — прошептал он.

Мы поднялись по мраморной лестнице в бельэтаж. На массивной дубовой двери была прибита ослепительная медная табличка: «Николай Николаевич Пробкин. Директор треста «Красноватый шик». Немного пониже была табличка: «Образцовая коммуна имени Октябрьской революции» и «Без доклада не входить».

Дверь растворилась, и перед нами предстал удивительный Пробкин. На нем была грубая, засаленная блуза, из-под раскрытого ворота которой выглядывало хорошее белье и полосатый галстук бабочкой.

— Гляди, — сказал Саша, — это и есть замечательный Пробкин.

Пробкин скромно опустил глаза.

— Ну уж, и замечательный! Я что, я ничего. Живу себе помаленьку... Коммунально, коллективно, так сказать, на основе точного учета и кооперации. Ничего личного. Все общественное. Очень просто. Прошу убедиться. Например, общественное питание. Пожалуйста, госп...

На дверях столовой красовалась надпись: «Общественная столовая». Массивный дубовый стол, покрытый крихмальной скатертью, был со вкусом сервирован на че-

тыре персоны. На стенах висели деревянные зайцы и фрукты, перемежаясь с лозунгами: «Общественное питание — залог коммунизма» и «Не трудящийся да не ест» и т. д. В углу на мраморном столике стоял блестящий самовар с надписями: «Кипятильник» и «Не пейте сырой воды».

Пробкин самодовольно снял пенсне и повел нас дальше.

— Пожалуйста. Клуб имени Октябрьской революции. Прошу убедиться. Пианино. Видите надпись: «Музыкальная секция». Затем небольшая марксистская библиотечка. Станюкович, Метерлинк, Мамин-Сибиряк, Надсон и все такое. Исключительно издания Маркса. Попугай в клетке. Аквариум с золотыми рыбками — зоологическая секция. На столе журналы... хе-хе! Все как полагается. Здесь члены коммуны могут проводить свое время в приятном и полезном отдыхе...

— Эт-то удивительно! — воскликнул экспансивный Саша.

Пробкин скромно улыбнулся.

— Пожалуйста дальше. Детский дом и ясли. Видите — детишки. Так сказать, цветы жизни. Это старший — Коля, а это маленький — Ванюша. Коля, шаркни дяде ножкой. Все в папашу. Вот думаю переименовать старшего в Крокодила, а младшего в Секретаря. Дети получают прекрасный уход, чистое белье и отличную пищу. Детским домом заведует моя жена. Симочка, поди-ка сюда! Тут экскурсанты пришли... Она же и кормилица... хе-хе! По совместительству, так сказать. Ну, да ничего не поделаешь. Коммуна, знаете ли, маленькая, штат не особенно увеличишь.

Мы пошли дальше.

— Вот, пожалуйста! Обращаю ваше внимание: коммунальная кухня. А вот и секретарь ячейки нарпита. Здравствуй, Степан!

Монументальный повар в белом фартуке и колпаке степенно поклонился товарищу Пробкину.

— А что у нас, братец, сегодня на второе?

— Осетрина Макдональд и котлеты а-ля Коминтерн.

— Дальше, господа, ледник, кладовая, погреб, продо-

польственный склад и т. д. Это не так интересно. Затем еще есть местная ячейка женотдела. Опять же моя жена в ней орудует. Потом общая спальня для административного персонала. Ванная и так далее.

— А ты не верил, — шепнул мне Саша.

— А теперь, товарищи экскурсанты, не желаете ли закусить чем бог послал? Даша, поставьте два лишних коллективных прибора.

Пробкин торжественно подвел нас к закусочному столу.

— Рекомендую перед обедом. По рюмочке. У нас, знаете ли, вообще этого не полагается, но для дорогих гостей...

После сытного коммунального обеда, прощаясь с секретиром коммуны имени Октябрьской революции, я спросил:

— Скажите, товарищ, а много у вас в коммуне членов?

— О, сущие пустяки! Я, жена и двое детей, не считая швейцара и ячейки нарпита.

— Гм! А ячейки РКИ у вас, товарищ, нету?

— Хи-хи! Помилуйте! Для чего нам эта ячейка? У нас, знаете ли, главным образом детишки...

— Ага! Ну, в таком случае, конечно.

— Милости просим в следующий раз. Чем бог послал...

— Спасибо, спасибо! Товарищ Пробкин, мы очарованы вашим учреждением. Даю вам слово, что по возвращении домой я непременно сделаю подробный доклад о посещении вашей удивительной коммуны.

— Вы мне льстите, — застенчиво сказал Пробкин. — Где же вы будете делать доклад?

— В Центральной Контрольной Комиссии, — общительно подмигнул Саша.

Через неделю великолепный Пробкин предстал перед председателем Контрольной Комиссии.

— Садитесь, — учтиво сказал Пробкину человек в потертой гимнастерке, подымая утомленное лицо от бумаг.

И товарищ Пробкин сел.

На два года.

## Пасхальный рассказ

(Разумеется, с куличом)

Иван Иванович набожно перекрестился, не торопясь надел очки и откашлялся.

— Дорогие дети! Сегодня по случаю первого дня светлого Христова воскресения я хочу вам доставить приятное и полезное удовольствие. Сидите тихо и слушайте внимательно, я вам прочту замечательный пасхальный рассказ маститого писателя Идеалова, напечатанный в свое время в журнале «Нива».

— «Красная нива»? — деловито заинтересовался семилетний Саша.

— Не «Красная нива», а просто «Нива», — нравоучительно сказал дедушка. — Был в наше время такой светлый, идейный журнал.

— Не помню, — сказал Саша.

— Конечно, не помнишь. Ты еще тогда пешком под стол ходил. Маркс издавал.

— Маркс? — оживилась пятилетняя Соня. — Карл Маркс, который составил «Капитал»?

— Да, который составил капитал. Только он не Карл, а просто Маркс.

— Э, ты что-то путаешь, старик! — воскликнул Саша. — То у тебя «просто «Нива», то у тебя «просто Маркс». Ерунда какая-то.

Иван Иванович тяжело вздохнул и прошептал:

— Извольте-ка при таком воспитании доставить им приятное удовольствие. Элементарных вещей не понимают.

— Ну ладно, — сказал он. — Все равно. Не стану спорить. Конечно, теперешние дети ни в грош не ставят своих дедов...

— Ну что ты, дедушка, — вежливо сказал Саша, — мы тебя очень ценим, как незаменимого спеца. И вообще... Одним словом, читай, а то мы опоздаем.

— Итак, — начал Иван Иванович, — рассказ Анатолия Идеалова «Красное яичко».

— Может быть, «просто яичко»? — весело спросила Соня, подмигивая Саше.

— Нет, яичко на этот раз красное, — утрюмо сказал Иван Иванович. — Итак, я начинаю:

«На землю спустилась тихая пасхальная ночь. На черном бархате весеннего неба теплились мириады бесчисленных звезд, сплетаясь в причудливые хороводы».

Саша лукаво толкнул Соню локтем и подмигнул на деду. Иван Иванович строго кашлянул.

— «...сплетаясь в причудливые хороводы, — повысил он голос и продолжал: — Плавный пасхальный благовест плыл над городом. Тысячи колоколов звонили над городом в эту темную пасхальную ночь. О чем они звонили? Они звонили...»

— Позволь, позволь, — скептически прервал его Саша, — позволь... Я не совсем понимаю... почему, собственно, звонили эти колокола? На пожар, что ли?

— Дедушка, а что такое мириады? — спросила Соня. — Это больше миллиарда? Или меньше?

Иван Иванович густо покраснел.

— Александр, я прошу тебя не перебивать. Соня, не пертись. Отстаньте с глупыми вопросами, я продолжаю. Одним словом... «В доме московского купца второй гильдии Сысоя Пафнutyича Лабазова посередине столовой был накрыт пасхальный стол. Сысой Пафнutyич выпил рюмку английской горькой и опытными глазами осмотрел роскошную сервировку. Его внимание привлек облигый глазурью кулич».

— Куллидж?! — хором воскликнули дети. — Не может этого быть. Ты, наверно, ошибся. Кто угодно, только не Куллидж. Он никогда не бывал в России вообще, а у русских купцов в частности.

— Александр, ты, кажется, просто издеваешься над своим старым, седым дедушкой! Да у нас, если хочешь знать, каждый год раньше был кулич. Да не один, а штук пять.

— Ха-ха-ха! — залилась Соня. — Пять Куллиджей! Дедушка, а ты знаешь, кто такой Куллидж?

— Скверная девчонка, ты или глупа, или издеваешься надо мной. Кулич — это такой сдобный хлеб, понимаешь?

— Ну, знаете ли, — с достоинством развел руками Саша, — в таком случае нам с тобой больше не о чем говорить, потому что каждый, даже малосознательный, пионер, отлично знает, что Куллидж — это не сдобный хлеб, а душитель рабочего класса, американский президент. Пойдем, Соня, а то мы опоздаем на заседание, а мне это, как председателю пионерской ячейки «Лига времени», не совсем удобно. До свидания, дедушка, ты нам как-нибудь дочитаешь этот хороший пасхальный рассказ в другой раз. А насчет Куллиджа ты меня просто рассмешил. Газеты надо читать, старик.

Иван Иванович грустно закрыл «просто «Ниву» и вздохнул:

— Нет. Мы с ними говорим на разных языках. Они даже не знают, что такое кулич. И это называется воспитание!

Звонили колокола.

1924

## Бородатый малютка

**Т**од тому назад, приступая к изданию еженедельного иллюстрированного журнала, редактор был бодр, жизнерадостен и наивен, как начинающая стенографистка.

Редактора обуревали благие порывы, и он смотрел на мир широко раскрытыми, детскими голубыми глазами.

Помнится мне, этот нежный молодой человек, щедро оделив всех сотрудников авансами, задушевно сказал:

— Да, друзья мои! Перед нами стоит большая и трудная задача. Нам с вами предстоит создать еженедельный иллюстрированный советский журнал для массового



тения. Ничего не поделаешь. По нэпу жить — по нэпу и выть, хе-хе!..

Сотрудники одобрительно закивали головами.

— Но, дорогие мои товарищи, прошу обратить особенное внимание, что журнал у нас должен быть все-таки советский... красный, если так можно выразиться. А потому — ни-ни! Вы меня понимаете? Никаких двухголовых телят! Никаких сенсационных близнецов! Новый, советский, красный быт — вот что должно служить для нас негиссякающим материалом. А то что же это? Принесут портрет собаки, которая курит папиросы и читает вечернюю газету, и потом печатают вышеупомянутую собаку в четырехстах тысячах экземпляров. К черту собаку, которая читает газету!

— К черту! Собаку! Которая! Читает! Газету!! — хором подхватили сотрудники, отправляясь в пивную.

Это было год тому назад.

Раздался телефонный звонок. Редактор схватил трубку и через минуту покрылся очень красивыми розовыми пятнами.

— Слушайте! — закричал он. — Слушайте все! Появился младенец! С бородой! И с усами! Это же нечто феерическое! Фотографа! Его нет? Послать за фотографом автомобиль!

Через четверть часа в редакцию вошел фотограф.

— Поезжайте! — задыхаясь, сказал редактор. — Поезжайте поскорее! Поезжайте снимать малютку, у которого нет борода и усы. Сенсация! Сенсация! Клянусь бородой малютки, что мы подыдем тираж вдвое. Главное только, чтобы наши конкуренты не успели перехватить у нас бордатога малютку.

— Не беспокойтесь, — сказал фотограф. — Мы выходим в среду, а они — в субботу. Малютка будет наш. Мы первые покажем миру бакенбарды малютки.

Но те, которые выходили в субботу, были тоже не лыком шиты.

Впрочем, об этом мы узнаем своевременно.

На следующий день редактор пришел в редакцию раньше всех.

— Фотограф есть? — спросил он секретаря.

— Не приходил.

Редактор нетерпеливо закурил и, чтобы скрасить время ожидания, позвонил к тем, которые выходили в субботу:

— Алло! Вы ничего не знаете?

— А что такое? — наивно удивился редактор тех.

— Младенец-то с бородой, а?

— Нет, а что такое?

— И с усами. Младенец.

— Ну да. Так в чем же дело?

— Портретик будете печатать?

— Будем. Отчего же.

— В субботу, значит?

— Разумеется, в субботу. Нам не к спеху.

— А мы — в среду... хи-хи!

— В час добрый!

Редактор повесил трубку.

— Ишь ты! «Мы, — говорит, — не торопимся». А сам небось лопается от зависти. Шутка ли! Младенец с бородой! Раз в тысячу лет бывает!

Вошел фотограф.

— Ну что? Как? Показывайте!

Фотограф пожал плечами:

— Да ничего особенного. Во-первых, ему не два года, а пять. А во-вторых, у него никакой бороды нет. И усов тоже. И бакенбардов нету тоже. Пожалуйста!

Фотограф протянул редактору карточку.

— Гм... Странно... Мальчик как мальчик. Ничего особенного. Жалко. Очень жалко.

— Я же говорил, — сказал фотограф, — некуда было и торопиться. И мальчику только беспокойство. Все время его снимают. Как раз передо мной его снимал фотограф этих самых, которые выходят в субботу. Такой нахальный блондин. Верите ли, целый час его снимал. Никого в комнату не впускал.

Редактор хмуро посмотрел на карточку малютки.

— Тут что-то не так, — сказал он мрачно. — Мне Подрижанский лично звонил по телефону, и я не мог ошибиться. Говорят, большая черная борода. И усы... тоже черные... большие... Опять же бакенбарды... Не понимаю.

Редактор тревожно взялся за телефонную трубку.

— Алло! Так, значит, вы говорите, что помещаете в субботу портрет феноменального малютки?

— Помещаем.

— Который с бородой и с усами?

— Да... И с бакенбардами... Помещаем. А что такое?

— Гм... И у вас есть карточка? С усами и с бородой?

— Как же! И с бакенбардами. Есть.

Редактор похолодел.

— А почему же, — пролепетал он, — у меня... мальчик без усов... и без бороды... и без бакенбардов?

— А это потому, что наш фотограф лучше вашего.

— Что вы этим хотите сказать?... Алло! Алло!! Черт возьми! Повесил трубку. Негодяй!!

Редактор забежал по кабинету и остановился перед фотографом.

— Берите автомобиль. Поезжайте. Выясните. Но если окажется, что они ему приклеили бороду, то я составлю протокол и пригвозжу их к позорному столбу, то есть пригвоздую... Поезжайте!

Редактор метался по кабинету, как тигр. Через час приехал фотограф.

— Ну? Что?

Фотограф, пошатываясь, подошел к стулу и грузно сел. Он был бледен, как свежий труп.

— Выяснили?

— В-выяснил, — махнул рукой фотограф и зарыдал.

— Да говорите же! Не тяните! Фу! Приклеили бороду?

— Хуже!..

— Ну что же? Что?

— Они сначала... сфотографировали бородатого младенца... а потом... побрили его!..

Редактор потерял сознание. Очнувшись, он пролепетал:

— Наш... советский... красный малютка с бородой... И побрили! Я этого не вынесу. Боже! За что я так мучительно несчастлив?!

1924

## Сорвалось!

На другой день после перевыборов в жилищное товарищество старый управляющий домом, бывший помощник присяжного поверенного фон Ребенков спешно вывалял бархатную толстовку в саже, нацепил на грудь портрет Луначарского, взял напрокат у рабфаковца Искры порванные башмаки и, лихорадочно напевая «Интернационал», направился к новоизбранному председателю, рабочему Петрову, разговаривать.

Петров сидел на табурете перед подоконником и починая штаны.

— Пролетарии всех стран, соединяйтесь! — воскликнул бывший помощник присяжного поверенного, резво вбегая в комнату. — Кто не трудится, тот не ест, и вообще, мир хижинам — война дворцам! Здравствуйте, товарищ председатель! Давайте, товарищ председатель, знакомиться. Я, товарищ председатель, старый управляющий домом, товарищ Ребенков. Я, товарищ, вот уже два года собираюсь с вами как-нибудь познакомиться, да, знаете, все дела... У нас... хе-хе... знаете, в пролетарском государстве без этих самых дел никак нельзя. То, знаете, оргсобрание, то конференция, то Доброхим, то беспризорный флот, то воздушные дети, то есть что это я говорю?.. Хи-хи... Наоборот-с. Воздушный флот и беспризорные дети... Одним словом, вот.

Петров вколол иголку в обои и сказал:

— Хорошо, что вы пришли, а то я как раз собирался к вам. Тут требуется в спешном порядке провести пересе-

ление пролетарского элемента в лучшее помещение. Да и жилую площадь не мешает пересмотреть. А то поступают от рабочих жалобы, что нэпманы заели.

Фон Ребенков засуетился.

— Совершенно верно-с... совершенно верно-с... Именно нэпманы и именно заели... Я это самое вам и хотел сказать. Мы, рабочие, должны твердо взять в свои руки перераспределение жилой площади.

— А вы разве, товарищ, рабочий? — заинтересовался Петров.

— Почти, — застенчиво сознался фон Ребенков, — почти. Стопроцентный пролетарий умственного труда... С малых лет.

— Ну вот и отлично. Значит, вы мне и поможете в этом деле. Тут у меня имеется три заявления от товарищей о вселении их в лучшие помещения. Вот они.

Бывший помощник присяжного поверенного настоял уши.

— Во-первых, — сказал Петров, — заявление товарища Антипова, истопника. Живет в невероятных условиях. Полутемная каморка в подвале, рядом с отоплением. Грязь, копоть, одна стена сырая, а семья у него восемь душ. Шутка! Затем рабфаковец Искра. Живет где-то под крышей, в чулане. Дверь не закрывается, окон нет, в потолке дыры. Какие уж тут занятия! Затем — дворник. Семья — четырнадцать душ, живут в деревянном сарае. Ужас! Надо их как-нибудь облегчить.

Фон Ребенков одобрительно закивал головой.

— Вот именно-с! Я сам об этом думал. Опять же, со своей стороны, должен обратить ваше внимание на бедственное положение и других пролетариев из нашего дома. Так, например, товарищ вдова народного героя японской кампании Эполетова-Гаолянского живет в ужасных условиях. Две комнатенки в бельэтаже, ремонта не было вот уже два года, одна дверь скрипит. Ужас!.. Гостей негде принять. Затем льготный безработный Банкнотис. Комната у него, правду сказать, ничего себе, но на четвертом этаже! Ужас! Верите ли, на биржу труда ходить не

может. Проклятая лестница заедает. У него одышка, и, кроме того, грек. Прошу обратить внимание. Можно сказать, национальное меньшинство. Надо ему пойти навстречу. Я уже не говорю о себе. Живу черт знает в каких условиях. Верите ли, негде рояль поставить, портнихе негде повернуться, когда мерки с жены снимает.

— Так, так, — сказал Петров. — Надо облегчить их условия быта...

— Вот именно, — оживился Ребенков. — Облегчить условия быта. Я, например, предлагаю так: в первую голову мы займемся, конечно, истопником, рабфаковцем и дворником. На что, собственно говоря, жалуется истопник? Истопник жалуется на грязь и жару от отопления? Великолепно! Теперь мы зададим себе вопрос: на что жалуется рабфаковец Искра? Рабфаковец Искра, наоборот, жалуется на холод и дыры в потолке. Так в чем ате дело? Ясно — истопника Антипова надо переселить в более прохладное помещение, занятое рабфаковцем Искрой, рабфаковца Искру — в более теплое помещение, занятое истопником Антиповым. Не правда ли? Гениальное решение вопроса, товарищ председатель.

Петров утрюмо молчал.

— А что касается дворника, то, честное слово, ему и в сарае неплохо. И к сорному ящику близко, и двор на виду. Верно?

Петров молчал.

— Молчание — знак согласия! — весело крикнул Ребенков. — Итак, одна часть нашей задачи выполнена. Теперь нам остается облегчить условия быта мадам Эполетовой-Гаолянской, льготного безработного Банкнотиса и мое. Это будет потруднее. Но я думаю, что кое-кого можно будет уплотнить, кое-кого выселить, и в конце концов для вышеупомянутых пролетариев очистится достаточное количество жилой площади.

И фон Ребенков стал развивать блестящий план.

Товарищ Петров, наморщив лоб, рассеянно слушал болтовню бывшего помощника присяжного поверенного. Его мучили, очевидно, какие-то соображения на этот счет.

На следующее утро веселый фон Ребенков, потирая руки, подошел к доске, где вывешиваются объявления, и вдруг побледнел и зашатался.

На доске красовалось следующее объявление нового правления жилтоварищества:

«1. Истопник Антипов переселяется в комнаты, занимаемые вдовой бывшего генерала Эполетова. Гражданка Эполетова переселяется в помещение истопника.

2. Рабфаковец Искра переселяется в помещение спекулянта Банкнотиса, а Банкнотис — в помещение рабфаковца.

3. Дворник переселяется в помещение гражданина Ребенкова, а последний — в сарай дворника.

4. Гражданин Ребенков освобождается от обязанностей управдома.

*Председатель жилтоварищества Петров».*

1924

## Выдержал

Всю неделю, до самой чистки, кассир Диабетов ходил с полужакрытыми глазами и зубрил по бумажке:

— Кто великий учитель? Маркс. Что является высшим органом? СТО. Что такое социал-патриотизм? Служение буржуазии в маске социализма. Что характеризует капитализм? Бешеная эксплуатация на основе частной собственности. Как развивается плановое хозяйство? На основе электрификации. Где участвовали разные страны? На Первом конгрессе Второго Интернационала в тысяча восемьсот восемьдесят девятом году, в городе Париже. Какой бывает капитал? Постоянный и переменный. Какова будет форма организации в будущем коммунистическом строе? Неизвестно. Кто ренегат? Каутский. Кто депутат? Пенлеве. Кто кандидат? Лафолетт. Кто, несмотря на кажущееся благополучие?.. Польша. Кто социал-предатели? Шейдеман и Носке. Кто Абрамович? Социал-идиот...

Усердный Диабетов лихорадочно сжимал в руках спасительную бумажку. Он бормотал:

— Только бы не перепутать... Только бы не перепутать!.. Кто депутат? Пенлеве... Кто ренегат? Каутский... Кто кандидат? Лафолетт.

Когда Диабетова пригласили в комнату, где заседала комиссия, перед его глазами плавал розовый туман и в ушах стоял колокольный звон. Диабетов преодолел жуткий страх, подошел к столу и зажмурился.

— Как ваша фамилия, товарищ? — спросил председатель комиссии.

— Маркс, — твердо ответил кассир.

— Сколько вам лет?

— Сто.

— Род занятий?

— Служение буржуазии в маске социализма.

Председатель комиссии, который до сих пор пропускал ответы Диабетова мимо ушей, высоко поднял левую бровь.

— Гм... Довольно откровенное заявление... Ваше отношение к службе, гражданин?

— Бешеная эксплуатация на основе частной собственности.

— Вот как!.. О-ч-ч-ч-чень приятно... Как же вы втерлись в советское учреждение?

— На основе электрификации.

Члены комиссии странно переглянулись.

— А когда вы, товарищ, в последний раз себе температуру мерили? — осторожно осведомился секретарь.

— На Первом конгрессе Второго Интернационала, в тысяча восемьсот восемьдесят девятом году, в городе Париже, — твердо отчеканил главный кассир.

— У вас, товарищ, — мягко сказал председатель, — какой-то лихорадочный блеск глаз...

— Постоянный и переменный, — любезно пояснил Диабетов. Щеки его от волнения и торжества тряслись, как у мопса. Левая нога выбивала дробь. Зубы лязгали, а пальцы судорожно сжимали в кармане заветную бумажку.



— Очень хорошо... Прекрасно! Прекрасно!.. Но вы, главное, не волнуйтесь! Может быть, вы устали, товарищ? Присядьте, — придавая голосу как можно больше душевной теплоты, сказал председатель, который начал кое-что соображать. И вдруг быстро и в упор спросил: — А какое сегодня число?

— Неизвестно, — гаркнул Диабетов, обливаясь крупным потом и чувствуя, что наносит врагам последний удар.

Члены комиссии тревожно зашептались. Секретарь на цыпочках вышел из комнаты.

— Очень хорошо, товарищ! — воскликнул председатель в фальшивом восторге. — Вот и прекрасно! Вот и отлично! Вы, главное, не волнуйтесь! Поедете в Крым... и Ялту, можно сказать... Там, знаете, солнышко... А главное — не расстраивайтесь! До свидания, товарищ!

Диабетов потоптался на месте и слегка охрипшим голосом сказал:

— Я и дальше знаю... Кто ренегат? Каутский. Кто депутат? Пенлеве. Кто кандидат? Лафолетт... Кто, несмотря на кажущееся благополучие...

— Главное — не волнуйтесь, — сказал председатель, осторожно сползая со стула, — мы вам верим на слово... До свидания, товарищ!..

Сияющий Диабетов раскланялся и, остановившись у двери, широко улыбнулся.

— Кто социал-предатель? Шейдеман и Носке... А кто Абрамович? — И, сделав эффектную паузу, отчеканил, интимно подмигивая комиссии: — Социал-идиот!

Встревоженные сотрудники окружили Диабетова:

— Ну как?.. Что?..

— Всех покрыл! Восемь вопросов как одна копейка! Остальные шесть сказал сам. Верите ли, председатель даже попятился. Отпуск предлагал. В Крым. Как одна копейка...

## Загадочный Саша

Изредка отрываясь от книг, товарищи говорили:

— Ты чего, Сашка, груши околачиваешь? Зубри, дурак! А то как пить дать на экзамене провалишься.

Саша Бузыкин презрительно морщил малообещающий, но тем не менее веснушчатый нос и цинично переспрашивал:

— Ась? Это я-то?

— Вот именно. Ты-то.

— Про-ва-люсь?

— Провалишься.

— Почему же это, собственно?

— Да потому, что не учишься. Без знаний в вуз не попадешь.

Саша Бузыкин сплевывал на пол и загадочно говорил:

— Кто не попадет, а кто и попадет.

— Почему это ты так уверен?

— А что же мне сомневаться? Мне это ясно как апельсин!

— Брось дурака валять! Ты же аб-со-лют-но ничего не знаешь.

Но загадочный Саша так и резал:

— Там, на экзамене, разберут, кто знает, а кто не знает. Кого принять, а кого и не принять. Будьте уверочки!

— Да ведь ты будешь молчать как пень.

— Ничего-с! Авось кое-что скажу-с... Может, и найдется словечко. А мне, между прочим, на экзамены наплевать. Прошли те времена, когда нэпманские сыночки... Эх, да что зря трепаться! Сами увидите.

До самых экзаменов загадочный Бузыкин ходил, задравши свой веснушчатый отросток, и с нескрываемым сожалением посматривал на товарищей, которые сидели, уткнувши вихрастые головы в алгебру.

Наконец настал день бузыкинского триумфа.

— Бузыкин Александр, пожалуйста сюда!

Саша презрительно скривил губы и вразвалку подошел к экзаменаторскому столу.

Все затаили дыхание.

Профессор почесал карандашом переносицу и задал обычный вопрос:

— Вы член партии?

Глаза Саши Бузыкина блеснули невероятным торжеством.

— Член РЛКСМ с тысяча девятьсот двадцать второго года, — отчеканил он, кидая вокруг уничтожающие взгляды. — Пролетарского происхождения. Отец — путиловский рабочий, а мать — крестьянка Рязанской губернии.

Профессор широко и приветливо улыбнулся.

— Вот и отлично! Значит, стопроцентный пролетарий! Побольше бы нам таких в вуз!

Саша Бузыкин с достоинством посмотрел вокруг и спросил:

— Можно идти?

— То есть как это идти? — заинтересовался профессор, потирая руки. — Наоборот, сейчас мы будем вас экзотировать.

Загадочный Саша побледнел.

— Так я же... Это самое... С тысяча девятьсот двадцать второго года... Пролетарий... Я не какой-нибудь нэпманский сынок... У меня...

— Это очень похвально, но тем не менее не найдете ли вы возможным сказать нам, сколько будет  $A$  плюс  $B$  в квадрате? Гм... Этого вы не знаете! А чему равна сумма квадратов двух катетов? Этого вы тоже не знаете!.. Но, может быть, вы что-нибудь знаете о равенстве треугольников?.. Ничего не знаете? Можете идти, Бузыкин...

И пошел Бузыкин, палимый солнцем, в общежитие, и лег там Бузыкин животом на койку, и горько заплакал Бузыкин.

А на другой день он уже бешено зубрил геометрию.

## Лунная соната

(С успехом разыгрывается на столбцах  
американских газет)

Полет ракеты на Луну откладывается  
на неопределенное время.

Хроника

15 января 1925 г.

Вчера в большой аудитории Нью-Йоркского общества оглушительных изобретений действительный член Общества, известный профессор мистер Вор, сделал сенсационный доклад об изобретенной им ракете, которую он намерен пустить с Земли на Луну. Ракета эта будет иметь форму яйца на палке, в верхней части которого будет находиться 12 тысяч тонн динамита. При падении ракеты на поверхность Луны должен произойти настолько сильный взрыв, что его можно будет ясно наблюдать в телескопы с Земли.

Энтузиазм аудитории не поддавался описанию. Спешно производится подписка на скорейшее осуществление гениального плана. Несколько виднейших финансовых королей заинтересовались изобретением.

30 января

В дополнение к нашей заметке от 15 января по поводу изобретения уважаемого профессора Вора мы можем сообщить, что на осуществление гениального проекта уже собрано 8 миллионов долларов.

31 января

Во вчерашний номер нашей газеты вкралась досадная опечатка. На изобретение профессора Вора собрано не 8 миллионов, как сообщалось, а 18. Редакцией командирован специальный сотрудник, которому поручено информировать Общество о ходе работ гениального профессора.

10 февраля

На вопрос сотрудника нашей газеты, что он думает о международном положении, гениальный изобретатель межпланетного яйца заявил:

— Я склонен думать, что международное положение в настоящий момент весьма удовлетворительное.

Касаясь вопроса о своих ближайших работах в области гениального изобретения, маститый ученый заметно оживился и даже порозовел.

— О! — сказал профессор. — Уже кое-что сделано. Мною куплена в окрестностях Лос-Анджелеса прелестная вилла, где я и буду производить свои работы. Кроме того, мною приобретены паровая яхта и пара превосходных арабских лошадей.

На наш вопрос, для чего профессору понадобились яхта и лошади, он шаловливо погрозил пальцем и деликатно заметил, что он, к сожалению, не может коснуться этих вопросов, так как они являются одним из секретов его изобретения.

25 февраля

Министр иностранных дел мистер Юз выступил с новыми сенсационными разоблачениями Коминтерна. На руках у Юза имеются документы, с полной очевидностью доказывающие, что известный изобретатель нашумевшего яйца профессор Вор является агентом Коминтерна, а вся его ловкая махинация с полетом на Луну есть не что иное, как попытка взорвать Белый дом в Вашингтоне и провозгласить в Америке Советскую власть. На документах имеются подписи Карла Маркса, Бакунина и Демьяна Бедного. Юз требует расследования и отставки прокурора Догерти, как виновного в попустительстве.

28 февраля

Прокурор Догерти, отвечая на выпады Юза, заявил в сенате следующее:

— У министра Юза до сих пор скюртук пахнет керосином (смех в центре), и пусть он не пытается отвести глаза общественного мнения, устремленные на ту панаму, в

которой он играет далеко не последнюю роль. Что же касается того, что будто бы в верхней части популярного яйца находится динамит, то мы хорошо знаем, что это не динамит, а нефтяные акции, на которых так здорово спекульнул Юз. (Одобрение левой.)

*15 марта*

Юз опубликовал новые документы, из которых ясно, как дважды два, что профессор Вор — переодетый Ю. Стеклов, популярный редактор «Известий ЦИК СССР».

*25 марта*

Профессор Вор вчера женился на королеве экрана Настурции Джимперс. Спрошенный по этому поводу масти-тый автор яйца ответил:

— Любви все возрасты покорны.

Кроме того, великий профессор, по слухам, перевел во французские банки 10 миллионов долларов. О целях этого перевода профессор выразился весьма туманно, однако подчеркнул, что ракета-яйцо строится и 4 июля непременно полетит на Луну. Приток пожертвований продолжается.

*1 мая*

В связи с предполагаемым 4 июля опытом полета ракеты на Луну президент запретил празднование Первого мая как не соответствующее серьезности момента.

*10 июня*

Срок полета ракеты-яйца окончательно установлен. Ракета полетит 4 июля в 12 часов ночи и пробудет в пути четыре дня, так что 8 июля человечество будет иметь возможность наблюдать в телескопы на поверхности Луны сильный взрыв.

*20 июня*

Состоялась манифестация влюбленных, которые требовали отмены зверского покушения на Луну. К влюбленным присоединились собаки, выразившие в резкой форме опасения, что, в случае если Луна будет уничтожена сильным взрывом, им не на что будет выть. Одновременно с

этим состоялась внушительная демонстрация воров, требовавших, со своей стороны, скорейшего уничтожения Луны по чисто профессиональным соображениям.

1 июля

К месту отправки ракеты выехали представители учебного мира.

В беседе с нашим сотрудником профессор Вор заявил, что к полету все готово, за исключением кое-каких мелочей.

3 июля

В ночь со 2 на 3 июля профессор Вор вылетел со своей молодой женой в неизвестном направлении. Перед отъездом маститый профессор успел сообщить нашему сотруднику, что полет откладывается на неопределенное время.

Итак, налицо полет и взрыв. Полет Вора и взрыв общественного негодования.

1925

## Поединок

**В** природе существуют люди, страдающие отсутствием воображения. Люди, фантазия которых никак не простирается свыше ста рублей наличными и глубже шубы с выдровым воротником.

Если страдает отсутствием фантазии, например, трамвайный кондуктор или писатель утопических романов — это еще полбеды.

Прямого ущерба от этого государству не будет.

Но горе, если фантазия отсутствует у финансового инспектора!

Горе! Горе! Горе!

Наведя кое-какие справки о заработках гражданина Лиллипутера, финансовый инспектор сладострастно потер руки и сказал секретарю:

— Пишите этому гаду сто рублей. В трехдневный срок. Чтоб. Он у меня потанцует...

Однако гад Лиллипутер не имел никаких хореографических наклонностей и от танцев решительно отказался.

— Что значит сто рублей? Пускай описывают обстановку. Больше пяти червонцев она все равно не поднимет. А за сто рублей я себе куплю такую новую, что фининспектор лопнет

— Хор-рошо-о-с! Так и запишем-с, — мрачно сказал фининспектор. — Я ему покажу, как за сто рублей новую обстановку покупать. Секретарь, пишите гаду Лиллипутеру дополнительных двести рублей. В трехдневный срок. Чтоб. Он у меня потанцует!

— Что значит потанцует? Что значит двести рублей? — решил практичный Лиллипутер. — Пусть описывают. За двести рублей я себе такую новую обстановку заведу, что перед ней старая поблекнет!

— Что? Лиллипутер купил новую обстановку за двести рублей? Ну, знаете... Не нахожу слов... Секретарь, пишите гаду пятьсот рублей, и чтоб в трехднев...

— Пятьсот рублей? Ха! Пусть описывают. За пятьсот рублей куплю роскошную новую. Рококо. Триста рублей чистой прибыли!

— Секретарь, пишите ему тысячу, и чтоб в трех...

— Ха-ха! Пусть описывают. Тысяча рублей чистой прибыли. Можно дачку отремонтировать.

— Пиш-ш-шите-е тысяча пятьсот! Чтоб в тре-х-х...

— Ха-ха-ха!



Финансовый инспектор вошел в роскошную гостиную Лиллипутера и, тяжело опустившись в шелковое кресло Луи XIV, глухо прошептал:

— Сколько? Раз и навсегда?

— Обкладывайте в три тысячи, — скромно сказал Лиллипутер, вынимая золотой портсигар и предлагая фининспектору египетскую папиросу.

— Окончательно? — подозрительно покосился фининспектор. — Без жульничества?

— Чтоб я себе новой мебели не видел! — воскликнул Лиллипутер.

— Сдаюсь, — прохрипел фининспектор. — Три тысячи... И чтоб в трехдневный срок... До свидания.

Лиллипутер печально улыбнулся вслед уходящему фининспектору и прошептал:

— Три тысячи налога. А если тридцать три? Ха! А если у меня восемьдесят тысяч годового дохода?

Бедный, застенчивый, доверчивый, лишенный воображения фининспектор, увы, не учел этого!

Его скромная фантазия не простиралась выше трех тысяч, и он самоотверженно пал в жестоком, но неравном бою с гражданином Лиллипутером.

Неравном потому, что у Лиллипутера, по-видимому, была кой-какая фантазия, а у фининспектора, увы, ее не было.

1925

## Сплошное хулиганство

Старик Собакин вытер скатертью багровую шею с чирьями и, злобно покосившись на солнечное небо, игравшее окном всеми цветами, имевшимися в его распоряжении, пробормотал:

— Сукины дети! Распустился народ! Охамел! Никаких нравственных понятий не имеет! Сплошное хулиганство пошло. Одно слово, Советская власть. Да-с!

Собакин был в комнате один и обращался преимущественно к мутному, пятнистому самовару, который с отворачиванием отражал седую, стриженную бобриком голову, толстый нос, лиловые уши, худые щеки и маленькие злобные глазки, глубоко и прочно засевшие под узким морщинистым лбом.

— Тьфу на вас всех! — продолжал Собакин, допивая шестой стакан чаю. — Плюю! Чтоб вы сдохли!..

За стеной, у соседей-рабфаковцев, слышался монотонный голос:

— «Финансовой политикой называются способы, которыми пользуется государство при извлечении и распределении средств... Налоги подразделяются на денежные и натуральные. Денежные налоги можно разбить на три гру...»

Собакин постучал щеткой в стену и проскрипел:

— Пап-пра-шу прекратить шум! Вы мне мешаете работать. Хулиганы!..

— У нас послезавтра зачеты. Извините, «...разбить на три группы: прямые, косвенные и пошлины. Прямыми называются такие, кото...»

— Ну разве не хулиганы? — горестно прошептал Собакин. — Что с них взять? Хулиганы и есть хулиганы! Одно слово, комсомол. У самих, можно сказать, башмаки каши просят, а туда же, в образованные лезут. Налоги, видите ли, подразделяются на три категории, — ну не сукины дети после этого? Хамы! Слышать не могу!

Старик Собакин с треском открыл окно и высунулся на улицу. По улице шел отряд пионеров. Карапуз в красном галстуке чрезвычайно серьезно и деловито барабанил на большом барабане.

— Прошу убедиться, — желчно подмигнул Собакин фонарному столбу. — Прошу убедиться! Барабанят! Как вам это нравится? Работать порядочным людям не дают. Тишину общественную нарушают. Хулиганы, прости гос-

поди! Тьфу! — Собакин с храпом потянул носом и жирно плюнул вниз.

— А вы, гражданин, там поосторожнее, прямо на портфель харкнули.

— А вы с портфелем под окнами не шляйтесь, — сухо отрезал Собакин.

— То есть как это не «шляйтесь»? На то улица и существует, чтоб по ней на службу ходить.

— На службу-с? — ядовито прищурился Собакин. — Знаем мы ваши советские службы-млужбы. Небось сидите там да только и делаете, что взятки хапаете. А порядочному человеку даже из своей собственной жилплощади в окошко плюнуть нельзя без того, чтобы не нарваться на хамство! Хулиган!

— Вы там поосторожнее! Без оскорблений! Я, как представитель советского учреждения...

— Плевать мне на вас и на ваше советское учреждение...

— Милиционер!..

— Вот именно! Очень вам благодарен. Пушай милиция разберет, кто из нас хулиган.

Подписав протокол и дав подписку о невыезде, Собакин вернулся домой.

— Ни-чего! Пушай протокол, ну-ка-а! Старика Собакина протоколом не запугаешь. Старик Собакин все ваше хулиганство на чистую воду выведет. Старик Собакин на хулиганство плюет-с!

Собакин горько задумался.

«Охамели люди! Распустились! Куда ни посмотри — сплошное хулиганство. Скажем, к примеру, радио. Где же это такое видано в просвещенном государстве, чтобы, извините за выражение, на крыше антенны устраивать? Подумайте, пожалуйста! Накрутят, накрутят проволоки, и потом, изволите ли видеть, у себя из трубки всякие крамольные речи слушают. Ну не хулиганы?»

Собакин надел серую кепку с пуговицей и деятельно полез на чердак.

— Я вам покажу антенны! — бормотал он, ползя на

четвереньках по крыше. — А ну, где мой перочинный нож? Раз — и готово. Никаких антенн чтоб. Где ж это видано, чтоб на трубу проволоку наматывать? Нешто труба для этого существует? Хулиганство! Порядочной птице сесть негде.

Наскоро срезав восемь антенн, Собакин с полным сознанием исполненного долга спустился во двор и задумчиво сел на лавочку...

— Тьфу на вас всех, — пробормотал он привычно, — чтоб вы сдохли!

Внезапно тусклые глаза Собакина остановились на стенной газете, прибитой на доске возле ворот.

— Скажите пожалуйста, — процедил Собакин сквозь зубы, — стенную газету выдумали! Сволочи! Чтоб каждый сукин сын порядочных людей обижать мог. Ну разве же не хулиганы? Сплошное хулиганство! Стены портят. Тьфу!

Собакин пошел к мусорной яме, выбрал самую большую дохлую крысу и бережно опустил ее в деревянный ящик с надписью:

«Просьба опускать в этот ящик материалы для стенной газеты».

— Будьте любезны, получите материалчик! Для вашей хулиганской газеты самое подходящее дело. Хи-хи!

После этого Собакин, не торопясь, вернулся в квартиру и заперся в клозете.

Сидел он в клозете часа четыре, читая Жития святых.

— Гражданин Собакин, — слышались за дверью умоляющие голоса, — вы же не один в квартире! Нельзя же по три часа занимать уборную! Пустите!

— Ладно, — бормотал Собакин, — подождете. Не горим, чай!..

— Мы будем жаловаться в жилищное товарищество. Пустите! Это невежливо, наконец...

— Пап-пра-шу не стучать! Чего-с? Невежливо? А ломиться в уборную к занятому человеку — это вежливо? Плюю я на вас и на ваше жилищное товарищество! Хулиганы!..

## Случай с Бабушкиной

Только очутившись в жестком вагоне курортного «ускоренного», заведующая методической секцией клубного подотдела товарищ Бабушкина вздохнула полной грудью.

— Ну-с, теперь можно и от работы отдохнуть, — обшительно сообщила она соседям, укладывая на верхнюю полку свой тощий баульчик, обшитый парусиной. — В моем полном распоряжении целых две недели. Теперь на целых две недели я, так сказать, вольный казак. Что хочу, то и делаю. Могу «Эрфуртскую программу» перечесть, и могу и план клубной работы на второе полугодие детально проработать. А впрочем, могу и второй том «Капитала» в памяти освежить. Все могу...

Сама удивляясь своей неограниченной свободе и феерическим горизонтам, распахнувшимся перед ней, товарищ Бабушкина сняла с седой головы черную шляпку, поправила на добродушном носу пенсне и аккуратно присела на лавку.

— Хо-хо! — раздалось с верхней полки. — Ай да тетка, и масло села! Па-а-те-ха!

— В какое масло? — смертельно побледнела Бабушкина.

— Обыкновенно в какое. В сливочное, — любезно пояснил голос с верхней полки. И вслед за тем из мрака появилось лицо обладателя вышеупомянутого голоса. Скукнящее, веснушчатое, скуластое лицо молодого, но вполне законченного хулигана.

— Что вы говорите?! — ужаснулась Бабушкина, вскакивая как ужаленная с лавки.

— Гы, — снисходительно сказал хулиган, сплевывая, — я пошутил!

— Разве так можно шутить, товарищ? — пробормотала Бабушкина. — Ведь юбка. Почти новая. Шевиотовая. Единственная. А вы вдруг — масло! Что вы!

— Ладно, — тоскливо сплюнул хулиган и вдруг, стремительно вывалившись в окно, оглушительно, с грохотом и свистом, чихнул: — Алч-ххи-и-и-и-их!

Проходившая мимо вагона нянька с легким воплем шарахнулась в сторону, сбивая с ног нагруженного чемоданами носильщика.

— Ах, пардон, не заметил! — с восхищением воскликнул хулиган. — Будьте здоровы, дамочка. Эй, ребеночка обронили! Пате-ха-а!

Он обвел вспыхнувшими глазами публику и, чувствуя себя душой общества и неизменным весельчаком, прибавил, подмигивая:

— Гы-гы!

Через минуту его глаза погасли, и хулиган впал в мрачную меланхолию. Он высунул в проход большие пыльные башмаки и развлекался тем, что сбивал с проходивших по коридору шляпы. Но это занятие не доставляло ему никакого эстетического наслаждения.

Раздался второй звонок. Мимо окон пробежало несколько взволнованных пассажиров, отыскивающих свой вагон.

— Пес, гражданин! — деловито крикнул хулиган в окно. — На минуточку!

Толстяк с двумя чемоданами недоуменно остановился у окна.

Хулиган конспиративно поманил его пальцем.

— В чем дело? — пробормотал толстяк, бледнея. — Честное слово...

Хулиган засуетился, соскочил с полки и побежал по вагону, не без огонька имитируя зловещее совещание, и возвратился к окну.

— На минуточку, на минуточку! — грозно поманил он пальцем.

— Ей-богу... Честное слово... — залепетал толстяк.

Раздался третий звонок.

Хулиган сощурил глаза и, подозрительно всматриваясь в похолодевшего толстяка, приговаривал:

— Пожалте-ка, пожалте-ка, гражданин...

— Так я же... на поезд... опоздаю... — плачущим голосом сказал толстяк. — Ей-же-бо...

Паровоз свистнул.

— Извините, гражданин, — широко и радушно улыбнулся хулиган, — пардон, обознался. Хи-хи!

С воплями и ругательствами толстяк кинулся за тронувшимся поездом, а хулиган, свесившись из окна, уже кричал какой-то стремительно мчавшейся по перрону даме:

— Мадам, сумочку обронили! Мадам, билет выпал!.. Ах, пардон, ошибся! Сыпьте дальше!

Мимо окон бежали поля, столбы и станции. Хулиган развлекался. Он приклеил на двери уборной билетик с надписью: «По случаю ремонта уборная закрыта» — и корчился у себя на полке от приступа здорового и жизне-радостного веселья, смотря, как унылые пассажиры тоскливо мыкались в коридоре возле уборной.

Белые облака неслись мимо окон в голубом небе, и, глядя на них сквозь пенсне, товарищ Бабушкина грустно думала:

«На каком низком уровне развития, однако, стоит наша беспартийная советская молодежь! А почему? А потому, что культработа поставлена плохо. Клубный подотдел хромает. Отсюда и хулиганство! Эх, вот я сейчас, так сказать, еду в отпуск на две недели. Вольный казак. Хочу — «Эрфуртскую программу» читаю, хочу — второй том «Капитала» прорабатываю... А нет того чтобы пропагандой среди беспартийной молодежи заняться. А почему бы, например, не вовлечь в строительство этого лодыря? В самом деле — вот возьму и вовлеку! Только это дело деликатное и тонкое. Сначала надо проработать план. Установить, так сказать, степень развития, затем заронить в молодую душу семена любознательности. Г-м... Затем можно в кратких чертах обрисовать историю классовой борьбы. Ну, там коснуться Маркса... И отпуск использую, и хорошее дело сделаю...»

Сказано — сделано.

Двое суток добросовестная Бабушкина по строго про-риботанной программе вовлекала несознательного молодого человека в культурно-просветительную работу. Чтобы заслужить полное доверие, она угощала его на станциях чаем, покупала ему папиросы и осторожно бросала семена сознания в его черствую и загребувшую душу.

Несознательный молодой человек туповато слушал

воодушевленную Бабушкину, а в промежутках игриво развлекался: невинно плевал ей на ботинки, по ночам грозным басом требовал от имени ГПУ у перепуганных пассажиров предъявлять свидетельства об оспопрививании, а днем лениво мазал лавки чем попало. Но в общем и целом культработа шла успешно. И когда на третьи сутки впереди блеснуло яркой синевой в высшей степени курортное море, Бабушкина нашла, что почва проработана достаточно хорошо.

— Смотрю я на вас, — сказала она нашему молодому человеку, — и думаю: такой, в сущности, хороший молодой человек. Даже, я бы сказала, замечательный молодой человек! И погибает от собственной несознательности. А почему такое? А потому, что оторван от здоровой культуры почвы. От комсомола оторван.

И, вложивши в свой голос как можно больше материнской мягкости и убедительности, самоотверженная Бабушкина сказала:

— В комсомол вам надо записаться. Вот что.

— Уже. Был. В комсомоле, — глухо прошептал молодой человек. — Выкинули, мамаша...

И, заметив, что поезд подходит к перрону, закричал в окно диким голосом:

— Эй, гражданин, бумажник потерял! Товарищи, пожар в поезде! Горим! Выпрыгивай! Гы! Гы!

1925

## Шахматная малярия

**А**х, обыватели, обыватели! Ну, скажите честно, по совести, положая руку на сердце: что вам шахматы? что вы шахматам?

И тем не менее обывательский нос считает своим священным долгом с громким сопением сунуться в блестящую, классическую, мудрую клетчатую доску.

— Как вам нравится?

— Ну?



— Ильин-Женевский!

— Ну?

— Капабланку!!

— Ну?

— Черт вас возьми! Как нравится, я спрашиваю, Ильин-Женевский, который разбил Капабланку?

— Лавочка.

— Позвольте... Но ведь я же сам... Газеты... И вообще...

— Я вам говорю, лавочка. Вы понимаете, и тут замешано...

— Ну?

Шепотом:

— По-лит-бю-ро.

— Ой!

— Вот вам и «ой». Только между нами, конечно. Женевскому предписали в порядке партийной дисциплины. Вы же понимаете, что бедняге ничего не оставалось делать.

— Да что вы говорите?

— Сам читал путевку, полученную Женевским из МК. Черным по белому: «Тов. Женевский настоящим командирован на международный шахматный турнир. В ударном порядке тов. Женевскому предписывается в порядке партийной дисциплины обыграть империалистического чемпиона мира, кубанского белогвардейца гр. Капабланку. Об исполнении сообщить».

— Вот эт-та трю-ук! Спасибо, что сказали! Бегу, бегу!

— Последняя новость. Знаете, почему Торре проиграл Нюголюбову?

— Знаю. Получил телеграмму из Мексики.

— А что в телеграмме было написано?

— Было написано: «Ковбои напали на наше ранчо, убили весь скот, сожгли маис, твое присутствие необходимо». Сами понимаете, после такой телеграммы...

— Ерунда! Там было сказано: «Мама сердится, возвращайся в Мексику. Саша». Сами понимаете, после такой теле...

— Что? Телеграмма из Мексики? Вздор! Телеграмма

была от фашистов с Кубы: «Выиграешь — застрелим». Сами понима...

— Позвольте, при чем здесь Куба? Ведь играл-то он не с Капабланкой, а с Боголюбовым!

— Разве? А я, знаете ли, как-то сразу не обратил внимания.

— Бедняжка Капабланка!

— А что такое, душечка?

— Да как же! Войдите в его положение. Привезли, несчастного, в чужой город. Ни одной знакомой женщины. Холодно. Пальто нету. Языка не знает. В шахматы играет неважно... Ужас!

Перед доской:

— Что он делает? Что он только делает?

— Что? Что?

— Вы не видите? Он же подставил лошадь под тура! А Маршалл ноль внимания! Пес! Маэстро! Пустите меня к маэстро! На пару слов. Товарищ Маршалл, одну минутку. Пссс! Обратите внимание на противниковскую лошадь, которая стоит слева от угла, — берите ее турой, пока не поздно. Мой вам совет.

— Граждане, не шумите.

— То есть как это не шуметь, если на глазах у всех пропадает такой случай с чужой лошастью!

— Да ведь конь-то черный?

— Черный.

— И тура-то ведь черная?

— Ну, ч-черная...

— Так что же, вы хотите, чтобы маэстро съел чужую лошадь чужой же турой?

— Разве они чужие? Первый раз вижу! Извиняюсь.

— Как он пошел?

— Е2 — Е4.

— Ну, знаете, после такого хода Зубареву остается одно: пойти на «Д. Е.».

- Смотрите — живой Ласкер пьет пиво с живым Ретти.
- Еще, чего доброго, допьются до белых слонов.

- Скажите, товарищ, какой был дебют?
- Как вам сказать. Ни то ни се. Так себе дебют.

— Знаете, Капабланка женат на дочери Форда, которая ему в свое время поставила условием, что будет его женой только в том случае, если он станет чемпионом мира. И он стал.

— Ну?

— Надеюсь, теперь вы понимаете, почему он проигрывает?

— Не понимаю.

— Чудак! Приданое-то он успел перевести на свое имя и теперь хочет от нее отвязаться. Кажется, довольно ясно.

— Слышали анекдот? Шпильман... ха-ха-ха... встречается в вагоне третьего класса с Тартаковым и гово...

— Слышал, слышал, хи-хи...

Вам, на три четверти наполняющим классические залы шахматного турнира, обыватели, посвящая эти теплые строки.

Вам, чтоб вы сдохли!

1925

## Мрачный случай

Председатель правления побегал рысью по кабинету и снова тяжело опустился в кресло.

— Так что же, товарищи, делать? Как быть? Быть-то как?

Члены тяжело молчали.

Председатель прочно взял себя за волосы и зашептал:

— Боже... боже... Как быть? Быть-то как? В понедельник кассир «Химвилки» спер двенадцать тысяч наличными и бежал. Во вторник главбух «Красного мела» постарался... восемь тысяч... подложный ордер... Бежал... Третьего дня — «Иголки-булавки». Артельщик.. Десять тысяч спер... Бежал... Позавчера и вчера целый день крали в соседнем кооперативе — двадцать одну тысячу сперли. Заведующий и председатель бежали... О, боже! На нашей улице, кроме нас, один только «Дело табак» и остался нерастраченный. Так сказать... положение угро...

В этот момент в кабинет ворвался курьер Никита.

— Так что, — сказал он одним духом, — который кассир из треста «Дело табак» только что пятнадцать тысяч на извозчике упер на вокзал!

Повисло тягостное молчание.

— Я так и предчувствовал, — глухо зашептал председатель, покрываясь смертельной бледностью, — так и предчувствовал... Ну-с, товарищи... Теперь, значит, мы... на очереди... Больше некому... Мы одни не этого самого...

Председатель снова забежал по кабинету, тревожно поглядывая на часы.

— Что же делать? Боже, что же делать? Никита, позови бухгалтер и кассира. Только, ради бога, поскорее. А то знаешь, Никита... это самое... Ну, голубчик, беги!

Через пять минут в кабинет с достоинством вошли бухгалтер и кассир.

— Милые вы мои! Дорогие друзья! — воскликнул радостно председатель правления. — Как это мило с вашей стороны, что зашли! Что же вы не садитесь? Никита, стулья!.. Впрочем, что это я! Никита, кресла! Чайку? Кофейку? Иван Иванович, вам сколько кусочков сахара? Павел Васильевич, а лимончику чего же не берете? Лимончик, знаете ли, согласно последним научным данным, весьма и весьма способствует, это самое... внутренней секреции... как говорится, в той стране, где зреют апельсины. Хе-хе-с...

Председатель вплотную придвинулся к бухгалтеру и кассиру, сердечно взял их за руки и, задушевно заглянув им в глаза, вкрадчиво сказал:

— А ведь «Дело табак» тово... Пятнадцать тысяч... На извозчике... Кассир... Увез, знаете...

Бухгалтер и кассир молчали.

— Увез, знаете ли... — тоскливо сказал председатель. — Прямо, знаете ли, сел на извозчика и — тово... Одни мы теперь на всей улице, так сказать, и остались...

Бухгалтер и кассир молчали.

— Дорогие мои друзья Иван Иванович и Павел Васильевич! — воскликнул председатель с полными слез глазами. — Голубчики вы мои! На вас вся наша надежда! На вас, так сказать, с любовью и упованием смотрит все правление... Не надо, милые! Ей-богу, не надо! Стоит ли мараться? Какая у нас наличность! Ерунда! Какие-нибудь одиннадцать тысяч!

— Двенадцать с половиной, — хрипло сказал кассир.

— Ну вот видите! — оживился председатель. — Двенадцать с половиной... Я еще понимаю, если бы там было тысяч тридцать-сорок! А то двенадцать! Ей-богу, милые, не стоит. Ну, прошу вас! Не как начальник подчиненных... боже меня сохрани! А как человек человек прошу! Не делайте этого. Не надо. Ну, даете слово?

Кассир и бухгалтер молчали, косо глядя в землю.

Председатель тоскливо махнул рукой:

— Ну, идите!

— Товарищи, вы заметили, какие глаза у кассира?

— Н-да... Странноватые глаза. У бухгалтера тоже... как-то подозрительно бегают... Ох!

— Ну что же делать? Делать-то что? Степан Адольфович, будьте любезны, спуститесь вниз, в кассу, и поглядите там за ними. Будто бы нечаянно зашли, а на самом деле того... присматривайте. Ну, с богом. Никита! Беги вниз, гони в шею, к чертовой матери, всех извозчиков от подъезда!

— Товарищи, а вы заметили, какие глаза у Степана Адольфовича?

— К... к... какие? — побледнел председатель.

— А такие... странноватые... И у Никиты тоже... как-то подозрительно бежали...

— Боже, боже! — застонал председатель. — Голубчик, Влас Егорович, на вас, как на каменную гору... Сбегайте в кассу. Поглядите за Степаном Адольфовичем. И за Никитой. И чтоб извозчиков к чертовой матери. Бегите, золотишко!

— Глаза видели у Власа Егоровича?

— Видел. Странноватые...

— Гм... Николай Николаевич... Сбегайте, милый, посмотрите. И чтоб извозчиков всех к черту...

— Боже! Что же делать? Делать-то что?

— Придумал! — закричал секретарь. — Ей-богу, придумал! Спасены! Скорее! Торопитесь. Всю наличность кассы наменять на медь. Чтоб по три копейки все двенадцать тысяч были. Десять больших мешков! Пусть-ка попробуют сопрут! Пудов сорок! Ха-ха!

— Душечка, дайте я вас поцелую! Ура! Ура! Ура! Пошлите курьеров во все лавки, учреждения, банки. Вывесьте спешно плакат: «За каждые десять рублей медными деньгами немедленно выдаем одиннадцать рублей серебром и кредитками». Черт с ними, потеряем десять процентов, зато от растраты гарантированы. Да поскорее бегите, дорогой! Авось до закрытия кассы успеем.

Через три часа в будке кассира стояло пять больших туго завязанных мешков с медью. Председатель любовно похлопал по ним ладонью, ласково улыбнулся кассиру, дружественно обнял бухгалтера и глубоко вздохнул, надевая внизу галоши.

— Фу! Гора с плеч!

На следующее утро, придя на службу, председатель правления прежде всего наткнулся на бледное, убитое лицо секретаря.

— Что? Что случилось?! — воскликнул председатель в сильном волнении.

— Увезли... — глухо сказал секретарь.

— Кого увезли?

— Двенадцать с половиной тысяч увезли. Как одну копейку. Всю ночь таскали...

— Прямо потеха! — подтвердил Никита. — На двух ломовиках. Уж таскали они эти мешки по лестнице, таскали! Аж взопрели, сердешные. В семь часов утра кончили. Оно конечно, ежели...

— Куда же они их повезли? — завизжал председатель.

— Известно куда. Иван Иванович свою долю повезли в казино, а Павел Васильевич уж, натурально, на вокзал... Оно конечно, ежели...

— Подите к черту! Подите к черту! Подите к черту! — захрипел председатель и упал без чувств.

1925

## До и По

### До

— **В**ам что? В двух словах! Короче!

— Я, видите ли, представитель кооперативного объединения...

— Кор-роче!

— ...кооперативного объединения «Трудовая копейка», которое ставит своей це...

— Ну и что же? В двух словах!

— ...своей целью проводить в рабочие массы дешевую и доброкачественную мануфактуру, получая ее непосредственно из трестов, так сказать, из первых рук!..

Представитель кооперативного объединения одним залпом выложил перед директором треста вышеизложенный абзац, вспотел и умолк.

— Ну и что же? — спросил председатель треста, ковыряя в зубах спичкой. — В двух словах. Короче.

— Так вот, значит, будучи проводником в массы дешевой мануфактуры, наше кооперативное объединение обращается к вам с просьбой о содействии, которое...

— Н-ну и что же? — ледяным тоном сказал директор треста. — Только, товарищ, покороче. В двух словах.

Представитель собрался с духом и цинично заявил:

— Отпустите мануфактуры.

— Товарищ, — поморщился директор, — если вы пришли к занятому человеку, то не отнимайте у него времени праздными, не имеющими к делу отношения разговорами.

— Поз-звольте!.. Как же не имеющими отношения? Даже как-то странно... Вы, так сказать, производитель, а мы, так сказать, потребитель. И мы просим у вас...

— Кор-роче! — заревел директор треста.

— Дайте мануфактуры, — заносчиво прошептал потребитель. — Ведь как-никак, а кооперация является до некоторой степени дверью к социализму, как сказал...

— Короче! Никаких дверей! Никаких коопераций! Вот у меня где сидит ваша кооперация! — Директор треста злобно похлопал себя по малиновому затылку и выпучил глаза. — Вот где! Вот-с где-с! Полная передняя набита вашими кооператорами. И все хотят мануфактуры. И все лезут со своими массами. К черту! Нет у меня дешевой мануфактуры. До свидания. Закрывайте за собой дверь! Следующий! Вам что? В двух словах! Короче!

— ...Ах, виноват, это вы, Павел Степанович? А я и не заметил. Садитесь, дорогой. Поверите ли, буквально в глазах плавают эти кооператоры. До такой степени намозолили зрачки, что порядочного человека не сразу признаешь, хе-хе... Ну-с! Мануфактурки?

— Ее самой.

— Это можно, только насчет цены уже... хе-хе... сами понимаете... Накладные расходы... Самоокупаемость... Безубыточный бюджет... Массы, как говорится, массами, а прибыль на бочку!

## По

— Вам что, товарищ?

— Я, видите ли, директор государственного треста...

— Да?



— ...треста, который, сами понимаете, ставит своей целью проведение в массы дешевой, доброкачественной, практичной и элегантной мануфа...

— Ну?

— ...ктуры, которая...

— Короче!

— ...мануфактуры, которая является основой массового потребления и предметом первой необходимости для пролетариата... хи-хи-с!

— Ну и что же?

— Так вот, значит... мы предлагаем вашему кооперативному объединению партию...

— Уже. Закупили.

— Уже? Гм... Какая неприятность! А может быть, вы все-таки еще немножко... закупите?... А?

— Нет, извините. На целый год закупили.

— А вы бы еще. На полгода. А?

— Нет.

— Ну а на месяц, а? Дешево. Доброкачественно. Красиво. Незаменимо для масс. А? Ну что вам стоит!

— Не требуется.

Директор треста встал на колени и зарыдал.

— Не погубите. Сами понимаете... Как честный человек... Того и гляди, ревизия... А у нас... Ни одного метра кооперативам не продано... Все, понимаете, продано этим акулам, частным торговцам, чтоб они сдохли... Не погубите, вашисясь... Купите мануфактуры... Жена... дети...

— Милый, — устало улыбнулся представитель кооперативного объединения, — ну что же я могу поделывать? Посудите сами: полная приемная вашего брата трестовиков дожидается. Не вы одни. Не могу купить мануфактуры. До свидания. Закрывайте дверь. Следующий! Вам что? Короче!

— Неужели не узнали-с? Это ж я, Павел Степанович. Представитель, так сказать, свободной торговли. Хи-хи... Мануфактурки бы...

— К черту! Пошел вон! У меня передняя ломится от частников. Акулы! Гады! Вон!

Директор треста упал головой в бумаги и зарыдал.

— Господи... Ты всемогущий... Ты все можешь... Ну что тебе стоит сделать, чтоб у меня какой-нибудь самый паршивенький кооперативчик купил мануфактуры?.. Не сегодня-завтра ревизия и... и... и... жена... детишки... Боже! За что я такой несчастный?! За что?

1926

## Искусство опровержений

*(Нечто вроде самоучителя танцев)*

### Краткое предисловие

**И**и тебе на казенном автомобиле покататься, ни тебе родственников на службу устроить, ни тебе благодарности с подрядчика получить... Уж насколько невинное развлечение — работницу в темном уголке облапить, и то в суд тягают. Одним словом, неинтересная пошла жизнь. Скучная жизнь, паршивая.

А кто виноват? Рабкор виноват.

Вполне разделяя вышеупомянутое справедливое недовольство некоторой части своих многоуважаемых читателей и, как говорится, идя навстречу, наша редакция, не щадя затрат, решила дать краткое, но исчерпывающее руководство, как писать опровержения на заметки нехороших рабкоров.

### № 1. Простейший вид

*(Опровержение а натюрель)*

Милостивый государь тов. редактор! Позвольте на столбцах Вашей уважаемой газеты сделать следующее опровержение по поводу заметки «Куда смотрит РКК» неизвестного, но многоуважаемого рабкора т. Гайка. Все

написанное в означенной заметке от начала до конца ложь. Я не буду голословным (как это позволяют себе некоторые) и, имея в руках ряд неопровержимых фактов, которые говорят сами за себя, постараюсь раз и навсегда прекратить дикую травлю и свистопляску, которую подымают некоторые безответственные лица вокруг моего честного советского имени. Автор заметки обвиняет меня в том, что я якобы, пользуясь своим высоким служебным положением, устроил на службу двух своих теток и племянника по 15-му разряду, а также пользуюсь для личных надобностей служебным автомобилем и прочее. Все это с начала до конца ложь, хотя бы уже по одному тому, что никакого высокого служебного положения я не занимаю, а, наоборот, являюсь помощником (sic!) директора треста, так что эта часть обвинения отпадает.

Конечно, никаких теток по 15-му разряду я на службу не устраивал, хотя бы уже по одному тому, что они не тетки, а, наоборот, одна из них свояченица, а другая сноха. Так что и эта часть обвинения целиком отпадает. Что же касается какого-то якобы племянника, то полагаю, что неизвестный автор многоуважаемой заметки не хуже меня знает, что это не племянник, а бедная девушка, сирота, из хорошей семьи, и не устроить ее с моей стороны было бы нравственным преступлением. Так что и эта часть целиком отпадает. Что же касается 15-го разряда, то всем известно, что это не так: сноха получает по 14-му разряду, а свояченица и бедная девушка — по 16-му разряду (sic!), так что как сноха, так и бедная девушка отпадают. Остальные пункты обвинения настолько вздорны, что не заслуживают внимания. Надеюсь, что после настоящего сего опровержения дикая травля и свистопляска сами собой отпадут. Автора вышеупомянутой заметки не привлекаю к судебной ответственности, потому что считаю это ниже своего достоинства.

С ком. приветом (с коммерческим приветом) пом. дир. мебельного треста «Красноватый шик» Я. М. Гусь.

## № 2. Опровержение авансом

Тов. редактор! По дошедшим до меня сведениям, редактор тов. Николаев в присутствии многих рабочих двусмысленно улыбался по моему адресу. Поэтому спешу предупредить, что работницу Дуню я отнюдь не обнимал. (И никаких двусмысленных предложений до нее не делал, а что касается будто бы вышиб зуб столяру Анисиму, то это просто брехня). А сам Николаев между тем на моих глазах выпил вчера бутылку пива, после чего в присутствии всех распевал революционные песни. Так что в случае чего вы ему не верьте.

*Старший мастер Степан Горчица*

## № 3. Опровержение-буфф

— Ты, сукин сын, писал обо мне заметку?

— Я.

— Так получай...

Трах, трах, трах... (три раза ударить палкой корреспондента по голове). После этого вас посадят не меньше чем на три месяца, и все убедятся в вашей невинности.

## Заключение

Хорошенько усвойте себе эти три основных способа опровержений и можете считать себя обеспеченным. Не надо благодарностей. Не надо оваций. Я такой. И добрый.

1926

## Экземпляр

— А вот в том шкафу, — сказал заведующий музеем, — находится единственный во всем СССР, редчайший в своем роде экземпляр обывателя эпохи тысяча девятьсот пятого года.

— Восковая фигура или чучело? — деловито заинтересовался один из экскурсантов.

— Нет, дорогой товарищ, — с гордостью заметил заведующий, — нет. Это не восковая фигура и не чучело, а совершенно настоящий, подлинный, не тронутый молью и временем превосходный экземпляр обывателя эпохи тысяча девятьсот пятого года.

— Как же так? — хором спросили экскурсанты.

— А так. Единственный в мире случай летаргического сна. Чудо в духе Уэллса. Как впал человек в обморочное состояние двадцать лет тому назад, так до сих пор и не выпал из него.

— Не может этого быть!

— Вот вам и не может! Дело было так. Этого обывателя в тысяча девятьсот пятом году по ошибке задержали вместе с какими-то демонстрантами и отправили в участок. «Ты кто такой есть?» — спросил его дежурный околоточный. «Я-с, ваше благородие, чиновник двенадцатого класса, и ничего такого-с». — «Ой, врешь! А почему у тебя в глазах вроде как бы освободительное движение? Молчать! К какой партии принадлежишь?» Да как стукнет кулаком. Тут обыватель и впал в глубочайший обморок, который впоследствии перешел в летаргический сон. В свое время об этом даже в газетах зарубежных писали. Лучшие врачи ничего не могли поделать. А один видный профессор так прямо и заявил: «Теперь субъект выйдет из своего летаргического сна не раньше, чем лет через двадцать». Вот ведь какая штука, дорогие товарищи!

— И что ж он, действительно хорошо сохранился? Ах, как интересно и поучительно посмотреть!

— А вот вы его сейчас увидите. Такой, понимаете, забавный экземпляр! Слов нет. Зонттик, галоши, серебряные часы — все честь честью. Замечательный образец обывателя. Пальчики оближете. Прошу убедиться.

С этими словами заведующий открыл шкаф — и вдруг и ужасе отскочил назад.

Шкаф был пуст.

— Исчез! — воскликнул с тоской заведующий.

— Сперли, наверное, — выразили предположение экскурсанты. — Досадный факт.

— Не может быть, чтобы сперли! Кресты с могил действительно прут. Бывает. А до покойничков еще не доходило.

— Но что же? Что? Не ушел же он сам?

— Позвольте, товарищи! Ведь как раз прошло двадцать лет. Может быть, он проснулся и того...

— И очень даже просто.

— В таком случае, — завопил заведующий, — его надо срочно отыскать! А то он еще, чего доброго, под автобус попадет. Я же за него несу ответственность. Как это швейцар недоглядел? Извините, товарищи! Бегу, бегу!

Очнувшись от летаргического сна, обыватель прежде всего потрогал ноги — не пропали ли галоши, затем пощупал зонтик, высморкался, осторожно вышел из шкафа и беспрепятственно очутился на улице.

— Домой! Как можно скорее домой! — пробормотал он. — Боже, что подумает жена! Что скажет столоначальник! Ночевать в участке — какой стыд! Извозчик. Третья Мещанская!

— Два рублика.

— Да ты что, братец, белены объелся! Четвертак!

— Сам белены объелся! Тоже ездок нашелся!

— Скотина! Он еще грубит! А в участок хочешь?

— Ты меня еще городовым пострадай!

— Ах ты, к-каналья! Над властями издеваешься? Устои подрываешь? погоди, голубчик, вот я сейчас запишу твой номер! Го-ро-до-вой!!

— Ишь ты! — с уважением воскликнул извозчик. — И где это только люди насобачились добывать в воскресенье горькую? Ума не приложу! И, между прочим, не менее двух бутылок, ежели на ногах держится, а кричит: «Городовой!»

Обыватель тщательно записал номер дерзкого извозчика и пошел пешком.

— Товарищ, скажите, как тут пройти на Дмитровку? — спросил у обывателя встречный юноша.

— Что-с? — завизжал обыватель. — За кого вы меня принимаете? Вы, кажется, думаете, что я из освободителей? Не товарищ я!

— Ну, гражданин. Извиняюсь!

— Не гражданин я.

— А кто же вы такой?

— Я — чиновник двенадцатого класса и кавалер ордена святыя Анны третьей степени. А ежели меня по ошибке задержали вместе с революционерами, то это, молодой человек, еще ничего не доказывает...

Юноша пристально всмотрелся в глаза обывателя и опасливо отошел в сторону.

— Вот ведь какая неприятность! — пробормотал обыватель. — Уже на улицах стали называть товарищем! Дойдет еще до столоначальника, чего доброго. Как пить дать выгонят со службы! Надо что-нибудь предпринять такое...

Обыватель поглубже засунул руки в карманы и запел «Боже, царя храни».

— Эй, газетчик! Дай-ка мне, милый, два номерочка «Русского знамени».

— Чего-с?

— «Знамени», говорю, «Русского» дай мне два номерочка. Или даже лучше — три.

— Нету такой газеты.

— Нету? Ну, дай «Новое время».

— Нету такой газеты.

— А что же есть?

— «Рабочая газета», «Правда», «Красная звезда».

— Ах ты, нахальный мальчишка! Устой подрываешь? Нелегальщиной торгуешь? А вот я тебя, негодяя, в участок сведу!

— Не имеете права! Я налог плачу.

— Ла-а-адно! Я тебе покажу налог!

Обыватель тщательно записал приметы и номер кра-

мольного газетчика и, нудно скрипя галошами, пошел дальше.

Над фасадом большого дома обыватель прочел надпись: «Московский Комитет Всесоюзной Коммунистической партии».

— Так-с! Приятно. На глазах у всех, так сказать, подрывают устои. Так и запишем. И улочку запишем. И номерок запишем. Все запишем.

Обыватель внес необходимую запись в памятную книжку и пошел дальше.

— Товарищ, разрешите прикурить? — остановил обывателя толстый гражданин в бобровой шубе.

У обывателя екнуло сердце и подкосились ноги.

— Хи-хи... Не извольте сомневаться. Никак нет. Никакого причастия к нелегальным подпольным организациям, революционным кружкам и политическим группировкам не имею-с и не являюсь, так сказать, «товарищем», а ежели ночевал в участке, то, поверьте, ваш... превосходительство... роковое недоразумение... несчастное стечение обстоятельств... Ва...ва...ва...

Гражданин в шубе в ужасе шархнулся в сторону.

Исколесив всю Москву и уже окончательно отчаявшись в успехе поисков, заведующий музеем поздно вечером наконец, к великой своей радости, нашел исчезнувший экземпляр обывателя.

Экземпляр стоял посередине Театральной площади на коленях и, рыдая, говорил:

— Как честный человек... Роковое недоразумение... Чиновник двенадцатого класса и никакого причастия не имею... А ежели ночевал в участке, то, видит бог, по ошибке... Боже, царя храни!.. А что касается извозчика номер сорок девять тысяч двадцать один и газетчика номер двенадцать (блондин, четырнадцать лет, глаза голубые, особых примет не имеется), то могу подтвердить, что они есть замешанные в движении, особенно газетчик, который продает подпольную нелегалышину... Опять же



могу указать адрес Московского Комитета Коммунистической партии... А ежели ночевал в участке, то...

Многие прохожие останавливались и давали ему копейку.

Две недели бился заведующий музеем, растолковывая обывателю сущность событий и перемен, случившихся за последние двадцать лет.

В начале третьей недели обыватель уразумел.

В конце третьей недели обыватель поступил в трест.

А в начале четвертой как-то вскользь, во время обеденного перерыва, сказал сослуживцам:

— Тысяча девятьсот пятый год? Как же, как же! Помню. Даже, можно сказать, лично участвовал в борьбе с самодержавием. Сидел, знаете, даже. За участие в демонстрации... Были дела! Ну да о чем толковать! Мы старые общественники-революционеры. И вообще, вихри враждебные веют над нами...

Говорят, что один раз он не без успеха выступал даже на вечере воспоминаний о 1905 годе.

Но это недостоверно.

Все же остальное — факт.

1926

## Первомайская Пасха

Председатель месткома Кукуев подвел гостей к роскошно накрытому пасхальному столу и радушно воскликнул:

— Прошу вас, друзья! Милости просим. Чем бог послал. Христос, так сказать, воскрес!

— Воистину воскрес, — плотоядно ответили гости, потирая руки, и стали приближаться к столу.

— Усаживайтесь, граждане, усаживайтесь, — суетил-

ся Кукуев, — прошу покорно! Пал Васильевич, что ж это вы, батенька? Наливайте, Захар Захарыч, зубровочки. Софья Наумовна, запеканочки, а? Господа, усиленно рекомендую вам свяченого куличика... домашнего изготовления. А ты что ж, Митя, сидишь и ничего не ешь, как жених? Кушай, Митя! Поправляйся. Опять же, может быть, кто-нибудь хочет свяченных яичек? Вот зелененькое, а вот и красненькое. Сами в церковь носили с Марь Ванной... Христос воскр...

В этот миг в передней раздался звонок, и через минуту в столовую вбежала взволнованная дочурка:

— Тятя! Вас там какой-то спрашивает.

— Кто б это мог быть? — изумился Кукуев. — Кажись, все свои в сборе. Гм... Извините, граждане, я сейчас.

С этими словами Кукуев вошел в переднюю и закачался. Перед зеркалом снимал пальто сам товарищ Мериносов.

— А я, брат, к тебе, — весело сказал он. — С Первым маем тебя! Отличная, браток, погода! Солнце, птички, солидарность! Возвращаюсь, понимаешь, с демонстрации и дай, думаю, зайду провести старика Кукуева. Уж не болен ли? Чем напоишь?

«Я б тебя с удовольствием уксусной эссенцией наполни», — мрачно про себя подумал Кукуев, а вслух радостно воскликнул:

— Напою, как же! Очень приятно! С Первым, как говорится, маем! Воистину! С Первым маем, с первым счастьем! Хм...

— Ну, браток, показывай свою берлогу.

— У меня, знаешь ли, того... не прибрано...

— Ерунда! Предрассудки! Веди, брат.

С этими словами Мериносов распахнул дверь в столовую и остолбенел.

— Гм! — сказал он, грозно нахмурившись. — Это что ж у тебя, браток, происходит тут? Никак, пасхальный стол? религиозные предрассудки? Гости мелкобуржуазные? Ай-ай-ай! Не ожидал я этого от тебя, хоть ты и беспартийный!

— Да что вы, товарищ! Помилуйте! — бледно засуетился Кукуев. — Какой же это, извините, пасхальный стол? Какие ж это мелкобуржуазные гости? Вы меня просто удивляете такими словами...

— А что ж это?

— Это-с? Так себе. Маленький первомайский... гм... митинг... Кружок, так сказать.

— Кружок?

— Вот именно... Кружок... Кружок в некотором роде, по изучению качества продукции. Хе-хе!.. А вот это, товарищ Мериносов, все экскурсанты...

Кукуев хлопнул себя по ляжкам и радостно воскликнул:

— Вот именно! Первомайский кружок! По изучению качества продукции!

Мериносов подозрительно подошел к пасхальному столу и мрачно спросил:

— А почему тут куличи расставлены?

— Помилуйте, товарищ Мериносов! Какие же это куличи? Не куличи это, а образцы кондитерской продукции Моссельпрома. На предмет исследования...

— Ну разве что на предмет исследования. А почему на этой продукции «Х. В.» написано? — подозрительно заинтересовался Мериносов.

— «Х. В.»... Это так... сокращенное название: Х — хозяйственное, В — возрождение, а вместе — хозяйственное возрождение.

— Гм!.. Ну разве что хозяйственное возрождение. А почему на этом самом «хозяйственном возрождении» стоит сахарный барашек? В каких это смыслах?

— Барашек?.. Какой барашек? Разве это барашек? Вот история! А я, знаете ли, впопыхах как-то не заметил. Впрочем, это не барашек, а модель туркестанской тонкорунной овцы...

Мериносов сел.

— Прощу вас! Не угодно ли кусочек ветчинки?

— А почему ветчинки? Что это за кружок, в котором экскурсантов угощают ветчинкой?

— Помилуйте! Зачем же обязательно «угощают»? Не угощают, а дают на экспертизу. Определить качество. Не желаете ли, например, определить качество этой паюсной икорки? Астраханская продукция. Экспортный товар. Но предварительно усиленно рекомендуем для анализа пробирочку зубровки.

— Пожалуй, — хмуро сказал Мериносов, — от пробирочки не откажусь.

— Вот и прекрасно. И я с вами за компанию исследую колбочку рябиновой. Ваше здоровье! За «хозяйственное возрождение»!

— Воистину возрождение!

— Госп... товарищи! Что ж вы перестали, это самое, анализировать? Ну как вы находите, товарищ Мериносов, качество зубровки?

— Невредное качество. Только, кажись, градусов маловато в продукции. И как будто бы наблюдается известный процент сивушных масел.

— А вы возьмите для анализа пробу солененьких грибков! Всякое сивушное масло отобьет. Может быть, кусочек сельскохозяйственного поросеночка исследуете?

— Нет, уж вы мне лучше дайте исследовать вон той консервированной рыбки.

— А мне, пожалуйста, подвиньте образец продукции Госспирта! Налейте-ка реторточку. Ваш... здоровье...

— Граждане! Что же вы... Анализируйте поросенка с хреном! По мензурке Винторга...

— В... ви-но-ва-ат! А что это у вас тут, на блюде? Небось крашеные яйца? Опиум? Предрассудок?

— Помилте-с! Разве яйца предрассудок?

— А п...почему они р...разноцветные... красненькие, синенькие, ж-желтенькие... ик... з-зелененькие?

— Это-с образцы красок продукции Анилинтреста.

— Ага! В таком случае дайте мне вон тот, лиловенький образчик. Мерси! И рябиновой не мешало бы еще исследовать пробирочку. А то мне все кажется, что продукция у нее к-какая-то ст-странноватая! Ваш... здоро-

вье... Ви-на-ва-ат! А п-почему травка тут стоит? В виде горки... Предрассудки?

— Показательная травка, товарищ Мериносов! Клевер.

— Желаю исследовать п-показательную т-травку!

— Помилте! Кто же клевер анализирует? Это вам не колбаса! Вот телятины кусочек проанализируйте. Рекомендую. Замечательное качество!

— Пр-родукции?

— Продукции.

— Ну-ну, так анализем по этому поводу еще по колбочке очищенной!

— Смотри, Вася, ты уж и так наанализался порядочно!..

— Ер-рунда! Христос в-воскр... Воистину возрождение! С Первым м... м... м...

Поздно вечером выходя от Кукуева, Мериносов долго держался в передней за вешалку и говорил:

— Я т-тебя, Кукуев, сразу р-раску-сил. Небось это самое... А на самом деле — то с-самое! Я, браток, тебя насквозь виж-жу. У т-тебя все качество пр-родукции на уме... Кабинет завел экс-пер-им-мо-ментальный! Выслужиться хоч-чешь? Старайся, браток! Нам спец-цы нужны... Ик!

Где-то гудели первомайские колокола...

1926

## Самоубийца поневоле

С о стороны Гражданина это было свинство во всех отношениях.

Тем не менее он решился на это, тем более что самоубийство Уголовным кодексом не наказуемо.

Одним словом, некий Гражданин, разочаровавшись в

советской действительности, решил повернуться лицом к могиле.

Печально, но факт.

Спешно получив выходное пособие и компенсацию за неиспользованный отпуск, Гражданин лихорадочно написал предсмертное заявление в местком, купил большой и красивый гвоздь, кусок туалетного мыла, три метра веревки, пришел домой, подставил стул к стене и влез на него.

Кр-р-рак!

— Черт возьми! Ну и сиденьице! Не может выдержать веса молодого интеллигентного самоубийцы. А еще называется борьба за качество! А еще называется Древлтрест! Тьфу!

Но не такой был человек Гражданин, чтобы склоняться под ударами фатума, который есть не что иное, как теория вероятностей, не более!

Кое-как он влез на подоконник, приложил гвоздь к стене и ударил по гвоздю пресс-папье.

Кр-р-рак!

— Ну, знаете ли, и гвоздик! Вдребезгу. Борьба-с за качество? Мерси. Не на чем порядочному человеку повеситься, прости господи. Придется непосредственно привязать веревку к люстре. Она, матушка, старорежимная! Не выдаст!

Гражданин привязал к люстре веревку, сделал элегантную петлю и принялся ее намыливать.

— Ну и мыльце, доложу я вам! Во-первых, не мылится, а во-вторых, пахнет не ландышем, а, извините за выражение, козлом. Даже вешаться противно.

Скрывая отвращение, Гражданин сунул голову в петлю и спрыгнул в неизвестное.

Кр-р-р-ак!

— А, будь она трижды проклята! Порвалась, проклятая. А еще веревкой смеет называться. На самом интересном месте. Прошу убедиться... Качество-с... Глаза мои не видели...

— К черту! Попробуем чего-нибудь попроще! Ба! Столовый нож! Паду ли я, как говорится, стрелой пронзенный, иль мимо пролетит она...

Кр-р-рак!

И стрела действительно пролетела мимо: рука — в одну сторону, лезвие — в другую.

Гражданин дико захохотал.

— Будьте уверены! Ха-ха-ха! Качество! Ну как после этого не кончать с собой!

— Умирать так умирать! К черту нож, этот пережиток гнилого средневекового романтизма! Опытные самоубийцы утверждают, что для самоубийства могут очень и очень пригодиться спички. Натолчешь в стакан штук пятьдесят головок, выпьешь — и амба. Здорово удумано. Как это я раньше не догадался?

Повеселевший Гражданин распечатал свеженькую коробку спичек и стал жизнерадостно обламывать головки.

— Раз, два, три... десять... двадцать... Гм... В коробке всего двадцать восемь спичек, между тем как полагается шестьдесят.

Гражданин глухо зарыдал.

— Граждане, родимые! Что же это, братцы?! Я еще понимаю — качество, но где же это видано, чтобы честный советский гражданин так страдал из-за количества?

— К черту спички! Ударюсь хорошенько головой об стенку — и дело с концом. Добьемся мы, как говорится, своею собственной головой!

Гражданин зажмурился, разбежался и —

Кррак!!!

Термолитовая стена свеженького коттеджика с треском проломилась, и Гражданин вылетел на улицу.

— Ну-ну! Мерси! Да здравствует качество, которое количество! Ур-р-ра! Ха-ха-ха!

С ума он, впрочем, не сошел, и в больницу его не отправили.

Гражданин посмотрел на склянку и сказал со вздохом облегчения:

— Вот. Наконец. Это как раз то, что мне нужно. Укусная эссенция. Уж она, матушка, не подведет. В смерти моей прошу никого не винить.

Гражданин с жадностью припал воспаленными губами к склянке и осушил ее до дна.

— Гм... Приятная штука. Вроде виноградного вина, только мягче. Еще разве дернуть баночку?

Гражданин выпил еще баночку, крякнул и покрутил перед собой пальцами.

— Колбаски бы... И икорки бы... А я еще, дурак, на самоубийство покушался! Жизнь так прекрасна! Вот это качество! Марья, сбегай-ка, голубушка, принеси парочку укусной эссенции да колбаски захвати. Дьявольский аппетит разгулялся.

— Ну-с, а теперь, закусив, можно помечтать и о радостях жизн... Тьфу, что это у меня такое в животе делается? Ох, и в глазах темно! Колбаса, ох, колбаса! Погиб я, товарищи, в борьбе с качеством! А жизнь так прекра...

С этими словами Гражданин лег животом вверх и умер.

Что, впрочем, и входило в его первоначальные планы.

1926

## О долгом ящике

**К**то о чем, а я о ящике. И не о каком-нибудь, а именно о долгом.

Чем же, собственно, отличается долгий ящик от просто ящика? Попробую осветить этот вопрос.

Обыкновенный, честный, советский просто ящик состоит из четырех стенок, дна и крышки.

Долгий ящик — наоборот. Хотя стенки у него изредка и имеются, но зато и крышка у него абсолютно отсут-



ствуется. Поэтому про долгий ящик принято говорить тихо, скрипя зубами и сжимая кулаки:

— У-у-у, проклятый! Чтоб тебе ни дна ни покрышки!

Ни на какую крупную роль, имеющую общественно-политическое значение, просто ящик не претендует и довольствуется незаметной, скромной, повседневной работой.

Что же касается долгого ящика, то — шалишь!

Долгий ящик другого сорта. Долгий ящик любит власть, славу, кипучую деятельность. Любит быть заваленным делами, проектами, сметами, изобретениями, жалобами.

Так и говорят потом со слезами на глазах:

— Ну, братцы, попало мое изобретение в долгий ящик! Пиши пропало!

Или весело:

— А жалоба-то, которую подал на меня негодяй Афанасьев, что я ему дал по морде, того... в долгий ящик... тю-тю... хе-хе...

Одним словом, у долгого ящика есть и враги и друзья. Смотря по обстоятельствам.

А уж ежели где какая волокита, бюрократизм, разгильдяйство или головотяпство, то будьте уверены, что долгий ящик тут первый человек.

И если бы управление какой-нибудь железной дороги пожелало бы соорудить в назидание какой-нибудь этакий шикарный памятник волоките и бюрократизму, то я предложил бы такой проект.

Письменный стол, покрытый сукном... тем самым сукном, про которое говорят: «А ты, Ваня, зря себе голову не ломай. Клади под сукно — и баста».

...На столе — справки, отношения, резолюции, входящие, исходящие... За столом два сонных чиновника, коныряющих в носках (фигуры, натурально, должны быть отлиты из крепкой меди). А у них на плечах возвышается, как некое завершение, красивый долгий ящик, снабженный стишками товарища Зубило.

Впрочем, не настаиваю. Итак, товарищи, о долгом ящике.

На днях в лавке ТПО на станции Подсолнечная Октябрьской ж.д. обнаружен в высшей степени редкий экземпляр долгого ящика.

С первого взгляда никто бы и не заподозрил, что это именно долгий ящик.

Наоборот, такой симпатичный просто ящик. Четыре стены, дно и крышка. В крышке аккуратная щель для корреспонденции. А на стенке написано даже, чтоб не заподозрили, что это долгий ящик: «Ящик для жалоб и заявлений».

И что же вы думаете?

Этот тихий на вид ящик при ближайшем рассмотрении оказался закоренелым, злостным долгим ящиком.

«Совершенно случайно 9 января, — пишет нам рабкор, — при ревизии лавки на ящик было обращено внимание, и из него извлекли заявление, опущенное туда... тридцатого декабря тысяча девятьсот двадцать четвертого года, то есть триста семьдесят пять дней тому назад».

Понимаете, какая скотина! Висел себе на стене целый год и в ус не дул.

Если бы не счастливая случайность, так бы до сих пор, негодяй, и молчал, что в нем лежит заявление.

Так бы и пролежало, может быть, в подлом ящике бедное заявление лет сорок-пятьдесят!

И, может быть, году этак в 1966-м какой-нибудь глубокий и дряхлый старик, член лавочно-наблюдательной комиссии, натолкнулся бы по старческой слепоте на этот ящик и заинтересовался им.

А интересно взглянуть: что находится в этом ящике?

И посыпались бы из вскрытого ящика на дряхлого члена лавочно-наблюдательной комиссии жалобы:

«Почему нету керосина?», «Дашь дешевый ситец!», «Приказчики кроют матом» и т. д.

И набросился бы рассвирепевший старик на заведующего лавкой:

— Почему керосина не держите?

— Керосина? — удивился бы заведующий. — Это какого керосина? Которым лет тридцать тому назад самоеды освещали свои жилища?

— При чем тут самоеды! Керосин подавайте!

— Керосин, товарищ, теперь у нас музейная редкость. Поезжайте в Москву. Там в Политехническом музее десять-пятнадцать граммов оставлено для обозрения... А нам керосин для чего? У нас, слава богу, от электрического освещения и отопления некуда деваться.

— А ситец почему дорогой?

— Да вы что, папаша, издеваетесь надо мной, что ли, при исполнении служебных обязанностей? Никакого ситцу и в помине нету. Зимой — сукно. Летом — шелк. Большой выбор и недорого.

— А зачем приказчики, того... кроют покупателей?

— Чем кроют?

— Известно чем. Матом.

— Не держим таких сортов.

— Как же не держите, если покупатели жалуются?

Вот видите жалобы...

И взял тогда заведующий лавкой жалобы и воскликнул:

— Ба-тень-ка! Да ведь это не жалобы, а, можно сказать, исторические редкости. Поезжайте в Москву, большие деньги дадут, как за рукописи тысяча девятьсот двадцать четвертого, двадцать пятого, двадцать шестого и двадцать седьмого годов. Начало двадцатого века. Эпоха-с! А вы говорите — керосин.

— Позвольте, да у нас сейчас какой год?

— Тысяча девятьсот шестьдесят шестой.

— Скажите пожалуйста, как быстро время летит. Когда я прилег давеча вздремнуть после обеда, был тысяча девятьсот двадцать шестой год, а проснулся — оказался уже тысяча девятьсот шестьдесят шестой. Спасибо, что сказали. Проклятый долгий ящик! Пойду отдохну. Выхрапну часок.

Вот, дорогие товарищи, до чего может довести долгий ящик!

Это только один экземпляр.

А сколько их, этих долгих ящичков, висит по линии железных дорог?

Сколько их скрывается в письменных столах администраторов?

Сколько их в учкпрофсожах, месткомах, линейных конторах, и т. д., и т. д.? Уму непостижимо!

Ищите их, товарищи! Выводите их, негодяев, на свежую воду! Уничтожайте их! Превращайте их в честные, деловые, скромные, советские просто ящички!

1926

### Сказочка про административную репку

**В**ероятно, всем известна сказочка насчет репки.

На всякий случай можно напомнить.

Посадил дед репку. Выросла репка большая-пребольшая. Решил дедка в спешном порядке реализовать вышеупомянутую репку. Тянет-потянет — вытянуть не может. Позвал дед бабу.

Баба — за дедку, дедка — за репку, тянут-потянут — вытянуть не могут. Печально, но факт.

Позвала баба внучку.

Внучка — за бабу, баба — за дедку, дедка — за репку... Тянут-потянут...

И так далее... пока не вытащили репку.

Нечто подобное частенько происходит на наших железных дорогах.

Только немножко наоборот.

И картина получается такого рода.

Посадили в управление железной дороги административную репку.

Приехала репка, выросла в полосу отчуждения, покрутила носом и сказала:

— Не нравится мне тут у вас чивой-то.

— А что же вам, товарищ Репка, собственно, не нравится?

— Ничего не нравится. Начальник службы путей не нравится. Начальник службы тяги не нравится. Начальник движения не нравится. И начальник службы сборов тоже не нравится. Одним словом, решительно никто не нравится. Всех — вон!

Сказавши это, грозная репка взялась за административный персонал дороги. Тянет-потянет...

Всех вытащила в два счета.

— А теперь, — говорит репка, — буду новым персоналом обростать. Тут со мной, кстати, все и приехали.

Появился возле репки новый П.

Новый П — за нового Д.

Новый Д — за нового Т.

Новый Т — за нового М.

Новый М — за нового Б.

Новый Б — за нового С.

Новый С — за нового К.

Новый ДП — за нового ТП, ТП — за МП, МП — за СП.

И так далее, и так далее.

За новым Т — новая бабка; за новой бабкой — новая внучка-машинистка; за новой внучкой-машинисткой — новая жучка, за новой жучкой — новая мышка...

Тянет-потянет репка — смотришь, всех своих как ближних, так и дальних родственников, друзей, знакомых и вытащила на свет божий...

Всем службишку устроила!

Покрутила носом и сказала:

— Вот теперь мне можно и за работу взяться!

Но тут взяли административную репку, вытащили ее с дороги и пересадили на другую дорогу.

И потянулся на новое место за репкой пышный хвост:  
П — за Д, Д — за Т, Т — за М, М — за Б...

За Т — бабка, за бабкой — внучка-машинистка, за внучкой-машинисткой — жучка, за жучкой — мышка... Целый эшелон друзей и знакомых поехал за вытянутой репкой.

Одним словом, не осталось на старом месте ни бэ ни мэ.

А репка приехала на новое место, выросла в полосу отчуждения, покрутила носом и сказала:

— Не нравится мне тут. Всех — вон!

И так далее, до бесконечности...

Смотри с начала.

Нельзя ли как-нибудь, товарищи, усмирить товарища Репку?

1926

### Конотопская нарпытка

«В период с 13 по 20 февраля с. г., будучи делегатом 1-го участка окружного съезда профсоюзов Конотопщины, я вместе с многочисленным съездом находился «на столе» в нарпите», — так пишет нам рабкор.

«Что несытно нас кормили, это еще не беда, а вот что неопрятно и что чаю не давали — плохо! Делегаты доплачивали в чайных из кармана».

«В нарпите на видном месте буфета имеется книга для записи «замеченных недостатков». В книге пишут о тараканах в борще и о человеческом зубе, обнаруженном в каше».

Интересен по этому поводу ответ администрации нарпита. На запись о зубе вместо серьезного объяснения или опровержения пишут так:

«Никакого зуба быть не могло, и писавший, вероятно, утерял не зуб, а одну из клепок головы. При проверке служащих нарпита зубы у всех оказались налицо».

Вот как ответил нарпит!..

Гм!.. Действительно, странно...

Ежели зубы у нарпитовских служащих оказались налицо, тогда чей же это зуб затесался в кашу?

Загадочно!

Впрочем, весьма возможно, что в каше оказался тот самый зуб, который имеет местное население против администрации нарпита.

Вам это, товарищи нарпитовцы, в голову не приходило?

Или, может быть, «при проверке администрации нарпита голов не оказалось налицо»?

Всякое бывает!

У Чехова есть хороший рассказ. Называется «Жалобная книга».

В этом рассказе приводится такая запись из «жалобной книги»:

«В рассуждении чего бы поесть я не нашел постной пищи».

И внизу резолюция:

«Лопай, что дают».

Как видите, резолюция вполне в духе конотопского нарпита!

Однако же и весельчаки, черт подери, сидят в управлении вышеупомянутого нарпита!

Так и режут! Так и режут!

Даже обидно как-то, что зря эти весельчаки погибают где-то в глухой провинции! Их бы, голубчиков, в центр, в Москву, в газету бы фельетонистами!

Разрешите же мне, дорогая администрация конотопского нарпита, предложить вашему вниманию несколько веселых и практических резолюций для вашей книги «замеченных недостатков».

Незаменимо в хозяйстве!

Верный способ сделаться душой общества и снискать всеобщую любовь и уважение... с примесью легкой судебной ответственности.

**№ 1. Жалоба:**

«Сегодня в супе мною обнаружены грязная веревочка и кусочек кирпича. Прошу принять меры.

*Возмущенный».*

**Резолюция:**

«А ты что ж хочешь, чтоб тебе за двугривенный в супе плавали золотая цепочка и драгоценный камень? Хи-хи! Слопаешь и веревочку. Ничего!

*Администрация нарпита».*

**№ 2. Жалоба:**

«Прошу обратить внимание на то, что служащие, подавая пищу, кладут в нее пальцы рук, что является весьма негигиенично и даже противно».

**Резолюция:**

«Скажи спасибо, что кладут пальцы рук, а не пальцы ног! Впрочем, если не нравится, можешь не обедать. То же нашелся аристократ!

*Администрация».*

**№ 3. Жалоба:**

«Между подачей первого и второго проходит более часа времени. Эту ненормальность надо устранить».

**Резолюция:**

«И дурак! У нас в театре тут одна пьеска шла, так там между первым и вторым действиями проходит два года, и то никто не жалуется, а ты лезешь с претензиями! А чем мы хуже театра? Отчепись!

*Администрация».*

Пользуйтесь, товарищи, на здоровье! Накладывайте резолюции! Благо при проверке голов администрации нарпита клепки не все оказались налицо.

1926



## Беременный мужчина

На дорожной конференции Северной делегатка Кулаева, выступив в прениях по докладу дорздравотдела, указала на случай в вологодском приемном покое, где вследствие перегруженности работой врач в больничном листе поставил рабочему диагноз — «беременна».

На линии врачам приходится обслуживать в сутки до 150 человек.

*Из одной стенограммы*

— Следующий! Что у вас такое?

— У меня, товарищ доктор, нога болит.

— Нога? Давайте ее сюда. Покажите. Тэк-с. Сейчас я ее смажу йодом. Готово. Можете идти.

— Товарищ доктор! У меня болит правая нога, а вы намазали левую.

— Ерунда! Следующий!

— Зубы...

— Сейчас! Открывайте рот. Которые? Где мои щипцы? Раз-раз — и никаких зубов!

— Ой, батюшки! Да не то! Зубы, говорю, у моего Ваньки начинают резаться, так я...

— У Ваньки? Зубы? Давайте сюда Ваньку. Где мои щипцы? Которые зубы? Ну-ка, посмотрим. Очень странно: никаких зубов нету.

— Так они ж еще режутся.

— Режутся? А почему режутся? Как режутся?

— Режутся и режутся...

— Безобразие! Обратитесь в милицию, если режутся, — она расследует. А мне некогда. Следующий! Что у вас, гражданин?

— Не гражданин я, товарищ доктор, а гражданка.

— Все равно. На что жалуетесь?

— На тошноту жалуюсь. Опять же все время на соленькое тянет. Живот будто потяжелел.

— Живот, говорите? Примите касторки — всякий живот как рукой снимет, гражданин.

— Не гражданин я, а гражданка.

— Все равно. Дуйте касторку. Следующий. Что у вас, гражданка?

— Живот у меня... только я не гражданка, а гражданин.

— Это не важно. Который живот? Покажите! Где болит?

— Вот тут.

— Гм... Явная беременность... Через две недели придется вам, матушка, рожать.

— Так... я ж... не матушка... я мужчина...

— Ерунда! Не задерживайте. Все вы мужчины... Следующий!

— Товарищ доктор! Я извиняюсь, но все-таки это мне довольно-таки странно. Может, не беременность?

— Вот вам и странно. Сказал, что беременность, — значит, беременность. Нечего, нечего, матушка. Умела замуж выходить, умей и рожать.

— Так я ж... извините... холостой...

— Тем более. Надо было своевременно в загсе зарегистрироваться. А теперь пойдет волынка насчет алиментов. Следующий!

— Товарищ доктор! Как же это так: мужчина — и вдруг рожать! Нету таких пролетарских законов, чтоб трудящемуся мужчине средних лет полагалось рожать дитё! Не могу я с этим фактом помириться!

— Не задерживайте. Следующий!

— Что же мне теперь делать, несчастному? Чем же мне придется кормить моего малютку?

— Грудью кормить будете, известно чем. Следующий!

— Какая же у меня, извините, грудь? Так себе, одна видимость. Из нее не то что молока, даже чаю не выдоишь.

— Ладно, выдоишь. Некогда мне с вами возиться! Следующий!

— Так я же...

— Следующий! Нету у меня времени с вами, граждан-

ка, возиться! Сто пятьдесят человек больных в приемной дожидаются. Не задерживайте! Приходите через две недели рожать. До свидания. Следующий!

Шутки шутками, товарищ, но при такой нагрузке врачей нетрудно и до того докатиться, что весь мужской персонал на транспорте начнет рожать.

Тогда, чего доброго, всякое железнодорожное сообщение в республике прекратится.

Уж лучше бы какой-нибудь соответствующий мужчина раз навсегда родил мероприятие по разгрузке линейных врачей от непосильной работы...

Тогда бы всякую мужскую беременность как рукой сняло.

1926

## Дочь Миронова

Двадцать седьмого июня сего года на станции Сосыка Северо-Кавказской железной дороги в багажное отделение вошла неизвестная молодая женщина...

Начало шикарное. Интригующее.

Грациозно приблизившись к весовщику Рекову, прелестная незнакомка положила на стойку багаж и чарующим голосом сказала:

— Весовщик, примите багаж до Новороссийска.

— Еще рано, — грубо ответил весовщик Реков. — Потрудитесь, гражданка, обождать.

— Обождать? — шаловливо переспросила незнакомка.

— Обождать, — упрямо подтвердил весовщик.

Тогда обаятельная незнакомка грациозно погрозила весовщику пальчиком и, смеясь, заметила:

— Вы нехороший человек, весовщик! Вы мне не нравитесь, весовщик. Я буду иметь о вас, весовщик, продолжительный разговор со своим папой. А мой папа, грубый ве-

совщик, не кто иной, как УЦД Северо-Кавказской товарищ Миронов.

Весовщик Реков покрылся смертельной бледностью.

— В-ваш... дитство... не погубите! Жена, маленькие детки... Тяжелое детство и безрадостная юность... Сей минут... Пожалте ваши корзиночки-с... заставьте вечно бога молить...

— То-то! — сказала грудным контральто незнакомка и, благосклонно улыбнувшись весовщику Рекову, проследовала в кабинет ДСП.

— Здравствуйте, голубчик. Дайте мне, голубчик, листок чистой белой бумаги без линеек — мне надо написать заявление.

— Тут, гражданка, не писчебумажный магазин, — элегантно сострил ДСП, — чтобы снабжать пассажиров бумагой.

— Я не пассажирка, — вздув губки, сказала незнакомка, — я дочь Миронова, а вы невоспитанный молодой человек. Фи! Я буду иметь с папой продолжительный разговор.

ДСП покрылся смертельной бледностью, но быстро взял себя в руки и, на скорую руку извиняясь, пролепетал:

— Хи-с, хи-с!.. Помилос-с... Сию-с минутку-с... не извольте беспокоиться-с... не признал сразу-с...

— Ничего, ничего! — ласково сказала дочь Миронова. — Я не злопамятна. Старайтесь.

ДСП лихорадочно выдрал из первой попавшейся книги листок бумаги, стал на одно колено и галантно протянул дочери Миронова.

После этого дочь Миронова шумно удалилась в кабинет ДС, вскоре вышла оттуда с «самим» ДС и воздушной походкой направилась в упомянутое выше багажное отделение.

— Вот что, братец, — сказал грозный ДС весовщику. — Вот что, братец!.. Ты того! Знай, с кем дело имеешь!

С дочерью самого Миронова дело имеешь. Так чтоб у меня ее обе корзины были приняты в два счета.

— Не погубите! — бледно прошептал весовщик.

— Орудуй!

— Слушаюсь.

— Вот что, кассир, — сказал ДС, — тут вот товарищ дочь товарища Миронова хотят съездить в Новороссийск... Так ты тово... Два билетика не в очередь... Понимэ?

Кассир покрылся смертельной бледностью и спешно выдал два билета, хотя в поезде № 18 мест и не было.

Дальнейшие события описаны летописцем станции Сосыка приблизительно так.

По окончании этой операции дочь Миронова вышла на перрон в сопровождении ДС, у которого через руку было изящно переброшено воздушное ее пальто. Здесь их встретила жена ДС, и последняя была представлена дочери Миронова. Милостиво поговорив с женой ДС, дочь Миронова, по слухам, сооблаговолила даже протянуть упомянутой жене два пальца, после чего все изысканное общество в сопровождении местного светского льва, телеграфиста Свиридова, прогуливалось по перрону в ожидании поезда.

Ради столь приятной встречи было распито две бутылки легкого виноградного вина. К сожалению, летописец не упоминает, какой марки было вино.

В это время на перрон вбежал расстроенный весовщик Реков и со слезами негодования в голосе заявил, что багажный раздатчик не принимает багажа дочери Миронова.

ДС побежал сам к багажному вагону и стал приказывать взять багаж, но багажный раздатчик остался неумолимым и багаж без замков не принял, нахально при этом заявив:

— Хотя бы этот багаж был самого Рудзутака.

В результате поезд № 18 был передержан на 20 минут.

После чего, при восторженных криках провожавших, дочь Миронова благополучно отбыла со станции Сосыка, посылая ошесчастливленной администрации воздушные поцелуи, нежные улыбки и прочие знаки внимания.

На сем история дочери Миронова и кончается, причем летописец станции Сосыка в конце своей летописи меланхолично добавляет:

«Местный агент ГПУ сел вместе с дочерью Миронова в поезд № 18 и по дороге узнал, что она вовсе не дочь Миронова, а назвалась Мионовой лишь потому, что ей нужно было ехать с этим поездом, а мест не было, и не знала, как быть, вот поэтому и назвалась дочерью Миронова, зная, что линейное начальство еще до сих пор не отвыкло лакейничать перед управленским начальством и их присными...»

Прибавлять к этому едва ли что-нибудь следует. Дело яснее ясного: не изжито еще на наших дорогах, к сожалению, лизоблюдство, лакейство, подхалимство!

И случай с «дочерью Миронова» — наглядный сему пример. О чем и сообщаем по линии.

1926

## Гранит науки

И наступил жуткий день экзаменов...

Впрочем, не экзаменов (экзамены — это понятие старорежимное), а выпускных испытаний Минской профшколы путей сообщения.

За столом восседала грозная комиссия: начальник школы, заведующий учебной частью, преподаватели предметов и представители профсоюзной и комсомольской организаций.

— Ну-с, приступим, — сказал председатель комиссии и плотоядно улыбнулся. — Только, ребята, предупреждаю: не мямлить, не ковырять в носу, голову держать бодро, на вопросы отвечать быстро — сто слов в минуту, не меньше! Раз-раз — и готово! Чтоб без никакой волокиты. Быстрота и натиск! А не то срежу. Правильно?

— Правильно, — бледно улыбнулись учащиеся.

— То-то же! Итак, пожалуйста сюда, товарищ Икс.

— Подойдите-ка, молодой человек, поближе! Да что это вы так передвигаете ногами, точно они у вас весят по шести пудов каждая? Веселее! Раз-два — и готово. Я такой человек — я люблю, чтоб учащиеся выглядели орлами! Ну-с! Перечислите-ка нам, унылый молодой человек, виды блок-аппаратов. Только живо!

— Станционные блок-аппараты, товарищ председатель, подразделяются, так сказать, на следующие виды. Во-первых...

— Короче!

— Во-первых, двухочковые, во-вторых...

— Кор-роче! А не то срежу.

— В-во-в... во-вто-рых, четыре...

— Кор-р-роче!..

— Четырехоч...ч...чковые... В-третьих...

— Да что у вас, черт возьми, язык отсох? Говорить разучились? Срежу, ей-богу, срежу! Короче!

— В-третьих, так сказать, восьмиочковые...

— Нет! Нет! Восмиочковых аппаратов не бывает. Садитесь на место!

— Тов...варищи! Честное слово, бывают.

— Не бывают! Садитесь.

— Бывают! Клянусь честью! Можете кого угодно спросить.

— Как? Что? Что вы этим хотите сказать? Вы этим хотите, может быть, сказать, милый молодой человек, что я лгу-с?

— Н-никак нет... Но...

— Никаких «но»! Садитесь! Ставлю вам литер В. Неудовлетворительно!

— Но...

— Молчать! Ступайте на место. Следующий!

— Нуте-с! Подойдите. Голову выше. Грудь вперед. Живот убрать. Отвечать быстро, четко, ясно. Расскажите нам, что вы знаете про диалектику Гоголя.

— Гоголя? Гм... Видите ли, насколько я вас понимаю...

- Короче!
- Насколько я вас понимаю, вы хотите сказать — диалектику Гегеля?
- Что-с?
- Гегеля-с?
- Как-с? Вы мне, кажется, возражаете, нахальный молодой человек?
- Но ведь Гоголь...
- Молчать! Расскажите про диалектику Гоголя — и дело с концом!
- Нету у Гоголя никакой диалектики.
- Нету-с?
- Нету. У Гоголя есть «Мертвые души», «Тарас Бульба»...
- Сами вы бульба! Садитесь. Ставлю вам литер В. Поучитесь!
- Но...
- Никаких «но»! Следующий!
- Перечислите местные комиссариаты. Быстро! Раз-два. Голову выше. Улыбайтесь. Ну!
- К числу местных комиссариатов отно...
- Короче!
- ...сятся...
- Кор-р-роче!..
- Наркомюст...
- Ничего подобного! Садитесь.
- Позвольте, но ведь...
- Никаких «но»! Провалились... Литер В!
- И...
- Кончено! Следующий!
- Есть.
- Подождите!
- Слушаюсь.
- Молодец!
- Рад стараться!
- Знаете?
- Ого! В два счета. Раз-раз — готово.
- Вот это я понимаю. Не ученик, а орел.
- Служим нар-роду!



— Правильно. Скажите нам, бодрый и симпатичный юноша, кто такой Маркс?

— Издатель «Нивы».

— Кто такой Бебель?

— Философ.

— Молодец. Что такое Третий Интернационал?

— Излюбленный гимн пролетариата.

— Bravo! Какие бывают паровозы?

— Всеякие: маневровые, пассажирские, санитарные, сельскохозяйственные, автоматические, электрические, санитарные, поломанные, музыкально-вокальные, красивые, некрасивые, колесные, воздушные...

— Довольно! Молодец! Садитесь. Литер А. Выдержал. Берите все с него пример. Взгляд бодрый, грудь вперед, ответы быстрые, точные... Раз-раз — и готово! Старайтесь, старайтесь, симпатичный юноша! Следующий!!

1926

## Ау, папаша!

Будучи сознательным советским младенцем мужского пола и грудного возраста, настоящим прошу тебя, дяденька «Смехач», обуздать моего беспримерно гнусного папашу, гражданина Александра Григорьевича Сизова, и прогудеть по всему Советскому Союзу про его недостойную, чтобы не сказать крепче, линию поведения как в отношении меня лично, так и в отношении моей беззащитной мамашы.

И нельзя не воскликнуть: «За что боролись?»

Поясню примером: в отношении деторождения упомянутый мой гнусный папаша оказался мастером высокой квалификации, что целиком и полностью подтверждается печальным фактом моего рождения на свет, чего нельзя сказать об алиментах. Родить-то он меня, развратный гражданин, родил, а, как говорится, об «платить алименты не может быть и речи». Почему такое?

Фактически же дело обстоит так. С апреля месяца 1925 года на упомянутого моего гнусного папашу имеется исполнительный лист — взыскивать с него на мое содержание 10 рублей в месяц.

Конечно, денежки не ахти какие! Все же 10 дубов на земле, извините, не валяются, и, принимая во внимание вздорожание молока, манной каши и пеленок, нужно констатировать тот факт, что вышеизложенные 10 рублей являются для меня единственным доходом и средством к существованию. Опять же соска. Разве ж можно допустить, чтобы в Советском государстве пролетарский малютка оказался без спецсоски! И куда смотрит охрана материнства и младенчества? Ау, откликнись!

А все через этого моего вышеупомянутого жулика папашу, который хвостиком прикрылся и платить по исполнительному листу упорно не желает!

Два раза носила меня мамаша в губсуд судиться с вредным папашей. Ни черта! Наконец дело было вновь пересмотрено и постановлено — взыскивать с папаши монету. Хорошо. Пока дело тянулось, задолженность нарастала. А между прочим, жрать хотца. Опять же соска!

И что же тогда делает мой негодяй папаша? Мой негодяй папаша начинает понемногу менять линию поведения, для того чтобы отделаться как можно дешевле. А именно: его место в Мелтресте с окладом в 80 рублей занимает его отец, то есть, извините, мой дорогой, симпатичный старик дедушка, а он, гнусный папаша, к моменту окончательного решения суда, в том же Мелтресте уже получает только 32 рубля. Как вам понравится такая шельма?

Просто сказать, от людей совестно, что у меня папаша такой жулик!

Когда же исполнительный лист поступил по месту службы и было сделано удержание, мой дорогой папаша-жулик уже оказался, представьте себе, безработным! Веселенькая история!

А жрать, между прочим, хотца. Опять же соска! Хорошо.

Что же делает папаша дальше? Дальше папаша жегнется и берет на свое иждивение, кроме жены, еще тещу

и замужнюю сестру с двумя детьми. Обеспечив себя таким составом семьи, эта старая лисица выкидывает такую штуку — в один прекрасный день в полном составе переезжает на Украину, чем сильно осложняет дело с получением монеты. А жрать все же хотца. Ладно.

Что же дальше делает мой аферист папаша? Дальше мой аферист папаша поступает артельщиком плательщиков в Харьков, в Донецкое управление (площадь Уербаха, дом № 7), и решительно прикрывается хвостиком, чего не могу сказать, дорогой дяденька «Смехач», про себя.

Верите ли, дяденька, через этого моего жилу папашу из цветущего, образцового малютки превратился я, извините, в скелет желтоватого оттенка, а бедная моя мамаша, швея, по целым дням бегаёт от судисполнителя в контору за всякими справками, а из конторы в милицию — узнавать адрес моего дорогого и горячо любимого папаши, гражданина Александра Григорьевича Сизова, чтоб он, кстати, подох!

А дорогой мой папаша сидит у себя в Харькове, прикрывшись хвостиком, и публично произносит по моему адресу всякие выражения вроде: «И когда же этот пацан подохнет!»

Это я-то пацан! Это я-то когда сдохну! Ну и папаши пошли, извините за выражение! Да за такие слова я имею полное право потянуть его в нарсуд, только пачкаться не стоит. Конечно, с моей стороны было крайне несознательно уродиться от подобного уголовного папаши. Но разве ж я знал, что это такая гадина. Знал бы — ни в жисть не родился.

А кушать, между прочим, хотца. И соску.

С тем, дорогой дяденька «Смехач», до свидания. Печатай, пожалуйста, а уж я, когда подрасту, клянусь подписаться на тебя со всеми приложениями.

*Соскор «Пацан».*

*Писал под диктовку малютки В. Катаев.*

## Тусклая личность

У дверей редакции газеты «Гудок» остановился неизвестный гражданин тусклой наружности и, обнюхав извилистым носом редакционный воздух, принялся терпеливо ждать. Ждал он долго — часов пять-шесть.

Люди приходили в редакцию и уходили. Рабкоры приносили заметки, рассерженные «опровергатели» стучали кулаками по редакционным столам, почтальоны несли со всех концов СССР почту. Курьеры летели в типографию со срочным материалом...

А неизвестный гражданин тусклой наружности терпеливо ждал, с недоумением уставясь оловянными глазами в дверь.

— Вам, собственно, что нужно, товарищ? — спросил я, заинтересовавшись таинственным посетителем.

— В «Гудок» нужно. Одно дельце есть.

— Так что же вы не входите?

— Без доклада? — презрительно прищурился тусклый посетитель.

— У нас в «Гудке» никаких докладов не требуется. Имеете дело — прямо открывайте дверь и валите! Милости просим!

— А я думал: может, ветром сдуло.

— Чего?

— Ветром, говорю, может, сдуло. Табличку то есть сдуло.

— Какую табличку?

— Известно какую: «Без доклада не входить».

— Нет, товарищ, у нас это не в моде. Нет у нас никаких табличек. Входите уже безо всякого доклада.

Тусклая личность сердито пожевала своими иссиня бритыми губами и прошамкала:

— Непорядки это... чтоб без доклада... Ну да уж ладно! Войду и так.

— Прошу вас.

Я взял посетителя под руку и ввел в редакционную комнату.

— Ну-с, дорогой товарищ, теперь расскажите, в чем дело?

— А вы секретарь здесь, что ли?

— Нет, не секретарь. Фельетонист я.

— Так это же непорядки... сначала к секретарю надо.

— Не надо к секретарю.

— Не надо? — горько ухмыльнулся посетитель. — Вот оно что? Ага! Так и запишем-с... А я думал: может, ветром сдуло.

— Что?

— Ветром, говорю, может, сдуло табличку: «Обращайтесь к секретарю».

— Нет, у нас этого не водится. Безо всякого секретаря. Можете прямо приступить к делу. Ну-с?

— А как же с анкетой?

— С какой анкетой?

— А с такой — заполнить, значит, чтоб.

— Нет у нас никаких анкет. Не надо ничего заполнять. Садитесь просто на стул и говорите!

— А рукопожатия отменяются? — с дрожью в голосе спросил тусклый посетитель.

— Отменяются, отменяются! — успокоил я его.

— То-то! — слегка просиял он.

— Ну-с! Я вас слушаю.

— А я думал — через недельки две-три зайти.

— Зачем же это?

— А для порядку. А то что ж это, в самом деле: пришел — и в тот же день дело сделал. Непорядки это, знаете.

— У нас это не принято — тянуть волюнку. Говорите валяйте.

— А может быть, вы все-таки заняты? Заседанием каким-нибудь или же комиссией, а?

— Нет, не занят. Я весь к вашим услугам!

— Странно, очень странно.

— Ничего странного тут нет. Вы мне надоели. Говорите же, что вам надо.

— А может быть, лучше прошение написать? С гербо-

выми, значит, марками... пропустить, значит, через входящие и исходящие... Честь по чести, а?

— Тьфу, дьявол! Надоели вы мне, откровенно говоря. Не надо никаких прошений. К черту входящие! К собакам исходящие! Говорите прямо по-человечески, что нужно.

— Непорядки это...

— То-ва-рищ! Пожалуйста, не тяните! Говорите, в чем дело. А то я занят — к «бюрократическому» номеру «Гудка» фельетон строчу. Видите?

— К «бюрократическому»? — встрепенулся тусклый посетитель. — Так вот я к вам именно по этому дельцу и пришел.

С этими словами он вытащил из кармана какую-то бумажку и, конспиративно оглянувшись по сторонам, сунул мне в руку.

— От Ивана Ивановича... Лично... В собственные руки.

Я с недоумением развернул записку и прочел: «Дорогой Митрофан! Ты меня, наверное, забыл, а мы с тобой в 1917 году вместе в трамвае ехали в Одессе. Окажи дружескую услугу! Податель сего... как его... фамилию забыл... мой старый верный друг детства, а также муж сестры тети Сони (впрочем, ты ее, наверное, не знаешь). Так вот, рекомендую его тебе как высококвалифицированного бюрократа. Надеюсь, что в память нашей старой дружбы ты устроишь его как-нибудь на страницах бюрократического номера «Гудка». Портретик там или что. Со своей стороны при первом удобном случае окажу тебе услугу за услугу. Заранее благодарен. Кланяйся Зубиле! Твой Вася».

— Никакого Васи я не знаю! — мягко сказал я. — И никакой рекомендации не надо!

— Не надо? — ахнул тусклый посетитель. — Как же это так, чтоб без записочки? Без записочки у нас ничего не делается. Без записочки — это непорядки. Хе-с, хе-с... Может, этого, Васиной рекомендации недостаточно, в таком случае я могу от Пети принести.

— От какого Пети?

— Как же-с, как же-с... Разве вы не знаете Пети? Петя —

это двоюродный брат Васи по женской линии... Тоже с вами в трамвае как-то однажды ехал — до сих пор вспоминает.

— Не помню Пети! Не надо Пети! Давайте лучше без всяких рекомендаций! Ну-с, в чем дело?

Тусклый посетитель страдальчески вздохнул:

— А может быть... все-таки... через секретаря? Или же проще...

— Тьфу!! Говорите так!

— Хорошо-с! — покорно склонил голову посетитель. — Не хотите — не надо! В чужой, как говорится, монастырь со своим уставом не суйся. У меня к вам, товарищ Горчица, такого рода дельце. У вас тут, я слышал, «бюрократический» номерок готовится... Так нельзя ли мне... как-нибудь того... по знакомству с Васей, Петей и тетей Соней... на первой страничке напечататься? Ась?

— А вы, товарищ, кто такой, собственно, будете?

— Я-с... бюрократ-с! Чистой воды, стопроцентный, старый, выдержанный советский бюрократ-с!

— А! Это интересно! Нам нужен хороший, опрятный, образцово-показательный бюрократ с солидным стажем.

— Лучше меня не найдете-с! Я бюрократ, знаете, еще довоенной выработки. С семнадцатого года в советских учреждениях волюнку волюню. Так напечатаете на первой страничке-с?

— А что вы, например, делали такого сверхбюрократического?

— Я-с? А очень даже многое-с... И Вася может подтвердить. Бумажки, например, по два месяца в столе держу иногда. И не какие-нибудь, а важные. Без доклада никого не пускаю к себе-с. На курьера кричу-с... Хе-хе!..

— И это все?

— Н... нет-с... А то вот еще такой случай был. Как-то остался я замещать своего прямого начальника — так, верите ли, два месяца сам себе отношения писал и сам себе на эти отношения отвечал... Ась? Об этом даже на днях товарищ Орджоникидзе в докладе упомянул-с...

— Для первой страницы маловато. На первой страни-

це у нас место занято Макдональдом, Гендерсоном, Томасом и К. Ваша волокита по сравнению с ихней волокитой — детские игрушки. От вашей волокиты пострадало десятка два посетителя да пудов сорок писчей бумаги... А там, дорогой товарищ, весь рабочий класс Англии пострадал! Вот это работка-с!

— Значит, на первую страницу не возьмете?

— Не возьмем.

— А Васина записочка-с?

— Не поможет.

— Может быть, все-таки...

— Нет-нет! И не просите! Макдональда вам по части волокиты, я вижу, не покрыть. Кишка тонка. Вы что? Пережиток, мразь, извините, ничтожный бюрократический щенок. А Макдональд — это действительно волокитчик в мировом масштабе. Первейший из всех бюрократов Второго Интернационала.

— Значит, не напечатаете?

— На первой странице — нет. Сбегайте на четвертую страничку, — может быть, там, петитом...

— Может, на первую?.. Тетя Соня кланялась... А?

— Нет-нет! Идите на четвертую! До свидания, товарищ бюрократ.

Тусклый посетитель сгорбился и поплелся на третью страницу.

Выходя из редакции, я увидел тусклого посетителя. Он стоял, окруженный друзьями, и, вытирая оловянные глаза большим несвежим носовым платком с синей каймой, говорил, всхлипывая:

— Не принял, подлюга, на первую страницу. Пришлось на третью забираться. Не повезло. Конечно! У этого самого паршивого Митрофана Горчицы свой кандидат, оказывается, свой кандидат на первую страницу был — Макдональд. За него, говорят, специально Кук из Лондона приезжал хлопотать. А у меня записочка от Васи. Нешто Васе с Куком тягаться! «Вы, говорит, мелочь, а Макдональд, говорит, в международном масштабе!.. Кишка, говорит, тонка!» А пустите вы меня на международную



арену — я вам покажу, как надо волыннить! Дайте мне инициативу, я бы им показал, что такое настоящий бюрократизм! Не дают только, сволочи, ходу! Бюрократы паршивые!

1926

## Спутники молодости

Фельетонист газеты зажег на своем хорошо оборудованном письменном столе сильную, яркую полуваттную лампу под зеленым колпаком, придвинул к себе стопку тщательно нарезанной белой бумаги, отхлебнул глоток крепкого до черноты, душистого чая и, закулив толстую папиросу Уктабактреста, мечтательно выпустил в потолок синеватый клуб дыма.

В калорифере пароводяного отопления постукивали молоточки. От него исходило упоительное тепло. За окном кружился легкий снег. Вечерело...

Фельетонист обмакнул перо в чернила и решительно написал: «Фельетон». Потом зачеркнул и написал: «Маленький фельетон». Немного подумав, зачеркнул «Маленький фельетон» и вывел красивыми буквами: «Октябрьский фельетон».

Фельетонист полюбовался на свой почерк, нарисовал сбоку человека с длинным носом, надел на него цилиндр, устроил на глазу монокль, а внизу написал: «Чемберлен». Затем приделал Чемберлену длинную черную бороду, перечеркнул лист, смял его и бросил в корзину.

— Тыфу, дьявол! Четвертый вечер сижу и ничего не могу высидеть! Хоть плачь!

Фельетонист встал из-за стола, сердито лег на диван и закрыл глаза.

— Не желаю — и баста! Нету темы. Не машина я, в самом деле, чтоб за четыре дня фельетоны октябрьские писать!

— Постыдились бы так говорить, товарищ! — произ-

нес вдруг над ухом фельетониста чей-то густой, железный бас. — Просто срам, молодой человек! Фу!

Фельетонист вздрогнул и открыл глаза. Возле дивана стояла небольшая железная печка на маленьких ножках и укоризненно качала своей коленчатой прожженной трубой, похожей на шею жирафа.

— Что вам, собственно, угодно, гражданка? — строго спросил фельетонист. — И с вашей стороны это даже довольно неделикатно — врываться без спроса в кабинет к незнакомому, занятому человеку. Попрошу вас удалиться, я не имею чести быть с вами знакомым!

— Хо-хо! Это мне нравится! Не узнаете вы меня, что ли?

— Н-н-не припоминаю что-то, извините. Кто вы такая?

— Не припоминаете? — обиделась печка. — Очень мило с вашей стороны! Этого я от вас никак не ожидала! Я — «буржуйка».

— Буржуйка? Тем нахальнее ваше поведение. Между мной и буржуйкой не может быть ничего общего.

— Именно «буржуйка». Или «румынка». Как вам будет угодно. Не узнаете?

— Позвольте... «Румынка»... «Буржуйка»... Позвольте... Как будто бы... немножко ваша труба... мне знакома... — пролепетал фельетонист, всматриваясь в печку. — Где мы с вами встречались?

— Хо-хо! Эт-то мне нравится! Везде мы с вами встречались, дорогой товарищ. В частности, я у вас в комнате жила подряд три года — тысяча девятьсот девятнадцатый, двадцатый и двадцать первый. Вы еще меня тогда полным собранием сочинений Боборыкина топили. «Хорошо, шельма, писал, говорили, два месяца я на нем воду кипячу, а все конца-краю ему не видать». Ну, припоминаете теперь?

— Голубушка! — воскликнул фельетонист в сильнейшем волнении. — Мам-мочка! Теперь узнаю! Узнаю! Ради бога! Какими судьбами? Садитесь, пожалуйста! Чайку, может быть, стаканчик выпьете? Кофейку? А я, признаться, думал, что вас давным-давно в Москве не существует.

— Вообще не существует. Но в частности, в полночь накануне Октябрьской годовщины... Иногда... В качестве, извините, праздничного призрака... специально для беллетристов... А насчет чаю не беспокойтесь, сыта по горло! Мерси!

— О, как мило с вашей стороны, что вы пришли! А то, знаете, буквально не знаю, что писать. Все в голове какие-то, представляете себе, жареные меньшевики с яблоками копошатся. То есть гуси... Обалдеть можно.

Печка укоризненно покачала головой:

— Ай-яй-яй! Нехорошо забывать спутников молодости. Не-хо-ро-шо! Небось если бы не я, вы бы десять раз подошли и до девятой годовщины не дотянули. Ух какое было тяжелое время! Помните?

— Еще бы! Тяжелое, да! Но вместе с тем чудесное, незабываемое, героическое, молодое время! Вот, гражданка печка, смотрю я на вас — и передо мною всплывают одна за другой картины этого времени... Свистит буйный ветер революции. Холодно. Голодно. Коченеют руки. И вместе с тем как работалось! Замечательно работалось! Вызывает редактор. Так и так, говорит, красные части отходят от Царицына. Надо предотвратить панику. Бодрый фельетон. Через двадцать минут чтоб был на столе. Есть! И действительно... Еле в отмороженных руках держишь карандаш... Бумага рвется... И тем не менее ровно через двадцать минут у редактора на столе фельетон. Да не какой-нибудь, а огненный, страстный, ударный! Как динамитный патрон! Эх, было время!

— То-то же! А вы говорите — писать не хочется! Постыдились бы! Разленились вы, батенька, вот что! Отъелись. Обуржуились малость, извините меня, старуху, за откровенность. Говорите, что писать не о чем? Ерунда! Вспомните двадцатый год!

— Верно, правильно! — раздался тоненький голосок, и фельетонист с удивлением увидел у себя на плече довольно странную бутылочку из-под горчицы, с трубкой, воткнутой в пробку. — Что, может быть, вы и меня не узнаете?

— Н-не совсем... извините, уважаемая бутылочка... Что-то не припомню...

— Не припоминаете? Я так и знал! И никакая я вам не бутылочка! Я — светильник-с. Обыкновенный бензиновый светильник образца двадцатого года. При моем свете вы писали тогда свои огневые фельетоны. Надеюсь, вспомнили?

При этих словах электрическая лампа погасла, а светильник торжествующе вспыхнул четырьмя яркими язычками пламени. Тени заматались по комнате.

— Узнаете теперь?

— Узнаю, узнаю. Как же! Милый вы мой, дорогой светильник!.. Садитесь!

На глаза у фельетониста навернулись слезы.

— А меня не узнаете?

— А меня?

— А меня?

Фельетонист вскочил с дивана и увидел, что комната наполнена множеством странных, но до боли знакомых вещей. Березовое полено молчаливо, но приветливо стояло у письменного стола, скептически поглядывая на начатый фельетон. Бязевые красноармейские кальсоны с клеймом сидели на стуле, небрежно закинув ногу на ногу. По паркету бегали деревянные сандалии, отбивая чечетку. Мерзлый картофель громыхал в солдатском котелке. Медная зажигалка щелкала и стреляла длинным багрово-огненным языком. Серная спичка вспыхнула синей точкой, зашипела, затрещала, наполняя воздух удушливой вонью...

— Ты забыл нас, фельетонист?! — кричала восьмушка табаку, похожего на сухой конский навоз. — Это просто свинство! Это черная неблагодарность! Ты курил меня, когда писал свои пламенные агитки!

— Правильно, — поддержало березовое полено. — Он украл меня у своего соседа и при теплоте моего пламени сочинял героические стихи о взятии Перекопа.

— Он носил меня, — сказали иронически кальсоны, — когда ездил по фабрикам, выступал на устных газетах.

— И нас он носил тоже. Без нас он бы замерз! — закричали обмотки, разворачиваясь, как змеи, и извиваясь.

— А теперь он забыл о нас! Ренегат!

— Просто свинья! — возмущенно заметил фунт мяса из академического пайка. — Он иногда ел меня и товарища ячневую кашу. Если бы не мы, он бы сдох с голода.

— А я, по-вашему, что? Собака? — вспыхнул ломтик черного, мокрого, липкого, как замазка, колючего хлеба. — А я разве не поддерживал его в самые трудные минуты! Разве не я питал его фельетонный жар!

— Он из меня пил кипяток! — зарычала коробка с рваными краями. — Без меня бы он погиб! А теперь он смотрит на меня, как баран на новые ворота, и не узнает. Теперь он, видите ли, пьет чай с сахаром из граненого стакана в серебряном подстаканнике! Буржуй!

— Правильно! — вопили вещи.

— Фельетонист! Вспомни о нас! Вспомни и напиши фельетон... Нет, не фельетон, а поэму, чудесную, незабываемую, героическую поэму о нас, которые грели тебя, и кормили, и помогали тебе жить...

— Милые вы мои! — воскликнул фельетонист, еле сдерживая волнение, теплым клубком подступившее к горлу. — Помню вас. Помню, люблю, никогда не забуду больше! И вас помню, дорогое березовое полено! Я действительно украл вас у Сашки Ветрова, из комнаты номер одиннадцать. Но что же делать? Я коченел от холода. Надеюсь, вы не сердитесь на меня? И вас помню, о бязевые кальсоны! Вас было очень трудно стирать в холодной воде, но носились вы прекрасно. И вас, пайковое мясо. В вас, правда, было полфунта костей, но никогда ничего вкуснее я не ел на свете! И вас, дорогой дешевый табак... И вас, зажигалка, и вас, кружка, и вас, бандерольная бумага, на которой я писал героические агитки и из которой я крутил сигарки. И вас, светильник, и вас... картошка. Всех, словом! Всех вас, моих дорогих, горячо любимых, незабвенных спутников героической молодости...

Вдруг в дверь постучали. Раздался голос:

— Товарищ фельетонист! Тут у вас пришли какие-то, говорят, что меньшевики, эсеры, Деникин, Керенский, Милюков, барон Врангель и многие другие поздравлять с Октябрьской годовщиной. Просятся в октябрьский фельетон. На чай просят.

— Гоните их к черту! Ничего я о них писать не буду. Надоело! Так им и скажите. Да смотрите, чтоб они из передней шубу не утащили! Скажите, что я занят. У меня в гостях спутники молодости. И о них я буду писать свой праздничный фельетон!

За окном уже горели фонари. Вдоль фасада большого дома тянули красные полотна.

1926

## Неотразимая телеграфистка, или Преступление мистера Климова

(Сильная кинопрограмма в пяти частях)

### Часть первая

1. На экране появляется красивый железнодорожный пейзаж.

*Надпись:* «Станция Шарья Северной железной дороги».

2. На экране — красивый мужчина сидит за письменным столом и, поднявши к потолку деликатные глаза, нежно мечтает.

*Надпись:* «Зам. председателя учкпрофсожа Климов».

По небу плывут кудрявые тучки.

3. *Надпись:* «Еще в прошлом году Климов, будучи в местном № 2...»

4. Климов сидит, обнявшись с неотразимой телеграфисткой Монаховой, над прудом.

*Надпись:* « — Котик, достань мне казенную квартирку!

— Увы, Пупсик, это никак невозможно!

— Почему?

— Потому, что я не состою в жилкомиссии».

5. Крупным планом. Прекрасное лицо неотразимой телеграфистки. По щеке ползет большая и довольно-таки увесистая слеза...

### Часть вторая

6. *Надпись:* «Прошел год...»

Неотразимая Монахова сидит над аппаратом Бодо и тихо грустит. Вбегает мистер Климов и начинает резвиться.

*Надпись:* « — Почему ты резвишься, Пупсик?

— Ура! Ура! В данный момент я замещаю председателя учкпрофсожа. Лови этот самый момент. Комнатка тебе обеспечена».

Мистер Климов вприпрыжку убегает. Неотразимая телеграфистка хлопает в ладоши и начинает лихорадочно пудриться.

7. Председатель жилищной комиссии Честоковский стоит на задних лапках. Крупным планом: виляющий хвост. Мистер Климов гладит Честоковского по мохнатой спине.

*Надпись:* « — Послушай, песик!

— Всегда готов служить начальству!

— В данном случае объявляю заседание жилкомиссии открытым. На повестке — вопрос о предоставлении неотразимой Монаховой комнаты. Возражений нет?»

8. Честоковский продолжает стоять на задних лапках и ласково вилять пушистым хвостом. Крупным планом: торжествующее лицо мистера Климова.

*Надпись:* «Принято единогласно».

9. Мистер Климов становится на одно колено и галантерейно передает неотразимой телеграфистке ордер на комнату и ключ. Крупным планом: целуются. Диафрагма. Экран темнеет.

### Часть третья

10. Честоковский посылает протокол «заседания» на подпись ШЧ-6, ДН-6, ТЧ-11. Они категорически отказываются подписать.

*Надпись:* « — Мы не желаем подписывать незаконный протокол. Мы не присутствовали на заседании. Кроме того, есть лица, более нуждающиеся в квартире, чем неотразимая телеграфистка. Одним словом, пошел вон!»

11. Честоковский бежит, поджав задние ноги и свесив язык. Крупным планом: перед Честоковским встает большой вопрос.

*Надпись:* « — А как же я теперь буду посылать протокол в доржилкомиссию???»

12. Неотразимая телеграфистка игриво въезжает в комнату.

### **Часть четвертая**

13. Бурная ночь. Луна как сумасшедшая ныряет в чернильных тучах. Ветер гнет деревья. Мистер Климов и мистер Честоковский, закутанные в плащи, пробираются в канцелярию, где хранится книга протоколов.

*Надпись:* «Но бандиты не дремлют».

14. Крупным планом: открытая книга протоколов. Рука мистера Климова заклеивает протокол от 24 января 1927 года и пишет заднее число, то есть 21 января, где вызывают уже других представителей, совершенно не вызывавшихся в первый раз.

*Надпись:* «Дело сделано... Шито-крыто».

15. Крупным планом: неотразимая телеграфистка и мистер Климов целуются. У их ног сидит, поджав под себя пушистый хвост, Честоковский и умильно облизывается.

*Надпись:* «Друзья ликуют».

16. Вагон, где ютятся семьи рабочих с маленькими ребятишками. Теснота. Нищета.

*Надпись:* «А они получили вместо квартиры — фигу».

### **Часть пятая**

17. Летит московский поезд.

*Надпись:* «Но...»

18. Крупным планом: из вагона выгружают «Гудок».



19. Мистер Климов раскрывает номер «Гудка» и медленно зеленеет.

*Крупным планом надпись:*

«Маленький фельетон Митрофана Горчицы: «Неотразимая телеграфистка, или Преступление мистера Климова».

*Конец*

1927

## В Западную Европу

*(Из заграничных впечатлений 1927 года)*

### 1. Zrewidowano

Симпатичный незнакомец в широком пальто горохового оттенка лениво поковырялся в моем непривлекательном чемоданчике и элегантно махнул рукой. Рукой, плотно заключенной в серую замшевую перчатку, явно западноевропейского происхождения.

Некто в кепи с галуном тут же наклеил на крышке чемоданчика розовый билетик с загадочной надписью: «Zrewidowano».

— Гм!.. Zrewidowano так Zrewidowano. Ничего не имею против.

— Можно идти, товари... то есть, виноват, господин.

Гороховое пальто молча наклонило голову, но весь вид его приблизительно говорил следующее:

«По-русски отлично понимаю, но говорить на этом варшавском языке не желаю. Забирайте свое барахло и можете идти в Европу. Не возражаю. Скатертью дорожка».

— Мерси, — сказал я на чистейшем польском языке, взял чемодан и бодро вступил на территорию Западной Европы.

Строго говоря, вышеупомянутая территория была не

столько западноевропейская, сколько восточнопольская, но это несущественно.

От крахмального воротничка джентльмена, любезно обменивавшего через окошечко мне два червонца на огромное количество таинственных золотых, до щеголеватого военного попутайской раскраски здесь все настойчиво намекало на свое западноевропейское происхождение.

В последний раз через стеклянную дверь я посмотрел назад, где возле круглой стойки незнакомец в гороховом пальто отбирал у пассажиров паюсную икру, папиросы, юмористические журналы и прочие орудия большевистской пропаганды, и с головой погрузился в западноевропейские ощущения.

Станция Столбцы. Белый, во вкусе новонемецкой готики, вокзал. Белый лепной орел, смахивающий на гуся. На подоконниках в зеленых ящиках — пестрые цветочки. Чистота и скучноватый порядок. Белые облака, российские сосны. В яркой траве — традиционный осколок стекла, белой звездой отражающий раннее, но не вполне западноевропейское солнце.

Пресмыкающийся и шепелявящий от пресмыкания молодой носильщик в кепи, роняя по дороге веснушки, потащил мой чемоданчик к поезду. Поезд короткий. Вагоны — длинные. И под длинными зеркальными стеклами слипінткарів — соблазнительные таблицы:

«Столбцы — Берлин».

«Столбцы — Остенде».

«Столбцы — Париж».

К сведению не искушенного в западноевропейских делах россиянина: слипінткар — спальный вагон, комфортабельный продукт разлагающейся Европы. Но уж если разлагаться, так уж разлагаться по всем правилам, черт возьми!

И вот проводник слипінткара, почтенный человек в галунах, отметил синим карандашом на карте отведенное для меня купе.

— Проще, пане!

Тонкая пыль, пронизанная зеркальным утреним

светом, стояла в бархатном купе. Я опустил тяжелую раму. Со стуком она упала. Особо запахло железнодорожной масляной краской, завертелась пыль, и я прочел привинченную к оконной раме эмалевую табличку: «Не выхилияч шем».

Что обозначает — неизвестно. По всей вероятности, нечто вроде «просят не высовываться». Но тем не менее приятно, что так заботятся об иностранцах, хотя бы и русских.

Ничего не поделаешь, Европа!

До отхода поезда оставалось минуты две. Я выбрался на перрон и пошел вдоль поезда, — из окон вагонов на меня глядели западноевропейские портреты.

Это был великолепный осмотр первой комнаты, даже, собственно, вестибюля того музея, который мне надлежало объезжать в течение месяца.

Вот окно. Не окно, а семейная группа. Стриженная девица в темных роговых очках, в пестром вязаном джемпере, с томиком самого популярного в Европе романа «Мадонна спальных вагонов» (507 тысяч экземпляров). Дочь, мамаша в черных патриархально-католических митенках, со зловредным носом, покрытым слоем этакой ультрамариновой пудры с легким апельсинным оттенком, папаша в соломенной шляпе, сухонький, с выкрашенными усами, в крахмальном воротничке, корректный, как покойник из хорошего дома. Конечно, темные замшевые перчатки (вообще все порядочные люди — в перчатках). По всей вероятности, добродетельная помещицья семейка, едущая проживать без особого труда добытые средства куда-нибудь в Карлсбад или (чем черт не шутит!) в Ниццу.

Я прохожу мимо, мамаша опускает замшевые, как у попугая, веки и неодобрительно скользит глазами по моим, весьма неевропейским, туфлям. Потому — ежели бедный, то сиди дома и не рыпайся по заграницам, не суйся в «миттельевропеишен экспресс».

Дальше в окне хорошенькая горничная в наколке чис-

тит щеткой круглую шляпную коробку своей барыни и не без некоторого презрения делает глазки носильщику.

Дальше в раме окна красуется томного вида молодой человек (в коричневых замшевых перчатках, натурально). Облокотясь коверкотовым плечом о раму, он читает французскую газету. Бархатные его усики длинные и модны, как у Адольфа Менжу, одна бровь скептически приподнята, и вялые губы абсолютно неподвижно приоткрыли мертвый, перламутрово-золотой зуб.

Далее — католический священник, коммивояжер (надо полагать, какой-нибудь автомобильной фирмы), два немолодых розовых немца, — словом, все как полагается.

И над всем этим, то есть среди всего этого, величественно и грузно опершись слоновыми локтями о бронзовую раму, возвышается... нет, не возвышается... ширится... нет, не ширится... непомерно присутствует, царит, доминирует, подавляет и ужасает чудовищной комплекцией монументально-буддийского стиля польский генерал. Его лицо — жирная Европа. Оно окружено (я бы даже рискнул сказать — обрамлено) как бы некими колониями, седую растительностью немолодого льва. Оно давит на тройную шею, шея давит на воротник (с галунами, разумеется!), воротник давит на гороподобную грудь. Грудь распирает окно. Окно трещит. Окно давит на вселенную. Трещит европейское равновесие.

Нет, это не генерал. Это — фельдмаршал, генералиссимус. Кутузов десятой степени, диктатор.

Дежурный по станции выходит на перрон и машет рукой (в бежевой замшевой перчатке). Поезд трогается, фельдмаршал плывет. Бегу в вагон.

Ветер треплет на столике перед окном красные розы, которые я везу из Москвы. Они, эти розы, летят поверх польского пейзажа, поверх тех самых сосен, полей, дорог, полосатых шлагбаумов, на которых, быть может, сейчас почил свинцовый глаз генералиссимуса.

Входит льстец в галунах и приглашает в вагон-ресторан завтракать. Кстати, во имя экономии времени и места убедительно прошу в дальнейшем иметь в виду, что

все поляки или в галунах, или в замшевых перчатках, сообщать об этом больше не буду; разбирайтесь сами — когда галуны, когда перчатки.

По коридору, подпрыгивая и хватаясь за стены, идут в салон-вагон пассажиры. В шесть часов вечера — Варшава.

А пока — любопытно позавтракать в ресторане транъс-европейского экспресса.

## 2. Столбцы — Варшава

В вагоне-ресторане роскошного «Матропа» под ослепительным потолком крутится широкопалый пропеллер вентилятора.

Вагон-ресторан блестит лакированным красным деревом, хорошо отшлифованным стеклом и яркой решетчатой медью отдушников-жалюзи.

По стенам и потолку — рекламы. Элегантные, хорошо отпечатанные, лаковые, среднеевропейские рекламы.

Конечно, «Пейте мюнхенское пиво Левенбрей» (а я-то в простоте душевной полагал, что пиво Левенбрей водится исключительно в Охотном ряду. Угол Тверской. За столиком под елочкой!).

Конечно, «Курите папиросы «Хедив», «Требуйте несравненный оранжад такой-то фабрики», «Принимайте незаменимое в дороге слабительное», «Останавливайтесь в потрясающем отеле «Националь» — радио, ванна, автомобиль, лифт» и т. д. и т. д.

И, конечно, конечно, лаково-синее поле, по которому вполне корректно отпечатана лаково-розовая мамаша с лаково-розовым малюткой на руках. У мамыши в руках фаянсовая миска, у пухлого малютки ложка. И вся эта идилическая среднеевропейская группа снабжена лаково-желтым лозунгом: «Нестле — сокровище мамаш».

Опять же давно забытая, но столь памятная с довоенного времени хоботообразная бутылка зубного эликсира «(доль»: каких-нибудь десять-двенадцать капель на стакан теплой воды — и сам Дуглас Фербенкс может спры-

таться в будку вместе со всеми своими ослепительными зубами.

Под длинными, светлыми, еще не успевшими запылиться окнами, на грубо топорщащихся, выкрахмаленных скатертях покачиваются поставленные торчком карточки меню.

Со всего поезда, танцуя на ходу и в такт танца стаскивая с бледных рук перчатки, потянулись гуськом накрахмаленные пассажиры.

Посмотрим, посмотрим, как за первым завтраком разлагается Европа! Очень интересно.

Однако Европа разлагалась весьма средне.

Чашка кофе с молоком. Толстая фаянсовая, очень тяжелая (чтобы не падала со стола) железнодорожная чашка. Крошечная варшавская булочка. Масло, приготовленное в виде тоненьких стружек. Две маленькие баночки: одна — с апельсинным мармеладом, другая — с малиновым.

Попробовал. Ни дать ни взять губная помада.

Так что насчет разложения слабовато.

Однако лакей в черной люстриновой куртке с золотыми пуговицами и с золотыми же таинственными литерами на воротнике принес в опытных пальцах бутылку виши и бутылку ядовито-оранжевого оранжада.

В этом, несомненно, уж что-то есть от разложения.

Потому — сейчас невинная вода виши и оранжад, а через полчаса все начнут хлестать коктейли, ликеры, шампанское, требовать устриц, лангуст, танцевать чарльстон, хором петь негритянские песни.

Ох, не доверяю я этой самой Европе! Впрочем, оказалось, что, кроме довольно скверного варшавского пива, в буфете никаких орудий буржуазного разложения не имеется.

Правда, метрдотель пытался соблазнить меня гаванскими сигарами и египетскими папиросами. Но гаванские сигары оказались явно польского происхождения и удручающим образом пахли козлом. А египетские сигареты страшно было взять в руки — так пронзительно и от-

чаянно вопило с коробки отнюдь не египетское слово «Краков».

Пришлось удовольствоваться честной советской контрабандной папиросой «Госбанк».

Тем временем поезд продолжал безостановочно ползти на запад.

За окном шел сосновый лес. Мы приближались к Барановичам. И тут — каждая пядь земли еще помнила о мировой войне.

Кое-где (или это мне только так казалось?) мелькали глухо поросшие травой воронки «чемоданов», пулеметные гнезда, блиндажи.

Вот-вот, казалось, я увижу коновязь и артиллерийских лошадей, зарядные ящики, кухни, солдат с котелками, костры, колючую проволоку...

Однако ничего этого не было. Вместо батальных пейзажей из леса выскакивали этикие левитановские пейзажи, соломенные крыши халуп, речонки с бревенчатыми мостиками.

В одном месте я увидел беговые дрожки, на которых лениво сидел некто с кукурузными усиками, в холщовом пыльнике с капюшоном.

Ба, помещик! Живой, настоящий польский пан помещик! А лестно все-таки, как хотите, увидеть эксплуататора «а натюрель». Хотя бы из окна вагона, сквозь красные московские розы.

Постояли немного в Барановичах.

Тут ребяташки наташили к поезду земляники в замечательных, украшенных разноцветными бумажками корзиночках.

Низко кланялись и шепелявили по-польски, хватая худыми ручонками тонкие «гроши».

Вдоль поезда гуляли местные барановичские красавицы в наимоднейших венских остроносых молочно-серых туфлях. За ними с достоинством увивались молодые люди в наимоднейших парижско-барановичского фасона пиджаках, в вишневых штиблетах, с какими-то польскими значками на лацканах.

Тоже шепелявили, показывая стеками на надписи нашего поезда. А надписи были заманчивые: «Столбцы — Варшава — Берлин».

Состав, скрипнув, тронулся. Серый, с внутренней желтизной дым окутал Барановичи.

До Белостока метался по поезду, заходил к знакомым в купе. Болтал с вице-президентом нашего текстильного синдиката в Америке товарищем И.

Познакомился с двумя японскими писателями, едущими из Москвы куда-то не то в Берлин, не то в Париж.

Японские писатели вежливо обнажали редкие, замечательной белизны и крепости зубы, топорщили синечерные, конского волоса усы, приседали, на ломаном французском языке хвалили советское искусство, расспрашивали, записывали что-то в записные изящные книжечки.

Наш вице-президент показывал фотографии знаменитого наводнения в Нью-Орлеане, рассказывал о нью-йоркских парикмахерских, пил, сняв по-американски пиджак, виши и оранжад... В тесном купе уже стояла дорожная пыль...

В Белостоке по идеально чистому перрону прошли европейцы с кожаными, яичной желтизны чемоданами. У нас в России они могли бы сойти за стопроцентных миллионеров. Но шалишь, меня на мякине не проведешь! Желтые кожаные чемоданы в Европе не в моде.

В моде — черные, лаковые, сверхъестественной крепости, плоские сундуки с желтыми деревянными скрепами.

У японцев были такие сундуки. Они, эти сундуки, должны быть сплошь обклеены разноцветными марками первоклассных отелей. Должны быть слегка потерты.

Джентльмены же, прошедшие по перрону, были, несомненно, банальнейшие белостокские коммивояжеры, едущие по делам в Варшаву... во втором классе.

Поезд трогается.

Плывет платформа. Плывут люди на платформе. Плывет красная шапка дежурного по станции. Плывут ящики с геранью.



Демократия одета по-европейски. Вернее, «под Европу». Соломенные канотье. На мешаночках яркие платки, преимущественно красные. В шесть — Варшава.

### **3. Берлин веселится**

...Не знаю, как кому, а среднему немецкому буржуа Берлин, несомненно, кажется самым веселым, самым элегантным городом в мире.

Помилуйте, все как в лучших домах! Кинематографы? Сделайте ваше одолжение. Сколько угодно. Самого первого сорта. С умопомрачительной позолотой, с потрясающей мягкости креслами, с пышными канделябрами, с люстрами, с бархатным занавесом, который фешенебельно открывает и закрывает серебристый экран в начале и в конце каждой части, с мальчишкой-боем в длинных штанах с коричневыми лампасами и массой больших металлических пуговиц на короткой курточке и в фуражке с позументами, с тропическими растениями, с зеркальными паркетами вестибюлей, с мраморными лестницами, коврами, голыми нимфами, перилами, интерьерами, кафельными клозетами и специальными отделениями для собачек.

Фокстрот, чарльстон?.. Будьте любезны. Высшего качества. Экстра. Люкс. Вне конкуренции. В любом количестве с десяти вечера до двух ночи — в любом кафе и нахглокале на Фридрихштрассе, Курфюрстендам, Потсдамер-плац, Уланденштрассе и прочая и прочая. Джазбанд. Хоровой оркестр (крик моды!). Атракционы. Кокотки. Шикарные помещения с умопомрачительной позолотой, с креслами потрясающей мягкости, с кафельными клозетами, с отделениями для собак...

Впрочем, кажется, я уже только что упоминал про собачек. Тут уместно оговориться: собачка — необходимая принадлежность берлинского буржуишки. Без собачки берлинский буржуишка — никуда ни ногой. Особенно — поселиться. Потому что какое же веселье, если бедняжка

мопсик не имеет собственного, совершенно отдельного помещения? Одна грусть!

Летние сады, общедоступные удовольствия, здоровые развлечения на чистом воздухе.

Ого! Как в лучших домах!

Один Луна-парк чего стоит! Парк, можно сказать, самого наипервейшего сорта. Море смеха. Каскады веселья, не говоря уже об оркестрах, балаганах, лотереях, индийских факирах и пищащей колбасе — не менее двадцати ослепительных, но недорогих ресторанов. Ресторанов, оборудованных со всей роскошью и вкусом, на который способна послевоенная социал-демократическая Европа...

...С креслами потрясающей мягкости. С довольно голыми девками в шляпах со страусовыми перьями. С коктейлями. С сигарами, с джаз-бандом. С коврами. С мраморными лестницами. С кафельными клозе...

Впрочем, о кафельных клозетах я уже тоже говорил.

Одним словом, Берлин веселится.

В один прекрасный берлинский субботний вечер мы решили на собственной шкуре испытать все прелести вышеупомянутого веселья.

Так сказать, решили испить до дна загадочный и темный для наших грубых советских понятий кубок буржуазного разложения.

Тем более что наш немецкий друг сказал:

— Вы, большевики, не умеете веселиться. Пойдемте, и я покажу вам, как легко и мило проводит свой еженедельный отдых честный берлинский буржуа. Море удовольствий... Шампанское смеха... Фокстрот... Чарльстон... Джаз-банд...

— Кафельные клозеты и отделения для собачек, — деловито подсказал я.

— Откуда вы знаете? — удивился немец.

— Да уж знаю, — загадочно ответил я. — Мы, большевики, народ наблюдательный. Впрочем, если разлагать-

ся, так уж разлагаться на все сто процентов! Валяйте везите нас разлагаться.

И мы поехали разлагаться.

Вот краткое, но исчерпывающее описание нашего разложения.

От восьми до десяти — кино на одной из лучших берлинских улиц.

Умопомрачительная позолота. Мальчик-бой, усыпанный пуговицами, как клопами, мраморные нимфы. Кафельные клозеты, отделения для собачек... Смотри выше.

Сеанс короткометражных комедий. Море смеха, океан веселья!

Мы уселись в креслах сверхъестественной мягкости и, осторожно расстегнув пуговицы жилетов, приготовились рыдать от смеха.

Бархатный занавес раздвинулся, смуглый, жемчужно-золотой свет пышных люстр и бра погас, и на поблескивающем голубоватым алюминием экране началось веселье.

Сначала какой-то трехлетний негодяй в продолжение трех частей бил тарелки и выливал ночные горшки на головы своих престарелых родителей (в зале одобрительный смех).

Затем в продолжение двух частей по фешенебельному экрану ездил на кривом велосипеде меланхоличный дядя со следами развратной жизни на интеллигентном средневропейском лице. Он въезжал в посудные магазины, руша на своем пути горы тарелок, он падал с высокого моста на палубу увеселительного парохода, игриво выбивая глаза и зубы у забавных пассажиров. Он попадал под поезд — поезд рушился. Он давил старух и детей (в зале мощные раскаты жизнерадостного смеха).

Когда же после велосипедиста на экране снова появился трехлетний ублюдок и начал в новом варианте крушить ночные горшки, публика повалилась на спинки сверхъестественной мягкости кресел, не в силах более сдерживать гомерический смех.

— Подождите! То ли еще впереди! — весело подмигнул

нам немец, вытирая душистым платком мокрые от слез глаза, когда мы выбирались из веселого кинематографа на улицу, сияющую зеркальными огнями ультрамариновых, голубых, малиновых и лунного света реклам, выбитых электрическими бегущими буквами вкривь и вкось по черно-стеклянному небу.

И мы поехали веселиться дальше.

От десяти до часу ночи — Луна-парк (описание смотрите выше: рестораны, девки в страусовых перьях, сигары, ликеры, отделения для собачек, кафельные кло... и так далее).

Съели по вафле с розовым кремом. Выпили по кружке неважного пива. Купили по штуке пищащей колбасы. Уныло попищали. Веселящиеся берлинцы помирали со смеху. Послушали оркестр. Сентиментальный вальс. Посмеялись. Пошли в павильон, съели по сосиске. Улыбались. Потом все две-три тысячи берлинцев с хохотом повалили куда-то. Оказалось, фейерверк. Видели, как по небу ползут ракеты. Очень смеялись. Потом грохотали бураки и римские свечи. Потом из разноцветных бенгальских огней, золотого дождя и римских свечей в небе вспыхнула гигантская движущаяся картина: два мальчика качаются на доске и... мочатся друг на друга. Берлинцы грохотали, визжали, захлебывались в смехе.

— То ли еще будет! — подмигнул нам наш берлинец и, утирая с носа слезы гомерического смеха, повез нас в ночной кабачок. — Сейчас вы увидите настоящее, ни с чем не сравнимое веселье.

Поехали.

От часу до двух сидели в фешенебельном зале (описание смотрите выше: канделябры, джаз-банд, ликеры, кафельный клю...). Дикая музыка драла барабанные перепонки. Посередине зала истуканоподобные мужчины и дамы самоотверженно терлись друг о друга, изредка пре-

рывая это полезное, но утомительное занятие легким подрыгиванием ног. Немец объяснил, что это танец чарльстон. Пили коктейль. Коктейль — это смесь из дешевых и вредных для здоровья напитков. Не понравилось. Цена тоже не понравилась. Много смеялись. Потом на середину зала вышел эксцентрик с наружностью Штреземана и под элегическую музыку разбил о собственную голову десятка два подержанных тарелок. Затем его нос загорелся электрической лампочкой, и он уполз на четвереньках за кулисы, с тонким юмором виляя худой и длинной задницей, украшенной страусовым пером.

Публика неистовствовала.

Наш немец даже икнул несколько раз. Жизнерадостно и довольно громко.

— То ли еще будет впереди! — прохрипел он и предложил ехать в другое место, где можно дьявольски повеселиться.

— Мерси, — сказал я. — Данке шен, мы уже веселились.

И мы поехали домой, так сказать, несолоно разложившись. Это, собственно, и был самый веселый момент нашего берлинского веселья.

Учитесь, ребятки, развлекаться у Европы, учитесь! А что касается меня, то будя! Попили нашей кровушки!

Автомобиль весело волок нас по зеркальному асфальту Аллеи побед в гостиницу.

Берлин веселился.

#### **4. Три встречи с Муссолини**

Что касается меня, то я остался в восторге от синьора Ёжнито Муссолини. Роскошный мужчина.

Небезызвестный Дуглас Фербенкс во время своего последнего путешествия в Европу в числе прочих стран посетил также и Италию.

Маститый король экрана приехал в городишко Рапалло, занял неплохой номер в местной гостинице и, плотно

закусив с дороги макаронами, категорически заявил представителям печати, что не уедет из Италии до тех пор, пока не повидается с легендарным Муссолини. Ибо в настоящее время быть в Италии и не видеть синьора Муссолини «а натюрель» — все равно что лет этак двадцать назад быть в Риме и не потрогать руками римского папу. Создалось чрезвычайно щекотливое положение, усугубленное тем фактором, что Муссолини от встречи с Дугласом Фербенксом решительно отказался.

Рапальские старожилы утверждают, что упрямый Дуг, услышав об этом решении не менее упрямого Бенито, спешно перевез всю свою семью из Америки в Италию, хладнокровно приобрел в окрестностях Санта-Маргарита небольшую дачку и поклялся до тех пор возделывать маслины, разводить свиней и купаться в Средиземном море, пока Муссолини не сменит гнев на милость и не пожелает дать ему аудиенцию.

Две недели с лишним длился этот страшный поединок на выдержку. Наконец нервы синьора Муссолини не вынесли. Перспектива вечного пребывания мистера Дугласа Фербенкса на цветущей территории Итальянского королевства оказалась слишком тяжелой. Муссолини дрогнул.

Мне неизвестны подробности исторической встречи двух столь знаменитых актеров — синьора Муссолини и мистера Фербенкса.

Одно только знаю наверное: встреча эта действительно состоялась, после чего мистер Фербенкс, вполне удовлетворенный, лихорадочно распродав свиней и маслины, благополучно отбыл в Америку, где и занялся изготовлением своего очередного сверхбоевика «Черный пират».

Лично мне повезло больше, чем Дугласу Фербенксу.

С синьором Муссолини мне удалось повидаться три раза, причем первая встреча состоялась на второй же день моего прибытия в благословенное королевство. И главное — без особенного труда с моей стороны. То есть некоторые необходимые формальности, конечно, при-

шлось выполнить, но, во всяком случае, прибегать к мрачным угрозам — на вечные времена поселиться в Италии — не явилось необходимым.

Первая моя встреча с Муссолини произошла летом этого года в Генуе на очередных ежегодных маневрах итальянского флота.

Серое глянцевое море раскачивалось, как на качелях, то высоко взлетая над бортом миноносца, то проваливаясь куда-то к черту вниз. Струился вымпел. Трепался на свежем ветру матросский воротник.

Вся движущаяся и выведенная из равновесия панорама морского горизонта была задавлена угольным дымом эскадр. Бурные утюги линейных судов бросали на поверхность стальной воды обморочную тень мрачного своего движения.

От берега отделилась моторная лодка.

В бинокль были хорошо видны все ее подробности: задравшийся острый нос, матрос, застывший на нем как статуя с рукой под козырек, и несколько человек на корме у флагштока, от которого вился пышный флаг. Среди нескольких этих людей, одетых в форму итальянских морских офицеров, был Муссолини. Все взоры обратились к моторной лодке. Однако качка и быстрота движения не дали мне возможности ориентироваться в группе и сразу отыскать диктатора.

Моторная лодка вышла из поля зрения. Но в следующую минуту, обогнув корабль, опять появилась, на этот раз уже очень близко.

— Эввива иль дуче!<sup>1</sup> — слабо воскликнул позади меня кто-то, но сейчас же осекся.

Моторная лодка приставала к трапу. Музыка грянула марш.

Я видел несколько людей, среди которых был и Муссо-

---

<sup>1</sup> Да здравствует вождь! (ит.)

линии, которые, быстро хватаясь за поручни, взбежали по трапу вверх.

— Который, который же Муссолини? — лихорадочным шепотом спросил я соседа.

— Мадонна! Он не видит вождя! Смотрите же, смотрите — он в морской форме. Вот его плечо... А теперь, видите, это часть его руки... А вот мелькнул его затылок... Смотрите, смотрите — он здоровается с матросами...

Через головы и плечи напиравших людей я увидел вытянутую в струнку длинную, в полкилометра длиной, шеренгу матросов. Вдоль нее, окруженный свитой, шел по палубе вождь. На секунду передо мной мелькнули согнутая в колене и слегка приподнятая на ходу нога его и замшевая перчатка у козырька флотского кепи, расширенного галунами.

В следующий миг мое внимание привлек дирижабль, плавно паривший над крейсером. Вождя закрыла свита. И, скрытый свитой, он шел прямо на меня, загадочный и невидимый, как рок.

Вдруг свита расступилась, и я в потрясающей близости от себя увидел широкую, закрывшую собою полгоризонта, спину. Муссолини здоровался с офицерами, которые стояли лицом ко мне, и по движению и мимике их лиц я как бы в туманном зеркале угадывал отражение лица стоящего ко мне спиною человека.

Мое любопытство дошло до крайнего предела. Каков же он с лица, этот самый загадочный Бенито, этот кумир неаполитанских лавочников, выславший на острова 80 000 революционной итальянской интеллигенции и пролетариата?

В Италии, кажется, нет ни одной стены, где бы черной краской по грубому трафарету не было изображено лицо вождя. Я привык к нему. Воображение помогло мне облечь условные линии и пятна портрета в плоть и кровь. И о внешнем виде Муссолини у меня сложилось такое представление: очень высокий рост, длинный лысый череп, демонически мрачные глаза, неумолимо сжатый



рот, черный сюртук и скрещенные на груди худые, костлявые руки.

Непринужденная помесь провизора с гипнотизером. Само собою — жгучий брюнет.

И вдруг Муссолини круто и несколько суетливо повернулся. Он был так близок, что его непомерное лицо сразу покрыло три четверти военно-морского пейзажа.

О, как я ошибся!

Невысокого роста, плотный шатен с наружностью податного инспектора. Козырек кепи скрывает верхнюю треть лица. Нижняя губа толще верхней. Вид преувеличенно строгий. Жесты, жестикуляция хозяина небольшой миланской колбасной, уличающего приказчика в небольшом воровстве.

Но поворот головы так неожидан и декоративен, что публика начинает кричать:

— Эввива иль дуче! Эввива иль дуче!

Эффект необычаен.

И уже в продолжение всех маневров фигура Муссолини всегда в центре, но повернута спиной к зрителям: посмотрели, мол, и будет, нечего на диктатора зря пялиться, — а то может, пожалуй, в случае чего, и под арест ахнуть суток на пятнадцать за излишнее любопытство.

И во всем — пафос хозяйственности, деловитости, строгости, неумолимости, гения и работоспособности.

Линейные корабли один за другим, кильватерной колонной, шли мимо вождя. Вождь был подчеркнуто холоден. Ни одной улыбки. Музыка играла марш. Продавали мороженое.

Следующие две встречи мои с Муссолини произошли в скором времени после первой. Одна — в Венеции, другая — в Риме. В Венеции были кавалерийские маневры (невероятно, но факт, даю честное слово!). Муссолини появился не вдруг. Сначала в отдалении. Кусок ноги, обутой в лаковый сапог. Потом аксельбанты. Немного галифе. Колесико шпоры. Спина. Свита заслоняла его от моих нескромных глаз. Моментами казалось, что так и не удастся увидеть вождя в игривой драгунской форме.

И вдруг эффектный поворот, все вокруг расступаются, и великолепный иль дуче опять заслоняет своим мясистым лицом добрых три четверти венецианских небес.

— Эввива иль дуче! Эввива иль дуче!

Но иль дуче, не обращая ни малейшего внимания на восторженные вопли мальчишек, производит строгий смотр конницы, распекает какого-то эскадронного командира, круто поворачивается в разные стороны, принимает рапорты... И все это с полярной холодностью. Ни одной улыбки. Наоборот, мрачность Бонапарта. И вдруг... заметьте себе: я опять «и вдруг»...

И вдруг резко подходит к оседланной лошади, берет ее за подбородок и... обязательно улыбается. Лошадь очарована. Публика очарована. Мальчишки перестают продавать мороженое. А иль дуче вдруг... опять вдруг (без вдруг синьор Муссолини ничего не делает)... вдруг пробует подпруту, изящно вкладывает острый носок лакового сапога в стремя и — бац! — берет на глазах у обалделых драгун пять барьеров подряд.

— Эввива иль дуче! Эввива иль дуче!

В Риме Муссолини на моих глазах принимал турецкого посла. Он был строг, но справедлив. На нем была элегантная визитка с круглыми фалдами (из бокового кармана кончик белого платка, словно уголок визитной карточки), котелок, поля которого закрывали верхнюю треть лица знаменитого человека, светлые гетры. Приняв посла, Муссолини с ловкостью трансформатора с большим провинциальным стажем спешно переоделся в шитый золотом мундир премьер-министра, насунул на лоб треуголку с пышным плюмажем и поехал с королем в открытом экипаже закладывать какой-то памятник (разумеется, закладывать не в том смысле, что, мол, в ломбард закладывать, а совсем наоборот, хотя в качестве министра финансов великий человек, говорят, не чужд и небольших ломбардных операций). Затем в шикарной форме министра авиации Муссолини летал на аэроплане над

Римом. Его железный профиль твердо рисовался в окне закрытой кабины самолета и в моменты виражей, казалось, парил над вертящимися улицами Рима и над косо несущимся вниз собором Петра и Павла, похожим вместе со всеми своими фонтанами, фонарями и парапетами на белый письменный прибор на роскошном столе, скажем, Габриеля д'Аннунцио.

Этим, собственно, и исчерпывается мое знакомство с синьором Муссолини.

Считаю нелишним прибавить, что Муссолини, собственно, я видел не в жизни, а на экранах в разных городах гостеприимной Италии.

1927

## Игнатий Пуделякин

На прошлой неделе мой друг художник Игнатий Пуделякин наконец возвратился из кругосветного путешествия, которое он совершил «с целью познакомиться с бытом и культурой Западной Европы и Северной Америки, а также сделать серию эскизов и набросков флоры, фауны и архитектуры упомянутых выше стран и вообще», как было собственной Пуделякина рукою написано в соответствующей анкете.

Надо признаться, что в обширной истории мировых кругосветных путешествий — научное турне Пуделякина занимает далеко не последнее место. Поэтому я считаю своим нравственным долгом поведать всему цивилизованному человечеству историю о том, как путешествовал мой друг художник Игнатий Пуделякин вокруг света.

Еще задолго до отъезда Пуделякина вокруг света я сказал Пуделякину:

— Ты бы себе, Пуделякин, туфли новые купил. Гляди, Пуделякин, у тебя пальцы из обуви наружу выглядывают.

Что подумают о тебе, Пуделякин, Западная Европа и Северная Америка? От людей за тебя, Пуделякин, совестно!

Однако у Пуделякина, по-видимому, была своя точка зрения на общественное мнение Западной Европы и Северной Америки. Не такой был человек Игнатий Пуделякин, чтобы унывать. Наоборот, Игнатий Пуделякин загадочно усмехнулся и зашипел:

— Ни хрена! Туфли — это пустяк. Главное — визы. А пальцы пускай, если хотят, выглядывают, это их частное дело. Вот приеду в Европу — в Европе, между прочим, обувь дешевая. Замечательные штиблеты — восемь рублей на наши деньги. Факт!

На вокзале я нежно обнял Пуделякина.

— Смотри же, не забывай, пиши. На твою долю выпало редкое счастье — объехать вокруг света. Не упусти случай.

— Уж не упущу, — задумчиво предупредил Пуделякин. — Будьте уверены.

Я прослезился.

— Ну, всего тебе, Пуделякин, доброго! Я с нетерпением буду ожидать от тебя открыток. Пиши обо всем, не упускай ни одной подробности. Опиши сиреневые огни Парижа, когда весенние сумерки ласково окутывают мощный скелет Эйфелевой башни, опиши жемчужные струи Рейна, опиши величественные очертания римского Колизея и геометрическую мощь Бруклинского моста в Нью-Йорке. Не забудь, Пуделякин, также загадочного сфинкса и трансатлантического парохода, на борту которого тебе, Пуделякин, предстоит пересечь Атлантический океан.

— Уж не забуду, — бесшабашно пообещал Пуделякин, нетерпеливо двигая большим пальцем правой ноги, выглядывающим из совершенно дырявой туфли. — Мне бы только до Европы дорваться, а там — ого-го!

— Смотри же, Пуделякин! Я твердо рассчитываю, Пуделякин, на тебя. Я надеюсь, Пуделякин, что от твоего зоркого глаза не укроется ничто: ни желтые воды Тибра,

когда, колеблемые смутным ветром долин, они струятся широким потоком, который...

— Уж не укроется, будьте уверены, — сказал Пуделякин и уехал в Западную Европу и Северную Америку.

Пуделякин сдержал свое обещание. Через неделю я получил от Пуделякина первую открытку.

«Дорогой Саша! Ура! ура! ура! Наконец-то я в Западной Европе, которая так необходима для расширения моего умственного кругозора. Вчера приехал в Варшаву. Первым делом, прямо с вокзала, отправился покупать штиблеты. Дешевизна феноменальная. Пара прекрасных штиблет на наши деньги стоит (можешь себе представить!) всего десять рублей. Нечто совершенно фантастическое! У нас таких и за сорок не найдешь. Впрочем, штиблеты не купил. Говорят, в Вене штиблеты вдвое дешевле и втрое лучше. Ужасно рад, что наконец-то в Западной Европе! Целую тебя нежно. В Варшаве дожди. Завтра выезжаю в Вену.

*Твой Пуделякин».*

«Здорово, Сашка! Пишу тебе из Вены. Действительно феноменально. Ботиночки что надо. Красота: девять целковых на наши деньги. Хотя, говорят, в Берлине еще дешевле и лучше. Так что пока не купил. В 9.40 выезжаю в Берлин. Лучше подождать сутки, но зато купить действительно вещь, не правда ли? А хорошо в Западной Европе, черт ее подери, только удобств маловато: на улицах, например, осколки всякие валяются, и я здорово порезал себе на левой ноге пятку. Впрочем, Вена — городок что надо! Ну, пока.

*Твой Пуделякин».*

«Саша! Штиблеты — семь целковых на наши деньги! Феерия! Хотя, говорят, в Гамбурге вполосину дешевле. Думаю смотаться в Гамбург, зверинец кстати посмотрю. Семь целковых, а? Это тебе не ГУМ. Ну, пока.

*Твой Пуделякин».*

«Понимаешь, какая неприятность: приехал в Гамбург в субботу вечером, магазины закрыты. Все воскресенье как дурак проторчал в номере, никуда не выходил. В ресторан почему-то не пустили. Едва дождался понедельника. Штиблеты действительно феноменально дешевые. На наши деньги что-то рублей шесть. Невероятно, но факт! Один русский сказал, что в Бельгии обувь можно приобрести буквально задаром. Подожду до Льежа. Не горит. Пока.

*Пуделякин.*

«Пишу из Парижа. Штиблеты — четыре рубля на наши деньги. В Марселе еще дешевле. Сижу по случаю дождя дома. Вечером выезжаю в Марсель. Пока.

*Пуделякин.*

«Чуть было не купил штиблеты в Марселе. Вечером выезжаю в Неаполь. Там, говорят, феноменально дешевая обувь. А еще все кричат, что Италия земледельческая страна. Мостовые в Марселе плохие — все ноги побил к чертовой матери. Пока.

*Пуделякин.*

«Неаполь. Обувь не стоит выплываю Индию феноменально.

*Пуделякин.*

«Бомбей. Похабные мостовые штиблеты бесценно. Америка дешевле понедельник Сан-Франциско.

*Пуделякин.*

«Чикаго. Штиблеты гроши умоляю телеграфом 300 Мельбурн феноменально разоренный.

*Пуделякин.*

Я послал Пуделякину триста. После того прошло четыре месяца. О Пуделякине не было ни слуху ни духу. В начале пятого я получил от Пуделякина открытку из Одессы. Вот она:

«Дорогой Саша! Чуть было не купил в Константинополе обувь. Феноменально дешево! Что-то полтора рубля на наши деньги. Однако, спасибо, встретил одного человека. Узнав, что я русский и иду покупать обувь, он всплеснул руками и воскликнул: «Милый! Вы с ума сошли! Россия — это же классическая страна кожи! В Тверской губернии есть уезд, где все население занимается исключительно выработкой хорошей и дешевой обуви!»

Думаю смотаться в Кимры. Кстати, это недалеко от Москвы. В Константинополе собак не так уж и много. Ноги, представь себе, привыкли. Пожалуйста, продай мой синий костюм за шестьдесят рублей и вышли деньги телеграфом. В пятницу выезжаю в Кимры. Целую тебя нежно.

*Пуделякин».*

На днях я видел большую красивую афишу, где сообщалось, что известный Игнатий Пуделякин прочтет лекцию о Западной Европе и Северной Америке. Тезисы были заманчивы.

Но я не пошел на лекцию Пуделякина...

...Где-то ты теперь читаешь, Пуделякин? Ау, Пуделякин!..

1927

## Емельян Черноземный

Хлопотливый день Емельяна Черноземного начался, как говорится, с первыми лучами восходящего солнца. Что-то около десяти часов утра. Именно в это время Емельян Черноземный эластично выполз из-под голубого стеганого одеяла на свет божий и начал действовать.

Прежде всего он принял холодный душ. После душа минут десять занимался гимнастическими упражнениями по системе Мюллера. Потом не без аппетита выпил стакан какао, съел французскую булку с маслом, с насла-

ждением закурил толстую папиросу «Герцеговина-флор» и, наконец, свежий и бодрый, присел к изящному письменному столу и до двенадцати часов резво сочинял стихи.

Покончив со стихами, Емельян Черноземный деловито вытащил из-под никелированной кровати с пружинным матрасом зловещие штаны и мрачную толстовку, попрыскал их немного чернилами и брезгливо стал одеваться.

Одевшись, Емельян Черноземный долго, сосредоточенно терся головой о стенку, пока его прическа не приобрела соответствующий вид. Затем сунул в карманы бутылку водки, три метра веревки, кусок душистого мыла, большой гвоздь и, хорошенько измазав руки в печной саже, отправился по делам.

Первый его визит был к профессору Доадамову.

— Здорово, товарищ Доадамов! — сказал Емельян Черноземный бесшабашным голосом, входя в кабинет профессора.

— Здравствуйте, товарищ... Чем могу?.. — пробормотал Доадамов, близоруко топчась возле Черноземного.

— Не признали, что ли?.. Эх, ты, а еще ученый человек называешься, очки носишь! Черноземный я. Емельян. Крестьянин, значит. Безлошадный. Тятка мой, поди, еще во время империалистической бойни без вести пропал. А я, значит, нонеча у тебя наукам разным обучаюсь. Во как!..

— Студент?

— Оно действительно, ежели по-ученому говорить, то в полном виде студент. От сохи, значит.

— Ага! Садитесь, товарищ! Чем могу?

— Спасибо! Мы и постоять можем. Чай, не лаптем щи хлебаем. Мы люди темные, вы люди ученые. Много благодарны.

Профессор Доадамов слегка поморщился:

— Ну что вы, право, такое говорите, товарищ? Садитесь, прошу вас, без церемоний и расскажите, в чем дело...

Емельян Черноземный нерешительно переступил с ноги на ногу и вытер нос рукавом.

— Зачетишко бы мне, товарищ профессор! Потому —



трудно нашему брату безлошадному без зачетов приходится.

Емельян Черноземный вытащил из-за пазухи зачетную книжку и протянул профессору:

— Вот туточка пиши. Осередь ефтой вот клетушечки.

— Помилуйте, товарищ, — удивился профессор Доадамов, — как же это я так вдруг возьму да и поставлю вам зачет? Приходите в среду в общем порядке, тогда...

— Приходил уж. Чего там! Погнали вы меня. «В другой раз, сказали, приходи...»

— Тем более.

— Напиши, барин, зачет, — тускло заметил Черноземный.

— Не могу, товарищ!

— Не можешь? — печально переспросил Емельян Черноземный.

— Не могу, — подтвердил профессор Доадамов.

— Тады во, гляди, барин, чего я чичас над собой изделаю. Пушай, пропадай аржаная моя головушка! И-и-эх-х!

С этими словами Емельян Черноземный не торопясь влез на стул и забил в стену профессорским микроскопом большой гвоздь.

— Что вы хотите сделать?! — воскликнул профессор, содрогаясь.

— Уж изделаю, — зловеще сказал Емельян Черноземный, привязывая к гвоздю петлю и быстро ее намыливая. — Не жить мне, товарищ барин, без зачета! Оно конечно, может, которым городским ты и поставишь зачет. Может, у которых городских полные книжки зачетов. Нешто за городскими угоняешься? Деревенские мы. Темные. От сохи, значит. И-и-х! Конечно... Может, я три дня не емши? Может, мне некуда головушку свою приклонить, может, я под мостами ночью да на березовой коре бином Ньютона щепочкой выковыриваю? Эх, сглодал меня, парня, город! Не увижу родного месяца! Распахну я пошире ворот, чтоб способнее было повеситься!

Емельян Черноземный опытным жестом накинул на шею веревку и, рыдая, продолжал:

— Был я буйный, веселый парень... Золотая была голова... А теперь пропадаю, барин, потому — засосала Москва. И-и-эх-х!.. Пропадает, барин, самородок!..

— Вы не сделаете этого! — воскликнул профессор, обливаясь холодным потом.

— Изделаю, — тихо сказал Черноземный, осторожно раскачивая ногами стул.

— Давайте зачетную книжку! — прохрипел профессор Доадамов.

Следующий визит Емельяна Черноземного был в редакцию толстого журнала «Красный кирпич».

Раздвинув богатырским плечом кучу бледно-зеленых молодых людей, Емельян Черноземный бодро вошел в кабинет редактора и остановился перед столом.

— Чем могу? — спросил бритый редактор.

— Демьяна Бедного знаешь? — коротко спросил Емельян.

— Знаю, — нерешительно сознался редактор, высовывая голову из вороха непринятых рукописей.

— Максима Горького знаешь?

— Знаю.

— Емельяна Черноземного?

— Зн... То есть н-не знаю...

— Не знаешь? Так сейчас узнаешь!

Емельян Черноземный высморкался в толстовку и быстро вынул из-за пазухи рукопись.

— Коли не знаешь, тады слухай:

Эх, сглодал меня, парня, город,  
Не увижу родного месяца,  
Распахну я пошире ворот,  
Чтоб способнее было повеситься!

— Приходите через две недели, — сказал редактор устало. — Впрочем, стихи, вероятно, не подойдут...

Емельян Черноземный поставил перед собой бутылку водки и тяжело вздохнул.

— Не подойдут? Тады буду пить, покедова не подохну. И-эх! Оно конечно, может, которые городские парни за-

всегда свои стихи печатают. Нешто за городскими утоняешься? А мы что?! Мы ничего! Мы люди темные, необразованные. От сохи, значит, от бороны. Был я буйный, веселый парень... Золотая моя голова... А теперь пропадаю, барин, потому — засосала Москва... Под мостами, может, ночую... На бересте, может, гвоздиком рифмы царапаю... И-эх-х!

С этими словами Емельян Черноземный быстро забил в стенку редакторским пресс-бюваром гвоздь, привязал веревку и сунул свою голову в петлю.

— Остановитесь! — закричал редактор.

— Руп за строчку, — тускло возразил Емельян Черноземный. — И чичас чтоб!

— Берите! — прохрипел редактор. — Принимаю. Контора открыта до двух. Не опоздайте...

Следующий визит Емельяна Черноземного был к Верочке Зямкиной.

— Здорово, девка! — сказал Емельян Черноземный, входя в комнату. — Придешь ко мне, что ли ча, ночью на сеновал, Сретенка, Малый Желтокозловский переулок, дом восемь, квартира четырнадцать, звонить четыре раза, спросить товарища Мишу Тарабукина (а Емельян Черноземный — ефто мой литературный ксюндоминт)? Али не придешь?

— Вот еще! Какие слова говорите, товарищ! — вспыхнула Верочка Зямкина, роняя физику Краевича на пол. — Мне даже очень странно слышать это, тем более что сегодня вечером мы условились с Васей Волосатовым идти на «Человека из ресторана», так что всякий посторонний сеновал решительно отпадает...

— Так не придешь?

— Не собираюсь...

— Не собираешься? Тады так! Оно конешно. Может, у меня папенька в империалистическую бойню без вести пропал, может, я три дня не жрамши, может, я грызу гранит и под мостами ночую, может, я гвоздиком на березо-

вой коре твое имечко-отчество выковыриваю по ночам, по ночам! Может, конечно, с которыми городскими ты по всяким киятрам желаешь шляться, а который от сохи, с тем не желаешь. И-и-эх-х! Эх, сглодал меня, парня, город, не увижу родного месяца, распахну я пошире ворот, чтоб способнее было повеситься!..

С этими словами Емельян Черноземный вбил в стенку Краевичем гвоздь и хлопотливо сунул голову в петлю.

— Приду! — хрипло закричала Верочка Зямкина, бросаясь к Емельяну Черноземному.

— То-то! Не позже девяти чтоб! Прощай, девка!..

Обделава еще кое-какие делишки, Емельян Черноземный вернулся домой, плотно пообедал, принял ванну с сосновым экстрактом, надел полосатые брюки, желтые полуботинки, синий элегантный пиджак, повязал небрежно бабочкой веснушчатый галстук, смазал фикса-туаром голову и, развалившись в соломенном кресле, закурил ароматную папиросу.

В двери раздался стук.

— Войдите! — небрежно бросил Емельян Черноземный, сбрасывая мизинцем пепел в изящную пепельницу.

Дверь растворилась, и в комнату вошел Вася Волосатов.

— Чем могу?.. — бледно поинтересовался Емельян Черноземный.

— А ну-ка, показывай свой сеновал, сволочь! — ласково сказал Вася Волосатов.

— Я вас не вполне понимаю, товарищ, — мягко прошептал Емельян.

— Зато я тебя, сук-кин сын, очень хорошо понимаю. Показывай сеновал! Показывай мост, под которым ты ночуешь, гадина! Показывай своего папаньку, который пропал без вести во время империалистической бойни! Показывай, наконец, черт тебя раздери, бересту, на которой ты, смотря по обстоятельствам, царапаешь то стишки, то

бином Ньютона, то имя и фамилию любимой женщины! Все показывай, чертов кот!

Емельян Черноземный быстро заморгал глазами и неуверенно пробормотал:

— И... и-эх-х!.. Сглодал меня, парня, город... Не увижу родного месяца!.. Тово-этого... распахну я пошире ворот, чтобы это самое... способнее было повеситься!..

С этими словами Емельян Черноземный привычным движением вбил в стенку гвоздь, сунул голову в петлю и нерешительно посмотрел на мрачного Васю.

— Вешайся! — сказал Вася сухо.

— И повесюсь, очень даже просто, — криво улыбаясь, пролепетал Емельян Черноземный. — Только за подстрекательство к самоубийству по головке тебя не тово... имей в виду... А я повесюсь...

— Валяй!

— Вот только напоследок напьюсь водки и повесюсь... Как бог свят...

— Валяй пей водку. Хоть две бутылки! Чтоб ты сдох!

— Очень мне неприятно слышать такие вещи от близкого приятеля, — обидчиво заметил Емельян. — Вместо того чтобы пожалеть темного, безлошадного человека...

— Пей водку, стер-р-рва! — прорычал Вася Волосатов.

Емельян Черноземный дрожащими руками поднес ко рту горлышко бутылки, и щеки его покрылись бледной зеленью отвращения.

— Пей, свинья!

— Н-не могу... Душу воротит! — прошептал Емельян. — Запаха ее, подлой, не выношу! — И опустился перед Насей Волосатовой на колени.

— Будешь?! — загрохотал Вася, багровея.

— Не буду больше, — обливаясь слезами, проговорил Емельян Черноземный. — Чтоб мне не сойти с этого места, не буду...

— Чего не будешь?

— Ничего не буду... Врать не буду... Вешаться не буду... Упадочником не буду... Чужих девочек на сеновал

звать не буду. Про папаньку пули отливать не буду... И про мост... тоже... не буду!..

— То-то же, сволочы! Имей в виду. И чтоб больше ни-ни!..

— Ни-ни! — подтвердил Емельян Черноземный и глухо зарыдал.

Слезы его ручьем текли по «сеновалу».

1927

## Внутренняя секрeция

*(Стенограмма речи, произнесенной тов. Миусовым на открытии красного уголка жилищного товарищества)*

Председатель. Слово имеет товарищ Миусов.

Миусов *(откидывая с мраморного лба каштановые волосы)*. Товарищи! Предыдущие ораторы в своих речах касались главным образом культуры материальной. А мне бы хотелось поговорить о культуре, так сказать, духовной. О той, так сказать, бытовой атмосфере, в которой приходится жить всем нам вместе, дорогие товарищи. Вот, например, все кричат — новый быт, новый быт, — а где этот самый новый быт, позвольте спросить?..

На земном шаре происходят удивительнейшие вещи, героические события, чудеса науки и техники, исторические процессы, обострение классовой борьбы.

Люди открывают Северные полюса, перелетают через Атлантические океаны, изобретают говорящие кинематографы, Днепрострои возводят, реактивные двигатели пускают, — эх, о чем говорить! — до Луны, одним словом, добираются, а в нашем жилтовариществе в это время полное мещанское загнивание, закисание, копание в грязном соседском, извините, белье. А нет того чтобы собраться, как подобает сознательным гражданам первой в мире социалистической республики, в красном уголке своего жилищного товарищества, — ну, скажем, хоть раз в неделю, — и проработать коллективно какой-нибудь

этакий актуальный вопрос, — например, о внутренней секреции или о витаминах В.

Голос с места. Правильно! Раз в неделю не мешало бы.

Миусов. Вот видите. Я очень рад, что мое предложение поддерживает наиболее сознательная часть нашего актива. А то что же это такое, товарищи, в самом деле? Едва только соберемся во дворе два-три человека, как сейчас же и начинаются сплетни. «А вы слышали?...» И ничего, кроме сплетен, никакой духовной жизни. Прямо совестно. Например, приведу такой факт. Конечно, факт мелкий, но весьма показательный. Возвращаюсь я, знаете, вчера со службы. Подымаюсь по лестнице. А впереди меня поднимаются двое членов нашего жилищного товарищества. И, разумеется, сплетничают между собой. Не буду говорить кто. Дело не в лицах... Впрочем, их, кажется, здесь нету. Если хотите, даже могу сообщить. Я человек прямой. Невзирая на лицо, так сказать. Правду-матку... Словом, подымаются гражданин Кабасю из девятого номера и вместе с ним гражданин Николаев, и они сплетничают. Только не тот, конечно, Николаев, который из сорок четвертого, а Николаев из номера восьмого, Борис Федорович, от которого Софья Павловна из номера четвертого на прошлой неделе аборт делала.

Сукин (с места). Она с ним уже два года не живет!

Миусов. У вас неверная информация. Живет! Может справиться у Глафиры Абрамовны. Как же не живет, если он ей в ноябре из Батума полдюжины шелковых чулок привез?

Сукин (с места). Чулки привез, а не живет!

Миусов. Живет!

Сукин (с места). А вы что, присутствовали при этом?..

Миусов. Оставьте при себе ваши неуместные остроги. Мы не в цирке. Я совершенно определенно заявляю, что она живет, и берусь это доказать фактами.

Сукин кричит с места неразборчиво.

**Председатель.** Прошу не прерывать оратора возгласами с мест.

**Голос.** Пусть докажет фактами...

Шум.

**Миусов.** И докажу! Во-первых, если хотите знать, это у нее второй аборт от Николаева за последнее полугодие. Но это не важно. Во-вторых, по сути дела, если уж на то пошло, моя жена собственными глазами видела, как прачка Софьи Павловны вместе с ее комбинезоном стирала фильдеперсовые, извините, кальсоны Бориса Федоровича.

**Сукин (с места).** А ваша жена откуда знает кальсоны Бориса Федоровича?..

Смех, шум, возгласы.

**Председатель.** Товарищи... това...

Шум.

**Миусов.** Прошу... дурака... *(Неразборчиво.)*

**Сукин (с места).** От такого слышу!..

Смех.

**Миусов.** Если хотите знать...

**Сукин (с места).** Не живет два года... *(Неразборчиво.)* Борис Федорович живет с миусовской Дунькой, и об этом может не знать только круглый...

Шум, смех.

**Миусов.** А я сам слышал через стенку и, если хотите знать, видел в замочную скважину, как Борис Федорович...

Шум.

**Мне не дают говорить... Я принужден...**

**Председатель.** Тов...

Шум, возгласы.



Голос с места. Пусть расскажет, что он видел!  
Миусов. Он... (*неразборчиво*), поскольку заслонял...  
шкаф... я не мог...

Шум.

Сукин (*с места*). А я тоже собственными глазами...

Шум, крики.

Миусов. Вы хам и сплетник!.. Я кончил!..

Председатель. Товарищи! Ввиду позднего времени прения прекращаются. Итак, ставлю на голосование предложение товарища Миусова еженедельно собираться в уголке для проработки наиболее актуальных вопросов.

Голос с места. Чего там еженедельно? Четыре раза в неделю.

Председатель. Поступило предложение собираться четыре раза в неделю. Кто «за»? Подавляющее большинство. Заседание закрыто.

1927

## Золотое детство

План у детишек был трогателен и прост: в день получения идти стройной колонной к заводским воротам и там, со знаменами и антиалкогольными лозунгами, дожидаться отцов, с тем чтобы организованно убедить их не пропивать очередной получки.

Детишек было четверо: Гаврик, Филька, Шурка и совсем крошечная Соня.

Самый старший из них — пионер Гаврик — был главной заводиловкой вышеупомянутого антиалкогольного греста.

Он и программу демонстрации вырабатывал. Он и средства на приобретение лозунгов и знамен выискивал. Средств, впрочем, было не особенно много.

Два рубля сорок копеек, и были они добыты путем напряженнейших финансовых комбинаций, имевших частью банковский, частью торговый и частью несколько уголовный характер.

А именно: один рубль сорок копеек пионер Гаврик снял со своего текущего счета в местном отделении сберегательной кассы. Там у него имелся небольшой капитал в один рубль пятьдесят копеек, честно сколоченный путем ежедневных отчислений от сверхприбыли с продажи вечерней газеты.

Гривенник был оставлен в кладовых сберкассы исключительно для того, чтобы не закрывать текущего счета и не подрывать реноме.

Семьдесят восемь копеек удалось выручить от продажи головастиков вместе с банкой и спиртовой лампочкой для обогривания воды. Цена неслыханно низкая.

Даже жалко было за такие деньги отдавать. Но ничего не поделаешь. Гражданский долг на первом месте. Хотя, конечно, такую другую спиртовую лампочку скоро не купишь.

Впрочем, не в головастиках счастье. Двадцать копеек, внесенные Филькой и Шуркой, надо сказать честно, были царской чеканки, но в суматохе сошли. А две копейки, принесенные Соней, носили еще более уголовный характер. Они были грубо украдены с комода.

Немедленно были приобретены необходимейшие материалы для успешного проведения предстоящей антиалкогольной демонстрации: несколько метров прекраснейшей материи, клей, гвозди, краска и прочее.

Весь вечер накануне демонстрации просидели дети у Гаврика в чулане, изготавливая знамена и лозунги.

— Чего зря керосин палишь! Ты, пионер! — крикнула было Гаврикова мамаша, стуча в дверь чулана ручкой кастрюли.

— Не лайся. Керосин наш. Организация покупала! — басом ответил Гаврик, и посрамленная мамаша смолкла.

Затем к двери чулана мрачно подошел только что протрезвившийся Гавриков папаша.

Он ничего не кричал и в дверь не стучал, а только глотал свинцовую слюну и, прислушиваясь, мутно бормотал:

— Ишь черти, шебуршат там чегой-то и шебуршат, а чего шебуршат — неизвестно, и покою рабочему человеку не дают, цветы жизни, чтобы они подошли, те цветы. И вообще, дом спалят... Организация-кооперация!.. Тьфу!.. Выпить не мешало бы...

— Я тебе выпью! Я из тебя всю кровь выпью! — подозрительно тихим голосом отозвалась из соседней комнаты мамаша. — Копейки в доме не осталось. Все пропил уж... Кобель паршивый!

Дети разошлись поздно.

Гаврик тщательно развесил приготовленные знамена и лозунги, чтоб высохли, и вскоре заснул, сжигаемый во сне нетерпением — скорее бы настал завтрашний день. Ужасно хотелось демонстрировать.

— Организация-кооперация... — хмуро пробормотал папаша, на цыпочках пробираясь к чулану.

Его мучило любопытство. Он вошел в чулан, нашарил впотьмах лампочку и зажег ее. При нищем свете он увидел красивое полотнище с надписью:

ПЕРВУЮ РЮМКУ ХВАТАЕШЬ ТЫ,  
ВТОРАЯ ТЕБЯ ХВАТАЕТ.

— Гм, — криво усмехнулся отец. — Ишь ведь чего ребятеночки удумали... Первую, дескать, ты, вторая, дескать, тебя... А третью, дескать, опять ты... А четвертая, дескать, опять тебя... А пятую опять ты... А шестая опять тебя!.. И так всю жизнь!..

Горькая слеза поползла по его тоскливым скулам.

— Между прочим, одну бы рюмочку бы действительно бы не мешало бы... Для опохмеленья... Мало-мало... Чего бы сообразить на половинку?.. Гм...

На другой день Филька, Шурка и совсем крошечная Соня с нетерпением топтали снег возле Гаврикова крыльца. Уже самое время было начинать демонстрацию, а

Гаврик все не выходил. Наконец он появился. Лицо его было страшным. Оно казалось перевернутым.

— А где же лозунги? — с тревогой спросила маленькая Соня, которой всю ночь снились трубы и знамена.

— Папенька... вчерась... пропил... — прерывающимся голосом сказал Гаврик.

— Значит, что жа? — глухо спросил Филька. — Демонстрация, что ли, переносится?

— Отменяется... — сказал Гаврик.

Судорога тронула его горло. И почти беззвучным шепотом он прибавил:

— И валенки мои... тоже пропил!..

И тут Филька, Шурка и Соня заметили, что Гаврик бос.

— Не так, главное, валенков жалко, как, понимаешь ты... головастика... — выговорил он и вдруг затрясся.

1927

## Толстовец

Когда приятели Пети Мяукина бодро спрашивали его: «Ну как дела, Петя? Скоро в Красную Армию служить пойдем?» — Петя Мяукин рассеянно подмигивал глазом и загадочно отвечал:

— Которые пойдут, а которые, может, и не пойдут...

— Это в каком смысле?

— А в таком. В обыкновенном.

— Ну, все-таки, ты объясни: в каком таком?

— Известно, в каком! В религиозно-нравственном.

— Что-то ты, Петя Мяукин, путаешь.

— Которые путают, а которые, может, и не путают.

— Да ты объясни, чужак!

— Чего ж там объяснять? Дело простое. Мне отмщение, и аз воздам...

— Чего-чего?

— Того-того. Аз, говорю, воздам.

— Ну?

— Вот вам и ну! Воздам и воздам. И вообще, духовоборы...

— Чего духовоборы?

— А того самого... которые молокане...

— Странный ты какой-то сделался, Петя. Вроде мало-хольный. Может, болит что-нибудь?

— Болит, братцы.

— А что именно болит?

— Душа болит.

Приятели сокрушенно крутили головой и на цыпочках отходили от загадочного Мяукина.

За месяц до призыва Петя Мяукин бросил пить и даже перестал гонять голубей.

По целым дням он пропадал неизвестно где. Несколько раз знакомые видели Петю в вегетарианской столовой и в Румянцевской библиотеке.

За это время Петя похудел, побледнел, стал нежным и гибким, как березка, и только глаза его светились необыкновенным внутренним светом — вроде как бы фантастическим пламенем.

На призыв тихий Петя явился минута в минуту. Под мышкой он держал объемистый сверток.

Комиссия быстро рассмотрела стройного, красивого Петю.

— Молодец! — бодро воскликнул председатель, ласково хлопнув его по плечу. — Годен! В кавалерию!

— Я извиняюсь, — скромно опустил глаза Петя, — совесть не позволяет.

— Чего не позволяет? — удивился председатель.

— Служить не позволяет, — вежливо объяснил Петя.

— Это в каком смысле не позволяет?

— А в таком смысле не позволяет, что убеждения мои такие.

— Какие такие?

— Религиозные, — тихо, но твердо выговорил Петя, и глаза его вспыхнули неугасимым пламенем веры.

— Да вы, товарищ, собственно, кто такой? — заинтересовался председатель.

— Я-с, извините, толстовец. Мне, так сказать, отмщение, и аз, так сказать, воздам. А что касается служить на вашей службе, так меня совесть не пускает. Я очень извиняюсь, но служить хоть и очень хочется, а не могу.

— Скажите пожалуйста, такой молодой, а уже толсто-вец! — огорчился председатель. — А доказательства у вас есть?

— Как же, как же, — засуетился Петя, быстро развертывая пакет. — По завету великого старца-с... — скромно прибавил Петя, вздыхая, — мне отмщение, и аз воздам. А если вы, товарищ председатель, все-таки сомневаетесь насчет моих убеждений, то, ради бога, бога ради... проэк-заменуйте по теории.

Петя засуетился, вынул пачку книг и разложил их перед комиссией.

— Всего, можно сказать, Толстого до последней запятой превзошел. Как хотите, так и спрашивайте. Хотите — с начала, хотите — с середины, а хотите — с конца. Туды и обратно на зубок знаю. Например, из «Князя Серебряного» могу с любого места наизусть произнести. Или, скажем, роман «Хождение по мукам». Опять же «Хромой барин». А что касается драмы в четырех действиях «Заговор императрицы», то, верите ли, еще в двадцать четвертом году мы с папашей-толстовцем и мамашей-толстов-кой раз шесть ходили в летний театр смотреть...

Петя обвел комиссию круглыми, честными голубыми глазами.

— Можно идти? — деловито спросил он и быстро надел штаны на пухлые ноги, покрытые персиковой шерстью.

— Годен! В кавалерию! — закричал председатель, корчась от приступа неудержимого хохота. Многие члены комиссии, извиваясь и взвизгивая, ползли под стол.

Вечером Петя печально сидел за ужином и говорил родителям:

— А между прочим, кто же его знал, что этих самых Толстых в СССР как собак нерезаных! Один, например, Лев Николаевич, старикан с бородой, главный ихний ве-

гетарианец, другой — Алексей Константинович, который «Князя Серебряного» выдумал, а третий тоже Алексей, но, понимаешь ты, уже не Константинович, а, наоборот, Николаевич... Тьфу! И все, главное, графы, сукины дети, буржуи, чтобы они сдохли! Попили нашей кровушки... Я из-за них, сволочей, может, восемь фунтов в весе потерял!..

— Кушай, Петечка, поправляйся, — ласково говорила мамаша, подкладывая загадочному Пете на тарелку большие телячьи котлеты, и светлые вегетарианские слезы текли по ее трехпудовому лицу, мягкому и коричнево-му, как вымя.

1927

## Похвала глупости

(Опыт рецензии)

С легкой руки литбюрократов, окопавшихся в уютненьких траншеях советских издательств, почему-то (?) вошло в практику, без зазрения совести и не жалея государственных средств, издавать кого попало, что попало, как попало, куда попало и кому попало.

Достаточно только указать на дикую вакханалию и свистопляску, которая, к сожалению, до сих пор продолжается с изданием так называемых «полных (!) собраний (хе-хе!) сочинений (хи-хи!) » наших доморощенных и пресловутых гениев.

Вслед за Пильняком, Леоновым, Ивановым, Верой Инбер, Гумилевским и другими безусловно крупными мастерами слова к вкусному пирогу советской популярности дотянулись цепкие пальцы развязных молодых людей, уже не имеющих абсолютно никакой художественной ценности и социальной значимости.

Мутный вал чтива, потакающего обывательским вкусам, готов с головой захлестнуть молодую советскую общественность.

Издаются буквально все кому не лень.

Вот, например, перед нами «полное (ха-ха!) собрание (хе-хе!) сочинений (хи-хи!)» некоего Антона Чехова...

(Кстати: какой это Чехов? Не родственник ли он пресловутого Михаила Чехова, бывшего актера МХАТ II, который ныне «подвизается» в Берлине?)

Впрочем, отбросим всякие подозрения и постараемся вскрыть социальную сущность и выявить писательскую физиономию вышеупомянутого Антона Чехова (!), столь ретиво изданного одним из наших центральных издательств.

Возьмем хотя бы рассказ «В бане», которым открывается том первый. Сам этот факт уже говорит за то, что рассказ «В бане» является, так сказать, общественно-политическим и литературно-художественным кредо писателя. Посмотрим, в чем же заключается это «кредо».

«— Эй, ты, фигура! — крикнул толстый, белотелый господин, завидев в тумане высокого и тощего человека с жиденькой бородкой и с большим медным крестом на груди. — Поддай пару!»

И далее:

«Толстый господин погладил себя по багровым бедрам...»

И т. д.

Несколькими абзацами ниже:

«Там сидел и бил себя по животу веником тощий человек с костистыми выступами на всем теле».

И еще:

«Никодим Егорыч был гол, как всякий голый человек.»

Довольно!!



Совершенно ясно, что ни о каком писательском лице, ни о какой социальной значимости не может быть и речи в произведении, где с откровенностью, стоящей на грани цинизма и порнографии, на протяжении шести-семи страниц убористого шрифта смакуются мотивы голого человеческого тела.

А вот, например, рассказ «Неудача»:

«Илья Сергеевич Пеплов и жена его Клеопатра Петровна стояли у двери и жадно подслушивали... За дверью, в маленькой зале, происходило, по-видимому, *объяснение в любви*, объяснялись их дочь Наташенька и учитель уездного училища Щупкин».

И т. д. (Курсив везде наш. — С. С.)

Дальше, товарищи, ехать некуда!

Учитель уездного училища, объясняющийся в любви некой Наташеньке, — это же шедевр мещанской пошлости и беззубого, обывательского злопыхательства!

Кто этот объясняющийся в любви учитель? Частный случай, анекдот или же монументально обобщенный тип?

Если это частный случай, то позвольте вас спросить, кому нужны такие частные случаи и для чего автору понадобилось притаскивать за волосы на страницы советской печати эту явно надуманную, лишенную плоти и крови фигуру выродившегося интеллигента, который занимается пошлейшим копанием в себе в стиле Достоевского?

Если это монументальное обобщение, то тут мы вправе со всей определенностью заявить зарвавшемуся автору:

— Руки прочь от советского учительства! Не вам, гражданин Чехов, показывать нам его!

И потом, что это за Наташенька? Откуда вы выкопали эту лгушку, проводящую все свое время в бесцельном флирте? Не бывает у нас таких девушек, гражданин Чехов!

Кстати, одна характерная деталь: в конце рассказа отец и мать Наташеньки благословляют ее и уездного учителя (!) вместо образа портретом *писателя* Лажечникова (?).

Очевидно, гражданин Чехов дальше середины XIX века в своих литературных ассоциациях не пошел. Стыдно, очень стыдно, господин Чехов, не знать, что самый популярный писатель у нас не Лажечников, а Гладков! И не мракобесом Лажечниковым, а Гладковым должны были благословлять молодых людей родители, если уж на то пошло!

Но вот что самое характерное: у гражданина Чехова совершенно нет романов. Да это и понятно! Трудно себе представить, как бы рецензируемому автору, при полном отсутствии чувств исторической перспективы, при куцем, беспредметном, а-ля Зощенко, юморке, при совершенно определенном уклончике в «голую» порнографию, удалось создать большое полотно, в полном объеме отображающее нашу действительность, со всеми ее сложнейшими конфликтами, коллизиями, ситуациями, взаимоотношениями, сдвигами и перегибами.

Что касается проблемы живого человека, то она, разумеется, даже и не ночевала в «полном (хи-хи!) собрании (хе-хе!) сочинений (ха-ха!)» гражданина Чехова.

В заключение необходимо заметить следующее. У Чехова имеется несколько пьес. Говорят, что некоторые из них собирается (!) поставить (?) МХАТ I (?!). Нам неизвестно, насколько справедливы эти слухи, но, во всяком случае, в театральных кругах поговаривают об этом совершенно определенно.

Будет чрезвычайно прискорбно, если такой серьезный и нужный пролетариату театр, как МХАТ I, после «Бронепоезда» и после «Хлеба» поставит на своей сцене эти пошловатые и в конечном итоге малохудожественные, с позволения сказать, «пьесы», специально рассчитанные на гнилой вкус эпманского жителя.

А в общем никчемное собрание никчемных «сочинений» чужого нам писателя.

*Старик Собакин*

Кавычки, скобки и все знаки препинания — всюду мои. Вообще все мое. — С. С.

1927

## Жертва спорта

Было прелестное осеннее утро, и на территории Парка культуры и отдыха спешно догорали георгины и лихорадочно облетали березы. Яркое, но в достаточной мере печальное солнце холодно освещало пейзаж.

В пустынной аллее сидела на скамеечке девушка, для описания которой в моем распоряжении не имеется достаточно ярких красок. Она ела большую грушу, и мутная капля сока блистала на самом кончике ее небольшого подбородка. Рядом с ней на скамье лежал последний номер иллюстрированного журнала, небрежно развернутый на восьмой странице.

Костя Поступаев опытным взглядом закоренелого ловеласа окинул девушку и, плавно описав вокруг нее четыре мертвых петли, вдруг с треском очутился рядом.

— Вот номер — я чуть не помер! — воскликнул он непринужденно, выбрасывая ноги вперед, и многозначительно подмигнул девушке.

Она не пошевелилась.

— Я извиняюсь, который час? — деловито спросил он и придвинулся к девушке.

Она молчала.

— Может быть, вы глухонемая? Что?

Девушка молчала.

— Ага! Я извиняюсь: она глухонемая! — юмористически сказал Костя Поступаев в пространство и закинул руку на спинку скамьи, вдоль девушкиных плеч.

— Почему вы сидите в таком одиночестве?

Пауза.

— Нет, кроме шуток, как вас зовут?

Молчание.

— Гм... Разрешите в вашем присутствии закурить?

Молчание.

— Молчание — знак согласия, не правда ли?

Девушка не шевелилась.

— Мы где-то с вами встречались. Что? Вы, кажется, молчите? Вот номер — я чуть не помер! Нет, кроме шу-

ток, — почему вы такая грустная? Давайте я вас расшевелю.

С этими словами Костя Поступаев как бы по рассеянности опустил руку и обнял девушку за талию. Лицо ее слегка порозовело, брови сдвинулись, и губы плотно сжались.

— Фи, какая вы такая... — блудливо пролепетал Костя и положил свободную руку на ее колено.

— Какая такая? — тихо произнесла девушка, подымая на опытного, красивого Костю большие, ясные, синие глаза.

— А такая, — суетливо сказал Костя, и вдруг взгляд его упал на восьмую страницу иллюстрированного журнала. Там во весь лист была напечатана фотография девушки, а под ней Костя прочел надпись: «Нина Подлесная, взявшая первенство на последних всесоюзных состязаниях по боксу».

Костя похолодел.

— Какая же я такая? — еще тише повторила девушка. — Ну? Ну именно?

— Именно — очень тренированная. А я вас, товарищ Подлесная, сразу признал. Только, значит, виду не показал. А то бы разве я... хи-хи... подсел?..

— Да что вы говорите?

— Определенный факт. Вот номер — я чуть не помер. Ну, пока.

— Куда же вы? Постойте. Не уходите. Сядьте поближе.

— Гы-гы!..

— Какой вы странный! Сядьте же. Ну дайте мне руку.

Вы мне начинаете нравиться.

— Гы-гы!..

— Я извиняюсь, вы не знаете, который час?

— Гы!

— Может быть, вы глухонемой?

Костя Поступаев молчал.

— Ага! Я извиняюсь: он глухонемой! — печально сказала Ниночка Подлесная в пространство и закинула руку на спинку скамьи, вдоль Костиных плеч.

Костя страдальчески съежился, зажмурил глаза и вдавил голову в плечи.

— Почему вы сидите в таком одиночестве? Нет, кроме шуток, — как вас зовут? Гм... Разрешите в вашем присутствии есть грушу? Молчание — знак согласия, не так ли? Мы где-то с вами встречались... Что? Вы, кажется, молчите? Нет, кроме шуток, почему вы такой грустный? Давайте я вас расшевелю...

— Ой! Только, ради бога, не надо меня расшевеливать. Тетенька, я больше не буду. Никогда. Клянусь ва...

С этими словами опытный Костя сорвался с места и ударился в бегство.

— Пойдите! Я хочу вам что-то сказать! Погодите! — слабо крикнула ему вслед девушка.

Но Костя был уже далеко.

Девушка тяжело упала головой на спинку скамьи и зарыдала.

— И так... вот... всегда, — бормотала она сквозь слезы, стуча кулачком по скамье, — всегда! всегда! всегда! Ох, за что я такая несчастная!..

И холодное осеннее солнце видело в тот день, как девушка рвала на мелкие кусочки последний номер недочитанного иллюстрированного журнала и сладострастно запихивала его в урну, где еще дымился окурок, брошенный красивым Костей.

1927

## Собачья жизнь

Наскоро насвинив в Аркосе и разорвав дипломатические отношения с СССР, Чемберлен сунул отмычки под подушку, деловито сел на извозчика и поехал устраивать очередной антисоветский фронт.

— Вези ты меня, брат извозчик, сначала во Францию, к господину Бриану. Где живет господин Бриан — знаешь?

— Помилуйте, вашсясь. В прошлом году возил. Как же-с!

— Ну так вот. У Бриана я задержусь минут на пятнадцать-двадцать, не больше, устрою кое-какие антисоветские делишки, а потом поедем, братец ты мой, к господину Штреземану в Германию. Где живет господин Штреземан, знаешь?

— Помилте! В прошлом году возил.

— Гм! Так вот! У Штреземана я посижу самое большее пять минут, обделаю там один маленький дипломатический разрывчик с СССР, и после этого, дорогой ты мой извозчик, поедем мы с тобой...

— К господину Муссолини, в Италию-с...

— Верно, извозчик. Откуда ты знаешь?

— Помилте! В прошлом году возил. Вы, вашсясь, об эту пору аккуратно каждый год ездите антисоветский фронт налаживать. Хе-хе! Пора, кажись, знать. Хи-хи!

— А ты бы поменьше языком молол, извозчик, — сухо заметил Чемберлен, — не твоего это ума дело. Да. У Муссолини посижу максимум две минутки, организую небольшой взрывчик советского посольства, а оттуда повезешь ты меня, извозчик, прямым сообщением в Румынию. Военное снаряжение там надо забросить в одно местечко возле границы.

— В Польшу заезжать не будете?

— Пожалуй, заеду на обратном пути. Ну-с...

— Н-н-но, милая! И-ех! С горки на горку, барин даст на водку!.. Пошевеливайся...

Чемберлен бодро вошел в кабинет к Бриану.

— Ба! — воскликнул Бриан. — Сколько лет! Сколько зим! Какими судьбами! Очень, очень рад вас видеть! Сердечно тронут. Чаю? Кофе? Какао? Садитесь, садитесь.

— Мерси. Я на одну минуточку. Внизу ждет извозчик. У меня к вам небольшое дельце.

— Бога ради! Ради бога!

— Антисоветский фронт. Как вы на этот счет?

— Ну, как вам сказать. Оно конечно... Может быть, все-таки чаю стаканчик выпьете? А? Отличный китайский чай! Усиленно рекомендую.

— Мерси.

— Мерси «да» или мерси «нет»?

— Мерси нет.

— Чашечку, а?

— И не просите. Китайский чай действует на сердце. Опять же — внизу извозчик.

— А вы отпустите извозчика. Посидим, поболтаем. Так редко, знаете, приходится поговорить с интеллигентным человеком. Кстати, вы слышали последнюю политическую новость — Авереску проворовался.

— Что вы говорите! А я как раз собрался сегодня к нему заехать. Гм... И много, простите за нескромный вопрос, спер?

— Строго говоря, он еще не кончил красть: мебель и пианино из министерства не вывезены. Но по предварительным подсчетам...

— Печально, печально... Ну-с, впрочем, не будем отклоняться. А то у меня внизу извозчик, знаете ли... Так как же насчет фронта?

— Какого фронта?

— Да единого же антисоветского? А? Как вы на сей предмет?

— Единого... Антисоветского? Гм... Что же... Цель не предная... Да! Чуть не забыл! Как вам нравится Ленд-берг?

— А что такое?

— Как что такое! Да вы, батенька, газет, что ли, не читаете? Через Атлантический океан, на аэроплане, шельма, перелетел — и ни в одном глазу! Вот эт-та трю-ук! Так вы, значит, от чаю решительно отказываетесь?

— Решительно. У меня извозчик внизу стоит.

— А вы плюньте в извозчика. Постоит и перестанет. Не в извозчике счастье. Посидим, поболтаем, чайку по-пьем. Чаю хотите?

— Мер-пси...

— Мерси «да» или мерси «нет»? То есть, пардон, я совсем забыл, что вы не пьете чаю. Между прочим, нашему общему другу Штреземану врачи тоже категорически запретили крепкий чай. Не знаю, как он теперь, бедняга, выкручивается, прямо анекдот.

— А что такое?

— Да как же! Посудите сами. Сегодня у него обедает Чичерин. А Чичерин после обеда ужасно любит чайку попить. Интересно зна...

— Постойте! Что вы говорите! Я как раз от вас соби-  
рался ехать к Штреземану. А там, оказывается, Чичерин.  
Гм... Ужасная неприятность. Н-да, история! Придется в  
другой раз заехать. Ничего не попишешь. Между нами го-  
воря, не нравится мне почему-то Чичерин. Несимпатич-  
ный человек. Куда ни сунешься — всюду Чичерин. Ну,  
так как же?

— Это насчет чего?

— Это насчет антисоветского фронта!

— Что ж, валяйте!

— Присоединяетесь?

— К чему присоединяться?

— Да к фронту же!

— К какому?

— Ах ты, господи, да к антисоветскому же! Ну?

— Да как же я вдруг так возьму и присоединюсь? Не-  
удобно это как-то. Впрочем, вы поезжайте к Штреземану.  
Если Штреземан присоединится, тогда, пожалуй, и я  
присоединюсь, если, конечно, ничего такого не случится.

— Да как же я поеду к Штреземану, если у него Чиче-  
рин сидит, чужак вы человек? Ведь неудобно же получится?

— Неудобно.

— Вот видите. Сами понимаете, что неудобно, а сове-  
туете. Ну, присоединяйтесь, присоединяйтесь, а то меня  
извозчик внизу дожидается. Поди, истомился, сердеш-  
ный... Ну, так как же?

— Да, и как же?

— Присоединяйтесь.



— Не знаю, право, что вам и сказать. Да вы присаживайтесь. Чайку попьем, побеседуем. Чайку налить?

— Присоединяйтесь «да» или присоединяйтесь «нет»? Одно из двух. Меня внизу извозчик ждет. Мне еще к Муссолини заехать надо. И его хочется присоединить.

— Не советую сегодня к Муссолини ехать. Муссолини переживает лирическую грусть.

— А что с ним такое?

— А то. У человека лира падает, а вы его присоединять начнете. Неудобно.

— Какая неприятность! Вот уж действительно, не везет так не везет! Ну?

— Что «ну»?

— Присоединяйтесь!

— Право, я не могу. Мерси, но не могу. Не от меня зависит. Рабочие наши, знаете, не очень обожают антисоветский фронт. Может быть, вы к рабочим съездите, уговорите их, а?

— Значит, не присоединяетесь?

— Не присоединяюсь.

— Гм... Ну, тогда до свидания. Честь имею кланяться, гран мерси.

— Куда же вы? Посидите, поболтаем. Чайку попьем. По-хорошему. Чайку хотите? Что ж вы на меня ногами топаете? Вот чудак человек. Уж и стаканчика чаю ему нельзя предложить... Посте... Ушел!

— Эх, барин, нехорошо это с вашей стороны! Десять минут велели ждать, а сами три часа проманижили. Уж это свинство.

— Ну, ты! Не очень! Погоняй!

— Куда прикажете? К господину Муссолини или к господину Штреземану?

— Вези меня, болван, назад, домой!

— А в Польшу не заедете?

— Вези домой, сук-кин сын, и не раздражай меня дурацкими вопросами! Хам! И что это за каторжная жизнь,

прости господи! На дворе лето, солнце жарит, хорошие люди все в отпуск собираются карасей удить, один я, как собака, с высунутым языком ездию по Европе и ездию, и конца этому не предвидится!..

Ну, подождите, подлые большевики, доберусь я до вас когда-нибудь!

1927

### «Наши за границей»

Душевное состояние обывателя, впервые отправляющегося за границу, обычно трудно поддается описанию.

Он мало ест, мало спит, надоедает знакомым телефонными звонками.

— Алло! Это вы, Николай Николаевич?.. Здравствуйте. Это я... Что? Вы уже легли спать?.. Неужели четверть третьего? А я, знаете, думал, что часов девять. Хе-хе... Извините, маленькая справочка. Не можете ли вы мне сказать: допустим, у меня есть заграничный паспорт и немецкая виза, — как быть с Польшей? Пропустит?.. Вы думаете? Спасибо... А если не захочет?.. Да, я понимаю, но все-таки суверенное государство... Не может быть?.. Спасибо. Но все-таки — вдруг я прихожу, а мне в польском консульстве и говорят... Гм... Алло... Алло!.. Повесил трубку... Невежа!..

С утра он нанимает такси и начинает лихорадочно ездить по городу с таким видом, точно у него в квартире лопнула водопроводная сеть. Первым делом он кидается в Административный отдел Московского Совета — АОМС, где ему на сегодня обещан ответ.

Сжимая в потном кулаке квитанцию, спотыкаясь, бежит он к воротам. Ворота закрыты. За великолепной оградой виден пустой обширный аомсовский двор, цветники, клумбы, деревья...

На тумбочке у ворот сидит милиционер и читает «Рабочую газету».

— Я извиняюсь... товарищ, — начинает наш герой неправдоподобно взвинченным голосом и сует в усы милиционера повестку. — В чем дело? Тут ясно сказано — сегодня, а между прочим, ворота закрыты. Это что же такое? Издевательство над гражданами? А может быть, у меня в Берлине тетя умирает? Безобразие!

Милиционер равнодушно зевает, складывает «Рабочую газету» и вынимает из кармана большие серебряные часы.

— Еще рано, гражданин. Всего половина восьмого. А прием начинается в девять. Погодите малость.

— Я извиняюсь, — бормочет проситель. — Неужели половина восьмого? А я был уверен, что четверть десятого...

Он некоторое время трет себе виски и топчется возле милиционера. Наконец, потоптавшись, с легкой надеждой в голосе спрашивает:

— Может, в очередь надо записаться?

— Чего там в очередь, — лениво усмехаясь, говорит милиционер. — Всего четыре человека вместе с вами. Вон они дожидаются. У них спросите...

Наш путешественник выпускает слабый вопль тревоги и спешно кидается к трем одиноким фигурам, сидящим на парапете решетки и меланхолично болтающим ногами.

— Граждане!.. Я извиняюсь... Кто последний?.. Здравствуйте. Еду, понимаете, в Западную Европу... Так вот, пожалуйста, я четвертый... Запомните... Сплошное безобразие: всюду очереди и очереди... В Западной Европе этого, наверное, нет... Итак, имейте в виду — я четвертый. Пока!

После этого он плюхается на горячее сиденье такси и громко кричит, чтобы его как можно скорее везли в немецкое посольство, оттуда в итальянское, потом во французское, польское, австрийское...

Пролетая ураганом по улицам, он то и дело высовывается из машины и, размахивая шляпой, кричит встречным знакомым:

— Привет! Уезжаю в Западную Европу... Что? Пишите прямо в Германию, прямо до востребования. Целую. Пока.

По его интенсивно-розовому лицу струится горячий пот.

Но вот наконец паспорт своевременно получен, визы поставлены, деньги в банке обменены на валюту. Казалось бы, все в порядке, можно успокоиться. Однако вот тут-то именно и начинается главная горячка.

— Алло! Это вы, Василий Иванович?.. Я вас разбудил?.. Извиняюсь. Дело в том, что послезавтра я еду в Западную Европу. Ха-ха-ха! Слушайте, вы не знаете, говорят, за границей наша простая паюсная икра стоит две-сти рублей фунт. Это правда?.. Что?.. Триста? Не может этого быть. Вы шу... Алло... Вы слушаете? Алло! Станция, нас прервали... Повесил трубку? Хам!

— Алло! Павел Павлович? Это вы?.. Здравствуйте. Я вас, кажется, разбудил?.. Извиняюсь. Поздравьте меня: я уезжаю в Западную Европу. Слушайте, вы не знаете, сколько в Западной Европе стоит наша паюсная икра?.. Дорого? Это хорошо. Мерси. А папиросы? Говорят, наши русские папиросы считаются самыми шикарными. Как вы думаете, стоит захватить тысячи полторы «мозаики»... Что?.. Вы сами дурак... Алло! Повесил трубку...

На рассвете его вдруг будит жена.

— Петя, говорят, надо везти шоколадные конфеты. В Берлине наши конфеты полтора-ста рублей фунт. И изюм... факт...

Петя вскакивает и на полях газеты начинает спешно производить сложнейшие вычисления: фунты множит на килограммы, делит на конфеты, вычитает икру, привлекает корни из папирос. Руки у него дрожат.

Но самое мучительное — это одеться в дорогу. Надевать обычный костюм не имеет ни малейшего смысла, раз за границей можно купить за гроши новый. Опять же башмаки. Абсолютно невыгодно трепать скороходовские туфли, если послезавтра в Берлине можно купить замечательные новые за десять рублей. А куда девать старые?

Не бросать же их, на радость жадным иностранцам! Опять же шляпа и кальсоны...

— Ничего не надо. Все там купим.

Таков лозунг отъезда.

Если бы не врожденная стыдливость, такой, с позволения сказать, турист, вне всякого сомнения, готов был бы ехать в Западную Европу в чем мать родила.

Но, увы, это невозможно. Как-то совестно перед Западной Европой.

Но тем не менее на вокзал он приезжает с женой в совершенно диком виде. На нем старый картуз сынишки, брезентовые штаны системы военного коммунизма, толстовка на голое тело и престарелые парусиновые туфли, из которых стыдливо выглядывают большие пальцы.

На ней клетчатый ватерпруф, абсолютно вышедшая из употребления сумочка, дикого вида шарф и ночные туфли, выкрашенные чернилами. В дрожащих руках пятифунтовая банка икры. Знакомые в ужасе.

— Ничего, там все купим.

Поезд трогается. Своды Александровского вокзала наполняются звоном, грохотом и тихим шипением провожающих:

— Поехал-таки, свинья. Вот уж действительно — дуракам счастье. Много он там поймет со своей жирной гусыней, во всех этих европах!

— Н-да-с... толстокожее животное!

— Животное-то животное, а между прочим, в данный момент сидит себе возле открытого окошка и любит панорамой. А послезавтра будет ездить в автомобиле по Берлину и покупать пронзительные галстуки. А нам с вами на паршивый автобус — и домой.

— Ах, и не говорите...

А тем временем наш «турист» действительно сидит у открытого окошка, но отнюдь не любит панорамой, и нудно и мучительно препирается с супругой по поводу предположенных заграничных покупок.

— Ты, матушка, прямая дура! — шипит он, искоса поглядывая на соседей. — Кто же это, интересно знать, по-

купает шелк в Германии! Италия — классическая страна шелка. Там чулки и купишь.

— Это, значит, я через всю Западную Европу ехать в драных мюровских чулках буду? Ни за что!

— Ничего с тобой не сделается, голубушка. А что касается Западной Европы, то она и не такие чулочки видела. Будь спокойна. А вот что касается моих туфель, то, натуральное дело, как только в Берлине с поезда сойдем, в первую голову покупаю башмаки на резиновой подошве. Германия — это классическая страна кожи... и галстуков...

— О, как я жалею, что вышла замуж за этого грубого идиота! — всхлипывает она.

Поезд мчится. В окне движется упоительная средне-русская панорама. Рыбий жир сочится из подпрыгивающих на верхней сетке коробок с икрой и желтыми слезали каплет на разгоряченные головы путешественников.

Проходит короткая ночь, полная тяжелых вздохов и змеиного шипа.

Утром — граница.

Отбирают паспорта.

Короткий таможенный осмотр.

Короткий потому, что, собственно говоря, осматривать нечего.

Вокруг таможенного прилавка жмутся граждане, одетые во что бог послал, безо всяких почти вещей.

Там, мол, все купим.

Поезд переходит границу. В вагон входят польские военные чины. Они вежливо отбирают паспорта. Но сосны за окном все те же «среднерусские».

Поезд медленно подходит к новенькой белой станции в новом немецком стиле. Это Столбцы.

Белый одноглавый орел, похожий на гуся, украшает мезонин станции. Тут опять таможенный осмотр.

Не считая того, что у путешественников ласково отбирают паюсную икру, все обходится как нельзя благополучно.

Наш расстроенный герой, волоча за рукав подавлен-

ную супругу, выходит на перрон и в изумлении открывает рот.

Несколько блистательных поездов стоят на путях.

С суеверным ужасом он читает по складам французские и немецкие таблички на вагонах.

«Столбцы — Берлин».

«Столбцы — Париж».

«Столбцы — Остенде».

Но это еще не все. Это все-таки еще не Европа. И лишь на рассвете следующего дня, проехав «среднерусскую» Польшу и одессоподобную Варшаву, на немецкой границе наш путешественник бывает окончательно подавлен.

Пользуясь небольшой остановкой, он выходит из вагона погулять по аккуратной платформе под гигантским немецким деревом и вдруг, неожиданно побледнев как смерть, возвращается, шатаясь, в вагон.

— Капочка, — говорит он серым голосом. — Капочка... начинается... Там, на станции...

— Что, что такое?

— Там, на станции... продаются... бананы...

Он безжизненно садится на диван и закрывает рука-ми лицо.

Паровоз свистит, и деликатный дым скрывает от наших глаз подробности дальнейшего путешествия счастливых супругов...

Мне кажется, что, путешествуя по Европе, я кое-где мельком видел этого «туриста».

Помнится, он топтался в Берлине, на перекрестке двух непомерных улиц, отрезанный от своей супруги, оставшейся на противоположном углу, четырьмя рядами движущихся машин.

В Риме на вокзале он долго требовал «обязательно плацкарту», вызывая у окружающих веселое недоумение по поводу загадочной «русской плацкарты».

В Венгрии он менял доллары на лиры в отделении сомнительной банкирской конторы и потом, озираясь по сторонам, прятал в особый внутренний карман штанов остальные доллары.

В Неаполе он ломился в магазин за фетровой шляпой фабрики «Барсалино».

В Вене метался на плохом таксомоторе из одного универсального магазина в другой...

По приезде домой такой гражданин переживает нечто вроде медового месяца.

Преимущественно он разговаривает по телефону:

— Алло! Это вы, Николай Николаевич?.. Здравствуй-те. Это я... Не узнаете? Хо-хо! Только что из-за границы приехал... Вы уже легли спать? Это неважно. Ну, батенька, и насмотрелись же мы с Капочкой чудес!

Вы знаете, эта Западная Европа черт-те что! Нечто феноменальное... Колоссалы! Можете себе представить — в Берлине, например, башмаки на наши деньги восемь целковых, замечательные... А между прочим, пиво — дрянь! Факт... Вообще же — красота! В Риме, например, мы с Капочкой купили подмышники, и что же вы ду... гм... что такое?.. Ах, эти гнусные советские телефоны... Станция, алло! Что такое?! Разъединили. Повесил трубку? Хам!..

1928

## Автор

Молодой человек написал пьесу.

Писал он ее жадно, запоем, по ночам. Он закуривал папиросу от папиросы и едва успевал высыпать окурки из пепельницы в корзину для бумаг.

Две недели пьеса лежала у заведующего литературной частью театра на рыжем подоконнике. Была осень. Окно подтекало. Пьеса молодого человека слегка отсырела.

В комнате завлита лежало еще полтора десятка других пьес. К рукописям были пришпилены регистрационные карточки. Ежедневно заведующий литературной частью заполнял десяток из них приблизительно в таком духе:

«Название — «Разными путями». Число действий —



пять. Автор — Николай Петрович Безенчутский. Народных сцен — нет. Число главных действующих лиц — мужских — восемь, женских — три». И т. д.

«Заключение — отклонить».

Однажды, в начале третьей недели, заведующий литературной частью потянул к себе пьесу молодого человека. Он прочитал первые шесть страниц и улыбнулся. Брови его весело сошлись над переносицей. Он сказал про себя «гм» и пересел на диван, чтобы было удобнее читать.

На другой день молодой человек услышал из телефонной трубки очень вежливый и очень осторожный голос заведующего литературной частью:

— Ах, вы автор пьесы «Заря»? Очень приятно. Видите ли, гм, лично мне ваша пьеса понравилась. Но у нас в театре еще несколько инстанций. Так, может быть, вы как-нибудь ознакомили бы, так сказать, наши инстанции с вашей драмой... Что? Комедия? Нет, по-моему, все-таки ваша вещь, скорее, лирическая драма, хотя, разумеется, вы, как автор...

Но молодой человек уже плохо слушает. Он — автор, и его приглашают читать пьесу. О! Такие вещи случаются не каждый день и даже не каждый год. И не со всяким.

— Так, значит, разрешите фиксировать день и час? У нас сегодня среда. Так. Тогда, значит, разрешите вас просить в воскресенье ровно в два часа, — как раз у нас утренник, так что... Вы в нашем театре бывали?

— О!

— В таком случае прошу вас пожаловать прямо в контору. Это внизу... Совершенно верно, там, где администратор. И попросите вызвать меня... Да. Или Семена Васильевича... Да. Это один из наших актеров. Он очень благоволит к молодым драматургам... Да. Вы просто назовите себя. Значит, в воскресенье в два. Пока, всего доброго.

В назначенный день и час автор переступает порог театра. В первый раз в жизни он входит в знакомый с детства и уважаемый дом не как простой смертный, ку-

пивший в кассе билет, а как посвященный — со двора, через контору.

В конторе узкий коридорчик, вешалка, где висят шубы «своих». Тут же, на стене, стеклянная витрина с выставленными в ней письмами, присланными актерам и «своим» на адрес театра. Автор называет себя и просит доложить о своем приходе заведующему литературной частью. Служитель не проявляет никакого интереса к личности автора. Он не предлагает ему раздеться. Уходит доложить. Автор стоит в узком коридорчике, перед зеркалом, в шубе, без шапки, в галошах и топчется на месте, мешая одевающимся и раздевающимся «своим». Внутренний боковой карман авторского пиджака раздут. Из него выпирает переплетенная в изящную малиновую тетрадь пьеса.

На одну минуту перед автором раскрывается дверь, ведущая в кабинет администратора. Там горит зеленая лампа. В кабинет быстро вбегает служитель в пенсне и просит валерьяновых капель. Безукоризненный толстенький гражданин с полными ангельски-голубыми глазами отпирает аптечку и выдает капли. Это в зрительном зале с кем-то сделалось дурно. За столиком сидит дежурный милиционер.

То и дело раздаются телефонные звонки, и ангельский негромкий голос говорит:

— На сегодня все билеты проданы. Ничего не могу для вас сделать.

— Здравствуйте, Дмитрий Владимирович... Кончается второй акт... Да. До свидания.

— Алло! Я слушаю вас... Александра Николаевича нет в театре.

— Нет. На сегодня все продано. Ничего сделать для вас не могу.

Шурша простым шелковым платьем стального цвета, проходит надменная чернобровая, седеющая дама. Все расступаются. Она милостиво улыбается. На йодистых от табака пальцах блестят кольца. Веет миндальной горь-

чью хороших духов. Это «сама Н», знаменитая народная артистка республики, украшение театра.

Автор в чистилище, он еще, конечно, не «свой», но уже и не «чужой». Он в трепете. «Потусторонняя» театральная жизнь уже готова показать ему если не все, то, по крайней мере, часть своих тайн.

— Здравствуйте, дорогой автор! Что же вы не раздеваетесь... Простите — ваше имя и отчество?

Это заведующий литературной частью. Он потирает руки.

— Николай Николаевич.

— Очень хорошо. Мы вас ждем, Николай Николаевич. Лука Иванович, голубчик, помогите Николаю Николаевичу раздеться. Пожалуйста, пожалуйста. Ну-с, так.

Служитель Лука Иванович преображается. Он подсакивает к автору. Он ловко подхватывает авторову шубу и вешает ее на вешалку, среди прочих шуб «своих». Заходящий литературной частью бережно берет онемевшего автора за локоть и ведет. Они идут по пустынному фойе, под ногами толстый ковер. За плотно закрытыми дверьми стоит напряженная тишина зрительного зала. Среди этой тишины изредка слышатся громкие голоса актеров. Почти крики.

— Где читка? — спрашивает высокий, очень красивый мужчина, эластично обгоняя заведующего литературной частью.

— В управлении, — отвечает завлит.

Автор даже не подозревает, что в театре уже все знают о новой пьесе. Все заинтересованы в ней. Пьеса — это драгоценное сырье, необходимое «для производства» как воздух. Еще не зная ее, режиссеры хотят ее ставить, актеры — в ней играть, кассирши — продавать на нее билеты, художники — делать декорации. Автор в центре общих интересов.

Ну вот управление. Оно на втором этаже, рядом с верхним фойе. Сколько раз автор еще тогда, когда он был «просто зрителем», проходил мимо этой стеклянной двери с надписью «дирекция», и сколько раз он печально ду-

мал о том, что никогда в жизни, вероятно, ему не удастся переступить ее порога.

В дирекции — за плотной портьерой — несколько конторских столов, телефон, машинистка стучит на ундервуде (переписывает небось роли). На стенах — живопись: эскизы декораций, афиши последней премьеры. С какой завистью и ревностью смотрит автор на эти вещественные свидетельства чужой славы. Неужели же скоро тут будет висеть новая афиша с его именем, четко отпечатанным в правом углу, против известной всему миру квадратной марки театра?

Новая дверь. Плотная портьера.

— Пожалуйста, Николай Николаевич, сюда.

Мягкая, глухая комната. За окнами — крыши, дождь. Горит лампа. Длинный овальный стол, покрытый толстым серым сукном. Тишина. В стаканах красный чай. Из мягких кресел при появлении автора поднимаются немолдые корректные, интеллигентные люди в черных костюмах, в накрахмаленных сорочках.

— Позвольте вам представить автора.

Автор обходит вставших людей и, шаркая ногами, как гимназист, пожимает руки. Непривычный, острый крахмальный воротничок впивается автору в щеки. Автор готов провалиться сквозь землю. Перед ним — портретная галерея знаменитых, народных, заслуженных, популярных. Он узнает их всех вместе и каждого в отдельности. Они, эти люди, знакомы ему с детства по бесконечному количеству фотографий, открыток, групп... Какой ужас, если пьеса окажется мерзкой! Как стыдно будет перед этими вежливыми людьми!

— Ну-с, приступили.

Задыхаясь от волнения, автор раскрывает тетрадь и придавленным голосом, идущим из противоясственно сжатого горла, голосом, который кажется ему отвратительным, начинает читать действующих лиц.

Один из народных поправляет на курносом носу пенсне и вынимает золотые часы.

— Четверть третьего, — говорит он громко и с музыкальным звоном захлопывает крышку.

Автор читает. Стоит мертвая тишина. Великие сидят как истуканы. Ни одно чувство не выражается на их монументальных лицах. Автор кончил. За окнами смерклось.

Народный вынимает часы.

— Без двадцати пять, — говорит он бесстрастно.

— Многовато, — многозначительно замечает толстый заслуженный с лысой головой.

— Сократим, — вздыхает популярный комик.

Наступает страшная тишина. Автор сидит, и все сидит. Автор знает, что ему надо уйти. Но это выше его сил. Он должен узнать мнение ареопага. Ареопаг абсолютно и бесстрастно безмолвствует. Минута. Две. Три. Дальше — невозможно.

— Ну-с, — говорит заведующий литературной частью.

Автор встает. Все встают.

— Ну-с, Николай Николаевич, спасибо за доставленное удовольствие. Разрешите вам позвонить завтра, часиков в одиннадцать утра.

— Спасибо за доставленное удовольствие, — говорят миститые по очереди, бесстрастно пожимая руку автору. — Спасибо за доставленное удовольствие. Спасибо за доставленное удовольствие.

Автор не спит ночь. Утром — звонок. Завлит назначает новую читку, более расширенному кругу актеров, почти всей труппе. Значит, пьеса «старикам» понравилась. Еще одно испытание. Это уже не так страшно.

На сей раз читка днем, в будний день, в верхнем фойе. И снова театр показывает на мгновение автору несколько своих тайн. Оказывается, в будни днем фойе загораживаются особыми щитами, превращаются в залы и там происходит репетиция. Оттуда доносятся звуки рояля, голоса, пение. Между тем как на дверях, ведущих в зритель-

ный зал, висят большие плакаты: «Репетиция началась, входить нельзя».

Театр живет своей сумрачной, будничной жизнью. В буфете, где во время вечерних спектаклей ярко горят матовые кубические фонари модерн, сверкают скатерти, морс воспаляет жажду и бутерброды с чайной колбасой кажутся вдвое аппетитнее домашних, — там теперь столы обнажены, на стойке кипит вокзальный самовар, в сумерках зимнего дня курят актеры, отдыхающие между двумя «своими» сценами, пьют чай актрисы постарше и едят пирожные актрисы помоложе. Откуда-то сверху долетают звуки хора — урок пения.

Вообще выясняется, что в театре, кроме фойе и зрительного зала, еще есть масса всяких комнат, углов, закулков, залов. Есть макетная, костюмерная, репертуарная комната, режиссерское управление, бутафорская и еще великое множество иных прочих. Но автору их не показывают. Может быть, впоследствии, когда его пьесу примут, когда он станет вполне «своим».

Молодежь принимает пьесу лучше, чем старики. Более несдержанно. Иногда чтение прерывает дружный смех. Иногда вдруг раздается мечтательное восклицание режиссера, подпирающего курчавую голову кулаком:

— Ах, как тут можно здорово сделать на черном бархате! Черт-те что!

Черный бархат! Что это такое? Ничего не понятно!

Опять тайна.

Но и после этой читки автору еще не дают немедленного ответа. Лишь на другой день утром его будит телефонный звонок.

— Это Николай Николаевич?.. С вами говорит Гавриил Осипович. Режиссер театра. Ваша пьеса принята к постановке и поручена мне. Надо с вами повидаться.

Ура, слава в кармане! Но радоваться рано. Именно тут-то и начинается настоящее хождение автора по мукам.

Мука номер первый — встреча с режиссером.

Режиссером оказывается тот самый курчавый энтузиаст, который давеча воскликнул насчет черного бархата. Его огненные глаза устремлены вдаль. Он ерошит шелюру и ходит по комнате взад и вперед перед автором.

— Я влюблен в вашу пьесу, Николай Николаевич! Честное слово, просто влюблен, да и только. Это — поэма. Симфония, богатейший материал для постановки. Вы не думаете? О, не скромничайте! Мы из вашей пьесы конфетку сделаем. У вас там сколько картин? Четырнадцать, кажется? Так будет — семь! Но вы не беспокойтесь. Пятая картина у нас пойдет первой, вторую, третью, четвертую картины мы выбрасываем, десятую соединяем с четырнадцатую...

— Позвольте, но у меня так задумано, что в первой картине...

— Это ничего, что задумано. Это даже очень хорошо, что задумано. Но, знаете ли, законы сцены...

Автор с ужасом видит, как режиссерский карандаш со свистом гуляет по тексту, вырывая лучшие (по мнению автора) сцены. Он пытается протестовать, но напрасно. Режиссер с жаром говорит ему о законах театра, о принципах сценического времени. Совершенно ясно, что если спектакль начинается в половине восьмого, то кончиться он обязан никак не позже половины двенадцатого, то есть должен продолжаться вместе с антрактом четыре часа. Что же делать, если пьесу неопытный автор написал на два часа длиннее положенной нормы? Не может спектакль продолжаться до половины второго! Публика будет бояться опоздать на трамвай и обязательно убежит, не дожидаясь конца.

Автор сражен режиссерскими доводами.

— Скажите, — робко замечает он, — вот вы давеча говорили насчет черного бархата... Что это такое?

— Черный бархат-то?

Режиссер загорается внутренним огнем и, раскаленный, начинает сиять, как звезда.

— Черный бархат — это замечательный декоративный прием. По всему, знаете, рундгоризонту протягива-

ют черный бархат. От этого сцена делается беспредельно глубокой. И я как раз имею в виду во второй картине опустить с колосников лампочки, взять их на реостаты, и вы сами понимаете, можно достигнуть совершенно изумительного эффекта ночного города.

— Да, но у меня во второй картине нет города.

— Это ничего. Он будет. Мы его создадим! Можете быть на этот счет совершенно спокойны. Я прямо-таки влюблен в вашу пьесу... Так что с этой стороны все в порядке...

После этого режиссер на три дня уезжает на дачу писать постановочный план.

Мука номер второй: распределение ролей. Режиссер звонит по телефону:

— Ну, дорогой Николай Николаевич, поздравляю вас: вчера мы распределили роли. Значит, таким образом: Ахтырцева будет играть заслуженный артист Ермаков, его жену — заслуженная артистка Тетина, затем им...

— Позвольте. Извините, я вас перебыю. Но ведь Ермаков маленький, толстенький добряк, а у меня Ахтырцев сухой, высокий, надменный старик с романтической окраской, этаким Дон-Кихот, который...

— Простите, Николай Николаевич, я влюблен в вашу пьесу вообще и в образ Ахтырцева в частности. Так что с этой стороны все как будто в порядке. Так-с. А что касается того, что Ахтырцев Дон-Кихот, то я думаю — он, скорее, Санчо Панса. Вы меня понимаете? И, между нами говоря, Ермаков замечательный комик...

— Но у меня роль Ахтырцева глубоко трагическая.

— Ну да, ну да, вот именно. Она глубоко трагическая по существу, а следовательно, в театре она должна звучать почти комедийно. Я влюблен в ваш талант, но вы еще не знаете законов сцены... Ну-с, так. Значит, дальше: роль их дочери Машеньки будет играть одна из наших замечательнейших актрис — вы, наверное, о ней слышали — Сергейчикова.

— О да, я слышал о Сергейчиковой. Это очень хоро-







Сотрудники газеты «Гудок» в столовой ВЦСПС.  
Москва, 1927 год.

*Слева направо: М. Файнзильберг (художник, брат Ильфа),  
Вера Калашникова, Сергей Расторгуев, Юрий Олеша,  
Евгений Петров, Валентин Катаев, Ефим Зозуля;  
стоит Н. В. Кузьмин*



Валентин Катаев (слева) и Демьян Бедный (в центре) на собрании колхозников во время поездки по стране в 1929 году

*И. Ильф  
с Ильфом  
и Петровым  
№ 1-12 1928*

ИЛЬЯ ИЛЬФ и ЕВГ. ПЕТРОВ

## ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ

РОМАН

ПОСВЯЩАЕТСЯ  
ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВИЧУ  
КАТАЕВУ

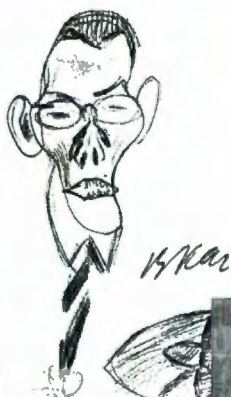
«ЗЕМЛЯ И ФАБРИКА»  
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД

Первое книжное издание романа «Двенадцать стульев» (1928 г.) с посвящением Валентину Петровичу Катаеву, подсказавшему авторам идею романа:

«Поиски бриллиантов, спрятанных в одном из двенадцати стульев, разбросанных революцией по стране, давало, по моим соображениям, возможность нарисовать сатирическую галерею современных типов времен нэпа» (Валентин Катаев).







Дружеские шаржи Валентина Катаева на Илью Ильфа.

На рисунке  
справа  
под подписью  
В. Катаева  
еще и приписка  
Евгения Петрова:  
«Это — Ильф.  
Один из Сов.  
Гонимых»



Посланный Оксфорд.  
- Скажи, Ка, как же с автором  
12 стрелов?  
- Не А-а! А-а! ... Вперевороте!

В 1923 году Катаев не приехал из Одессы, а ворвался в Москву, за несколько лет не только завоевав столицу, но и всю читающую и театральную публику страны.



Финальная сцена спектакля Московского Художественного театра, поставленного по повести В. П. Катаева «Растратчики», 1927 г.

В день похорон Маяковского. 18 апреля 1930 года



Валентин Катаев, Михаил Булгаков, Юрий Олеша



Михаил Файнзильберг, Евгений Петров, Валентин Катаев, Серафима Суок-Нарбут, Юрий Олеша, Иосиф Уткин.

Оба этих снимка сделаны Ильей Ильфом

# Катаев в рисунках веселых художников

Шарж  
Кукрыниксов



Шарж  
И. Игина

Шарж  
Н. Лисогорского





шая актриса. Но дело в том, что у меня в пьесе нет дочери Ахтырцева Машеньки, а есть сын Ахтырцева Николай.

— Ну да, ну да. Вот именно. Поэтому мы и придумали такой трюк — вместо молодого человека обаятельная молоденькая девушка. Я ведь окончательно влюблен в вашу пьесу вообще, а в образ Машеньки в частности.

— Да, но Машеньки нет...

— Это ничего. Она будет. Мы ее создадим... Ну а что касается остальных, то состав первоклассный. Ну, пока.

Автор начинает мало есть и плохо спать. Под утро ему обычно снятся «реостаты», «черный бархат» и прочие малопонятные, но тревожно манящие вещи.

Мука номер третий: разговор с художником.

— Здравствуйте, Николай Николаевич. Позвольте с вами познакомиться. Альфред Павлинов. Художник вашего спектакля. Я только что подписал договор с дирекцией. Я прямо-таки влюблен в вашу пьесу. Это — поэма. Даже, скорее, не поэма, а такой, понимаете, трагифарс. Его именно и нужно оформить в таком монументально-синтетическом стиле. Вы мой макет к «Царю Эдипу» видели?.. Так вот, будет нечто вроде, но только, конечно, более насыщенно. Особенно меня интересует трехмерное разрешение железнодорожного пейзажа. Дерево и свет, и больше ничего, может быть — прожектора. Вам улыбается такая перспектива?

— Перспектива улыбается. Мерси. Но только у меня, извините, в пьесе нет железнодорожного пейзажа.

— Нет? Разве? А мне показалось, что в восьмой картине есть. Но это не важно. Я уже вам сказал, что буквально влюблен в ваш шедевр. Так что железнодорожный пейзаж будет. В крайнем случае вы припишете там несколько подходящих слов. Ну, пока. Через месяца два позову вас посмотреть макет...

— Как? Через два месяца? Так не скоро?.. Алло! Алло! Повесил трубку... Ужасно...

Мука номер четвертый: ожидание начала репетиций.

Мука номер пятый: ожидание разрешения главрепертко-

ма. Мука номер шестой: звонки знакомых. Это даже не мука, а просто пытка, египетская казнь.

— Здравствуйте, Николай Николаевич. Это говорит Вася. Ну как?

— Что как?

— Скоро будем вас вызывать?

— Не знаю.

— Вы же контрамарочку смотрите не забудьте. Только чтоб не дальше пятого ряда, а то Сонечка плохо слышит.

— Хорошо, не забуду.

— Так заметано?

— Заметано!

— Гы-гы! Теперь вы знамениты, с вами страшно на улице раскланиваться — еще, чего доброго, не ответите.

— Отвечу.

— Ну, всего.

— Всего.

— До премьеры. Пока. Кстати, говорят, что для писателя проза — это честная жена, а театр — богатая любовница. Хи-хи! Ну, пока.

— Пока.

— Да, кстати! Мне один знакомый, иваново-вознесенский актер, говорил, что в этом сезоне ваша пьеса не пойдет.

— Нет, пойдет.

— Пойдет? А мне говорили, что не пойдет. Гы-гы! Переделок много. Ну, пока.

— Пока.

И так по тридцать звонков в день. Кошмар!

Наконец разрешение главреперткома получено.

Начинаются муки репетиций. Репетируют мучительно долго. Идя на первую репетицию, автор воображает, что репетировать будут сразу же на сцене. Однако до сцены еще да-а-ле-ко. В одном из самых захудалых закоулков театра стоит стол, за столом сидят актеры с тетрадками в руках и читают под руководством режиссера пьесу. Ничего интересного. Похоже на изучение иностранных

языков по системе Берлица. Так проходит месяц и два, пока репетиции не переносят в другое помещение — в фойе, где актеры уже начинают ходить и более или менее «играть».

Между тем где-то в недрах театра художник «клеит макет». В один прекрасный день автора вызывают в театр посмотреть работу художника. Спотыкаясь, автор поднимается и опускается по каким-то узеньким лестничкам, кружит в лабиринте коридорчиков и переходов, о существовании которых в театре до сих пор и не подозревал. Наконец его вводят в комнату, похожую на столярную мастерскую. На ящике сидит режиссер и мечтательно смотрит в угол. В углу стоит художник и, жестикулируя, говорит:

— Уверяю вас, что второй антракт совершенно свободно можно сократить до пятнадцати минут. Трудная монтажёрка? Ничего подобного. Иван Иванович берется всю перемену механизировать.

— Да, но куда вы денете дом? Он же не поместится. Там кирпичная стена мешает.

— При чем здесь стена, если мы убираем дом под колосники? Пожалуйста, взгляните.

Режиссер, ероша волосы, бросается к художнику, и оба они долго и сосредоточенно смотрят на макет. Это очаровательная игрушка, прекрасно сделанная, подробная модель сцены с вращающимся кругом, колосниками, кулисами и всем прочим размером аршина полтора в длину, ширину и высоту. Автор заглядывает через плечо режиссера и художника. Он восхищен. На маленькой сцене устроены маленькие декорации. Горят крошечные электрические лампочки. Глиняные человечки расставлены на вращающемся диске пола.

У окна макетной два помощника художника в синих халатах строгают, пилят, клеят, красят и вырезают из киртона детали макетных декораций.

— Я прямо влюблен в вашу пьесу, — застенчиво говорит один из них автору. — Постановка будет что надо. Пусть где развернуться. А третий акт пойдет определенно

на аплодисменты. Во всю высоту сцены будут стоять восемнадцать зеркал. Красота.

— Но у меня в пьесе нет зеркал.

— Это ничего. У нас будут. Определенно на аплодисменты.

А где-то рядом стучат швейные машины. Это шьют костюмы по специальным эскизам. Иногда дверь в швейную мастерскую открывается, и тогда видны горы цветистых тканей, обрезки холста и фигуры мастериц, которые, сжимая в губах пучки булавок, ползают у ног пришедшей на примерку актрисы.

Проходит еще несколько месяцев. Время премьеры грозно приближается. Уже автор в театре — «свой» человек. Уже все знают его имя-отчество, и он знает имя-отчество всех. Его беспрепятственно пускают всюду. Он мыкается по фойе, по лестницам, по закоулкам.

Репетиции перенесены на сцену. Это значит, что премьеры на носу. Автор входит по наклонному полу в темный зрительный зал. Он садится рядом с режиссером за столик, на котором горит маленькая электрическая лампочка в оранжевой юбочке. Это его почетное право. Начинается очередная сцена. Актеры еще не одеты и не загримированы. Еще нет декораций. Вместо декораций специальные условные «выгородки».

Перед режиссером лист чистой бумаги, на котором он быстро записывает все свои замечания:

«Ермаков — слишком медленно. Соснова — ничего не слышно. Никольский закрывает спиной Машеньку, убрать стол. Чересчур рано музыка. Надо после слов: «вы мне снились» — паузу».

Или что-нибудь в этом роде.

Автор уже привык к актерам. Ему уже ничуть не странно, что Ахтырцев не Дон-Кихот, а Санчо Панса и что у него не сын Николай, а дочь Машенька. Его образы отступили перед натисками актерского мастерства, более убедительного, чем его собственная фантазия.

Помощник режиссера мечется по театру со специальной книгой репетиций, куда записывает все, что поста-

новочная часть должна приготовить для спектакля. Все — до самой последней мелочи.

Тем временем во дворе слышится шум мотора. Там — декорационные мастерские. Электрическая пила режет дерево. Летят стружки. Строятся декорации. Из папьемаше делается бутафория. Художники красят громадными кистями уже выстроенные детали — шкафы, дома, деревья, вагоны.

В люках сцены орудуют электротехник и осветитель. Там — сложнейшие распределительные щиты, реостаты, рубильники. Заведующий сценой сидит возле металлического прибора, похожего на кассовый аппарат «Националь», и передвигает рычажки, множество которых торчит из прибора.

Нажмет один — загорятся синие лампочки. Нажмет другой — красные. Третий — свет гаснет. Четвертый — испыхивает справа вверх. Пятый — слева вниз. Вся осветительная аппаратура у него в руках.

Капельмейстер рассаживает свой оркестр под полом сцены. Гремят пюпитры. Заведующий шумами и звуками носится с какими-то колоколами, баллонами сгущенного газа, свистками, трещотками, при помощи которых будет производить звук идущего дождя, шипящего паровоза, цоканья конских копыт, гром трамваев, свист ветра...

Парикмахер в белом халате красит и расчесывает на болванках парики.

Вся громадная машина театрального производства приведена в движение. Теперь премьера неотвратима.

Готовые декорации, поднятые на невидимых, бесшумных лебедках, скользят в воздухе через сцену. Пробуют свет прожектора. Актеры выходят в гримах и костюмах к рампе. Режиссер командует:

— Подрезать слегка бороду. Больше румянца. Немного седины в виски. Мягче подбородок.

Рабочие втаскивают мебель.

Автор опять перестает узнавать своих персонажей. Они страшно новы и мучительны в своей новизне.

Администратор посылает в типографию афишу.

Наконец — премьера.

Автор сидит в шестом ряду. Он страстно сжимает локоть режиссера. Публика приятно волнуется. Премьера! Свет медленно гаснет. Загорается рампа. Все кончено. Идет занавес.

1929

### «Мы вышли в сад...»

— Вот, прошу убедиться.

Жена ахнула и всплеснула руками.

— Она?

— Она самая.

— Не может быть..

— Факт.

Жена даже слегка побледнела от счастья и неожиданности.

— И пластинки?

— И пластинки. Двадцать штук. Факт.

С этими словами товарищ Рязанцев осторожно развернул газету, и глазам восхищенной жены предстала совершенно новенькая, ослепительная, долгожданная виктрола производства завода «Граммофон» № 12536.

— Двести семьдесят рубликов. Как одна копейка. Три месяца собирал.

После обеда пришли друзья и соседи.

Товарищ Рязанцев произнес краткое вступительное слово:

— Значит, такое дело. Приобрел, братцы, виктролу. Вот это — виктрола. Прошу руками не лапать. Интересное изобретение. Играет. И, само собой, пластинки. Как говорится, культурно-бытовое обслуживание трудящихся и прочее. Предлагаю приступить к наслаждению музыкой. Никто не возражает?

— Чего же возражать!

— Валяй! Валяй!

— Что завести?

— Заведи какой-нибудь романс, — нежно попросила жена.

— Можно и романс, ничего не имею. Вот, например, интересный романс «Мы вышли в сад...».

— Валяй «Мы вышли в сад...», — сказали завистливо гости.

Товарищ Рязанцев поставил пластинку и бережно передвинул рычажок. Пластинка завертелась, чарующие звуки рояля наполнили комнату.

Друзья и соседи затаили дыхание.

И вдруг из этих мелодичных и звонких звуков возник прелестный, мягкий, бархатный баритон, который неторопливо начал глубоко волнующее повествование:

Мы вышли в сад... Вечерняя прохлада... Уже...

Тут в середине виктролы что-то зашипело и выстрелило. Пластинка остановилась.

— Ах ты черт, на самом интересном месте! — воскликнули гости.

— Ничего, — сказал товарищ Рязанцев, — сейчас я все это устрою.

Он быстро разобрал виктролу и сунул в нее нос.

— Пружина лопнула, — огорченно вздохнул он.

— Перекрутил, — с досадой сказала жена. — Медведь!

— Ничего, — сконфуженно забормотал Рязанцев, — мы ее сейчас... это самое... склепаем... Приходите завтра. Завтра дослушаете.

— Ну, — сказал на другой день Рязанцев, — склепал. Теперь уже не лопнет.

— Осторожно заводи! — простонала жена.

— Не беспокойся. Не сломаю. Ну-с, дорогие товарищи, прошу соблюдать тишину и поменьше курить. Пускаю.

Снова чарующие звуки вступления наполнили комнату, и снова мягкий, бархатный баритон начал волнующую повесть:

Мы вышли в сад... Вечерняя прохлада... Уже...

— Крррак, — выстрелило в середине виктролы, и пластинка остановилась.

— А, будь ты трижды неладна!

Расстроенный Рязанцев, стараясь не смотреть на жену, быстро разобрал машину и огорченно покрутил головой:

— Пружина лопнула.

— Называется, склепал! — насмешливо заметил один из гостей.

— Да нет, где я склепал, там держится. Будьте уверены. В новом месте лопнула. Придется снова клепать. Приходите завтра.

— Интересно все-таки узнать, что «уже»?

— Чего «уже»?

— Вечерняя, я говорю, прохлады уже... Интересно все-таки узнать, что там дальше произошло с вечерней прохладой. Ну, «Мы вышли в сад... Вечерняя прохлада... Уже...». А что «уже» — неизвестно. Даже как-то обидно.

— Завтра приходи. Завтра я ее склепаю, тогда уже обязательно выясним, что «уже». Спокойной ночи.

На другой день бархатный баритон вкрадчиво начал:

Мы вышли в сад...

Гости затаили дыхание.

...Вечерняя прохлада... Уже...

Кр-р-р-ак!

— А, чтоб ты сдохла! Опять лопнула. На новом месте.

— Товарищи! Это неблагородно. Позвал людей в гости, а что «уже» — никто не знает. Мы желаем узнать, что «уже».

— Не смотрели б на тебя мои глаза! — с отвращением сказала жена. — Вышла замуж черт знает за кого! Чем всякие виктролы покупать, перед людьми позориться, лучше бы купить на эти деньги масла, что ли. А то: «Мы вышли в сад, вечерняя прохлада... Уже...» А что «уже» — неизвестно. Хоть в глаза людям не смотри.

И она заплакала.



Через три дня бархатный баритон опять вкрадчиво начал:

Мы вышли в сад... Вечерняя прохлада... Уже...

Кр-р-р-р-р-ак!

— Так-к-к-к я и знал! — простонал Рязанцев, хватаясь за голову.

Гости злорадно захихикали.

— Изверг! — закричала жена истерическим голосом. — Сил моих больше нету. Ухожу от тебя, окаянного, к папе и маме! Не могу жить с постылым!

И она стала нервно укладываться.

Товарищ Рязанцев поник головой.

Поздней ночью он писал треугольнику производственного кооператива «Граммфон» горькое послание.

Писал он, между прочим, следующее:

«...А также посылаю 15 рублей задатка и прошу вас убедительно, дорогие товарищи, пошлите мне хорошую дружку, чтобы я хоть проиграл все 20 пластинок, чтобы жена мне шею не пилила, чтобы товарищи не смеялись и чтобы оправдать 270 рублей. Сделайте милость, пошлите то, что я прошу. Кроме вас, где я могу ее достать? Ведь жалко же напрасно деньги гробить...»

И крупные слезы капали из его покрасневших глаз на лист серой бумаги.

Мы вышли в сад... Вечерняя прохлада... Уже...

Кр-р-ак!

Эй, вы, дорогой товарищ треугольник производственного кооператива «Граммфон»! Черт вас побери!

Не мучьте человека!

Что «прохлада»? Что «уже»?

Этот вопрос с «прохладой» наконец должен быть выяснен в ту или другую сторону. Надо же наконец дать четкий, исчерпывающий ответ:

— Что «уже»?

## «На голом месте...»

«Полтора года назад тут еще было абсолютно голое место...»

Именно такими словами начинаются почти все очерки о Магнитогорске. Когда я уезжал из Магнитогорска, мои магнитогорские друзья сухо предупредили меня на вокзале:

— Имей в виду. Напишешь: «Полтора года назад тут еще было абсолютно голое место» — и твоя карьера как писателя и человека безвозвратно погибла.

— Ладно. Не погибну, — сказал я друзьям, и поезд тронулся.

Кстати, о магнитогорском вокзале.

Полтора года назад на месте магнитогорского вокзала было еще абсолютно голое ме...

Извиняюсь!..

Голого места не было. И полтора года назад не было. Вообще ничего не было.

Магнитогорский вокзал при всем моем глубоком уважении к советскому транспорту не может быть отнесен к чудесам строительной техники.

Нельзя сказать, чтобы он мог успешно конкурировать по красоте и великолепию с лучшими мировыми вокзалами. Больше того. Даже скромный кунцевский вокзал в сравнении с магнитогорским может показаться шедевром вокзальной архитектуры.

Магнитогорский вокзал представляет собой три вышедших из употребления железнодорожных вагона, уютно разукрашенных соответствующими надписями.

Но не в этом ли его прелесть?

Он как бы является скромным символом общего строительного движения. Вокзал, дескать, и тот на колесах.

Между прочим, про магнитогорский вокзал комсомольцы сложили такую частушку:

В наших транспортных вопросах  
Есть один большой вопрос.  
Наш вокзальчик — на колесах,  
Только транспорт... без колес.

Полтора года назад...

Виноват!

Не полтора года назад, а двенадцать часов назад! Таковы магнитогорские темпы.

Картинка.

Раннее утро Первого мая. Просыпаюсь в номере гостиницы (полтора года назад на месте гостиницы было абсолютно го... Ох, извиняюсь!...). Мой товарищ по номеру, магнитогорский старожил, стоит перед широким итальянским окном и пожимает плечами. Чем удивлен мой товарищ? В окно виден широкий строительный пейзаж. Эскаваторы. Тепляки. Фундаменты. Подъемные краны.

— Н-ни ч-черта не понимаю... Гм... Хотя зарежь...

— Да в чем дело?

— Как это в чем дело? Видите?

— Пейзаж вижу.

— Пейзаж... Гм... А посреди пейзажа?

— А посреди пейзажа — большая труба.

— Большая труба?

— Ну да. Большая труба. А что?

— А ничего. Поздравляю вас! Мы оба сошли с ума и галлюцинируем. Здесь не может быть трубы. Вчера здесь ее не было.

— И тем не менее труба. Большая железная труба. Выжиной в два порядочных дома.

— Позвольте... Ведь сегодня Первое мая. Понимаю, понимаю! Это — первомайские штучки. Макет трубы. Не иначе. Уф! Гора с плеч!

Но каково же наше удивление, когда оказывается, что труба не первомайский макет, а действительная, всамделишная, настоящая труба.

Ее поставили в ударном штурмовом порядке в течение одной ночи.

— Испортили пейзаж, черти, — печально бормочет мой товарищ. — Вчера я его снимал, а сегодня снимок устарел. Никак за темпами не утонишься!

Однако эпизод с трубой — мелочь.

История с озером куда грандиознее.

В двух словах. Была крошечная речка. Курица вброд проходила. А для доменных печей необходимо воды примерно вдвое больше, чем для всей Москвы. Где же взять? В ударном порядке в 73 дня перегородили речку километровой плотиной и сделали «озеро площадью в 15 квадратных километров».

Пришли кулаки из соседней станицы, посмотрели — где речка? Нет речки!

— Караул! Большевики последнюю речку у людей украл! Ограбили!

— А озеро вас не устраивает? — спросили комсомольцы и дружно запели:

Нету речки — и отлично!  
Вот где наши козыри;  
Не в ручье единоличном,  
А в коллективном озере.

Теперь насчет магнитогорской кооперации.

Еще полтора года назад на месте магнитогорской кооперации было абсолютно голое мес...

Ах, черт! Виноват. Ну, действительно было голое место. Собственно, и сейчас гол...

Опять!.. Я извиняюсь. Место не было голое. И сейчас не голое... Наоборот, магнитогорская кооперация работает мощными толчками, так сказать, периодами.

Был, например, недавно так называемый апельсиновый период. Магнитогорск задыхался от обилия апельсинов. Магнитогорск был превращен в Сорренто. А кооперация все крыла и крыла апельсинами, пока местное население не взмолилось:

— Довольно!

И апельсиновый шквал утих так же внезапно, как и начался.

Но зато начались так называемые икорные заносы. Паюсную икру ели все. Даже местные тихие, маленькие, похожие на мышей лошадки с отвращением отворачивались от соблазнительного деликатеса.

Население снова взмолилось:

— Довольно икры!

И икра схлынула. Но зато начался буран кофе-мокко. И так далее.

Сейчас в Магнитогорске 85 000 человек.

А полтора года назад здесь было голое место.

Да, да! Опять! Именно голое место.

Было голое место, а теперь — город.

Пусть я погибну как писатель и человек, но факт.

На голом месте большевики строят мировой гигант.

И построят. Будьте уверены!

1931

## Париж — Вена — Берлин

*(Из заграничных впечатлений 1931 года)*

### I

Съездил на несколько дней в Вену. Впечатление — ужасающее.

Трудно себе представить, что сделали Версальский мир и кризис с этим классическим городом шика и веселья.

Город — тень. Город — труп. Город — абстракция.

Обескровленный, раздавленный, измученный Берлин по сравнению с Веной — Вавилон.

Германия умирает. Австрия умерла давно. Умерла, мысохла, выветрилась.

Жизнь в Вене продолжается как бы по инерции. Продолжается ходить трамваям. Ходят. Полагается ездить ав-

томобилям. Ездят. Полагается, чтобы были магазины. Есть магазины. Больше того. Всякому уважающему себя европейскому городу полагается иметь правила уличного движения. И Вене тоже. Имеет правила уличного движения. Даже весьма оригинальные правила, вроде как в Лондоне: движение по левой стороне.

Но кому все это нужно — совершенно непонятно.

Трамваи ходят хоть и по левой стороне, но почти пустые. Автомобилей — кот наплакал. Старомодные, громающиеся довоенные машины, похожие на тюремные кареты. Само собой — пустые. Магазины тоже пустые.

На некоторых улицах за вами бегут толпы приказчиков и буквально за полы тащат в свои магазины. Раздирают на части. Грызутся из-за вас, как стая голодных собак из-за кости.

Днем народу не много. После десяти вечера — абсолютная пустота. Мистическая пустота. Даже страшно делается.

Одеты люди в Вене ужасно. Не верится, что это почти в центре Европы.

Ботинки нечищенные, латанные-перелатанные.

Пальто в большинстве случаев — травянисто-зеленые, военного сукна и альпийского покроя. Как видно, еще с войны остались на складах, теперь пустили в массы по дешевке. Надо же людям что-нибудь носить.

Шляпы! Элегантные фетровые венские шляпы — вылинявшие, выгоревшие, с рыжими лентами, повисшими краями.

Видно, что люди донашивают последнее, а что дальше — неизвестно. Мрак.

И главное — никакого выхода.

Я спросил одного венца, бывшего лейтенанта, филолога, культурнейшего человека:

— На что же вы надеетесь?

Он низко опустил круглую, коротко остриженную, преждевременно поседевшую голову. Его спина стала

еще горбатее. Воротник дешевенького серенького люстринового пиджачка полез ему на затылок.

Он посмотрел на меня прозрачными, как бы пустыми голубоватыми глазами с красными жилками.

— На что мы надеемся?..

Подумал. Обреченно улыбнулся.

— Знаете, наше положение можно охарактеризовать одной фразой: надежда на чудо. Да. Надежда на чудо. Нас может спасти только чудо.

С точки зрения буржуа, пожалуй, он и прав.

Надежда на чудо.

Лучше не придумашь. А действительно — на что еще могут надеяться буржуа в том тупике, в той мышеловке, куда загнал Европу смертельно раненный, взбесившийся капитализм?

---

Гулял по окраинам Вены.

Большинство фабрик и заводов закрыто. Стекла выбиты. Трубы не дымятся. На пустырях буйно растет бурьян. Оборванные мальчишки играют тряпичным мячом в футбол.

А погода, как нарочно, ангельская. Яснейшая, фарфоровейшая голубизна. Холодное, блестящее солнце. Бурьян в мельхиоровой испарине заморозка.

Рабочая пивнушка.

Заходим перекусить. Выбирать долго не приходится. Меню скромное: пара сосисок и крошечный хлебец.

Пусто.

В углу несколько безработных играют в карты. Хозяин в чистом нищенском переднике стоит за почти пустым прилавком.

И во всю стену лубочное панно-фреска следующего содержания: громадный обильный стол; на столе — горы закусок; закуски дымятся; за столом сидят две группы: справа — brave австрияки в тирольских зеленых фетровых шляпах — с фазаньими перьями (признак фашиста);

слева — brave австрияки в кожаных фартуках с мускулистыми руками, по всем признакам идеальные рабочие, социал-демократы.

И вокруг этой идиллической группы вьется лента, испещренная готическими буквами стихотворного лозунга:

Пей вволю,  
Будешь толстый,  
Только не говори  
О политике.

Мне так понравился этот перл социал-демократического агитпропа, что я его с удовольствием вписал в свою записную книжку.

Какое блестящее сочинение: на фоне мертвого, ограбленного, растоптанного рабочего предместья милые, игривые стишки: «Только не говори о политике».

Если австрийской буржуазии остается лишь надеяться на чудо, то я думаю, что австрийский рабочий класс изберет себе более практическую тактику.

Он перестанет надеяться на чудо и, вопреки сладеньким соглашательским лозунгам, заговорит о политике.

И, надо полагать, этот разговор будет довольно-таки крупным: с классу на класс.

Видел коммунальные рабочие дома. Так сказать, местное жилстроительство.

Дома хорошие. Красивые. В новом стиле. Их довольно много. В окошках вазончики, кактусики. Разбиты садики. Цветники. Мраморные доски с датами постройки.

Венская социал-демократия очень гордится этими рабочими домами. Охотно их показывает туристам:

— Видите, как мы заботимся о своих рабочих!

К сожалению, только умалчивают, что в этих «рабочих» домах уютненько устроились исключительно социалистические лидеры, профбюрократы, чиновники, а подлинными рабочими даже и не пахнет.

Подлинные рабочие живут по-прежнему в грязных, сырых нищенских углах, отданные на съедение домовладельцам.



А тем временем роскошное жилстроительство пышно продолжается. На рабочие денежки возникают новые «рабочие», вполне комфортабельные дома.

Надо полагать, когда последний венский профбюрократ будет вселен в последний дом вместе со своей женой, детишками, патефоном, канарейкой и полным собранием сочинений Каутского — вышеупомянутое жилищное кооперативное строительство будет благополучно закончено. И настанет «социальный рай».

Был интересный разговор с одним крупным венским издателем.

Разумеется, жаловался на кризис. Надеялся на чудо как полагается. Принесли жидкий чай с сухариками.

Расспрашивал об издательском деле в СССР. Проявил солидное знакомство с нашими издательствами. Прекрасно знает, что такое Госиздат и какое отношение имеет к нему ГИХЛ и так далее.

Выражал завистливое восхищение по поводу того, что в СССР книга является предметом самого широкого погребения и даже в некотором роде дефицитным товаром.

Расспрашивал насчет тиражей. Я назвал ему несколько весьма скромных цифр. Эти скромные, с нашей точки зрения, цифры произвели на него оглушительное впечатление.

— Послушайте, — сказал он. — Вы знаете, мы ничего не имели бы против того, чтобы войти в ваше Государственное издательство на правах автономной единицы.

— Но разница политических убеждений... — корректно намекнул я.

Издатель печально улыбнулся.

— Да, конечно... Политические убеждения... Но зато какие тиражи!..

Разумеется, разговор был шутлив. Но нет такой шутки, в которой не было бы капельки истины.

Специально пошел в прославленную венскую оперетту посмотреть модную и сильно нашумевшую вещичку — «Белой лошадке».

Насилу высидел.

Нет, право, это не для нас. Слишком тяжеловесно, пресно, безыдейно, глупо. Мы отвыкли от этого.

Впрочем, понравилась одна шутка:

— Скажите, сколько времени, по-вашему, идет человеческая просьба с земли до бога и обратно?.. А я знаю. Семнадцать лет.

— Почему?

— Потому что в четырнадцатом году все немцы просили бога: «Боже, покарай Англию!» И ровно через семнадцать лет он ее покарал.

Это было как раз в момент падения английского фунта.

Зал разразился печальным хохотом. В доме повешенного — о веревке.

## II

Пять лет назад ехал из Берлина в Милан на Мюнхен. Пересекали самую индустриальную часть Германии. Зрелище потрясло.

Громаднейшие корпуса. Бесчисленные клетки освещенных окон. Багровые дымы. Пирамиды угля. Из рельсопрокатных хлестало ракетами.

Ехали в этом пейзаже часами.

Сейчас совершил пробог Берлин — Париж. Через Бельгию. Шутка сказать — Бельгия! Классическая страна тяжелой промышленности. С детства слышал о Бельгии. В слове «Бельгия» лязгала сталь.

Прилип к окну. Боюсь чего-нибудь пропустить.

И вот она, Бельгия...

Ни́какого впечатления. Ну, корпуса. Ну, домны. Ну, уголь. Нормальный, не слишком ошеломительный горнозавод, синий пейзаж.

Странно!

В чем дело? Мир изменился? Нет. Изменились мы. Изменился СССР.

За эти пять лет на моих глазах возникли Днепрострой, Сталинградский тракторный, Ростовский сельмаш.

Магнитогорск... Привык к их масштабам. Считал их совершенно естественными — других и не видел.

Чем же может меня теперь поразить Бельгия?

Смотрю на бельгийский индустриальный пейзаж с таким же чувством, как игрок в шахматы, привыкший к большой доске и большим фигурам, смотрит на расставленную партию маленьких дорожных шахмат.

Маленькие клеточки. Маленькие слоники. Крошечные пешки. Тесно, незнакомо, мелко...

Это вам не Магнитогорск...

Живу в Париже. Присматриваюсь.

Говорили, что здесь кризис не чувствуется. Неверно! Ложь!

Париж держится тверже Берлина. Это так. Но признаки кризиса налицо. То там, то здесь появляются его являющие пятна.

Кризис всюду начинается одинаково. С двух противоположных концов. Во-первых, катастрофически растет безработица. Во-вторых, сокращается потребление предметов роскоши.

Оба эти первичных признака неопровержимы.

Безработица. Она растет с каждым днем. Еще год тому назад считалось, что во Франции нет совершенно безработных. Во всяком случае, эта версия поддерживалась правительством. Это был один из наиболее эффектных козырей.

Теперь ни для кого не тайна, что безработных во Франции, во всяком случае, уже больше миллиона. Цифра для Франции небывалая. И эта цифра неуклонно растет.

В связи с безработицей — нищенство, грабежи, убийства, самоубийства, бытовые трагедии.

О них ежедневно кричит парижская пресса, падкая до всяких криминальных сенсаций. Однако бульварные листки уже начинают понимать, что это один из многих признаков безработицы, а следовательно, и надвигающегося кризиса.

С другой стороны, сокращение потребления предметов роскоши.

Я встречался со многими очень известными французскими художниками. Во Франции художники, конечно, работают на определенного классового потребителя. Главным образом — крупного буржуа, капиталиста, фабриканта, банкира.

Художники воют. Картины перестали покупать. Заработки упали.

Я видел на бульваре Монпарнас в субботу вечером и в воскресенье утром специальные уличные выставки картин.

Прямо под открытым небом расставлены холщовые стены. На них развешаны картины. Авторы картин тут же бегают, потирая озябшие руки, и ждут покупателя.

Картины идут буквально за бесценок. На наши деньги очень приличное полотно можно купить за 5 — 10 рублей с рамой.

Осенний салон пустует. В прошлом году в нем было выставлено 10 000 картин. В этом году — 4000. И все-таки пустота.

Многие пассажи на Ман-Зелидье прогорели. Небывалый факт. Это, конечно, очень показательно.

Французская радикальная интеллигенция, как всегда, во всем винит существующее правительство. Я слышал, как один левый журналист, презрительно поджав губы и резко жестикулируя, кричал в кафе:

— Лавалы! Ха! Этот дурак надел белый галстук и думает, что этим он может смягчить мировой кризис...

Это чисто парижский стиль. Быть в оппозиции к данному правительству. Дальше этого французский радикализм не простирался.

Как будто бы тут дело в Лавале или в Бриане!

Не все ли равно, кто из буржуазных лидеров у власти.

А насчет более «радикального» анализа мирового кризиса — это у них слабо.

К Союзу интерес огромный.

Меня принимало у себя Общество друзей новой России. Народу собралось множество. Известные писатели, инженеры, актеры — словом, леворадикальная интеллигенция. Задавали вопросы. В большинстве случаев дружественные, но были и «ехидные». Я привык к этим вопросам... Всюду одно и то же. Вопросы приблизительно такие:

— Это правда, что в Советском Союзе вознаграждение за труд не для всех одинаково?

— Правда.

— Как же это так, если у вас социализм?

Приходится разъяснять принцип борьбы с уравниловкой, обезличкой и т. д. Азбучные истины. Разъяснения принимают с удовлетворением.

— Вам не кажется, мосье Катаев, что при социализме будет задавлена индивидуальность человека?

Едва успеваю открыть рот, как в разговор вмешивается один из писателей. Он с жаром обрушивается на спрашивающего:

— Наоборот! Я думаю, что социализм даст небывалый расцвет каждой индивидуальности! Не правда ли, мосье Катаев?

— Да, — говорю я, — при том условии, конечно, если развитие индивидуальности не будет направлено к порабощению индивидуальности других членов общества. Индивидуальность будет развиваться, так сказать, вверх, а не вширь, не затирая и не уничтожая другие, быть может более слабые, индивидуальности. Во всяком случае, это не будет анархический, грабительский рост одних за счет других. Будет коллективный рост индивидуумов.

— А скажите, может ли рабочий в СССР иметь автомобиль?

— А почему бы нет?

— Каким образом?

— Очень просто. Надо приобрести автомобильное обязательство и ждать очереди. Таким образом, возможность получить собственный автомобиль будет для любо-

го рабочего связана с вопросом общего автомобильного строительства в Союзе.

Общее одобрение. Положительно, кое-кто из французской интеллигенции начинает разбираться в элементарных вопросах политграмоты.

— Простите, мосье Катаев...

Это дама с лорнетом. Она фиксирует меня несколько ироническими взглядами.

— Простите, мосье Катаев, скажите мне следующее: может ли в России любой писатель напечатать все, что он хочет, или у вас такой свободы нет?

Общество с любопытством смотрит на меня.

— Да! — говорю я твердо. — У нас в Союзе каждый писатель может напечатать любую книгу. Но только при одном условии...

— При каком?

— Если он найдет... издателя...

Дамочка злорадно хихикает.

— Как и в демократической Франции, мадам, — галантно добавляю я.

Дамочка замолкает.

Радикальные французы смеются.

Можно приложиться плечом к высокому парапету у Тюильри, как к каменному ложу винтовки, и прицелиться в Булонский лес.

Ствол винтовки — длиннейшая линейка Елисейских Полей. На одном ее конце прицельная рама Триумфальной арки на площади Звезды, на другом — мушка обелиска на площади Согласия.

Дистанция прицела — несколько идеальнейших километров.

В Париже застал знаменитую колониальную выставку. По случаю упомянутой выставки Париж илломирован.

Триумфальная арка и обелиск очень ярко и бело обвешаны прожекторами. На черном фоне парижской ночи эти оба архитектурных объекта горят и светятся, точно

сделанные из льда. Освещена прожекторами также и белая классическая колоннада известной церкви Мадлен.

В общем, здания, освещенные прожекторами, придадут площади Согласия вид рентгеновского снимка ладони.

Безобразно вспыхивают и гаснут желтые кудрявые имена Ситроена на невидимой в темноте колонне Эйфелевой башни.

### III

Поехал на колониальную выставку. Был дождливый, пасмурный день. Выставка доживала последние недели.

Каково первое впечатление?

Покушение на монументальность. Много папье-маше. Изрядная доза безвкусицы. Собственно, это даже чересчур мягко. Классическая безвкусица. Пальмы, колонны, фонтаны модерн, лавчонки с галантерейной завалью, пыльный гравий дорожек, вафли, лимонад, вермут.

Традиционная мура любой подобной выставки. Отовсюду несутся барабанные звуки колониальных оркестров — негритянских, индусских, марокканских...

Шум адский. Болит голова. А барабаны гремят и гремят.

Одним словом, как некогда сказал тонкий знаток экзотики Бальмонт:

И... жрецы ударили в тамтам.

Действительно, жрецы ударили в тамтам. И ударили крайне неудачно.

Какова цель выставки? Цель выставки была грубо агитационная: показать, как, дескать, хорошо живет диким и некультурным колониальным народам под мудрым и гуманным владычеством просвещенных империалистов.

И показали. Только получилось как раз наоборот.

Среди навороченной безо всякой меры экзотики, сре-

ди слонов, индусских храмов, кокосовых орехов, восточных ковров, медной африканской посуды, рахат-лукума и почесских кальянов — грубо, недвусмысленно и цинично выглядывает клыкастая рожа империалиста-колонизатора.

С первых же шагов на главной аллее — два павильона. Один — католический, другой — протестантский.

Католические и протестантские попы выстроили рядом свои конкурирующие миссионерские лавочки. И зазывают доверчивых людей:

«Пожалте! Только у нас! Посмотрите, как мы трогательно заботимся о вовлечении в лоно Христово заблудших чернокожих овец наших колоний. Как им хорошо, этим бедным чернокожим овцам, на вышеупомянутом лоне».

Стоит только бегло осмотреть павильон, чтобы стали совершенно ясны истинный характер и истинное содержание миссионерской деятельности в колониях.

Чего стоили только агитационные восковые раскрашенные группы — картины «вовлечения в лоно»!

Вот, например, такая группа. Молодой, румяный, красивый миссионер стоит перед упавшим на колени «дикарем». У «дикаря» испуганное, покорное лицо. «Дикарь» пресмыкается у новеньких парижских сандалий святого отца. А святой отец одной рукой занес над курчавой головой туземца здоровенный, увесистый крест, а другой сует ему в нос какую-то бумагу и перо, — дескать, подпишись, сукин сын! Вступай в лоно. А не хочешь — так имей в виду, получишь крестом по затылку. Буквально так.

Даже благонамеренным посетителям становится неловко, и они поспешно отворачиваются.

У стен — витрины с различными лубочными Библиями, картинками, крестиками, четками, святыми чашами и прочими безвкусными, бездарными предметами культа.

И рядом — витрины с кустарными изделиями «дикарей».

Нарочно рядом. Чтобы, дескать, подчеркнуть, как у



нас, у христиан-колонизаторов, культурно и мило, какое у нас настоящее искусство и какая чепуха у «диких наших братьев».

А получается совсем обратный эффект. Все кустарные вещи «дикарей» — необычайно изящны, остры по форме, самобытны и интересны. Деревянная скульптура, рисунки, вышивки, костюмы — подлинное, большое национальное искусство, рядом с которым весь поповский католический и протестантский лубочный хлам выглядит по меньшей мере курьезно и глупо.

Если кто и дикари, то, во всяком случае, не те, кого «вовлекают в лоно». Совершенно ясно.

Все остальное в том же духе.

Особенно понравился цинизмом португальский павильон.

В середине — карты колоний, диаграммы, цифры, образцы сырья, колониальные продукты, а снаружи — невероятно, но факт, — а снаружи, под большим навесом, огромная пушка. Каков цинизм?!

Дальше некуда. Приехали.

Прямо ставь португальский павильон на колеса и вози по свету, показывая рабочим лицо империализма без маски.

К этому надо добавить, что мудрые устроители «для фольклора» пустили на территорию выставки громадное количество всяческих колониальных солдат. Так что вся выставка имеет вид военного лагеря.

И жрецы ударили в тамтам.

Действительно, ударили. Н-да-с! Вот тебе и «вовлечение в лоно»!

Еще одно сильное впечатление.

Я собирался уезжать, и мне захотелось купить что-нибудь на память. Почему-то я остановился на носо-

вых платках. Дюжина элегантных носовых платков — это будет скромно и мило. Я обратился к своему старому приятелю, известному парижскому художнику, выходцу из России, с просьбой быть моим гидом.

— Саша, — сказал я, — вы человек с безупречным вкусом, знаете хорошо Париж, поведите меня в лучший магазин и помогите мне выбрать дюжину выдающихся носовых платков.

— Хорошо. Сколько франков можете вы ассигновать на эту покупку?

— Тысячу франков, — сказал я запальчиво. — Но имейте в виду, что за свои денежки я хочу получить действительно что-нибудь выдающееся.

— Хорошо, — сказал он серьезно, — я поведу вас в очень приличный магазин, и мы выберем.

— Я не хочу в «очень приличный», я хочу в самый лучший.

— В «самый лучший» мы не пойдем, — холодно сказал он.

— Почему?

— Потому.

— Но все-таки?

— Потому, что с вас вполне хватит и «очень приличного».

— А я настаиваю на самом лучшем.

— Тогда вы пойдете без меня.

— Почему?

— Потому.

— Саша, вы меня огорчаете. Я хочу привезти в Москву самые лучшие носовые платки Франции.

— Вы слишком тщеславны.

— Да. Я тщеславен. Но я так хочу.

Он понял, что спорить со мной трудно. Он добродушно улыбнулся и сказал:

— Хорошо. В таком случае компромисс: сначала мы пойдем в «очень приличный» магазин, а уж потом, если вам почему-либо там не понравится, я вас поведу в «самый лучший». Хорошо?

Он был не менее упрям, чем я, и я принял компромисс.

«Очень приличный» магазин представлял собой громадный, многоэтажный дом на шикарном бульваре Капуцинов и выходил на три улицы. Мне сразу же бросилась в глаза громадная пустая витрина, посередине которой как бы висел в воздухе, сиял один-единственный носовой платочек, необыкновенно красивый, именно такой, какой я представлял себе, думая о лучших носовых платках Франции. На нем висела цена — восемь франков. Недорого!

Мы поднялись в лифте в отдел носовых платков. Это была громадная комната, вернее сказать — кабинет, с письменными столами, кожаными креслами, пепельницами модерн на высоких никелированных ножках и т. п. Здесь было все, кроме полок с товарами. Мы уселись в комфортабельные кресла. К нам подошла молодая особа именно того типа, который я себе представлял, думая о красивейшей девушке Франции.

— Что желают мосье?

— Мосье желает носовых платков, — сказал художник, показывая на меня.

— Каких носовых платков желает мосье? — обратилась лучшая девушка Франции ко мне.

Я объяснил, что мосье желает что-нибудь вроде того, что он видел внизу, на витрине, за восемь франков.

Девушка сделала легкое движение рукой — движение волшебницы, — и на зеленое сукно широкого письменного стола упало три очаровательных носовых платка, среди которых я сразу узнал платочек с витрины. Знакомый платочек был по-прежнему прекрасен, но два других платочка понравились мне больше. Они, правда, и стоили дороже: один — двадцать франков, а другой — двадцать пять. Причем платочек за двадцать пять франков понравился мне почему-то гораздо больше, чем за двадцать.

«Хорошо, — подумал я, — черт с ним. Кутить так кутить! Куплю себе дюжину платков по двадцать пять».

— Заверните мне дюжину этих, — сказал я молодой фее. — Но надеюсь, что они самые лучшие в вашем магазине?

— О нет, мосье. У нас есть еще по сорок пять, по пятьдесят и по шестьдесят.

Это меня несколько огорчило. Но так как я хотел иметь лучшие платки Франции, то я сказал:

— В таком случае этих не надо. Покажите мне те.

Она взмахнула рукой — и на стол, как бабочки, сели три новых платка один другого прекраснее, причем самым прекрасным оказался почему-то платок именно за шестьдесят франков.

«Ладно, — подумал я, — возьму полдюжины шестидесятифранковых, но, по крайней мере, буду иметь самые выдающиеся платочки Парижа».

— Заверните полдюжины этих, и надеюсь, мадемуазель, что эти самые лучшие и самые дорогие платки вашего магазина?

— О нет, мосье. У нас есть еще платки по сто, двести пятьдесят и по четыреста франков.

Она взмахнула рукой — и на столе выросли, как орхидеи, три платка такой красоты, что у меня потемнело в глазах.

Я беспомощно посмотрел на моего друга, но он сидел, вытянув ноги, и равнодушно рассматривал ногти.

— Хорошо! — сказал я хрипло. — Заверните мне две платочки по четыреста, и кончим это дело. Надеюсь, что, наконец, это самые лучшие платки вашего магазина?

— О нет, мосье. У нас еще имеются платки в тысячу франков.

— Выписывайте... Впрочем, подождите одну минуточку, мадемуазель. Но вы можете мне гарантировать, что это ваш самый лучший платочек?

— О нет, мосье. У нас есть еще платки в две тысячи франков.

— В две тысячи? Но что же это за платки?

— Ручная работа, мосье. Уникальный рисунок.

Что оставалось мне делать? Не мог же я попросить вернуть половину платка.

— Кто же покупает у вас платки по две тысячи франков за штуку?! — почти закричал я.

— Богатые американцы, мосье, — скромно опустив ресницы, сказала девушка. — Из нашего магазина богатые американские невесты выписывают себе комплекты свадебного белья.

— Комплекты? — простонал я. — Но сколько же может стоить такой комплект?

— О мосье, не слишком дорого: триста, четыреста, пятьсот тысяч франков.

— Полмиллиона франков?!

— Да, мосье, — вздохнула девушка. — Причем это даже не слишком большой пакет. Примерно такой вышины и такой ширины. — И она показала своими волшебными ручками феи приблизительный размер полумиллионного пакета: с метр длины и с полметра ширины.

— Хорошо, — сказал я сквозь зубы. — Тогда к черту! Дайте мне дюжину платков по восемь франков штука. И поскорей выйдем на свежий воздух!

Мы некоторое время молчали. Наконец мой друг искося посмотрел на меня и ангельским голосом спросил:

— Может быть, теперь пойдем в «самый лучший»?

— К дьяволу! — закричал я. — К дьяволу!

— Ну, то-то, — миролюбиво заметил художник.

В этот день мне многое стало ясно. А теперь уже ясно абсолютно все. Американцы начали с платочков, а кончат более солидными закупками...

Они не прочь бы купить целиком и всю Францию. Если им, конечно, позволят и не скажут в один прекрасный день то, что я сказал своему другу художнику:

— К дьяволу! К дьяволу!

## Два гусара

### I

1825 год

Пушкин — Вяземскому

П. А. Вяземскому (14 и 15 августа. Из Михайловского в Ревель...)

Мой милый, поэзия твой родной язык, слышно по выговору, но кто же виноват, что ты столь же редко говоришь на нем, как дамы 1807-го года на славяно-росском. И нет над тобою как бы некоего Шишкова, или Сергея Глинки, или иной няни Василисы, чтоб на тебя прикрикнуть: извольте-де браниться в рифмах, извольте жаловаться в стихах. Благодарю очень за «Водопад». Давай мутить его сейчас же.

...с гневом

Сердитый влаги властелин.

*Вла ела* — звуки музыкальные, но можно ли, например, сказать о молнии *властительница небесного огня*? Водопад сам состоит из влаги, как молния сама огонь. Перемени как-нибудь, валяй его с каких-нибудь *стремнин*, *вершин* и тому подобное.

2-я строфа — прелесты! — Дождь брызжет от (такой-то) сшибки.

Твоих *междоусобных* волн.

Междоусобный значит *mutuel*, но не заключает в себе идеи брани, спора — должно непременно тут дополнить смысл.

5-я и 6-я строфы прелестны.

Но ты, питомец тайной бури.

Не питомец, скорее, родитель — и то не хорошо — не соперник ли? *тайной*, о гремящем водопаде говоря, не годится — о буре физической также. *Игралище глухой вой-*

ны — не совсем точно. Ты не зеркало и проч. Не яснее ли и не живее ли: Ты не приемлешь их лазури... etc. (Впрочем, это придирка.) Точность требовала бы не отражаешь. Но твое повторение ты тут нужно.

Под грозным знаменем etc. Хранишь etc., но вся строфа сбивчива. Зародыш непогоды в водопаде: темно. Вечно бьющий огонь, тройная метафора. Не вычеркнуть ли всю строфу?

Ворвавшись — чудно хорошо. Как средь пустыни etc. Не должно тут двойным сравнением развлекать внимания — да и сравнение не точно. Вихорь и пустыню уничтожь-ка — посмотри, что выйдет из того:

Как ты, внезапно разгорится.

Вот видишь ли? Ты сказал о водопаде огненном метафорически, то есть блистающий, как огонь, а здесь уж переносишь в жару страсти сей самый водопадный пламень (выражаюсь как нельзя хуже, но ты понимаешь меня).

Итак, не лучше ли:

Как ты, пустынно разразится, —

etc, а? или что другое — но разгорится слишком натянуто. Напиши же мне: в чем ты со мною согласишься. Твои письма гораздо нужнее для моего ума, чем операция для моего аневризма. Они точно оживляют меня, как умный разговор, как музыка Россини, как похотливое кокетство итальянки. Пиши мне, во Пскове это для меня будет благодетельное. Я созвал неожиданных гостей, прелесть — не лучше ли еще незваных. Нет, cela serait de l'esprit.

При сем деловая бумага, ради бога, употреби ее в дело...

Пушкин.

## II

1934 год

Сашка — Петьке

Дорогой Петька! Пишу тебе, увы, из Михайловского, так как все более или менее приличные дома отдыха уже,

гады, расхватили. В Узком — ни одной койки, в Малеевке — ни одной, в Абрамцеве — ни одной.

О Сочи и Гаграх я уже и не говорю. Сам понимаешь! Чуть было не попал в Поленово, — обещали отдельную комнатку! — буквально рвал зубами, рыл носом землю, колбасился, как тигр, и все-таки какой-то сукин сын из горкома увел комнату на глазах у всех прямо-таки из-под носа. Так что приходится торчать в Михайловском.

Вот гады! Не могу успокоиться!

Но, впрочем, тут не так уж плохо: имею совершенно отдельную комнату, шамовка довольно-таки приличная, можно по благу иметь за обедом два раза сладкое. Компания тоже ни хрена себе, подходящая. Ребята свои. Ты их знаешь. Васька-беллетрист из горкома, Володька-малоформист из месткома и Жорка-очеркист из группкома. Конечно, бильярд, волейбол, вечером немножко шнапса и все прочее. Одним словом, творческая атмосфера вполне подходящая.

Кстати, о творческой атмосфере. У меня к тебе небольшое литературное дельце. У нас тут распространился странный слух, что отменяется сухой паек. Неужели правда? Ради бога, сообщи спешно, что и как, а то ребята сильно беспокоятся. Лично я не верю. Какое же это искусство без сухого пайка?! Абсурд!! Наверное, обывательская трепотня!

Кроме того, очень прошу тебя, если будешь в центре, не поленись зайти в издательство, к Оськину, в бухгалтерию, и позондируй там почву насчет монеты. Они, понимаешь ты, мне должны по договору, под роман, две с половиной косых. Полторы я уже отнял, осталась одна. Но дело в том, что рукопись у меня еще не готова (сам понимаешь!). А дублионы нужны до зарезу. Так вот ты этому самому Оськину там что-нибудь вкрути. Вполне полагаюсь на твою богатую фантазию: скажи, болен, или там в творческой командировке, или там что-нибудь в этом роде.

Как тебе понравился последний роман Адрюшкина? Главное, с кем?! С Катькой!! Вот уж номерок!

Последний анекдот знаешь? Идут отец и сын мимо



памятника Пушкину. И сын спрашивает: «Папоцка, это Пушкин?»

По-моему, гениально! Впрочем, до тебя уже, наверное, дошло.

Что ты скажешь насчет последнего письма в редакцию Женьки Манькина? Не правда ли, прелесть? Вот сволочь Женька, как здорово насобачился писать письма в редакцию!

Каков язык! Какова композиция! Каковы ритмические ходы! Какова лексика! Прямо Вольтер, не шутя. Аж записи берет. Нет, надо и мне что-нибудь такое брякнуть! Только ума не приложу, что бы такое бабахнуть, не посоветуешь ли?

Ну, дружище, будь здоров.

Не забудь же про сухой паек и про Оськина!

Крепко жмаю руку! Пока! Бувай!

Твой Сашка.

1934

## Записки толстяка

Ноябрь

Поздравляю вас, товарищи: сегодня выяснилось, что я просто-напросто толстяк. Водевильный персонаж. Посмешище мальчишек. Объект тонких замечаний на задний площадке трамвая и в вестибюле метро. Мне уже давно намекали. Я не обращал внимания. Но сегодня...

О, сегодня произошло ужасное! Инвалид на бульваре равнодушно покопался в каких-то гирях и равнодушно протянул мне талончик с официальной цифрой моего веса. На кусочке серой бумаги очень разборчивыми каракулями было выведено: «84 кила 400 грамм».

— Виноват, — стараясь придать своему голосу как можно больше небрежности, сказал я. — Это сколько же выходит в переводе на пуды?

— В переводе на пуды?

Инвалид погрузился в вычисления. Результаты оказались ужасны.

— Вы имеете пять пудов одиннадцать фунтов.

Товарищи! Я имею пять пудов одиннадцать фунтов!

Вдумайтесь в это. Я, тот самый нежный я, над колыбелькой которого мама пела грустную песню о сереньком козлике, имевшем постоянное место жительства у некой бабушки, очень любившей вышеназванного козлика... Я, тот самый милый и ласковый я, который каких-нибудь тридцать — тридцать пять лет назад весил от силы два пуда... Я, который...

Эх, да что там говорить!

Пять пудов одиннадцать фунтов! Это же борец среднего веса. Иван Заикин. Ван Риль. Градополов. Шатаясь от горя, я отправился домой.

Навстречу мне шла шумная ватага школьников. Они вежливо пропустили меня, и одна крошечная гражданка с красным галстуком на шейке долго смотрела мне вслед широко открытыми, круглыми, совершенно шоколадными глазами.

— Ух, какой толстый дядька! — услышал я за собой детский голосок, полный завистливого уважения.

Я закрыл лицо руками.

Вечером того же дня, склонившись на плечо своего единственного друга, я горько жаловался на свою судьбу.

— Ты только вдумайся в это, — говорил я. — Даже если считать, что худо-бедно одиннадцать фунтов уйдет на пальто, костюм и башмаки, то все-таки останется пять пудов чистого веса! Ах, Юра, прошло золотое детство, прошло то время, когда я, тот самый нежный я, лежал в колыбельке...

Мой друг терпеливо выслушал про колыбельку, про маму, про козлика и про бабушку. Затем он сказал:

— Дорогой мой! Должен огорчить тебя: не только прошло детство, но также прошло и отрочество. Больше того — прошла молодость и зрелость. Не будем закрывать глаза.

Скажем прямо: ты просто немолодой, отвратительно толстый мужчина, склонный к нудной сентиментальности.

— Но что же, что же мне делать?! — воскликнул я, ломая руки.

— Ходи побольше пешком. Поменьше кушай.

— «Ходи пешком! Поменьше кушай!» Легко сказать, когда Советская власть делает все, чтобы окончательно погубить меня! Она строит метро, она выпускает легкие автомобили, она наполняет города троллейбусами, автобусами и трамваями. Она открывает все новые и новые гастрономические магазины, рестораны, столовые, кафе. Хочешь не хочешь, а приходится ездить и жрать в то время, когда мне абсолютно необходимо ходить пешком и голодать.

— Займись спортом.

— Каким?

— Да каким хочешь. На коньках бегаешь?

— Не бегаю.

— Начни бегать.

— И похудею?

— Ого!

— Хорошо, я буду бегать на коньках. А что для этого надо сделать?

— Да ничего. Просто купи себе коньки, теплую фуфайку, перчатки, шарф, шерстяные носки, подожди, когда откроются катки, и валяй! Движение, свежий воздух, здоровое утомление... Не пройдет и двух месяцев, как ты сбросишь пуда полтора.

— Полтора пуда!! Ты меня воскрешаешь! Спасибо, Кюрокка, бегу.

— Куда?

— Покупать.

Декабрь

Худеть так худеть!

Сегодня нанял на целый день такси. Ездил по магазинам. Уж если начинать бегать на коньках, то необходимо напасть на всем необходимым. Чтоб не как-нибудь, тят-ляп,

а чтоб все как у настоящих людей. Пускай пижоны катаются кое-как, а мне надо кататься как следует. Не ради удовольствия. А ради пользы. Это надо понимать. Я человек организованный.

Купил себе:

1) пару коньков обыкновенных английских, специально для начинающих;

2) пару «гагенов», специально для более или менее умеющих кататься;

3) пару «норвежек», специально беговых;

4) пару чудесных специально фигурных, на которых при известной сноровке, говорят, можно писать на льду собственную фамилию и танцевать новые западные танцы;

5) дюжину шерстяных носков;

6) три фуфайки: одну серую, другую белую и третью такую очень миленькую, серовато-беловатую с красивым полукрытым-полузакрытым воротником;

7) два кашне, тоже очень красивые и теплые. (Научились у нас, черти, делать замечательные вещи, а еще все кричат: «Заграница! Заграница!»)

Устал ездить адски. Денька два хорошенько отдохну, а уж потом и начну чесать!

### Январь

Сегодня в первый раз отправился на каток. Вдруг по дороге — бац! — вспомнил, что забыл купить перчатки. Экая дырявая голова! Хорош был бы я на катке без перчаток! И смех и грех. Велел шоферу поворачивать обратно. Завтра же поеду за перчатками.

### Февраль

Перчаточки что надо. Три пары. Отдохну денька два — и как начну чесать!

### Март

Ездил на каток «Динамо». Встретил по дороге Васю. Он мне сказал, что на «Динамо» катаются только пижоны. А если кто не пижон, а с серьезными намерениями, то надо в ЦДКА. Поехал в ЦДКА, а там, оказывается, нет

буфета. То есть буфет есть, но главным образом морс и бутерброды, а чего-нибудь действительно существенного и не ищи. Хорошо, что велел шоферу дожидаться. Шофер посоветовал ехать в Парк культуры. Там, говорит, буфет хорош. Поехали. Буфет действительно ничего себе, но зато лед скользкий, ну его к черту! Еще морду разобьешь... Нет, пусть дураки катаются. Шофер советует заняться лыжами. Говорит, что можно похудеть пуда на два-три. А мне только этого и надо. Перехожу на лыжи. Решено.

### Апрель

Действительно, лыжи куда легче. И гораздо дешевле. Можно в Сокольники и в Парк культуры. И туда и туда — на метро.

Целый день покупал лыжные принадлежности. Купил:

- 1) лыжи;
- 2) две специальные палки, на всякий случай;
- 3) две фуфайки, специальные;
- 4) три пары носков, спец.;
- 5) кашне, спец.;
- 6) две пары специальных перчаток;
- 7) дюжину специальных носков из очень толстой шерсти;
- 8) три спец. комбинезона: а) серый, б) белый, в) полосатый.

На днях начинаю ходить на лыжах.

### Май

Снег растаял, черт его разбери! Так и не пришлось. Советуют заняться теннисом. Займусь.

### Июнь

Ездил за ракетками, мячами, белыми брюками, туфлями и так далее. Устал ездить, как собака.

### Июль

В теннис на «Динамо», говорят, играют только пижоны. А надо ездить на водную станцию заниматься греб-

ным спортом. Говорят, шутя и играя можно сбросить пуда четыре — четыре с половиной. Хорошо бы! Покупаю лодку.

*Август*

Футбол! Только футбол!

*Сентябрь*

Только легкая атлетика!!

*Октябрь*

Исключительно прыжки с парашютом!!

*Ноябрь*

Я гибну. Ни одни брюки не сходятся. Надя вышла замуж за Юру. Просит прощения, но говорит, что это выше ее сил. Говорит, когда похудею, может быть, вернется.

Господи! Почему все худые, один я — толстый?

Говорят, надо в Кисловодск. А где я возьму денег?

*Декабрь*

Ездил в метро в редакцию «Вечерки» давать объявление:

«Продаются по случаю: лыжи, лодка, брюки, фуфайки, ракетки, мячи, планеры, парашюты, пьексы, носки, шарфы, перчатки, галстуки, трусы, бутсы, футбольные мячи, велосипеды, мотоциклеты и вообще все для спорта в любом количестве, спортивным организациям и аэроклубам скидка».

*Январь*

Вот я и в Кисловодске. Ездил в замок Тамары. Дивные шашлыки! Между прочим, взвешивался на лечебных весах.

Знаете, сколько?

Эх, не будем лучше об этом говорить!..

Жизнь кончена.

1935

## Парадокс

Молодой, но уже отчасти известный драматург принес директору пьесу. Директор взял манускрипт в руку и строго спросил:

— Вы в каких отношениях с Ромуальдом Федоровичем?

— В хороших.

— Прекрасно. Сколько?

— Чего сколько?

— Женских ролей сколько?

— Восемь.

— Маловато. Нам, в сущности, нужно штук одиннадцать. Ну, да как-нибудь. Все-таки лучше, чем две. Действий?

— Что действий?

— Действий сколько?

— Пять.

— Сделаем три. Чтоб кончалось в половине одиннадцатого. Музыки много?

— Вы меня не совсем поняли. Это драма.

— Ничего, мы сделаем весело. И с музыкой. Ромуальд Федорович как раз был у нас позавчера и спрашивал, почему это мы не ставим веселых пьес. Так что это вы не беспокойтесь. Студенты есть?

— Где?

— Ох, милый, какой же вы тугодум! Я спрашиваю: студенты у вас в комедии есть?

— Есть. Один. Не совсем студент, но вроде. Как раз собирается держать экзамен в строительный техникум.

— Это не важно. Комсомолец?

— Комсомолец.

— Хорошо. А девушки?

— Что девушки?

— Девушки — комсомолки?

— Одна комсомолка, а другая беспартийная.

— Так. Одна положительная и одна отрицательная. Ничего. Из метро никого нет?

— Нет.

— Жаль. И почему бы вам не сделать положительную девушку метростроевкой?

— К сожалению, нельзя. Она у меня уже вузовка.

— Простите за нескромный вопрос: какого вуза?

— Медичка. На доктора учится.

— Ага. Можно считать — почти член союза Всемедико-сантруд?

— Пожалуй.

— Ну, это ничего себе, сносно. Военных нет?

— Есть один. Артиллерист.

— Академик?

— Нет. Строевой.

— А его нельзя сделать академиком?

— В сущности, конечно, можно, но...

— Тогда пусть лучше будет академиком. Ладно? Трамвайщиков нет?

— Нет.

— Строительных рабочих нет?

— Нет.

— Профессоров нет?

— Профессора есть.

— Сколько?

— Два.

— Положительный и отрицательный?

— Верно! Откуда вы догадались?

— Милый! Не зря деньги получаю. Симпатичная старушка, домашняя работница, найдется?.. Нету? Очень жаль. А соседка с флюсом?.. Тоже нет? Вы меня огорчаете. Что же у вас есть?

— Есть бывшая монашка. Делает стеганые одеяла.

— Пьет потихоньку водку?

— Откуда вы знаете?!

— Дорогой мой!! Ну-с, значит, так сказать, все. Будьте здоровы!

— Когда прикажете зайти? Недельки через две?

— Что вы! Приходите месяца через четыре.

— Через четыре месяца!!



— Ну да. Что вас удивляет?

— Через четыре месяца за ответом?

— Ох, дорогой мой, какой вы трудный человек! Не за ответом, а на общественный просмотр.

— А за ответом?

— Какой может быть ответ? Ответ обыкновенный: ваша пьеса принята, будет поставлена и пройдет двести сорок пять раз с аншлагами. Поздравляю вас!

— Вы же еще не читали!

— И читать не желаю.

— Откуда ж вы знаете, что она пройдет с успехом?

— А я вам не говорил, что пройдет с успехом.

— Позвольте! Двести сорок пять раз с аншлагом...

— Вот именно. Тридцать пять вечерних абонементов, двадцать два утренних, пятьдесят проданных спектаклей для Пролетстуда, двадцать — для трамвайщиков, семнадцать — для бетонщиков, тридцать четыре — для Медикосантруда, пять — для Военной академии.

— Виноват, я вас перебыю. А если бетонщики не захотят?

— Не захотят? Дитя!.. Плакать будут, а захотят. Ну, простите, мне надо еще в Центральную театральную кассу съездить, подписать договор на продажу двухсот спектаклей «Волки и пчелки».

— Разве у вас идут «Волки и пчелки»?

— Через два года поставим.

— А вдруг выйдет плохо?

— Ребенок! Там, где есть плановое распределение билетов, не бывает плохих спектаклей. Заметьте себе. Ну, пока!

Через два года молодой, но уже довольно известный драматург снял бобровую шубу и лихо вошел в кабинет директора театра.

— Получите новую пьесу. Ромуальд Федорович в восторге. Пятнадцать женских, десять мужских, двенадцать положительных, тринадцать отрицательных, пять метро-

строевцев, шесть трамвайщиков, семь бетонщиков, три профессора, масса забавных старушек, студенты, члены состоятельных профсоюзов, музыка, три действия... За триста спектаклей ручаюсь.

— Приходите через две недели.

— Неужели успеете?

— А почему ж нет? Пьеска небольшая. Пятьдесят страниц. В день по три странички...

— Я думал, вы уже хотите через две недели поставить.

— Что вы, милый! Прочитать сперва надо.

— Зачем же читать, когда и так все ясно? Ромуальду Федоровичу нравится...

— Ну, так пусть Ромуальд Федорович и ставит, если ему нравится. А мне надо, чтобы публике понравилось. А то мы прогорим!

— Зачем же публике чтобы нравилось? При чем здесь публика? И так пойдет. Профессоров пригонят, бетонщиков пригонят, Пролетстуд пригонят...

— Увы!

— Что увы?

— Увы!

— Вы меня пугаете. Что случилось?

— Только через кассу.

— Что через кассу?

— Билеты, дорогой мой, билеты.

— А если публика на мою пьесу не захочет покупать билетов?

— Вот в этом-то и штука.

— Как же быть?

— Писать пьесу, чтоб понравилась публике.

— Легко сказать!

— Вот именно — легко сказать.

— Гм... Вы меня просто убили. Так, значит, я зайду за ответом через две недели. А если пьеса будет... не совсем... так сказать, недостаточно... гм...

— Тогда не возьмем. Плохую пьесу не возьмем.

Драматург шел по улице и, криво улыбаясь, шептал:

— Подавай им хорошую пьесу! Ишь ты! «Плохую, говорят, не возьмем». Буквально какой-то парадокс! Кто бы поверил! И главное — когда? На восемнадцатом году революции! Чудовищно!

1935

## Монолог мадам Фисаковой

(Небольшая комната в бывшей так называемой барской квартире. Масса всякого старорежимного барахла эпохи процветания русского капитализма: немножко «модерн», немножко «рококо», немножко «рюс» с оттенком нижегородской ярмарки и ресторана «Яр». На всем отпечаток былого великолепия. Мадам Фисакова, женщина того возраста, о котором уже не спрашивают даже из деликатности, примеряет платье своей новой заказчице, жене молодого советского поэта. Жена поэта ужасно стесняется. Она первый раз в жизни шьет себе платье у такой известной портнихи. Мадам Фисакова во время примерки занимает заказчицу великосветскими разговорами.)

— С тало быть, ваш супруг — поэт? Очень приятно. Будьте такие добренькие, немножко повернитесь. Так. Здесь мы сделаем, если вы не возражаете, небольшой вырз. Теперь разрешите, я пока рукавички приколю булавочками. Под мышками не жмет?.. Мерси. Пожалуйста, немножко пройдите — посмотрим линию. Что? Мало места, чтоб пройти? Ничего, ничего! Пройдитесь от этой тумбочки до этого столика. Вполне достаточно. Ничего не поделаешь, приходится жить в тесноте, да не в обиде. Вы знаете, до революции я занимала всю эту квартиру. Сто двадцать рублей в месяц. Прелестная квартира была. Вы не слышали такое имя — Зенон Зенонович Котятя?.. Нет? Очень жалко. Это старинная русская фамилия. Видите ли, покойный Зенон Зенонович Котятя был моим, так сказать, неофициальным мужем. Впрочем, вы, молоджи, этого не испытывали. Вы живете в счастливое время. Теперь все мужья официальные. А при царизме на

этот счет было ужасно строго. Приезжал два раза в неделю, а в остальное время — живи как знаешь. Совершеннейший либерал. Простите, к чему я это вам говорю?.. Ах да... По поводу литературы. Вот вы, кажется, сказали, что ваш супруг — поэт. Не знаю. Не спорю. Не читала.

Может быть, вы думаете, что я некультурная женщина, ничего не понимаю в литературе, ничего никогда не читала? В таком случае жестоко ошибаетесь. В свое время в моей квартире бывали сливки литературного общества. Молодые литераторы считали за честь получить ко мне приглашение на фэйф-о-клок. Какие у меня люди бывали! Боже ты мой, какие люди! Поэты, прозаики, новеллисты. Орлы! Теперь какие литераторы? Так себе. Ничего особенного. Ничего выдающегося. С теперешним писателем можно полчаса в трамвае ехать, держась за одну лямку, и в голову не придет, что это писатель. А в мое время, милочка, писатель — это был человек такой, что его за три кварка, а можно было отличить от простого смертного. После оперных теноров писатели были первые люди. А как писали! Боже ж ты мой, как писали! А как читали! Боже ж ты мой, как читали! Мороз по коже продирает. Вы понятия об этом не имеете. Акмеисты, символисты, неореалисты, эвдомонисты, имажинисты. И все считали за честь появиться у меня в салоне. Так-то. Позвольте, я еще тут, одну секундочку, булабочкой прихвачу. Не жмет? Превосходно. Вы, например, вероятно, не слышали про такого знаменитого поэта — Константина Бальмонта?.. Слышали? Странно... Но это не важно. Слышать о нем — этого мало. Надо было видеть. Он у меня однажды остался ночевать после ужина. Я его не рискнула отпустить домой. Среди ночи вдруг слышу в его комнате какие-то странные вопли. Я, конечно, бужу Георгия Николаевича... Кто это Георгий Николаевич? Ах, пардон, я вам, кажется, не сказала? Был такой корнет Сумского гусарского полка Георгий Николаевич Жура-Журавель. Мой амант... Что такое амант? Гм... Ну как вам объяснить? Прямо-таки затрудняюсь. Нечто вроде теперешнего хахалы. Одним словом, в отсутствие покойного Зенона

Зсноновича Котятта... Ну, вы меня, надеюсь, понимаете... В моем тяжелом положении неофициальной жены надо же было иметь кого-нибудь для души. Конечно, один корнет не мог заполнить пустоты моего сердца. Был еще один замечательный человек — Альфред Карлович Розенберг, немецкий архитектор. Без слез не могу вспомнить. Однажды он приходит ко мне и говорит: «Диана! Пятьсот рублей, или я погиб!» Вы сами понимаете мое положение. Я, конечно, заложила все, что могла, и спасла моего Альфреда. Проходит два месяца. И что же вы думаете? Приходит Альфред. Бледный как мел, глаза лихорадочно горят: «Диана! Я опять погиб». Вы сами понимаете мое положение: красавец, архитектор... Я заложила все, что могла, и спасла. Через два месяца опять: «Диана...» А сам дрожит, слова не может произнести. Что? Погиб! Ну, знаете, мне это надоело. «Альфред! — кричу я ему. — Скажите мне прямо: сколько раз вы будете погибать в течение года?» — «Шесть», — говорит Альфред. «И каждый раз по пятьсот?» — «Каждый раз по пятьсот». Что поделаешь? Пришлось заложить все, что могла, и обеспечить жизнь Альфреда на полтора года. Сейчас он в Германии. Говорят, у фашистов занимает какой-то видный пост. Чуть ли не министр. Я всегда говорила, что он далеко пойдет. Ах, Альфред, Альфред! Да, пардон... И что-то начала про Бальмонта?.. Да. Совершенно верно. Идем мы с Георгием Николаевичем в комнату Бальмонта — и что же мы там застаем? Вообразите — картина... На столе коптит керосиновая лампочка, в комнате такой чад, как будто бы коптят свинью; сажа покрывает все и кружится хлопьями в воздухе, а поэт лежит на полу с длинной рыжей бородой, хватая руками копоть и мычит в нос: «Чер-рный снег! Черр-ррный сн-н-н-е-г-г-г!» Вы представляете себе? Черный снег! Это был поэт! А имажинисты!! Вы знаете, что такое имажинисты?.. Не знаете? Ну, ясно. Где же вам знать! Верите ли, в тридцатиградусный мороз в одних фраках по улицам на извозчике ездили. То есть буквально в одних фраках. Кроме фрака, на теле ничего — ни брюк, ни кальсон, ни рубашки. А вы го-

ворите — советская поэзия! А потом были такие — назывались «ничевоки». Уже во время военного коммунизма. Так у них стихи состояли исключительно, пардон, из матерных слов. Ни одного нематерного слова принципиально не признавали. Сначала, знаете ли, было как-то странно слушать. А потом, можете себе представить, до того привыкла, что заснуть не могла без того, чтобы не почитать чего-нибудь на сон грядущий из «ничевоков». А как умели замечательно называть книжки: «Бутерброды на вешалке», «Мать наизнанку», «Фаршированные крысы». Какая острота! Какая образность! Какая сила! А вы говорите... Однажды они у моего Михаила Алексеевича Чихано бобровую шубу сперли... Кто это Михаил Алексеевич? Разве я вам не говорила? Это друг моего покойного Зенона Зеноновича. Известнейший присяжный поверенный. Депутат Государственной думы. Сейчас он за границей. В Париже. Эмигрант. Работает в палате депутатов. Сменным истопником. И лекции читает. На тему «Мессианство и демонизм — два неизбывных источника великой русской эмиграции». Я всегда говорила, что он далеко пойдет. Говорят, на днях к моему Альфреду в Берлин ездил гостить. Да. Так на чем я остановилась?.. «Ничевоки» украли у Чихано бобровую шубу, продали ее на Сухаревке, купили половину соленой лошади, ведро спирта и три фунта хлеба и за два дня написали и выпустили втроем восемь альманахов «О чем пела прямая кишка». И все это вот тут, в этой самой квартире. А вы говорите — современная литература... Да. Эта квартира таки многое повидала на своем веку. Было время... Теперь, конечно, не то. Далеко не то. Очень далеко не то. Квартиру забрали. Оставили мне только эту комнату. Вместо литературы приходится заниматься шитьем платьев. Но я не ропщу. Зарабатываю недурно. Вкус-то у меня остался? Вкус-то ведь у меня никакая власть отнять не может. Так что вы не беспокойтесь. Будет у вас платье замечательное. Здесь я вам сделаю воланчики. На правом бедре — вырез. На левом бедре — вырез. Спина голая... Что? Вам не нравится? Гм... Конечно... Я так и думала. От жены со-

временного поэта чего и ждать! Впрочем, я вам не навязываюсь. Не хотите одеваться со вкусом — не надо. Я вас не задерживаю. До свидания. Прямо и направо. Не наступите на Бобика. Скатертью дорожка... Что?.. У вас у самой вкуса нет. Не вам меня учить. Слава богу, кое-что в искусстве понимаю.

1935

### Критика за наличный расчет

— **В**ы редактор?

— Я.

— Редактируете?

— Редактирую.

Посетитель присел к редакторскому столу, с благоговением положил локти на корректуру и долго смотрел на редактора детскими голубыми восторженными глазами.

Наконец он воскликнул:

— Прямо удивительно!!

— Что удивительно?

— Удивительно, до чего у вас это самое ловко получается. Другой редактирует, редактирует, а ни черта не выходит. А у вас — прямо-таки замечательный журнал.

— Ну уж, и замечательный, — застенчиво пробормотал редактор. — Журнал как журнал.

— Нет! Именно замечательный! — с жаром воскликнул посетитель. — Не отпирайтесь. Верите ли, это мое самое любимое чтение. У нас дома его все буквально запоем читают. И жена, и бабушка, и домашняя работница, и детишки.

— Ну что вы! Зачем же детишкам и бабушке читать за поном «Вестник кооперативной товаропроводящей сети»?

— А вот представьте себе! Культурная бабушка. Не по нашим развитые малютки. Вы недооцениваете значения нашего прекрасного органа. Мы его четвертый год выпиваем.

— Помилуйте, да он существует всего три месяца!

— Тем более. При столь высоком качестве каждый месяц можно смело считать за год. Впрочем, не будем отклоняться. Мне нужно с вами поговорить. Я буду краток. Два слова.

Посетитель суетливо вскочил, глаза у него утомленно сверкнули, и он заговорил граммофонным голосом:

— Идя навстречу все более и более растущим потребностям, наша организация, не щадя затрат, решила организовать специальный институт для обработки общественного мнения и создания прочных литературных репутаций. Нет больше плохих журналов! Нет больше слабых писателей! Нет больше скучных романов! Если у вас наблюдается острый упадок таланта, хроническое идейное заикание, стилистическое бессилие, вялый язык и политическая близорукость, не впадайте в отчаяние. Вам стоит только позвонить по телефону пять — шестьдесят два — пятьдесят один (Москва, Пушечная улица, дом номер пять) в наш всемирно известный Критико-библиографический научно-исследовательский институт, и мы немедленно вышлем опытного агента для подписания договора на систематическое обслуживание вашего многоуважаемого журнала недорогой, снисходительной, изящной, авторитетной критикой, которая в течение нескольких месяцев восстановит в глазах советской общественности вашу пошатнувшуюся репутацию, создаст вам широкий круг поклонников и навсегда избавит от необходимости утомительной самокритики.

Институт может подвергнуть критическому анализу ваш журнал за все время его существования и даже за первый квартал текущего года.

Институт может на основе критического анализа дать сжатую статью и в течение тридцати дней опубликовать ее или по вашему указанию в руководящих органах печати, или в своем журнале «За большевистскую критику».

Институт гарантирует вам свое участие во всех обще-



ственных мероприятиях, связанных с оценкой журнала (докладчики, подбор рецензий и прочее).

Институт обязуется, если в печати появятся отзывы, не совпадающие с оценкой института, бесплатно подвергнуть материал вторичному анализу.

Цены умеренные.

Один авторский лист журнала 20 рублей.

Два . . . . . 40 рублей.

Три . . . . . 60 рублей.

Энциклопедиям, многотомникам, крупным научным трудам и прочим оптовым покупателям скидка.

Институтом привлечен обширный штат опытных рецензентов как по общим, так и специальным вопросам литературы, науки, искусства и спорта.

Восторженные рецензии обеспечены. Масса благодарностей. Тайна гарантируется...

Посетитель вытер вспотевший лоб и положил на стол договор.

— Подписывайте — и репутация вашего журнала обеспечена. Ну?

— Знаете ли, — замялся редактор, — журнал у нас новый, денег мало... Мы не можем.

— Не можете? — зловеще спросил посетитель. — Хорошо-с. Увидим.

— Что же мы увидим? — ужаснулся редактор.

— Увидим, как ваш журнал погибнет в пучине общего молчания и равнодушия. Честь имею кланяться.

— Подождите! — крикнул надтреснутым голосом редактор. — Не уходите! Один вопрос. Вы, кажется, сказали, что вы можете за небольшое вознаграждение дать сжатую статейку в любой руководящий орган советской печати по нашему указанию?

— Можем. А что?

— В таком случае вот вам двадцать рублей, и будьте любезны, напечатайте в ближайшем номере газеты сжатую статейку о том, как работает ваш институт.

## Однофамилец

— **В**ы уволены.

— Почему?

— Как чуждый элемент. Вы родом из станицы Динской?

— Да.

— Ну, значит, вы дворянин Малышевский из станицы Динской, помещик.

— Я действительно Малышевский, действительно из Динской. Но тем не менее не помещик, а, наоборот, сын казака-хлебороба.

— Докажите.

— Хорошо.

И человек отправился из станицы Крымской в станицу Динскую за доказательством своего крестьянского происхождения. Сделать это было очень легко, так как в сельсовете имелись все необходимые документы о том, что сын казака-хлебороба, учитель Малышевский никакого отношения к помещикам той же станицы не имеет.

Учителю Малышевскому тотчас же были вручены все нужные документы.

И отправился человек обратно, довольный, что все так быстро разъяснилось, и, радостный, положил на стол начальства свои документы.

— Вот. Теперь вы видите, что я не помещик?

— Этого мало. Нужна официальная справка.

— Хорошо. Будет официальная справка.

И стал человек ждать официальной справки.

А тем временем с работы успели уволить двух его сыновей как классово чуждых и примазавшихся помещичьих сынков.

Тем не менее официальная справка все-таки пришла, и человек гордо явился к начальству:

— Теперь видите?

— Вижу-то я вижу, но, знаете ли, все-таки, согласитесь, как-то не того... и помещик — Малышевский, и вы — Малышевский... Получается некрасиво...

— Ну, хотите, — взмолился человек, — я вам представлю свидетельство красных партизан, знающих мое безупречное прошлое?

— Хочу.

— Хорошо.

И пошел человек к красным партизанам, которым помогал во время деникинщины, и принес от них бумагу, характеризующую его с лучшей стороны.

— А бумага заверенная?

— Заверенная.

— Ну что ж, ничего не поделаешь... Видно, придется мне обратно на работу принимать... Ладно, работайте.

Восстановили человека, восстановили сыновей его. Пошло все хорошо. Прошел год. И вдруг — бац!

— Вы уволены.

— Почему?

— Как бывший помещик.

— Я не помещик.

— Докажите.

— Я ж вам в прошлом году уже доказывал.

— Докажите в этом.

— Хорошо.

И пошел человек опять в станицу Динскую.

— Дайте справку, что я не помещик.

— Не дам.

— Почему?

— Потому, что вы — Малышевский.

— Ну так что ж из этого?

— Раз Малышевский, значит, помещик.

— Да нет же! Хлебороб. У вас в архиве есть мое метрическое свидетельство. Посмотрите.

— Не смотрел и смотреть не желаю.

И пошел человек обратно. И в слезах обратился к самому высшему своему начальству:

— Товарищи! Ведь вы же знаете по прошлому году, что я не помещик. А меня все-таки уволили. Помогите!

— Не помогу.

— Почему?

— Потому, что все ваши документы — фальшивки, а сам вы — обманщик.

— Я не обманщик.

— Нет, обманщик. Вы утверждаете, что вы не Малышевский, в то время как я отлично знаю, что вы Малышевский.

— Я не отрицаю, что я Малышевский.

— Ага! Ну, а раз Малышевский, значит, помещик.

И пошел человек, шатаясь, к себе домой.

Таковы обстоятельства, в которых в данную минуту находится Малышевский, старый учитель с тридцатилетним стажем, до последнего времени работавший на консервкомбинате имени Микояна в станице Крымской методистом.

Как же могло на глазах у всех произойти это неслыханное безобразие?

Как могло случиться, что на глазах у всех два старых хороших педагога — товарищ Малышевский с женой (тоже старая учительница) — оказались на старости лет выброшенными за борт?

Вы не знаете, как это случилось, товарищ Кравцов, председатель Динского стансовета, дававший безответственные разноречивые справки?

А вы, директор комбината, подписавший приказ № 425 от 13 августа 1935 года, где документы товарища Малышевского названы ложными и честный человек представлен в виде грязного афериста, — вы (не имею чести знать вашего имени), вы не знаете, как это случилось?

А вы, представители заводской общественности?

На ваших глазах произошло самое страшное в нашей стране преступление: беспредельно унизили человеческое достоинство. Что же сделали вы для того, чтобы не допустить этого?

Мы не сомневаемся, что честное имя учителя Малышевского будет навсегда восстановлено и виновные будут сурово осуждены.

1935

## Донжуан

Нельзя сказать, чтобы эта разновидность советского гражданина встречалась особенно часто. Но все же встречается.

На службе он ничем не отличается от товарищей. Он работяга, активист, крепкий общественник.

Он прекрасно усвоил все слова и выражения, необходимые для того, чтобы прослыть неподкупным борцом за советскую демократию.

Но присмотритесь к нему. Понаблюдайте за ним. Вырните в глубины его, если так можно выразиться, психики, его, так сказать, внутреннего мира. И вот станет ясно, что «родина», «демократия», «народ», «наша чудесная, изумительная жизнь», «внимание к человеку» и т. д. — все это не что иное, как великолепная маска Гражданина (с большой буквы), под которой скрывается плюгавенькая мордашка гражданина (с маленькой буквы, в милицмейско-протокольном значении этого слова).

Если на работе он, предположим, заведующий отделом ягодных сиропов и цитрусовых эссенций треста Продбредшипводторг тов. Редькин, то в частной жизни он демоническая натура, любитель всего прекрасного, покоритель сердец, неисправимый донжуан, сноб и эстет.

Женщина! Вот стержень, на котором вращается для Редькина вселенная.

Основа редькинских успехов — отдельная, изолированная комната.

«Было бы где, а кто и когда — это уже детали».

У Редькина есть еще небольшой набор инструментов: патефон с четырьмя пластинками (две с Лещенко, две с Перттинским), бутылка портвейна, хитроумно разбавленного водкой, два пирожных, какой-нибудь томик «Академии» с античными гравюрами и технический справочник (для солидности).

Разумеется, телефон. Потому что без телефона Редькин как без рук.

Придя домой, Редькин, даже не вымыв рук, тотчас

достаёт вместительную записную книжку и углубляется в дебри телефонных номеров. Он, не торопясь, перелистывает ее, как ресторанный меню. Его глаза, глаза знатока и гурмана, скользят по колонкам цифр и имен, изредка останавливаясь на каком-нибудь имени, снабженном одному Редькину ведомым значком. Редькин морщит лоб и бормочет:

— Лена? Не годится. Чересчур упрямая. Лена другая — в отпуску. Валя? В больнице. Аборт делает. Гм... Люся? Гм... Какая это Люся? Дай бог памяти! Ах да! В скобках кружок. Это та, которая в прошлый подвыходной дала по морде. Ну ее к черту! Не годится. Посмотрим дальше. Зоя номер три? Тэк-с. Это, кажется, подходит.

— Алло? Это Зочка?.. Здравствуйте, Зочка. Ну что вы поделываете? Как поживаете?.. Кто говорит? А вы догадайтесь... Нет, не Коля... Нет, не Вася... Нет, не Боря... Ну? Неужели вы не узнаете по голосу? Ну, одним словом, это тот самый интеллигентный человек, который с вами познакомился позавчера в метро и записал ваш телефон... Теперь припоминаете?.. Ну вот и чудесно! Что вы сегодня вечером делаете?.. Ничего?.. Отлично. Я тоже ничего. Может быть, вы зайдёте вечерком ко мне, вместе будем ничего не делать. Как говорится, на огонек. Чайку попьём... Что? Лучше в театр?.. Фи, какая пошлость! Лучше ко мне... Не ходите к холостым?.. Нет?.. Ну, нет так нет. До свидания.

— Подумаешь! — бормочет Редькин. — Ишь какал хитрая!

И вызывает следующий номер.

— Это вы, Олечка?.. Здравствуйте. Как поживаете? Что поделываете? Вечерком свободны?.. Заходите. Чайку попьём. Посидим. Поговорим. Вертинского заведем. Лещенко заведем... На каток?.. Фу, как глупо! Впрочем, если хотите, сначала попьём, а потом на каток... Что? Сначала на каток?.. Нет, сначала чайку... Словом, не хотите? Ну, не хотите — как хотите...

Редькин работает возле телефона в поте лица. И, ри

зумеется, в конце концов находится какая-нибудь наивная «Манечка с Электрокомбината», которая соглашается зайти на полчаса послушать Лещенко.

Тут Редькин суетливо надевает грязноватую, но тем не менее довольно полосатую пижаму, чистит уши одеколоном и начинает ждать.

Звонит телефон.

— Алло! У аппарата Редькин. Здравствуйте... А кто это, собственно, говорит?... Тася? Здравствуйте. А, простите, какая, собственно, это Тася?... Что? Нет, у меня их не много, но все-таки... Ах, это та, которая у меня была два месяца тому назад? Гм... Припоминаю. Ну, здравствуйте... Почему не звонил? Телефон потерял... Что? Надо со мной серьезно поговорить? Вы меня пугаете! А что такое?... Чувствуете себя беременной? Ну а я при чем? А может быть, это не я?... Я? Вы уверены? Ну, так тем лучше... Посоветоваться? Об чем же советовать? Аборт. Одно-единственное, что я могу посоветовать... Нет, нет, ради бога, ко мне не приходите! Я сегодня уезжаю в длительную командировку. А до этого ко мне должен прийти один товарищ по серьезному делу... Что? А вы, гражданки, будьте любезны, не смейте ругаться по телефону, а то я позвоню сейчас же на станцию, и вам телефон снимут. Идите вы, знаете, к черту!

Редькин злобно вешает трубку и бормочет:

— Такая нахалка! Хамка!..

Вечером раздается робкий звонок, и входит «Манечка с Электрокомбината». У нее беретик сидит на боку, и под беретика на половину лица падает русая гривка, щечки красные, глаза синие, рот как черешенка.

— Здравствуйте. Я к вам только на полчаса. Послушать Лещенко. Послушаю и пойду.

Редькин поспешно садится на стул и делает широкий жест:

— Садитесь, пожалуйста.

Манечка мнетя и садится на диван. Не вставая со стула, Редькин деловито заводит Лещенко. Потом подса-

живается к Манечке на диван. Стоит ли передавать их разговор, вечный как мир?

— Что ж вы отодвигаетесь от меня? Вот чудачка. Я придвигаюсь, а она отодвигается... Жарко? Это значит: у нас хорошо топят. Дайте я вам погадаю по руке. Вы знаете, вы мне почему-то ужасно нравитесь. Никто, представьте себе, не нравится, а вы, как это ни странно, нравитесь. Честное слово. Я, знаете, ужасно одинок. Выпейте рюмку портвейна. Это совсем как вода. Все равно что сидро. Никакой разницы. Я вам отвечаю, что вы будете совершенно трезвая... Почему я наливаю в стакан? А это потому, что у меня нет рюмок. Холостяк. Вот, когда женюсь, заведу себе все хозяйство... На ком женюсь? Ха-ха-ха! А это от вас зависит, Верочка... Манечка? Ну, тем лучше. Итак, выпьем за любви! За крепкую семью! Я ведь, как это ни странно, принципиально стою за крепкие половые отношения. Я этого не понимаю: сегодня с одной, завтра с другой... Мне это органически чуждо. Ну, будем здоровы! Пейте до дна, до дна. Раз за любовь, — значит, до дна! Вот так. Умница! А теперь еще одну рюмочку за взаимность... Что? Вы уже пьяная? Ни за что не поверю! Кушайте пирожное. Ну, не будьте такая... Что? Зачем закрываю свет? А чтобы он в глаза не бил... Ничего... Не поздно. Я вас подброшу домой на машине. У меня есть машина.

Ну вот видите, и ничего страшного не произошло. И не так поздно. Половина второго. Вы еще захватите последний трамвай. До свидания. Так я вам буду звонить завтра. Или послезавтра. До свидания. Бегите скорей, а то трамвая не застанете... Проводить вас? С удовольствием бы, но плохо себя чувствую. Мне врачи не велят выходить на улицу.

И катался, катался товарищ Редькин до сих пор как сыр в масле.

А теперь — такая неприятность.

Широкая советская демократия... Законы об абортках... Ответственность перед родиной...



Хоть караул кричи.

Ах, Редькин, Редькин! Неважная для тебя начинается полоса...

1936

## Мимоходом

Вообще говоря, подслушивать очень нехорошо. Но слушать — благородно, жить, так сказать, с открытыми ушами — совершенно необходимо.

Иногда случайно услышанная фраза просто забавна сама по себе, иногда за ней угадывается какой-то характер или даже явление.

То, что приводится ниже, не фельетон, не рассказ, это, скорее всего, фонограмма, бытовая звукозапись. Вполне естественно, что эта фонограмма велась в совершенно определенном, крокодильском направлении.

Говорят дети.

1. Совсем маленькие, Чуковского возраста. Звонкий крик во дворе:

— Ребята, наша кошка отелилась!

Тихий домашний вопрос:

— Мамочка, что такое бытовое разложение?

2. Ребята постарше. Уже школьники.

Идет урок географии. Мальчик отвечает бойко и уверенно:

— В Турции произрастают фиги. Из этих фиг турки делают изюм...

3. Дети такие, что их уже даже неудобно называть детьми.

Солнечный весенний день в тихом арбатском переулке. Две очаровательные девушки в изящных светлых платьях замерли у подъезда. Третья девушка отошла на несколько шагов с фотоаппаратом, чтобы запечатлеть эту прелестьную группу, которая кажется воплощением расцветаю-

щей, еще немного застенчивой юности. Не поворачивая головы и не теряя мягкой улыбки, девушка у подъезда шепчет подруге:

— Дура, псих, не пялся на аппарат!

Парикмахер разговаривал афоризмами.

— С перхотью надо бороться, — говорил он. — Если вы с ней не боретесь, так она борется с вами...

На озере Селигер экскурсовод поучал туристов:

— Здесь жил и работал художник Шишкин, известный автор конфет «Мишка косолапый».

Разговор у букиниста:

— Что-нибудь новое из старого у вас есть?

Идет ночью по пустой улице пьяный дяденька и вполголоса бахвалится:

— Я в любой ресторан могу. Хочешь — в «Метрополь», хочешь — куда хочешь...

Докладчик начал так:

— Давайте на данный период снимем головные уборы и посидим тихо.

А кончил он так:

— Все достижения и все состояния очень нам видны. И мы должны завтра же засучить рукава и драться. Однако много драться не приходится, надо только приложить то, что полагается...

Преждевременно уставший литератор любит манерно жаловаться на трудности ремесла.

— Ах, если бы вы знали, как мне противно писать! — сказал он однажды.

— А нам-то читать? — ответили ему.

Выдался холодный день. Резкий, пронизывающий ветер. Воротники подняты, шляпы надвинуты. На площади простуженно хрипит продавщица эскимо.

— Сливочное эскимо, пломбир, мороженое! — взывает она.

Все проходят мимо.

И вот неудачница перестраивается на ходу.

— Горячее мороженое! — кричит она задорно. — Совершенно горячее! А вот, а вот, кому горячего?

И что вы думаете, кто-то купил эскимо.

Как известно, в пьесе Пристли «Опасный поворот» первый эпизод целиком повторяется в конце, заключая вещь.

Разговор после спектакля:

— Ничего интересного. Только зачем начало снова показывают?

— А это, наверное, для тех, кто опоздал.

Подмосковная школа. Урок истории. Учительница говорит:

— Хозары перекачивали с места на место и вырезали всех мужчин, исключая женщин...

Она же заявила:

— ...Степан Разин в Астрахани вел себя либерально и относился ко всему с холодком.

1940

## Умная мама

— Домик у нас, мамаша, ничего себе. Подходящий. Летом — прохладный. Зимой — теплый. Если, конечно, уголька достать.

— Вот именно — если достать.

— А что же. Достанем.

— Погляжу, как ты достанешь.

— Не будьте, мамаша, таким скептиком. Пойду в контору. Напишу заявление и достану.

— Гляди, Васенька, зима на носу. Как бы мы с твоими заявлениями не померзли.

— Будьте уверены.

— Посмотрим.

— Увидим.

Антошкин бодро надел драповое пальто, сунул ноги в глубокие галоши и, охваченный радужными надеждами, отправился в контору.

Небо хмурилось. Дул довольно холодный ветер. Мамаша зябко куталась в шерстяной платок и печально усмехалась.

Вернулся Антошкин вечером.

— Ну что? Достал уголь?

— Достал. То есть не достал, а почти достал. Велели прийти в среду.

— Васенька, — сказала мамаша, — водки у тебя случаем нет? Литра два? И папирос «Казбек»? Сотню...

— Для чего вам?

— Как это для чего? Для того, что холодно становится. Гляди, скоро снег пойдет. А у нас не топлено.

— Что же это вы, водкой будете согреваться?

— Буду водкой согреваться.

— Гм... А папиросы вам для чего?

— Согреваться.

— Папиросами?

— Папиросами.

— Мамаша, не раздражайте меня.

— Гляди, померзнем.

— Не померзнем. В среду пойду в контору, подам заявление, привезу тонну угля...

— Дурак...

— От родной мамы такие слова! Мне это больно.

— А ты не будь дураком. Дай два литра и сотню «Казбека».

— Для чего?

— Уж говорила, для чего! Греться будем.

— Не померзнем.

— Увидим.

— Посмотрим.

В среду Антошкин потеплее оделся, сунул нос в кашне и отправился в контору. В воздухе кружились первые снежинки. Вернулся Антошкин поздно вечером. Лицо его сияло. Из рта вылетали клубы пара.

— Достал?

— Достал. То есть не вполне достал, а сказали, чтобы приходил во вторник или, лучше всего, в пятницу. Тогда обещали дать.

— Замерзнем, Васенька. Я уж коченею.

— Не замерзнем.

— Увидим.

— Посмотрим.

Во вторник Антошкин пошел в контору ранним утром, когда косматое, морозное солнце только что появилось над обледенелой крышей. Вернулся поздно ночью не в духе. Молчал. Спал в шубе и валенках.

Ночью мамаша подошла к его постели:

— Васенька...

— А?

— Дай два литра и сотню «Казбека».

— Не дам.

— Почему?

— Принципиально.

— Померзнем.

— Не померзнем. В пятницу обещали непременно дать.

В пятницу Антошкин вернулся глубокой ночью. Под глазами были синяки. Глаза лихорадочно блестели. Мамаша в салопе и ковровом платке топала валенками. Красный иней сверкал на стенах.

Достал?

— Достал. Почти достал. Обещали в...

Дай два литра и сотню «Казбека».

— Не дам.

— Но почему же, Васенька? Ведь вымерзнем.

— Принципиально. Я знаю, для чего вам водка и папиросы! — закричал Антошкин. — Вы хотите взятку дать!

— Замерзнем.

— Пусть замерзнем. Но взятки давать не будем.

— Как хочешь, Васенька.

На рассвете Антошкин вскочил. Руки у него были красные, как морковка. На волосах сверкал иней. Он бросился к постели мамыши, долго рылся в шубах, половиках, коврах, перинах и, наконец, откопал старушку...

— Мамаша... — хрипло сказал он. — Если бы я жил в другом доме... Но в нашей конторе засели жулики. Мамаша, я не могу больше! Черт с ним! Берите два литра и сотню «Казбека».

— И умница, Васенька! Давно бы так!

Мамаша поспешно оделась. То есть, вернее, разделась: сняла с себя лишнюю шубу, положила в котомочку два литра доброй московской водки и сотню «Казбека», перекрестилась и деятельной старушечьей походкой засемила к дверям.

Через час во дворе раздался грохот сваливаемого угля, и бодрый молодой человек с черным носом ворвался в комнату:

— Вы Антошкин?

— Я Антошкин.

— Распишитесь.

— А что?

— Ничего. Распишитесь здесь и здесь. Уголек вам привезли. Счастливо оставаться! Грейтесь на здоровье. У нас это быстро.

От молодого человека приятно пахло доброй московской, и во рту дымился «Казбек».

1944

## Оперативный Загребухин

— Ну, что скажете хорошенького, товарищ Загребухин? — спросил редактор, подымая доброе, утомленное лицо от гранок. — Чем порадуете читателя?

Писатель Загребухин скромно опустил на стул, повесил голову и пригорюнился.

— Пришла мне, знаете ли, Павел Антонович, одна мысляшка. Одна, так сказать, идейка. Верите — даже не идейка, а целая идея. И так она меня, знаете ли, увлекла, что я буквально сон потерял. Не сплю, не ем. Только об ней все время и думаю.

— Нуте-ка, нуте-ка, это интересно. Выкладывайте.

Писатель Загребухин пригорюнился еще больше, потупил глаза и, нервно сжимая руки, сказал глухим голосом:

— Мало у нас в прессе уделяют внимания животноводству, Павел Антонович. И плодоводству. Душа, знаете ли, болит. Вот мне и пришла в голову мысль. Не знаю только, как вы посмотрите. Хотелось бы мне съездить в какой-нибудь хороший животноводческий совхоз, в какой-нибудь, знаете ли, этакий плодоовощной питомник, да и написать в газету подвал-другой. Как вы на это смотрите?

— Это именно то, что нам надо! — воскликнул редактор, и глаза его засияли. — Это именно то, чего мы жаждем! Поезжайте, голубчик. Как можно скорее. Мы вам будем очень-очень благодарны. Только не отвлечет ли это нас от больших творческих замыслов? От широких полотен, от эпопей, от трилогий?

— Эх, Павел Антонович, Павел Антонович! — с горечью сказал Загребухин. — Пускай эпопеи другие пишут. Не до эпопей мне, Павел Антонович. Не такое у нас время, чтобы над эпопеями да трилогиями потеть. Писатель должен быть на уровне эпохи. Надо писать быстро, остро, императивно. Главное — оперативно. Злободневно, так сказать.

— Верно, товарищ Загребухин. Правильно. Золотой вы у меня человек! Езжайте. Посмотрите. Изучите. Напишите.

— Слушаюсь! — бодро воскликнул Загребухин. — Напишу. Изучу. Посмотрю. Съезжу.

Через неделю читатель прочел большую статью Загребухина:

«Подъезжаем к воротам животноводческого совхоза

«Новый мир». Въезжаем. Навстречу нам выходит директор Синюхин. Это могучий, волевой человек в синей косоворотке. Он радушно показывает нам коров и свиней. Хорошие коровы. Превосходные свиньи. Садимся за стол. Дружеская беседа вертится вокруг коров. Вертится вокруг свиней. Особенно вокруг поросят. Недолгий летний день кончен. Пора уезжать. С большой неохотой мы расстаемся с товарищем Синюхиным. Бросаем последний, прощальный взгляд на превосходных коров и выдающихся свиней. Но увы! Надо ехать. Надо еще посетить плодоовощной питомник «Красный мак». Выезжаем за ворота. Едем. Мчимся. Золотые лучи солнца весело освещают...

И читатель думает:

«Ишь ведь какой человек этот Загребухин. Тонкий. Наблюдательный. Все-то он заметил. Все-то он описал. И как, дескать, подъезжаем. И как, дескать, уезжаем. И как, дескать, коровы и как, дескать, свинки! Ничего от него не укрылось. Одно слово — писатель! Гений!»

А Загребухин тем временем гуляет по своей дачке с гостями и показывает хозяйство:

— Вот это у меня поросята.

— Выдающиеся поросята.

— А вот это у меня молодые мичуринские яблоньки.

— Выдающиеся яблоньки!

— Да уж чего говорить, — скромно опускает глаза Загребухин, — поросятки что надо. И яблоньки что надо. Плохих не держим.

— И дорого изволили платить? Небось такой поросенок тысячи две тянет, если не больше?

— Ровно шесть, — говорит Загребухин.

— Тысяч?

— Нет, что вы! Рублей.

— Шесть рублей?

— Да. Шесть рублей. С копейками. По государственной цене.

И нежная улыбка блуждает на пухлых губах Загребухина. Нежная и загадочная.



Гости молитвенно складывают руки. И думают завистливо:

«Ну же и человек этот Загребухин! В полном смысле слова гений».

А Загребухин идет дальше по своим владениям и похвастывается:

— Вот это у меня погреб. А это коровник. Погреб немножко завалился. Надо бы немного цемента.

— Цемент теперь кусается. Не достанешь. Да и с транспортом...

Загребухин загадочно щурится на солнце и тяжело выдыхает:

— Да. С цементом, конечно, туго. С транспортом тоже не того... Ну да ничего... Как-нибудь сдюжим.

А через две недели читатель читает новую большую главу Загребухина:

«Вряд ли кто-нибудь из моих читателей представляет себе, сколько громадного политического, социального и морально-логического смысла заложено в простом скучном слове «цемент». И, однако, цемент — это целая поэма. Начнем с его производства. Подъезжаем к воротам энского цементного завода. Въезжаем. Навстречу нам выходит директор Жмуркин. Это могучий, волевой человек в люстриновом пиджаке. Он радушно показывает нам свое производство. С восхищением смотрим на мешки с цементом. Садимся за стол. Дружеская беседа вертится вокруг цемента. Пора уезжать. С большой неохотой расстаемся с товарищем Жмуркиным. Бросаем последний взгляд на чудесный цементный завод. Но увы! Надо ехать. Впереди еще детская пошивочная мастерская, мясоккомбинат, ликеро-водочный завод, дровяной склад, питомник черно-бурых лисиц...»

Не нарадуется редактор на своего выдающегося сотрудника Загребухина.

— Вот это человек! Вот это гражданин! Вот это писа-

тель! Горячий, отзывчивый, оперативный. Другие писатели копаются в какой-то психологии, пишут романы, новеллы, эпопеи и прочее такое. А мой орел Загребухин не таков. Мой орел Загребухин знает, что жизнь не терпит, чтоб от нее отставали. Загребухин мчится впереди жизни. Молодец Загребухин. Настоящий гений!

И когда знакомые Загребухина открывают газету и читают очередной подвал Загребухина, который начинается словами: «Мало кто знает, сколько поэзии в производстве толя...», — то они уже догадываются, что на коровнике Загребухина прохудилась крыша.

1945

## **Советы молодой красавице...**

### **От редакции**

*Многие годовые подписчицы, а также розничные покупательницы нашего журнала присылают в редакцию нервные письма с просьбой ответить на жгучий вопрос: что делать молодой девушке, для того чтобы иметь успех в обществе и нравиться мужчинам?*

*Понимая всю важность скорейшего разрешения этого наиболее болезненного вопроса, постараемся дать на него по возможности исчерпывающий ответ.*

### **Вступление**

Укоренилось мнение, что успех молодой особы зависит от ее умственного развития, образования, тонкой духовной организации и ровного, приятного характера.

Это, разумеется, вредная чепуха, с которой давно уже пора покончить.

Успех молодой особы зависит прежде всего от умения одеваться.

Поэтому прежде всего необходимо сказать несколько слов о том, как должна одеваться молодая девушка, если она хочет нравиться мужчинам и в спешном порядке выйти замуж.

Девушка должна быть одета по самой последней моде с головы до ног. Так как не имеет принципиального значения, с чего начинать, с головы или с ног, то начнем с ног.

## Ноги

Нижние конечности, или так называемые ноги, являются лучшим украшением молодой красавицы. Поэтому на их оформление следует обратить особенное внимание.

Существует устаревшее мнение, что время от времени ноги следует мыть. Мы этого мнения не разделяем. И в самом деле, зачем мыть ноги, когда все равно этого не видно?

Зато совершенно необходимо поверх тонких шелковых чулок-паутинок надеть не менее трех сортов различных шерстяных носков — коричневых, красных, зеленых, полосатых, в клеточку и в капочку.

Что касается обуви, то это должны быть, конечно, туфли, но не просто туфли, а такие кожаные или же дерматиновые сооружения, которые бы меньше всего напоминали туфли, а больше всего были бы похожи на копыта жеребенка.

После того как ваши ноги будут оформлены таким образом, вы можете быть совершенно спокойны, что ваше появление в любом общественном месте вызовет общее восхищение с примесью легкой тревоги, что, несомненно, повысит ваши шансы.

Теперь перейдем к туловищу.

## Туловище

Ни одна часть человеческого тела не приспособлена так хорошо природой для ношения вечернего туалета или мехового пальто, как туловище. Этим, собственно го-

воря, все сказано. Был бы вечерний туалет или меховое манто, а туловище найдется. Поэтому остановим внимание на вечернем туалете и шубке.

Строго говоря, вечерний туалет может быть как бог даст. Важно только, чтобы рукава были как абажуры, а юбка как можно короче. Что же касается пальто, то оно тоже может быть какое бог пошлет, но только непременно закиданное по всем направлениям хвостами. Разумеется, желательно, чтобы хвосты были черно-бурой лисицы. Но можно для оформления пальто воспользоваться и другими хвостами, лишь бы их было не менее шести-семи.

Если лично у вас или у ваших соседей, родственников и хороших знакомых имеются какие-нибудь домашние животные, — например, кошки, собачки, козы, овцы, молодые телята, — то можно смело рекомендовать их для оформления вашего верхнего платья.

Три хвоста можно пришить внизу, три хвоста — на груди, по одному хвосту — на карманах и два хвоста — на спине, между лопатками, и вы сразу же приобретете скромный, но очень элегантный вид настоящей парижанки.

Для домашних животных это будет всего лишь один короткий миг страдания, но зато вам будет, несомненно, обеспечен крупный успех в обществе, и вы достигнете своей цели.

Таким образом, покончив с туловищем, перейдем к рукам.

## Руки

Верхние конечности, или так называемые руки, являются надежными органами держания сумки и ношения перчаток.

Руки, так же как и ноги, мыть необязательно. Это отнимает много драгоценного времени. Хорошо выкрашенные ногти вполне заменяют хлопотливую мойку. Ногти можно красить в любой цвет и любой краской. Чем ярче они будут, тем больший успех в обществе обеспечен вам.

## Голова

С головой дело обстоит сложнее. Относительно практически беспокоиться не приходится. Парикмахер все сделает сам. Но, к сожалению, имеются шея и уши. Тут уж без мойки не обойдешься. Впрочем, в целях экономии драгоценного времени уши и шею можно вычистить бензином или хлебным мякишем, который отлично заменяет дефицитный ластик.

Что касается бровей, то их рекомендуется ликвидировать с корнем. Некоторые красавицы выщипывают их по волоску специальными щипчиками. Этот длительный и очень болезненный процесс имеет свое оправдание только тогда, если у вас нет под рукой керосина. Если есть керосин, то мы рекомендуем намазать брови керосином и поджечь. Также очень помогают пироксилин и охотничий порошок. Но это дорого.

На выжженном месте рекомендуется нарисовать новые брови. Очень хороший эффект дает применение гуталина. Гуталином же рекомендуется красить ресницы.

Таким образом вы подготовите базу для своего главного украшения — шляпы.

Если туфли — начало конца, то шляпа — конец начала.

Шляпу надо покупать на Тишинском рынке, причем рекомендуется выбирать сооружение, наиболее похожее на самоварную трубу. На шляпу надо также накидать несколько остатков хвостов домашних животных — и вы готовы для покорения общества и света.

В таком виде у вас есть большой шанс подцепить себе мужа.

## Заключение

Влаго на свете еще много дураков!

## С Новым годом!..

... *У* тогда поднялся советский рубль, взял в руку стакан и, одернув новенький, хрустящий пиджак, желтый, в разноцветную сетку, сказал:

— Товарищи и граждане! Позвольте и мне произнести маленькую новогоднюю речь.

— Просим! Просим! — слышались голоса.

— Внимание!

— Тише!

— Слушайте, слушайте!

Советский рубль солидно откашлялся и начал:

— Хотя я и являюсь, так сказать, представителем младшего поколения советской валюты, но в эту торжественную новогоднюю ночь мне хочется поговорить о себе. Вот вы все смотрите на меня и, наверное, думаете: «Скажите пожалуйста, какой он у нас молодой, здоровый, крепкий. Даже завидно». Не отрицаю. Да. Я действительно молодой, действительно здоровый, действительно крепкий. Больше того — я очень устойчивый и очень твердый.

Но, товарищи и граждане, прежде чем я стал таким, каким вы меня видите сейчас, мне пришлось пережить немало критических минут и тяжелых переживаний. Не забудьте, что в разгроме немецкого фашизма наряду с пушками, пулеметами, «катюшами», самолетами, винтовками принимал самое деятельное участие и советский рубль. Советский народ бил гитлеровцев, как говорится, и дубьем, и рублем. Так что я за время войны порядком таки поистрепался. Сам по себе поистрепался, да и фашистские гады не дремали. Небось знаете сами, как они меня подделывали? Иной раз смотришь на себя в зеркало и не понимаешь: это ты или твоя фальшивка?

Опять же от различных спекулянтов и кубышечников сильно мне досталось. Я люблю простор, волю, свободное обращение, а меня запихнут куда-нибудь под матрас, пока я вырасту. А какой может быть рост среди клопов и тараканов в грязной тряпке! Мне для правильного роста, если хотите знать, необходима хорошая, культурная сбе-

регательная касса. Там я действительно чувствую себя человеком — расту и развиваюсь. А в кубышке — помилуйте, разве это жизнь? В кубышке я бог знает во что превращаюсь, не валюта, а, извините за выражение, какая-то греческая драхма или фунт стерлингов! Тьфу! И до того это меня заездили всякие спекулянты и мешочники, что сказать не умею. Разве же это для уважающей себя валюты дело?

Но в самые черные дни я не терял надежды. Я знал, что советский народ меня в обиду не даст. Выручит. И действительно, я не ошибся.

Посмотрел на мое положение трудовой советский народ и сказал: «Глядите, братцы, что-то наш кровный рубль захирел, ослабел малость, шатается, того и гляди, упадет. Давайте-ка его, братцы, укреплять». А уж что советский трудящийся народ скажет, то верно.

Как прослышали спекулянты да кубышечники, что Советское правительство меня укреплять будет, свету белого неувидели. Как кинутся, пользуясь моей слабостью, в магазины — и ну покупать! Покупают, хватают, домой тащат, а чего — сами не разберут. Лишь бы чего-нибудь хапнуть.

Одна божья старушка, закоренелая спекулянтка, впопыхах в зоологический магазин заскочила и двух удавов, не торгуясь, купила и в кубышку вместо меня сунула. Дескать, пускай удавы лежат под матрасом и в цене растут.

А один старичок-мешочник два мотоцикла купил. Насилу домой доволоч. А что с ними делать — и не знает, потому что он, кроме как на крыше поезда, ни на чем ездить не ученый. Стал их запускать — так на одном горячем разорился.

А вот, например, когда я сюда, на встречу Нового года, шел, на такую картину наскочил: сидит на сугробе гражданин и плачет.

— Что с вами? — спрашиваю. — Почему плачете?

А он отвечает сквозь глухие рыдания:

— Опоздал. Тринадцать часов.

— Как, — говорю, — тринадцать часов, когда еще только половина двенадцатого?

А он плачет, разливается:

— Может, у других людей двенадцать с половиной, а у меня ровным счетом тринадцать, и не знаю, что с ними делать.

— Чего тринадцать?

— Да часов же! Часов! Тринадцать штук. Восемь будильников, четверо столовых да одни заграничные штампованные. Уже золотые до меня все расхватили. Опоздал.

— Так тебе, дураку, и надо, — сказал я. — Теперь тебе не на что и Новый год встретить. Сиди и рыдай.

И поспешил сюда.

Итак, дорогие товарищи и граждане, я очень рад встретить наступающий Новый год среди вас, умных людей, которые знают, что чем крепче и тверже рубль, тем лучше жить, тем скорее придем мы к счастливому будущему. С Новым годом, дорогие друзья! С Новым счастьем!

1947

## Ионыч из Вашингтона

**М**ногострадальную Европу постигло новое бедствие.

В Европе появилась группа бодрых американских джентльменов. Они путешествуют.

Мы знаем, что американцы любят путешествовать. И мы всячески приветствуем эту их неукротимую любовь к туризму. В самом деле, почему бы богатому, хорошо обеспеченному и не слишком обремененному работой человеку немножко не поколесить по земному шару?

Так сказать, людей повидать и себя показать!

Но, к сожалению, в данном случае к туризму — в его чистом виде — примешиваются некие элементы чисто американского бизнеса.

Упомянутые американские джентльмены являются



не просто туристами, а в некотором роде туристами политическими, так как они одновременно члены конгресса.

Как известно, им было поручено совершить поездку по Европе в целях детального изучения вопроса о потребностях Европы в соответствии с «планом Маршалла».

У почтенных туристов широкие задачи, к туризму имеющие крайне отдаленное отношение.

В странах, которые они посещают, их интересует внутренняя политика и программа, продовольствие и сельское хозяйство, уголь, рабочая сила, денежное обращение и доходы и даже такой довольно страшный для путешественников вопрос, как, например: в какой степени синтетические жиры и масла заменяют натуральные продукты?

Их самым жгучим образом интересуют вопросы:

Какое экономическое значение имеют для Голландии политические «беспорядки» в Индонезии?

Какое значение имеет для Швеции импорт из СССР?

Явилось ли предоставление кредита СССР бременем для экономики Швеции?

Каковы шансы для создания таможенного союза в Западной Европе?

Носили ли забастовки и другие волнения в промышленности главным образом экономический или политический характер?

И многое, многое другое хочется знать дотошным путешественникам-конгрессменам.

Они мыкаются по Европе из страны в страну и всюду суют свой нос.

Кое-где они ведут себя с развязностью нувориша, появившегося в универсальный магазин.

Они думают, что в Европе все продается — правительства, парламенты, президенты, политические партии, банки, акционерные общества.

Они не стесняются распекают целые нации и делают строгие выговоры народам.

Они сварливо придираются ко всему.

Увидели, что парижане сидят в кафе, и тут же по-хозяйски распекли парижан:

— Не по кафе нужно сидеть, господа, а дело делать! Так-то!

Не понравились им англичане — и они тут же понизили их в ранге:

— Вот что, дорогие союзнички, вы уже больше у нас не великая держава. Хватит. Попили нашей кровушки. Теперь походите у нас в лимитрофах.

Они строги, но справедливы. Одних они казнят, других милуют.

Увидели Голландию — понравилась Голландия. Говорят голландцам:

— Ничего! Вы нам нравитесь — здорово угнетаете свои колонии, не стесняйтесь, лупите индонезийцев! Очень хорошо. Гуд бай! Вы у нас, у американцев, заслужили. Будет вам помощь. Не сомневайтесь!

Словом, хлопот полон рот. Где уж тут думать о туризме!

Есть у Чехова прелестный рассказ «Ионыч». В нем рассказывается жизнь некоего провинциального врача Старцева.

И заканчивается этот рассказ так:

«Прошло еще несколько лет. Старцев еще больше пополнел, ожирел, тяжело дышит и уже ходит, откинув на зад голову. Когда он, пухлый, красный, едет на тройке с бубенчиками и Пантелеймон, тоже пухлый и красный, с мясистым затылком, сидит на козлах, протянув вперед прямые, точно деревянные, руки, и кричит встречным «Прррава держи!», то картина бывает внушительная, и кажется, что едет не человек, а языческий бог. У него в городе громадная практика, некогда вздохнуть, и уже есть имение и два дома в городе, и он облюбовывает себе еще третий, повыгоднее, и когда ему в Обществе взаимного кредита говорят про какой-нибудь дом, назначенный и торгам, то он без церемонии идет в этот дом и, проходя через все комнаты, не обращая внимания на неодетых

женщин и детей, которые глядят на него с изумлением и страхом, тычет во все двери палкой и говорит:

— Это кабинет? Это спальня? А тут что?

И при этом тяжело дышит и вытирает со лба пот.

У него много хлопот, но все же он не бросает земского места: жадность одолела, хочется поспеть и здесь и там...

Мы, конечно, не склонны слишком обижать дореволюционного доктора Ионыча неприятными аналогиями, но все же надо сказать, что «дядя Сэм» чем-то напоминает чеховского Ионыча.

Это Ионыч — усиленный в сто тысяч раз, дошедший до грандиозных размеров, Ионыч в мировом масштабе.

Ионыч, сидящий за океаном на своих мешках с золотом, мечтающий купить весь земной шар и всюду посылающий своих заевшихся, наглых приказчиков.

И не могу я, чтобы немножко не поправить Антона Павловича, несколько его осовременить:

«Прошло еще несколько лет после Потсдамского соглашения. «Дядя Сэм» еще больше пополнил, ожирел, тяжело дышит от высокомерия и уже ходит, откинув голову назад. Когда он, пухлый, красный, едет на «Кадиллаке» приподирающе громким клаксоном и Маршалл, тоже пухлый и красный, с мясистым затылком, сидит на козлах, положив на баранку руля прямые, точно деревянные, руки, и кричит встречным народам: «Права держи!», то картина бывает внушительная, и кажется, что едет не человек, а мешок, набитый деньгами. У него в Западном полушарии громадная практика, некогда вздохнуть, и уже есть имение в Тихом океане и страны в Европе, Азии, и он облюбовывает себе еще новые, повыгоднее, и когда ему на Уолл-стрите говорят про какую-нибудь страну, назначенную к торгам, то он без церемонии посылает туда своих конгрессменов, которые совершают путешествие по Европе не обращая внимания на голодных, оборванных женщин, детей и стариков, смотрящих на него с ужасом, и тыча во все страны палкой, говорит:

— Это Греция? Это Турция? Прекрасно. Мы это берем. А тут что? Аэродром? О'кей! А это что? Франция? Заверните! А это что, нефть? Беру.

И при этом тяжело дышит и вытирает со лба пот.

У него много хлопот дома, но он не бросает ни одной страны, которая «плохо лежит»: жадность одолела, хочется поспеть и в Западном полушарии и в Восточном».

Не правда ли, получается мило?

Говорят, что туристы «дяди Сэма» собираются посетить Советский Союз.

Почтенным туристам, вероятно, очень хотелось бы бодрым шагом пройти по нашей необъятной стране с палкой, тыкая ее в разные места:

— А здесь что? Баку? Заверните. А это Урал? Заверните! Золото? Заверните. Нефть? Заверните.

Но увы!

Завернуть наши богатства — кутеж не по карману даже для такого Ионыча в мировом масштабе, как «дядя Сэм».

И его туристам не придется говорить нам: «Заверните!»

— Заверните! — скажет им советский народ. — Заверните оглобли!

1947

## Гамлет

В те далекие времена мой друг Вася только что был принят в труппу прославленного академического театра и уже успел выступить в пьесе о Гражданской войне на массовой сцене митинга, где он стоял в толпе солдат, время от времени выкрикивая своим красивым, густым баритоном:

— Правильно! Даешы! Прррравильно!

Высокий красавец юноша, со стройной фигурой футболиста, он шел рядом со мной по улице, обнимая меня сзади за плечи и заглядывая мне в лицо своими прекрас-

ными глазами, в которых, как в зеркале, отражались неуемная жажда славы и колоссальный аппетит, который ему никогда не удавалось полностью удовлетворить. Он говорил:

— Знаешь, старик, о чем я мечтаю?

— Знаю. Ты мечтаешь съесть большую глубокую тарелку флотского борща с мясом и не менее двух порций винных отбивных.

— Это само собой. Но главное заключается в том, что и страстно мечтаю сыграть Гамлета. И не как-нибудь, а сыграть грандиозно, совершенно по-новому; дать этот классический образ в соответствии — как нас учит гениальный Станиславский — с жизненной правдой, без малейшего актерского наигрыша, безо всяких этих гамлетовских штампов — раздумий, вздохов, многозначительных пауз, шатаний, душевных колебаний и прочего.

— Ну и что же это будет у тебя за Гамлет?

— Это будет, вообрази себе, вопреки общепринятому представлению о принце Датском, совсем еще молодой человек, юноша, почти мальчишка, высокий, сильный, здоровый, со спортивной фигурой, ослепительной улыбкой: бицепсы — во! Пищеварение — во! Все время чувствует дьявольский аппетит. Любит пожрать; не дурак выпить, обожает хорошеньких девчат. Чувствуешь мысль?

Он жарко, как собака, дышал мне в лицо и заглядывал в глаза.

— Одобряешь?

— Одобряю.

— Спасибо. Будь уверен — не подведу. Такого Гамлета выдам на-гора, что публика ахнет. Главное, чтобы мне дали эту роль, а остальное пустяки...

Шли годы, и я снова встретился с моим старым другом Васькой. Теперь он уже был заслуженный артист, отращивал порядочный живот, носил бобровую шапку с традиционным бархатным верхом, но в глазах его горел прежний, знакомый мне молодой огонь дерзаний.

— Знаешь, старик, о чем я мечтаю? — спросил он после первых поцелуев и восклицаний. — Мечтаю сыграть Гамлета.

— Как! Разве ты его еще не сыграл?

— Представь себе, нет. Еще не сыграл. Не дают, черти. Приходится играть современную лабуду. Впрочем, оно и к лучшему. У меня за эти годы созрела новая, совершенно гениальная концепция Гамлета. В общих чертах: мой Гамлет — человек средних лет, плотный, но по-прежнему красивый, с легкой проседью на висках, с довольно заметным брюшком, не дурак выпить и закусить, женат, но между нами, не прочь поволочиться за хорошенькой женщиной... Ну, как тебе нравится?

— Прелестно.

— Благословляешь?

— Благословляю. Валяй!

Через некоторое время мы снова встретились. Васи с одышкой, медленно шел по улице, распахнув шубу, но в глазах его я уловил следы бывшего энтузиазма.

Мы расцеловались.

— Как живешь, Вася? Что играешь?

— Живу недурно, а играю... — он тяжело вздохнул, — все ту же современную лабуду. Но знаешь, о чем я мечтаю?

— Знаю. Ты мечтаешь сыграть Гамлета.

— Да, но какого Гамлета!

— Догадываюсь. Гамлета — человека средних лет с солидным животиком...

— А вот и не угадал. Мой Гамлет будет совсем другой, необычный. Пожилой, умудренный житейским опытом, с одышкой...

— Не дурак выпить и закусить, — вставил я.

— Ни в коем случае, — сказал Вася. — Строжайшая диета. Алкогольного ни капли. Черный кофе отпадает совершенно. Курить — ни-ни-ни!

— Не прочь поволочиться за хорошенькой женщиной, — игриво заметил я.

— А вот и нет, — со вздохом ответил Вася. — Только в самом исключительном случае. Носит очки, принимает на ночь легкое успокоительное... Чуешь? Это будет грандиозный Гамлет. Публика ахнет!

— Здорово, Вася. А я было тебя и не узнал. Ну как живешь, что играешь, о чем мечтаешь?

— Играю лабуду, а мечтаю сыграть Гамлета. Совсем по-новому. У меня, брат, Гамлет задуман так: старик. Уже на пенсии. Жена — ведьма. Дети — хамы. Перенес дни инфаркта. Ходит с палочкой.

— Не дурак выпить, — вставил я.

— Да, но исключительно валокордин, — со вздохом сказал Вася.

1970

## История шедевра

Писатель Игнатий Пуделякин поставил точку и, не теряя золотого времени, позвонил в издательство.

Через пять минут курьерша уже мчалась вскачь на директорской «Волге» и вскоре привезла в издательство творение романиста. Директор прочитал заглавие «Овсы цветут», взвесил манускрипт на ладони и, убедившись, что он тянет не менее шести килограммов, кисло улыбнулся, однако спохватился и тотчас изобразил на лице величайшее почтение: автор принадлежал к числу тех, кому палец в рот не клади.

— Немедленно в производство, — сказал директор, вручая «Овсы цветут» секретарше.

И машина закрутилась.

Рецензенты, которые так же, как директор, хорошо знали, что Пуделякину палец в рот не клади, в экстренном порядке строчили хвалебные отзывы. Редакторы, не

жалая сил, правили рукопись: сглаживали шероховатости и ухабы пуделякинского стиля, а также исправляли орфографические ошибки и уточняли знаки препинания, подготавливая пуделякинский шедевр к наибыстрейшему появлению в свет. Линотиписты набирали текст, корректоры потели над гранками, метранпаж верстал страницы. Калькулятор калькулировал, бухгалтерия выписывала. Со складов в типографию волокли многотонные тюки бумаги — тираж романа был астрономический, так как все знали, что автору палец в рот не клади. Машины печатали, брошюровали, переплетали, укладывали в пачки; грузовики, поезда, самолеты и прочие виды современного транспорта развозили по городам и весям нашей необъятной страны шедевр Пуделякина «Овсы цветут». Полки в книжных магазинах ломились от упомянутого романа, взмыленные критики сочиняли восторженные рецензии, ибо так же, как и все другие, хорошо усвоили, что Пуделякину палец в рот не клади. И так далее, и так далее.

Одни только посетители книжных магазинов, по-видимому, не боялись за целостность своих пальцев и равнодушно проходили мимо великого творения Пуделякина, не выражая ни малейшего желания приобрести классическое произведение.

Прошел год, и выяснилось, что многотысячный тираж «Овсов» не распродан. Что тут делать? Пришлось принимать меры. И вот машина снова завертелась.

Все виды транспорта со всех концов нашей необъятной страны повезли нераспакованные тюки популярного произведения на бумажную фабрику. Здесь быстро и ловко пустили его под нож, превратили в бумажную массу, а затем при помощи волшебной химии сделали из этой массы довольно большое количество хорошей, чистой белой печатной бумаги, которую тут же и доставили по разнарядке в типографию издательства.

А как раз к этому времени писатель Игнатий Пуделикин поставил точку и, не теряя золотого времени, позвонил в издательство:

— Можете меня поздравить. Закончил.



Директор побледнел.

— Что закончили?

— Известно что. Новый роман. Называется «Дубы шумят». Как у вас насчет бумаги?

— Бумага есть, — пролепетал издатель, твердо усвоивший, что Пуделякину палец в рот не клади. — Только что привезли большую партию.

— Это хорошо, что большую партию, — сказал Пуделикин строго. — Так присылайте за рукописью.

— Слушаюсь...

Через три минуты курьерша уже мчалась на директорской «Волге» и вскоре привезла в издательство солидную рукопись романа «Дубы шумят» — пуда на полтора весом.

Директор вытер слезы и сказал секретарше, вручая ей роман маститого автора:

— Немедленно в производство.

И машина закрути...

1970

## Обезьяна

— ... *Н*апример, обезьяна. Вслушайтесь! Не правда ли, какое странное слово: о-безь-я-на? Оно как-то не свойственно русскому языку. Обезьяна. Не по-русски. И, главное, трудно понять, откуда оно взялось. Я, конечно, далеко не филолог, но странно. Довольно странно-с.

Юрий Олеша сидел за столиком в «Национале», окруженный своими поклонниками, и произносил очередной монолог. Маленький, с серыми пронзительными глазами, растрепанный, с прекрасным выдающимся подбородком и скульптурным лбом великого мыслителя.

— Вы улавливаете мою мысль? — спросил он.

— Улавливаем, но не вполне, — хором сказали поклонники.

— Отлично. Тогда сделаем филологический экскурс. Как будет обезьяна по-английски? Манки. По-французски — санж. По-немецки — аффе. Ничего общего с рус-

ским словом «обезьяна». Однако мне кажется, друзья мои, что я открыл происхождение этого слова. Я совершенно, подчеркиваю, СОВЕРШЕННО, уверен, что оно происходит или, вернее, когда-то произошло от французского слова «обеиссан», что значит по-русски «послушный».

Глаза Олеси вспыхнули.

— Маленький, похожий на человека, послушный зверек! — воскликнул он с пафосом. — Нет, нет, я говорю совершенно серьезно. Для того чтобы это понять, не надо быть, господа, филологом, а надо иметь хоть немного воображения. У вас есть воображение? — спросил он поклонников.

— Есть, — неуверенно ответили поклонники.

— Прекрасно. Тогда вообразите себе древнюю Москву, часть которой мы видим в окно кафе. Кремлевские башни, бойницы, золотые купола. Вообразите себе дворец царя Алексея Михайловича, и вот в парадные палаты, низко кланяясь, входят в шелковых, атласных или глазетовых камзолах заморские гости с подарками. Кто-то из них ведет на серебряной цепочке забавного зверька — карикатуру на человечка, как бы одетого в шубку с енотовой пелеринкой. Зверек скалит зубы и раскланивается на все стороны, жеманно приседая. Русские придворные восхищены, добрый царь Алексей Михайлович благостно улыбается, поглаживая каштановую бороду, однако все как бы опасаются невиданного зверя, боятся к нему приблизиться: не кусается ли? «Господа, не бойтесь, — говорит по-французски поводырь диковинного зверька. — Он добрый. Он не кусается. Его можно погладить. Он послушный. Он ОБЕИССАН».

— Обеиссан! Обеиссан! — весело говорят друг другу придворные бояре и осторожно гладят зверька. Он на самом деле совсем «обеиссан». И вот французское слово «обеиссан» порхает по царским расписным хоромам, переходит из уст в уста, пока французское «обеиссан» не превращается в русское «обезьян». Он хороший. Он не кусается. Он послушный. Он обезьяна.

# Остров Эрендорф





# I. Профессор Грант делает открытие

Ровно без двадцати семи минут восемь

профессор геологии Грант в последний раз повернул ручку своего замечательного арифмометра. Он написал мелом на большой классной доске, висящей справа от его письменного стола, десятичную дробь, похожую по количеству нулей по меньшей мере на велосипедные гонки, и опустил на глаза темные очки-консервы.

Холодный пот покрывал его высокий лоб. Он пробормотал:

— Нет, этого не может быть. Я, вероятно, ошибся.

За тонкими сквозными жалюзи начиналась нежная музыка утра.

Два воробья, сидевшие под окном на ложноклассической лозе винограда «изабелла», трижды чирикнули: чвиу, чвиу и еще раз чвиу, а затем, вспорхнув, улетели.

Во дворе фермы струя воды твердо била в жестяное ведро.

— Надо проверить вычисления, — громко сказал профессор Грант и, подняв консервы на лоб, снова завертел ручку арифмометра, нажимая на цифры клавиатуры и поворачивая рычажки.

Лампа над столом, как бы утомленная бессонной ночью, слабо и ровно горела под густым оранжевым колпаком.

Здесь будет вполне уместно сказать читателю несколько слов по поводу авантюрного романа вообще и этого в частности.

Прочитавши с первых строк о престарелом профессоре, который производит какие-то очень сложные вычисления, затем взволнованно трет седеющие виски большим профессорским платком, читатель, конечно, имеет полное право отнестись к моему роману скептически и бросить его читать с первой же страницы. Возражать против этого трудно. Разумеется, читатель уже наперед знает, что профессор делает гениальное открытие, которое должно облагодетельствовать человечество. Конечно, негодяи похищают формулы и чертежи, заготовленные простодушным ученым в одном экземпляре. Затем жених профессорской дочки дает торжественную клятву, что он, хотя бы ценой собственной жизни, достанет вышеупомянутые чертежи, нежно прощается с невестой, залезает в первый, подвернувшийся под руку, дирижабль и начинает преследовать преступников. В дальнейшем происходит целый ряд совершенно необыкновенных приключений на суше, на воде, под водой и в воздухе, и приблизительно через десять печатных листов читатель приходит к развязке, соответствующей национальности и вкусам автора.

Англичанин сажает негодяя в тюрьму, женит храброго молодого человека на профессорской дочке, а самого престарелого ученого окружает почетом и уважением, если, конечно, его изобретение не идет вразрез с семейными традициями и социальными устоями доброй, либеральной Британии. Француз заставляет негодяя, похитившего чертежи, обольстить профессорскую дочку, благородного молодого человека — застрелиться, а профессора — спешно сойти с ума и поджечь свою дачу. Веселый американец неизбежно пользуется приемом неожиданной развязки, и совершенно подавленный читатель в двух последних страницах, к ужасу и удивлению, узнает, что профессор — вовсе не профессор, а каторжник, бежавший двадцать лет тому назад из пересыльной

гюрмы в Вальпараисо; дочь профессора — переодетый сын президента, скрывающийся от кредиторов; благородный молодой человек — дочь нефтяного короля, а украденные чертежи — преискурант большого ателье готового платья (Нью-Йорк, 124-я авеню, цены вне конкуренции, приезжим 60% скидки). Русский автор вообще не кончает романа и, получив от доверчивого издателя небольшой аванс, четыре дня подряд ездит на извозчике в совершенно пьяном виде и потом долго судится с правлением какого-нибудь треста за разбитые стекла первого этажа.

Ничего исключительного читателям своего романа и не обещаю. Предупреждаю откровенно. Однако считаю долгом заметить, что все изложенное ниже есть чистейшая правда, и профессор Грант, проживавший на уединенной ферме, в двадцати милях к северу от Нью-Линкольна, одного из самых значительных научных центров Соединенных Штатов Америки и Европы, действительно сделал необыкновенное открытие.

...В шестнадцать минут первого проверка вычислений была кончена. Ошибки не было.

Профессор Грант потер ладонями виски и утомленными глазами уставился на доску, где была написана десятичная дробь.

— Вычисления правильны с точностью до нуля целых одной сотысячной, — сказал профессор. — Вычисления правильны. Нет никаких сомнений.

Грант быстро потер руки и забегал по кабинету. Затем он трижды хлопнул в ладоши.

Дверь шумно отворилась, и в комнату вошел лакей-негр.

— Душ, — коротко сказал Грант.

Лакей улыбнулся так широко, что в комнате стало светлей на сто пятьдесят свечей, и быстро распахнул жалюзи, впустивши в комнату большую свежую партию ут-

ренного света и коровьего мычания, погасил лампу и поставил на полу походный гуттаперчевый таз.

Грант скинул халат и не без гордости похлопал себя по седеющей груди.

— Ну, старина Том, сегодня большой день. Твой хозяин сделал замечательное открытие.

С этими словами Грант стал под блестящий сноп ледяной воды, ударившей из гуттаперчевой лейки, подвешенной над тазом. Он закудахтал, захлебываясь от удовольствия.

— Довольно, довольно!

Лакей потянул за шнур и выключил душ. Он накинул на профессора махровую простыню и стал растирать своего господина до тех пор, пока тот не расцвел, как георгин.

— Хватит. Можете идти. Передайте мисс Елене, что я жду ее к завтраку на теннисной площадке.

Лакей вышел. Профессор Грант привык одеваться сам.

Через три минуты он был готов.

Мисс Елена Грант удачно отбила драйф своего партнера, поправила голой до локтя рукой рыжеватые волосы, выбившиеся из-под пикейной шапочки, постукала ракеткой по туго натянутой сетке и, поймав с лету подряд два мяча, сказала:

— До свидания, Джимми. На сегодня — все.

Джимми сошел с площадки и сунул голову под садовый кран.

Когда его голова из белой сделалась черной, он туго выкрутил налипший на лоб чуб, покачался на одной ноге, подхватил мизинцем за вешалку фланелевый пиджак, брошенный в траву возле садовой бочки, перекинул его через плечо, сказал «ол райт» и, насвистывая канадскую песенку, скрылся в зелени.

Мисс Елена не более минуты смотрела ему вслед, жмуя от солнца золотые глаза, потом подняла маленький, короткий подбородок, повернулась на каблуках и побе-



жала навстречу отцу, который шел, потирая руки, к столу, накрытому под красным полосатым зонтиком.

— Дочь моя, — торжественно сказал профессор Грант, с аппетитом принимаясь за еду, — сегодня большой день. И бы сказал, очень большой день. Сегодня твой отец сделал удивительное открытие.

— Надеюсь, ты не имеешь в виду моих отношений с Джимми?

— Нет, этого я не имею в виду. Но зато я имею в виду отношение вулканического процесса к поверхности земной коры, — торжественно заметил Грант.

— Да, — сказала Елена.

— За последние пятьдесят лет, как тебе, вероятно, известно, наша планета находится в процессе постоянных и очень значительных геологических изменений.

— Да.

— Подвинь мне, пожалуйста, яичницу. Пятьдесят лет тому назад с корой земного шара начали происходить удивительные вещи. Не то в тысяча девятьсот двадцать первом, не то в тысяча девятьсот двадцать пятом году в Азии произошел целый ряд существенных изменений земной поверхности. Так, например, чуть не была уничтожена Япония; сильные колебания почвы наблюдались в Туркестане, в Южной Индии и Цейлоне.

— Да.

— Ученые того времени не обратили достаточного внимания на эти явления. Но я, посвятивший всю свою жизнь геологическим изысканиям, не так давно установил связь между этими еще слабыми фактами и несомненным перерождением поверхности всего земного шара. Наблюдение целого ряда записей точнейших сейсмографов и сопоставление этих записей с научными данными прошлого века дали мне основание заключить, что легенды о всемирном потопе и об Атлантиде имеют под собой вполне научную почву. Ты меня понимаешь?

— Да.

— Отлично. Налей мне полстакана бордо. Спасибо. Итак, я продолжаю: сегодня великий день. Сегодня мне

удалось вычислить с точностью до нуля целых одной стотысячной время и место начала грандиозных геологических изменений, которые должны затем пройти по всей коре земного шара ровно через месяц от сегодняшнего дня. Катастрофа будет грандиозной...

Грант выпил глоток вина, и глаза его под темными консервами сверкнули восторгом вдохновения.

— Перерождение коры земного шара будет колоссальным. Оно начнется у Южного полюса и захватит Южную Америку и Австралию. Эти материки опустятся в океан. Вслед за ними в океан опустятся Азия и Европа, а также Африка и Северная Америка. Это будет нечто более грандиозное, чем всемирный потоп. Вода ринется на сушу. На месте океана поднимутся новые материки... История человечества вступит в новую фазу. И все это предсказываю с точностью до нуля целых одной стотысячной и, профессор геологии Арчибальд Грант, десятого сего мая. Ну, как тебе это нравится, девочка?

На этот раз она не сказала своего обычного «да».

— Триумф, триумф! — Грант вскочил с соломенного кресла.

Он поднял на лоб консервы.

— Имя профессора Арчибальда Гранта войдет в историю человеч...

Он осекся.

Прямо перед собой он увидел гипсовое лицо дочери. Ее глаза, полные стеклянного ужаса, были неподвижны.

— Елена! Что с тобой? Ради бога...

Губы Елены слабо зашевелились:

— Надеюсь... ты шутишь?

— Ну вот, — смущенно забормотал профессор, я никак не мог предполагать, что тебя могут до такой степени растрогать научные успехи твоего отца.

— Отец... Подумай, что ты сказал!.. Изменение поверхности... всего... земного шара...

— Ну, стоит ли из-за этого расстраиваться? Каждый десять-пятнадцать миллионов лет происходят подобные рода неприятности.

Елена залпом выпила стакан воды и горько заплакала.

— Значит... ровно через месяц... мы все... погибнем?

— Погибнем?

Профессор Грант задумался, опустил со лба консервы, потер переносицу и растерянно произнес «гм».

— Похоже на то... — наконец пробормотал он.

Косая морщина легла над его переносицей. Он ужаснулся. Вспотел. Покрылся смертельной бледностью.

— Подожди... Этого не может быть!

С этими словами он бросился к дому, размахивая салфеткой и сбивая башмаками пестрые наперстки еще не вполне распустившегося мака, растущего на лужайке.

— Этого не может быть, — сказал он и бешено завертел ручку арифмометра, нажимая цифры клавиатуры и поворачивая рычажки.

## II. Преимущество Пейча перед Матапалем

Два самых влиятельных человека в мире, в двух частях Нью-Йорка, были заняты делом.

Пейч чистил трубку.

Матапаль слушал доклад второго секретаря.

Пейч был руководителем стачечного комитета Объединенного союза рабочих тяжелой индустрии Соединенных Штатов Америки и Европы.

Матапаль был Матапаль. Другого определения его социального положения нет. При отсутствии фантазии его можно было бы назвать королем. Но король — это понятие слишком неопределенное. Королем можно быть по рождению и продолжать какую-нибудь захудалую династию. Но Матапаль не был продолжателем династии, если, конечно, не считать династией союз гуталинового короля Матапаля и королевы экрана Настурции Джимперс.

Королем можно быть по роду торговли.

Например: свиным королем, или нефтяным королем, или чем-нибудь в этом роде. Но непосредственно у Матапаля не было ни достаточного количества свиней, ни

нефтяных промыслов. Финансовым королем Матапалья тоже нельзя было назвать, потому что фактически у него не было ни одного банка.

И тем не менее Матапаль был королем.

Он был королем королей. И если бы поставить всех королей по рождению друг на друга, на них поставить королей по профессии, для полного ансамбля прибавить к ним наиболее добросовестных королей экрана и королей биржи (я не буду говорить о шахматных королях, королях бокса, королях мод, королях взломщиков и прочей мелочи), то получился бы такой столб, что самый верхний король мог бы свободно сбросить пепел своей сигары в первый попавшийся под руку лунный кратер.

И всей этой кучей королей владел Матапаль Второй, сын Матапалья Первого, гуталинового короля, и королевь экрана Настурции Джимперс.

Кажется, на месте Матапалья можно было бы себя чувствовать весьма недурно и даже изредка позволять себе скромные развлечения.

Однако не было в мире человека так бешено занятого, как он.

Все его время было размечено по хронометру.

От двадцати двух минут первого до трех минут второго он выслушивал ежедневный доклад второго секретаря.

— Продолжайте, — сказал Матапаль второму секретарю, подставляя кончик папиросы под огонек, вспыхнувший в пальцах предупредительного лакея. — Я вас слушаю.

Второй секретарь Матапалья, стоивший не менее двадцати миллиардов долларов, пожилой господин, по слухам, владеющий Австралией и половиной Китая, вынул из коробочки ментоловую лепешку и положил ее под язык, которому не хватало порции зеленого горошка, чтобы быть похожим на большой кусок свежей ветчины.

Он сказал:

— Генеральные маневры наших соединенных эскадр Тихий океан.

— Прощу вас, — наклонил голову Матапаль.

Второй секретарь подошел к распределителю, нажал

кнопку ЗВ, и вслед за тем небольшой алюминиевый экран над бюро Матапалья осветился фиолетовым светом. По экрану побежала мраморная морская зыбь. Обозначились клубы пушечного дыма. Из трубы микрофона слышались микроскопические раскаты орудийной пальбы. Ветер отнес пушечный дым влево. Не менее двухсот линейных кораблей, выстроенных в восемь кильватерных колонн, четко проявились на игрушечной ряби океана. Туча угольной черноты лежала в небе над маленькими уютжками кораблей. Волны под ними лоснились от сажи, отливая стальным блеском. Внезапно по всем бортам пробежали красные язычки. Дым заволок все, и через минуту сквозь дым высоко вверх взлетели сотни ко-рых гейзеров. Трубка микрофона выплюнула гул залпа.

— Достаточно, — сказал Матапаль, — дальше.

Второй секретарь выключил экран.

— Сто восемьдесят линейных кораблей, — сказал он. — Такое же количество, не позже чем через месяц, выйдет из доков.

— Можно ли ручаться за команды?

— Двенадцать тысяч моряков вполне надежны. Двенадцать тысяч колеблющихся. Остальные...

— Я вас слушаю.

— Остальные опасны.

Матапаль положил ноги, обутые в грубые, но страшно дорогие башмаки, на ручку кресла. Кресло бесшумно повернулось на винте.

Матапаль помолчал.

— В вашем распоряжении одиннадцать минут, — сказал он. — Продолжайте.

Второй секретарь подошел к распределителю. В течение пяти минут Матапаль увидел маневры танков, эволюции восьми эскадрилей истребителей, испытание недавно введенных в армии магнитных волн, останавливающих на расстоянии моторы и парализующих железные механизмы. Он увидел маневры двенадцати армий, спускающихся в разных частях земного шара. Горные пушки, с забавными ящичками, прыгали по морщинам

Гималаев. Автомобили, как гусеницы, переползали через Сахару, и колониальные пехотинцы в белых тропических шлемах вязли по колено в желтеньком песочке возле пирамид. Пехотные цепи синих французов катились через зеленые лужайки Эльзаса, и дым походных кухонь смешивался с белым цветом яблонь.

— Довольно, — сказал Матапаль. — В вашем распоряжении осталось еще четыре минуты, и я хочу видеть доки.

Второй секретарь подошел к распределителю.

— Доки Реджинальд-Симпля. Десяносто линейных кораблей. Шестьдесят тысяч рабочих. Работа производится в две смены круглые сутки.

Второй секретарь нажал кнопку. На экране возникло предместье Реджинальд-Симпля. Среди серых кубов домов и труб, транспарантов, кабелей, черепичных крыш, стеклянных и стальных стен легко и воздушно стояли бронзовые решетки доков и грациозные конструкции кранов. Второй секретарь повернул рычаг, и панорама местности легко и неторопливо поплыла перед глазами Матапалья.

Вдруг Матапаль быстро перебросил ноги с ручки кресла на пол, и его затылок побагровел.

— Что это значит?

Второй секретарь приподнял левую бровь.

— Дым... что это значит? Трубы...

Матапаль бросился к распределителю и остановил движение панорамы.

— Я не вижу дыма. Я не вижу движения людей. Я не вижу работы. Что это значит?

Второй секретарь кинул в рот две лепешки и кончики мизинцев тронул седеющие виски. Он не шевелился.

— К черту лепешки!.. — завизжал Матапаль. — Говорите, что это значит?

Второй секретарь быстро выплюнул лепешки в руку и пробормотал:

— Мы не предвидели... Мы не предполагали... что они пойдут на это...

— Вы не предполагали? — грозно воскликнул Матапаль.

— Но Галифакс гарантировал...

— Галифакс осел и негодяй! Но куда смотрели вы, милостивый государь? И почему я не был своевременно поставлен об этом в известность?

— Я был в полной уверенности, что Галифакс...

— Довольно! Оставьте свои оправдания при себе. Срок нашего доклада истек. Но, ввиду важности событий, я даю вам лишних десять минут. Их требования? В двух словах.

— Они требуют всеобщего разоружения, восьмичасового рабочего дня и всех политических прав.

— О! И вы молчали?

— Я не предполагал, что дело может зайти так далеко. Кроме того, Галифакс...

— Еще одно упоминание о Галифаксе, и я прикажу моему лакею ударить вас по щеке. Кто организатор?

— Стаечный комитет Объединенного союза рабочих тяжелой индустрии.

— Руководитель?

— Пейч.

— Число бастующих? Список предприятий? Проект ликвидации? Через полчаса они должны быть у меня на столе. Я не задерживаю вас больше.

Второй секретарь взялся было за коробочку лепешек, но рука его повисла в воздухе. Он быстро повернулся и вышел из комнаты.

— Сегодня приема не будет! — крикнул Матапаль ланно. — Оставьте меня одного. Ступайте.

Оставшись один, Матапаль некоторое время смотрел на экран, на котором стояла разноцветная панорама дока. На широких заводских дворах, заваленных грудями ржавого железа, было пустынно. Воздух, обыкновенно пропитанный дымом тысяч труб, был удивительно чист и прозрачен. Вон через дорогу переходят двое детей — мальчик и девочка. Вероятно, школяры.

Матапаль повернул ухо к микрофону и прислушался. Сладкий, тонкий, смутно знакомый звук поразил его слух.

Он, этот звук, как будто тянулся тончайшим золотым волоском, легкой вибрирующей трещиной.

— Ставлю сто против одного, что это поет петух.

Матапаль выключил панораму, подошел к окну и закурил египетскую папиросу.

— Да, — сказал Матапаль, — это поет петух, и борьба только начинается.

Вдруг он побагровел и топнул ногой.

— Галифакс, Галифакс... хотя бы тысяча Галифаксов... Нет, положительно, человечество слишком заражено этими опасными бреднями прошлого века. Достаточно и того, что над ними висит дамоклов меч СССР, притягивающий к себе больше половины земного шара! Человечество заражено гангреной. Человечество требует немедленной и серьезной операции. И я ее произведу. Довольно.

...Пейч в последний раз покрутил в мундштуке трубки раскаленной проволокой, внимательно посмотрел его на свет и, оставшись вполне довольным, ввинтил мундштук в чубук. Он растер на ладони немного кепстена, подсыпал из холщового мешочка друма, пересыпал смесь в другую ладонь и, не торопясь, набил трубку. В его распоряжении оставалось добрых полтора часа. Он вынул из кармана зажигалку, со свистом провел колесиком по зубчатой коже большого пальца и закурил.

— Посмотрим, — сказал он задумчиво. — Посмотрим. На нашей стороне хотя бы уже то преимущество, что мы можем бороться, не выходя из своих квартир.

### **III. 11° 8' восточной долготы и 33° 7' южной широты**

Елена бесшумно вошла в кабинет отца. Она остановилась на пороге и взялась рукой за косяк двери. Ее заплаканное лицо было припудрено.

Карты обоих полушарий были разостланы на полу, и профессор Грант ползал на четвереньках по желтым ми



терикам, поминутно роняя в синие океаны свои очки-консервы и поворачивая голову к черной доске, сплошь испещренной косыми колонками цифр.

Он держал в руках громадный красный карандаш.

Урча, как собака, которая гложет кость, он деловито перечеркивал красными крестами острова и материки и над перечеркнутыми местами ставил загадочные знаки.

— Отец, — тихо сказала Елена.

Профессор Грант продолжал свое странное занятие.

— Отец! — Елена повысила голос. — Отец! Что это значит?

Профессор Грант зачеркнул Африку, тщательно справился с записью на доске, аккуратно записал над крестом цифру и, подняв упавшие консервы с острова Елены, пробормотал:

— Да... В чем дело? Ах, это ты! — Он наконец заметил дочь. — Ах, это ты, Елена! Видишь ли...

Профессор Грант виновато надел очки, почесал себе переносицу и растерянно покашлиал.

— Видишь ли, Елена... Мои вычисления оказались совершенно правильными. Человечество обречено, но...

Проблеск легкой надежды пробежал по лицу Елены.

— Но? — воскликнула она. — Что «но»?.. Ради бога...

— Но дело в том, что я сделал новое поразительное открытие. Садись сюда, я сейчас тебе все объясню.

Елена прошла через Северный полюс и села на Францию, поставив ноги на Атлантический океан.

— Да, — сказала она, обхватив колени маленькими круглыми руками.

Профессор Грант стал на колени, уронив при этом очки в Сахару, и торжественно потряс над головой красным карандашом.

— Мы спасены! Слушай меня внимательно.

И профессор Грант объяснил своей дочери все.

Он ползал по Северному и по Южному полушариям, деловито размахивая карандашом, сыпал цифрами и

формулами, ронял и вновь поднимал очки, задыхаясь от нетерпения и восторга.

Наконец он сказал самое главное:

— Перерождение земной коры начнется у Южного полюса и захватит Южную Америку и Австралию. Эти материки опустятся в океан. Гм... Отлично. Я их зачеркиваю. Дальше. Я зачеркиваю Азию, Европу, Северную Америку и Африку. Попутно мы зачеркнули острова и архипелаги. Гм... Что же мы видим?..

Елена приложила платок к глазам.

— Кажется, больше мы уже ничего не видим, — пробормотала она.

Профессор Грант сидел на корточках среди обреченной планеты и победно помахивал карандашом, как указкой во время сенсационного доклада в большой аудитории Нью-Линкольнского географического общества.

— Итак, милостивые государи, — продолжал профессор Грант, все более и более воодушевляясь, — вулканическая волна, пройдя по обоим полушариям, совершила коренные изменения в поверхности земной коры. Все старые материки ушли под воду, и начинают возникать новые материки. Но, господа! Я сказал, что под воду ушли все материки, архипелаги и острова. Это не совсем точно. Одна точка земного шара, а именно точка на пересечении одиннадцати градусов восьми секунд восточной долготы и тридцати трех градусов семи минут южной широты, останется вне сферы влияния геологических изменений. Таков результат анализа самых точных сейсмографических записей за последние пятьдесят лет.

Профессор Грант поднял консервы на лоб, громко высморкался, прошелся взад и вперед на четвереньках по Африке и, остановившись перед дочерью, продолжал:

— Теперь посмотрим, милостивые государи, что, собственно говоря, находится на пересечении вышеупомянутой долготы и широты? Вообразите себе — там находится Атлантический океан. Теперь, господа, попрошу вас взглянуть на эту карту. Вот одиннадцать градусов ю семь секунд восточной долготы.

Карандаш профессора Гранта пополз по меридиану через океан.

— Итак, милостивые государи, нам нужно найти тридцать три градуса семь минут южной широты.

Елена легла животом на экватор и, найдя искомую широту, повела нежным пальцем с розовым лаковым ноготком по Атлантическому океану.

Карандаш профессора и мизинец дочери столкнулись.

— Остров! — воскликнула Елена.

Профессор Грант обвел красным карандашом маленькую, еле заметную точку на карте и торжественно встал во весь рост.

— Да, милостивые государи, — сказал он. — Остров! Не материк, не полуостров, не плоскогорье, не бассейн, а именно небольшой круглый типичнейший океанский остров, в десять километров ширины и пятнадцать длины. И вот этому-то одному острову и суждено остаться невредимым.

Елена вскочила на ноги.

— В таком случае мы не можем терять ни минуты. Мы должны немедленно ехать на остров!

Профессор Грант поднял вверх карандаш.

Спокойствие, дитя мое. Прежде всего — спокойствие. Не считая сегодняшнего дня, в нашем распоряжении остается еще тридцать дней, и я должен успеть сделать доклад в геологическом обществе.

— Но это безумие!

— О!

Профессор не находил слов. Назвать безумием доклад в геологическом обществе!

— Елена! Ты позволила себе оскорбить наиболее уважаемую научную ассоциацию Штатов, насчитывающую шесть с половиной тысяч избранных представителей ученого мира, среди которых я с уважением могу назвать имена профессора Опопанакса, создателя бессмертной теории происхождения пород розового гранита в Гренландии, и французского ученого О-де-Колона, автора

громадного ученого труда о поверхности задней стороны Луны.

Елена сердито топнула ножкой.

— Ты не будешь читать доклад в геологическом обществе. Мы должны немедленно ехать на остров.

Профессор Грант с удивлением посмотрел на дочь.

Ее губы были плотно сжаты, а глаза решительно сверкали.

— Мы немедленно едем на остров!

Профессор Грант провел рукой по лбу.

— Меня удивляет твой тон, — сказал он нерешительно. — Я никогда не предполагал, что у моей единственной дочери такой отчаянный характер. Но пойми же, дитя мое, что прежде всего я должен исполнить свой долг перед наукой, а уже потом заботиться о себе. Завтра же я буду делать доклад.

Елена посмотрела на него ледяными глазами.

— Другими словами, ты хочешь, чтобы мы погибли?

— Нет, я этого не хочу. Повторяю: в нашем распоряжении имеется тридцать дней. Я сделаю доклад, и мы сейчас же отправимся на остров.

— Тогда уже будет слишком поздно, — спокойно сказала Елена.

— Но повторяю, что в нашем распоряжении...

— В нашем распоряжении не останется ни одной каюты на пароходе, ни одного местечка на палубе, ни одного аэроплана, ни одной моторной лодки, ни одной яхты, ни одной шлюпки, ни одного куска гнилого дерева, на котором мы могли бы добраться до острова. Не пройдет и минуты после твоего доклада в геологическом обществе, как население всего земного шара ринется на остров. Это будет в сто раз страшнее великого переселения народов. Обезумевшие люди бросят города и села и лавой потекут к берегам океанов, все сметая на своем пути. Наиболее сильные захватят корабли и летательные машины. Возле каждой лоханки произойдут кровопролитные бои. Миллионы слабых погибнут. Миллионы наиболее сильных захватят остров. Но разве сможет этот крошечный клочок

земли вместить такое громадное количество людей? Об этом смешно говорить. Это будет небывалая катастрофа, и мы первые погибнем в толпе обезумевших людей вместе с твоим уважаемым профессором Опопанаксом и не менее уважаемым французским ученым О-де-Колоном.

— Черт возьми! — растерянно пробормотал профессор Грант. — Но в таком случае что же делать?

Елена на минуту задумалась.

Из окна доносился чудесный запах свежих майских роз, полных золотых пчел.

Елена тряхнула головой.

— Я знаю, что нам надо делать. Пока ни один человек не должен знать о твоём открытии. Сегодня же вечером мы едем в Нью-Йорк.

— В Нью-Йорк?

— Да, в Нью-Йорк. Другого выхода нет. Причем о нашем отъезде решительно никто не должен знать.

В коротких словах Елена рассказала отцу все, что она придумала.

Профессор Грант утвердительно кивнул головой.

— Да, дитя мое, — сказал он. — Ты права. Это единственное, что я могу сделать.

Было шесть часов вечера. Нью-Йоркский экспресс отходил в семь часов двадцать пять минут.

— Мы возьмем с собой только самое необходимое, — сказала Елена. — Хорошенько спрячь свои бумаги с вычислениями. Это самое главное. Об остальном позабочусь я.

Елена подошла к отцу и положила свою золотую голову на его плечо, посыпанное легкой серебристой перхотью.

Профессор Грант взял в руки ее теплое, кроткое лицо и нежно поцеловал в лоб. На его глаза навернулись слезы.

— Итак... — сказал он, но волнение перехватило его горло.

— Мы начинаем... новую жизнь... отец.

С этими словами Елена решительно вышла из комнаты.

#### IV. Гибнущая репутация Вана

Через двадцать минут профессор Грант и Елена, одетые в дорожные костюмы, вышли из ворот фермы. Их никто не увидел.

Лакей играл с шофером в карты, сидя в траве у гаража. Садовник Свен окапывал яблони в самом отдаленном углу сада. Повар бранился с экономкой в кухне.

Возле бара «Хромой фонарь» стояло такси. Шофер в косматой кофте и вишневых крагах, с очками, поднятыми над козырьком кепи, задрал голову, вливал себе в горло яблочную настойку. Хозяин бара стоял в дверях с метелкой из куриных перьев и зевал во весь рот, поглаживая фартук.

— Добрый вечер, господин профессор, — сказал хозяин бара. — Ставлю сто против одного, что бездельник шофер такси не заработает на вас ни одного цента. Ваш «Форд» славится во всем округе.

— Добрый вечер, мистер Бобс, — любезно ответил профессор Грант, — можете считать себя проигравшим. — С этими словами профессор Грант влез в такси.

Шофер кинул в стакан монету, а стакан кинул хозяину бара. Потом надел рукавицы и завел мотор.

Елена вынула из кармана письмо и протянула его мистеру Бобсу.

— Если вам не трудно, передайте это письмо завтра сыну архитектора — Джимми.

Она быстро вскочила в автомобиль.

Мотор выстрелил четыре раза и рванулся вперед, оставив старика Бобса в облаке пыли и синего дыма.

Иметь такую выдающуюся собственную машину и пользоваться такси! Положительно, старик Грант начинает чудить.

Старик Бобс приложил письмо в виде щитка к глазам, посмотрел, шурясь от солнца, вслед удаляющемуся такси, пожал плечами и, взмахнув пестрой метелкой, пошел в бар, где уже, несмотря на ранний час, начиналась драка.

В это же время в ворота фермы профессора Гранта въехал на велосипеде загадочный молодой человек — Ван, один из главных действующих лиц этого романа.

Ван кинул машину в траву и увидел у задней стены гаража черного лакея мистера Гранта.

Ван сдернул с головы кепи в шахматную клеточку и махнул им в воздухе.

— Алло! Профессор Грант дома?

Лакей бросил трефового короля и пиковую семерку на розовый клевер и вскочил на ноги.

— Профессор дома. Как прикажете доложить?

— Скажите, что его желает видеть мистер Ван по делу, не терпящему отлагательства.

Негр приветливо озарил окрестности белозубой улыбкой и скрылся в дверях особняка.

Загадочный Ван нетерпеливо заходил взад и вперед по лужайке перед домом.

Прошло десять минут.

Дверь распахнулась, и на пороге появился лакей. Конечно, было бы крайне легкомысленно утверждать, что он был бледен. Он был даже, может быть, более черен, чем всегда. Он сверкнул яичной скорлупой своих белков и выбросил вверх тревожный сигнал гуттаперчевых манжет.

Он орал:

— Алло! Старик Свен! Боб! Мистрис Морр! Алло! Все сюда!

Негра окружили остальные слуги.

— Профессор... Полчаса тому назад он же был дома, — заплетающимся языком пролепетал лакей. — Его нет. Он исчез. Мисс Елена исчезла. Все исчезли. Я читал бумагу. Вот она, эта бумага. Я увидел ее на столе мисс Елены.

С этими словами негр протянул слугам бумагу.

— Вот она. Прошу вас, читайте.

Ван выхватил лист из рук лакея. На бумаге было написано красным карандашом следующее:

«Мы покидаем с отцом ферму навсегда. Все наше имущество оставляем слугам в полную собственность. Жалование за две недели вперед на комод, возле зеркала.

Елена Грант».

Ван отчаянно свистнул. В два прыжка он очутился у двери и ринулся внутрь дома.

Прислуга гуськом последовала за ним.

Как человек, хорошо знакомый с расположением комнатов, Ван быстро отыскал кабинет профессора. Он обвел глазами помещение, молниеносно выбросил с грохотом все двенадцать ящиков письменного стола, полез под кровать, выгреб кучу обгорелой бумаги из камина, опрокинул ногой плевательницу и горестно воскликнул:

— Его здесь нет! Он увез его с собой!

Затем Ван надел кепи, огорченно пожал руку лакею, выбежал из дома и вскочил на велосипед.

— Ничего! — закричал он обалделой прислуге. — Ничего! Ван отыщет его во что бы то ни стало. Ван не даст своей репутации погибнуть.

Ван отчаянно зашинковал ногами и, поравнявшись с трактиром, остановился.

— Эй, хозяин! Не проходил ли здесь полчаса тому назад профессор Грант со своей дочкой? У него был в руках сверток?

Старый Бобс критически оглядел Вана и пробурчал: «Первый раз вижу такую пронырливую ищейку. Ох, чувствую я, что старик Грант начудил».

Он сказал вслух:

— А если бы даже он здесь проходил или, скажем, проезжал на такси, на синем закрытом такси, вам бы от этого стало легче?

— Но сверток, сверток?

— А если бы даже у него в руках действительно был сверток? Ну?

Ван вскочил на машину. Спицы вспыхнули молнией. Облако пыли ударило в самый нос старика Бобса.



Шоссе стремительной серой лентой развернулось под беснующимися башмаками Вана, который думал:

«Синее закрытое такси. Совершенно верно. Я видел его, подъезжая к трактиру. Моя репутация должна быть спасена! И она будет спасена!»

Ровно в семь часов двадцать три минуты профессор Грант со своей дочерью вышли на перрон Нью-Линкольнского вокзала.

Профессор бережно держал под мышкой большой, тяжелый сверток.

Через две минуты они уже были в купе. Стеганные стенки с кожаными пуговичками подрагивали, занавески трепал ветер, пол ходуном ходил под ногами. Мимо окна косо резались сосны и ели, выскакивали двойные номера неожиданных семафоров, мосты наполняли уши бесполезным грохотом.

Ровно в семь часов двадцать семь минут мокрый и красный Ван, тяжело отдуваясь, таща на плече свой велосипед, вступил на пустой перрон Нью-Линкольнского вокзала.

— Черт возьми! Я, кажется, слегка опоздал. Но это ничего. Экспресс идет до Нью-Йорка двадцать часов. За это время можно кое-что предпринять, и моя репутация, так или иначе, будет спасена.

С этими словами Ван прислонил свой велосипед к автомату для стрижки ногтей и быстрыми шагами направился в комнату дежурного полицейского комиссара.

Елена нежно прижалась к отцу.

— Завтра днем мы будем у Матапаля.

## V. Преимущество Матапаля перед Пейчем

— Товарищи! — сказал Пейч на вечернем заседании стачечного комитета. — Итак, война объявлена. Сегодня утром в полдень началась забастовка рабочих тяжелой

индустрии Соединенных Штатов Америки и Европы. По имеющимся в моем распоряжении самым точным и самым последним сведениям, ни одно предприятие не окзалось штрейкбрехером.

*(Бурные аплодисменты.)*

— Товарищи, перед нами тяжелая задача. Мы должны с ней справиться. От этого, может быть, зависит счастье наше и наших детей. Две недели забастовки — и большая программа вооружений мистера Матапаля будет сорвана!

*(Крики одобрения. Аплодисменты. Шум.)*

— Товарищи, уже недалек час, когда мы сумеем взять твердой рукой за горло кучку негодяев, окопавшихся на Пятой авеню, и, я надеюсь, нам удастся стрясти с их лысых голов шелковые цилиндры на кремовой подкладке!

*(Крики: «Верно! Правильно! Да здравствует Пейч!»)*

Затем на трибуну взошел человек в кожаной куртке с небольшим эмалевым красным флажком на груди. Он снял черную фуражку и поднял руку, и зал потонул в бурных аплодисментах...

— В принципе я ничего не могу возразить против того, что сказал с этой трибуны уважаемый товарищ Пейч. Я бы только хотел задать собранию несколько не столь существенных, но тем не менее достойных некоторой доли внимания вопросов.

*(Голоса: «Просим! Говори, Галифакс!»)*

— Товарищи, как вы смотрите на возможность уладить конфликт с правительством мирным путем? Лично мне кажется, что это вполне возможно. К чему понапрасну тратить силы, если все равно мы забастовкой никакого толка не добьемся?

*(Голоса: «Внимание! Галифакс остриг!» Шум. «Тише!»)*

— В сущности, наши требования сводятся к следующему: восьмичасовой рабочий день, всеобщее разоружение и все политические права рабочим. Не так ли? В чем же дело? По имеющимся у меня точнейшим сведениям, Матапаль готов пойти на восьмичасовой рабочий день. Политические права? Если не считать некоторых пустяковых ограничений, мы имеем все политические права, вплоть до права жениться без контроля верховного совета предпринимателей и иметь неограниченное количество детей мужского пола (о девочках я не говорю: на черта они нам сдались!). Что же касается всеобщего разоружения, то, на мой взгляд, дело обстоит проще. Из-за чего, собственно, заварилась каша? Пусть СССР разоружится, примкнет к Соединенным Штатам, и дело с концом, не так ли, товарищи?

(Шум. Крики: «Долой!» Свист. Голоса: «Просим!»)

— Ну, что ж, — сказал Галифакс, когда шум в зале улегся. — Ну, что ж. Я сказал все, что должен был сказать. Больше никаких предложений не имею. Однако принимаю с себя всякую ответственность за последствия упорства Пейча. Матапаль шутить не любит. И я не буду удивлен, если завтра у нас в водопроводах не окажется воды, в булочных — хлеба, в кухнях — газа и в лампочках — света.

С этими словами Галифакс сошел, окруженный своими сторонниками, с трибуны и, провожаемый свистками, скрылся в боковом проходе.

— Старая песня! — послышались возгласы. — Басни! Личья душонка! Долой Галифакса! Да здравствует Пейч! Заседание было закрыто.

— Этот тип мне не нравится, — сказал человек в кожаной куртке, выходя с Пейчем на воздух.

Пейч задумчиво затянулся.

— Как вам сказать... Пожалуй, вы правы. Однако уже поздно, а нам с вами предстоит о многом переговорить.

...В первом часу ночи Матапаль выслушал живую фоностенограмму заседания стачечного комитета.

— Хорошо, — сказал он и сделал несколько пометок в блокноте.

Затем он позвонил в секретариат.

Одновременно в пяти разных концах города пять телеграфистов приняли в эту ночь пять радиотелефонограмм.

В первых четырех местах: в центральном управлении водопроводов, на газовом заводе № 17, на Бруклинской электрической станции и в мукомольном тресте — радиотелефонограммы были одинакового содержания:

«Немедленно выключить район Реджинальд-Симпля из сети снабжения. Убыток по текущему счету № 711 Соединенного банка Штатов.

*Матапаль.*

В пятом месте:

«Начальнику группы № 9. С пяти часов утра вы занимаете пункты у Реджинальд-Симпля по диспозиции № 488. Полная изоляция. Точность и своевременность выполнения — на вашей ответственности.

*Матапаль.*

На рассвете обитатели Реджинальд-Симпля обнаружили отсутствие воды и газа на кухнях.

Затем оказалось, что хлеба в булочных нет.

Тока не было.

Весь район Реджинальд-Симпля был оцеплен группой 9, снабженной наиболее усовершенствованными аппаратами фиолетовых лучей, действовавших на расстоянии одного километра и ослеплявших каждого, попавшего в сферу их влияния, на двое суток.

В десять часов утра над Реджинальд-Симплом пролетело восемнадцать аэропланов, сбрасывающих летучки следующего содержания:

«Прекратите забастовку — прекращу блокаду.  
Согласен на восьмичасовой рабочий день.

Матапаль.

Жены рабочих, вышедшие на рынок, были остановлены пикетами группы 9.

Толпы рабочих вышли из домов на улицы.

Их лица были бледны, но тверды.

Пейч быстро вышел из своей квартиры и вмешался в толпу.

Его окружили.

Он взобрался на штабель угля и, решительно вынув из рта трубку, сказал:

— Товарищи! Мы предвидели это. У нас есть некоторый запас воды и хлеба. Мужайтесь. Карточки на хлеб и еду можно получить у секретаря стачечного комитета.

Толпа женщин кинулась к зданию стачечного комитета.

— Да здравствует забастовка! — кричали одни.

— К черту! Дело зашло слишком далеко! Напрасно мы не послушались Галифакса. Галифакс? Мы пойдем посоветуемся с Галифаксом, — говорили другие.

Но Галифакса нигде не было.

— Галифакс, — сказал второй секретарь, — вы не оправдываете своего жалованья. Вы сообщаете, что в распоряжении стачечного комитета не имеется ни одного килограмма хлеба. Тем не менее оказывается, что хлеба имеется на четыре дня. Что это значит?

Галифакс разгладил медно-красные усы.

— Галифакс, ваш авторитет среди рабочих падает. Поднимите его, и мы поднимем вашу ставку.

В два часа Матапаль произнес коротенькую речь на заседании совета миллиардеров.

Он сказал:

— Господа, борьба началась. Наши силы превосходят силы неприятеля вчетверо. Рабочие будут раздавлены. Призываю вас к выдержке и дисциплине. Больше я ничего не имею сказать.

Экспресс Нью-Линкольн — Нью-Йорк приближался к городу.

Профессор Грант дремал, прислонившись к мотающимся подушкам купе.

## VI. У Таймс-сквер на Бродвее

Пейч сказал:

— У нас мало хлеба и воды, но у нас достаточно угля, чтобы пустить в действие электромотор нашей радиостанции.

Радиотелеграфист надел на уши приемники и, настроив их, как арфист настраивает арфу, стал передавать депешу.

Снасти антенн озарились нежным голубоватым светом.

В тот же миг все слухачи земного шара, сидящие в бронированных будках супердредноутов, в легких, дюралюминиевых кабинах самолетов, в комфортабельных кабинетах редакций и министерств, в голубятнях профсоюзов, услышали тонкий, высокий звук незримой волны электричества:

«Товарищи! На помощь! Над нами произведено насилие.

Мы заперты Матапалем в районе Реджинальд-Симплиа. Продовольствия на три дня. Выходы охраняются группой 9. Требуйте снятия блокады. Еще две недели — и мы победим. Большая программа вооружений сорвана. Да здравствует революция!

Пейч.

— Пейч телеграфирует всему миру, — сказал второй секретарь Матапалу. — Мне кажется, что дело заходит слишком далеко.

Матапаль вцепился в ручки кресла.

— Посмотрим, — процедил он сквозь золотые зубы. — Пошлите контррадио. Прошу вас докладывать о положении дел каждые десять минут.

Второй секретарь поклонился.

— Подождите. — Матапаль понизил голос: — Ваше мнение по поводу событий?

— Мы зашли слишком далеко. Хлеб, вода, газ — это допустимо... Но вооруженная сила. Мы нарушили элементарные права граждан Штатов.

— Вы думаете?

Матапаль записал несколько слов в блокнот. В этот миг раздалось мелодичное пенье радиодина. Матапаль выключил усилитель.

Из рупора послышался голос первого секретаря:

«В рабочих районах волнения. За час произошло в разных частях города 150 митингов протеста. Рабочие требуют снятия блокады Реджинальд-Симпль. Настроение тревожное. Получены радио о волнениях в Австралии, Англии, Японии; жду ваших распоряжений»

Матапаль подвинул к себе трубку и отрывисто отчеканил:

— Усильте охрану банков. Произведите тайную мобилизацию всех групп. Пресса должна выпустить экстренные выпуски с какой-нибудь сенсацией, отвлекающей общественное внимание от событий. Можно взорвать небоскреб на углу Пятой авеню и Бродвея, убытки по счету номер семьсот одиннадцать. Используйте Галифакса.

— Будет исполнено.

Матапаль кивнул головой. Второй секретарь вышел.

Экспресс влетел под стеклянный купол нью-йоркского Пенсильванского вокзала. Профессор Грант и Елена вышли из купе.

Было три часа двадцать пять минут дня, то есть тот наиболее тихий час Нью-Йорка, когда клерки еще сидят на высоких табуретах в бетонных клетках, между небом и землей, вращая ручки счетчиков, лая в настольные телефоны и прикладывая стальные линейки к листам гроссбухов. Тот час, когда мистеры в узких пальто лихорадоч-

но вывинчивают автоматические ручки у палисандровых прилавков банков и с треском выдирают листки из чековых книжек. Час прилива шелковых цилиндров на биржах, час куса свинины, жарящегося над синим веером газовой плиты.

Однако Нью-Йорк что-то слишком шумно встретил профессора Гранта.

Тучи аэропланов сбрасывали на шляпы прохожих и крыши авто миллионы летучек. Мальчишки-газетчики сбивали с ног людей. Метрополитены, со свистом глотающие туннели, как макароны, гудели миллионами человеческих голосов, слишком громких для трех с половиной часов дня Нью-Йорка.

У вокзальной площади Грант увидел демонстрацию рабочих газовой сети. Они шли густой черной стеной, в безмолвии неся над головой красные плакаты.

Растерянные полисмены застенчиво прикладывали белые рубчатые дубинки к рыжим усам и не знали, что делать.

— В городе что-то случилось, — сказала Елена тревожно.

Профессор Грант поймал летящую над головой летучку и прочел:

«Призываю свободных граждан Штатов к полному спокойствию. Блокада Реджинальд-Симпля будет снята. Пейч, спровоцировавший рабочих доков, привлекается к суду.

Матапаль,

Другая летучка гласила:

«Матапаль лжет. Забастовка рабочих тяжелой индустрии продолжается. Призываю рабочих к выдержке. Победа близка. Помогите снять блокаду.

Пейч,



— Эге, — сказал профессор Грант. — Кажется, здесь назревают серьезные события.

Елена остановила жестом руки проезжавшее такси и стащила задумавшегося отца внутрь.

— Дворец Центра! — крикнула она шоферу.

Улицы Нью-Йорка понеслись вокруг них каруселью. Дубинки полисменов, листки газетчиков, красные слоны автобусов, велосипедисты, фетровые шляпы, бары, мосты, «Форды», негритята с медными пуговицами, автоматы, сигарные лавки, кожура бананов на панели градом осколков стекла авто.

Казалось, что небоскребы Манхэттена валяются на стеклянные купола цирков, воздушные железные дороги падают в толпы на площади, ломая в своем падении памятники и пальмы.

Авто пролетело по Бродвею. Здесь у Таймс-сквер движение было настолько сильно, что моторы, бок к боку, сплошной стеной еле подвигались вперед, стиснутые папкой икрой пешеходов. Восемнадцать полисменов с трудом регулировали движение.

Едва авто Гранта проехало полкилометра от угла, как воздух рвануло с необычайной силой. Пешеходы попадали. Над толпой грозно пролетело синее пенсне, сорванное с магазина оптики. Раздался оглушительный взрыв.

Елена выглянула в окно. Там, позади, стоял столб дыма и пламени, в котором корчились железные балки и шторы.

Но остановиться было нельзя.

Тысячи такси рванулись вперед.

От двадцатипятиэтажного небоскреба на углу Таймс-сквер осталась пустая клетка, из которой люди и вещи были вытряхнуты, как выручка из проволочной кассы богатого трактирщика перед закрытием заведения.

Очнувшись, Ван прежде всего схватился за велосипед, который был превращен в кривую восьмерку.

Гуман застилал глаза.

— Черт возьми! — воскликнул Ван. — А он был так близко. Стоило ли платить бешеные деньги за экстренный поезд, чтобы первый упавший на дороге небоскреб испортил всю музыку! Теперь его не найдешь. Но все равно я добьюсь своего! Я не допущу, чтобы моя репутация погибла!

Он сел на обломки велосипеда и зарыдал.

Профессор Грант с Еленой вошли в приемную Дворца Центра.

## **VII. Три минуты для человечества**

— Я хотел бы видеть Матапалю, — сказал профессор Грант лакею с наружностью премьер-министра.

— Да, да. Нам немедленно нужно переговорить с мистером Матапалем.

Роскошный лакей оглядел профессора и его дочь взглядом опытного оценщика и нашел, что оба посетителя не стоят вместе и 500 000 долларов.

Тем не менее темные консервы профессора и хорошенькая ножка Елены произвели на лакея известное впечатление.

— Пожалуйста, — сказал он, растворяя перед ними массивную палисандровую дверь.

Они очутились в очень большом кабинете, обставленном с деловой роскошью, по крайней мере, кожаненного короля.

Из-за стола поднялся немолодой человек во фраке. Его голова была кругла, как бильярдный шар. Между большим и средним пальцами правой руки он держал драгоценную гавану.

— Чем могу быть полезен?

— Мистер Матапаль... — взволнованно начала Елена.

— Сударыня, — грустно сказал человек во фраке, — и всего лишь второй лакей шестнадцатого секретаря мис

игра Матапаля. Тем не менее прошу вас в коротких словах изложить мне ваше дело.

— Сэр, — с достоинством сказал профессор Грант, — мое дело имеет общечеловеческое значение, и я должен переговорить с Матапалем лично, а не с одним из его лакеев.

Второй лакей шестнадцатого секретаря покосился на сверток, который держал профессор Грант под мышкой, и учтиво сказал:

— Запись изобретателей производится по средам и пятницам, от десяти до одиннадцати утра, у пятого лакея шестнадцатого секретаря господина Матапаля.

Елена топнула ножкой.

— Вы забываете, что с вами говорит профессор Грант!

Человек во фраке нажал кнопку и сказал в телефон:

— Карточку профессора Гранта.

Через минуту из щели автомата, стоящего на письменном столе, вылезла небольшая сиреневая карточка. Человек во фраке посмотрел на профессора, затем на карточку и затем позвонил.

— Извините, — сказал он ласково, — сейчас вас проведут непосредственно к шестому секретарю господина Матапаля, на обязанности которого лежат все литературы, композиторы и международные аферисты не ниже седьмого класса.

Роскошный лакей почтительно довел Гранта и Елену до лифта.

— Непосредственно к шестому секретарю, — сказал он негритенку, осыпанному с ног до головы серебряными пуговицами.

Лифт бесшумно рвануло вверх.

— Непосредственно к шестому секретарю! — басом крикнул негритенок, отворяя дверцу лифта.

Седой старик во фраке и золотых очках почтительно пропустил посетителей вперед и крикнул звенящим козырьным фальцетом:

— Непосредственно к шестому!..

Не менее двенадцати дверей распахнулось подряд перед профессором и Еленой.

— Непосредственно! К шестому! — пробежал подобострастный шепот по двойным шпалерам седых джентльменов во фраках, выстроившихся по пути следования гостей.

Распахнулась последняя дверь, и профессор Грант очутился лицом к лицу с шестым секретарем господина Матапаля.

Шестой секретарь сидел в кресле на колесах, укутанный шотландским пледом. Ему было лет девяносто.

Два лакея поддерживали на подушках его маленькую седую головку, качавшуюся на куриной шее, как одуванчик.

Другие два лакея кормили шестого секретаря манной кашей.

— Я профессор Грант! Мне необходимо говорить с господином Матапалем по вопросу, имеющему общечеловеческое значение.

— Дело не терпит промедления, — добавила Елена.

Пятый лакей приложил к уху шестого секретаря слуховой рожок.

Старичок сморщился и заерзал на гуттаперчевом круге.

— Скажите ему, — зашамкал он, указывая на профессора Гранта эмалевой ложкой, с которой капала каша, — скажите ему, что вакансий нет. И пенсий тоже нет. И комнат нет... Ничего нет... Пусть придет в среду.

Елена сверкнула глазами.

— Мы немедленно должны видеть Матапалю. Дело идет о судьбе всего человечества.

Она топнула ногой.

Старичок заплакал. Он замахал ложкой и схватил седых лакеев за лацканы фраков, как бы ища у них спасения.

— Аудиенция окончена, — шепнул шестой лакей профессору Гранту.

Тогда профессор с грохотом бросил сверток на пол, пол на него и заявил, что он не уйдет до тех пор, пока его не проведут к Матапалю.

Среди лакеев произошло замешательство. Рыдающего старичка, вообразившего, что анархисты бросили бомбу, бережно увезли в другую комнату и там стали переодевать.

— Я требую, чтобы о нас доложили Матапалю! — воскликнула Елена.

— Что здесь происходит? — грозно спросил усатый генерал, появляясь, как из-под земли, перед профессором Грантом. — Вы требуете свидания с Матапалем? Хорошо. Я вас запишу в очередь. Пятнадцатого сентября, в двенадцать часов пятьдесят две минуты вы будете приняты мистером Матапалем, даю вам слово коменданта Дворца Центра. А теперь прошу вас уйти. Вы чуть не дошли до удара господина шестого секретаря мистера Матапалья.

— Что? Пятнадцатого сентября? Да к этому времени... — воскликнула Елена. Она осеклась.

Вероятно, в ее тоне было нечто очень значительное, так как генерал-комендант круто повернулся на каблуках и подошел к телефону.

Матапаль только что выслушал по радиотелефону повседневную сводку первого секретаря.

Исюду дела были неважны.

Без сомнения, игра зашла слишком далеко. Пейч не сдвигался.

Напротив, он увеличил свои требования.

Со всех концов земного шара поступали сведения о забастовках и брожениях. Кое-где накапливались интернациональные пролетарские армии.

Пятая тихоокеанская эскадра взбунтовалась.

Нет, дело зашло действительно слишком далеко. Путем мирных переговоров ничего добиться нельзя.

Это ясно.

И от дурака Галифакса каждые четверть часа получаются все менее и менее утешительные донесения.

Пожалуй, что на карту приходится ставить слишком многое.

Матапаль закурил папиросу и грустно задумался: «Нет, положительно, человечество необходимо переродить в корне. Иначе ничего не выйдет».

Именно эту грустную задумчивость и прервал звонок коменданта.

Матапаль машинально включил усилитель. Приятный баритон коменданта наполнил комнату.

— Профессор Грант... Он очень взволнован. Его надо принять. До ученого мира может дойти о вашей недоступности... Это вызовет нежелательные толки...

— Что ему надо? — спросил Матапаль, зевая. Он не спал две ночи кряду.

— Профессор Грант желает поговорить с вами по делу, имеющему общечеловеческое значение.

— Три минуты, — сказал Матапаль. — Для дела, имеющего общечеловеческое значение, этого вполне хватит.

Матапаль выключил усилитель.

И сейчас имя профессора Гранта показалось ему знакомым.

— Профессор Грант... Да, да... Это тот самый геолог, который в свое время сделал поразительное открытие в области предсказания землетрясений.

У Матапаля была феноменальная память.

— Общечеловеческое значение.. Немедленно... Лично... Это любопытно... Гм...

## **VIII. Честное слово короля королей**

Профессор Грант бережно поставил сверток на подоконник, взволнованно откашлялся и, усевшись против Матапаля в кресло, положил на стол объемистый портфель.

Елена поправила волосы.

Матапаль сидел прямо и неподвижно, как языческий бог. Его лицо было деревянным.

Профессор Грант опустил очки ниже глаз и, глядя поверх них на повелителя мира, заговорил.

Он раскладывал перед Матапалем листы бумаги, сплошь исписанные косыми колонками цифр, он извлекал корни, бегло производил интегральные вычисления, открывал и закрывал фигурные скобки и перечеркивал карандашом материки на карманной карте, которая лежала у него на коленях.

Изредка Матапаль задавал короткие вопросы, судя по которым можно было заключить, что Матапаль прекрасный математик.

Три минуты, ассигнованные Матапалем на разговор с настойчивым ученым, уже давно прошли. Несколько раз третий секретарь Матапаля, сидевший у двери кабинета с хронометром в руках, порывался вскочить с места. Он ужаснулся столь грубому нарушению регламента рабочего времени своего великого патрона.

Однако Матапаль внимательно слушал горячую речь ученого, потрясавшего над головой карандашом.

Лицо Матапаля изменилось. Оно нет, теперь оно уже не было деревянным лицом языческого идола. Теперь оно, это лицо, было живым, острым и подвижным. Чем дальше говорил профессор, тем ярче загорались зеленоватые, припухшие глаза Матапаля. Легкий румянец багровым ружевом пошел по его голубоватым бритым щекам.

Наконец, перечеркнув все материки и обведя остров в Атлантическом океане кружком, профессор Грант умолк. Он быстро поднял консервы на лоб и стал ходить по комнате, время от времени останавливаясь то перед Еленой, то перед Матапалем.

Елена тревожно следила за королем королей. Лицо Матапаля стало сосредоточенным. Он вцепился пальцами в поручни кресла. Елена затаила дыхание. Она ждала, что скажет, узнав о предстоящей гибели человечества,

этот маленький, толстенький человек, в руках которого находится три пятых земного шара.

И Матапаль не заставил себя ждать. Он энергично потер руки, встал с места, потом опять сел и залился тоненьким, захлебывающимся смехом.

— Отлично! — сказал он. — Великолепно! Это очень кстати!

Он ударил пухлой ладонью по столу.

— Черт возьми! Это гениально! Профессор, благодарю вас! Сама судьба дает мне возможность организовать человечество заново. Сударыня, прошу меня простить, но я слишком восхищен открытием вашего отца, чтобы скрывать свои чувства. Отлично, отлично! Сейчас мы это все устроим.

Третий секретарь, услышавший смех Матапаля, побледнел и уронил хронометр. Матапаль смеется! Это было выше его понимания.

Матапаль забегал по ковру.

Он бормотал:

— Пятнадцать километров в длину и десять — в ширину... Это вполне достаточная площадь для того, чтобы сконцентрировать на ней в сжатом виде все элементы моего будущего идеального человеческого общества. Центральная библиотека... Сто ученых... Депо изобретений и чертежей... Тридцать избранных миллиардеров... Парифразированных монархов... По два экземпляра полезных животных... Небольшой питомник лакеев... Питомник кинорежиссеров... Модели всех машин... Казино... Да, да... Мы это все устроим... Завод чернорабочих лучших пород...

— Я вас не совсем понимаю, — робко перебил его профессор Грант.

Матапаль остановился перед Грантом.

— Что? Ну да! Ваш остров, дорогой профессор, станет рассадником идеальной капиталистической культуры на новых материках обновленного земного шара, которые возникнут вследствие предсказанной вами катастрофы.



Это так ясно. Сама судьба пошла мне навстречу. Человечество заражено гангреной. Капитализму грозит гибель. Весь мир охвачен мятежом. Социализм надвигается на нас со всех сторон, и удержать его напор невозможно. И вот — всемирная катастрофа. Все человечество гибнет. И только на маленьком клочке земли, в Атлантическом океане, сохраняется город, в котором собраны все элементы общественных и моральных форм будущего человечества. И я буду создателем этих форм!

Профессор Грант побледнел. Он понял все. Он выпрямился во весь рост и сказал:

Мистер Матапаль! Никогда! Я полагал, что вы позаботитесь по возможности о спасении всех, выстроите гигантские плоты, корабли, устройте плавучие элеваторы, предупредите население земного шара... Спасете массы...

— Спасать массы? Для того, чтобы они продолжали издавать свои интернациональные революционные армии и перегрызли мне горло в тот день, когда почувствую под своими ногами твердую почву новых материков? Нет, любезный профессор.

— Тогда нам с вами не о чем больше говорить. Я желаю предотвратить стихийную панику... Избежать напрасных жертв... По возможности организовать человечество... Подготовить его... Я рассчитывал на ваше благородство, на вашу силу, на ваше баснословное богатство... А вы... Извините! Я сожалею, что пришел к вам. Пойдем, Елена. Я сам оповещу мир о грозящей катастрофе. До свидания, мистер Матапаль!

Елена вскочила с кресла.

Подождите!

Голос Матапалья оборвался.

Профессор, подождите!.. — Его глаза забегали. Он побледнел. — Не уходите!

Грант остановился.

Матапаль опустил в кресло.

— Профессор, вы меня не так поняли. Сядьте.

Грант нерешительно положил сверток на подоконник и сел.

— Вы меня не так поняли, — быстро заговорил Матапаль. — Я имел в виду провести целый ряд целесообразных мер для спасения возможно большего количества людей. Ха-ха-ха! Я излишне нервен. Сейчас мы все обсудим. Только, ради бога, умоляю вас, не делайте этого безумного шага, который может принести непоправимые последствия.

— Вы даёте честное слово, что примете все меры, имеющиеся в вашем распоряжении, для спасения населения всего земного шара, без различия классов?

Глаза Матапаля сузились.

— Честное слово Матапаля! — сказал он и быстро взялся за перо. Он написал записку, сунул ее в автомат и нажал кнопку. — Сейчас мы обсудим этот вопрос во всех подробностях. — Его глаза сверкнули, но он усилием воли погасил этот зеленоватый, недобрый блеск.

Сигнал радиотелефона тонко запел.

Матапаль включил усилитель. Раздался взволнованный голос второго секретаря:

— Группа девять перешла на сторону Пейча. Демонстрации продолжаются. Газовая сеть примкнула к бастующим. Положение серьезное. Жду ваших распоряжений.

— Вздор, — сказал Матапаль. — Ваши глупости мне надоели. Поступайте как знаете.

Он выключил аппарат.

— Ну-с, профессор, давайте же потолкуем поподробнее. Итак, прежде всего прошу вас повторить ваши математические выкладки. Пододвигайтесь к столу. И вы, мисс, тоже. Я боюсь, что от окна дует. Вот так. Благодарю вас. Итак, я вас слушаю.

Грант снова разложил свои вычисления и начал говорить.

Елена смотрела через его плечо в бумаги.

Тонкий, еле слышный звук заглушенного радиотеле

фонного сигнала слышался в воздухе. Он был слабее юмариного пенья. Его услышал один только Матапаль. Он небрежно придавил кнопку на письменном столе. След за тем алюминиевый экран за спиной профессора Гранта озарился лиловатым светом, и пара пронзительных, неподвижных, гипнотизирующих глаз возникла на фосфорической поверхности.

Глаза смотрели прямо в спину профессора Гранта. Матапаль незаметно улыбнулся уголком губ.

### IX. Глаза доктора Шварца

Неподвижные, гипнотизирующие глаза продолжали смотреть с алюминиевого экрана в затылок профессора Гранта.

Лицо Матапаля выражало плохо скрытое нетерпение.

Профессор Грант продолжал выкладки. Третий секретарь судорожно зевал. Он на все махнул рукой. Три минуты превратились в тридцать. Рабочий день Матапаля был сломан. Третий секретарь опустил голову на крахмальную грудь.

Профессор Грант провел платком по лбу и вдруг, прерывая вычисления, сказал:

— Я, кажется, очень устал. Цифры путаются у меня в голове... Как странно... Елена, ты не находишь, что в кабинете мистера Матапаля слишком жарко?

Профессор Грант с трудом перевел ословевшие глаза на Елену. Она глубоко спала, положив руки на угол бюро Матапаля и опустив золотистую голову на спинку кресла.

Матапаль сидел с полужакрытыми глазами, не шевелился.

Страшная тревога охватила профессора.

— Что... это... значит? — пролепетал он немеющим языком.

Матапаль молчал, как деревянный бог.

Профессор Грант с трудом повернул голову, и его глаза в упор встретились с неподвижными глазами на экране.

— Ах! — слабо воскликнул профессор, не в силах более пошевелиться. — Чело... вече... ство... по... гиб...

Его голова тяжело упала на стол, и он глубоко заснул.

Лицо Матапалья передернулось, как молния.

— Браво! — закричал он. — Алло! Доктор Шварц!

Глаза на экране ушли в голубоватую глубину и уменьшились. Зато между ними обозначился нос, потом появились черные подстриженные усики, уши, твердый рот, тугий крахмальный воротник и лацканы сюртука.

Доктор Шварц закрыл глаза, и его голос громко зазвучал из усилителя:

— Готово, мистер Матапаль. Я их загипнотизировал. Теперь профессор Грант уже больше не знаменитый геолог, а простой фермер из предместья Лос-Анджелеса, а мисс Елена не дочь ученого, а дочь простого фермера. Может быть на этот счет спокойны. Я отвечаю за три дня транса.

— Хорошо. Вы мне будете нужны. Профессор Грант должен оставаться фермером в течение месяца. Приготовьтесь к небольшому путешествию. Через двадцать минут вы должны быть здесь.

Отражение доктора Шварца поклонилось.

Матапаль выключил Шварца и быстро написал штук десять коротких записок. Он опустил их в автомат и затем сказал в телефон:

— Я хочу разговаривать с мистером Эрендорфом.

Экран озарился. Послышался сигнал усилителя. На экране появились две пальмы, кусок невыразимо синего моря и джентльмен в полосатой пижаме, качающийся в гамаке. Лицо джентльмена приблизилось к экрану. Оно было гладким, молочно-розовым и веселым. Черные усики, кокетливо завитые вверх, очаровательно оттеняли два ряда ослепительных, по-итальянски белых зубов.

— Алло, мистер Эрендорф! — сказал Матапаль. — Вы мне экстренно необходимы по вопросу, имеющему общечеловеческое значение.

Лицо мистера Эрендорфа сделалось кислым. Мистер Эрендорф поковырял в зубе иглой дикобраза (это была

одна из наиболее популярных причуд всемирно известного мистера Эрендорфа) и, сплунув в мимозу, ответил:

— Если я вам нужен — приезжайте. Поболтаем. Я вас угощу отличными лангустами. Здесь, между прочим, есть одна бабенка... А что касается человечества — сплуньте. Честное слово.

С этими словами человек на экране поднялся с гамака и пошел купаться.

— Ничего не поделаешь, — вздохнул Матапаль. — Придется поехать. Хорошо, что хоть по дороге. Конечно, мистер Эрендорф поступил со мной невежливо, но не могу же я отказаться из-за этого от столь блестящего организатора и специалиста по мировым катастрофам.

Через двадцать минут часть стены кабинета Матапаль раздвинулась, и в комнату вошел доктор Шварц. Он был в высоком траурном цилиндре, старомодной крылатке и в руках держал черный саквояж.

— Ну, не будем терять времени. По дороге я вам расскажу все, дорогой доктор, — сказал Матапаль. — Сколько времени продолжится сон профессора Гранта и его дочери?

— Три часа.

— В таком случае не станем их будить. Пусть они придут в себя в дороге.

Матапаль нажал кнопку.

Третий секретарь вздрогнул и проснулся. Голос Матапалья сказал из рупора:

— Выключите мой кабинет на двое суток. Мне нужно обдумать одно важное мероприятие. Все без исключения приемы отменяются. Доступ ко мне прекращен. До свидания.

Третий секретарь почтительно прикрыл глаза, а первый секретарь тем временем уже нажимал кнопку радиотелефона. Аппарат Матапалья не отвечал. Первый секретарь волновался. Только что он получил донесения, что на сторону Пейча перешло еще четыре группы: две пуленепробиваемых и две газовых. Положение становилось угрожаю-

щим. Конечно, можно было бы пустить в действие «машину обратного тока», но на это требовалось согласие Матапалы.

— Аппарат патрона выключен. Что это значит?

Первый секретарь нажал кнопку третьего секретаря.

— Что случилось?

— Патрон приказал выключить свой кабинет на двое суток. Он думает.

— Черт возьми! — воскликнул первый секретарь. — Положение критическое. Я буду сейчас в Центре. Матапаль чудит...

Толпа демонстрантов грозно продвигалась по Бродвею к Таймс-сквер.

Ван сидел на обломках своего велосипеда и потирал ушибленную коленку.

С крыши Дворца Центра вылетел десятиместный быстросходный самолет-торпедо-геликоптер и взял курс на запад. Никто не обратил на него внимания.

### **Х. Джимми поступил без колебаний**

В ночь с 11-го на 12-е сыну государственного архитектора в предместье Нью-Линкольна — Джимми Стерлингу приснился нежный сон.

Ему приснилось, что мисс Елена Грант удачно отбили его драйф, поправила голой до локтя рукой рыжеватые волосы, выбившиеся из-под пикейной шапочки, постучала ракеткой по туго натянутой сетке и, поймав с лету дни мяча, сказала:

— До свидания, Джимми. На сегодня хватит.

Он сошел с площадки и сунул голову под садовый кран. Когда его голова из белой сделалась черной, он тут же выкрутил налипший на лоб чуб, покачался на одной ноге, подхватил мизинцем за вешалку фланелевый пиджик,

брошенный в траву возле садовой бочки, перекинул его через плечо, сказал «ол райт» и, насвистывая канадскую песенку, стал уходить в зелень.

Мисс Елена не более минуты смотрела ему вслед, муря от солнца золотые глаза, потом подняла маленький, короткий подбородок, повернулась на каблуках и побежала навстречу мистеру Гранту, который шел, потирая руки, к столу, накрытому под красным полосатым юнтиком ко второму завтраку.

Сад был полон зноя и пчел. Сад благоухал ароматом горячих цветов. И нежный голос Елены говорил: «Джимми, Джимми»...

Джимми открыл глаза. Яркое утро наполняло его комнату солнцем и воздухом.

— Елена! Как я люблю вас! — воскликнул Джимми, радко потягиваясь.

В это время в дверь постучали, и горничная подала Джимми письмо.

— Его только что принес мальчишка трактирщика, — сказала она.

Джимми разорвал конверт.

«Милый Джимми!

Умоляю вас всем для вас дорогим, немедленно отправляйтесь на остров Атлантического океана 11° 8' вост. долг. и 33° 7' южн. широты. Об этом никто не должен знать. Не думайте, что это пустой каприз или «испытание» вашей любви. Это более серьезно, чем можно подумать. Ничего больше не могу прибавить. Я никогда не сомневалась в вас. До свидания.

10 мая. Елена Грант».

«Что это значит? — подумал Джимми. — Шутка? Это похоже на Елену».

Почерк не вызывал никаких сомнений. Его слишком хорошо изучил Джимми. Скорее бы он не отличил плохо подделанный билет в сто долларов от настоящего, чем этой примитивной записки, столь примитивного рисунка от подделки. Кроме того, духи! Их нельзя было подде-

лать. Эту изумительную смесь мускуса, иланг-иланга и персидской сирени употребляла только она одна во всем мире.

Вдруг Джимми насторожился.

За окном, в зарослях крыжовника, тетя Полли беседовала со стариком Свеном, садовником профессора Гранта.

— Так вы говорите, что они исчезли? — сказал голодный Полли.

— Совершенно верно, мистрис, они исчезли. Это случилось позавчера, перед обедом. Мисс Грант оставила записку, в которой передавала все имущество в наше распоряжение. Сначала мы подумали, что это шутка, но до сих пор их нет, и мы начинаем думать, что это совсем не шутка.

— Это очень странно.

— Еще бы! Столь уважаемый человек, как мистер Грант... Среди бела дня пропал, как лопата в крапиве...

— Я слышала об этом, но не придавала значения. Вы приняли какие-нибудь меры?

— Мы заявили шерифу. Кроме того, сейчас же после исчезновения профессора на нашу ферму приехал на велосипеде какой-то фрукт в клетчатом кепи. Он понюхал воздух, поклялся, что найдет профессора Гранта, и ушел...

Джимми стал торопливо одеваться. Никаких колебаний у него больше не было. Одевшись, он вытащил из ящика стола атлас, открыл Атлантический океан и, найдя остров, отметил его маленьким синим крестиком. Затем он переписал в записную книжку долготу и широту, сжег на свече письмо Елены и снял с полки расписание пассажирских дирижаблей.

Весь вечер и весь день Ван бродил по Нью-Йорку в поисках профессора. Профессор как в воду канул.

Несколько раз он заходил на телеграф и подавал деньги в Нью-Линкольн.



Он заходил также в полицейские агентства, заполняя кучи бланков и оставляя кругленькие чеки. Но не таков был этот проклятый городишко Нью-Йорк, чтобы отыскать в нем человека, зная только его имя, фамилию и приблизительный цвет бакенбардов.

Может быть, в обыкновенное время Ван кое-чего и добился бы, но сейчас, в эти дни демонстраций, забастовок и всеобщей кутерьмы, ему оставалось только одно: как можно скорее ехать обратно в Нью-Линкольн и постараться разнюхать дело в окрестностях.

— Сдается мне, — пробурчал Ван, выходя вечером из бара, где он уронил в стакан виски две больших слезы по поводу своей гибнущей репутации, — сдается мне, что маделец трактира «Хромой фонарь» может мне рассказать кое-что относительно исчезновения профессора Гранта.

С этими словами Ван вскочил в такси и велел как можно скорее везти его на вокзал.

Ван упаковался в коробку купе, задернул занавески и, наклонив на левое ухо клетчатое кепи, захрапел, прыгая на кожаных подушках.

Тем временем Джимми перекинул через левую руку платное пальто, в правую руку взял небольшой чемоданчик и, объявив тете Полли, чтобы его не ждали к обеду и ужиному, отправился на ближайшую аэростанцию.

Ван вошел в трактир «Хромой фонарь», изящно облокотился на сетчатый металлический прилавок и попросил хозяина дать ему стакан какой-нибудь смеси покрепче.

Старик Бобс взболтал в миксере зверский заряд виски-абсент, кинул в стаканчик два кубика льда и щепотку ванили и надавил клапан толстого сифона. Стакан мгновенно вскипел мыльной пеной, и припухший глаз старика Бобса подозрительно скользнул по лицу Вана. Бобс сказал:

— Прошу вас. Кажется, вы на днях проезжали здесь на велосипеде, если мне не изменяет память?

Ван интимно вылил смесь на пол и, подмигнув хозяину, разгладил на прилавке десятидолларовый билет.

Он сказал:

— Я думаю, что эта бумажка не внушает вам особого отвращения. Одним словом, объявите мне свои соображения насчет исчезновения профессора Гранта, и можете записать ее на свой текущий счет.

Старик Бобс покосился на бумажку и зевнул.

— Собственно говоря, это не так уж много, но, если хотите, мисс Елена Грант в день своего исчезновения передала через меня письмо одному молодому джентльмену.

— Письмо! — воскликнул Ван. — Молодому джентльмену! Его имя и адрес?

Старик Бобс стал возиться со стаканами.

— Вот насчет адресов и фамилий я всегда бываю туговат... Забываю...

Ван положил на прилавок еще один билет.

— Впрочем, — сказал хозяин, — возможно, что я припомню, хотя не думаю, что вам может доставить удовольствие, если бы вы узнали, что этот молодой человек — сын здешнего архитектора, Джимми...

Ван опрокинул подвернувшегося под ноги негретенки и выскочил на улицу.

Бобс смахнул пестрой метелкой кредитные билеты с прилавка в ящик.

Тетя Полли открыла двери Вану.

— Увы, — сказала она, — вчера Джимми исчез, а куда — неизвестно. Не иначе как следом за дочерью профессора Гранта. Мы не знаем, что и подумать. Любимые сами понимаете, она не картошка.

Ван тихо зарычал.

— Извините, мадам. Я поеду в Нью-Йорк. Авось я найду на его след в Нью-Йорке. Тем более что там мне кое-что обещали узнать. До свидания!

С этими словами Ван вскочил на велосипед и поехал обратно на вокзал спасать свою гибнущую репутацию.

А десятиместный быстроходный самолет-торпедо, вылетевший 11-го числа с крыши Дворца Центра, глотал время и пространство, делая от 750 до 900 километров в час.

Он приближался к Европе.

### **XI. Ее удой превышал двенадцать ведер, или Эрендорф продиктовал точку**

Двенадцатого мая, около двух часов пополудни, пассажиры быстроходного самолета мистера Матапаль увидели туманные очертания Европы, выползавшие из-за края лазурного шара Атлантического океана.

Аппарат снизился.

Пиренейский полуостров разворачивался глубоко внизу темно-зеленым плюшевым ковром. Со всех сторон подвигался, смыкаясь, горизонт материка.

Елена, Грант, Матапаль и доктор Шварц сидели в каюте компании торпедо за вторым завтраком. Стол слегка покачивало.

Толстые хрустальные стекла были плотно завинчены: скорость аппарата превышала 800 километров в час.

— Меня удивляет одно! — воскликнул профессор Грант, закуривая манильскую сигару. — Меня удивляет до сих пор, как это я рискнул распрощаться со своей великолепной молочной фермой, лучшей в окрестностях Лос-Анджелеса, и принять ваше предложение, мистер Матапаль? Шутка ли, ведь я прожил на ней от самого рождения. Мои коровы были лучшими коровами во всех штатах. Роза, ты помнишь пятнистую Изабеллу? Вы не знаете, господа, но клянусь памятью моего покойного отца, она ежедневно давала от восьми до десяти ведер молока.

— Не скажи, папа, — заметила Елена, — красная Асортта была куда лучше. В мае ее удой иногда превышал двенадцать ведер в сутки.

Грант самодовольно подмигнул Матапалю.

— Моя Роза, господин Матапаль, — славная девочка, хоть и немного капризна. Но уже зато, сказать по правде, лучшей доильщицы не сыскать во всей Америке.

Елена вспыхнула от удовольствия и потупила глаза.

— Ну, папа, ты всегда скажешь что-нибудь такое...

Доктор Шварц многозначительно рассмеялся.

Матапаль посмотрел на часы.

— Мистер Джонсон, — сказал он профессору Гранту, — меня радует, что вы оказались не только знатоком, но также и искренним любителем молочного дела. Вам представляется блестящий случай проявить свои замечательные способности организацией образцового молочного хозяйства на острове, куда я вас пригласил в качестве специалиста.

Грант самодовольно погладил усы.

— Надеюсь, я сумею оправдать ваше доверие и ваши денежки. Шутка ли: пятьсот франков за один месяц. Для это прямо президентское жалованье!

— Одним словом, — сказал Матапаль, — выпьем, господа, за процветание коров, а заодно и за обновленное человечество!

— О'кей! — подхватил Грант, поднимая стакан.

Елена отпила глоток, поперхнулась, закрылась от смущения рукой и, не без кокетства захохотав, бросилась вон из кают-компаний.

Этот маленький инцидент отнюдь не испортил настроения завтракавшим; напротив, он внес еще большее оживление, и общая беседа, вращавшаяся вокруг племменных коров, сепараторов и удою, продолжалась так же резво, как и началась.

Через час аппарат опустился на Ниццкий аэродром.

Прибывшие заняли четыре лучших номера в миллиардерском флигеле фешенебельного отеля «Хулио Хуррито», который принадлежал, как и все, впрочем, в окрестности на сто километров, господину Эрендорфу, самому влиятельному, популярному и знаменитому романисту земного шара.

Оставив Гранта и Елену под наблюдением доктора Шварца, Матапаль отправился пешком на виллу Эрендорфа. Он желал сохранить свое инкогнито. В узком дорожном пальто, фетровой шляпе, с биноклем через плечо — он казался типичным середняком-миллиардером, приехавшим развлечься в этом старейшем и наиболее аристократическом курорте старушки Европы.

Мистер Эрендорф лежал в полотняном шезлонге, зажав ноги на мраморный парапет террасы, издали казалась, что его красные башмаки лежат непосредственно в фиолетовом Средиземном море. Он ковырял в зубах иглой дикобраза и, покручивая черные усики, наскоро расправлялся с Австралией. С Африкой он расправился лет двадцать тому назад, написав роман «Гибель Африки». Северная и Южная Америки, а также Азия и полюсы были уничтожены в конце прошлого века. Что же касается Европы, то ее гибель, собственно говоря, и явилась началом благополучия этого цветущего юноши средних лет.

Надо объяснить, что Эрендорфу было от ста двадцати до ста сорока лет, но не больше. Возраст не слишком старший, если принять в расчет, что каждые двадцать лет он регулярно омолаживался в лучших американских фирмах.

Итак, Эрендорф в данный момент расправлялся с Австралией.

Он диктовал в радиотиподиктофон двенадцатую главу нового романа, которая называлась так: «Глава двенадцатая, в которой великий учитель Хара-Хири из двух бывших разниц выбирает третью, побольше».

Он диктовал, и одновременно шестьдесят четыре типографии в разных частях света автоматически набирали на разных языках гранки нового сенсационного романа.

Увидев приближающегося Матапалья, великий Эрендорф продиктовал точку, мгновенно переведенную услужливым автоматом на шестьдесят четыре языка, и принистливо помахал Матапалю рукой.

Матапаль сел на парапет балкона и строго сказал:

— В нашем распоряжении, к сожалению, слишком мало времени, чтобы заниматься доходными парадоксами. Это я говорю вам заранее. Прошу отнестись к моим дальнейшим словам с должным вниманием.

И мистер Матапаль изложил Эрендорфу в коротких словах все, что он узнал сутки тому назад от профессора Гранта.

## **ХП. Джентльмен с вырванной манишкой**

Выслушав Матапалья, Эрендорф вскочил с шезлонга, хлопнул себя по ляжке и воскликнул:

— Вот это, я понимаю, сюжетец! Нет, ради бога, повторите... Надо немедленно писать новый роман! К черту — гибель Австралии!

Матапаль нахмурился.

— Мистер Эрендорф, я просил бы вас быть менее экспансивным и более серьезным. Вы, кажется, забываете, что через двадцать девять дней земной шар будет лыс, как голова моего первого секретаря, если не считать маленькой коричневой бородавки возле его левого ослиного уха.

Эрендорф засуетился.

— В таком случае не будем терять ни минуты. Бежим! Черт с ним, с пикантным сюжетцем. Моя шкура мне дороже.

Матапаль показал восемь золотых зубов.

— Вот это я понимаю. Теперь я слышу голос зрелого мужа, а не ребенка. Итак, вы, значит, согласны на мое предложение организовать остров в Атлантическом океане по всем принципам идеального капиталистического общества, великим знатоком и критиком которого вы у нас почему-то считаетесь вот уже сто двадцать лет?

— Согласен ли я?! О, конечно, только ради бога, едем как можно скорей! Едем и едем!

— Увы, — заметил Матапаль, — это не так-то просто...

— Как? Вы не знаете адреса этого острова?

— Нет, я точно знаю, где он находится, но, к сожалению, мы не можем немедленно на него переехать.

— Почему же, черт возьми?

— Этот остров не принадлежит нашим Штатам. По наведенным мною справкам, он является частной собственностью какого-то бывшего мексиканского президента.

Мистер Эрендорф стукнул кулаком по парапету.

— Так в чем же дело? Мы атакуем бывшего президента; мы вторгнемся в его владения; мы возьмем бывшего президента за шиворот и выбросим его в два счета в Атлантический океан... Не будем же медлить... За мной!

— Э, нет, — грустно покачал головой Матапаль. — Приступая к организации идеального капиталистического мира, мы не можем с первых же своих шагов в этой области нарушить первый и основной принцип капитализма — священное право собственности.

— К чертовой матери право собственности, — сквозь зубы пробормотал Эрендорф, поспешно надевая пиджак, висевший на гвоздике у шезлонга. — Что ж в таком случае прикажете делать? Гибнуть? Покорнейше благодарю! Только не я!

Эрендорф замахал руками.

— Спокойствие! — сказал Матапаль. — Дело вовсе не так плохо. Мы должны не завоевать остров, а купить его. Тогда только организация будущего общества будет покоиться на твердой, законной базе.

Эрендорф кисло поморщился. Он прохныкал:

— Ой, боже мой! Вот где у меня сидят ваши принципы! Сто двадцать лет повторяю я в своих романах, что никаких принципов вообще не существует! Бросьте! Идем же вторгаться в бывшего президента!

— Мы должны купить остров, — ледяным голосом начал Матапаль. — Ни на какие другие комбинации я не согласен. У нас хватит времени и денег на эту небольшую торговую операцию.

Эрендорф увял.

— Слушайте, так, по крайней мере, это надо сделать как можно скорее! Прежде всего надо будет навести справки об этом великолепном экс-президенте.

— Справки уже наведены. Фамилия президента — Мигуэль-де-Санто-Мадраццо. Место жительства неизвестно. Теперешняя профессия — шулер. Приметы: левый глаз стеклянный, на подбородке отпечаток бронзовой ножки подсвечника, сильно прихрамывает на правую ногу. Азартен.

— Это все, что вам известно?

— Все.

— В таком случае едем. Ставлю сто печатных листов против небольшого лирического стихотворения, что вышеупомянутый экс-президент находится в данный момент где-нибудь в одном из залов моего игорного дома в Монте-Карло.

— Не исключено, — сказал Матапаль.

— Еще бы, — подтвердил Эрендорф, поудобнее усаживаясь в мотор и подвигая подушку Матапалью. — Еще бы! Где ж ему и быть, этому великолепному мексиканцу, как не там?

Машина рванула вперед.

Мне кажется, что я слишком затягиваю действие романа. Пора бы уже переселить Матапаль, Елену, Гранта, доктора Шварца и Эрендорфа на таинственный остров в Атлантическом океане, тем более что там предстоит интереснейшая встреча Елены и Джимми. Кроме того, не мешало бы вспомнить и о Ване. Ведь его репутация до сих пор не восстановлена, а до конца романа не так уж и далеко.

Я не говорю о Пейче, дела которого, с переходом почти половины газовых групп на его сторону, значительно поправились. Скажу больше: еще немножко — и при поддержке интернациональных революционных армий рабочие захватят власть в свои руки.



Однако ничего не поделаешь, приходится рассказывать все по порядку. Постараюсь, по крайней мере, быть кратким.

Матапаль и Эрендорф вышли из автомобиля и, пройдя безукоризненную пальмовую аллею, стали подниматься по широкой мраморной лестнице игорного дома, мимо красно-золотых лакеев.

Едва они прошли два десятка лакеев, как двери игорного дома с грохотом распахнулись.

Человек пятнадцать красных и потных игроков во фраках, потрясая над головами подсвечниками, ринулись вниз по лестнице.

Впереди них сломя голову катился, хромя на правую ногу, джентльмен с вырванной манишкой, которая громко хлопала по его волосатой груди.

Растерзанный джентльмен с вырванной манишкой в мгновение ока докатился до Эрендорфа и, обхватив тряпущимися руками его полосатые штаны, спрятал шафранное черноусое лицо под щегольской пиджак писателя.

— Ради бога... — залепетал он. — Скажите им, что грех драться подсвечниками... Они не имеют права... Я не отказываюсь заплатить... Тут произошло явное недоразумение...

— В чем дело? — строго спросил Матапаль у игроков.

Передний игрок помахал подсвечником и сказал:

— Этот негодяй приклеил шестерку к подкладке левого рукава, но это не так важно... Кто из нас без греха! Черт с ним... Важно, что он не платит проигрыша. Местные законы не только не воспрепятствуют бить за долги, но даже, напротив, поощряют это. И вы не имеете права срывать негодяя. Выдайте его нам добровольно!

Игроки грозно наступали на Эрендорфа.

— Я заплачу! Честное слово президента — заплачу! — рыдал джентльмен с вырванной манишкой, ползая у ног Эрендорфа. — Только пусть они спрячут подсвечники.

Эрендорф выступил вперед.

— Джентльмены! Вы, кажется, не узнали меня? Всмотритесь: я Эрендорф, и мне принадлежат как местная территория, так и местные законы. Этот взволнованный оливковый господин находится под моим покровительством.

Игроки склонились перед строгим, но справедливым Эрендорфом.

— Прошу вас, — сказал Эрендорф, многозначительно подмигнув Матапалю. — Прошу вас, растерзанный джентльмен, встаньте и изложите все в двух словах.

Джентльмен с вырванной манишкой робко поднялся на ноги и, на всякий случай спрятавшись за спиной Матапалю, сказал:

— Я проиграл им все. Я не предполагал, что коса может до такой степени найти на камень. Я даже проиграл им экземпляр «Треста Д. Е.», — четырнадцатое издание на одном из семидесяти пяти наречий экваториальной Африки, а ведь это — библиографическая редкость. Ей цены нет! Наконец, у меня больше ничего не осталось, кроме этого проклятого острова на Атлантическом океане одиннадцати градусов восьми секунд восточной долготы и тридцати трех градусов семи минут южной широты, который никто не хочет покупать. Я оцениваю его минимум в пятьсот фунтов, а эти негодяи дают за него восемнадцать. Этот остров мне дорог, как память; кроме того, быть может, на нем есть какие-нибудь там залежи угля, нефть. Почему я знаю!

— Ни черта на твоём паршивом острове нет, кроме пары обезьян и облезлой кокосовой пальмы! — воскликнул один из игроков. — Я наводил справки. Одним словом, давай деньги, или мы тебя распакуем по всем правилам!

Тогда раздался нежный, воркующий голос Матапалю:

— Господин бывший президент Мигуэль-де-Санто Мадраццо, я покупаю ваш остров за тысячу фунтов. Получите пятьсот фунтов задатку. Прошу вас, уладьте свои

счета с этими джентльменами, и мы можем отправиться к ближайшему нотариусу, чтобы оформить нашу сделку.

— Тысячу фунтов! — воскликнул Эрендорф с приторным неудовольствием. Нельзя сказать, чтобы это было адски дешево. Все-таки остров, как-никак...

Через час, совершив все формальности у нотариуса, Матапаль и Эрендорф ехали назад.

Где-то недалеко вздыхало море, полное звезд и огней. Шоссе бесшумно летело под шинами мотора... Сзади, среди пальм, тысячами окон пылало и переливалось камино, где оранжевый президент, проиграв последнюю сотню, полученную за остров, поставил на даму пик единственную оставшуюся у него ценность — стеклянный глаз, оцененный в полтора доллара.

Общедоступный ветерок нежно овеивал воспаленную голову Эрендорфа, в которой бесновались проекты организации острова.

### ХІІІ. Имя Батиста Линоля входит в историю

Третий лакей шестнадцатого секретаря мистера Матапалья, Батист Линоль, на цыпочках прошел через приемную, выключил люстру и поднял шторы. Было уже почти светло.

Батист поудобнее уселся в малиновое кресло, зевнул, вытащил из кармана пудреницу, пилочку для ногтей, лопатку, щеточку для усов, щеточку для бровей и круглое зеркальце.

Разложив все эти галантные предметы первой необходимости третьего лакея, Батист повернулся к окну и стал тщательно выдавливать угри на большом, мясистом носу. За истекшие сутки их появилось три штуки. Это было ужасно.

Батист выдавил два угря и принялся за третий, когда его голову забрела весьма нескромная мысль: посмотреть, что делает господин шестнадцатый секретарь мистера Матапалья в столь ранний час у себя в кабинете.

По всем данным, у шестнадцатого секретаря была уй-

ма работы, потому что вот уже вторые сутки он оставался у себя в кабинете, отменив прием и приказав абсолютно его не тревожить.

Батист, конечно, знал, что при кабинете есть комфортабельно оборудованная уборная и что пищу секретарь мог в любой момент получить по автомату, установленному на его письменном столе.

Но все-таки было адски любопытно.

Батист выдавил третий угорь и, не в силах более сдерживать угнетающего любопытства, дико озираясь на зеркала, подкрался к палисандровой двери и припал к замочной скважине. Часть кабинета, которую он увидел, была пуста. По крайней мере, за письменным столом не сидел никто. «Наверно, дрыхнет, голубчик, на диване. Знаю я их государственные дела!» Однако в замочную скважину диван не был виден. Батиста засосало любопытство посмотреть, как спит секретарь. «Уж этого никак нельзя увидеть, не отворивши дверь. А дверь отворять без звонка лакей не имеет права», — попытался уговорить себя Батист. Но, увы! Непобедимое лакейское любопытство перехватило ему горло. Батист осторожно нажал медную ручку и, рискуя потерять место и общественное положение, перешагнул порог кабинета.

Диван был пуст. В кабинете никого не было.

— Странно, — пробормотал он. — Но, может быть, у господина шестнадцатого секретаря просто-напросто сильное расстройство желудка? Вероятно, что так.

Батист на цыпочках подобрался к внутренней двери, завешанной плотной портьерой, и прислушался.

Мертвая тишина. Хотя бы малейшее кряхтение или шелест. Ничего.

«Он, наверное, умер там от напряжения!» — с ужасом подумал Батист.

Он осторожно открыл дверь. В уборной было пусто, тихо и нежно пахло гелиотропом.

— Вот так штука! — удивился лакей. — Сквозь стену он прошел, что ли? Чудеса.

Уже не боясь шума, Батист прошел взад и вперед по кабинету.

«Перекусить, что ли?» — со вздохом подумал он, подойдя к столу.

Недаром же Батист считался одним из самых плохих и ленивых лакеев Дворца Центра.

Он плотоядно облизнулся, осмотрел со всех сторон аппетитный автомат и стал искать кнопку с подходящей надписью.

«Омлет» — это слишком примитивно, «кофе» — ерунда, «мидера» — это потом, «салат оливье» — легкомысленно».

Положительно, у него были изощренные вкусы, у этого угреватого молодого человека. Перебравши с дюжину кнопок и не найдя ничего экстраординарного, Батист уже собирался нажать простую «индейку с каштанами», как вдруг в стороне увидел кнопку с загадочным словом «sur»!

— Ну, что ж, sur так sur, — пробормотал изощренный лакей, — попробуем кусочек этого самого sur...а. Вероятно, какая-нибудь гадость. Однако я его никогда не пробовал.

С этими словами он нажал кнопку, и вдруг часть стены возле дивана разомкнулась и образовала дверь.

— Черт меня раздери! — воскликнул Батист.

Его любопытство перешло всякую меру.

Он кинулся в образовавшуюся дверь и вошел в нее. За дверью была лестница вверх. Батист быстро взбежал по ней на второй этаж и нажал кнопку. Стена разомкнулась, и он очутился в кабинете четвертого секретаря. Кабинет был пуст.

— Однако!

Батист побежал дальше. Он обегал все шестнадцать секретарских кабинетов, кроме кабинета шестого секретаря, который помещался, ввиду его преклонных лет, в самой тихой части Дворца. Все кабинеты были пусты.

— Это очень подозрительно, — сказал Батист. — Похоже на то, что все секретари Матапаля сбежали.

Батист поднялся на шестнадцатый этаж и остановил-

ся у кнопки. «Здесь должен быть кабинет самого Матапаля». Холодный пот выступил на угреватом носу Батиста, но он уже был в состоянии азарта.

— Эх, была не была! В крайнем случае — шестнадцать этажей — это не так много для молодого человека моего возраста и темперамента. Ну, побьют! Эх!

Батист нажал кнопку. Кабинет Матапаля был пуст. Не без трепета лакей подошел к бюро Матапаля. Окурок египетской папиросы лежал в пепельнице. Бумаги были в беспорядке. Батист наскоро пробежал некоторые из них и тихо свистнул.

— Теперь я начинаю кое-что понимать, — сказал он сам себе. — Наши-то секретари, во главе со своим патроном Матапалем, — тю-тю! То-то я и смотрю: оказывается, делишки Матапаля были в последнее время дрянь. Группы перешли на сторону Пейча, эскадра взбунтовалась, все рабочие тяжелой и легкой индустрии объявили забастовку. Так, так! Ну, старина Батист, теперь власть, можно сказать, валяется на земле, как бумажный доллар, вывалившийся из дырявого кармана подвыпившего негра. Я буду ослом, если не воспользуюсь случаем.

Батист уселся в кресло Матапаля и позвонил.

В кабинет быстро и бесшумно вошел лакей. Увидев Батиста на месте Матапаля, он побледнел, зашатался и упал в обморок. Когда он очнулся, Батист сказал:

— Тебе, дружище Макс, нужно подлечить нервы. Ты, кажется, здорово расстроился. Плюнь на это дело. Не стоит. Садись. Хочешь индейку с каштанами? А главное, закрой рот, это меня слегка раздражает. Кури, Макс!

Ни один человек в Нью-Йорке в это утро еще не знал о происшествиях во Дворце Центра.

Клерки торопились в конторы, барышни с полосатыми картонками выходили из магазина «Сакс», полисмены регулировали движение, газетчики катились шарами, сбивая прохожих, как кегли — по три штуки за раз.

Только в Реджинальд-Симпле было необычайное и грозное движение. Здесь собралось не менее двух миллионов бастующих. По диспозиции восстания, к ним н

любой момент по первому сигналу могли примкнуть остальные восемь миллионов рабочих Нью-Йорка.

Почти от всех воинских частей имелись гарантии о невмешательстве.

Победа была обеспечена, но Пейча крайне тревожило, что за последние двое суток со стороны правительства Матапаль прекратились всякие действия.

Прекратились прокламации, обыски, подкупы.

Не такой был человек Матапаль, чтобы отказаться от борьбы. Пейч слишком хорошо изучил его тактику.

В чем же дело?

Пейч не сомневался, что Матапаль готовит рабочим какой-нибудь небывалый сюрприз. Но события слишком наизрекли для того, чтобы медлить с восстанием, а план штурма Дворца Центра был разработан во всех подробностях.

В восемь часов утра рабочие предместья Реджинг-Симпль медленно двинулись на Центр, разворачивая фронт и загибая фланги. К ним моментально пристали модистки, клерки, газетчики и вообще разношерстная публика, толпящаяся на улицах.

#### XIV. Правительство лакеев

Таким образом, тридцать два лакея, не считая шестого секретаря, обнаруженного в ватерклозете, и генерал-коменданта, который в полном недоумении, но тем не менее со звоном шагал по опустевшим приемным, вверх ногами отражаясь в паркете, оказались фактически владельцами Дворца Центра.

Мальчишки-лифтеры, осыпанные серебряными пуговицами, хорошо учли ситуацию.

Кинув на произвол судьбы проклятые лифты, они с хищением скатывались на животах по перилам вниз, выпуская гортанные крики, явно выказывая тем самым свое полное пренебрежение к завоеваниям человеческого гения конца прошлого века.

Автоматы-рестораны во всех секретарских кабинетах бешено работали.

По данным статистического бюро при хозяйственном секретариате Дворца Центра, за первые три часа фактического перехода власти в руки лакеев последними было уничтожено такое неслыханное количество фаршированных индеек, что одних только каштанов к ним пошло по меньшей мере с десяти больших и красивых деревьев.

Выпитое вино определялось не литрами, но количеством нашатырного спирта, которого было вынюхано на тысячу двести долларов. Батист Линопль сидел, заложив ногу на ногу, в кресле Матапалья, и, полируя ногти, говорил друзьям:

— Бездельники были наши секретари, вот что. Только и знали индейку с каштанами да разговоры по радиотелефону. Да и Матапаль тоже хорош гусь, доложу я вам. Также мне — правитель мира! Шантрапа.

Батист игриво подмигнул Макс.

— Подозрительный сын какого-то гуталинового короля и королевы экрана. Просто парвеню. Удивляюсь тебе, Макс, как ты мог давать ему прикуривать по двадцати раз в день?

Макс уныло вздохнул.

— А если наши патроны вернутся? — проговорил он.

— Вздор! — заметил Батист. — Беру все на свою ответственность. И вообще, как говорится, патронов не жалеть.

Сказав этот первый в своей жизни чужой каламбур, Батист крепко зажмурился и притих.

Однако никто по физиономии ему не дал. Батист удивился, робко приоткрыл один глаз, потом вдруг выпучил сразу оба глаза и добродушно расхохотался.

— А, ребята, вы слышали, что я отмочил? Патроном, ха-ха-ха, не жалеть, ха-ха-ха! Что значит игра слов! Патронов и, хе-хе, патронов. Не жалеть.

Лакеи подобострастно засмеялись.

— Однако, — уныло заметил Макс, — если они не вер-



нуты, хотел бы я знать, кто нам будет платить жалованье?

Лакеи встревожились.

Но Батист успокоил их:

— Ерунда. Что такое жалованье в сравнении с этой шпучкой?

Он помахал над головой чековой книжкой, найденной им в бумагах Матапалья.

— Здесь десять листиков подписано без обозначения суммы, на предъявителя. Пока еще суд да дело, мы их реализуем. Я думаю, на рыло можно выжать миллионов по шести. Это, конечно, не так уж дьявольски много, но тем не менее...

В этот миг в кабинет вошел генерал-комендант. По всем данным, этот храбрый вояка совершил изрядную экскурсию по ресторан-автоматам, потому что его нос переливался всеми цветами радуги, как пол-аршина коркота цвета «шанжан» хорошей выработки.

— Господа, — сказал он, — там внизу бушует какой-то мрачный, но тем не менее весьма рыжий джентльмен неопределенных классовых признаков: не то заводской конторщик, не то суфлер. Во всяком случае, он требует во что бы то ни стало господина второго секретаря. Он кричит, что Дворцу Центра грозит гибель, что Пейч выступил и что вообще необходимо спешно пустить в ход какую-то загадочную машину обратного тока. Я ему предложил убраться, но он сел на лестнице и заявил, что добровольно не уйдет. Какие будут ваши распоряжения?

Батист глубокомысленно задумался.

После за этим в гулкой пустоте приемных послышались торопливые шаги, и Галифакс влетел в комнату увидя лакеев, он остолбенел.

Что скажете хорошего, рыжеватый блондин? — вежливо осведомился Батист. — Если у вас пересохло в горле — можете выпить стаканчик марсалы и закусить индейкой с каштанами.

Галифакс очнулся.

— Где Матапаль? Что случилось?

— Матапаль — тю-тю! — сообщил Батист.

Галифакс схватился за голову.

— В таком случае что вы здесь делаете? Безумцы! Спасайтесь! Рабочие Пейча приближаются по Бродвею к Таймс-сквер. Весь Манхэттен оцеплен.

Наступила зловещая тишина.

С улицы послышался рев толпы. Этот рев, пока еще похожий на бормотание, грозно усиливался.

— Машину обратного тока! — воскликнул Галифакс — Она одна может остановить наступление. Где она?

— Мне ничего не известно об этой машине, — с достоинством отвечал генерал-комендант. — А что это за машина?

Галифакс ужасно выругался.

— Вы олух, а не комендант! В таком случае за мной!

В два прыжка он очутился на лестнице и помчался наверх, на крышу-аэродром. Часть лакеев, с Батистом во главе, последовала за ним.

— Машина обратного тока должна быть здесь, — проговорил Галифакс, открывая дверь небольшой стальной будки. — Ее здесь нет! Ее увезли!!!

Он подбежал к парапету, заглянул вниз и увидел Таймс-сквер, похожий на треугольный бутерброд, густо намазанный пакусной икрой несметной толпы. Он ошатнулся.

— Поздно! — воскликнул он. — Мы погибли!

Батист схватил его за плечи и потряс.

— Слушайте, вы, рыжеватый блондин... Собственно, в чем дело? Объясните толком.

Галифакс указал вниз:

— Это рабочие Пейча. Они требуют свержения власти Матапала. Они требуют его смерти.

— Ну, — сказал Батист, — в таком случае дело еще не так скверно. Мы их сейчас успокоим... Макс, сбегай вниз, в приемную, и принеси чего-нибудь покраснее, метров на десять в ширину и столько же в длину. Там, кажется, есть какая-то розовая обивка.

Макс нырнул и через две минуты вынырнул.

— Есть. Вот. Узковата.

— Ладно, — сказал Батист, — ребята, спускайте этот идиотский флаг Матапаля, из-за которого мы имеем столько неприятностей. Спасибо. Теперь привязывайте это розовое... Так. Мерси.

— Что вы хотите делать?

— Как что? — удивился Батист — Ведь вы же сами, кажется, утверждаете, что они хотят перемены строя. Так в чем же дело? Мы его сейчас переменим. Ребята, поднимайте!

Лакеи втащили розовую драпировку вверх, на флагшток, вместо знамени Матапаля.

— А я теперь пойду вниз, — заявил Батист. — Мне надо говорить речь. Мой час пробил.

#### **XV. Очень приятно познакомиться, Батист Линоль. Вождь**

— Мой час пробил, — сказал Батист, стремительно идя в лифте.

И нужно признаться, что это было действительно так. Час Батиста Линоля пробил.

Громадный розовый бант пышно сидел на шелковом напекане лакея, когда он вышел на мраморное крыльцо Дворца Центра. Несметная толпа народа, пришедшая громить Дворец Центра и требовать голову Матапаля, ахнула.

Товарищи! — закричал Батист, поставив ладони в упор. — Товарищи и свободные граждане!

В толпе пробежал шепот.

— Внимание! Внимание! — слышались голоса.

Тогда Батист набрал в легкие громадную партию воздуха и крикнул заорал:

— Товарищи! Правительство Матапаля рухнуло! Гип-ура! Ура! Ура!

Неописуемые крики восторга взлетели над толпой.

Руки, шапки и платки замелькали в воздухе. Батист сделал небольшую паузу, отдышался и продолжал:

— Граждане, Матапаль рухнул, и это сделал я. Я, Батист Линоль, уничтожил Матапалья! Его больше нет! Он бежал! Желающие могут убедиться!

Толпа глухо зашумела.

— Мы требуем голову Матапалья! Голову Матапалья! Смерть Матапалью!

Словом, это была шикарная массовая сцена в хорошей постановке.

Батист галантно развел руками.

— Матапаль бежал со всеми своими секретарями! Увы! Но...

Его голос зазвенел фальцетом бешеного торжества.

— Но, граждане, в моих руках все-таки находятся злостные помощники Матапалья — шестой секретарь и генерал-комендант.

Толпа шумела.

— Граждане! — воскликнул Батист. — Сегодня великий день, когда власть перешла в руки народа! Мы должны отпраздновать его по всем правилам. Во-первых, мы покажем негодяям шестому секретарю и генерал-коменданту пример справедливости, законности и правосудия. А потому я назначаю специальную следственную комиссию, которая разберется во всех их преступлениях. Так что вы можете не беспокоиться на этот счет. Во-вторых, спешу обрадовать вас приятной новостью: я избран председателем временного правительства лакеев!

Пауза. Крики «ура!».

— Товарищи, вы доверяете мне? — Батист сделал полукруглый жест рукой, точно подавал поднос, и зарыдал от полноты чувств.

— Доверяем! — крикнуло несколько женских голосов.

Батист поднял над головой два пальца и прокричал:

— Спасибо! Клянусь отдать свою жизнь до последней капли крови за революцию! Превратить жизнь в цветущий рай. В самое ближайшее время моим правительством будет опубликован целый ряд законов, направленных

ных к нашему счастью. В первую голову я имею в виду урегулировать наболевший вопрос о чаевых. Я постараюсь добиться повышения их на семьдесят пять процентов, и, клянусь, мне это удастся! Затем вопрос о горничных. Им будет предоставлено право душить духами своих господ и принимать у себя по пятницам кавалеров, если последние, конечно, будут держать себя прилично.

Батист строго нахмурил брови.

— Затем, — продолжал он, — относительно негров. Хотя их и нельзя ставить на одну ногу с белыми, по тем не менее им будут даны кое-какие привилегии. Так, например: им будет предоставлено право свободного проезда в общих отделениях метрополитена за особую доплату, которая пойдет в фонд временного правительства ланкесв на предмет снабжения всего, даже самого бедного, населения Штатов смокингами.

Еще долго и резво говорил Батист. Он плакал от умиления, рычал, как тигр, выкрикивал фальцетом клятвы умереть или победить. Он требовал доверия. Он простирали руку над толпой и призывал громы и молнии на всех, кто рискнет выступить против него, Батиста, и против республики.

Одним словом, он был великолепен.

— А теперь, — закончил он свою речь, — можете идти по домам и мирно заниматься своим делом. Вопрос исчерпан. Передайте всем, что Батист Линоль стоит на страже общественных интересов. До свидания. Я очень устал. Идите!

В этот момент Пейч растолкал локтями толпу и в два прыжка очутился рядом с Батистом.

— Эй, вы! Как вас там... Шевиот... Что это вы тут говорите насчет негров и смокингов? Позвольте. Я руководитель стачечного комитета рабочих тяжелой индустрии — Пейч.

— Очень приятно познакомиться, — томно произнес Батист. — Батист Линоль. Вождь.

Пейч нерешительно пожал протянутую ему руку. Ба-

тист Лиоль сверкнул глазами, что-то быстро сообразил, выпрямился и крикнул толпе:

— Граждане! Внимание! Будьте все свидетелями исторического факта... Народный вождь Батист Лиоль протягивает братскую руку руководителю рабочих тяжелой индустрии, Пейчу!

Пейч не успел открыть рта, как толпа, которая еще плохо разобралась во всех фантастических событиях сегодняшнего дня, заревела ураганом восторга. Лес рук вырос над головами.

Дамы визжали. Кепи летели в воздух. Небольшой джаз-банд, возвращавшийся из ночного кабаре домой и попавший в толпу, вдруг блеснул всеми своими зубами, белками, кастрюлями и загрохотал «Марсельезу» — этот стариннейший республиканский гимн Европы, правда, с некоторой примесью шимми.

— Все это отлично, — сказал Пейч, когда овации утихла. — Но я пришел сюда не для того, чтобы пожинать лавры Дантона...

— Дантона? — переспросил Батист.

— Да, Дантона. Я пришел сюда для того, чтобы наконец добиться восьмичасового рабочего дня, разоружения и полных политических прав! Я требую гарантий!

— Хорошо! — торжественно произнес Батист. Я вам все это гарантирую!

— Вы?! — воскликнул Пейч.

— А что касается восьмичасового рабочего дня, разоружения и полных политических прав, то в ближайшее время я займусь этим делом вместе с Галифаксом.

Пейч остолбенел.

— С Галифаксом?

— Да. С Галифаксом. Вон он стоит на крыше. Прошу убедиться. У меня в кабинете Галифакс занимает пост министра труда. Вы удовлетворены?

С этими словами Батист упал на руки предупредительных лакеев и, овеваемый со всех сторон платочками, был уведен под руки во внутренние апартаменты Дворца Центра.

— Веселенькая история! — пробормотал ошеломленный Пейч. — Тут что-то неладно! И какое отношение к этому ослу имеет Галифакс? Очень странно, если не сказать больше.

Что же касается Вана, то он задумчиво шагал по побужденным улицам, лихорадочно обдумывая план дальнейших поисков пропавшего, как иголка, профессора Гранта.

Одна-единственная нить была в руках Вана — это номер такси, в котором ехал профессор Грант в злополучный день, когда на углу Бродвея и 5-й авеню совершенно нестати на пути Вана упал взорванный небоскреб. Ван сообщил куда следует этот номер. Ему обещали разыскать шофера. Но до сих пор никаких положительных результатов не было.

События, разыгравшиеся с молниеносной быстротой, стисовали на несколько дней, как колоду карт, все лица, номера и даже некоторые адреса.

В ближайшее время нечего было и думать напасть на какой-нибудь след. И все-таки Ван не унывал.

Не могло же ему, в самом деле, так дьявольски не везти все время! Он твердо верил, что в конце концов судьба повернет к нему свое широкое веснушчатое лицо и репутация Вана будет спасена.

## XVI. Джимми на острове

Оставалось выжидать.

Пока же на всякий случай Ван бродил среди толп и манифестаций, меланхолично покупая экстренные выпуски газетного треста, в фантастическом количестве экземпляров воспроизводящие профиль и анфас Батиста Инолы, и поглядывая на номера такси.

И вдруг ему повезло.

Он увидел такси с номером, который был ему нужен в данный момент больше всего на свете.

Собственно, это было так же невероятно, как если бы, скажем, на землю упал метеорит, весом в две с полови-

ною тонны чистого золота, и, минуя все точки земного шара, упал бы именно в вашем фруктовом саду.

Но ведь случается же, что телефонный мальчишка вдруг выигрывает двести тысяч на билет, который он нашел на полу десятицентового кино.

В конце концов все события нашей жизни построены на случайностях, и я не могу поручиться, что этот роман является исключением.

Как бы то ни было, Ван бросился, размахивая руками, за такси.

Каждую минуту он рисковал быть раздавленным или оштрафованным за внесение дезорганизации в уличное движение. Но раз на карте стояла профессиональная репутация, то рассуждать было нечего.

Такси ехало не очень быстро, а у Вана были довольно мускулистые икры.

Тут бы не мешало, чтобы не нарушать композицию романа, снова обратиться к профессору Гранту, который чувствовал себя весьма недурно в новом положении фермера, и к очаровательной Елене, которая продолжала говорить о достоинствах и недостатках коров, к которым никогда в жизни не подходила ближе чем на десять метров. Отец и дочь жили в фешенебельном отеле «Хулио Хуренито», ожидая отправки из Ниццы на остров. Не помешало бы осветить также дальнейшее поведение мистера Матапаля и Эрендорфа, которые целые сутки совещались...

Но я предпочитаю последовать за Джимми.

В два дня добравшись до Капштадта, Джимми приобрел здесь небольшую электромоторную лодку и, запасшись оружием, провизией, картой и хорошим компасом, один отправился на поиски острова, указанного в странной записке Елены Грант.

Погода благоприятствовала Джимми. Океан был тих. Аккумуляторы работали исправно, подробнейшая карта Атлантического океана оказалась идеальной. Проплыв сутки с лишним, Джимми в полдень без труда достиг острова.



С моря остров казался необитаемым.

Скудная зелень росла среди его скалистой вулканической поверхности. В одном месте небольшой прозрачный ручей впадал в океан. Стаи каких-то крупных морских птиц, похожих на пингвинов, расхаживали по берегу, давая легкому прибою осыпать себя щедрой пеной и брызгами.

Над головой, по самой середине голубого, невероятно надувшегося океанского неба, стояло знойное солнце.

Джимми остался чрезвычайно доволен.

Он отыскал бухту, показавшуюся ему наиболее удобной, и ввел в нее свою лодку. Затем он вытащил лодку на берег и на всякий случай спрятал ее в скалах, поросших кактусами.

Джимми вскипятил, пользуясь аккумулятором, электрический чайник и, подкрепив себя плотным завтраком, отправился, перекинув через плечо хороший винчестер, осматривать остров, куда его так неожиданно и странно забросила судьба.

В течение нескольких часов он обошел остров вокруг. Остров был не более пятнадцати километров в длину и десяти в ширину.

— Очень странно, — заметил Джимми, развалившись поудобнее на скалах под солнцем. — Я начинаю бояться, что со мной сыграли скверную шутку. Впрочем, если это даже и так, то продолжительное путешествие никогда не вредит молодому человеку моих лет.

Остаток дня Джимми посвятил более подробному исследованию острова. Никаких признаков человека он не обнаружил. Посредине острова росло несколько пальм. Два три ручья разбегались от центра к океану. Вода в ручьях была теплой и на вкус отдавала серой.

И со всех сторон был необъятный, голубой, выпуклый, великолепный и пустынный Атлантический океан.

Начало смеркаться. Пора было подумать и о ночлеге.

Круглая, бледная, магнитная луна всплывала из океана. Она была покуда еще похожа на пуховку, вынутую

красавицей из лазурного мешочка, чтобы попудриться на ночь.

Солнце низко висело пылающим стеклянным шаром над ослепительной водой.

Краски этого величественного океанского ландшафта были цветисты и великолепны.

Затем солнце стало желто-красным, как сафьяновая, похожая на сердце, задница павиана. Оно быстро погрузилось в океан, наступили короткие тропические сумерки.

По всему берегу с шумом и хлопотливым писком устраивались на ночь морские птицы. Какое-то животное в глубине острова плакало детским голосом.

Джимми поспешил в расселину скал, к своей лодке. Невдалеке он отыскал небольшую пещеру, скрытую камнями, и, втащив туда сундук с походной постелью, стал устраиваться на ночь. Он расставил складную кровать. Над кроватью повесил электрическую лампочку в шелковом абажуре. Под подушку он сунул двадцатизарядный автоматический пистолет системы «домбле». На всякий случай Джимми еще раз обошел вокруг пещеры и остановился у входа.

Стояла или, вернее сказать, тяжело висела душная тропическая ночь.

Весь мир, казалось, был осыпан звездами, как телефонный негритенок солидной фирмы в Манхэттене пуговицами. Звезды были величиной в доллар каждая, и они валялись без всякого подсчета везде: на небе и в океане.

Прибой вокруг рифов горел голубым фосфорическим пламенем, и при этом ярком кинематографическом свете Джимми казалось, что его руки сделаны из голубого аптекарского стекла.

Он глубоко и нежно зевнул, вошел в пещеру, проверил обойму пистолета и, установив у входа сигнальные хлопушки, залез под одеяло. Он прочитал несколько страничек «Королей и капусты» незабвенного О.Генри и вскоре крепко заснул.

Ему снились звезды и Елена, которая стояла среди этих звезд с распростертыми руками и кормила их, как

голубей, серебряными долларами. Потом пришел профессор Грант, погрозил Джимми золотым пальцем и строго сказал: «Стыдно, молодой человек, я от вас этого не ожидал».

Джимми проснулся. Уже был день. Он посмотрел на часы — половина двенадцатого.

Он оделся и отправился с чайником к источнику. Выйдя из пещеры, он посмотрел в океан и остолбенел.

Остров был окружен эскадрой трансатлантических пароходов. Их было не менее десяти. Электромоторные лодки шныряли между ними, поднимая фонтаны брызг. Угольный дым стоял над яркой водой океана.

Джимми обернулся. В двадцати шагах от него, на скале стояла Елена и смотрела в океан.

## XVII. Чудеса начинаются

У Джимми перехватило дыхание. Он страшно покраснел и, сняв с головы кепи, подошел к Елене.

— Елена, — сказал он.

Елена вздрогнула и с удивлением посмотрела на него.

— Похоже на то, что вы обознались, — сказала она.

Джимми весело улыбнулся.

— Вы приказали мне быть здесь, и, видите, я беспрекословно исполнил ваше желание.

Елена сердито нахмурилась.

— Слушайте, молодой человек, может быть, у вас здесь и принято приставать к незнакомым девушкам, только предупреждаю, что у нас в Лос-Анджелесе это не практикуется.

— В Лос-Анджелесе? Елена, я не понимаю вас.

— Посмотреть на вас — действительно невинный маленький грех!

Елена весело захохотала и прибавила:

— Меня зовут Роза, а не Елена. Впрочем, не подумайте, что я хочу с вами познакомиться. Мне наплевать на это. За мной ухаживало около полудюжины лучших пар-

ней — и ни один не пришелся мне по вкусу. Так что не во-  
ображайте!

Джимми открыл рот и сел на кактус.

Елена фыркнула.

— Ай да кавалер! Как раз угодил на кактус! Ну, как вы  
себя чувствуете?

— Как на иголках, — бледно улыбнулся Джимми.

Елена захохотала еще пуще, присела от хохота на  
корточки, затем вскочила и бросилась бежать в глубину  
острова, утирая подолом юбки выступившие на глазах  
слезы.

Джимми бросился за ней и вдруг остановился в пол-  
ном недоумении. Он увидел, что остров был заселен людь-  
ми. Мало того, он увидел довольно большие дома, бараки,  
ограды, какие-то вывески... Одним словом, перед ним  
был строящийся город, один из тех городов, которые в  
несколько месяцев возникали в позапрошлом веке в Ка-  
лифорнии, в эпоху золотой горячки. Но этот строящийся  
город возник в течение одной ночи.

Не будь Джимми сыном архитектора — он бы, несо-  
мненно, посчитал это за чудо или в лучшем случае за гал-  
люцинацию. Но человеку, хорошо знакомому с современ-  
ной строительной техникой, возникновение за одну ночь  
нескольких десятков больших бетонных домов не могло  
показаться чудом.

Дома в разобранном виде были привезены на парохо-  
дах, которые стояли кольцом вокруг острова. Джимми  
видел, как между морскими гигантами и островом двига-  
лись электропаромы, как по острову гроыхали тракто-  
ры с гусеничной передачей, как фыркали моторы, приво-  
дящие в движение феноменальные краны, которые воро-  
чали в воздухе бетонные стены и даже целые, уже  
отмеблированные квартиры, как игральные карты.

Всюду кипела работа. Монтеры в кожаных куртках  
передвигали рубильники на мраморных распределе-  
телях, шоферы правили грузовиками, плотники вкладывали  
бревна в пыхтящие станки, откуда они выползали распи-  
ленными, обтесанными и полированными. Несколько ар

хитекторов с треножниками астролябий спешно наносили на кальку план тут же строящегося города и справлялись по записным книжкам — не забыли ли поставить где-нибудь дома или стены.

Мимо Джимми быстро прошел какой-то взволнованный инженер, который, размахивая планом, кричал кучке монтеров:

— Эй, вы, ослы! А где же питомник поэтов, черт вас возьми? Вот он по плану. Вместо него я вижу почему-то хранилище хлебных пород и общежитие кинозвезд! Олухи! А где, я вас спрашиваю, конденсатор номер сто восемьдесят девять рабочих горной промышленности?

Инженер подошел к монтерам, и его желтый, плоский карандаш быстро зачертил по плану. Монтеры почесали затылки.

Джимми тоже снял кепи и почесал затылок.

Вокруг него ходили люди, но на него никто не обращал внимания.

Джимми закурил и увидел профессора Гранта, который шел по берегу, изредка поднимая плоские камешки, хорошо обточенные прибоем, и пуская их рикошетом. Как-то раз, когда камешек скользил по воде удачно, профессор Грант хлопал себя по коленкам, восклицая:

— Ай да здорово, старина Джонсон! Ну-ка еще разок!

Джимми побежал к профессору и, остановившись подле него, взволнованно сказал:

— Добрый день, мистер Грант!

Профессор Грант оглядел Джимми от каблуков до пуговички на кепи и сказал:

— Молодой человек, вы, наверное, обознались. С вашего позволения, я — мистер Джонсон, специалист по молочному делу и заведующий коровьей секцией этого острова. Очень приятно познакомиться.

— Этого не может быть! — воскликнул в отчаянии Джимми. — Вы меня просто дурачите. Вы профессор географии Грант.

Профессор Грант самодовольно захохотал.

— Что я профессор — это, пожалуй, недалеко от исти-

ны. Если бы где-нибудь имелся молочный университет, то будьте уверены, что я был бы там профессором корововедения. А вот что касается того, что моя фамилия Грант, так это вы извините. Я родился Джонсоном, Джонсоном же надеюсь и умереть.

Джимми схватил его за рукав.

— Умоляю вас, — пролепетал он. — Довольно. Вы и ваша дочь сведете меня с ума.

Профессор Грант поднял очки-консервы на лоб и хлопнул себя по коленке.

— Ах, проклятая девчонка! Теперь я все понимаю. Она уже успела вам, кажется, вскружить голову и наговорить всякой чепухи. Ох уж эта кокетка Роза! Но вы, молодой человек, не огорчайтесь. Надеемся. Вы мне нравитесь. Вероятно, мы с вами еще встретимся. А пока до свидания. Меня ждут коровы.

Джимми посмотрел в глаза профессора Гранта. В них был такой же точно странный огонек, как и в глазах Елены.

— Здесь что-то неладно, — прошептал Джимми. Вокруг меня происходят странные вещи. Странные и, может быть, даже опасные.

## **XVIII. Эрендорф — конструктор острова**

Получив письменные распоряжения и радиопредписания от Матапаля, пятнадцать секретарей, восемьсот миллиардеров, тысяча королей по профессии и девять королей по рождению, восемьдесят два президента, шестьсот одиннадцать профессоров, триста беллетристов, поэтов-конструктивистов, композиторов и оперных певцов, такое же количество кинорежиссеров, чемпионов бокса и шахмат, изобретателей и эстрадных звезд, не считая отборнейших экземпляров лакеев, кинонатурщиков, операторов, сыщиков, шулеров, омолаживателей и многих сотен людей других, менее почтенных специальностей капиталистического общества, сохраняя стро

наибольшую конспирацию, ринулись со всех концов Штатов на остров.

Эта импровизированная мобилизация была проведена с исключительной быстротой и успехом.

Громадное количество трансатлантических гигантов, сфрахтованных в разных частях света разными людьми, располагавшими неограниченными суммами, немедленно нагрузились всем необходимым и пришли к острову.

Более сотни лучших воздушных кораблей всех систем, тяжелее и легче воздуха, слетались с металлическим шумом к этому острову, как стая пчел к только что распустившейся розе, обещающей сладкий нектар и необходимый отдых.

Все это громадное количество избранных людей, машин и продуктов, сконцентрированное вокруг острова, было, конечно, незаметной каплей в общей сумме людей, машин и продуктов земного шара.

Поэтому их исчезновения никто не заметил.

Остров находился в стороне от воздушных и океанских коммуникаций.

Матапаль и Эрендорф в обществе преобразенного Гранта, Елены и доктора Шварца прибыли на остров во главе своей эскадры, которая привезла некоторые дома, машины, питомники, — одним словом, все главнейшие элементы будущей культуры, предназначенной для восстановления жизни на новых материках перерожденной земли.

В течение первых десяти часов на острове были установлены главнейшие здания: Дворец Центра — резиденция Матапалья, вилла главного конструктора острова Эрендорфа, питомник лакеев, электрическая станция, радио, машина обратного тока, главная лаборатория и несколько общежитий для образцовых экземпляров рабочих всей индустрии и т. д.

План острова вчерне был готов.

Эрендорф рассказывал у себя в рабочем кабинете, загнув руки в карманы полосатых штанов, и, ковыряя в

зубах иглой дикобраза, кричал в диктофон приходящие ему в голову гениальные мысли. Бесшумный лакей виртуозно вставлял в диктофон свежие валики, а старые немедленно отправлялись к Матапалю.

Матапаль сидел, положив ноги на ручку кресла, и осматривал общий вид работ, протекавших перед его глазами на серебристой поверхности радиоэкрана.

Изредка он прикладывал к уху трубку фонографа, работавшего в соседней комнате, и тогда он слышал отрывистый, несколько уменьшенный голос Эрендорфа, который выкрикивал что-нибудь вроде этого:

«Не забывать: общая сумма рабочих не должна превышать общей суммы джентльменов правящего класса более чем на пятьдесят процентов. Произвести тщательный контроль общего развития рабочих. Слишком развитых — выслать. Секреты машин должны тщательно охраняться. Оружие старой конструкции может быть в ограниченном количестве выдано охране. Оружие новой конструкции должно быть выдано под расписки только джентльменам. Избегать на первых порах трений с рабочими. Особенное внимание обратить на питомник беременных, не забывая, что будущие младенцы явятся пионерами новой культуры».

Матапаль изредка кивал головой и делал отметки в блокноте.

«Этот Эрендорф весьма неглупый парень. Ставлю сто против одного, что мы соорудим очень милое, послушное и работающее человечество, с которым будет гораздо меньше хлопот, чем с теперешним. Кстати, я очень доволен, что через какие-нибудь три недели оно пойдет к чертовой матери под воду. Туда ему и дорога».

Дворец Центра на острове был точнейшей копией Дворца Центра в Нью-Йорке. Это была причуда Матапали.

Уже во всех этажах Дворца секретари сидели в своих секретариатах, изредка получая из автоматов сандвичи





Завтра грянет война...  
Вторая мировая война на его веку



Валентин Катаев (в центре) на Западном фронте в 1942 году. С первых дней войны он был военным корреспондентом «Правды», «Красной звезды» и других центральных и фронтовых изданий.

Но он еще не знает, какое страшное горе его ждет: 2 июня того же 42-го года погибнет его младший брат, корреспондент Совинформбюро Евгений Петрович Петров.



«Ему страшно не везло. Смерть ходила за ним по пятам. Он наглотался в гимназической лаборатории сероводорода, и его насилу откачали на свежем воздухе...

В Милане возле знаменитого собора его сбил велосипедист и он чуть не попал под машину. Во время Финской войны снаряд попал в угол дома, где он ночевал. Под Москвой попал под минометный огонь немцев. Тогда же на Волоколамском шоссе, ему прищемило пальцы дверью фронтовой «эмки»...: на них налетела немецкая авиация и надо было бежать из машины в кювет.

Наконец, самолет, на котором он летел из осажденного Севастополя, уходя от «мессершмиттов», врезался в курган где-то посреди бескрайней донской степи, и он навсегда остался лежать в этой сухой, чуждой ему земле».

*Из книги Валентина Катаева «Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона»*



Из монгольских степей в послевоенное Переделкино





Депутат Верховного Совета РСФСР, 1947 год



Украинский писатель Микола Бажан с женой и Валентин Катсон в гостях у хозяина всей Украины Н. С. Хрущева.  
Киев, конец 40-х годов



Даже на пленуме Союза советских писателей хотя бы в кулуарах можно от души посмеяться...  
Максим Рыльский, Борис Полевой, Николай Тихонов и Валентин Катаев.  
Москва, середина 50-х годов



Париж.

Режиссеру и актеру Жану Фабри (слева) и французскому драматургу Саважону (в центре) крайне интересны соображения русского автора по поводу только что сыгранной его пьесы «Где вы, месье Миуссов?».



Сцена из спектакля «Где вы, месье Миуссов?».

Жак Фабри в роли Зайцева (как говорится — «Шерше ля фамм») на женских мужественных руках.

Кстати, на советских сценах эта комедия имела совсем другое название — «День отдыха». Почувствуйте разницу



Тогда еще пустынный Коктебель.  
Два профиля. 1950 год



и кофе, а также испещряя груды бумаги секретнейшими проектами и выкладками каждый в своей области.

Избранные лакеи, привезенные ими с материка, выдавливали угри, сидя в красных креслах. Лифтбой навывтяжку стояли у лифтов.

Справочное бюро спешно налаживало свой аппарат. Там рыжие барышни в строгих платьях, застегнутых до самых ушей мелкими пуговичками, заполняли сиреневые карточки джентльменов и красные карточки рабочих точнейшими приметами и диаграммами трудоспособности. Они приклеивали к ним фотографические карточки, оттиски пальцев и укладывали их в литерные ящики, устроенные на вращающемся барабане.

Миллиардеры, короли и президенты, прибывшие на остров со всех концов Штатов, размещались в выращавших, как грибы, домах.

Их традиционные фраки источали запах английских духов, а цилиндры блистали лаковым глянцем на фоне голубого океана, синего неба и скупой зелени кактусов, исчезавших под вырастающими домами.

На террасах кафе, под полотняными тентами, короли ели мороженое, а шахматные короли сидели, уткнув носы в клетчатые доски. Шулера в одних жилетах бойко щелкали бильярдными шарами и резались в штос.

Электропаромы подвозили все новые и новые материалы. Один из них подходил к острову нагруженный коврами.

Профессор Грант стоял у причала с Еленой, поджидая свою молочную ферму. Он говорил:

— Нет, мне, положительно, нравится этот молодой человек, который поймал меня сегодня утром на берегу и сделал тебе предложение, Роза. Ты, положительно, начинаешь быть львицей, хе-хе-хе.

Елена покраснела.

— Он очень странный парень. Почему-то называл меня Еленой и уверял, что мы с ним знакомы.

— Ну, — пробурчал профессор Грант, — это обычный прием всех молодых шалопаев. «Сродство душ, мы уже

где-то с вами встречались... будь моей...» и прочее. Потом они преспокойно скрываются, а ребенка приходится отдавать куда-нибудь на воспитание.

— Ну, папаша, на мой счет будь спокоен. Не на такую напал!

— Что ж... Я ничего не говорю... Я только думаю, что тебе пора замуж.

Елена топнула ногой.

— Когда захочу, выйду. Можешь быть спокоен.

— Еще бы! Я не сомневаюсь в этом. Каждому лестно иметь у себя в доме такую хозяйку, как ты. Особенно если за ней идет в приданое хорошая молочная ферма в Лос-Анджелесе и более пятисот коров.

Елена помолчала и вздохнула.

— Очень странный парень. Сдается мне, что он из питомника поэтов мистера Матапалы. Я думаю, он со временем напишет мне в альбом стихи.

Профессор Грант надвинул на лоб очки. Он тихо свистнул.

— Эге! Этот молодчик, кажется, тебя заинтересовал. А вот приближаются наши коровы.

## **XIX. Туберозы и смокинги**

Первые шаги Батиста Линоля в роли народного трибуна были великолепны.

Не таким человеком оказался Батист Линоль, чтобы не выжать из своего неожиданного величия максимум славы, блеска и долларов.

Прежде всего он сколотил большое и хорошо подобранное правительство, в котором сам занимал пост председателя и министра финансов.

Остальные портфели были распределены среди друзей и знакомых. Так, например, портфель внутренних дел получил третий лакей самого мистера Матапалы Макс, не взятый своим патроном на остров из постоянного запаха баранины изо рта. Портфель министра труда получил Галифакс (это, по мнению Батиста, был

тончайший дипломатический ход, рассчитанный на популярность среди рабочих). Портфель министра иностранных дел был вручен знакомому метрдотелю, который по профессии изъяснялся на многих языках.

Кроме старых портфелей, Батистом была создана куча новых. Например, министерство хорошего тона, министерство традиций, министерство изящных искусств, во главе с автором популярных фокстротов, негром Бамбулой. Это убивало двух зайцев: во-первых, сами по себе изящные искусства, а во-вторых, министр-негр являлся символом свободы национальных меньшинств, и еще не менее десяти других.

Пост военного министра занял генерал-комендант, который в первый же день переворота присягнул Батисту и таким образом избег ареста и суда.

Батист Линоль произвел тщательную проверку государственных финансов. Их оказалось не слишком много. Огромное количество золотого запаса исчезло неизвестно куда вместе с миллиардерами, владельцами крупнейших банков, где он, по конституции Штатов, хранился. Но все-таки денег оказалось не так-то уж мало на первое время.

Выпустив целую серию ошеломляющих радио «Всем, всем, всем», извещающих население земного шара о падении Матапалья и о своем назначении председателем совета министров временного правительства лакеев, Батист разослал по всем странам своих уполномоченных для утверждения власти на местах и деятельно принялся за смокинги.

Комиссия, состоящая из сорока лучших портных Нью Йорка, разбитая на соответствующее количество секций и подсекций, в «срочном» порядке разрабатывала вопрос о скорейшем снабжении всего населения, освобожденного из-под ига Матапалья, смокингами.

Несколько раз Батист лично председательствовал на заседаниях комиссии, о чем своевременно были информированы все страны, пользующиеся бюллетенями газетного преста.

Работа, проделанная комиссией сорока портных, была чудовищна. Все черное сукно, имевшееся на территории Штатов, было объявлено проданным временному правительству. Летучие отряды портных, снабженных соответствующими мандатами, разъезжали на грузовиках по всему Нью-Йорку и в порядке «революционного» насилия снимали мерки с проходящих мужчин, от восемнадцати до девяносто четырех лет включительно.

Женщины и дети совершенно бесплатно снабжались букетами гелиотропа и бананами.

Ежедневно Батисту Линолю представлялись сводки о ходе смокинговой кампании.

Характерно отметить, что на полях одной из этих сводок, где указывалось на нежелание одного индейца из Южной Патагонии надеть смокинг, Батист Линоль сделал собственноручную надпись, воспроизведенную в четырехчасовом выпуске газетного треста.

Надпись была такая:

«Всем, всем, всем! Не могу не заявить, что гнусное поведение индейца вызывает во мне искреннюю скорбь по поводу крайней несознательности вышеупомянутого гражданина. Надеюсь, что он одумается. Смокинг украшает человека. Он облагораживает его и делает изящным. Если у индейца есть угри — пусть выводит. У свободного сына свободных Штатов должен быть смокинг и не должно быть угрей.

*Батист Линоль. Возм.*

В свободное же от государственных занятий время Батист ездил по городу, стоя в автомобиле. За ним вели большую, комфортабельно обставленную клетку, в которой сидел в кресле на колесах шестой секретарь Маташиля. Ничего не понимавший старик приветливо улыбался прохожим и кивал своей дряхлой головой, похожей на одуванчик.

Позади клетки, на лошади, специально доставленной для этой цели из одного отдаленного южного штата, сжи

жил прочно привязанный для безопасности к седлу генерал-комендант. Он держал в руках обнаженную саблю, и перья на его кивере воинственно клубились.

Процессия останавливалась на углах наиболее людных авеню, и Батист, держась левой рукой за кепи шофера, а другую простирая над толпой зевак, кричал:

— Граждане! Вы видите перед собою одного из тигров Матапаля. Остальные тигры находятся тоже в моих руках и своевременно будут вам показаны. Вы требуете его голову? Отлично. В любой момент она может быть отрублена, и я вдену ее в петличку своего смокинга, как христианству. Но прежде всего мы должны быть на страже справедливости и закона. Пусть эта гнусная личность предстанет сперва перед трибуналом лакеев, и пусть трибунал лакеев с участием всех желающих из публики вынесет свой суровый приговор этому воплощенному символу старого режима!

Зеваки кричали «ура». Модистки кидали в авто Батиста туберозы и нежные записки, которые тот с изысканной грацией передавал секретарю, предварительно прижав их к манишке. Мальчишки показывали шестому секретарю языки. Шестой секретарь сердито замахивался на них синей эмалевой ложкой и шамкал:

— Вакансий нет. Пенсий тоже нет. Ничего нет. Аудитория окончена. Уходите.

Глубокой ночью Батист Линоль не спал.

Он изящно курил длинную египетскую папиросу из запаса Матапаля и диктовал стенографистке заметки, которые на другой день появлялись в газетах.

«Врюнетка в зеленой шляпке, которая на днях бросила мне в автомобиль туберозу. Вы меня интригуете. Оставьте предрассудки. Я вам дам неземное блаженство. Мы, вожди, умеем любить».

И многие другие в таком же стиле.

Так жил и работал Батист Линоль, первый трибун и вождем восставших лакеев Штатов. Подробности можно

узнать из комплектов изданий газетного треста за тот год, если эти комплекты уцелели от катастрофы, которая, в сущности, является темой этого романа.

Теперь, отдавши некоторую дань истории, я хочу сказать несколько слов о Ване, который наконец попал на верный след профессора Гранта, заметив номер нужного ему такси.

Ван вскочил в такси, вытолкнул из него какого-то престарелого джентльмена, несомненно едущего к массажисту, и велел шоферу ехать как можно скорее куда-нибудь подальше.

Вскоре за столиком небольшого, но довольно подозрительного трактирчика болтливый шофер подробнейшим образом рассказал Вану, что пожилой джентльмен в темных очках-консервах в сопровождении молодой милостивой дамы действительно нанял его возле Нью-Йоркского вокзала 11-го числа около трех часов дня и велел ехать ко Дворцу Центра. Возле Дворца Центра джентльмен, который действительно держал под мышкой довольно странный сверток, честно уплатил два доллара и вошел со своей спутницей во Дворец. Это все, что мог сообщить Вану шофер за выпивку.

Но этого было достаточно.

Ван немедленно же ринулся по следам, не особенно горячим, но тем не менее верным.

## **XX. Головокружительная карьера Вана**

Пейч терпеливо перечитал все издания газетного треста за сегодняшнее число, с трудом выбрался из груды газетной бумаги и набил трубку.

— Довольно, — сказал он, пуская первую баранку дыма. — Положительно, я сделал глупость. Мне следовало просто-напросто взять за воротник этого роскошного молодого человека и вытряхнуть его из Дворца Центра со всеми его смокингами и туберозами. Я упустил момент, и

в этом моя ошибка. Но все это случилось так неожиданно, что я, признаться, растерялся. Еще бы! Я привык видеть перед собой совершенно определенного врага — Матапаль, короля королей и самого крупного негодяя на белом свете. Это было абсолютно ясно. Но пылкий юноша с большим розовым бантом на груди ошеломил меня. Непредвденно же трудно же отрицать, в самом деле, что именно он, а не кто другой подкосил Матапаль, если, конечно, здесь... не случилось... чего-нибудь...

Пейч задумчиво остановился посредине комнаты и пустил вторую баранку дыма.

— Если здесь... не случилось... чего-нибудь... совершенно непредвденного...

Пейч быстро пустил третью баранку, потом четвертую, пятую, шестую и ловко проткнул их пальцем.

— А вдруг Матапаль и его миллиардеры просто-напросто сбежали в один прекрасный день из Дворца Центра неизвестно куда, и роскошный Батист Линоль по воле непредвденного случая сделался правителем Штата? Но куда мог скрыться Матапаль? И, главное, по каким причинам? Вот вопрос.

Пейч чувствовал, что дело неладно. Никаких данных у него на этот счет не было, но тем не менее он почувствовал непоколебимую уверенность в правоте своего предположения.

— Ставлю голову против субботней полочки, что начнутся какие-то грозные события... И кроме того, я нахожу, что реформы Батиста Линоля принимают катастрофический характер. Покуда дело ограничивалось соглашениями, мы могли еще терпеть, но оказывается, что Батист привлек в свой кабинет небольшую, но весьма отборную партию промышленников и банкиров, которые начинают поворачивать руль обратно. Вооружения не уменьшаются. На днях заложено сорок новых супердредноутов. Ни о какой политической свободе нет и речи. Дожили. Пора взяться за Батиста Линоля, пока нам на голову не сели новые короли королей.

С этими словами Пейч надел кепи и вышел из комнаты на улицу.

Вечером того же дня министр труда Галифакс сказал Батисту:

— В окраинах беспокойно. Пейч ведет бешеную агитацию против вашего кабинета.

Батист удивился.

— Странно! Кажется, ему предложен очень приличный смокинг на шелковой подкладке. Ему и всем его товарищам по стачечному комитету. Не понимаю, чего ему еще нужно?

Галифакс нахмурился.

— Гражданин Батист! По имеющимся у меня агентурным сведениям, рабочие тяжелой индустрии собираются предъявить новые требования правительству по вопросам разоружения, восьмичасового рабочего дня и политических прав.

— Это мне нравится! — воскликнул Батист. — Бездельники ваши рабочие тяжелой индустрии, вот что... Так вы им и передайте... Я, кажется, неоднократно указывал, что теперь у нас режим полной свободы. Хотят работать восемь часов в день — пусть работают!

— Да, но предприниматели их увольняют.

— Это дело предпринимателей. Я не могу ограничивать одной свободы за счет другой. Я справедлив. А что касается разоружения, то опять же это их частное дело. Пусть разоружаются. А мы будем вооружаться, и потом — мне надоели эти вечные претензии Пейча.

— Да, но...

— Вы, кажется, мне противоречите? Я начинаю думать, что вы с ними заодно.

— Хе-хе-хе, — сказал Галифакс, изгибаясь перед Батистом. — Я слишком доволен своим жалованьем, чтобы быть заодно с этими бездельниками. Но только я хотел вам указать, что с Пейчем надо разделиться как можно скорее. Это очень опасный человек. Верьте мне. Я уверен, что Матапаль бежал из боязни его.



Батист побледнел.

— Что вы говорите? Кто бы мог подумать! На вид такой славный малый... Даже, я бы сказал, трогательный... Вы помните, как он протянул мне руку на глазах у миллионной толпы в тот незабвенный день, когда я стал вождем?

— О нет. Вы ошибаетесь. Пейч — самый опасный ваш противник во всех Штатах. Ему помогают интернациональные вооруженные силы.

Батист тревожно взмахнул рукой.

— Слушайте!.. А может быть... Это самое... Пора уезжать?

И вдруг, поймав себя на слове, воскликнул:

— То есть что это я говорю такое?.. Виноват... Кто такой Пейч и кто такой я? Абсурд! Меня весь народ носит на руках. Я совершил величайшее дело освобождения народа из паутины Матапаля... Я спил всем гражданам смокинги! Я выдал дамам букеты гелиотропа и детям — бананы. Наконец, я провел законопроект о повышении часовых. Нет, нет, Пейч будет уничтожен. Завтра утром мы обсудим этот вопрос на заседании совета министров, а теперь идите. Мне надо продиктовать несколько весьма секретных статей для газетного треста.

Заседание совета министров было в разгаре. Батист размахивал колокольчиком и, простирая левую руку (это был его исторический жест), говорил:

— Я уничтожил Матапаль, я уничтожу Пейча. Только что получены сведения, что этот негодяй отбыл сегодня ночью неизвестно куда. Говоря попросту, он замышляет меня расчитать. Но, клянусь головой шестого секретаря, что ему не удастся. Я остановлю движение всех воздушных и железных дорог. Я закрою границы. Я, наконец, создам новое министерство розысков Пейча во главе с самым талантливым сыщиком Штатов, но найду его в любой момент!

Батист стукнул звонком по столу и сердито нахмурился. Кабинет лакеев был потрясен.

В этот момент почтительного молчания, воцарившегося после слов Батиста, в зал заседания вошел Ван. Он обнюхал воздух и деловито сказал:

— Сведения, полученные мною в бюро справок, оказались очень важными. Судя по всем данным, он находится сейчас вместе с Матапалем.

— Вы уверены в этом, молодой человек? — строго спросил Батист. — Прошу не забывать, что ваши слова имеют крайне важное значение.

— Еще бы не важное! — воскликнул Ван. — От этого зависит не только моя репутация, но также и репутация...

— Мало сказать — репутация! — горячо подхватил Батист. — Мало сказать — репутация. От этого зависит счастье всего нашего народа.

— Пожалуй, вы правы, но это не меняет дела. Его надо искать там, где сейчас находится Матапаль.

— Откуда вы это заключили?

— Откуда? Очень просто: у него были какие-то делшки с Матапалем.

Батист воспламенился.

— Видите, господа! Я говорил вам! Теперь все ясно и понятно: он хочет заключить союз с Матапалем против меня. Его надо разыскать во что бы то ни стало, пока не поздно.

— Совершенно верно, — подтвердил Ван. — Пока не поздно, а то потом будет слишком поздно. Но я найду его живым или мертвым, прежде чем он успеет наделать шуму. Клянусь в этом своей незапятнанной честью!

Батист прослезился. Он протянул Вану руку и, всхлипнув, сказал:

— Вы благородный молодой человек и патриот. Я доверяю вам. Действуйте. Моя чековая книжка в вашем распоряжении. С сего числа я назначаю вас министром розысков, если вы не имеете ничего против.

— Я? Против? Боже сохрани! Мне очень лестно, тем более что здесь заинтересован не столько я лично, сколько...

— Сколько отечество? Не так ли? Обратите внимание, господа, какой благородный молодой человек, ставлю вам его в пример. Простите, как вас зовут? Сейчас вам изготовят министерский мандат. Садитесь. Индейки с каштанами хотите?

— Мерси, — сказал Ван. — От кусочка не откажусь. Меня зовут Ван.

Пока Вану изготовляли мандат и писали приказ о назначении на пост министра, он ел индейку с каштанами.

— Поздравляю вас с высоким назначением, — произнес растроганный Батист. — Вручаю вам диплом и чек на сто тысяч долларов. Ищите негодяя хорошенько, хотя, и думаю, это будет не легко.

— С такими деньгами! — воскликнул Ван. — Пустяки! Его наружность слишком заметна! Чего стоят одни его бакки и темные окуляры. А дочка его, вы думаете, плохая примета? Эге! Ну, пойду. Авось мне удастся спасти свою репутацию.

Ван сделал прощальный жест рукой.

— Пойдите... Пойдите... — пролепетал Батист. — Бакки Темные очки. Дочка... Да вы, собственно, кого собираетесь искать?

— Кого? Кажется, довольно ясно. Профессора Гранта, того...

— Негодяй! И вы еще осмелились врываться на заседание совета министров! Мы ищем Пейча!

— В таком случае мне с вами не по дороге, — грустно сказал Ван.

Вон! Вон! Вон! — закричал Батист фальцетом. — Я увольняю вас от должности министра розысков. Вы офицерист. Отдайте чек! Заплатите за индейку! Всюду измена! Всюду предательство! Выведите его!

Батист упал на руки лакеев.

Скотившись с шестнадцатого этажа и очутившись на середине Таймс-сквер, Ван встал на ноги, потер ушибленное место и захромал по направлению площади Колумба.

— Мне, положительно, не везет, — сказал он. — Пах-

нет тем, что моя репутация все-таки погибнет. Во всяком случае, надо будет пойти к начальнику и доложить о ходе розысков. Я думаю, он поможет мне полезным советом. Эх, тяжело быть агентом такого хлопотливого учреждения!

Какого же все-таки учреждения? Своевременно читатели это узнают.

А пока: терпенье, терпенье!

## **XXI. Некто Икс**

Два последующих дня Джимми не встречался с Еленой и профессором.

К острову прибывали все новые и новые корабли. Остров сплошь застраивался. Уже появились газеты, кино и телефонные автоматы. Вечером на улицах горели фонари.

По всем видимостям, остров тщательно охранялся от постороннего вторжения. Так, например, небольшой трансатлантический самолет, потерпевший аварию во время своего рейса, был отнесен течением к острову и пытался на него спуститься. Но немедленно же с крыши Дворца Центра протянулся длинный фиолетовый луч, скользнул, как стрелка переводимых часов, по черному от туч небу и коснулся самолета, который мгновенно вспыхнул, как бабочка в дуговом фонаре летнего сада, и черным пеплом рассыпался над океаном.

По некоторым разговорам, подслушанным на улицах, Джимми понял, что на острове имеют право находиться только люди, снабженные специальными карточками «постоянных жителей». Что касается рабочих, производящих постройку, то они сейчас же по окончании работ будут отправлены обратно на материк.

Весь остров уже был застроен. Только узкая полоса берега оставалась свободной и служила местом прогулок и причала паромов. Здесь помещались контрольные

пункты, где регистрировались карточки прибывших постоянных жителей и временные документы рабочих.

Джимми был слишком общим типом молодого американца, чтобы возбудить подозрение, но тем не менее он предпочитал днем скрываться в пещере, куда втащил и свой бот.

Иногда он выходил пройтись по острову. Тогда он вступал в дипломатические разговоры с рабочими и таким образом выяснил очень много важных вещей.

Он узнал, что остров управляется неким джентльменом, которого почти никто никогда не видит. Этот джентльмен обитает во дворце, в центре острова. На острове есть своя тайная полиция, свои министры, свои научные лаборатории, образцовые питомники, библиотеки, кинотеатлы, казино и Спортинг-Палас. Население острова питается продуктами, привезенными в громадном количестве пароходами-холодильниками. Далее, на острове имеются почти все знаменитые люди земного шара, от английского короля до чемпиона бокса. На острове есть свои законы, правила, даже традиции. Есть своя этика. Есть классовое деление, причем класс капиталистов немногим малочисленнее класса трудящихся.

Большого узнать от простых рабочих было трудно, а разговаривать с джентльменами Джимми не рисковал.

Джимми решил выжидать дальнейших событий, которые могли бы пролить свет на загадочную историю острова.

К вечеру третьего дня Джимми вышел пройтись по берегу и встретился с Еленой. Она шла, задумчиво опустив голову, и волосы вокруг ее головы горели против солнца красноватым, пушистым золотом.

Джимми решил переменить тактику. Он подошел к Елене и сказал:

Здравствуйте, мисс Роза. Если вам безразлично, то не позволите ли вы погулять с вами?

Ах, это вы? — воскликнула Елена. — Вот уж, действительно, стоило мне подумать о вас, как вы уже здесь.

Надеюсь, что сегодня вы не будете называть меня Еленой?

Джимми рассмеялся.

— Еленой? Нет. Я убедился, что это была ошибка.

Елена посмотрела на него лукаво.

— Вот так штука! Вероятно, ваша Елена была чертовски на меня похожа?

— Чертовски. Да. Но я убедился, что все-таки не вполне. Например, у Елены выше левого локтя была родинка...

Елена засучила левый рукав и с любопытством посмотрела на локоть.

Она страшно покраснела.

— Это очень странно, — пробормотала она. — Представьте себе, у меня тоже есть родинка выше левого локтя.

— Но родинка у Елены была нежно-вишневого цвета и удивительно красивая, — заметил Джимми.

— У меня... тоже вишневого цвета... и — мне кажется — тоже довольно красивая... — сказала Елена.

— В таком случае, мисс Роза, у вас, значит, с Еленой сродство душ...

Услышав «сродство душ», Елена вспыхнула.

— Вы не смеете говорить молодой девушке такие слова... Мне папа рассказал все. Сначала сродство душ, а потом надо отдавать ребенка в воспитательный дом... Ни за что!

Джимми рассмеялся.

— Да, но я не вижу связи...

— Вы хотите связи? — сухо спросила она. — Вам недостаточно, что порядочная девушка разрешает молодому парню сопровождать себя во время прогулки? О, папи был прав, когда он говорил, чтобы я держала ухо востро с мужчинами. Уйдите. Вы соблазнитель.

— Это я-то соблазнитель? — воскликнул Джимми. — Что вы, очаровательная Роза? Я сын архитектора, не больше.

— А я думала, что вы из питомника поэтов.

— Из питомника?

— Ну да, из питомника. Да что вы, с луны свалились,

что ли? На острове Матапаля все люди принадлежат к какому-нибудь профессиональным питомникам.

— Профессиональные питомники мистера Матапали? — Джимми остолбенел. — Как, этот остров принадлежит Матапалю? Королю королей и повелителю Штатов?

— Тсс! — сказала Елена. — Я, кажется, наболтала вам лишнего. Я думала, что вы джентльмен и что вам известно все это. А вы, оказывается, простой рабочий.

— Рабочий... Джентльмен... — пробормотал Джимми. — И начинаю кое-что понимать... Уж если здесь замешан Матапаль, то дело серьезное. Послушайте, Роза, а что же, собственно, делает здесь, на острове, ваш отец?

— Папа заведует молочной фермой, которая находится в непосредственном ведении доктора Шварца.

— Доктора Шварца! Это забавно. А вы знаете, кто такой доктор Шварц? Доктор Шварц — это всемирно известная научная величина.

— Может быть. У нас, в Лос-Анджелесе, больше интересовались кино королями. Кроме того, отец не выписывал газеты.

Джимми тихо свистнул.

— Хорошо. Я умею молчать.

Он твердо посмотрел в глаза Елены. Нет, он не мог ошибиться. Разве могли быть в мире еще у кого-нибудь такие темно-синие с чернильными зрачками глаза, темные вечером, нежно-голубые утром и золотые на солнце? Это была Елена, которая просто забыла, что она Елена.

— Роза, — сказал Джимми, — для того, чтобы я окончательно успокоился насчет вашего сходства с Еленой, вы должны мне еще раз показать вашу родинку.

Елена закрыла половину лица кончиком фартучка и громко захохотала.

— Ах, какой вы опытный обольститель! Вы — опасный человек. Нет, нет. Я помню хорошо советы отца.

— Я прошу вас, Роза.

Елена робко засучила рукав и с грубоватым кокетством поднесла локоть к самому носу Джимми. Джимми

увидел родинку, наклонился к ней и хотел поцеловать, но Елена быстро отдернула руку.

— Тсс! — сказала она. — Близок локоть, да не укусишь! До свиданья! Мне пора идти. Если доктор Шварц узнает, что я гуляла с посторонним молодым человеком, он будет очень сердиться.

Она пошла прочь от Джимми. Отойдя на десяток шагов, она обернулась и сказала:

— Вы мне сегодня снились. Будто бы мы бегали с вами на лыжах. До свиданья.

Елена закрыла лицо руками и убежала.

Джимми долго смотрел ей вслед, пока она взбиралась по лестнице, ведущей с берега в город.

«Так вот оно что», — подумал он.

После встречи с Еленой Джимми пришел к выводу, что вокруг него творятся крайне загадочные, значительные и необычайные происшествия, имеющие между собой какую-то связь.

В том, что Елена есть Елена, а профессор — профессор, Джимми, конечно, больше не сомневался. Для совпадения это было слишком разительно, для мистификации — слишком дорого, ибо шутка, которая стоила постройки целого города, переставала быть шуткой.

## **XXII. Кто такой Ван?**

Джимми рассуждал приблизительно так.

Елена и Грант исчезли со своей фермы. Это факт. Джимми получил тревожную записку от Елены с требованием тайно приехать на остров. Это тоже факт. Джимми приехал. Факт. На острове он встретил Елену. Факт. Но Елена сказала, что она не дочь профессора, а дочь фермера из Лос-Анджелеса, Роза, и видит Джимми в первый раз. Факт. Кроме того, возникновение в одну ночь на необитаемом острове целого города, постройка которого стоит сотни миллиардов. Факт.

Итак, имеется шесть фактов, не подлежащих никакому-



му сомнению, при наличии, конечно, седьмого факта, что Джимми не спит и не сошел с ума.

Пять из этих шести фактов были понятны. Один факт, именно тот, что Елена не узнавала Джимми и называла себя Розой, был непонятен. Но именно этот факт мешал объяснению всех других фактов.

Значит, некто Х был заинтересован в том, чтобы эти факты были необъяснимы.

Кто же этот таинственный Х?

Ответ был прост: Матапаль или профессор Шварц, всемирно известный психиатр и гипнотизер, о котором Джимми слышал еще в детстве.

А еще вернее — и тот и другой вместе.

«Теперь можно действовать», — решил Джимми.

В эту ночь Джимми долго не мог заснуть. А в городе горели огни, играла музыка, слышалось гудение динамов и грохот подъемных кранов. Океан тихо плескался о берег острова, на котором происходили непонятные вещи.

Тут наступает психологический момент, когда наконец надо честно открыть карты и объяснить читателю, кто же такой Ван и какую роль играет этот загадочный молодой человек в романе.

Ван, потирая ушибленное колено, добрался до 10-й лестницы и вошел в подъезд некоего учреждения, хорошо известного всему сколько-нибудь грамотному населению Штатов.

Ван поднялся на 18-й этаж и, пройдя по длиннейшему коридору, постучал в дверь кабинета своего патрона.

— Алло. Войдите.

Ван вошел. В строго деловом рабочем кабинете за высокой конторкой сидел пожилой, бритый, худощавый человек и курил трубку. Рядом с ним на стуле валялась шрипка. Его серые со стальным оттенком глаза небрежно скользнули по Вану и снова опустились в газетную статью, обведенную синим карандашом.

— Садитесь, Ван, — сказал он. — Не надо мне ничего говорить. Я знаю все. Вы потерпели неудачу по всем

фронтам. Профессор исчез бесследно, несмотря на то что вы дважды ездили в Нью-Линкольн.

Ван слишком хорошо знал своего великого патрона и учителя, чтобы удивляться.

— К сожалению, — продолжал джентльмен с трубкой, — я сейчас не могу лично заняться профессором Грантом. В данный момент я занят разоблачением негодяя Мурфи, который на днях открыл свой филиал в Бостоне.

— Да что вы говорите!

— Представьте себе. Впрочем, этого следовало ожидать после тех сетей, которые мы ему расставили в Мексике. Да, но вот что меня смущает, дружище Ван...

— А что именно?

— Гм.

Глаза худощавого джентльмена блеснули. Он, не торопясь, выколол трубочку о каблук и сыграл на скрипке серенаду Брамса.

— Вот что меня смущает. Если мы не захватим вовремя профессора Гранта и он успеет наделать шума, из наших рук будет выбито главное оружие против негодяя Мурфи. Вы меня понимаете?

Ван похолодел.

— Это пахнет провалом всего дела.

— Пожалуй, — задумчиво возразил патрон и прибавил с лукавой усмешкой: — Если мне, конечно, не удастся его обезвредить до тех пор, пока профессор откроет рот.

Еще раз Ван изумился силе дедуктивных построений этого седоватого, худого и длинного человека с нервным, строгим лицом и характерным, слегка орлиным носом с хрящеватой горбинкой.

— Я предвижу, что вы будете сейчас удивляться моим выводам, но все-таки я скажу вам: немедленно поезжайте в Нью-Линкольн и как следует осмотрите комнату исчезнувшего Джимми Стерлинга. Я уверен, что ключ находится именно там. Не пренебрегайте мелочами. В случае чего телеграфируйте. Ну, как вам понравился пост министра розысков?

— Вы... знаете... даже... это?

— Еще бы! — Патрон похлопал по вечернему выпуску газетного треста и погрузился в задумчивость.

Ван понял, что аудиенция окончена. Он вышел на улицу и поехал на вокзал.

Теперь, после слов учителя, он был уверен, что его репутация будет восстановлена.

Оставшись один, патрон сыграл на скрипке старинный ноктюрн русского композитора Рахманинова и сказал:

— Хороший парень этот Ван, но имеет крупный минус — рассеян. Вот теперь и возись с этим минусом.

Заметьте себе, читатели: минусом. Подчеркиваю.

Ван, как вихрь, пролетел на велосипеде мимо трактира «Хромой фонарь» и остановился возле дома архитектора. Дом был заколочен.

«Что за черт!» — подумал Ван.

Мимо него проходил местный негр. Ван подозвал его и, сунув в черную руку новенький серебряный доллар, спросил:

— А скажи-ка, любезный, почему дом архитектора заколочен?

Негр оскалил белые зубы.

— Как, разве масса ничего не знает? С тех пор как исчез Джимми, архитектор запьянствовал, и теперь его отправили на лечение в Сан-Франциско. Что касается тети Полли, экономки, то она вышла замуж за садовника исчезнувшего профессора Гранта — Свена, и в данный момент они совершают свадебное путешествие на дирижабле «Полигимния». Как же! Об этом знают все, по крайней мере, на двадцать пять кайле в округности.

— Тем лучше, — сказал Ван. — Ты честно заработал сто центов. Можешь пропить их у старика Бобса. Спупай.

Негр пошел в «Хромой фонарь», а Ван перескочил че-

рез забор архитекторского сада и пополз, как змея, по высокой и мокрой траве.

Проникнуть через окно в комнату Джимми для Вана не составляло особенного затруднения. Ведь вся его профессия состояла в искусстве проникать в жилые помещения через окна.

Точнейшим образом применяя приемы своего учителя, Ван детально обыскал всю комнату. Он не пропустил ничего. Но следов никаких не было. Ван уже собрался ехать обратно, примирившись навсегда с погибшей репутацией, как вдруг его внимание привлек раскрытый на столе географический атлас.

Сейчас же Ван вспомнил карты полушарий в кабинете профессора Гранта. Ван бросился к атласу. Последний был открыт на Атлантическом океане. Ван вытащил из кармана лупу и провел ею над картой.

Крик восторга вырвался из его груди.

Крошечный, уединенный островок западнее Капштадта был отмечен крестиком.

Ван выдрал из атласа карту, тщательно уложил ее в бумажник и, насвистывая туш, вылез из окна.

Через пять минут он уже телеграфировал своему патрону:

«След найден. Вылетаю Капштадт. Репутация будет спасена. Переведите 5000. Ван».

### **XXIII. Я буду краток — пошла вон!**

Однажды Батист сказал Галифаксу:

— Мой друг, мне кажется, что нам пора упрочить свое положение. Я делал все возможное, чтобы заслужить respectable положение народа, и я его заслужил. Но рабочие... рабочие... Я не понимаю, чего они хотят? Смокинги им не обольстительны, повышение чаевых их не устраивает, приготовления к войне с СССР вызывают в них отвращение.

— Это верно, — вздохнул Галифакс.

— Когда я был лакеем у шестнадцатого секретаря Матипаля, — продолжал Батист, — честное слово, мне было легче жить. Тогда я, по крайней мере, твердо знал, что от меня требуется. А теперь — не знаю. Одним словом, надо устроить что-нибудь экстраординарное.

— Повезите по городу шестого секретаря, — уныло посоветовал Галифакс. — Это вас немного развлечет и прибавит народу энтузиазма, которого начинают временим не хватать.

Лицо Батиста стало похожим на бутылку уксусной эссенции.

— Скучно. Устарело.

— В таком случае, может быть, организовать публичную присягу генерал-коменданта гражданским свободам?

— Уже было.

— Гм... А может быть, надеть на статую Свободы бронзовый смокинг?

— Галифакс, я вас считал умнее. Какой же дурак заставит носить элегантную женщину смокинг? Вы об этом подумали? Не пойдет.

Тогда Галифакс воскликнул:

— Придумал! Учредительное собрание!

Батист щелкнул себя по уху.

— Идея. Громадное помещение. Избиратели в смокингах... Розовые банты. Вспышки магния. Левая рука сложена за борт, правая протянута над тысячами цилиндров. Спасибо, Галифакс. Покуда нет Пейча, надо топить.

И с этого момента правительство лакеев вступило в наиболее пышную фазу своего расцвета...

...Тем временем Пейч летел в главную ставку интернациональных революционных армий. Этот перелет, обыкновенно длившийся семьдесят один час, на этот раз продолжался всего шестьдесят четыре часа. На рассвете мая аппарат Пейча благополучно спустился на хоро-

шо знакомом ему аэродроме, одном из самых усовершенствованных в мире.

Встречавший его человек с утомленным лицом улыбнулся.

— Вожди могут делать ошибки, но ошибок в ходе исторического процесса не бывает. Не будем же терять время на бесполезные сожаления. Насколько мне известно, соотношение борющихся сил у вас следующее.

Он коротко и точно в цифрах изложил Пейчу всю картину социальной борьбы в Штатах так, как будто бы именно он прилетел сегодня утром из Нью-Йорка, а Пейч сидел здесь, в ставке. Он продолжал:

— В данный момент Батист спешно готовится к Учредительному собранию. Его созыв назначен на тридцатое мая. Вам это, вероятно, еще неизвестно. К этому дню вы должны быть в Нью-Йорке и поступить так, как этого потребуют ваш революционный долг и обстоятельства. Что касается нас, то на сегодняшнем заседании будут выработаны точнейшие инструкции. В вашем распоряжении есть не менее трех дней. Изучение нашего быта и нашего революционного опыта может вам очень пригодиться в самом непродолжительном будущем. Пока это все, что я вам могу сообщить, но завтра мы с вами поговорим более подробно.

...Пейч пробыл в ставке четыре дня и 26-го вечером вылетел обратно...

Тридцатого мая утром гигантское здание Спортинг-Паласа, где было назначено первое заседание Учредительного собрания Штатов, вмещающее до сорока тысяч человек, содрогалось, как лейденская банка. Тридцать пять тысяч отборнейших джентльменов Штатов, получивших розовые пригласительные билеты за подписью Батиста, и пять тысяч наиболее способных статистов крупнейшего кинопредприятия, получивших по 4 доллара 50 центов за участие в этой постановке, не считая соединенного хора всех нью-йоркских мюзик-холлов

и четырех джаз-бандов, наполняли огромную кубатуру Спортинг-Паласа.

Тысячи аэропланов сбрасывали на головы прохожих целые тонны летучек с портретами Батиста и лозунгами.

Около шестнадцати тысяч американок рыдало от нетерпения у входа в Спортинг-Палас. Треск киноаппаратов заглушал все.

Генерал-комендант, плотно привязанный к седлу лошади из южного штата, с каждым новым метром фильма все более и более входил в историю.

Наконец появился мотор Батиста. Он стоял, выставив свой заметно пополнившийся зад далеко за пределы автомобиля, и, размахивая цилиндром на кремовой подкладке, говорил речь. Лифтбои, осыпанные пуговицами, бежали за автомобилем, крича по команде:

— Да здрав-ству-ет Ба-тист! Да здрав-ству-ет Батист!

Шестнадцать стенографисток записывали со специального грузовика речь Батиста.

Наконец Батист приблизился к Спортинг-Паласу и был внесен на трибуну лакеями. Полосатые коробки модисток полетели в воздух. Американки завывали. Цилиндры джентльменов блеснули на солнце и приподнялись. Джаз-банды грянули туш.

— Граждане! — сказал Батист. — Я должен сообщить вам две приятные новости. Во-первых, Учредительное собрание открыто, а во-вторых, я назначен его председателем.

Батист раскланялся и продолжал:

— Собственно говоря, цель настоящего Учредительного собрания сводится к тому, чтобы выбрать меня в президенты, потому что я не считаю для себя удобным управлять Штатами без официального одобрения народа.

— О-до-бря-ем! — крикнули лакеи и модистки.

— Итак, — сказал Батист, — теперь, когда одобрение получено, я хочу сказать небольшую отчетную речь о микинговой политике моего правительства.

Джаз-банд заиграл туш.

Заседание продолжалось, и никто не заметил, как в зал вошел довольно высокий человек в коричневом кепи. Это был Пейч. Он протолкался к самой трибуне, где стоял, закатив глаза, Батист, и не слишком громко сказал:

— Вы уже кончили?

— Нет, я еще не кончил, — обиделся Батист. — Мне еще нужно сказать несколько слов по поводу суда над шестым секретарем, а затем коснуться вопроса о чаевых.

— В таком случае, чтобы не терять даром времени, — сказал Пейч, — я беру слово для внеочередного заявления. Я Пейч. Кто меня никогда не видел, можете посмотреть.

Наступила страшная тишина.

Вентиляторы жужжали, рассыпая синие искры.

— Я — Пейч, а возле Спортинг-Паласа имеются в неограниченном количестве мои ребята, которые в данный момент, по всей вероятности, освобождают угнетенную аргентинскую кобылу от присутствия на ней генерал-команданта. Я буду краток — пошли вон!

— Хорошо, — сказал Батист, пожимая плечами, — если вы на этом настаиваете, я могу уйти.

С этими словами Батист сошел с трибуны и, подняв воротник смокинга, вышел через пожарный выход на двор цирка. Огорченные тридцать пять тысяч джентльменов, пять тысяч статистов, соединенный хор и джаз-банды в десять минут очистили просторное помещение Спортинг-Паласа, где через полчаса состоялось первое заседание нового, истинно народного правительства.

#### **XXIV. Глаза доктора Шварца меркнут**

Джимми тщательно установил над своей постелью небольшой радиоприемник и надел на уши слуховые трубки. Все голоса и шумы земного шара, один за другим, хлынули ему в уши. Вот откуда-то издалека долетели звуки «Интернационала»... Вот чей-то голос сказал: «Пшеницей твердо, рожь колеблется в сторону понижения, лак для ногтей поднимается, с подмышниками сли



бо». Джимми продолжал менять тона. «Мы гибнем без угля у Бергена. Помогите!» — чередовалось с: «Пью здоровье Жени, телеграфируйте спасибо Подраданскому» и «Приметы: вставной глаз, хромает, на подбородке шрам от минделябра, называет себя президентом». Затем декрет революционного комитета Штатов. Но дальше, дальше! Джимми следовало поймать самую деликатную, самую безусловную волну радиостанции Матапалья. И вдруг Джимми насторожился. Он услышал тонкий, как комариное пение, звук... Затем голос:

— С вами хочет говорить доктор Шварц.

— Кто у аппарата?

— Я, Матапаль. Ну, как дела?

— Спасибо. С профессором мало возни, но с мисс Еленой трудно справиться. Удивительно упорные нервы. Она жалуется на какие-то странные сны, на двойственность. По ночам плачет.

— Удвойте энергию. Еще несколько дней, а потом можно будет вернуть их в нормальное состояние. После катастрофы мне понадобится хороший геолог для исследования структуры новых материков.

— Сегодня вечером я буду влиять на них опять. До вечера заряда хватит.

— До свидания, доктор.

До свиданья, патрон.

Джимми выключил приемник и вскочил с постели.

Нельзя терять ни минуты. Теперь мне почти все ясно!

...Доктор Шварц надел черную крылатку в высокий цилиндр. Выходя на ежедневную послеобеденную прогулку вокруг острова, он любил быть старомодно элегантным.

Джимми спрятался в скалах. Он прождал недолго. Скоро показались остро поднятые плечи, а затем и вся выжженная, черная фигура доктора. Как автомат, шагал он по крустящему гравию пляжа. Его зеленоватые глаза были полужакрыты. Едва он поравнялся с Джимми, как

страшный удар в подбородок сшиб его с ног. Мелькнуло кепи Джимми, затем длинные ноги доктора. Обхватив черное безжизненное туловище, Джимми быстро втащил его в пещеру.

Затем несколько метров хорошей кокосовой веревки и три носовых платка сделали свое дело, и Джимми уложил длинную, неподвижную фигуру доктора Шварца, похожую на помесь мумии с дождевым зонтиком, на постель.

...Елена бросила в воду камешек и вздохнула. Она не привыкла, чтобы ее заставляли ждать. Небо низко розовело над океаном.

Джимми подошел к ней и приподнял кепи.

— Простите, Роза, я заставил вас ждать. Одно маленькое дельце задержало меня.

Елена надула губки.

Она сказала:

— Пожалуйста, не воображайте, что я сюда пришла специально для вас. Я просто люблю гулять.

— Именно здесь?

— Именно здесь.

— На этом самом месте?

— Да.

Джимми взял ее за руку. Она не сопротивлялась. Они медленно пошли вдоль берега. Солнце уже село, и луна становилась все ярче в изумительно чистом воздухе. Из города доносились звуки оркестров и шум людей.

— Роза, — тихо сказал Джимми. — Я хочу вам рассказать одну вещь. Мне снилась сегодня линкольнская зима. Мне снился синий снег и золотые звезды фонарей. Иноземным бисером покрывал завитки ваших волос над розовым виском. Затем мне снилось замерзшее озеро и косые фаланги конькобежцев, выбегавших из грелки. Играл оркестр. Коньки зеркально блистали никелем. Воздух возился тысячами ледяных иголочек под каждым фонарем и покалывал в носу, как после глотка свежей содовой.

воды. Потом мне снилось десятое дерево, если считать от калитки в глубине сада... Возле этого дерева... если вы помните... мы однажды с вами...

Елена вдруг остановилась и широко раскрытыми глазами посмотрела на Джимми. Изящным движением руки она провела по своему лбу и тряхнула головой, как бы просыпаясь.

— Да... да... — прошептала она. — Подождите... Я вам что-то хотела сказать... У меня спутались в голове все мысли... Спасибо, от окна не дует...

И вдруг она дико оглянулась вокруг.

— Что это значит? Где отец? Где Матапаль? Где я нахожусь? Джимми, вы здесь? Ради бога...

— Елена! — воскликнул Джимми. — Елена Грант! Я получил вашу записку. Я исполнил ваше желание.

И Джимми быстро, с трудом перескакивая через подробности, рассказал Елене все.

— Какое сегодня число? — лихорадочно спросила Елена.

— Третье июня.

— Ради бога... Как можно скорее... Через семь дней будет катастрофа. Где отец?.. Ах, Джимми, вы ничего не знаете. Скорей! Скорей!

В двух словах она рассказала ему об открытии отца и о свидании с Матапалем 11 мая во Дворце Центра в Нью-Йорке.

Больше она ничего не помнила.

Через минуту Елена уже сторожила с револьвером в руках оглушенного доктора Шварца, а Джимми бежал на профессором Грантом.

— Скорей, скорей, как можно скорей!

Грант лег спать после обеда Джонсоном, а проснулся Грантом. Он не узнал обстановки. В течение нескольких минут он собирался с мыслями, опуская и подымая свои туманлы, и вдруг вспомнил все, вплоть до настойчивых глаз, смотревших на него в упор в кабинете Матапала 11 мая в Нью-Йорке.

Грант поднял голову и побледнел. Он увидел календарь, показывающий 3 июня.

Путаясь в незнакомых комнатах, Грант выскочил наконец на лестницу, а затем и во двор.

Женщина средних лет, несущая синее ведро с молоком, приветливо ему улыбнулась и сказала:

— Добрый вечер, мистер Джонсон, сегодня Валькирия дала лишних два ведра. Замечательная корова.

Профессор Грант дико посмотрел вокруг.

— Кто вам сказал, что я — Джонсон? Моя фамилия — Грант. Вы ошиблись. И потом, не можете ли вы мне сказать, где я нахожусь?

Женщина всплеснула руками.

— Ай, мистер Джонсон, мистер Джонсон! Я никак не предполагала, что четверть пинты персиковой настойки могут так сильно повлиять на воображение такого крепкого старика.

— Я трезв, а вы просто — невоспитанная дама! Где я нахожусь?

— Где? Да очень просто. Если хотите, вы находитесь на острове мистера Матапаль в Атлантическом океане и заведуете молочной фермой.

— Остров в Атлантическом океане? Матапаль? Молочная ферма? О! Теперь я понял все. Человечество погибнет, и я в этом виноват!

С этими словами профессор Грант перевернул ногой синее ведро с молоком и бросился, размахивая руками, на улицу.

Если бы Джимми не натолкнулся на профессора у самых ворот молочного питомника, могли бы выйти большие неприятности, но, к счастью, все обошлось благополучно. Он заставил профессора следовать за собой и привел его в пещеру, где их с нетерпением ждала Елена.

Обсудив положение дел, профессор Грант сказал:

— Я сделал глупость. Матапаль завладел островом, и человечество должно погибнуть. Теперь я обязан — хотя, может быть, это и слишком поздно — искупить свою вину. Я немедленно должен бежать на материк и предупредить

дить мир о грядущей катастрофе. На земном шаре есть много кораблей, лодок и дерева. Я думаю, что еще многим удастся спастись. Прощайте, дети! Джимми, я оставляю Елену на ваше попечение. Будьте счастливы. Вряд ли мы увидимся когда-нибудь.

Елена топнула ногой.

— Я во всем виновата. Это я посоветовала ехать к Маппалу. Я отправляюсь на материк с тобой. Это мой долг.

Джимми сказал:

— Моя электромоторная лодка свободно может вместить троих. Аккумуляторы в исправности. Без мисс Елены у меня нет никаких оснований оставаться здесь, хотя бы даже это и спасло мне жизнь.

Елена нежно посмотрела на Джимми.

Дождавшись глубокой ночи, профессор Грант, Елена и Джимми бесшумно спустили на воду лодку и отчалили от острова.

Небольшая электромоторная лодка, черным силуэтом пререзавшая золотой столб лунного света, ни в ком из обитателей острова не вызвала ни малейших подозрений.

Беглецы вышли из кольца пароходов, которые через два дня должны были уйти на материк с рабочими, кончающими оборудование города, и взяли курс на Капштадт.

А в это время, в двадцати саженьях от острова, из океана вынырнула небольшая одноместная подводная лодка. Ван вылез из люка, осмотрелся и справился с картой.

— Так и есть. Это он.

Затем Ван вплавь добрался до берега и, выбравшись на сушу, увидел следы ног, ведущие к скалам. Он вытащил лупу и нагнулся. Луна светила достаточно ярко. Ван тихо свистнул.

— Эге! Да, никак, это следы Джимми! Мне повезло. Теперь то я уже, наверное, отыщу и самого профессора Гранта. Тогда, надеюсь, моя репутация будет спасена.

С этими словами Ван двинулся по следам, которые вели в пещеру.

## XXV. Начало конца

Добравшись до Кашпштадта, профессор Грант, Елена и Джимми прежде всего бросились к городскому секретарю. Но, к своему крайнему изумлению, увидели на крыше секретарского дворца красный флаг. В дверях их остановил красногвардеец.

— Мне необходимо немедленно видеть городского секретаря! — сказал профессор Грант.

— Городской секретарь, — сказал красногвардеец с достоинством, — принимает передачи по средам и субботам от часу до двух в местной тюрьме, где он сидит вот уже пятый день.

Грант опешил.

— А его заместитель?

— Его заместитель сидит с ним в одной камере, там же находятся генерал — начальник местного гарнизона, начальник торгового порта, чрезвычайная комиссия по снабжению населения смокингами в полном составе, лондонский уполномоченный и еще несколько джентльменов в этом же роде.

— Веселенькая история... Я ничего не понимаю... Может быть, вы мне объясните подробности?..

— Э! Да вы что, с луны свалились? Вот уже пять дней, как власть находится в руках рабочих во главе с Пейчем. Но если вы хотите повидаться с комиссаром Центрального рабочего комитета, прилетевшим сюда третьего дня из Нью-Йорка, то вам стоит только сообщить мне свою фамилию и суть дела, и вы будете приняты немедленно.

— Я профессор Грант, а суть моего дела — всемирная катастрофа, которая грозит уничтожить все человечество.

Красногвардеец нажал кнопку и сказал в аппарат несколько слов, а через минуту профессор Грант уже с жимом объяснял молодому рабочему, диктовавшему какие-то инструкции по поводу переселения рабочих в центр, все, что он считал нужным объяснить.

— К сожалению, профессор, — прервал его речь рабочий, — я не в курсе дел в области геологии, но я считаю,

что вам необходимо, не теряя ни минуты, лететь в Нью-Йорк к Пейчу. Я дам вам самый быстроходный аппарат, имеющийся в моем распоряжении. Спасибо за сообщение... Сейчас же приму меры насчет острова Матапала. До свиданья.

Перед Пейчем стояла громадная задача перевести весь сложный аппарат капиталистического государства на новые, социалистические рельсы.

Первыми его шагами в этой области были: организации во всех крупнейших городах революционных комитетов, ликвидация частного капитала, национализация промышленности и выборы в Советы трудящихся.

Над хрустальным куполом Дворца Центра развевался красный флаг.

Весь внутренний вид Дворца изменился до неузнаваемости. В лифтах, в коридорах, в бывших кабинетах секретарей, в приемных и залах — везде мелькали кожаные кепи и блузы рабочих. Заседание революционного комитета продолжалось без перерыва в течение трех суток.

Радио работало двадцать четыре часа в сутки, передавая инструкции, лозунги и декреты. В спешном порядке проводился в жизнь декрет о переселении рабочих в центр. Каждые десять минут с крыш аэродрома вылетали машины. Работа шла без малейшей задержки.

Революция развивалась!

После трех бессонных суток Пейч спал на кожаном диване в бывшем кабинете Матапала.

Было 5 июня.

Профессор Грант, Елена и Джимми вышли в сопровождении двух красногвардейцев из самолета, только что прилетевшего на крышу аэродрома Дворца Центра.

Свидание Пейча и Гранта было непродолжительное. Имнн профессора Гранта было слишком хорошо известно тому, чтобы усомниться в его словах, и Пейч был слишком научен горьким опытом в истории с лакеями, чтобы медлить или колебаться. Пейч только сказал:

Итак, в нашем распоряжении остается пять дней. Обращение всех не может быть и речи, но мы примем все

меры для самого широкого оповещения населения земного шара о приближении катастрофы. Мы мобилизуем все плавучие средства. Мы подыдем все самолеты. Мы постараемся спасти наиболее ценные чертежи машин, модели станков, планы городов и фабрик для того, чтобы после катастрофы не дать Матапалю на новых материках организовать старый капиталистический строй. А пока постараемся атаковать и захватить в свои руки остров Матапала и уничтожить без остатка всю заразу, все микробы капитализма, которые на нем находятся.

Через две минуты радиостанции всего мира приняли сообщение об открытии профессора Гранта, первое сообщение о грядущей гибели земного шара, первый документ, вошедший в историю нашей планеты, открывающий собой длинную цепь тех потрясающих событий, о которых пойдет речь в будущих главах этого романа.

Пейч немедленно созвал революционный комитет и сделал короткий доклад по поводу открытия профессора Гранта. В четверть часа был принят целый ряд решений, которые немедленно же стали проводиться в жизнь. Уже к концу заседания со всех пунктов земного шара начали поступать тревожные сообщения о волнениях, начавшихся в связи с радио Пейча. Первая задача была предотвратить панику и организованно подготовиться к событиям, хотя все понимали, что, даже при самой блестящей организованности и выдержке, едва ли удастся спасти даже два процента всего населения планеты.

Пейчу было поручено выполнение наиболее активной задачи — идти во главе соединенной эскадры к острову и попытаться его взять.

— Я исполню свою задачу или умру, — сказал Пейч.

С этими словами он оставил заседание и отдал распоряжение соединенной эскадре немедленно и в полной боевой готовности полным ходом идти к Кашптадту.

— Профессор, — сказал Пейч, — я считаю своим долгом, от имени революционного правительства, предложить вам каюту на моем корабле. Предупреждаю, это увеличит ваших шансов на спасение, потому что нам



предстоит страшный бой с Матапалем, но, во всяком случае, вы будете гарантированы от возможности погибнуть на земле, если комитету не удастся предотвратить мировую панику и организовать человечество.

Таким образом, профессор Грант, Елена и Джимми очутились на борту супердредноута «Юпитер», который по главе соединенной революционной эскадры полным ходом шел к острову.

Это было 7 июня.

## XXVI. Валики летят из диктофона Эрендорфа

Мы оставили Вана ночью с 3 на 4 июня, идущего по следам Джимми.

Как и надо было ожидать, следы привели Вана к пещере, скрытой среди скал в зарослях кактусов.

Ван зажег потайной фонарик и осторожно подвигался вперед на поводу у яркого электрического пятна, ощущающего стены и растения. И вдруг его глазам представилась внутренность пещеры. На походной кровати, связанной по рукам и по ногам кокосовым канатом, неподвижно лежал длинный, черный человек. Его глаза были связаны платком, а рот забит хорошим кляпом из двух других платков. Услышав шаги, неизвестный изогнулся, как угорь, и замычал. Ван бросился к пленнику, двумя ударами перочинного ножа перерезал веревки и потом вытащил изо рта кляп. Пленник встал с постели.

Ван сказал:

Услуга за услугу. Я вам помог освободиться, а вы мне помогите восстановить репутацию. Короче: где Джимми?

Черный человек пробормотал проклятия.

Если вы имеете в виду этого развязного молодого человека, который своротил мне челюсть призовым ударом в подбородок, то могу вам сообщить, что два часа тому назад он с профессором Грантом и его дочерью Еленой бежал в Нью-Йорк.

Ван покачнулся.

— Вы лжете! — закричал он, затопав ногами. — Этого не может быть! Это невероятно! Это, наконец, черт знает что! Я не могу допустить, чтобы моя репутация погибла. Еду за ними.

С этими словами Ван бросился к берегу, нырнул под воду, и через пять секунд входной люк подводной лодки сердито захлопнулся и подводная лодка вместе с Ваном погрузилась в океан.

Доктор Шварц немедленно бросился к Матапалю.

Матапаль как раз в этот момент принимал личный доклад Эрендорфа.

Великий конструктор острова расхаживал перед Матапалем, засунув руки глубоко в карманы полосатых штанинов, и говорил, крутя в зубах свою эксцентричную зубочистку:

— Техническая часть закончена блестяще. Мною предусмотрены все мелочи, вплоть до питомника моих будущих читателей, выбранных из самых выносливых сортов безработных. Некоторые из них проявляют необыкновенные способности. Один, например, молодой человек, номер сто двадцать девять, в течение двух последних дней прочитал шесть глав «Синдиката гибели Южной Америки» и чувствует себя вполне бодро и весело. Теперь перед нами стоят две основные задачи: во-первых, как можно скорее отправить с острова рабочих, во-вторых, остановиться на названии острова. Мне, конечно, несколько неудобно давать вам на этот счет советы, но, по-моему, было бы весьма уместно назвать остров, просто и скромно по имени его конструктора. Остров Эрендорф! Не нравится ли, это звучит великолепно?

Матапаль ничего не успел ответить. Как раз в эту минуту в кабинет ворвался растерзанный гипнотизер. Он воздел руки к небу и пролепетал:

— Профессор Грант бежал с острова.

В нескольких словах доктор Шварц рассказал все.

Матапаль нажал кнопку.

— Военному секретарю, — сказал он в аппарат, — не

медленно прекратить всякий доступ на остров. Остров объявляется на осадном положении. Ночью тушить все огни. Рабочих в течение двадцати четырех часов отправить на материк. Установить контроль над населением. Проверить боеспособность дальнобойных групп и машины обратного тока. Все суда, принадлежащие острову, подтянуть к берегу и установить по диспозиции семьсот одиннадцать.

Он выключил аппарат.

— Господа, — торжественно сказал Матапаль, — начинается пятый акт нашей великолепной трагедии. Я не сомневаюсь, что бегство профессора Гранта принесет нам столько же хлопот, сколько и удовольствия. Конечно, Пейч немедленно атакует остров всеми своими эскадрами, и я заранее предвкушаю эффект, который произведет на него действие машины обратного тока.

Эрендорф потер руки.

— Машина обратного тока? Вот это сюжетец, доложу я вам! И неплохое название для романа. Пусть только мои молодцы читатели немножко размножатся, и я потрясу их такой книжечкой, что они только ахнут.

На следующее утро рабочие, производящие постройку и оборудование острова, получили щедрый расчет, были погружены на паромы и посажены на пароходы, которые около полудня двинулись к материку.

Вслед за этим вся эскадра Матапаля, по заранее назначенному плану, подошла со всех сторон к берегу, окружив остров плотным кольцом.

На дальнобойных группах безотлучно находились дежурные части, состоящие из отборнейших офицеров гвардии Матапаля.

Об истинном назначении острова знало не более четырех тысяч надежнейших джентльменов, составлявших ядро будущего правящего класса мира.

Остальное население острова, экземпляры питомников, служащие лабораторий, библиотекари, монтеры, техники, актеры, чемпионы и т. д. были в полной уверен-

ности, что остров не более чем феерическая причуда сверхмиллиардера, державшего пари, что в течение месяца он создаст на необитаемом острове наиболее культурный и технически оборудованный город земного шара.

Объявить населению острова о настоящем его назначении Матапаль имел в виду 10 июня, в момент гибели материков. Этот день назначено было отпраздновать со всем великолепием, которое было по средствам Матапалю. План торжества экстренно разрабатывал мистер Эрендорф, тщательно сохраняя его в секрете. Он хотел ошеломить население острова. Его чудовищная фантазия безостановочно работала, и валики сыпались из его диктофона, как пустые гильзы из 75-миллиметровой скорострелки во время учебной стрельбы.

Уверенность Матапалья, что Пейч атакует остров, раскрывала перед ним широкие горизонты и давала новый материал для эффектнейших деталей торжества.

Вечером 9 июня, накануне знаменательного дня, на горизонте вокруг острова небо со всех сторон покрылось низкой, угольной чернотой военного дыма.

## **XXVII. Ниппон погружается в воду... Формоза горит...**

Восьмого июня на рассвете Ван ворвался во Дворец Центра и кинулся в лифт. Лифт рвануло вверх, и через мгновение Ван уже стучал обоими кулаками в кабинет Пейча. Дверь распахнулась, и рабочий с циркулем в руках появился на пороге.

— Послушайте! — закричал Ван. — У меня есть частные сведения, что профессор Грант находится здесь. И его немедленно должен видеть.

Рабочий пожал плечами.

— Профессор Грант был здесь четыре дня тому назад, и, кажется, это известно всему миру. А сейчас профессор находится в эскадре товарища Пейча, который осаждает

остров Матапаля в Атлантическом океане. Это тоже известно всем.

— Да, но я об этом слышу в первый раз! Черт возьми! Моя репутация снова на волоске. Придется опять лететь на этот проклятый остров. Это не профессор, а какая-то иголка в стоге сена. Как вы думаете, я наверняка найду там профессора?

— До десятого июня, вероятно, найдете, а позже лишь в том случае, если он не исчезнет во время катастрофы.

— Исчезнет? Ни за что! Спасибо. Лечу. А скажите, вы не заметили у профессора Гранта под мышкой свертка?

— Был, как же.

— О! — Ван зарычал и кинулся на крышу аэродрома. — Теперь-то моя репутация обязательно будет спасена! — сказал он, хватаясь за хвост правительственного самолета, вылетающего в эскадру Пейча.

С ловкостью молодой змеи Ван вскарабкался на удобную дюралюминиевую поверхность задней плоскости и, устало облокотившись о трос, вытащил из кармана пакет с пирожками и полбутылки виски. Он дьявольски проглотился.

Девятого июня, на закате дня, Елена и Джимми стояли на спардеке «Юпитера». Корабль шел полным ходом, и над крутых, казавшихся неподвижными волны, стремительно зачесанные назад, расходились по сторонам его носа.

Весь океан за ним был черен от дыма эскадры. Небо над горизонтом горело густой кровью, и алый глянец блестел на шагреневых боках длинной океанской зыби.

— Елена, — сказал Джимми, — может быть, это последний вечер в нашей жизни. Посмотрите, какое красное небо. Как будто кровь всего человечества пролилась в океан. Вам не страшно?

Елена строго посмотрела ему в глаза. Ветер трепал ее рубашку, как флаг, и шевелил завитками волос над ухом.

— Я люблю вас, Джимми, — сказала она просто. —

Я люблю вас, и мне не страшно за себя, когда я с вами. Но... Неужели Земля действительно должна погибнуть и возродиться снова по программе мистера Матапаля? Это ужасно, Джимми!

Джимми нежно обнял Елену и положил ее голову себе на плечо.

— Елена, не надо ни о чем думать. Елена... Елена... Как я люблю повторять это милое имя.

— Мы умрем вместе, Джимми, — нежно и горько сказала она.

Тем временем профессор Грант ходил у себя в каюте, бормоча какие-то цифры и нервно передвигая очки с носа на лоб и обратно. Он бормотал:

— Сегодня в десять часов должны наблюдаться первые колебания почвы в Южной Зеландии. Жаль, что у меня под рукой нет инструментов. Я пропускаю редчайший случай записать колебания почвы во время всемирной катастрофы.

Вскоре на горизонте появился остров. Он розовел воздушным туманным пятном в зеленоватом золоте темнеющего океана.

Эскадра развернулась фронтом, и корабли стали обходить остров, смыкаясь кольцом. Пейч сказал:

— Ближе подходить опасно. Здесь мы остановимся до утра. С рассветом мы атакуем Матапаля.

В этот миг дежурный подал радио:

«В Новой Зеландии наблюдались первые сильные подземные толчки. Население в панике».

Пейч вошел в каюту Гранта и протянул ему листок радио. Грант быстро поднял на лоб свои знаменитые очки, консервы и потер руки.

— Так, так... Совершенно верно... Затем надо ожидать колебания почвы в Восточной Сибири и в Японии. Поздравьте меня, милейший товарищ Пейч!

Пейч быстро вышел из каюты. Он перешел в радиопередающую камеру и велел войти в соприкосновение с островом.

Вот радиоразговор Пейча с Матапалем, по газетам, уцелевшим после катастрофы:

Пейч. Революционный комитет Штатов Америки и Европы требует немедленно сдачи острова, дабы избежать кровопролития. Гарантирую сдавшимся амнистию.

Матапаль. Через пятнадцать часов вы будете ползать у моих ног.

Пейч. В моем распоряжении триста двенадцать лингвинских супердредноутов, более восемнадцати тысяч самолетов и тысяча двести четырнадцать подводных лодок. На рассвете вы будете превращены в пепел.

Матапаль. Вы мальчик.

Пейч. Населению острова. Мои переговоры с Матапалем не достигли цели. Революционный комитет обращается непосредственно к пролетариату острова с требованием захватить власть, арестовать Матапалья и присоединиться к восставшему народу Штатов.

Матапаль. На острове нет пролетариата. У меня есть рабы, которые делятся на правящий класс и производителей. В идеальном капиталистическом обществе будущего, которое начнется завтра, вы будете, если спасетесь, занимать место младшего монтера полярной электростанции номер восемь, с окладом двенадцать долларов в неделю при двенадцатичасовом рабочем дне. Сдавайтесь, и я прибавлю вам жалованья на полтора доллара.

Пейч. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Матапаль. Машина обратного тока поможет вам соединиться.

Пейч. Считаю переговоры оконченными. Революционный комитет снимает с себя всякую ответственность за кровопролитие и возлагает вину на душителя рабочего класса Матапалья.

Роскошная тропическая ночь наполнила небо и воду яркими созвездиями. Небо было совершенно черным. Вода пылала и фосфоресцировала. Елена и Джимми

стояли на спардеке, нежно обнявшись, и на их лицах отражалось фосфорическое свечение океана.

Синие молнии радио с легким треском слетали с антенн «Юпитера» и гасли в темноте.

Эскадрилья разведывательных гидро бесшумно вылетела по направлению к острову, и вдруг над островом возникло шесть тонких фиолетовых лучей. Они раскинулись веером среди звезд, и шесть точек вспыхнули над островом. Затем ветер донес шесть отдаленных взрывов, и эскадрилья не стало. Пейч стиснул зубы.

А в это время в уши слухача дробно стучали сигналы депеш, и хроматической гаммой пели настраиваемые тона.

«В Восточной Сибири легкое колебание почвы...»

«В Японии все вулканы начали извергаться. Нипон погружается в воду. Формоза горит. Разрушен ряд городов. Корабли в море погибли. Паника среди населения достигает угрожающих размеров. Положение безнадежное».

«Сидней. Наблюдалось колебание почвы. В порту произошли кровавые бои за обладание кораблями. Порядок везде нарушен».

«Сицилия. Появился человек, называющий себя Христом. За ним ходит толпа, достигающая десяти тысяч женщин. Приметы: вставной глаз, шрам на подбородке, волосатая грудь, хромой. Что делать? Ждем инструкций».

...Ван сидел на дюралюминиевой задней поверхности быстроходного самолета, летящего с рекордной скоростью в эскадру Пейча...

## **XXVIII. Прицел двести пятнадцать. Бризантом. Огонь!**

Страшные вещи видел Ван с высоты двух тысяч метров своего контрабандного полета на хвосте правительственного аппарата. На земле, развернутой под ним



апельсинными башмаками, как топографическая карта, происходило нечто необычайное и грозное. Черные муравейники людей копошились и двигались в одну сторону через леса, реки и горы — к берегу океана. В портах эти черные точки бушевали возле пароходов. Изредка в толпе вспыхивали огоньки и выскакивали белые комочки дыма.

«Это похоже не то на великое переселение народов, не то на какую-то грандиозную демонстрацию крупной фирмы в рекламных целях. Жаль, что я уже давно не читал газет», — подумал Ван.

Правительственный аппарат миновал материк и теперь летел над океаном. Там творилось то же, что и на земле. Целые флотилии пакетботов, электромоторных лодок, парусников, шлюпок, ледаколов, гичек гигантскими стаями, перегоняя друг друга, подвигались в одном направлении — туда же, куда летел и Ван. Эскадрилья самолетов и дирижаблей мелькала вверху и внизу. Ван видел стада подводных лодок, ползущих в прозрачной, голубой глубине, на манер рыбок в аквариуме, если на них смотреть сверху.

Правительственный самолет глотал пространство с рекордной быстротой, перегоняя другие аппараты и буквально отбрасывая назад морские суда.

Изредка Ван вздыхал и громко говорил, жестикулируя:

— Только бы мне добраться до профессора Гранта, и там хоть трава не расти. Я должен оправдать доверие своего великого учителя, который сейчас, вероятно, играет на скрипке серенаду Брамса или роется у себя в секретных вырезках, отыскивая какой-нибудь нужный факт.

В глазах Вана изредка зажигался подозрительный огонек. Было похоже на то, что бедный малый слегка тронулся от постигших его неудач.

Наступил вечер, затем ночь. Аэроплан продолжал лететь над океаном. Тысячи двигающихся внизу огней текли блистательным пунктиром. Вверху и внизу летали зо-

лотые пчелы самолетов. Тысячи прожекторов скрещивались и расходились, подымаясь из черного океана. Перед рассветом Ван увидел небольшой вулканический остров, весь охваченный дымом и пламенем. Багровая земля колебалась под ним в воде. Слышалось заглушаемое мотором громыхание извержения.

— Ну и дела! — вздохнул Ван.

...Матапаль поднялся на крышу Дворца Центра. Его сопровождал начальник обороны. Отсюда весь остров и океан в окружности на пятьдесят миль были как на ладони. Солнце всходило из воды ослепительным сегментом. Матапаль посмотрел в подзорную трубу, предупредительно поданную ему генералом.

— Эскадра Пейча окружает нас со всех сторон, — сказал Матапаль. — Я не сомневаюсь, что сейчас Пейч откроет по нам огонь. Распорядитесь, генерал, чтобы заградительные станции приступили к действию. Зона десять километров.

— Слушаюсь, — сказал генерал.

В это время Пейч вместе с начальником артиллерии поднялись на наблюдательную вышку «Юпитера».

— Я буду руководить огнем лично, — сказал Пейч. — В свое время я был неплохим инструктором дальнобойной группы.

С этими словами Пейч нажал кнопку и сказал в трубку:

— Дальнобойные батареи к бою!

Немедленно на всех кораблях эскадры произошло легкое и точное движение. Более тысячи двухсот пушек выдвинулись из люков.

— По острову, — сказал Пейч. — Прицел двести пятнадцать. Бризантом. Огоны!

Красные языки опоясали борты кораблей, повернутых к острову. Вслед за тем корабли скрылись в дыму. Грохот потряс литую гладь океана.

Пейч приложил бинокль к глазам. Фантастический остров спокойно лежал в океане. Перед островом, в воздухе, блеснули огоньки взрывов, и немного погода послышался отдаленный гром.

— Черт возьми! — закричал Пейч. — Я не приказывал стрелять шрапнелью! Прицел двести сорок. Бризантом. Огонь!

Борты кораблей снова опоясались красными языками. Перед островом, в десяти милях, в воздухе вспыхнули разрывы.

Пейч стукнул кулаком по перилам вышки.

— Товарищ начальник артиллерии! Вы слышали мою команду, или ваши артиллеристы не умеют отличить бризанта от шрапнели, или в эскадре измена?

Начальник артиллерии бросился к трубке.

— Алло! Вам приказано стрелять бризантом. В чем дело?

— Мы стреляли бризантом. Со снарядами что-то случилось. Они рвутся в воздухе, не долетев до острова.

В этот миг Пейчу подали радио:

«Мои заградительные станции работают неплохо. Не тратьте напрасно снарядов.

Матапаль».

Пейч швырнул радио и крикнул в трубку:

— Отбой!

Он быстро сбежал по винтовой железной лестнице вниз.

В руках Матапалья было непредвиденное средство обороны, которое исключало всякую возможность атаковать остров.

Пейчу оставалось только принять меры к сохранению кораблей во время гигантского шторма, который должен разразиться во время катастрофы, и спокойно выжидать событий. Пейч вошел в каюту Гранта.

## XXIX. Действие машины обратного тока

— Матапаль неуязвим, — сказал Пейч, входя в каюту профессора Гранта. — В его руках находится машина, парализующая действие наших бризантов на расстоя-

нии десяти километров от берега. Нам остается только принять все возможные меры для спасения флота во время катастрофы.

Пейч посмотрел на часы. Стрелки показывали десять.

— Катастрофа произойдет через два часа, — сказал профессор. — О ее размерах и подробностях я вам уже говорил. Могу только прибавить, что, когда материки уйдут под воду, а из океанов возникнут новые, нам предстоит выдержать небывалый шторм. Океан будет клокотать. Волны превзойдут вышиной самые высокие дома Нью-Йорка. Я не знаю, выдержат ли ваши суда их напор.

Пейч задумался.

— Я говорил с командиром эскадры. Он утверждает, что корабль на полном ходу, при наличии опытных рулевых, может выдержать максимальную волну. Я отдам распоряжение.

Пейч круто повернулся и вышел. Профессор поднял на лоб консервы и громко проговорил:

— После полуночи прекратились всякие сведения о подземных толчках. Тем более это дает мне основание полагать, что катастрофа произойдет без предварительных признаков, ровно в двенадцать часов. Очень, очень любопытно. Мне непременно нужно быть на палубе.

Пейч сказал в аппарат:

— Начальникам кораблей. Довести давление в котлах до максимума. Быть готовым к немедленным эволюциям. Все гидро взять на борт. Ближе чем на десять километров к острову не подходить. Мы возьмем Матапаль и мором.

В это время Матапаль, остававшийся все время на крыше Дворца Центра и наблюдавший за неудачным обстрелом острова, подошел к небольшому стальному трансформатору, установленному рядом с флагштоком. Он собственноручно отпер его специальным ключом. На мраморной распределительной доске был всего один единственный рубильник и манометр, красная стрелки которого стояла на синем нуле.

Матапаль написал несколько слов на бумажке и велел первому секретарю побыстрее сдать ее на радио.

Затем он сказал в трубку:

— Мистер Эрендорф, все ли готово к торжеству?

— До последней детали, — ответил конструктор ост-  
рюва.

— В таком случае прошу начинать. Я сейчас буду в  
зале.

...Дежурный слухач «Юпитера» услышал тонкий, как  
комариное пение, вызов Матапалья. Он поймал волну.

Пейч взял из рук матроса новое радио Матапалья:

«Извещаю о начале торжества на острове. Одновре-  
менно с этим разрешаю себе применить действие маши-  
ны обратного тока. Пролетарии, «соединяйтесь». До сви-  
дения!»

*Матапаль.*

Пейч стремглав бросился на палубу.

Рука Матапалья, заключенная в светлую замшевую  
перчатку, твердо сжала штепсельный выключатель ма-  
шины обратного тока и осторожно перевела его вниз.  
В эту же секунду стрелка манометра упруго дрогнула и  
показала тридцать пять миль — свою предельную точку.  
Ее кончик дрожал. Синие искры посыпались над распре-  
делительной доской. Матапаль торжественно приподнял  
цилиндр и помахал им в сторону эскадры. Два лакея поч-  
тительно хихикнули в ладони и отвернулись.

Действие машины обратного тока заключалось в том,  
что все железные предметы, в сфере ее действия, актив-  
но намагничивались со всеми вытекающими из этого по-  
следствиями.

Ван подпрыгивал от нетерпения, рискуя каждую се-  
кунду свалиться с хвоста аэроплана. Он уже видел эска-  
дру Пейча и супердредноут «Юпитера», на котором нахо-  
дился профессор Грант. Ему уже казалось, что он видит

профессора, который стоит во весь рост на носу корабля со свертком под мышкой.

— Скорей! Скорей! — кричал Ван, сильно размахивая руками и вытягивая шею, как будто бы это могло увеличить и без этого феноменальную скорость аппарата.

Теперь вся картина осады острова была под Ваном, как на игрушечном полигоне. Остров был окружен густой цепью военных кораблей. И вдруг на острове бегло вспыхнула синяя искра, и вслед за тем корабли эскадры странно сдвинулись с места и потянулись боком друг к другу. Не прошло каких-нибудь десяти секунд, как они сдвинулись около самого большого из них, «Юпитера», как стая детских лебедей, притянутых магнитной подковой.

В то же мгновение мотор самолета остановился. Тросы слиплись. Раздался треск. Самолет зашатался. Ван схватился за хвост, едва удерживаясь на месте. Самолет накренился и штопором пошел вниз, крутясь, как игральная карта, выброшенная шулером с тридцать пятого этажа на улицу.

— Как?! — воскликнул Ван, цепляясь за слипшиеся тросы. — Как?! Умереть теперь, когда я почти достиг цели? Никогда!

Но как раз в эту минуту аппарат нырнул. Ван широко раскинул руки и полетел вниз головой в океан.

Пейч метался по палубе. Он был в отчаянии. В течение нескольких секунд все железные предметы в эскадре слиплись. Замки пушек не открывались. Машины оцепенели. Радиостанция перестала работать. Стрелки часов стояли.

Матросы потеряли самообладание. Они высыпали на палубы и размахивали руками. Их синие воротники и красные помпоны на шапках мелькали страшной путаницей надвигающейся паники.

Елена прижалась к Джимми.

— Это гибель, — прошептала она.

Джимми взял обеими руками ее голову и нежно заглянул в эти синие — теперь почти лиловые — любимые глаза, которые снились ему так часто такими же близкими и полными слез.

Пейч стоял на наблюдательной вышке и кричал в рупор:

— Товарищи! Я призываю вас к выдержке! Паника может погубить всех нас.

Но матросы не слушали его.

Профессор Грант, почувствовавший сильный толчок при столкновении кораблей, деловито надвинул очки на глаза и кинулся к двери. Но намагниченная дверь не отпиралась.

— Кто меня запер? — тонким укоризненным голоском кричал профессор. — Ай-ай-ай! Пустите меня! С вашей стороны это очень нехорошо не пускать профессора смотреть катастрофу!

Ему очень хотелось на палубу, но дверь была плотно заперта, и никто не отвечал профессору.

...Ван падал в океан. За ним летели пирожки с рисом и недопитая бутылка виски...

### **XXX. Плюсы и минусы Вана**

Около трех тысяч отборнейших джентльменов и леди, приписанных к правящему классу будущего общества, собрались в хрустальном зале Дворца Центра. Описать великолепие дамских туалетов и качество мужских фраков было бы совершенно бесполезным делом, так как это значило бы на верных семьдесят процентов понизить их действительную роскошь. Достаточно, если я укажу, что три тысячи самых богатых людей мира, одетые в самые лучшие свои костюмы и надев самые драгоценные свои украшения, 10 июня в половине двенадцатого дня ожидали выхода Матапаля.

Мистер Эрендорф блистал в этот день, как самая отборная маслина из гарнира императорской селедки.

Остальное население острова, зарегистрированное в справочном бюро в качестве класса управляемых, было собрано перед Дворцом Центра под надзором контролеров и офицеров обороны.

Гигантский рупор радиотелефона был установлен над главным входом Дворца, декорированного с утонченным вкусом римского цезаря.

Это был великий день, первый день новой эры.

Ровно без четверти двенадцать легкий шепот пробежал по рядам джентльменов. Лакеи склонились, и на возвышение взошел Матапаль.

Я еще не успел описать наружности этого джентльмена, хотя он имеет на это больше права, чем кто бы то ни было из героев этого романа. Я буду краток. Матапаль был во фраке и цилиндре. Его большая голова с маленьким, слегка раздвоенным подбородком, выдававшимся вперед, твердо сидела в тугом до скрипа воротничке. Его губы были красны, и над ними резко чернели усы, подстриженные по английской моде прошлого столетия. Но это все было ничем в сравнении с его глазами. Они были глубоко впаяны в острую оправу орбит, как два прозрачных крупнограненых драгоценных камня. Его нос, загнутый острым клювом к подбородку, придавал ему сходство с филином, смотрящим на солнце ничего не видящими, пустыми, резкими глазами.

Матапаль поднял маленькую плотную руку в белой перчатке и приподнял цилиндр.

Он сказал:

— Господа! Сегодняшнее торжество, которое, в сущности, началось еще вчера гибелью Японии и несколькими сильными подземными толчками, о которых сообщалось из разных частей света, я открою небольшой официальной декларацией. С этого момента острову, на котором мы имеем честь находиться, присваивается имя величайшего писателя нашей эпохи, славного мастера



и конструктора нашего быта, мистера Эрендорфа. Остров Эрендорф. Не правда ли, господа, это звучит великолепно?

— Остров Эрендорф, — не правда ли, это великолепно! — выкрикнул в сто раз усиленный голос Матапалья из рупора над входом Дворца Центра.

Гости закричали «ура».

В хрустальном зале блеснули бокалы и выстрелили пробки. Матапаль протянул руку, и в ней очутился длинный, узкий бокал. Матапаль улыбнулся частью левой щеки и кивнул Эрендорфу, который раскланивался направо и налево, как тенор, прижимая перчатки к манишке.

Когда возбуждение дам улеглось, Матапаль продолжил.

Теперь опять необходимо вернуться к Вану, который пошел в океан. Великий учитель сказал, что у Вана есть свои плюсы и минусы. Он не ошибся. К минусам Вана следует отнести его страшную неудачливость. Что же касается плюсов, то у Вана был один несомненный плюс: Ван умел превосходно нырять и гениально плавать.

Вынырнув на поверхность воды и убедившись, что он жив, а также что до трапа «Юпитера» оставалось не более полумили, Ван встряхнул головой, как пудель, быстро снял апельсиновые башмаки и пиджак и стремительно поплыл к кораблю, отчаянно работая руками и ногами.

— ...Господа, — продолжал Матапаль, — теперь я должен сказать вам несколько слов по поводу будущего идеального капиталистического общества, которое...

В этот момент в зале произошло замешательство, и много голых людей, синеватых и совершенно мокрых, упали на колени к ногам Матапалья. Один из них был рыжий, а у другого на груди болтались остатки крахмальной манишки.

— Мистер Матапаль! — жалобно воскликнул голый человек в манишке, стыдливо прикрывая обеими руками свою не слишком впечатляющую наготу. — Мистер Матапаль, вы, вероятно, меня не узнаете. Я — Лиоль... Батист Лиоль, которого вы, по рассеянности, не успели захватить с собой на остров... Но я пришел... То есть, вернее, приплыл... Ах, господин Матапаль, я так несчастен... Я очень низко пал, это правда... Я даже осмелился сидеть на вашем кресле.

Батист зарыдал.

— Больше того... Я курил... ваши... па-па-па...

— ...пирсы, — добавил жалобно Галифакс (ибо это был он).

— Больше того... я... это самое... требовал индейку — с каштанами... из автомата... я... я... я... даже был премьер-министром... Простите нас! О, простите нас!

Оба голых человека протянули к Матапалью голубые, горестные руки.

— Хорошо, — сказал Матапаль. — По случаю торжества я прощаю вас. Отведите этих молодых людей в питомник лакеев. Двадцать долларов в неделю, с вычетом всех выкуренных папирос и съеденных индеек. Напитки — за счет компании. Ступайте!

Голые были уведены. Дамы опять повернулись в сторону Матапаля.

— Итак, господа... — сказал Матапаль.

...А в это время Ван наконец доплыл до «Юпитера» и схватился за трап. Он отфыркался и быстро вскарабкался на палубу.

— Эй! — крикнул он матросу, который, вытянув шею над бортом, как загипнотизированный смотрел вдаль. Эй, вы! Здесь профессор Грант?

— Идите вы к черту со своим профессором, не видите разве, что делается.

Ван бросился по лестнице вниз, как гончая собака, попавшая на верный след, побежал по длинному коридору

бельному коридору мимо длинного ряда дверей. Возле одной из них он услышал грозный голос Гранта:

— Пустите же, черт возьми! Я не позволю вам шутить с выдающимся ученым и членом академии! Это просто наглость!

Ван в один прыжок очутился у двери каюты.

— А, вы здесь! Наконец-то я вас поймал. Теперь вы не увидите от меня!

Он забарабанил обоими кулаками в дверь. Изнутри послышался точно такой же стук. Это стучал разъяренный профессор.

— Пустите! — закричал Ван.

— Пустите! — закричал Грант.

И они снова принялись колотить кулаками в дверь...

— Итак, господа, — сказал Матапаль, и бокал, в который упал большой кусок штукатурки, выпал из его рук. Стены зашатались. Послышался подземный гул. Эрендорф еще раз понюхал воздух, запахший серой, и кинулся к дверям. Но, вероятно, было уже поздно. Дворец Центра треснул сверху донизу. Колонны упали на джентльменов. Ватем все смешалось в одном общем крике.

— Джимми... Ты видишь... — Елена показала рукой на остров.

Джимми посмотрел и замер.

— Товарищи! — кричал Пейч в рупор. — Смотрите туда! Матросы кинулись к бортам. Над островом поднялось облако пыли и огня.

И остров, на глазах у всех, с легким треском провалился в океан, как Мефистофель в саду Маргариты.

Синие волны океана сомкнулись над ним, и отвесное шумное тропическое солнце заиграло на зыби неприступной серебряной чешуей. В то же мгновение намагниченное железо размагнитилось. Потрясающее «ура» грянуло над эскадрой.

Рискрепощенная дверь каюты распахнулась, и про-

фессор Грант со свертком под мышкой косыми, старческими прыжками бросился наверх.

— Держите его! — завопил Ван, кидаясь вслед за профессором.

Профессор Грант выскочил на палубу и бросился к Пейчу, который как зачарованный не мог отвести глаз от того места, где только что был остров.

— Послушайте! — взволнованно воскликнул Грант. — Меня там заперли. Я чуть не опоздал. Куда это вы смотрите? Э?.. Где остров?

— Провалился, — сказал Пейч.

У профессора с носа упали консервы.

— Что?! Вы этим хотите сказать, что я плохой геолог? Вы мне за это ответите.

В этот момент Ван подскочил к профессору и схватил его за рукав.

— Слава богу! Наконец-то я вас нашел! Теперь моя репутация будет спасена...

Профессор побагровел.

— К черту! Меня очень мало трогает спасение вашей репутации, когда моя собственная погибла.

— Выслушайте меня! — взволнованно воскликнул Ван.

— Не хочу! — закричал профессор. — Я им докажу, как дважды два четыре, что остров не мог провалиться. Елена! Где мой арифмометр? Ах, вот он, под мышкой. Проклятая рассеянность... Сейчас я повторю свои вычисления, проверенные мною трижды...

С этими словами профессор быстро развернул бумагу и вытащил арифмометр.

Ван слабо вскрикнул.

— Не надо! Ради бога, не надо! Не губите моей репутации и репутации фирмы. Тут произошло недоразумение!

Ван стал в позу и быстро заговорил:

— Всем известно, что фирма Дуглас Мортон и К<sup>о</sup> (Нью-Йорк, Десятая авеню), по выработке пишущих и счетных машин, касс и арифмометров, представителем

которой являюсь я, есть самая честная, аккуратная и самая долголетняя фирма в Штатах, хотя многие торговцы, как, например, негодяй Мурфи, утверждают противное. В данном случае произошло грустное недоразумение, которое я и стараюсь вот уже целый месяц уладить, во избежание распространения в обществе и среди клиентов ложного взгляда на наши машины. По недосмотру главного монтера в вашем арифмометре номер восемьсот двадцать девять миллионов семьсот двадцать четыре тысячи пятьсот один АВ вместо плюса поставлен минус, и наоборот... Наша фирма приносит вам свои извинения по поводу этого прискорбного инци...

— Моя репутация спасена! — вскричал профессор Грант. — Вместо плюса — минус! Это в корне меняет дело. Значит, остров провалился вполне научно, и все математики, наоборот, остаются на своих местах.

— Только, ради бога, не разглашайте этого прискорбного случая! — зарыдал Ван. — И наша фирма готова компенсировать вам все убытки, причиненные нашей ошибкой.

— Милый! — воскликнул Пейч. — Да мы готовы поставить вам при жизни небольшой памятник, этот арифмометр отправить в музей, а вашу фирму освободить от всяких налогов на пятьдесят лет.

— Теперь я оправдал доверие своего патрона, и моя репутация спасена! — торжественно проговорил Ван.

Как видит читатель, у этого малютки с детективными наклонностями были свои маленькие плюсы и минусы.

На том месте, где еще недавно находился остров Магалая, теперь плавал какой-то странный предмет. Вытасканный на палубу, он оказался большим желтым чемоданом с загадочными буквами «Д. Э.». С большими предосторожностями матросы открыли чемодан. В нем сидел изящный, вечно молодой человек во фраке, похожий на маслину. Перед ним стоял диктофон.

— А вот и я! — сказал он резво. — «Д. Э.» в переводе на шестьдесят четыре языка значит: «Да здравствует Эрен-

дорф». И вообще, где здесь ближайшая редакция? У меня есть куча сенсационнейшего материала. Могу предложить и социальный романчик.

Что касается Елены и Джимми, то наш читатель, вероятно, уже догадался. Они поцеловались.

Но в этом не было никакой неожиданной развязки.

*1 апреля, 1924 г.*

*Москва*

# Растратчики







# Глава первая

В тот самый миг, как стрелки

крутлых часов над ротондой московского телеграфа показали без десяти минут десять, из буквы А вылез боком и высшей степени приличный немолодой гражданин в капошах, в драповом пальто с каракулевым воротником и каракулевой же шляпе пирожком, с каракулевой лентой и полями уточкой. Гражданин тут же распустил над собой широй зонтик с грушевидными кисточками и, шлепая по шилошной воде, перебрался через очень шумный перекресток на ту сторону. Тут он остановился перед ларьком папиросника, обосновавшегося на лестнице телеграфа. Заинтересованно глядя на гражданина, старик в голубой фуражке с серебряной надписью «Ларек» высунул из шотландского пледа свои роскошные седины, запустил руку в вязаной перчатке с отрезанными пальцами под мокрый брезент и подал пачку папирос «Ира».

— А не будут они мокрые? — спросил гражданин, нюхав довольно длинным носом нечистый воздух, насыщенный запахом городского дождя и светильного газа.

— Будьте спокойны, из-под самого низу. Погодка-с!

После этого заверения гражданин вручил папироснику двадцать четыре копейки, сдержанно вздохнул, спрятав розовую пачку в карман брюк и заметил:

— Погодка!

Затем он запахнул пальто и пошел мимо почтамта по Мясницкой на службу.

Собственно говоря, уже довольно давно в природе никакой Мясницкой улицы не существует. Имеется улица Первого мая. Но у кого же повернется язык в середине ноября, в тот утренний тусклый час, когда мелкий московский дождь нудно и деятельно поливает прохожих, когда невероятно длинные прутья неизвестного назначения, гремящие на ломовике, норовят на повороте въехать вам в самую морду своими острыми концами, когда ваш путь вдруг преграждает вывалившийся из технической контроы поперек тротуара фрезерный станок или динамо, когда кованая оглобля битюга бьет вас в плечо и крутан волна грязи из-под автомобильного колеса окатывает и без того забрызганные полы пальто, когда стеклянные доски трестов оглушают зловещим золотом букв, когда мельничные жернова, соломорезки, пилы и шестерни готовы каждую минуту тронуться с места и, проломив сумрачное стекло витрины, выброситься на вас и превратиться в кашу, когда на каждом углу воняет из лопнувшей трубы светильным газом, когда зеленые лампы целый день горят над столами конторщиков, — у кого же тогда повернется язык назвать эту улицу каким-нибудь другим именем?

Нет, Мясницкой эта улица была, Мясницкой и останется. Видно, ей на роду написано быть Мясницкой, и другое, хотя бы и самое замечательно лучезарное, название к ней вряд ли пристанет.

Гражданин свернул в переулок и вошел в первый подъезд углового дома. Тут он отряхнул и скрутил зонтик, потоптался калошами на вздувшейся сетке проволочного половика, а пока топтался, с отвращением прочитал от доски до доски прошлогоднее объявление спортивного кружка, намалеванное синей краской на длинной полосе обойной бумаги.

Затем гражданин, не торопясь, поднялся по заслиженной мраморной лестнице на третий этаж, вошел в открытую дверь налево и двинулся по темноватому коридору в глубь учреждения. Он свернул направо, затем налево, по дороге сунул нос в каморку, где курьер и уборщица

усердно пили чай, разговаривая о всемирном потопе, и, наконец, очутился в бухгалтерии.

Большая комната с пяти сплошных окнах, доходящих до самого пола, разгороженная, как водится, во всю длину деревянной стойкой, была заставлена столами, сдвинутыми попарно.

Гражданин открыл калитку, проделанную в стойке, заглянул мимоходом в ведомость, которую проверяла, щелкая на счетах, надменная девица в вязаной голубой кофте с выпущками, похожей на гусарский ментик, провел усами по пачке ордеров, разложенных меж пальцев рыжеватого молодого человека, плюнул в синюю плевательницу и проследовал за стеклянную перегородку, устроенную на манер аквариума в правом углу бухгалтерии. Тут на двери висела печатная таблица:

#### ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР Ф. С. ПРОХОРОВ

Покуда главный бухгалтер, упираясь рукой в стенку, снимал, крихтя, калоши с буквами и разматывал шерстяной шарф, вошел курьер и поставил на красное сукно письменного стола стакан чаю.

По всем признакам, курьер был не прочь поговорить.

— Газетку, Филипп Степанович, просматривать будете? — спросил он, вешая бухгалтерское пальто на гвоздик.

— Газетку?

Филипп Степанович многозначительно подмигнул почечным глазом, сел за стол, выложил пачку папирос и разгладил платком длинные свои зеленоватые усы, словно бы сидящие верхом на голом, как пятка, подбородке с точкой под нижней губой, чем дал понять, что может и поговорить.

— А что в ней может быть интересного, Никита? — спросил он.

Никита установил в угол зонтик, облокотился спиной на шерной косяк и скрестил руки на груди.

— Много может быть интересное, Филипп Степанович, — не скажите.

Главный бухгалтер вытащил из пачки длинную папиросу, постучал мундштуком по столу, закурил, поворотился боком на деревянном кресле и подмигнул другим почечным глазом.

— Например?

— Например, Филипп Степанович, бывают напечатаны довольно интересные происшествия. Вроде критики Советской власти.

— Эх, Никита, — заметил главный бухгалтер с чувством глубокого превосходства и сожаления, — зря из тебя, Никита, неграмотность ликвидировали. Ну, какой же ты читатель газет, если тебе самому непонятно, о чем ты читаешь?

— Никак нет, Филипп Степанович, понятно. Зачем же тогда читать, если непонятно? Очень интересная критика бывает запущена.

— Какая может быть критика?

— Да ведь вы и сами знаете, Филипп Степанович...

Никита переступил с ноги на ногу и застенчиво заметил:

— Насчет бегов то есть критика.

— Бегов? Да ты просто пьян! Каких бегов?

— Бега у нас теперь известно какие, — со вздохом сказал курьер, — бегут один за другим, и все тут.

— Да кто же бежит?

— Растратчики же и бегут. Дело ясное. Садятся с клезенными суммами на извозчика и едут. А куда они едут — неизвестно. Надо полагать, по городам едут. Например, и сегодня такую критику вычитал, что за октябрь месяц кругом по Москве из различных учреждений не менее пяти полторы тысячи человек таким образом выехало.

— Да... — заметил главный бухгалтер, разглядывая кончик тлеющей ягодкой малины папиросы и выпуская из ноздрей дым. — Н-да...

— Что же это будет, Филипп Степанович, вы мне скажите, если все таким образом разъедутся. Очень скучным

служба получится. Возьмите, к примеру, нашу Мясницкую улицу. Конечно, сколько на ней приходится различных учреждений — в точности неизвестно, но что касается, то в этом угловом доме есть всего пять, а вместе с нашим — шесть. Считайте, первый этаж — два: главная контора «Уралкварц» и «Все для радио»; второй...

— Для чего ты мне все это говоришь?

— А для того, — сказал Никита, быстро загибая пальцы, — что весь второй этаж занимает «Электромаш», итого три; третий этаж — мы и «Тросстрест», итого пять, и четвертый этаж — «Промкуст», итого шесть.

— Никита! — строго сказал главный бухгалтер.

— Теперь примите во внимание, Филипп Степанович, что «Уралкварц», «Все для радио», «Электромаш» и «Тросстрест» уже растратились на прошлой неделе, — захлебнувшись в невероятной быстроте речи, выложил Никита, — а из «Промкуста» только-только кончили вывозить сегодня на рассвете. В семь часов последняя подвода отъехала.

— Никита, что ты мелешь! Почему подвода?

— Дело известное, на извозчике осьмнадцать тыщ медной монетой с четвертого этажа на вокзал не увезешь.

— Кто ж это держит такую крупную наличность в медной монете? — строго изумился бухгалтер. — Ты просто задумываешь, Никита. Уходи.

— Не я это выдумал. Председатель ихнего правления распорядился для того, чтобы казенные суммы предохранить. Надо быть, думал, что, как начнут они, то есть кассир, извините, с бухгалтером, мешки с четвертого этажа по лестницам таскать, тут их, голубчиков, кто-нибудь и пристигнет. Оказывается, и ничего подобного. Да я сам, одна стало развидняться, вдруг слышу на лестнице шум. Накинул шинельку, выхожу. Вижу: тащат мешок. У меня и подозрения никакого на этот мешок не явилось. Мало ли что. Может, они какую-либо кустарную продукцию на рынок выбрасывают. Или же, допустим, простая картошка. Я себе немного постоял и ушел с лестницы, ах ты, блин мой! А там, значит, у подъезда уже подводы — и на

вокзал. Через это у них сегодня жалование сотрудникам не выдают. Потому что нечего выдавать. Одни мы нерас-  
траченными на весь уголовный дом и остались.

— Ты, наверное, врешь, Никита, иди, — сердито мол-  
вил Филипп Степанович. — Нету у меня времени с тобой  
беседовать... Этот стакан остыл, принеси горячий.

— Филипп Степанович, — тихо сказал Никита, уби-  
рая чай, — и вы обратите внимание, что как у нас на этой  
неделе собираются выплачивать жалование, то ни у кого  
из сотрудников нету денег, а которые числятся по шесто-  
му разряду сетки, так у тех, могу сказать про себя, копей-  
ки не осталось от прошлой получки...

— Ступай, Никита, — строго прервал его главный  
бухгалтер, — ты мне своей болтовней мешаешь работать.  
Уйди, пожалуйста.

Никита потоптался на месте, но лицо Филиппа Степа-  
новича было непреклонно.

— А то ведь это что же такое, ежели все разъедут-  
ся? — пробормотал Никита, боком выходя из аквариу-  
ма. — Очень скучная служба получится без жалования.

Филипп Степанович наладил на нос пенсне, со скри-  
пом разогнул толстую конторскую книгу и, подтащив к  
себе костяшки, погрузился в заботы. Изредка, разогретый  
трудом, он откладывал в сторону пенсне и сквозь стек-  
лянные рамы загородки окидывал превосходным взгля-  
дом помещение бухгалтерии. И тогда ему представля-  
лось, что он не кто иной, как опытный генерал, мужест-  
венно и тонко руководящий с возвышенности некими  
военными операциями чрезвычайной сложности.

Вообще надобно заметить, Филипп Степанович был  
не чужд некоторой доли фантазии, весьма опасной в сто  
немолодые годы.

С самой японской кампании, которую он проделал в  
чине поручика и закончил, выйдя в запас штабс-капита-  
ном, вся его дальнейшая жизнь, скромно посвященная  
финансово-счетной деятельности в различных учрежде-  
ниях и служению пенатам, отличалась, впрочем, обра-

цовой умеренностью и похвальным усердием. Война 1914 года не слишком потревожила капитана запаса. Благодаря связям жены и стараниям торгового дома «Саббакин и сын», где он служил в то время, Филипп Степанович словчился и получил белый билет. Наступившая затем революция также коснулась его не более, чем всех прочих бухгалтеров, проживавших в то время на территории бывшей Российской империи, то есть почти вовсе не коснулась. Одним словом, Филипп Степанович был исправнейшим гражданином. И при всем том в его характере совершенно незаметно водилась этакая чертовщина авантюристической складки. Например, история его необычайной женитьбы еще свежа в памяти старых московских бухгалтеров, и если хорошенько порыться в Румянцевской библиотеке, то можно, пожалуй, отыскать тот номерок «Московской брачной газеты» за 1908 год, где отпечатано следующее объявление:

*Откликнись, ангел!*

*Воин, герой Порт-Артура и кавалер орденов,  
вышедший в запас в чине штабс-капитана,  
трезвый и положительный, а равно лишенный  
физических дефектов, решил перековать меч на орало,  
с целью посвятить себя финансово-счетной*

*деятельности,*

*а также тихой семейной жизни.*

**СЫН МАРСА ИЩЕТ ПОДРУГУ ЖИЗНИ**

*Желательно пышную вдову, блондинку, обеспеченную  
не большим состоянием или же делом, с тихим,  
кротким характером. Цель — брак.*

*Анонимным интриганам*

*не отвечу. Предложения, только серьезные, адресовать  
по востребования предъявителю трехруб. ассигнации  
№ 8563421.*

И что же! Пышная вдова явилась. Она спешно приказала из Лодзи в Москву и вскружила голову одичавшему сыну Марса. Она немедленно устроила ему тихое семейное счастье и через месяц стала его законной женой.

Правда, впоследствии оказалось, что где-то в Варшаве у нее имеется двухлетняя дочка Зоя невыясненного происхождения, но великодушный штабс-капитан охотно удочерил малютку. Что же касается обеспечения небольшим состоянием или же делом, то небольшого состояния не оказалось вовсе, но зато дело было: вдова умела превосходно изготавливать бандажи, корсеты и бюстгалтеры, что давало семье небольшой добавочный доход. Словом, штабс-капитан запаса не имел никаких оснований жаловаться на брак, заключенный столь авантюрным способом, а глава фирмы «Саббакин и сын», старик Саббакин, даже как-то под пьяную лавочку на блинах заметил: «Вы, господа, теперь с Филипп Степановичем не шутите, ибо он у нас помощник главного бюстгалтера». Хороший был старик!

Кроме чертовщинки авантюристического свойства, в характере Филиппа Степановича проявлялась иногда еще одна черта: легкая ирония, незаметное чувство превосходства над окружающими людьми и событиями, терпеливое и безобидное высокомерие. Очень возможно, что она родилась давным-давно, именно в ту минуту, когда Филипп Степанович, лежа на животе среди гаоляна в пижаме под Чемульпо, прочел в походном великосветском романе следующую знаменательную строчку: «Граф Гвидо вскочил на коня...»

Сам великосветский роман года через два забылся, но жгучая фраза о графе навсегда запечатлелась в сердце Филиппа Степановича. И что бы он ни видел впоследствии удивительного, какие бы умные речи ни слышал, какие бы потрясающие ни совершались вокруг него события, Филипп Степанович только подмигивал своим почечным глазом и думал — даже, может быть, и не думал вовсе, а смутно чувствовал: «Эх вы, а все-таки далеко вам всем до графа Гвидо, который вскочил на коня, да-ле-ко!..» И, как знать, может быть, представлял самого себя этим великолепным и недоступным графом Гвидо.

Около двух часов, подписав несколько счетов и финансовых ордеров, Филипп Степанович закурил третьи



по счету за этот день папиросу, вышел из своей загородки и направился к кассе.

Касса была устроена в таком же роде, как и загородка самого Филиппа Степановича, с той только разницей, что была сделана из фанеры и окошечком своим выходила в коридор.

Филипп Степанович приоткрыл боковую дверцу, заглянул в кассу и сказал негромко:

— Ванечка, какая у тебя наличность?

— Тысячи полторы, товарищ Прохоров, — ответил изнутри, так же негромко, озабоченный молодой голос. — По счетам платить сегодня будем?

— Надо бы часть мелких заплатить, — сказал главный бухгалтер и вошел в кассу.

Кассир Ванечка сидел перед окошком за маленьким прилавочком на литом фоне несгораемого шкафа и разбирал зажигалку. Аккуратно разложив на алом листе промокательной бумаги ладные винтики, колесики, камешки и пружинки, Ванечка бережно держал в пальцах медный патрон, то дуя в него, то разглядывая на свет.

Сильная полуваттная лампа под зеленой тарелкой висела как раз посередине кассы. Она ярко освещала Ванечкину нестриженную, нечесаную голову, где спелые волосы росли совершенно естественно и беззаботно, образуя на макушке жиденький водоворотик, а на лбу и на висках — мысики. Ванечка был одет в черную гимнастерку, горчишные штаны-галифе и огромные, выше колен, изуклюжие яловые сапоги, делавшие его похожим на козла в сапогах. Поверх ворота гимнастерки, вокруг шеи, был выпущен толстый ворот рыночного бумажного свитера.

Ванечка был чрезвычайно маленького роста. Может быть, именно за этот маленький рост, за молодость лет, а также за тихость и вежливость все в учреждении, даже сам председатель правления, кроме, разумеется, курьера и уборщицы, называли его по-семейному Ванечкой.

Ванечка нежно и заботливо любил свое небольшое личное хозяйство. Он любил свой большой, красивый,

всегда хорошо очиненный карандаш — наполовину красный, наполовину синий — и даже про себя называл его уважительно Александром Сидоровичем: Александр — красная половинка, Сидорович — синяя. Любил яркую полуваттную лампу, любил баночку гуммиарабика, чернильницу, ручку и другую ручку на прилавке кассы, привязанную за веревочку, чтобы не утащили. Любил и уважал также Ванечка свой большой, толстый несгораемый шкаф иссиня-керосинового цвета, великолепные длинные никелированные ножницы и пачки денег, тщательно рассортированные, разложенные в столе.

И не было для Ванечки большего удовольствия в жизни, как, отметив Александром Сидоровичем синюю птичку против чьей-нибудь фамилии в ведомости, тщательно отсчитать пачечку ассигнаций, придавить их столбиком серебра, подбросить для ровного счета несколько медяков и, выдвинув в окошечко, сказать: «Будьте полезны. Как в аптеке».

В промежутках же между платежами Ванечка опускал стеклянную раму окошечка, на котором было написано снаружи золотыми буквами: «Касса», и, читая изнутри наоборот: «Ассак», принимался возиться с зажигалкой. Разберет, нальет из бутылочки бензина, завинтит, щелкает, пустит багровое пламя, задует, потянет пальцем фитилек, снова зажжет, задует и, напевая: «Ассак, ассак, ассак», — начинает разбирать сызнова. Потому и ассигнации, выдаваемые Ванечкой, слегка пахивали бензином.

Так и служил Ванечка. А что он делал вне службы, где жил, чем интересовался, что читал, куда ходил обедать, было совершенно неизвестно.

Ванечка поднялся навстречу вошедшему в кассу главному бухгалтеру и поздоровался с ним так почти тельно и низко, точно пожимал ему руку поверх собственной головы.

— Вот что, Ванечка, — сказал Филипп Степанович тем деловым и негромким голосом, смахивающим на бур

чанье в животе, каким обыкновенно совещаются врачи на консилиуме, — вот что, Ванечка: завтра надо будет выплачивать сотрудникам жалованье. Кроме того, у нас есть несколько просроченных векселей. Ну, конечно, и по остальным счетам. Словом, надо завтра так или иначе развязаться с задолженностью.

— Так, — сказал Ванечка с готовностью.

— Ввиду болезни артельщика тебе, Ванечка, значит, надо будет сходить в банк, получить по чеку тысяч двенадцать.

— Так-с.

— Ты вот что, Ванечка... Отпусти сначала людей, — Филипп Степанович показал усами в коридор, где через окошечко виднелись люди, томящиеся на деревянном диване с прямой спиной, — отпусти, Ванечка, людей и через полчаса загляни ко мне.

— Как в аптеке.

Ванечка отложил в сторону зажигалку, открыл окошечко и, высунув из него голову, ласково сказал:

— Будьте полезны, товарищи, расписывайтесь, кто по ордерам.

Филипп Степанович между тем отправился к члену правления по финансовым делам за чеком.

Член правления выслушал Филиппа Степановича, повернулся в профиль и страдальчески взял в кулак свою длинную, шелковистую, оборудованную по последней берлинской моде бороду.

— Все это очень хорошо, — сказал он, жмурясь, — но зачем же посылать именно кассира? Знаете, теперь такое время, когда каждую минуту ждешь сюрпризов. И потом, откровенно говоря, не нравится мне этот Ванечка. Между прочим, откуда он взялся?

Филипп Степанович с достоинством поднял брови.

— Ванечка откуда взялся? Как же, он у нас уже полтора года служит, а порекомендовал его, если помните, еще там товарищ Туркестанский.

— Полтора года? Не знаю, не знаю, — кисло поморщился член правления, — может быть. Но, понимаете, он

мне не внушает доверия. Войдите, наконец, в мое положение, ведь я же за все отвечаю... Как хотите... В конце концов... Одним словом, я вас убедительно прошу — отправляйтесь в банк вместе с ним... Лично... А то, знаете, Ванечка, Ванечка, а потом и след этого самого Ванечки простыл. Уж вы будьте любезны. После истории с «Промкустом» я положительно и не знаю, что делать. Хоть стой возле кассы на часах с огнестрельным оружием. И потом, я вам скажу, у этого вашего Ванечки глаза какие-то странные... Какие-то такие очень наивные глаза. Словом, я вас прошу.

Обессилев от столь долгой и прерывистой речи, член правления подписал чек, приложил печать, помахал чеком перед своими воспаленными волнением щеками и, наконец, не глядя на Филиппа Степановича, отдал ему бумажку.

— Пожалуйста. Только я вас прошу. И главное — не выпускать его из виду.

Через полчаса высокий Филипп Степанович под зонтиком и маленький Ванечка в пальтишке солдатского сукна, с портфелем под мышкой, шагали под дождем вниз по Мясницкой.

## Глава вторая

Курьер Никита долгое время лежал животом поперек перил, свесившись в пролет лестницы, и прислушивался.

— Ушли, — прошептал он наконец покорно, — ушли, так и есть.

Он ожесточенно поскреб затылок и аккуратно плюнул вниз. Плевков летел долго и бесшумно. Никита внимательно слушал. Когда же плевков долетел и с треском расплющился о плиты, наполняя лестницу звуком сочного поцелуя, Никита поспешно сполз с перил и рысью побежал к себе в каморку. Тут он, суетясь, влез в длинный ватный пиджак, просаленный на локтях, нахлобучил картуз и пошел искать уборщицу.

Уборщица сидела в коридоре за перегородкой и мыла стаканы.

— Уборщица, живо пиши доверенность на жалованье.

— Нешто платят?

— Пиши, говорю, не спрашивай. А то пиши с маслом получишь.

— Не пойму я тебя, Никита, — проговорила уборщица, быстро вытирая руки об юбку, и побледнела. — Ушли, что ли, они?

— Нас с тобой не спросились. У них в руках чек на двенадцать тысяч.

Уборщица всплеснула руками:

— Не вернута, значит?

— Уж это их дело. Доверенность-то писать будешь? А то, чего доброго, упустишь их, тогда пиши пропало. В Москве, чай, одних вокзалов штук до десяти; побежишь на один, а они в это время с другого выедут. Пиши, Сергеева, пиши, не задерживай.

Уборщица перекрестилась, достала из ящика пузырек с чернилами, четвертушку бумаги, корявую ядовиторовую ручку и обратила к Никите неподвижные свои белые глаза. Никита присел на край табуретки, расправил ватные локти и, трудно сопя, написал витиеватую доверенность.

— Подписывай!

Уборщица подписала свою фамилию и тут же вспотела. Никита аккуратно сложил бумажку и хозяйственно спрятал ее в недра пиджака.

— Поеду теперь по банкам, — сказал он. — Если в «Промбанке» не найду, так наверняка они в Московской конторе получают. Дела!

С этими словами Никита быстро удалился.

— В пивную, Никита, смотри не заходи, не пропей! — слабо крикнула ему вслед уборщица и принялась мыть стаканы.

Под проливным дождем Никита добежал до Лубянской площади. Уже порядочно стемнело. Стены домов,

ларьки, лошади, газеты, фонтан посередине — все было серо от воды. Кое-где грязь золотела под ранними, еще не яркими фонарями автомобилей. Автобусы с тяжелым хрюканьем наваливались вдруг из-за угла на прохожих. Люди шарахались, ляпая друг друга грязью. Сорвавшаяся калоша, крутясь, летела с трамвайной подножки и шлепалась в лужу. Мальчишки-газетчики кричали:

— Письмо Николай Николаевича Советской власти! Манифест Кирилла Романова! Речь товарища Троцкого!

Брызги и кляксы стреляли со всех сторон. Противный холод залезал за шиворот. Было чрезвычайно гнусно.

Никита терпеливо дождался трамвая и, работая локтями, втиснулся на площадку. Вагон был новенький, только что из ремонта, сплошь выкрашенный снаружи свежим краплагом и расписанный удивительными вещами. Тут были ультрамариновые тракторы на высоких зубчатых колесах, канареечно-желтые дирижабли, зеленые, как переводные картинки, кудрявые деревенские пейзажи, тщательно выписанные — кирпичик к кирпичику — фабричные корпуса, армии, стада и манифестации. Знамена и эмблемы окружали золотые лозунги «Земля крестьянам — фабрики рабочим», «Да здравствует смычка города и деревни», «Воздушный Красный флот наш незыблемый оплот» и многие другие. От мокрых стен вагона еще пахло олифой и скипидаром. В общем, весь он был похож на тир, поставленный на колеса и выехавший к общему удивлению, в одно прекрасное воскресенье на увеселительного сада.

Подобных вагонов ходило по Москве немного, и Никита ужасно любил в них ездить. Они приводили его в состояние восхищения и патриотической гордости. «Вот это я понимаю, — думал он, неизменно протискиваясь на площадку, — трамвай что надо. Вполне советский, нишенский». Попав в любимый вагон, Никита сразу повеселел и окреп духом. «Ладно, — думал он, — я их живо отыщу. Трамвайчик не выдаст».

И действительно, едва Никита вошел в вестибюль,

банка, как увидел Филиппа Степановича и Ванечку. Они сидели на диванчике под мраморной колонной и совещались. Никита осторожно, чтобы не спугнуть, зашел сбоку и стал слушать.

— В портфель, Ванечка, суммы класть неудобно и опасно, — говорил поучительно бухгалтер. — Того и гляди, хулиганы вырежут. Мы сделаем так: шесть тысяч ты у себя размести по внутренним карманам, а шесть я у себя размещу по внутренним карманам, — верней будет.

— Вот, вот, — прошептал Никита, дрожа от нетерпения, — поспел-таки. Делятся.

Ванечка озабоченно пересчитал пачку хрустящих молочных червонцев и половину отдал Филиппу Степановичу. Бухгалтер расстегнул пальто и уже собрался определить сумму в боковые карманы, как Никита вышел из-за колонны и снял картуз. Он вытянул руки по швам и склонил голову.

— С получкой, Филипп Степанович.

Прохоров вздрогнул, увидел курьера и нахмурился.

— Почему ты здесь, Никита? Кто тебя прислал?

Никита быстро засунул руку за борт пиджака и молча подавал изрядно отсыревшую доверенность.

— В чем дело? — проговорил Филипп Степанович, обстоятельно надевая на нос пенсне и слегка откидывая голову, чтобы прочесть документ.

Он прочел его, затем снял пенсне, посмотрел на Никиту взором высшего гнева и изумления, замотал головой, хотел что-то сказать, но не нашел слов, и получилось громкое мычание. Филипп Степанович очень покраснел, отиснулся, надел пенсне, покрутил перед своим лбом пальцами, покосился на Никиту, протянул бумажку Ванечке.

Прошу вас быть свидетелем, товарищ кассир, до чего облагели курьеры в наше время, — произнес он довольно официальным вибрирующим голосом.

Ванечка прочитал бумажку и укоризненно покачал головой.

— Как же так, Никита, — сказал он по возможности ласково, — разве можно приставать к людям до такой степени, чтоб ходить за ними даже в банк? Завтра все будут получать, и уборщица Сергеева получит с удовольствием.

— Дозвольте получить сегодня как за себя, так и за уборщицу, — сказал Никита, не трогаясь с места и не отводя глаз от ассигнаций. — Сделайте исключение из правила.

— Это еще что за новости! — воскликнул бухгалтер в сильнейшем волнении. — А вот я на тебя за такие штуки подам заявление в местком. Распустился!

— Пожалуйста, Филипп Степанович, — тихо, но настойчиво сказал Никита.

— Я даже разговаривать с тобой не нахожу нужным, такая наглость! — заметил бухгалтер и уложил деньги в боковой карман. — Пойдем, Ванечка.

Филипп Степанович и Ванечка быстро двинулись, как бы сквозь Никиту, и вышли на улицу, придерживая пальцами боковые карманы.

Никита слегка забежал вперед и надел шапку.

— Выдайте, Филипп Степанович.

— Что за нетерпение, я не понимаю. Во всем нужен хоть какой-нибудь порядок. Ведь если за мной все сотрудники начнут бегать таким образом по улицам, так что же из этого получится!

— Не будут, Филипп Степанович, бегать. Сотрудникам что, сотрудники не меньше как по двенадцатому ряду получают, перетерпят. Выдайте, товарищ Прохоров.

— Завтра, Никита, завтра. Не помрете ж вы с Сергеевой до завтра.

— Не помрем.

— Ну вот видишь, так в чем же дело?

— Сегодня это, Филипп Степанович, одно, а завтра может быть совершенно другое. Выдайте.

— Фу, черт! Не выдам! Да что же в конце концов, тут, осередь улицы, без ведомости, под дождем, в темноте



вынимать суммы и выплачивать? Уж если тебе действительно так приспичило, так ты поскорей иди в учреждение, а мы с Ванечкой сейчас подьедом на извозчике. Там и выдадим. Не задерживай. Время темное, а у нас казенная наличность. Иди, Никита.

При словах «извозчик» и «казенная наличность» Никита взмахнул локтями, точно подрубленными крыльями; нестрый свет электрических лампочек упал из витрины магазина радиопринадлежностей на его побелевший от напряжения нос. Курьер издал горлом короткий, ни с чем несхожий тоскливый звук и схватил бухгалтера за рукав.

— Это зачем же, товарищи, на извозчика садиться с казенной наличностью? Пока пятое, десятое... И вы гикже, товарищ кассир, войдите в положение людей... А что касается выдавать под дождем, так тут за углом в двух шагах есть тихая столовая, с подачей. Займет не больше двух минут времени, а тогда хоть и на извозчика, хоть и на вокзал, в час добрый, а я себе пойду. Вон она считает. Сделайте снисхождение.

— Ну что с ним поделаешь, Ванечка? Выдать сумму, конечно, недолго, но ведь если бы ведомость была, а то, главное, ведомости нету. Нет, Никита, никак невозможно без ведомости.

Между тем Никита как будто нечаянно напирал с флинта и подталкивал Филиппа Степановича и Ванечку в переулочек.

— Чего там без ведомости, — бормотал он. — Ничего, что без ведомости. Дело вполне возможное. Всем известно: шестой разряд по тарифной сетке, за полмесяца, без начислов — есть двенадцать рублей и пятьдесят копеек, и столько же причитается уборщице Сергеевой по доверенности. А товарищ кассир пускай потом птичку в ведомости отметят, и дело с концом.

— Это незаконно, — слабо заметил бухгалтер, торопливо изворачиваясь под ударами воды, низвергавшейся с лиричным боем на зонтик.

Куда ты нас ведешь, курьер, у меня сапоги на-

сквозь мокрые, ни черта не видно! — воскликнул Ванечка и тут же попал ногой в черную, глубокую воду.

— Будьте покойны. Уж подошли. Тут через дом. И можно обсушиться, — засутился Никита, боком перепрыгивая через лужи. — Держитесь, Филипп Степанович, правее. Займет — пустыки. Товарищ кассир, правее держитесь. Такая собачья погода, будь она трижды... Пожалуйста.

Невидимый до сих пор дождь вдруг стал резко виден, падая сплошной сетью мимо жемчужного поля неярко освещенного стекла, на котором густо просвечивал багровый рак. Никита отодрал потную, набухшую, как в прачечной, дверь. Она отчаянно завизжала. Отрадный свет ударил в глаза, уставшие от дождевой тьмы. «Икар и овип», — механически прочел Ванечка по привычке справа налево плакат, прибитый над стойкой. Филипп Степанович закрыл зонтик, постучал им об пол и украдкой потрогал боковой карман. Две длинные капли слетели с кончиков его усов.

— Пожалуйста, пожалуйста, — приговаривал между тем Никита, деятельно бегая вокруг них и подталкивая в пустоватый зал, где горело всего два рожка — сюда вот, за этот столик, под елочку. Здесь будет вроде как в лесу.

Филипп Степанович строго надулся, потер переносицу, на которой возле глаз виднелись коралловые рубцы от пенсне, и мигом оценил положение в том смысле, что вообще не следовало бы, пожалуй, заходить в пивную, но уже раз зашли, то отчего бы не погреться и не выпить бутылочку пива с подчиненными сослуживцами. В былые времена даже старик Саббакин иногда захаживал со своими конторщиками в трактир Львова, у Сретенских ворот, послушать машину и выпить водки, а ведь какой человек был! Что же касается учреждения, то время приближилось к пяти, к концу занятий, так что не имело ни малейшего смысла торопиться. Рассудив все это таким образом, Филипп Степанович расстегнулся, повесил на сумелки зонтик и шляпу, раскинулся на стуле, накинул пенсне и с чувством превосходства осмотрел пивную.

— Чего прикажете? — спросил официант в серой толстовке и в фартуке, тотчас появляясь перед ним.

Филипп Степанович припомнил, как старик Саббакин в таких случаях лихо расправлялся у Львова, искоса поглядел на Никиту и Ванечку, выставил ногу в калоше и быстро заказал графинчик очищенной, селедочку с гарниром, порцию поросенка под хреном и пару чая.

— Водкой не торгуем, только пивом, — со вздохом сказал официант и, горестно улыбаясь, свесил голову. — Патента не имеем.

— Что же это за трактир, если нету водки? — насмешливо и вместе с тем строго спросил Филипп Степанович.

Официант еще ниже опустил голову, как бы говоря: «И я сам понимаю, что без водки настоящему трактиру не полагается, да ничего не поделаешь: время теперь такое».

Филипп Степанович, разумеется, очень хорошо знал, что в теперешних пивных водки не подают, но жалко было упустить случай щегольнуть перед подчиненными и слегка унижить официанта.

— В таком случае, — сказал он баритоном, — дай ты нам, братец, парочку пивка, да раков камских по штучке, да поблы порцию нарежь отдельно, если хорошая, да печеных яиц почернее подбрось.

— Слушаю-с!

Официант, сразу оценив настоящего заказчика, почтительно удалился задом, на ходу быстро поворотился и, как фокусник, щелкнул выключателем. Сразу стало вдвое светлее.

Ванечка робко кашлянул, почти с ужасом восторгла поглядел на Филиппа Степановича и тут только в первый раз в жизни вдруг понял, что такое настоящий человек.

Между тем, заметив произведенное им впечатление, Филипп Степанович, тонко улыбаясь, разгладил платком мокрые усы, точь-в-точь как это некогда проделывал старик Саббакин, закурил папироску, откинулся и сказал вник, выпуская вместе со словами дым:

— Ну-с, товарищ курьер, я вас слушаю. Изложите.

Никита встал с места, вытянулся, отпрапортовал свою просьбу и сел.

— Я, Никита, в принципе против авансовых выдач, но в исключительных случаях это возможно, при наличии в кассе свободных сумм. Товарищ кассир, какая у нас в кассе наличность?

— Хватит, Филипп Степанович. Можно выдать.

— В таком случае выдайте под расписку.

Ванечка услужливо достал новенькую пачку червонцев, химический карандаш, четвертушку бумаги, сказал свое загадочное слово «аблимант», и в ту же минуту операция была оформлена по всем правилам бухгалтерского искусства.

Филипп же Степанович макал усы в пивную пену и, с достоинством выпуская из ноздрей табачный дым, предавался отдыху. Повеселевший Никита выпил два стакана, потряс в воздухе пустыми бутылками и попросил разрешения по случаю получки поставить на свой счет еще пару. Главный бухгалтер разрешил. В пивной заметно прибавилось народа. Ванечка заметил, что фонари, висящие с потолка, ни дать ни взять похожи на облупленные куриные яйца. Это обстоятельство его необычайно развеселило, и он, придвинувшись к Филиппу Степановичу, сказал, что не мешало бы сбежать в МСПО за половинкой горькой. Филипп Степанович погрозил пальцем, но Ванечка шепотом побожился, что ничего такого не может произойти, тем более что все так делают, и что завтра все равно получка. Бухгалтер еще раз погрозил пальцем, после чего Ванечка исчез и вскоре появился румяный, запыхавшийся и мокрый. За это время на столе появились еще три бутылки пива.

Никита под столиком распределил водку по стаканам. Сослуживцы, как заговорщики, выпили, сморщились, закусили воблой, и официант, ловко прикрыв порожнюю посуду, как грех, полотенцем, унес ее на кухню.

Потом Филипп Степанович наклонился к Никите и Ванечке и сказал, дыша спиртом и раками, что в России

не было, нет и не будет такого замечательного человека, как старик Саббакин, глава торговой фирмы «Саббакин и сын». Сказавши это, бухгалтер в глубоком раздумье поник головой и опрокинул рукавом пустую бутылку. «Винovat!» — закричал Ванечка, подхватывая на лету бутылку, и тут же опрокинул полный стакан. Никита расстегнул верхний крючок пиджака, надвинулся вплотную на Филиппа Степановича и, суя ему в ухо мокрый нос, жарко зашептал нечто очень туманное, но жгучее насчет казенных сумм и вокзала.

— Постой, Никита, дай мне высказать, — проговорил Филипп Степанович, освобождаясь от курьера, и припал к Ванечке. — Постой... Я тебе, Ванечка, сейчас все объясню... Жизнь наша, Ванечка, есть не что иное, как сон... Возьмем, к примеру, старика Саббакина. Ты меня понимаешь, Ванечка? Скажем — Никита. Вот он тут сидит совершенно пьяный и замышляет растратить жалованье уборщицы Сергеевой... Что такое Никита и что такое Саббакин, ясно?

Филипп Степанович значительно и мудро подмигнул налившимся, как виноградина, глазом, взял Ванечку за воротник, потянул на себя и улыбнулся так лучезарно, что весь пивной зал пошел вокруг него золотистыми морщинами. В коротких словах, но невразумительно, он разъяснил разницу между ничтожным Никитой и великим Саббакиным. Он помянул при этом случае японскую кампанию, лодзинскую вдову, трактир Львова и многие другие неизгладимые подробности своей жизни. Он дышал на очарованного Ванечку раками и, покрывая бесшумный шум, уже стоящий в переполненном зале, раскрывал перед ним необыкновенные перспективы, точно снимал туманную оболочку с вещей, казавшихся кассиру до сих пор скучными и не стоящими внимания.

Вдруг заиграла бойкая музыка. Русский чуб тапера упал на белые и черные костяшки стонущей клавиатуры. Три руки задвигали мяукающими смычками над складными пультами. Постыдно надутые губы заплели в тес-

ную дырочку флейты, извлекая из черного дерева чистый, высокий и волнистый ангельский вой. И все это, соединенное вместе разжигающим мотивом, ударило по самому сердцу обещанием несбыточных каких-то и вместе с тем очень доступных удовольствий.

Яйцевидные лампочки под потолком стали размножаться со сказочной быстротой. Ванечка сидел очень прямо, как деревянный, и так широко улыбался, что казалось, будто его щеки плавают сами по себе, где-то поблизости, в синеватом воздухе. Никита стоял, вытянувшись по-солдатски, в картузе и говорил нечто неразборчивое.

— А что такое? — закричал оглохший бухгалтер.

— Счастливого пути, говорю, товарищи! — выкрикнул Никита, проплывая вправо. — И вам счастливого пути, товарищ кассир. Приятного путешествия. Разрешите для последнего знакомства одну разгонную.

— Валяй! — закричал Ванечка, ничего не понимая.

— Никита! — погрозил пальцем Филипп Степанович. — Ты пьян... Я вижу это ясно.

Официант выстрелил из холодной бутылки, как из пистолета. Пена поползла в стакан. Ванечка рылся в карманах, вытаскивая деньги, чтоб расплатиться.

— А теперь, Филипп Степанович, хоть и на извозчике, — сказал Никита, почтительно подавая бухгалтеру шляпу и зонтик.

— Поедем, Ванечка, — мутно проговорил Филипп Степанович, опрокидывая на опилки стул страшно отяжелевшей полый своего пальто.

Было совершенно ясно, что разойтись по домам и расстаться с Ванечкой именно теперь, в тот самый момент, когда жизнь только начинала улыбаться, было никак невозможно, просто глупо. Надо было каким-то образом обязательно продолжить так приятно и многообещающе начатый вечер. В конце концов все равно — за тра получка, и можно ж раз в жизни немножко кутнуть.

— Поедем, Ванечка, — повторил Филипп Степанович, выбираясь из пивной во тьму.

— Куда же мы, Филипп Степанович, теперь поедим? — жалобно спросил Ванечка, ужаснувшийся от одной мысли, что ехать может оказаться некуда и все разстроится.

Филипп Степанович раскрыл зонтик, остановился и поднял руку.

— Едем, Ванечка, ко мне. Я тебя приглашаю к обеду. Милости просим. И точка. Жена будет очень рада. Захватим по дороге закусочки, коньячку, корнишончиков. Увидишь мое семейство. Все будут ужасно рады. Постой, Ванечка, я тебе должен сказать, что ты мне невероятно нравишься. Дай я тебя поцелую. И не потому, что пьян, а уже давно.

При этих словах Филипп Степанович обнял Ванечку и преобильно уколол его усами в глаз.

— А может, ваша супруга, Филипп Степанович, будут недовольны? — спросил Ванечка.

— Если я говорю, что все будут рады, значит, будут... И корнишончиков... Приедем, а я сейчас же и скажу: приготовь ты нам, Яниночка (это мою жену зовут Яниной, потому что она из Лодзи), приготовь ты нам, Яниночка, такую селедочку с лучком и поросенка с хреном. Все будет как нельзя лучше. Суаре интим в тесном круту, как говорил старик Саббакин... Только ты, Ванечка, того! И ведь вас, молодых людей, хорошо понимаю. Сам небось помню. Насчет моей приемной дочки держись. Такая девица, что сейчас врежешься, как черт в сухую грушу. А после обеда — не уютно ли кофе... С ликерами... Шерри-бренди... Будьте любезны... — болтал Филипп Степанович, уже сидя на плещущем извозчике и нежно поддерживая захмелевшего на чистом воздухе Ванечку за спину.

Перед его взорами носилась картина великолепной столовой, стола, накрытого крахмальной скатертью на шесть кувертов, деревянных зайцев на буфете и тому подобного.

Никита постоял некоторое время под дождем на середине мостовой без шапки, глядя вслед удаляющемуся из-

возчику, развел руками и с горестным вздохом сказал про себя:

— Разъехались... Такая, значит, им написана планета, чтоб ездить теперь по разным городам. А я себе пойду...

После этого он плотно надел на уши картуз и пошел через лужи, бормоча:

— С такими деньгами еще бы не поездить!.. Половину земли можно объездить... А все-таки очень скучная у нас служба получится, если все кассиры и бухгалтера разъедутся. Пойти, что ли, напиться?

И мрак окутал Никиту.

### Глава третья

Примерно через полчаса нагруженные кулками и свертками, бережно поддерживая друг друга, Филипп Степанович и Ванечка поднялись по лестнице на третий этаж некоего дома, в районе Покровских ворот, где жил Филипп Степанович. Они позвонили четыре раза. Пока дверь еще не отворили, Ванечка поглядел на Филиппа Степановича и сказал:

— А может, Филипп Степанович, неудобно беспокоить вашу супругу?

Бухгалтер грозно нахмурился.

— Если я приглашаю к себе в дом обедать, значит, удобно. Какие могут быть разговоры? Милости просим. Я и жена будем очень рады. Суаре интим. И точка.

В этот момент дверь быстро открылась, и на пороге предстала дородная немолодая женщина в домашнем кимоно с большими розами. По выражению ее лица, по особому содроганию волос, мелко и часто закрученных пилльотками, похожими на билетки лотереи-аллегри (наверняка с проигрышем), по тому ни с чем не сравнимому и вместе с тем зловещему изгибу толстого бедра, который красноречивей всякого грома говорил о семейной погоде, — по всем этим признакам можно было безошибочно заключить, что суаре интим в тесном кругу вряд ли



состоится. Однако Филипп Степанович, мужественно загородив собою Ванечку, выступил вперед с покупками и сказал:

— А я не один, Яниночка. Мы, Яниночка, вдвоем, как видишь. Я и наш кассир. Я его, знаешь ли, прихватил с собою к обеду. Ведь ты нас покормишь, киця, не правда ли? А я тут кой-чего прихватил вкусенького к обеду. Ну и напитков, конечно, хе-хе... Прошу любить да жаловать... Суаре, как говорится, интим... И конфеток для дам... И в общем, все останутся довольны в семейном кругу.

Говоря таким образом, Филипп Степанович утасал и, медленно шаркая калошами, приближался к супруге, которая продолжала неподвижно и немая стоять в дверях, глядя на мужа совершенно беспристрастным взглядом. Только розы на ее бедре колыхались все глубже и медленней. Но едва Филипп Степанович приблизился к ней на расстояние своего тщательно сдерживаемого дыхания и едва это дыхание коснулось ее раздувшихся ноздрей, как она схватила пальцами за свое толстое голое горло, другой рукой деятельно подобрала капот и плюнула Филиппу Степановичу в самую кисточку на подбородке.

— Пошли вон, пьяные паршивцы! — закричала она истерическим, нестерпимым тенором на всю лестницу.

Затем вспыхнула всеми своими рябыми розами и с такой необыкновенной силой захлопнула дверь, что казалось, вот-вот из всех окон парадного хода с грохотом и шумом выставятся наружу цветные стекла.

Яниночка, что с тобой, ну, я тебя, наконец, прошу. Неудобно же, — слабо и ласково произнес Филипп Степанович и поцарапался в дверь ручкой зонтика.

Но за дверью хлопнулась еще одна дверь, за этой еще одна, потом еще одна — где-то в самой глубине квартиры. — и все смолкло. Из дверей напротив высунулась измученная физиономия, посмотрела равнодушно и скрылась.

Пойдемте, Филипп Степанович, я же вам говорил, что будет не совсем удобно, — покорно сказал Ванечка и пошатнулся, — в другой раз можно будет зайти.

— Вздор, вздор, — смущенно заворчал Филипп Степанович, — ты, Ванечка, не обращай внимания. Она у меня, понимаешь ли, страшно нервная женщина, но золотое сердце. Сейчас все уладится. Можешь мне поверить.

Филипп Степанович вытер рукавом подбородок, навел на лицо терпеливую строгость и позвонил коротко, отчетливо и раздельно четыре раза. Никакого ответа не последовало. Не распуская с лица того же достойного выражения, он повторил порцию звонков и сел рядом с Ванечкой на ступеньку.

— Зато какая у меня, Ванечка, приемная дочка, — как бы в утешение сказал он, обняв заскукавшего кассира за талию. — Обязательно, как увидишь, так сейчас и влюбишься. Любой красавице сто очков вперед даст. Сейчас я вас за обедом познакомлю. Я ведь не то что другие сволочи отцы, я понимаю, что наш идеал — кружиться в вихре вальса.

Замечание насчет вальса очень понравилось Ванечке, и он очнулся от легкой головокружительной дремоты.

— Я, Филипп Степанович, ничего себе. Не подкачаю.

В это время дверь опять открылась. На этот раз ее открыл бледный стриженный мальчик, лет двенадцати, с веснушчатым носом и в валенках.

— А! — воскликнул Филипп Степанович. — Узнаю своего законного сына. Это, Ванечка, позволь тебе представить, мой сын Николай Филиппович, гражданин Прохоров — пионер и радиозаяц. Где мать?

Мальчик молча повернулся и косолапо ушел в комнаты.

— Небось разогревает на кухне обед, — сказал, сошп, Филипп Степанович и подтолкнул Ванечку в совершенно темную переднюю.

— Ты уж извини, пожалуйста, но у нас тут лампочка перегорела. Держись за меня. Иди, брат, все прямо и прямо, не бойся. Тут в коридоре дорога ясная.

При этом Ванечка трахнулся глазом об угол чего-то шкафоподобного. Филипп Степанович нашарил во тьме

и открыл дверь. Они вошли в довольно большую комнату, наполовину заставленную разнообразной мебелью. По середине стоял обеденный стол, покрытый клеенкой с чернильными кляксами. Через всю комнату тянулись две перекладины, на которых сушились полосатые кальсоны. Одна лампочка слабого света горела в розетке большой пыльной столовой люстры. На краешке стола сидел стриженный радиозаяц и, высунув набок язык, старательно прижимал к розовому уху трубку самодельного радио.

— Милости просим, — сказал бухгалтер, кладя на стол свертки и делая жест широкого гостеприимства, — ты уж извини, Ванечка, у нас тут, как видишь, белье сушится. А то с чердака здорово прут, сукины дети. Но мы это все сейчас уладим. Присаживайся. А где же Зойка?

— На курсах, — не отводя трубки от уха, ответил сын.

— Вот так штуkenция, не повезло нам с тобой, Ванечка. Она, понимаешь, на курсах стенографию изучает. На съездах скоро будет работать. Острая девушка. Такое дело. Ну, мы сейчас все устроим. Колька, где мать?

Мальчик молча кивнул на дверь.

Филипп Степанович снял калоши и в пальто и шляпе на цыпочках подошел к двери.

— Яниночка, а у нас гость.

— Пошли вон, пьяные паршивцы! — закричал из-за двери неумолимый голос.

— Такая нервная женщина, — прошептал Филипп Степанович, подмигивая Ванечке. — Ты посиди, Ванечка. Ничего, разворачивай пока закуски и открывай коньяк. Сейчас я все устрою.

Филипп Степанович снял шляпу и на цыпочках вошел в страшную комнату.

Мало сказать — розовый куст, мало сказать — цветущая клумба, нет — целая Ницца бушующих, ужасных роз обрушилась в ту же минуту на Филиппа Степановича.

— Вон, вон, негодный пьяница, чтобы духу вашего здесь не было! Вот я перебыю сейчас об твою голову все бутылки и псам под хвост раскидаю твои закуски. Дома

кушать нечего, в жилтоварищество за три месяца не плачено. Колька без сапог ходит, лампочки в передней нету, а ты, старый алкоголик, кутежи устраиваешь! Из каких средств? Я не позволю у себя дома делать вакханалию! Это еще что за мода! И где же это видано, шляйка несчастная, у-у!

Тщетно пытался Филипп Степанович отгородиться руками от грозного изобилия этих горьких, но справедливых упреков. В панике он начал подобострастно лепетать нечто ни на что не похожее насчет кассира, которого можно (и даже очень просто) женить на Зойке. И точка. Что кассир не прочь жениться, что партия вполне подходящая и прочее.

Жена только руками всплеснула от негодования и в следующий миг закатила Филиппу Степановичу две такие оплеухи, в правую и в левую щеку, точно выложила со сковородки два горячих блина. Белые звезды медленно выпали из глаз Филиппа Степановича, ярко зажглись и померкли.

— А, ты так? — закричал он придушенным голосом, и вдруг старинная, дикая злоба против жены подступила к его горлу и задвигалась в кадыке. — А... Так ты так?

Закрыв глаза от наслаждения, он погрузил скрюченные пальцы в папилютки жены, судорожно их помял и нежнейшим шепотом спросил:

— Будешь, стерва?

Голос его заколебался и окреп.

— Будешь, стерва? — повторил он громче и выставил желтые клыки. — Будешь, стерва?

С этими словами он, не торопясь, разодрал сверху до низу усеянный ненавистными розами капот и заведенными глазами, подернутыми синеватой пленкой, обвел комнату. Он быстро снял со стены японский веер, лаковую этажерочку, клетку с чучелом щегла, сдернул с комода гарусную попону, поймал на лету голубую вазочку, и вот это кучкой сложил посередине комнаты и принялся, приплясывая, топтать ногами.

— Молчать! Молчать! — орал он в исступлении неправдоподобным голосом, от которого сам глож и покрывался пеной, как лошадь. — Молчать! Я покажу, кто тут хозяин! Прошу, прошу! Накрывай на стол, дрян! Я требую. И точка.

А Ванечка, отставив мизинчик, старался не слышать воплей и грохота скандала и в тихой тоске откупоривал бутылки карманным пробочником, горестно вынимал из бумажки, как ожерелье, плохо нарезанную краковскую колбасу.

Наконец побоище кончилось. Обливаясь потом, Филипп Степанович появился в дверях столовой.

— Прошу прощения, — сказал он, переводя дух, и вытер переносицу дрожащим носовым платком. — Дело в том, что моя супруга плохо себя чувствует и не может выйти к столу. Прошу извинить. Эти дамские мигрени! Впрочем — ерунда. Мы поужинаем сами.

Филипп Степанович сунулся к буфету, долго в нем шарил и, наконец, хмуро поставил на стол две фаянсовые кружки с отбитыми ручками. Он потер руки и косо взглянул на Ванечку:

— Рюмку коньяку?

Они хлопнули по кружке коньяку, от которого сильнейшим образом пахло туалетным мылом. Закусили колбасой.

— «От бутылки вина не болит голова... — пропел Филипп Степанович дрожащим голосом, налил по второй, — и болит у того, кто не пьет ничего». Верно, кассир? И никаких баб. И точка. Ваше здоровье .

От второй кружки у Ванечки глаза полезли на лоб и страшно зашумело в голове, а уже Филипп Степанович сонал ему в ухо слуховую трубку радио, из которого мелким горошком сыпался острый голосок:

И будешь ты царицей ми-и-ра,  
Подруга вечная моя.

— Пошли вон, пьяные паршивцы! — нудно произнес длинный голос из будуара.

— Молчать! — вскользь заметил Филипп Степанович и бросил в дверь кусок колбасы. Колбаса шлепнулась плашмя и прилипла к филенке.

Смотрите здесь, смотрите там,  
Нравится ль все это вам? —

с горечью пропел бухгалтер, тускло глядя на качающуюся колбасу, и заплакал, уронив голову на Ванечкино плечо.

— Замучила-таки человека, стерва! Один ты, Ванечка, у меня на свете и остался. Заездила, подлая баба. Всю мою жизнь, всю мою молодость съела, чтоб ее черти взяли! А ведь какой человек был Филипп Степанович Прохоров! Боже, какой человек! Орел! Зверь! Граф! Веришь ли... Под Чемульпо со взводом стрелков... С одним-единственным взводом...

Филипп Степанович хлебнул полчашки беленького, типа сабли № 63, и вцепился в Ванечкин рукав.

— Кассир, могу я на тебя положиться? Кассир, не вы дашь?

— Положитесь, Филипп Степанович, — жалобно закричал Ванечка, не вынеся муки, скривился и заплакал от любви, жалости и преданности, — положитесь, Филипп Степанович, ради бога, положитесь! Не выдам!

— Клянись!

— Клянусь, Филипп Степанович!

Филипп Степанович встал во весь рост и качнулся.

— Едем!

— Куда это едем? — раздался шипящий голос жены, появившейся в дверной раме, как картина. — Куда это вы собираетесь ехать, уголовный преступник?

— Молчи, стерва, — сонно ответил Филипп Степанович и вдруг, замечательно ловко сорвав с веревки полосатые кальсоны, шлепнул ими супругу по щеке.

— Разбойник! Преступник! — завизжала жена, заведя над головой голые локти. — Держите! Избивают!

— Ванечка, за мной, — скомандовал Филипп Степа

нович, размахивая кальсонами, — не теряй связи! Вперед!

Отбиваясь портфелем и раскачиваясь, Ванечка ринулся вслед за Филиппом Степановичем сквозь темный коридор и благополучно вырвался на лестницу. Толстый локоть, несколько исковерканных роз и испуганное лицо радиозайца метнулись где-то очень близко, позади, в пролете распахнувшейся двери. Вслед за тем дверь с пушечным выстрелом захлопнулась. Ступеньки стремительно бросились снизу вверх, сбивая с ног сослуживцев. Перила поползли, как разгоряченный удав, поворачивались и шипя в скользких ладонях. Кричащее эхо носилось от стены к стене. Опухшая лампочка в проволочной сетке пронеслась, как пуля, в умопомрачительной высоте и сдохла. Возле поющей входной двери, прижавшись спиной к доске объявлений жилищного товарищества и прижав к груди рыжую сумочку с тетрадкой, стояла, кусая губы, девушка, в синем дешевом пальто и оранжевой вязанной шапочке.

— Зойка! — закричал Филипп Степанович, подозрительно всматриваясь в ее испуганное лицо, окруженное русыми кудерьками, на которых блестели дождевые капли, и погрозил пальцем. — Зойка!

— Куда это вы, папаша, в таком виде, без зонтика и без калош? — прошептала она, всплеснув руками.

— Тебя не спросились. Молчать! Распустилась! И точно. За мной, кассир!

И, косо ухватившись за ручку двери, он почти вывалился на улицу.

Ванечка же, держась за стенку, стоял, очарованный, перед девушкой, улыбался, не в состоянии выговорить ни слова. Милое лицо с нахмуренными бровями неудержимо проплывало мимо его развинтившихся глаз, и он делал страшные усилия, чтобы остановить его. Но оно все плыло, плыло и вдруг проплыло и пропало. Раздался смех. Это все продолжалось не больше секунды. Ванечка пошатнулся, схватился обеими руками за медную палку и пошел вслед за Филиппом Степановичем на улицу.

— В центр! К Пушкину! — кричал бухгалтер извозчику. — Лезь, Ванечка! А Зойка, а? Острая девица! Извозчик, Тверской бульвар, духом!

Ванечка залез под тесную крышу экипажа, принял к плечу бухгалтера, и тотчас ему показалось, что они поехали задом наперед. Дождь хлестал сбоку на штаны и в лицо. Проплыла разноцветными огнями вывеска кинематографа «Волшебные грезы». Черный город расползался вокруг гадюками блеска. Фосфорные капли с треском падали с трамвайных проводов.

Высоко над Красной площадью, над смутно светящимся Мавзолеем, над стенами Кремля, подобно языку пламени, струился в черном небе дивно освещенный откуда-то, словно сшитый из жидкого стекла, насквозь красный флаг ЦИКа.

Потом в три ручья светящаяся Тверская вынесла их сквозь грохот извозчиков и трубы автомобилей к Страстному. Экипаж остановился. Они вылезли. Непреодолимая суeta охватила их. Здоровенные оборванцы, не давая проходу, размахивали перед самыми их носами мокрыми букетами несвоевременных хризантем. Улюлюкали лихачи. Цинично кричали шоферы, предлагая прокатиться с девочкой в «кажете любви». Серебряная мелочь посыпалась в пылающую лужу. Сноп белого автомобильного света ударил и разломил глаза.

— Ванечка, где ты? — раздался смутный голос Филиппа Степановича. — Держись за мной.

— Я здесь.

Ванечка побежал на голос и увидел мельком Филиппа Степановича. В одной руке он держал букет, к другой деловито и торопливо прижималась полная дама необычайной красоты в каракулевом мантии и белой атласной шляпе. Она тащила Филиппа Степановича через площадь и быстро говорила:

— «Шато де Флер». Я лично советую. Там есть кабинеты. Определенно.



Ночные приключения  
Сулят нам наслаждения... —

пропел возле самого Ванечкиного уха многообещающий голос, и мягкая рука просунулась под его локоть.

— Молодой человек, пригласите меня в ресторан.

Ванечка обернулся и совсем близко увидел бледное лицо с прекрасными глазами. Белая вязаная шапочка, надетая глубоко, до самых бровей, касалась Ванечкиного плеча.

— Пойдем, миленький, пойдем, а то вы своего товарища потеряете.

— Вы... Зоя? — спросил Ванечка с трудом. — Нет, стойте, вы мне сначала скажите: вы... Зоя?

— Можете считать, что и Зоя, — ответила девушка, захохотала и прижалась к плечу.

Они быстро перебежали площадь, со всех сторон обдаваемые брызгами.

— Ванечка! Где же ты? Держись за мной!

— Я тут, Филипп Степанович... Такая темнота...

Два электрических фонаря, два бешено крутящихся гудящих сатурна пронесли над входом в ресторан.

Филипп Степанович увидел девицу в белой шапочке, угрозил Ванечке пальцем и, галантно пропустив свою даму вперед, не без труда открыл двери «Шато де Флер».

...Странно и непонятно перед ними возникла фигура Никиты...

— Граф Гвидо вскочил на коня! — в упоении закричал Филипп Степанович на всю Страстную площадь, и, словно в ответ на это, из дверей ресторана вырвался оглушительный шум струнного оркестра.

## Глава четвертая

На другой день Филипп Степанович проснулся в надвигающем часу утра... У каждого человека своя манера просыпаться утром после пьянства. Один просыпается тих, другой этак, а третий и вовсе предпочитает не про-

сыпаться и лежит, оборотившись к стенке и зажмурившись, до тех пор, пока друзья не догадаются принести ему половинку очищенной и огурец.

Мучительней же всех переживают процесс пробуждения после безобразной ночи пожилых лет бухгалтера, обремененные семейством и имеющие склонность к почечным заболеваниям.

Подобного сорта гражданин обыкновенно, проснувшись, долго лежит на спине с закрытыми глазами, в тревоге, и, ощущая вокруг себя и в себе такой страшный гул и грохот, словно его куда-то везут на крыше товарного поезда, подсчитывают, сколько денег пропито, сколько осталось и как бы протянуть до ближайшей полочки. При этом коленки у него крупно и неприятно дрожат, пятки неестественно чешутся, на глазу прыгает живчик, а в самой середине организма, не то в животе, не то под ложечкой, образуется жжение, сосание и дикая пустота. И лежит гражданин на спине, не смея открыть глаза, мучительно припоминая все подробности вчерашнего свинства, в ожидании того страшного, но неизбежного мига, когда над диваном (в громадном большинстве случаев подобного сорта пробуждения происходят отнюдь не на супружеской постели) появится едкое лицо супруги и раздастся хорошо знакомый соленый голос: «Посмотри на себя в зеркало, старая свинья, на что ты похож! Продери свои бессовестные глаза и взгляни, на что похож твой пиджак — вся спина белая! Интересно знать, в каких это ты притонах вывалился так!»

Боже мой, какое унижительное пробуждение! И подумать только, что еще вчера вечером «старая свинья» катил через весь город с толстой дамой на дутых колесах, со шляпой, сдвинутой на затылок, и облезлым букетом в руках, и прекрасная жизнь разворачивалась перед ним всеми своими разноцветными огнями и приманками, и был сам черт ему не брат!

Какое гнусное пробуждение: справа — печень, слева — сердце, впереди — мрак. Ужасно, ужасно!..

Итак, Филипп Степанович проснулся и, проснувшись, испытал все то, что ему надлежало испытать после давешнего легкомысленного поведения.

В ушах стоял шум курьерского поезда. Пятки чесались. В глазу прыгал живчик. Ужасно хотелось пить. Стараясь не открывать глаз, он стал припоминать все постыдные подробности вчерашнего вечера. «Позвольте, — думал он, — как же это все, однако, произошло? Во-первых, Ванечка. Почему именно Ванечка, откуда он взялся? Впрочем, нет. Во-первых, Никита. Еще более странно. Впрочем, нет. Во-первых, страшный семейный скандал». Филипп Степанович вдруг во всех подробностях вспомнил вчерашнее побоище, рябые розы, летающую колбасу, изничтоженную клетку и прочее и стал пунцовый. Его прошиб горячий пот. Тут же он восстановил в памяти и все остальное.

— Как же это меня утратило? Очень неприятная история, — пробормотал он, еще плотнее зажмурив глаза.

Он припомнил бумажные цветы на столиках в «Шато де Флер», стены, расписанные густыми кавказскими видами, звуки струнного оркестра, селедку с гарниром, идребезги пьяного Ванечку и двух девиц, которые требовали портвейн и курили папиросы... Одна из них была в каракулевом мантии — Изабелла, другая — Ванечкина, худая... Да что же было потом? Потом на сцену вышли евреи, одетые в малороссийские рубахи и синие шаровары, и стали танцевать гопак с таким усердием, словно хотели выбросить свои руки и ноги на чердак. Потом Ванечка дал кому-то по морде кистью вялого винограда. Впрочем, это было, кажется, где-то уже в другом месте. Потом Никита посоветовал ехать на вокзал. Или нет: Никита был где-то раньше и раньше советовал, а, впрочем, может быть, и нет... Потом в отдельном кабинете, где висела пикантная картина в черной раме, под ветвистыми оленьими рогами, официант в засаленном фраке развратно вынул из бутылки шампанского, и пробка порхнула, как бибочка. Потом Ванечка стоял посередине чего-то очень

красного и внятно бранился. Потом из крана Филипп Степанович обливал голову, и вода текла за шиворот. Потом, обхватив за талию Изабеллу, он мчался сломя голову на извозчике под неким железнодорожным мостом, причем все время боялся потерять Ванечку с Никитой и опоздать куда-то, а впереди светился багровый циферблат. Что было потом и как он добрался домой, Филипп Степанович решительно не помнил, кроме того, что, кажется, его доставил на квартиру и уложил в постель какой-то не то кондуктор, не то армянин с усами, но это уже было совершенной дичью. Одним словом, давно уже, лет десять, Филипп Степанович так не надирался и не вел себя столь безнравственно.

Сделав этот печальный вывод, бухгалтер стал приблизительно подсчитывать и припоминать, сколько он истратил денег из завтрашней, то есть сегодняшней, полочки. Выходило, что рублей пятьдесят, не меньше. И то — неизвестно, сколько содрали за шампанское. Филиппа Степановича вторично ударило в пот, на этот раз — холодный. Он прислушался. В квартире была подозрительная тишина. Только в ушах летел гул и беглый грохот, и казалось, что диван раскачивается и поворачивается на весу. «Или очень рано, или очень поздно. Однако я вчера хватил через край. Э, будь что будет».

Он тоскливо замычал, потянулся, открыл глаза и увидел, что лежит на нижнем диване в купе мягкого железнодорожного вагона. Было уже вполне светло. По белому прямоугольнику стрекочущего стекла, исцарапанного стеклянными пунктиром дождя, мелькали серые тени. С гулом и грохотом, перебитым тактами стыков, поезд летел полным ходом.

На противоположном диване сидела Изабелла в белой шляпке, несколько съехавшей набок, и, разложив на коленях непомерной величины лаковую сумку, похожую на некое выпотрошенное панцирное животное, быстро пудрила лиловый картошкообразный нос. Ее большие дриблые щеки в такт вагонному ходу тряслись, как у мошки.

В толстых ушах качались грушевидные фальшивые жемчуга.

— Что это происходит? — хрипло воскликнул Филипп Степанович и быстро сел. — Куда мы едем?

— Здравствуйте, — ответила Изабелла, — с Новым годом! К Ленинграду подъезжаем.

В глазах у бухгалтера потемнело.

— А где Ванечка?

— Где ж ему быть, вашему Ванечке? На верхней койке над вами. Тут у нас вполне отдельное купе. Вроде семейных бань. Определенно.

Филипп Степанович встал и заглянул на верхнее место. Ванечка лежал на животе, свесив голову и руки.

— Ванечка, — тревожно сказал Филипп Степанович, — Ванечка, мы едем!

Кассир молчал.

— Вы их лучше не тревожьте, — заметила Изабелла, выпятив живот и завязывая сзади на бумазейной юбке тесемки.

Она завязала их, подтянула юбку жестом солдата, подтягивающего шаровары, оправилась, запахнулась в икракулевое манто и уселась на диванчик, закинув ногу на ногу.

— Вы их лучше не тревожьте, они сейчас переживают любовную драму. Ихняя жена ночью в Клину с поезда сошла как ни в чем не бывало, такая, я извиняюсь за выражение, стерва.

— Какая жена? — ахнул Филипп Степанович.

— А такая самая, как вы мне муж, — кокетливо захихикала Изабелла и ударила Филиппа Степановича ридикулом по желтой шее. — Какие они, мужчины! Строят вид, что ничего не помнят!

И она подмигнула, намекая.

Филипп Степанович пошарил на столике пенсне, надел его, посадил на нос и поглядел на Изабеллины ноги. Они были толстые, короткие, обутые в пропотевшие белые бурковые полусапожки, обшитые по швам кожаной илюской, на кожаных стоптанных каблуках.

— О чем вы задумались? — весело спросила Изабелла, тесно подсаживаясь к Филиппу Степановичу.

Она пощекотала ему под носом перышками шляпы и задрала юбку до колена — прельщала.

— Не будьте такой задумчивый. Фи, как это вам не подходит! Берите с меня пример. Давайте будем мечтать, как мы будем веселиться в Ленинграде.

Филипп Степанович понял все и ужаснулся. Между тем Ванечка пошевелился у себя на койке и охнул.

— Едем, Филипп Степанович? — слабо спросил он.

— Едем, Ванечка.

— А уж я думал — может, приснилось...

Ванечка медленно слез сверху с портфелем под мышкой, покрутил взъерошенной головой, обалдело улыбнулся и еще раз охнул. Изабелла быстро поправила шляпку и, потеснее прижавшись к Филиппу Степановичу, сказала:

— Вы, Ванечка (я извиняюсь, молодой человек, что называю вас, как ваш товарищ, просто Ванечка), зря себя не расстраивайте из-за этой гадюки. Это такая, извините меня за выражение, паскуда, которая совершенно не знает, с какими людьми она имеет дело. И пусть она пропадет к чертовой матери в Клину. Пусть ее заберет железнодорожный МУР, а вы не расстраивайтесь через нее, молодой человек. Наплюйте на нее раз и навсегда. Вот, даст бог, приедем в Ленинград, — в Ленинграде, между прочим, мебель дешевая. И, главное, я же их предупреждала насчет девушки и под столом ногой толкала, и ваш сослуживец, который покупал билеты, может это подтвердить.

— Кто покупал билеты? Какой сослуживец? — воскликнул бухгалтер.

— А я не знаю, кто они такие... Вы их возле «Шато де Флер» на улице подобрали, а потом они с нами всюду сидели... Будто называли — Никита. Вроде курьер из вашего учреждения.

— Никита! — застонал Филипп Степанович, берясь за голову. — Слышишь, Ванечка! Никита! Совершенно вер

но, теперь я припоминаю. Именно Никита. О, подлый, подлый, безнравственный курьер, который, главное, на моих глазах растрачивал деньги уборщицы Сергеевой. Вот кто все это наделал!

— Он, он! Как же. Он и на вокзал посоветовал ехать, он и билеты покупал, он и в купе усаживал. Тоже порядочно подшофе. Речи всякие на вокзале в буфете первого класса произносил насчет путешествий по городам и насчет того, кому какая планета выпадет... Сам еле на ногах стоит... А между прочим, вокруг публики собирается. Все смеются. И смешно, знаете, и за них неудобно...

Выслушав все это, Филипп Степанович взял Ванечку под руку и повел его по мотающемуся коридору в уборную. Тут сослуживцы заперлись и некоторое время стояли в тесном пространстве, не глядя друг на друга. Цинковый пол с дыркой посередине плавно подымался под их подошвами и опускался трамплином. Из раковин снизу дуло свежим ветром движения. Графин с желтой водой шатался в деревянном гнезде, и в нем плавала дохлая муха вверх лапами. Пахло новой масляной краской. В зеркале, по отражению рубчатого матового окна, быстро легли тени.

— Представьте себе, товарищ бухгалтер, — наконец произнес бледный Ванечка, косо улыбаясь, — эта сука, кажется, вытащила у меня из портфеля сто червонцев и слезла ночью в Клину. Будьте свидетелем.

Филипп Степанович помочил из умывальника виски и махнул рукой.

— Чего там свидетелем. Вообще прежде всего, Ванечка, нам надо проверить наличность.

Сослуживцы присели рядом на край раковины и принялись за подсчет. Оказалось, что всего в наличности имеется десять тысяч семьсот четыре рубля с копейками.

Несколько минут сослуживцы молчали, точно убитые громом. С жужжанием круглого точильного камня в дырке раковины мелькало и несло железнодорожное поютно.

— Итого, кроме своих, не хватает тысячи двухсот девяносто шести рублей, — наконец, выговорил Ванечка и осунулся.

Бухгалтер сделал руку ковшиком, напустил из крана тепловатой воды и, моча усы, с жадностью напился.

— Что же это будет? — прошептал Ванечка, чувствуя, как у него от ужаса отрывается и умирает желудок.

Он машинально посмотрел в зеркало, но вместо лица увидел в нем лишь какую-то бледную, тошнотворную зелень.

— Что же это будет?

Филипп Степанович еще раз напился, высоко поднял брови и вытер усы дрожащим рукавом.

— Ничего не будет, — сказал он спокойно и сам удивился своему спокойствию.

Ванечка с надеждой посмотрел на своего начальника. А Филипп Степанович вдруг крякнул и совершенно неожиданно для самого себя игриво и загадочно подмигнул.

— Заявим? — спросил Ванечка робко.

— Зачем заявлять? Ерунда. Едем и едем. И точка. И в чем дело?

Он еще раз подмигнул, крепко взял Ванечку худыми пальцами за плечо и пощекотал его ухо усами, от которых еще пахло вчерашним спиртом.

— В Ленинграде не бывал?

— Не бывал.

— Я тоже не бывал, но, говорят, знаменитый город Европейский центр. Не мешает обследовать. Увидишь обалдеешь.

— А может быть, как-нибудь покроем?

Филипп Степанович осмотрел Ванечку с видом полнейшего превосходства и снисходительной иронии, а затем легонько пихнул его локтем под ребра.

— А женщины, говорят, по ленинградским ресторанам сидят за столиками такие, что умереть можно. Все больше из высшего общества. Бывшие графини, бывшие княгини...



— Неужели, Филипп Степанович, княгини?

Бухгалтер присосал носом верхнюю губу и чмокнул, как свинья.

— Я тебе говорю — обалдеешь. Премированные кра-  
павицы. Мы их в первую же голову и обследуем.

Ванечка порозовел и хихикнул.

— А как же эта дамочка в каракулях?

Филипп Степанович подумал, приосанился и хмуро  
поглянул на себя в зеркало.

— Сократим. И точка. И в чем дело?

Уже давно снаружи кто-то раздраженно вертел ручку  
уборной.

— Пойдем, Ванечка, не будем задерживать. Забирай  
свою канцелярию. И главное — не унывай.

Они вернулись в купе. Впереди Ванечка с портфелем  
под мышкой, а сзади строгий Филипп Степанович. Про-  
водник уже убирал постельные принадлежности и опу-  
скал верхние диваны. В купе стало просторней и светлей.  
На столике перед окном лежал бумажный мешок с ябло-  
нами, дареная курица, булка и шаталась бутылка водки.  
Изабелла торчала у окна и, тревожно вертась, жевала яб-  
локо.

— Где же это вы пропадали? Я так изнервничалась,  
так изнервничалась. Верите ли, даже на площадку выбе-  
жала, проводник может подтвердить.

И она прижалась к Филиппу Степановичу, положив  
ему на плечо шляпу. Филипп Степанович освободил нос  
из поломанных перьев и отстранился. Изабелла встрево-  
жилась еще больше. Такое поведение любовника не пред-  
вещало ничего хорошего. Увы, она слишком хорошо изучи-  
ла повадки удовлетворенных мужчин. Ей стало совер-  
шенно ясно, что ее ночная красота при дневном освеще-  
нии безнадежно теряет свои чары и власть. И это было  
ужасно обидно и невыгодно. Нет, она решительно не могла  
допустить, чтоб сорвался такой хороший фраер с такими  
приличными казенными деньгами. Тут надо сделать все,  
что угодно, расшибиться в лепешку, пустить в ход все  
средства, лишь бы удержать его. И она их пустила.

Чересчур весело и поспешно, словно боясь упустить хотя бы одну секунду драгоценного времени, Изабелла принялась обольщать. Она запахивала и распахивала мантию, выставляла напоказ большой бюст, садилась на колени к Филиппу Степановичу, шаловливо называла Ванечку «наш незаконный сын» и хлопала его ридикулом по спине. Она хлопотливо раздирала курицу и заботливо совала Филиппу Степановичу в рот пупырчатую ножку. При этом она без умолку болтала и напевала шансонетки времен дела Дрейфуса. Колеся по купе, она тщательно избегала попадать лицом к свету; если попадала — закрывалась до носа воротником, забивалась, как кошечка, в самый темный угол дивана и оттуда хихикала.

Она выбежала в коридор и капризным визгливым голосом крикнула проводника. Несколько инженеров, возвращавшихся в Ленинград с Волховстроя, высунулись из соседнего купе и с веселым любопытством оглядели ее кривую шляпку и бурковые полусапожки. Сделав инженерам глазки, она назвала явившегося проводника «миленький» и «дуся» и попросила принести стакан. Проводник принес фаянсовую кружку с трещиной, Изабелла вручила ему кусок курицы и сказала: «Пожалуйста, скушайте на здоровье курочку, не стесняйтесь». Затем она налила полкружки горькой и поднесла Филиппу Степановичу опохмелиться. Филипп Степанович поморщился, но выпил. Выпил и Ванечка. Проводник тоже не отказался, крякнул, закусил курицей, постоял для вежливости в дверях и, пососав усы, ушел. После этого Изабелла выпила сама глоток, задыхнулась, блаженно заплакала и сказала:

— Не переносу я этой водки! Я обожаю дамский напиток — портвейн номер одиннадцать.

Выпив, бухгалтер оживился, к нему вполне вернулась снисходительная уверенность и чувство превосходства над окружающими. Он выбрал из разломанной коробки «Посольских» непривычно толстую сырую папиросу, не без труда закурил, поморщился и сказал, что эта тридцатиградусная водка ни то ни се, а черт знает что и что и

свое время со стариком Саббакиным они пивали такую водку у Львова, что дух захватывало.

— А говорят, скоро сорокаградусную выпустят, — живо поддержала разговор Изабелла. — Даст бог, доживем, тогда вместе выпьем.

И она многозначительно пожала ногу Филиппа Степановича.

— И очень даже просто, — заметил Ванечка.

Затем они допили водку. Настроение, испорченное неприятным пробуждением, быстро поправлялось. Ванечка слегка охмелел и, вытянув грязные сапоги, стал мечтать о воображаемой барышне, с которой он якобы едет в обнимку на извозчике и целуется. Потом мимо него поплыла оранжевая вязаная шапочка и милое лицо с намуренными бровями. Он сделал усилие, чтобы остановить его, но оно, как и давеча, все плыло, плыло и вдруг проплыло и пропало. Тогда Ванечка положил подбородок на столик и печально замурлыкал: «Позарастили стежки-дорожки, где проходили милого ножки».

Изабелла истолковала это по-своему и сочувственно погладила его по голове:

— Вы, Ванечка, не скучайте. Забудьте эту негодяйку. Приедем, я вас познакомлю с одной моей ленинградской подружкой, она вам не даст скучать. Определенно.

Филипп Степанович выпустил из носа толстый дым и сказал:

— Посмотрим, какой такой ваш Ленинград, обследуем.

— Останетесь в восторге. Там, во Владимирском клубе, можете представить, прямо-таки настоящие пальмы стоят, и кабаре до пяти часов утра. В рулетку игра идет всю ночь. Одна моя ленинградская подружка — тоже, между прочим, довольно интересная, но, конечно, не так, как та, про которую я говорила Ванечке, — за один вечер, ей богу, выиграла четырнадцать червонцев, и, между прочим, на другой же день у нее вытащили деньги в

трамвае... Между прочим, в Ленинграде всё проспекты. Что у нас просто улица, то у них проспект. Определенно.

— Н-да. Невский проспект, например, — подтвердил Филипп Степанович, — для меня этот факт не нов. Увидим. Обследуем. И точка.

Его уже разбирало нетерпение поскорее приехать. Между тем поезд бежал по совершенно прямому, как линейка, полотну, на всех парах приближаясь к Ленинграду. Низкая, болотистая, облитая дождем ровная земля, поросшая не то кустарником, не то мелколесьем, скучно летела назад — чем ближе к полотну, тем быстрее, чем далее, тем медленнее, и где-то очень далеко на горизонте, во мгле, словно и вовсе стояла на месте, чернея обгорелыми пнями. Через каждые шесть секунд мимо окна проплывал прямой и тонкий, темный от дождя телеграфный столб. Штабеля мокрых березовых дров, поворачиваясь углами, быстро проскакивали на полустанках. Тянулись вскопанные огороды, полосы отчуждения и будки стрелочников.

Проводник принес билеты и потребовал за постельные принадлежности. Филипп Степанович распорядился, и Ванечка выдал. Получив, кроме того, трешку на чай, проводник объяснил, что через десять минут будет Ленинград, и поздравил с благополучным прибытием.

Филипп Степанович обстоятельно осмотрел билеты и передал их Ванечке.

— Ванечка, приобщи эти оправдательные документы к делу, — сказал он с той неспешной и солидной деловитостью, с какой обыкновенно относился на службе к подчиненным.

И в его воображении вся эта поездка вдруг представилась как весьма ответственная служебная командировка, имеющая важное государственное значение.

Мимо окон пошли тесовые дачи в шведском стиле, заборы, шлагбаумы, за которыми стояли городские извозчики. Потом мелькнули полуразрушенные кирпичные стены какого-то завода, ржавые котлы, железный лом,

скелет висящей в воздухе водопроводной системы... Потом потянулась длинная тусклая вода. Она все расширялась и расширялась, насквозь продернутая оловянной рябью, пока не превратилась в нечто подобное реке. За нею, за этой водой, сквозь дождевой туман, сквозь белые космы испарений, от одного вида которых делалось холодно и противно, надвигался темный дым большого города. Поезд уже шел среди товарных вагонов и запасных путей. Лучезарные плакаты курортного управления, развешанные между окон в коридоре, вдруг выцвели и покрылись полуобморочной тьмой. Вагон вдвинулся, как лакированная крышка пенала, в вокзал и туго остановился. Вошли ленинградские носильщики.

— Приехали, — сказала Изабелла и перекрестилась. Она подхватила Прохорова под руку и добавила хозяйственным голосом: — Я думаю, котик, мы сейчас поедем прямо в гостиницу «Гигиена»?

Бухгалтер мрачно поглядел на Ванечку, как бы ища спасения, но спасения не нашел.

— Поедем, Ванечка, в гостиницу «Гигиена», что ли?

— Можно в «Гигиену», Филипп Степанович.

Все трое немного потоптались на месте и выбрались из вагона на мокрый перрон.

С грязных ступеней вокзала им открылся первый вид Ленинграда: просторная каменная площадь, окруженная грифельными зданиями, будто бы обтертыми мокрой губкой. Посередине площади, уставив широкий упрямый грифельный лоб на фасад вокзала, точно желая его сдвинуть с места, стояла на пьедестале, расставив ноги, отвратительно толстая лошадь. На лошади тяжело сидел, опустив поводья, большой толстый царь с бородой как у дворника. На цоколе большими белыми буквами были написаны стихи, начинавшиеся так: «Твой сын и твой отец народом казнены». Туша лошади и всадника закрыла боком очень широкую прямую улицу, полную голубого воздуха, пресыщенного мелким дождем. То там, то здесь золотился жидкий отблеск уже зажженных или еще

не погашенных огней. Вокруг площади со скрежетом бежали тщедушные вагоны трамвая, сплошь залепленные билетами и ярлыками объявлений — ни дать ни взять сундуки, совершающие кругосветное путешествие. Просторный незнакомый город угадывался за туманом, обступившим площадь. Он манил и пугал новизной своих не изведанных еще улиц, как-то намекал, подмигивал зеленоватыми огоньками, что, мол, там есть еще где-то и дворцы, и мосты, и река, которые своевременно будут показаны путешественникам.

Филипп Степанович и Ванечка остановились на верхней ступеньке и глубоко вдохнули в себя влажный воздух Ленинграда. Они пощупали тяжелые боковые карманы, переглянулись и почувствовали одновременно и легкость, и жуть, и этакое даже островатое веселье.

— Эх! Чем черт не шутит!

И какие-то очкастые иностранцы в широко скроенных и ладно сшитых коверкотах, приехавшие в международном вагоне со множеством первоклассных чемоданов, не без любопытства наблюдали, усаживаясь в наемный автомобиль, как трое странных русских — двое мужчин и одна дама — безо всякого багажа взгромоздились на необычайного русского извозчика и поехали рысцей прочь от вокзала в туманную перспективу широченной русской улицы.

Экипаж отчаянно трясло по выбитым торцам бывшего Невского проспекта, и Изабелла высоко и тяжело под прыгивала на худосочных коленях бухгалтера и кассира. Ее шляпа реяла под дождем и ныряла, как подбитая чайка.

Ванечка осторожно толкнул Филиппа Степановича плечом и показал глазами на Изабеллину спину, как бы говоря: «Ну?» Филипп Степанович прищурил один глаз, устроил гримасу страшной кислоты и мотнул головой: «Мол, ничего, отделаемся как-нибудь».

А Изабелла прочно подпрыгивала на их коленях и думала: «Мне бы только добраться с вами, голубчики, до «Гигиены», а там уже вы от меня не отвертитесь».

## Глава пятая

Люблю тебя, Петра творенье!

Пушкин

Через три дня после означенных происшествий Филипп Степанович и Ванечка сидели в номере гостиницы «Гигиена» и вяло пили портвейн номер одиннадцать.

— Ну? — спросил Ванечка шепотом.

— Вот тебе и «ну», — ответил Филипп Степанович мрачно, но тоже шепотом.

— Станный какой-то город все-таки, Филипп Степанович: деньги есть, все дешево, а веселиться негде.

— Это смотря как взглянуть на веселье... Однако ж довольно скучно.

— Между прочим, я думаю на днях приобрести себе гитару. Приобрету и буду играть.

— Гитару? — Филипп Степанович задумчиво выпустил из усов дым, зевнул и похлопал ладонью сверху по стакану. — Народную цитру с нотами было бы лучше. Или мандолину. На мандолинах итальянцы играют серенады.

— Можно и мандолину, Филипп Степанович...

На этом месте разговор сам по себе угас. Действительно, было довольно скучно. Надежды на роскошную жизнь пока что оправдывались слабо, хотя уже многие удовольствия были испробованы. Во всяком случае, Изабелла очень старалась. Сейчас же после прибытия в номера «Гигиены» она отлучилась и вернулась с обещанной Ванечке подружкой. Подруга оказалась девицей костлявой, ленивой и чудовищно высокого роста. Называлась она — Муркой. Придя в номер, Мурка сняла кожаную финскую шапочку, поправила перед зеркалом жидкие волосы и, как была, в мокром пальто, села на колени к Филиппу Степановичу.

— Не надо быть таким скучным, — сказала она лениво и положила острый подбородок на бухгалтерову ключицу, — забудьте про свою любовь и давайте лучше веселиться. Подарите мне четыре червонца.

— Ты, Мурка, на моего хахаля не садись! — воскликнула Изабелла, захохотав. — Иди к своему жениху.

Тогда Мурка, не торопясь, встала с колен бухгалтера, сказала: «Я извиняюсь», поймала на стене клопа, убила его тут же указательным пальцем и села на колени к Ванечке.

— Забудьте про свою любовь, — сказала она, — и давайте веселиться. Подарите мне четыре червонца. Ближе к делу.

Ванечку бросило в жар, и он пообещал подарить, а потом все вместе поехали обедать в пивную у Пяти Углов. За обедом выпили. После обеда поехали на извозчиках в кинематограф. Картина не понравилась: белогвардейские офицеры расстреливали коммуниста; партизаны, размахивая шашками, зверски скакали на лошадях, стиснутые клубами красного дыма; один в пиджаке втащивал на крышу пулемет, а в это время кокотка держала в черных губах длинную папироску и нюхала цветы... Кажется, при своих суммах можно было увидеть картину поинтереснее! Потом сели на извозчиков и поехали в другой кинематограф освежиться, но не освежились, так как не поглядели на афишу, и, когда вошли в зал, на синем экране тот же самый в пиджаке волок на чердак пулемет. Однако не ушли, — жаль было денег, — досмотрели до конца и поехали на извозчиках кутить в ресторан. Там знакомые по Москве украинцы в синих шароварах танцевали гопака, на столиках стояли сухие цветы в бумажных лентах, селедка с петрушкой во рту лежала, распластан серебряные щечки среди пестрого гарнира, а дамы требовали то портвейн номер одиннадцать, то апельсин, то паюсной икры — лишь бы подороже — и по очереди отлучались из-за стола, каждый раз прося по два рубля на уборную. Таким образом кутили до самого закрытия, и затем, очень пьяные, поехали на извозчиках продолжать кутеж в знаменитый Владимирский клуб. Во Владимирском клубе, точно, имелись пальмы в зеленых кадках и играли в рулетку. Дым стоял коромыслом, а на эстраде



уже танцевали гопака. Посидели в общей зале, но, так как Ванечка порывался на эстраду и желал исполнять куплеты, пришлось перейти в отдельный кабинет. Безо всякого аппетита ели свиные отбивные котлеты и пили портвейн, херес, пиво — что попало. Когда же от хереса стало гореть в горле, а глаза сделались маринованные, тогда прошли в игорную залу. Стоит ли описывать, как играли? Дело известное. В рулетку везло, в девятку не везло. Женщины страшно волновались, просили на счастье и бегали между столов, красные и злые, спеша сделать ставку и примазаться. Потом в рулетку не везло, а в девятку везло. Потом и в рулетку не везло и в девятку не везло. Это продолжалось до четырех часов утра. Тут же познакомились со многими компанейскими парнями и вместе с этими компанейскими парнями перешли в большой кабинет с фортепьяно; позвали двух куплетистов и выпили уйму водки. От всего дальнейшего у сослуживцев осталось впечатление сумбура и дешевизны; украинской капелле было заплачено, кроме ужина, всего тридцать рублей, куплетистам — пятнадцать да рубль на извозчика, компанейские парни стоили дороже — в среднем по два червонца на брата. А чтобы дамам не было обидно, дали и дамам по червонцу. Белым утром приехали на извозчиках домой в «Гигиену». На другой день встали поздно, пили содовую воду, пиво и без всякого удовольствия ели дорогие груши. Перед обедом заперлись в уборной и подсчитали суммы. Затем поехали на извозчиках обедать и во всем повторили вчерашнее.

Кроме этого, сослуживцы в Ленинграде куда ничего не испробовали, хоть заманчивый город ходил вокруг них да около, подмигивая в тумане огнями неизведанных улиц. Все собирались выбраться как-нибудь вдвоем из-под дамской опеки и досконально обследовать ленинградские приманки — бывших графинь, и бывших княгинь, и шутовской оркестр, и «Бар», и многое другое, о чем достаточно были наслышаны от компанейских парней Владимирского клуба, да не тут-то было! Изабелла хорошенько

прибрала к рукам Филиппа Степановича и крепкогнула свою линию: никуда не пускала мужчин одних. А если сама отлучалась ненадолго из «Гигиены», то оставляла Мурку караулить. Теперь Изабелла была в городе за покупками. В соседнем номере валялась на диванчике Мурка, изредка поглядывая в открытую дверь — на месте ли мужчины, — и равнодушно зевая, вынимала из уха шпилькой серу. По этому самому Филипп Степанович и Ванечка вели беседу шепотом:

— Все-таки, Филипп Степанович, как же насчет того, чтобы обследовать город? — сказал после некоторого молчания Ванечка.

— Обследовать бы не мешало, — ответил Филипп Степанович. — Будем здоровы!

Сослуживцы хлопнули по стакану и закусили грушами «бэр».

— Я думаю, Филипп Степанович, что уж если решили обследовать, то и надо обследовать. К чему зря время проводить с этими дамочками?

— Вы так думаете? — спросил Филипп Степанович и прищурился.

— А то как же! Будет.

— И точка. Едем.

Бухгалтер решительно встал и надел пальто. Тут Мурка неохотно сползла с дивана и сказала в дверь:

— Куда же мы поедем? Подождемте, граждане, Изабеллочку. Она сию минутку вернется.

Филипп Степанович окинул ее поверхностным взглядом.

— Вы, мадам, продолжайте отдыхать на диване. Вам это не касается. Идем, Ванечка.

— Мне это довольно странно, — сказала Мурка и обиделась, — а вам, Ванечка, стыдно так поступать с девушкой.

Ванечка сделал вид, что не слышит, и надел пальтишко. Мурка подошла и взяла его за портфель.

— Я от вас этого не ожидала, Ванечка (кассир молча отстранился). Что ж вы молчите?

Решительно не зная, что предпринять, Мурка сделала попытку зарыдать и упасть в обморок, но, в силу природной лени и полного отсутствия темперамента, у нее это не вышло. Она только успела заломить руки и издать горлом довольно-таки странный звук, как Филипп Степанович вдруг весь заклокотал, выставил желтые клыки и рывкнул:

— Молчать!

Он был страшен. Мурка съежилась и захныкала в нос. Филипп Степанович спрятал клыки и спокойно распорядился:

— Товарищ кассир, выдайте барышне компенсацию.

Ванечка вытащил из кармана четыре червонца, потом подумал, прибавил еще два и дал Мурке.

— Мерси, — сказала Мурка, заткнула бумажки в чулок и лениво пошла лежать на диване.

Сослуживцы с облегчением выбрались из гостиницы, но едва успели пройти десяток шагов по улице, как нос и носу увидели Изабеллу, которая катила на лихаче, в роювой шляпке с крыльями. Вся заваленная покупками, она нетерпеливо колотила извозчика между лопаток ногоньким зеленым зонтиком. Ее ноздри раздувались. По толстому возбужденному лицу текла размытая дождями лиловая пудра. Серьги и щеки били в набат. По-видимому, ее терзали нехорошие предчувствия. Она уже проклинала себя за то, что так долго задержалась в городе. Правда, она успела обделать все свои делишки — положить на книжку четыреста семьдесят рублей, купить шляпку, зонтик, ботики, набрать на платье и заказать у белошвейки два гарнитура с мережкой и лентами, но все-таки было чересчур неосторожно оставить мужчин одних под охраной Мурки. Мужчина — вещь ненадежная, особенно если у него в кармане деньги. Изабелла ужасно беспокоилась. Густой жар валил от лошади.

— А... Изабеллочка!.. — слабо воскликнул Филипп Степанович, льстиво улыбаясь, и уже готов был встретиться глазами с поравнявшейся подругой, как вдруг из-за угла выполз длинный грузовик «Ленинградтексти-

ля», ударил брызгами, шарахнул бензином... Оглушил и разъединил.

— Не увидит, — шепнул Ванечка, — ей-богу, не увидит! Ей-богу, Филипп Степанович, проедет! Прячьтесь!

С этими словами он втащил обмякшего бухгалтера в ближайшую подворотню. И точно — Изабелла проехала мимо, не заметив. Прождав минут пять в подворотне, сослуживцы выбрались из засады и бросились к извозчику.

— Куда прикажете?

— Валяй, братец, пожалуйста, все прямо и прямо, куда хочешь, только поскорей! — задыхаясь, крикнул Филипп Степанович. — Пятерка на чай!

Извозчик живо сообразил, что тут дело нешуточное, привстал на козлах, как на стремянах, дико оглянулся, перетянул вожжами свою кобылку вдоль спины и так пронзительно гикнул, что животное понеслось вскачь со всех своих четырех ног и скакало до тех пор, пока не вынесло седоков из опасных мест.

Нетрудно себе представить, что произошло в номерах «Гигиены», когда Изабелла, явившись туда, обнаружили исчезновение мужчин. Сцена между двумя женщинами была так стремительна, драматична и коротка, изобиловала таким количеством восклицаний, жестов, интонаций, слез, острых положений и проклятий, что изобразить все это в коротких словах — дело совершенно безнадежное.

Между тем сослуживцы трусили по широким пустоватым проспектам, затянутым дождливым туманом, и бесцельно дожидались извозчика.

— Ты, извозчик, вот что, — сказал Филипп Степанович, постепенно приходя в себя и набираясь своего обычного чувства превосходства и строгости, — вези ты нас, извозчик, теперь по самым вашим главным улицам. Мы тут у вас люди новые. Приехали же мы сюда, извозчик, из центра, по командировке, для того, чтобы, значит, обследовать, как у вас тут и что. Понятно?

— Понятно, — ответил извозчик со вздохом и сбоку поглядел на седоков, думая про себя: «Знаем мы вас, об-

следователей, а потом шмыг через проходной двор и до свиданья», но все-таки подтвердил: — Так точно. Понятно.

— Так вот, и вези нас таким образом.

— Овес, эх, нынче дорог стал, барин, — заметил извозчик вскользя.

— Ладно, ты нас вези, главное, показывай достопримечательности, а насчет овса не беспокойся — не обидим.

— Покорно благодарим. Можно и показать, что жа? Только кто чем, ваше здоровье, интересуется... Тут, например, невдалеке есть одно местечко, называется Владимирский клуб, — туда разве свезти? Некоторые господа интересуются. Там, между прочим, пальмы стоят, во Владимирском клубе-то.

— Нет, только, пожалуйста, не туда. Это нам известно. Ты нас вези подальше от Владимирского клуба, куда-нибудь на этакий Невский проспект или туда, где есть мосты. Одним словом, чтобы можно было различные монументы посмотреть.

— Можно, ваше здоровье, и на Невский. Только он у нас теперь, извините, называется Двадцать пятого октября. Что жа. Там и мосты найдутся. Допустим, есть Анничков, где лошади. Если же дальше по Двадцать пятого октября ехать, то аккурат к Гостиному двору приедем. А еще ежели подалее, то и до самой Морской улицы можно доехать, — направо своротить, тут тебе сейчас же и Главный штаб, тут тебе и Зимний дворец, где цари жили, тут тебе и Эрмитаж на Миллионной улице. Тоже места стоящие — это как прикажете.

— Вот ты нас и вези туда, куда хочешь.

— Что жа! Но, милая!

Извозчик расшевелил вожжами кобылку, и перед взорами путешественников пошли-поплыли, раздвигаясь, царственные красоты бывшей столицы. Невский проспект тянулся всей своей незаполнимой шириной и длинной, всеми своими еще не зажженными фонарями, редкими пешеходами, магазинами, трестами, чистильщиками сапог, лоточниками, слабо заканчиваясь где-то

невероятно далеко знаменитой иглой. За оградой Екатерининского сквера мелькнула невозмутимая императрица, высеченная оголенными розгами деревьев, вместе со всеми своими любовниками, до полной черноты и невменяемости. Темные воды Мойки, стиснутые серым гранитом, нещедро отражали горбатый мост и высокие однообразные дома со множеством грифельных окон — дома, словно бы нарисованные и вырезанные из картона. А проспект все тянулся и тянулся, казалось, конца ему никогда не будет.

— Вот она и Морская самая, — сказал извозчик и свернул направо.

В узкой, высокой и кривой улице была тишина.

— А вот энта — арка Главного штаба.

И точно, впереди, соединяя собой два казенных здания, перед сослуживцами неожиданно близко предстала темно-красная арка. Перед нею, сбоку, из стены, на кронштейнах торчали толстые часы. В пролете арки, наполовину заслоненной циферблатом этих часов, виднелась часть опрятной мостовой. Процокав под темными сводами, извозчик выехал на Дворцовую площадь, и тут открылось зрелище необыкновенной красоты и величия. Сплошь вымощенная мелким круглым булыжником, громадная Дворцовая площадь наполовину была окружена подковой здания. На противоположной стороне, занавешенная дождем, виднелась красно-бурая масса Зимнего дворца со множеством статуй на крыше. Ни одного человека не было на площади. А посредине, в самом ее центре, легко и вместе с тем прочно, возвышалась тонкая триумфальная колонна. Она была так высока, что ангел с крестом на ее вершине, казалось, реял на головокружительной высоте в триумфальном воздухе надо всем этим окаменелым беззвучным и пустым миром камня.

— Это тебе, брат, не Владимирский клуб, — сказал Филипп Степанович с таким видом, будто бы все это было делом его рук. — Ну, что ты на это можешь сказать, кассир?

— Что и говорить, здоровая площадь, Филипп Степанович. Царизм!

Извозчик пересек площадь, обогнул трибуну, сколоченную для Октябрьских торжеств, проехал совсем близко под боковыми балкончиками Зимнего дворца и свернул на набережную. Подул порывистый ветер. Желтая вода хлестала в устои моста. Нева была неправдоподобно просторна и сердита.

Обгоняемые темным течением вздутой реки, они поехали по пустынной набережной мимо прекрасных домов и оград. Но уже ни на что не обращал более внимания Филипп Степанович, потрясенный виденным. В его и без того расстроенном воображении безо всякой последовательности возникали картины то никогда не виданных наяву гвардейских парадов, то великосветских балов, то царских приемов, то гусарских попоек. Придворные кареты останавливались у чутунных ротонд воображаемых дворцов, кавалергардские перчатки с раструбами касались касок, осененных литыми орлами, зеркальные сабли царапали ледяной паркет, шпоры съезжались и разскакивались с телефонным звоном, лакеи несли клубящееся шимпанское... и граф Гвидо, занеся ботфорт в стремя вороного скакуна с красными ноздрями, избоченившись, крутился среди всего этого сумбура в шляпе со страусиным пером и розой на груди.

Тем временем извозчик уже давно стоял на Сенатской площади перед статуей императора Петра, и Ванечка, влюбившись на скользкую скалу цоколя, норовил дотянуться крошечной ручкой до потертого брюха вставшей на дыбы лошади, где наискосок было нацарапано мелом: «Мурка-дурка».

Свесив длинные ноги и обратив медные желваки щербитого лица к Неве, увенчанный острыми лаврами, император простирал руку вдаль. Там, вдали, среди обманчивой мглы, мерещились корабельные реи и верфи. Оттуда по беспокойной воде надвигался ранний вечер.

Филипп Степанович тоже взобрался на цоколь, посто-

ял между задними ногами лошади и обстоятельно потрогал ее мятущийся отвердевший хвост.

Затем, так как обоих сослуживцев мучил голод, а Ванечку, кроме голода, еще мучило нетерпение поскорее обследовать не обследованные доселе ленинградские удовольствия и познакомиться с бывшими княгинями, извозчику было приказано: везти куда-нибудь, где можно было бы пообедать и выпить.

Извозчик повез их мимо шафранных близнецов — Правительствующего сената и Правительствующего синода и, огибая Исаакия, тронулся другой дорогой обратно на Невский. Однако знаменитый собор не произвел на торопливых путешественников должного впечатления. И долго еще им вослед глазами, скрытыми в колоннадах, укоризненно смотрел Исаакий, похожий на голову мавра, покрытую угольным золотом византийской шапки.

Через некоторое время сытые и пьяные сослуживцы лихо промчались в тумане по Невскому проспекту, который уже светился огнями, и вошли в знаменитый «Бар», что в доме Европейской гостиницы. А еще спустя час швейцар Европейской гостиницы, пробегая на угол за папиросами, увидел, как из дверей «Бара» вывалилась на улицу куча людей. Впереди бежали двое: один маленький, другой высокий. Позади них, сдерживая растопыренными руками четырех взволнованных девиц, продвигался третий, в широком пальто, с трубкой, рассыпавшей во тьме искры.

— Мужчины, меня! И меня возьмите! — кричали девицы, визжа и тормоша молодого человека с трубкой, который кричал:

— Отстань, Нюрка! Верка, отлипни! Никого не возьмем! Пустите, ну вас всех в болото!

— Возьмите хоть Ляльку! Лялька — баронесса!

— Какая она, к черту, баронесса! Не хватай за реглан!

— Ну, погоди, вредный стерва!

При этих восклицаниях трое мужчин влезли в прокатный автомобиль, более, впрочем, похожий на тюремную колымагу, и захлопнули за собой дверь.



Шофер дал газу, машина выстрелила, из выбитого окошка вытянулась рука и запустила в девиц растрепанный букет хризантем.

— Валяй на Каменноостровский!

Автомобиль тронулся. Из того же окошка выглянула усатая голова и заорала на всю улицу:

— Даешь государя императора! До свидания, милашки! Кланяйтесь знакомым!

И автомобиль уехал.

## Глава шестая

— Значит, высшее общество?

— Определенно.

— Без жульничества?

— Ясно.

— И... государь император?

— Будьте фотогеничны.

— Видал, кассир? Что же ты молчишь? Э, брат, да ты, я вижу, вдребезину.. И в чем дело? И точка...

Тут, проковыляв через некий длинный мост, машина остановилась. Белый свет автомобильных фонарей лег вдоль ограды особняка и повис стеклянным паром.

— Приехали, — объявил молодой человек с трубкой и открыл дверцу.

Филипп Степанович вылез из машины и размял ноги, сказавши:

— Посмотрим, посмотрим. Обследуем.

— И гр...афины? — спросил Ванечка нетвердо, и в развинтившихся его глазах вздвоился и поплыл длиннейший ряд уличных огней.

— Ясно.

— Только чтоб настоящие бывшие, а не л...липовые... Аблимант...

Массивная дверь особняка, возле которой позвонил молодой человек, открылась, и перед сослуживцами предстал седовласый лакей в белых гамашах и красной тюрее с золотыми пуговицами.

— Свои, свои, — поспешно заметил молодой человек. — Входите, граждане, милости просим. А ты, братец, товарищ лакей, беги наверх и доложи там все, как следует быть. Скажешь, что, мол, джентльмены из Москвы и тому подобное. Жив-ва! Прошу вас, господа, антре.

Лакей исчез, а джентльмены из Москвы, подталкиваемые молодым человеком, который делал вокруг них элегантные пируэты, вступили в вестибюль особняка и тут же обалдели, пораженные его невиданным великолепием. Отраженные справа и слева зеркалами, величиной с добрую залу каждое, освещенные множеством электрических канделябров на мраморных подставках, сослуживцы поступили в распоряжение швейцара и, едва разделись, почувствовали себя до того стеснительно, что захихикали, как голые в бане. Под лестницей, за маленьким столиком, аккуратно сложив губки, сидела надменная барышня в вязаной кофте и продавала билеты. Заплатив деньги, Филипп Степанович поправил на носу пенсне, подергал себя за галстук и проговорил не трезво, через нос:

— Ну-с...

— Больше жизни! Больше темперамента, джентльмены! — воскликнул молодой человек, подмигнув продащице билетов, подхватил Ванечку под руку. — За мной, сеньоры, сейчас я вас введу в самый изысканный из всех салонов, какие только имеются в СССР! Вперед и выше!

С этими словами он дружелюбно обнял Филиппа Степановича за талию и потащил вверх по мраморной лестнице, прыгая через две ступеньки и прищелкивая каблучками. Его темно-синяя бархатная толстовка вздувалась колоколом, бегло отражаясь во встречных зеркалах. Артистический галстук клубился и заворачивался вокруг тощей шейки. Полосатые брючки вырабатывали мазурку. Крысиные глаза, чрезвычайно тесно прижатые к большому носу, плутовато, но жестко шныряли по сторонам. Худые щеки отливали синевой бритья. Из трубки стремительно летели искры.

В первой обширной зале, куда они таким образом вбежали, было ярко, но пусто. Лишь в самом дальнем ее углу блистал раскрытый рояль, похожий на фрак. За роялем сидела фигура неразборчивой наружности и одним пальцем печально вытаскивала «Кирпичики», с большой паузой после каждой ноты. Посредине следующей залы, отражаясь вверх ногами в паркете, красовался, опираясь на саблю, голубой корнет. Он щупал пальцами под носом английские усы.

— Полянский, где общество? — спросил его на бегу молодой человек.

Корнет вытянулся и ударил шпорами.

— Общество в гогоубой гостиной, — сказал он, кланяясь, и показал весь свой широко пробритый пробор от лба до самого затылка. — Жогжик, дайте тти губля, я в доску поиггался.

Молодой человек только ручкой отмахнулся.

— Какие там три рубля, когда дело пахнет тысячами.

— Видал? — шепнул Филипп Степанович, щупая Ванечку за бок. — Ну, что ты теперь можешь сказать, кассир?

И хотя кассир решительно ничего не мог сказать, потому что был пьян совершенно, и только невразумительно ухмылялся, Филипп Степанович прибавил:

— А еще в поезде говорил: «Покроем... покроем», а чем тут крыть, когда нечем крыть?

При этом случае бухгалтер почел своим долгом упомянуть старика Саббакина, у которого зять служил в московских гренадерах, но ничего не успел сказать, так как они же минуту они очутились на пороге новой залы — голубой гостиной.

Тот же лакей, только что возвестивший прибытие гостей, посторонился и пропустил их в дверь.

— Леди и джентльмены! — закричал молодой человек своим голосом, делая правой рукой по воздуху росчерк. — Внимание! Разрешите представить вам моих новых друзей, которые приехали из Москвы в Санкт-Петербург.

бург со специальной целью повращаться в высшем свете. Прикажете принять?

Из-за бархатной спины молодого человека сослуживцы заглянули в залу, и в глазах у них окончательно помутилось. Перед ними был высший свет. Вдоль стен, и впрямь обтянутых штофной материей голубого цвета, на шелковых голубых диванчиках и стульях с золотыми ножками сидели в весьма изящных позах дамы и мужчины самой великосветской наружности — генералы в эполетах и разноцветных лентах, сановники в мундирах, окованных литым шитьем, престарелые графини с орлиными носами и йодистыми глазами в черных кружевных наколках, правоведы, адмиралы, кавалергарды, необычайной красоты девушки в бальных платьях... Иные из них курили, иные беседовали между собой, иные обмахивались страусовыми веерами, иные, накинув ногу на ногу и прищурясь, сидели с неподвижной небрежностью, подпирая напوماженную голову рукой в белой перчатке. На столиках были бутылки, пепельницы и цветы. И по среди всего этого великолепия, подернутого жирной позолотой очень яркого электрического освещения, по не померному голубому ковру обюссон задумчиво расхаживал, обнявши за талию лысого старичка во фраке, покойный император Николай Второй.

— Прикажете принять? — еще раз закричал молодой человек, насладившись впечатлением, произведенным на сослуживцев, и пронзительно захохотал. Вслед за тем он вытолкнул Филиппа Степановича и Ванечку вперед. Все лица, сколько их ни было в зале, обратились к ним и, как показалось с пьяных глаз, на разные лады подмигнули.

— Просим, просим! — закричали великосветские люди и захлопали в ладоши.

Император же Николай Второй оставил лысого старичка и, не торопясь, подошел к Филиппу Степановичу. Остановившись от него невядалеке, он отставил вбок ногу, мешковато осунулся, слегка обдернул гимнастерку штитового материала цвета хаки-шанжан, лучисто улы

баясь, потрогал двумя пальцами, сложенными словно бы для присяги, рыжий ус и затем слабеньким голоском произнес, несколько заикаясь, по-кавалерийски:

— Здравствуйте, господа. Очень рад вас видеть.

— Клянусь честью! — воскликнул при этом старичок во фраке и со слезами на глазах забежал по зале, ломая ручки. — Клянусь честью, господа! Это что-то феноменальное! Он! Он! Вылитый он! Именно так — здравствуйте, господа! Очень рад вас видеть — тютельница в тютельница. Не верю своим глазам, не верю своим ушам! Еще раз, умоляю вас, еще раз!

— Извольте... Здравствуйте, господа. Очень рад вас видеть, — точно таким же образом повторил император и вдруг густейшим басом с горчичной хрипотой выпалил, выпучив грозно глаза с красными жилками: — Водки? Пива? Шампанского? Или прямо в девятку? Хо-хо-хо!.. — И покачнулся, рыгнув кислой капустой.

И не успели сослуживцы не то что произнести хотя бы одно слово, но даже сообразить что-нибудь путно, как уже голубой корнет появился перед ними.

— Блестящие штатские. Лейб-гвардии конно-геген-гегского его величества полка когнет князь Гагагин-второй. Обгчество тгебует щедлости и шиготы. Пгикажете испогядиться насчет ужина?

Филипп Степанович с косого глаза посмотрел на голубого корнета, весьма ядовитого, приподнял бровь и надменно сказал в нос:

— И оч-чень приятно. А я граф Гвидо со своим кассиром Ванечкой.

Тут он сделал страшно великосветский жест широко-го радушия и вдруг побагровел.

— И оч-чень приятно! — закричал он фаготом. — Прошу вас, господа! Суаре интим. Шерри-бренди... Месье и мадам... Угощаю всех... Чем бог послал...

Сию же минуту покачнувшийся Филипп Степанович был подхвачен под руки с одной стороны корнетом, а с другой покойным императором и бережно доставлен в соседнюю залу, где находился буфет. Наверху, на хорах,

заиграл струнный оркестр. Престарелый адмирал вытащил из кармана сюртука колоду карт. Великосветские дамы и мужчины гуськом потянулись к буфету, где уже слышались острые поцелуи винных пробок. Молодой человек с трубкой носился по залам, словно бы дирижируя последней фигурой забористой кадрили. Зала опустела, и наконец забытый в общей суматохе Ванечка остался один, не без труда удерживаясь на ногах на самой середине ковра, на том самом месте, где только что прогуливался император. Сконфуженно крутя головой и плотно сжимая под мышкой портфель, Ванечка осоловелыми глазами обвел залу и вдруг увидел девушку, которая сидела вся закутанная в персидскую шаль, положив ногу на ногу, курила папироску и смотрела на него слегка прищуренными черкесскими глазами, как бы говоря: «Вы, кажется, хотели, молодой человек, познакомиться с графиней? Так вот, допустим, я графиня. К вашим услугам. А ну-ка, рискните». У Ванечки осипло в горле. Он подошел, сгорбившись, к девушке, довольно неуклюже шаркнул сапогами и, по-телячьи улыбаясь, высыхающим голосом спросил:

— Вы, я извиняюсь, княгиня?

— С вашего позволения — княжна, — ответила девушка и пустила в кассира струю дыма. — Ну, и что же дальше?

...Тем временем, расправившись, как следует быть, с растяпой Муркой, Изабелла закусил толстые губы и, не теряя понапрасну времени, пустилась в погоню за беглецами. Иная на ее месте, пожалуй, плюнула бы на все и успокоилась: «Пускай другие попользуются молодыми людьми, а с меня и того, что перепало, довольно». Только не такой девушкой была Изабелла, чтобы успокоиться на этом. Жадности она была сверхъестественной и планы обогащения имела самые обширные — тысячи на полторы, а то и на две, если не на все три. Одна мысль, что

шальные денежки могут достаться другой, приводила ее в энергичное бешенство.

Основательно поторговавшись с извозчиком, на что ушло добрых четверть часа, Изабелла грузно уселась в пролетку, решительно подобрала манто и пошла колесить по Ленинграду. В первую голову она, разумеется, объехала наиболее подозрительные вокзалы, разузнала, когда и куда уходят поезда, и, не найдя мужчин ни в буфете, ни возле кассы, успокоилась — значит, не успели уехать. После этого Изабелла предприняла планомерное обследование всех ресторанов и пивных-столовых, где, на ее опытный взгляд, могли загулять сбежавшие мужчины. Этих заведений было немало, но она знала их наперечет по пальцам. Сперва она заехала в кафе «Олимп», где посредине, в стеклянном ящике, всегда выставлен громадный поросенок с фиалками во рту. Там она показала подругам новую шляпку, дала пощупать фильдеперсовые чулки, обругала дуру Мурку, высокомерно намекнула, что живет теперь с одним председателем московского греста и на книжке имеет полторы тысячи. Словом, напустила завистливого тумана, поджала губы, подобрала манто и шумно удалилась. Затем она побывала таким же точно манером в «Низке», в «Вене», в «Шато де Флер» (ибо низве есть в России хоть один городишко, где бы не было «Шато де Флер?»), в «Гурзуфе», в «Дарьяле», в «Континентале», в «Южном полюсе», на всякий случай даже во Владимирском клубе и во множестве прочих учреждений того же характера, пока, наконец, часу в девятом не очутилась в «Баре».

— Ой, опоздала! — воскликнула, хохоча до слез, одна из тутошних девиц, после того как Изабелла, обежав все дгнять дубовых апартаментов американской пивной, тяжело дыша, подсела к столику. — Опоздала, Дунька, опоздала! Что тут было без тебя только что! Умереть можно! Ипляются, представь себе, каких-то двое, пьяные как Зю-и. Их даже пускать сначала не хотели. Одеты довольно ширшиво. Но монеты при них, понимаешь, вот такая пач-

ка и даже больше. И кричат: «Где у вас тут графини и княгини? Хотим, кричат, заниматься с женщинами из высшего общества!» А сами аж со стульев падают, до того пьяные!

— Где ж они теперь? — спросила Изабелла, бледнея, и щеки у нее затряслись. — Куда ж они девались?

— Смотрите, какая быстрая нашлась! А видела, как лягушки прыгают? — быстро и злобно подхватила одна девица в кошачьей горжетке и раза три показала кукиш. — Держи черта за хвост. Их Жоржик повез в машине на Каменноостровский, к царю. Теперь пиши пропало. Пока их там окончательно не разденут — не выпустят. Определенно. У них там целый арапский трест вокруг царя организовался.

— Какой царь? Какой трест? — зашипела Изабелла, багровея. — Что вы мне, девушки, пули льете?

— Ой, глядите, она ничего не знает! С луны ты сорвалась, что ли, или еще с чего-нибудь? У нас тут в Ленинграде такие дела творятся, что подохнуть можно от удивления. Такая пошла мода на кино, что дальше некуда. Всякий день ставят какие-нибудь исторические картины. Представь себе, начали недавно снимать одну картину, называется «Николай Кровавый», где царь участвует, и царица, и вся свита, министры и разные депутаты. И, главное, снимаются не какие-нибудь там артисты, а настоящие бывшие генералы, адмиралы, адъютанты, офицеры. Даже митрополит один и тот снимался, чтоб мне не сойти, тьфу, с этого места! По три рубля в день получали, и которые на лошади, так те — восемь. Пораздавали им ихние всевозможные лейб-гвардейские френчи, галифе, погоны, сабли — нате, надевайте. Потеха. Сначала они, конечно, сильно стеснялись переодеваться. Думали, что как только наденут свои старорежимные формы, так и сейчас же — бац за заднюю часть и в конверт. Но потом, однако, переоделись. Как-никак, все-таки три рубля на земле не валяются. Потом их три дня мучили — снимали как на площади, так и в самом Зимнем дворце. Народу



обралось видимо-невидимо, как на наводнение. Конную милицию вызывали. Даже царя Николая для этого дела выкопали настолько подходящего, что многие бывшие в обморок попадали, как только увидели, — до того, говорят, похож. И, представь себе, кто же? Один простой, обыкновенный булочник с Петербургской стороны. Пьяница и жулик. По фамилии Середа. У него и борода такая, и усы такие же точь-в-точь — словом, вылитый царский полтинник. А тут из Москвы как раз приезжает тот самый главный киноартист, который должен играть Николай Кровавого. Три месяца специально себе бороду отращивал и вот, наконец, является. Тоже, говорят, на Николай похож, только немного толстый. Ну, конечно, привезли их обоих в Зимний дворец, одели в мундиры и начали сравнивать. Позвали специалистов — старых царских лакеев, показали на обоих и спрашивают: «Который царь больше годится?» И что же ты думаешь? Как увидели ладони нашего булочника, так на того, другого, московского киноартиста, и смотреть больше не захотели. «Этот, говорит, этот. Как две капли. А тот чересчур толстый, и нос совершенно не такой!» Так москвич и уехал вместе со своей бородой обратно в Москву. Ужасно, говорят, выражался на вокзале. Бить морду булочнику хотел. Жалко, тебя, Дунька, не было. Мы тут два дня умирали.

— Ну, а дальше, дальше, насчет треста! — воскликнула Изабелла, тревожно поворачиваясь на стуле. — Дальше рассказывай.

— Дальше дело всем известное. Как эти самые генералы адмиралы надели формы — видят, что их никто не трогает, а даже, наоборот, по три рубля в день выплачивают, — так им это дело до того понравилось, что съемка уже три дня кончилась, а они все раздеваться не хотят. И все в одной киностудии на Каменноостровском — никак по домам не разойдутся: ходят в своих френчах, носят сабли, водку пьют. Там вместе с ними и булочник, и некоторые бывшие женщины.

— Ну, а что же за трест?

— Трест очень простой. Жоржика знаешь? Ну, как же, конферансье, известный арап. Он этот трест и устроил. Завел там, в особняке, буфет с напитками, тапера, оркестр, фокстрот, посадил у входа в лавочку кассиршу, сообразил девятку, пульку, чуть ли не рулетку и возит туда дураков-иностранцев — весь царизм показывает им по пятьдесят рублей в долларах с рыла. Тем, конечно, интересно посмотреть, как и что. Еще бы. А там их куют. Как тех лошадей. Вчера из одних немцев двести червонцев, например, выдоили. А сегодня этих двух повезли. Теперь им вата-блин. Пока не разденут, до тех пор не выпустят. Это уж определенный факт.

Не говоря ни слова, Изабелла сорвалась с места и бросилась вон из «Бара». В дверях ее пытался облапить дюжий шведский шкипер в фуражке с золотым дубовым шитьем. Но Изабелла обеими руками уперлась ему в грудь и с таким остервенением толкнула, что удивленный моряк долго бежал задом, приседая и балансируя, пока наконец грузно не уселся на чьи-то совершенно посторонние колени. Тут в его выпученных глазах медленно опрокинулась вся внутренность «Бара» — дубовые стены, цветы, плакаты, кружки, шляпки, раки... Даже раздирающий грохот шумового оркестра и тот, казалось, покачнулся и опрокинулся, высыпавшись на голову всем своим трескучим винегретом — шицульками, трещотками и тарелками.

А Изабелла, прошипев сквозь прикушенные губы на счет нахальных иностранцев, позволяющих себе чересчур много, уже мчалась на извозчике разыскивать арапский трест. Дело было нелегкое, но не прошло и часу, как она, перебудоражив всех дворников, сторожей и управдомов Каменноостровского проспекта, отыскала особняк киностудии и ворвалась в него через незапертую дверь черного хода в тот самый момент, когда кутеж был в самом разгаре. Внутри дома, в отдалении, слышались пыльные голоса, булькала, как кипятилок, жгучая музыка.

Швыряя зонтиком незнакомые двери, Изабелла побжала на этот шум. В полутемном коридоре она споткну

лась об ящик с пустыми бутылками и какой-то треножник — страшно выругалась. Потом заблудилась и попала в кафельную кухню, где в горьком кухмистерском чаду пылал и плакал багровый повар. Затем взбежала по дубовой лестнице вверх, окончательно запуталась, сунулась опять в коридор без дверей и потом снова взбиралась по лестнице, но уже на этот раз узкой и железной, пока, наконец, не очутилась на хорах под лепным расписанным плафоном позади играющего струнного оркестра. Злобно раскидав локтями скрипки и пюпитры, наступая на мозоли и надув белые щеки, Изабелла продралась к перилам, заглянула вниз и сейчас же увидела под собою залу и лысину Филиппа Степановича, который как раз в этот миг с кинжалом в зубах танцевал посередине залы наурскую лезгинку «Молитва Шамиля». Поверх пиджака на нем болтался генеральский мундир, и эполеты хлопали его запянутого по плечам золотыми своими лапами. Совершенно неправдоподобно выворачивая костлявые ноги, бухгалтер потрясал пивной бутылкой, рычал, подмигивал и был страшен. А вокруг него стояли кругом шумные люди из самого высшего общества и пьяно хлопали в ладоши, отбивая такт.

— Я извиняюсь, котик, ты здесь? — закричала Изабелла, свешиваясь в залу, и взмахнула зонтиком. — А я тебя ищу по всему городу! Ах ты, боже мой, посмотри, на кого ты похож! Ах, ах!

Музыка прекратилась.

— Изабеллочка, — пискнул бухгалтер, и кинжал выпал из его зубов, воткнувшись в ковер. Общество шарахнулось. Молодой человек в бархатной толстовке юрко забегал крысиными своими глазами по сторонам. Он чувствовал, что предстоит скандал, связанный со множеством неприятностей. Покойный император вышел, пошатываясь, из буфета с половиной курицы в руке, потрогал ус и тут же подавился. А Изабелла уже пришла в себя и низвергала на головы высшего общества крики, грубые и угловатые, как кирпичи, падающие с постройки.

— Мошенники! Бандиты! — кричала она, багровея сама, как кирпич. — Нету на вас уголовных агентов! Завлекли в свой арапский трест чужого мужчину, напоили и хотите окончательно раздеть? Так нет! Я не посмотрю на вас, что вы здесь все генералы-адмиралы. Я на вас в ГПУ донесу! Прошло то проклятое время царизма! А вы, чертовы графини, тьфу на вас всех! А тебе, котик, довольно стыдно поступать так со знакомой женщиной. — Тут Изабелла всхлипнула и утерла нос каракулевым рукавом. — Я от тебя этого, котик, никак не ожидала! Тем более что нахожусь в положении и на аборт надо минимум восемь червонцев — пускай женщины подтвердят — или же алименты, одно из двух. А вы все будьте свидетелями!

Услышав это, Филипп Степанович, как он ни был пьян, почувствовал такой ужас и тоску, что забегал по залу, как заяц, спотыкаясь о предметы, сослепу не находя дверей. Изабелла же, сообразив, что сражение почти выиграно и главное теперь — быстрота и натиск, не долго думая, перекинулась через перила, обхватила толстыми ногами колонну и съехала вниз, как солдат с призового столба, и, задыхаясь, предстала перед Филиппом Степановичем.

— Изабеллочка! Яниночка! — пролепетал бухгалтер. — Ванечка, где же ты? Друзья! Кассир! Ко мне!

— Собирайся, котик, домой! — ласково прошипела Изабелла. — Собирайся, детка, пока тебя тут окончательно не раздели. Пойдем, дуся, домой из этого притона разврата.

В помраченном сознании Филиппа Степановича на мгновение вспыхнули рябые розы; звериная злоба задвигалась в кадыке; он уже готов был выставить вперед клыки и зарычать, но вдруг вместо этого сел на ковер и печально свесил усы.

— Шерри-бренди, — произнес он, заплетаясь, — будьте любезны... Мадам...

— Поедем, котик, — сказала Изабелла и прочно взяла его за эполеты, — пора баиньки.

Тут общество наконец очнулось. Молодой человек и

толстовке кинулся на помощь к бухгалтеру, делая по воздуху грозные росчерки и требуя уплаты за напитки, оркестр и освещение, но немедленно же был отброшен трескучим ударом зонтика по голове — Изабелла не любила шуток. Голубой корнет бросился на выручку, но как-то запутался в шпорах, споткнулся о собственную саблю, опрокинул столик с бутылками, страшно сконфузился и, таким образом, выбыл из строя. Произошла общая свалка. Седой генерал в подтяжках, прикатившийся из буфета к месту боя спасать раздираемый свой мундир, едва успел уклониться от удара, который всем своим шелковым свистом пришелся по щеке покойного императора, подвернувшегося, на свое несчастье, под горячую руку Изабеллы. Она увидела его, и гнев ее достиг высшего предела.

— А, подлый булочник! Так тебе и надо, император паршивый. Будешь знать, как завлекать чужих мужчин! Я тебе, кровавому тирану, эксплуататору трудящихся, все твои бессовестные глаза выцарапаю и доставлю в отделение. Определенно.

С этими словами Изабелла запустила острый маникюр в его бороду и, шипя от бешенства, выдрала добрую ее треть. Император закричал от боли и вдруг заплакал очень тоненьким голосом в нос:

— Това...рищи! За что же мы боролись, я вас спрашиваю, если у честного беспартийного члена профсоюза последнюю бороду отымают? Я за эту бороду при старом режиме Николая Кровавого подвергался репрессиям... Из-за нее, проклятой, меня царские палачи привлекали в административном порядке за оскорбление его величества. И я собственноручную подписку давал в участке на предмет обязательного бритья бороды. И что же мы видим теперь, товарищи, когда пролетариат торжествует? Есть мне какой-нибудь покой от бороды? Нету мне от бороды никакого покоя! Хотя в административном порядке бриться и не заставляют и даже, наоборот, по три рубля в день за бороду платят, но от нее, проклятой, все мои несчастья и оскорбления. Верите ли, вся моя жизнь загуб-

лена от этой контрреволюционной бороды, чтобы она отсохла. И где же тут свобода, и куда смотрит рабоче-крестьянская инспекция, и почему такое?

И долго еще изливался в подобном же роде огорченный булочник с Петербургской стороны, пока Изабелла, отбиваясь зонтиком от нападавших, волокла Филиппа Степановича за шиворот по анфиладе покоев, полных тревоги, гама и гула.

...А Ванечка, уже вдребезги влюбленный и очарованный, сидел в полутемной зале, в уголке за роялем, и молча пожирал глазами княжну. Он даже немного отрезвел от обожания и оробел еще пуще прежнего. Его челюсти были стиснуты, лоб мокр, он напрягал все силы, чтобы скрыть и задушить в корне непристойное урчание в животе. Он горел, мучился, не знал, как приступить к делу, глупейшим образом ухмылялся и был готов на все. А княжна, скрестив на груди под шалью ручки и вытянув вперед тесно сжатые длинные ноги в нежнейших шелковых чулках и лаковых туфельках, держала в слегка уса-том ротике папироску и шурилась на Ванечку сквозь дым черкесскими многообещающими глазами. Чуть-чуть улыбалась. Даже будто бы подмигивала. В этом жгучем молчании Ванечка промучался добрый час и уже готов был совершить черт знает какие самые дерзкие поступки, как вдруг в соседней зале начался скандал.

Услышав грозные крики Изабеллы и шум потасовки, Ванечка побледнел, а княжна засутилась и, наказав Ванечке сидеть на месте и никуда не уходить, побежала узнать, в чем дело. Ей было достаточно только заглянуть в залу, чтобы совершенно безошибочно определить положение вещей.

Она на цыпочках подбежала к Ванечке, прижалась к нему воздушным плечом, наклонилась, окатила запахом дьявольских духов, пощекотала щеку кончиками волос, положила палец на губки и прошептала:

— Тс... Деньги при вас?

— При мне, — ответил Ванечка таким же шепотом, и

в животе у него вдруг сделалось одновременно жарко и холодно.

— Много?

— Вагон.

— Бежим.

Она схватила его за локоть.

— Тише, не стучите сапогами. Молчите. Тш-ш-ш...

И проворно вывела на лестницу.

## Глава седьмая

Едва Ванечка очутился со своей дамой на извозчике, вдвоем, посередине пустого проспекта, как сейчас же, воровато оглянувшись по сторонам, обнял ее за очень тонкую и твердую талию, опрокинул навзничь и страстно поцеловал в пупырчатое на холоде горло. Тут же он обомлел от дерзости и сварился как рак. Девушка нежно, но довольно настойчиво высвободилась из объятий и закрыла Ванечке рот ладошкой.

— Тс! Только не сейчас. Вы с ума сошли.

— Когда же? — хрипло спросил кассир.

Девушка замерцала таинственными глазами, закуталась в непромокаемое пальто и, прижавшись к распаленному кассиру, потихоньку засмеялась, словно бы пощекотала.

— Будьте паинькой. Тс... «Отдай мне эту ночь, забудь, что завтра день», — пропела она низким голосом. — Хорошо? Только не надо безумствовать на извозчике. Как тебя ловут?

— Ванечка.

— А меня княжна Агабекова, но ты можешь называть меня просто Ирэн.

С этими словами она стиснула холодными пальцами Ванечкину руку, крепко уколола обточенными ноготками и положила голову на его плечо.

— Куда же мы поедем? — жалобно спросил кассир.

— В Европейскую, — жарко шепнула она. — Кучер, в Киропейскую! Сегодня у меня сумасшедшее настроение.

Сегодня я хочу много цветов, музыки и шампанского. Иван, ты любишь ананасы в шампанском? Я ужасно люблю. «От грез Кларета в глазах рубины... И буду тебя я ласкать, обнимать, цело-вать...» Не правда ли? Страшно шикарно!

— Ананасы шикарно, — бестолково проговорил Ванечка, представил себе отдельный кабинет в Европейской и окончательно погиб.

Однако никаких кабинетов в Европейской не оказалось, и Ванечке пришлось вполне прилично сидеть против девушки в зеленоватом зале, похожем на подводное царство, стесняясь и пряча под стол свои до последней степени непристойные сапоги, от которых на весь ресторан разлило мокрой собакой. Все вокруг было чинно и благородно. Несколько немцев в жестких воротничках деловито ели паровую осетрину под грибным соусом. Военный с ромбами одиноко сидел в углу над бутылкой боржома, подобрав солидно выскобленный подбородок и расправляя пальцами знаменитые усы, как бы желая сказать: «Вы, граждане, тут как хотите, а я больше насчет цыганских романсов». Где-то, еще дальше, скрытая выступом эстрады и зеленью, кутила большая компания; туда то и дело официанты в белом подкатывали столики на колесах, уставленные шипящими жаровнями, серебряными мисками, бутылками и фруктами. Оттуда слышались сиплая пальба соды — как из огнетушителя — и пьяный женский смех. Между пустыми столиками, весьма брюзгливо и бережно, чтобы не сделать больно подагрическим ногам, обутом в прюнелевые штиблеты на пуговицах, прохаживался господин средних лет в смокинге и изредка нюхал расставленные по столам цветы с таким видом, будто бы это были не цветы, но вредные грибы.

— Это кто же такой? — спросил Ванечка.

— Метрдотель, — ядовито пшикнула Ирэн, потом сделала ужасные глаза и показала язык трубочкой, — понятно?

— Метрдотель. Понятно, — сказал Ванечка и до того заскучал, что даже отрезвел и попросился, нельзя ли луч-



ше поехать во Владимирский клуб — там и кабинеты и прочее.

Ирэн сказала, чтоб сидел и не приставал, а то ничего не получит, потому что скоро начнется кабаре и будет весело, а потом после кабаре... — и уколола его под столом ноготками. Скоро действительно началось кабаре. Раздвинулся бархатный занавес, аккомпаниатор ударил по клавишам, и на сцену, сбоку и боком, выбежал, потирая ручки и частя прохудившимися локтями, молодой человек чрезвычайной худобы во фраке и пикейной жилетке. () очень быстро мелькая белыми гетрами и закусив невидимые миру удила, молодой человек обежал дважды эстраду, криво улыбнулся и быстро заговорил, раскатываясь на каждом «р», как на роликах: «Товаррищи и грраждане публика, сейчас наша прролетаррская рреспублика перреживает крризис казенного ррррублика... Хотя у нас сейчас так называемый нэп, но темп общественной жизни настолько окрреп, что некоторые кассирры из госучрреждений хапен зи гевезен без всяких утррызений...» При этом худой молодой человек сделал ручкой жест, долженствующий с полной наглядностью показать «хапен зи гевезен» и рассмешить публику, но публика сидела с каменными лицами, и молодой человек, немного еще поболтав оживленно, убежал, мелькая гетрами, за кулисы.

У Ванечки тревожно засосало от этих намеков в животе, и он заскучал еще больше, но Ирэн сидела с папироской в губах, положив голые локти на скатерть, и, упершись худым подбородком в ладони, смотрела из-за цветов на Ванечку, как медуза, прищуренными глазами, обещавшими массу таинственных удовольствий, только надо немного потерпеть. Тут начали подавать небывалый ужин, принесли заграничное вино. Ресторан наполнился народом. Как-то так оказалось, что уже давно играет оркестр. Певица пела баритоном: «Мы никогда друг друга не любили и разошлись, как в море корабли...» Цыганка, похожая на быстро тасующуюся колоду карт, плясала, мелко тряся бубном и плечиками, визжа изредка: «И-их!»

Потом один из немцев тяжело привстал со стула, выпучил глаза и с одышкой запустил в Ирэн моток серпантина. Бумажная лента развернулась через весь зал длинной зеленой полосой, вздулась, повисла в воздухе возле люстры и медленно осела на Ванечкино ухо. Немец отставил зад и вежливо сделал ручкой. Ванечка обиделся, но, когда увидел, что и прочие пускают друг в друга разноцветными лентами, лихо улыбнулся, купил у барышни серпантина на двенадцать рублей и принялся расшвыривать его во все стороны с таким азартом, точно пускал камни по голубям, — пока от лент не зарябило в глазах. Тогда он тяжело опустился на стул, блаженно поерошил измокшую шевелюру, придвинул к себе бутылку и в пять минут так надрался, что Ирэн только ахнула. А уже мир в Ванечкиных глазах загорелся всеми своими радужными цветами. От скуки и тревоги не осталось и тени. Бокалы и бутылки удвоились и ушли по диагонали. Ванечка требовал шампанского и ликеров по карточке. Он пил их, не различая вкуса и крепости, но зато поразительно ясно видел их цвета: желтый — шампанское, зеленый и розовый — ликер, и еще какой-то белый — тоже ликер. Потом он велел принести себе из буфета гаванскую сигару за пять рублей и с пылающей сигарой в зубах долго мыкался, пугая лакеев, где-то по оглушительным коридорам, отыскивая уборную. В вестибюле перед зеркалом за столиком сидела барышня и продавала из стеклянного колеса лотерейные билетки. Ванечка купил их на сорок рублей, выиграл массу предметов и тут же все пожертвовал обратно, а себе оставил только пятнистую лошадь из папье-маше, большую медную ручку от парадной двери и флакон одеколона. Возвратившись в зал, Ванечка увидел, что столики отодвинуты и все танцуют фокстрот. Тот самый немец, что давеча бросал серпантин, теперь, обхватив и прижав к себе Ирэн, шаркал вперед и назад по залу, напирая на девушку животом и неуклюже тыкая в стороны локтями, а она, закинув назад голову, передвигала высокие, открытые до колен, ноги и дышала немцу

прямо в нос папироской. При виде этого у Ванечки от ревности глаза сделались розовые, как у кролика, и бог знает чего бы ни наделал кассир, если бы одна очень толстая и очень пьяная дама из той самой компании, что кутила за выступом эстрады, не перехватила его с хохотом посреди зала. Размахивая вокруг дамы лошадью и дверной ручкой, обливаясь грязным потом и стораая от ужаса, Ванечка сделал несколько скользких движений и, плюнув на все, быстро затопал сапогами на одном месте, выработывая подборами сложные и странные фигуры неведомой русской пляски. «Правильно, жарь по-нашенски!» — раздались вокруг пьяные возгласы. Ванечка завертелся на месте, пошатнулся, оторвался от толстой дамы и, отлетев в сторону, сел на стул за чей-то чужой стол. Потом немцы и та самая компания, которая кутила за эстрадой, соединились с Ванечкой и сдвинули столы. Не своим голосом Ванечка потребовал дюжину шампанского, коньяку и лимонаду, целовался с усатыми людьми... Почему-то давно уже на столе стояли кофе и мороженое. Где-то уже тушили свет. Толстая дама рвала на себе кофточку и кудахтала, как курица, — ей было дурно. Серпантин висел лапшой с погасших люстр и мерцавших карнизов. Музыка уже давно не играла. Занавес был задернут. На ковре в темноте блестела упавшая бутылка. Немец с гипсовым лицом быстро и прямо пошел к двери, но не дошел. Официант подавал счет. И среди всего этого хаоса на Ванечку смотрели, играя, прищуренные дымные глаза девушки. Он схватил ее голую руку. Она была податливой и теплой.

— Плати, и поедем, — сказала девушка и страстным шепотом прибавила: — Не давай на чай больше пятерки.

Ванечка вырвал из наружного кармана, как из сердца, пачку денег и, несмотря на то что был пьян, быстро и ловко отсчитал сумму, прибавил червонец на чай, пробормотал «распишитесь» и пододвинул деньги лакею... И на один миг, вспыхнувший в его сознании, как зеленая конторская лампочка, ему показалось, что ничего не бы-

ло, что все в порядке, что вот он на службе, сидит у себя за столиком и выдает крупную сумму в окошечко по ордеру знакомому артельщику.

— Аблимант, — сказал он машинально, и тут же зеленая лампочка погасла.

Ирэн подхватила его под руку.

— Поедем, — нетерпеливо бормотал Ванечка, бегая вокруг девушки, пока швейцар одевал ее, — куда же мы поедем?

Дождь и ветер хлестнули по ним, едва они вышли на улицу. Тьма была так сильна, что почти ослепила. Ванечка поднял воротник, съежился, стал совсем маленький. У подъезда мокла знакомая машина, более похожая на тюремную колымагу, чем на автомобиль. Ванечка покорно влез в нее, и тут же ему показалось, что он влазит в нее, по крайней мере, в десятый раз за этот день.

— Шофер, на острова! — крикнула Ирэн.

Ванечка запахнул озябшие колени короткими полами пальтишка, — они тотчас разлеались, — дрогнул от холода и обнял девушку за неподатливые плечи.

— Куда это на острова? Поедем лучше спать к тебе.

— Молчи! Господи, до чего чувственное животное! Успеешь. Нет, сегодня у меня сумасшедшее настроение. Шофер, на Елагин остров! Или же я сейчас выпрыгну из машины. А потом мы поедем ко мне... Спать... Понятно?

С этими словами девушка таинственно отшатнулась от кассира и, впившись ладонями в его плечо, страстно продекламировала нараспев:

Вновь оснеженные колонны,  
Елагин мост и два огня, —  
И шепот женщины влюбленной,  
И хруст песка, и храп коня.

— А я думаю, лучше в гостиницу «Гигиена», — жалобно сказал на это Ванечка.

— Молчи, ни одного слова. Чу...

Над бездонным провалом в вечность,  
Задыхаясь, летит рысак...

Тут игрушечная лошадь внезапно рванулась с подушки и улетела вон в окошко. Автомобиль споткнулся, хрустнул и сел набок.

— А, тудыть твою в тридцать два, — проворчал шофер, обошел вокруг остановившейся машины, полез под колеса, вымазался, покрыл матом все на свете и сказал, чтоб вылазили, потому что сломалось заднее колесо и дальше ехать нельзя.

Ванечка вылез из машины, долго с пьяных глаз искал улетевшую лошадь, наконец нашел ее на мостовой в луже. На свежем воздухе его начало разбирать как следует, и все дальнейшие происшествя этой ночи остались в его памяти неладными ключьями пьяного бреда. Ванечка смутно помнил, как шли пешком, а потом ехали на извозчике под дождем через мост, и внизу шумела и дулась слепая вода. Ирэн то прижималась, то отталкивала и говорила странные стихи, а он все время в тоске кричал извозчику, чтоб поворачивал в «Гигиену». Но извозчик не слушался и не отвечал, словно был глухонемой. В каком-то месте видел во тьме мечеть и долго разговаривал с ночным сторожем о турках. До островов по какой-то причине, впрочем, не доехали, повернули назад и часа полтора кружили по неизвестным улицам, пока не остановились возле деревянного домика. Тут девушка, наконец, отпустила извозчика и грубо потребовала деньги вперед. Под фонарем Ванечка нетерпеливо, дрожащими руками отсчитал и выдал очень большую сумму. Тогда девушка заплакала, прижалась, горячо поцеловала в щеку, оттолкнула, сказала: «Фу, Иван, какой ты небритый» — и повела спать в каморку, где горел керосиновый ночник и по стенам ползали черные тараканы, а угол был задернут ситцевым пологом, за которым слышался храп.

— Ради бога, тише, — прошептала девушка, — это спит моя бедная больная мамочка.

— Княжна тоже? — спросил кассир шепотом, садясь на узкую постель, и быстро снял сапоги.

— С вашего позволения, княгиня, — ядовито ответила девушка и понюхала воздух. — Иван, грязное живот-

ное, сию минуту наденьте сапоги. У вас ноги пахнут, как у солдата! Мне дурно!

— Ириночка...

— Никогда! — воскликнула девушка. — Не прикасайтесь ко мне, свинья! Ступайте сначала в баню!

— Какая же теперь может быть баня? — жалобно пролепетал кассир.

— Это меня не касается. Ищите баню где хотите.

С этими словами девушка прыгнула Ванечке на колени и захныкала:

— Господи, за что я такая несчастная, за что я должна переносить все эти моральные страдания? Иван, вы парвеню и пьяный самец! Уходите! Вы хотите, пользуясь своим положением, нахально овладеть благородной девушкой, а потом ее бросить... Иван, ведь ты меня не бросишь?

— Нипочем не брошу, — жалобно сказал кассир.

— Поклянись!

— Ей-богу, не брошу. Женюсь.

— Иван, ты настоящий джентльмен. Мне, право, перед тобой так неудобно... Ты можешь подумать бог знает что обо мне... Иван, клянусь тебе всем святым, клянусь тебе своей больной мамочкой и своим отцом, генерал-адъютантом, что я не профессионалка... Но, Иван, мне нужны деньги, много денег. Ах, я не могу равнодушно видеть, как медленно угасает в этом сыром углу моя мамочка... И папочке надо посылать за границу... Иван, ты теперь мой жених, и я могу быть с тобой откровенна... Мне ужасно тяжело, но, Иван, дай мне сто червонцев, и я твоя.

— Пятьдесят! — хрипло воскликнул Ванечка, хватаясь дрожащими руками за боковой карман, и в глазах у него помутнело.

— Ванечка... Золотко мое, видит бог, — сто. Мы найдем квартиру на Невском... У нас будет такая грушевая спальня... Бай-бай... И буду я противной, злой, твоею маленькой женой.

— Эх, что там! — воскликнул Ванечка, трясаясь от нетерпения, и выдал деньги.

— Мерси, — сказала княжна, отнесла деньги за полог, вернулась и аккуратно уселась возле окошка. — «Индейцы, точно ананасы, и ананасы, как индейцы, — острит креолка, вспоминая об экзотической стране», — промолвила она, зевая, и показала язык трубочкой.

Тут Ванечка окончательно осмелел.

— Пардон. Только без нахальства, — прошипела она и крепко уперлась растопыренной пятерней в его мокрый рот. Очень близко, почти в упор Ванечка увидел ее пожелтевшие от ненависти глаза.

— Ириночка, куколка, — бормотал он, тяжело дыша.

— Успокойте свои нервы и уберите руки.

Девушка рванулась. Они оба потеряли равновесие и с размаху сели на пол, уронив стул. На комод повалилась склянка. Тут храп за ситцевым пологом прекратился, из-за занавески вышел сонный детина в подштанниках и, сказавши негромким басом: «Вы, кажется, гражданин, позволили себе скандалить?» — взял Ванечку железной рукой за шиворот, вынес, как котенка, на улицу и посадил его перед домом на тумбу. Затем, неторопливо волоча гесемки исподних и пожимаясь от утреннего холода, возвратился в дом и запер за собой дверь на крюк. Через минуту из открывшейся форточкой вылетела лошадь, и форточка захлопнулась. Ванечка чуть даже не заплакал от обиды и злости. Хотелось стучать ногами и кулаками в дверь, созвать народ, побить стекла, устроить скандал на всю улицу, составить в милиции протокол и судиться, судиться... Но куда там! От одной мысли о милиции его прошиб теплый пот и ослабло в коленках. Ванечка подобрал лошадь и пошел наугад по улице. Уже рассвело, и дождливый утренний свет в воспаленных Ванечкиных глазах был резок и бел до синевы. Долго слонялся Ванечка по обширным и прямым проспектам, совершенно похожим один на другой. Уже в отдалении где-то прогудели фабричные гудки. Проскрежетал первый трамвай, переполненный рабочими. Мастерские с инструментами за спи-

ной появились из-за угла, и один из них, с пилой, закричал Ванечке: «Эй, кислый барин, чего пешком прешь, сел бы верхом на своего рысака», — и подмигнул на лошадку. Неизвестно по какой причине, но Ванечке стало вдруг непередаваемо стыдно. Он свернул в переулок, очутился на набережной и пошел по пустынному мосту через Неву. Дойдя до половины реки, он остановился и плюнул в воду. Во рту было кисло-сладко. По левую руку, на далеком туманном берегу, низко синела длинная крепость, а по правую Ванечка узнал Зимний дворец, Адмиралтейство, особняки и ограды — те самые, которые он видел днем, но с другого боку. Ванечка огляделся по сторонам — нет ли кого поблизости, увидел, что мост пуст на всем своем очень большом протяжении, злобно искривил губы и нудно закричал изо всей мочи на ветер:

— Уу-у-уу, императоры! Цари! Аристократы паршивые! Жулики! Ворюги! Хитрованцы!.. Пьяные самцы и парвеню!

Но голос его едва ли достигал берегов, сорванный по дороге сердитым ветром, бьющимся с сердитой водой Невы. И долго еще кричал Ванечка в этом же роде надрывным нутряным голосом, покуда не охрип. Потом через Дворцовую площадь он вышел на Невский проспект, по которому уже бежали советские служащие на службу. В убийственном, изъязвленном раковинками уличном зеркале Ванечка вдруг увидел себя: маленький, куцый, небритый, грязный, лицо зеленое, глаза красные, под мышкой портфель и раскисшая лошадь, — словом, парвеню и самец. Увидел, ужаснулся и в первый раз понял, что с ним происходит нечто совершенно ни на что не похожее, невероятное и невозможное. Все люди как люди — идут с поднятыми воротниками и портфелями, торопятся, выбритые, на ногах калоши. А он один в зеркале, как чучело. Свинья свиньей. В баню не сходил ни разу, не побрился, калош не купил. А ноги до того пропотели в сапогах, что прилипают к стелькам и так воняют, что людей совестно. И такое отчаяние охватило Ванечку, и так поскорее захотелось все устроить: побриться, помыться, ку-



пить пальто и калоши, недорогую гитару, подходящий костюмчик в полоску, что он тут же сунулся в ближайший магазин, но наткнулся на замок и решетку. Сунулся в другой, третий, в парикмахерскую — напрасно. Всюду были, как в тюрьме или в зоологическом саду, решетки и замки. Еще не отпирали. Тогда Ванечка почувствовал страшную усталость, дурноту и слабость. Еле передвигая словно бы опухшими ногами, он доплелся до извозчика, махнул рукой и велел везти себя в «Гигиену».

## Глава восьмая

Часов в одиннадцать того же утра к швейцарской конторке гостиницы «Гигиена» подошел человек наружности необычайной. Впрочем, с первого взгляда трудно было определить, в чем заключается его необычайность. Как будто бы все было в полном порядке у этого человека, начиная от аккуратно начищенных, не слишком модных штиблет и кончая пухлой суконной кепкой, из числа тех, какие носят друзья беговых наездников или же молодые люди, посещающие кинематографы. Пальто широкое, пухлое, с японскими рукавами и поясом. Походка солидная. Затылок розовый и короткий. Сложение под стать затылку — толстенькое. Словом, человек вполне приличный, если бы не странное повизгивание, сопровождавшее каждый его слегка прихрамывающий шаг, да не кисть левой руки, неправдоподобно торчащая из рукава не то как клешня, не то как машинка для стрижки волос. Говоря короче, присмотревшись, можно было заметить, что одна рука и одна нога у него были искусственные.

Положив на прилавок обстоятельный пухлый портфель крокодиловой кожи, человек поздоровался за руку со швейцаром и спросил:

— Нет ли чего-нибудь новенького?

— Как же, есть, — с готовностью ответил швейцар, — третьего дня в шестнадцатый номер двое московских растратчиков въехали. Конечно, не очень шикарные, а так себе, середнячки — тысячи по четыре на брата, не

больше. Женщину себе по дороге завели, во Владимирский клуб ездят, все честь по чести.

— Так-так, понимаю, — глубокомысленно сказал посетитель, — ага! — и высоко поднял короткую бровь.

Затем он, не торопясь, расстегнул пальто, открыл его, как несгораемый шкаф, и, вытащив золотой портсигар, угостил швейцара толстой кремовой папиросой.

— Курите. Отлично. Так. Хорошо. Теперь вот что, дорогой мой, не можете ли вы мне сказать... — Он впал в задумчивость и потом встрепенулся: — Значит, вы говорите, третьего дня в шестнадцатый номер? Ага? Так-так. Значит, вы говорите, из Москвы?

— Из Москвы-с.

— Ага! Это меня вполне устраивает. Определенно. Гм. С женщиной? Еще что?

Тут швейцар оглянулся по сторонам и, так как по лестнице в это время спускался постоялец, шепотом принялся рассказывать все, что знал и даже чего не знал про жильцов шестнадцатого номера. Человек с искусственными конечностями глубокомысленно и вместе с тем несколько рассеянно слушал тщательную болтовню швейцара, изредка кивая головой и отрывисто произнося: «Так-так, отлично» и «ага». Причем при каждом «ага» значительно подымал бровь, словно бы пытаясь ею поставить восклицательный знак. Узнавши от швейцара все, что ему было нужно, он кивнул головой, сгреб под мышку портфель и, неторопливо повизгивая винтами фальшивых суставов, слегка боком взобрался по лестнице, отыскал шестнадцатый номер, повернулся в профиль, сделал бровью «ага» и отрывисто дважды стукнул в дверь.

В шестнадцатом номере между тем с самого раннего утра пахло скандалом. Растерзанный Филипп Степанович, привезенный Изабеллой с Каменного острова в состоянии невменяемом, едва добрался до постели, тотчас же заснул, как был — в пальто и пенсне, но спал недолго и, едва рассвело, проснулся дикий и желтый, весь в пуху. Изабелла же не ложилась вовсе и сдержанно бушевала.

нетерпеливо дожидаясь его пробуждения, чтобы выяснить отношения.

Поводов для скандала было масса. Во-первых, бегство. Во-вторых, распутное поведение в особняке, стоившее уйму денег, так как заплатить все-таки пришлось за все. В-третьих, исчезновение Ванечки с немалой суммой денег. И многое другое. Едва Филипп Степанович открыл опухшие глаза и мыча попросил пить, как Изабелла быстро подобрала сак, уперлась кулаками в бока и чрезмерно высоким, плаксивым голосом воскликнула:

— Что же это такое, котик? И тебе не совестно так поступать с женщиной?

Сделав это предисловие, она круто повернула голос до самых низов и пошла, постепенно его повышая, честить и честить окаменевшего от тоски бухгалтера, по всем правилам семейного скандала. «Ты, мол, и такой, ты и разэтакий, и за какие такие грехи я, несчастная, связалась с тобой, алкоголиком, где только были мои глаза, — и где это ты, старый свинья, вывалялся — вся спина белая», — и прочее. Она выходила из себя, ломая руки, требовала на аборт, топала ботами, божилась, что сию минуту побежит в уголовный розыск и донесет, а Филипп Степанович, тяжело дыша, в тупом ужасе сидел на постели, искоса поглядывая в окно, где блестела красная крыша, по ребру которой шла под дождем грязно-белая кошка со скуластым лицом и глазами, синими, как у прачки.

Тут застенчиво вошел Ванечка с облинявшей лошадью под мышкой и, ни на кого не глядя, стал раздеваться.

— Вот, господа, полюбуйтесь, еще один пижон, — закричала Изабелла, — хороший друг, нечего сказать! Можете с ним поцеловаться, все равно — пара пятак. А вам, Ванечка, должно быть очень стыдно так поступать со своим товарищем — завести его в притон, а потом бросить на произвол бандитов! Фи, я от вас этого не ожидала, интересно знать, где вы провожали ночь? Судя по лошадке, я догадываюсь, что в Европейской, где за все дерут в четыре раза и антрекот-метрлотель стоит три пятьдесят. Интересно, сколько же вы подарили девушке?

Ванечка молча повесил пальтишко на гвоздик, на цыпочках подошел к дивану, сел и понурился. Филипп Степанович закурил из разломанной коробки дорогую, но неприятную папиросу, поморщился, затем не без труда навел на лицо достойное выражение и украдкой подмигнул Ванечке — может быть, мол, как-нибудь, со временем отделаемся от бабы. Но из подмигиванья ничего не получилось — одна жалость. Потом Изабелла сделала передышку — послала номерного за портвейном и содовой водой и стала отпаивать мужчин.

Тут-то раздался стук в дверь, и тотчас вслед за стуком в номер вошел упомянутый нами человек с пухлым портфелем под мышкой. Строго улыбаясь, он неторопливо осмотрел по очереди все, что было в комнате, людей и мебель, пощупал глазами стены и потолок с таким обстоятельным видом, точно желая все это арендовать или даже купить в собственность, произнес несколько раз многозначительно свое «ага» и «так-так» и, наконец, любезно, но как-то вскользь отнесся к Филиппу Степановичу, даже не столько к нему, сколько к содовой воде и портвейну на столике:

— Простите, что я прервал вашу дружескую беседу, но не вы ли будете гражданин Прохоров?

— Я-с, — ответил Филипп Степанович, вставая с постели, и неловкими руками застегнул пальто на две пуговицы.

— Ага. Я так и знал. Очень приятно с вами познакомиться. А этот гражданин в таком случае, вероятно, ваш друг, Клюквин?

— Я, — слабо ахнул Ванечка, как на перекличке в тюрьме.

— Ага. Так это, значит, вы, так-так, а эта гражданка...

— За меня, пожалуйста, не беспокойтесь и не имейте в виду, — запальчиво закричала Изабелла, покрываясь огнедышащим румянцем, и быстро надела розовую шляпку с крыльями, — поскольку я имею полное право заходить днем на пять минут в гости к знакомым мужчинам. А в ихние мужские дела я не мешаюсь! И прошу меня не задерживать, мне еще надо заехать к портнихе.

— Гражданка, не волнуйтесь. Все в свое время. С вами я поговорю отдельно.

— Как это может быть — не волнуйтесь? Мне это очень странно слышать от интеллигентного человека, как вы! Наконец, может быть, мне надо пройти в уборную, до ветру! Наконец, я не могу больше держаться! Безобразие какое, выпустите меня!

Изабелла пошла густыми пятнами. Она побегала по номеру, подымая довольно сильный ветер, и вдруг, захватив новый зеленый зонтик, опрометью ринулась к двери и исчезла в ней внезапно, как будто бы взорвалась.

— Ужасно нервная женщина, не правда ли? — любезно отнесся посетитель к Филиппу Степановичу и уселся на стул. — Однако не будем отклоняться. Итак, значит, я не ошибся: вы — гражданин Прохоров, а вы — гражданин Клюквин?

— Да, — хором сказали Филипп Степанович и Ванечка, побледнев.

— Ага. Тем приятнее. Отчего же вы стоите, граждане? Садитесь, не стесняйтесь.

Они послушно сели.

— У меня есть к вам одно совсем небольшое официальное дельце. Впрочем, не буду вас задерживать.

— Виноват, товарищ, — вдруг проговорил Филипп Степанович высокомерно в нос, — ви-но-ват-с, я, как представитель центрального учреждения... То есть мы, как исследователи условий... будучи в некотором роде... Собственно, с кем имею честь?

— Сейчас вы это увидите, — с ядовитой учтивостью сказал посетитель альтом и разложил на столе портфель. Визжа винтами протеза, он, не торопясь, его отомкнул, пошарил и вынул бумагу.

— Потрудитесь прочесть, тут указано все.

Филипп Степанович развернул бумагу, долго искал по столу пенсне, опрокинул неверным рукавом стакан и, наконец, запинаясь, проговорил:

— Курить... вы мне разрешите... я надеюсь?..

— О, бога ради, ради бога! — воскликнул посетитель,

распахивая портсигар. — Прошу вас, курите, гражданин Прохоров. А вы, кажется, гражданин Клюквин, не курите вовсе? Я так и знал.

С этими словами он предупредительно поднес Филиппу Степановичу горящую спичку, затем аккуратно задул ее, долго искал пепельницу, но не нашел и засунул обратно в коробочку. Филипп Степанович несколько раз быстро затянулся, не без труда насадил пенсне на скользкий от пота нос и лишь тогда прочел бумагу, в которой, помимо обширного штампа, печати и нескольких подписей, стояло следующее: «Удостоверение. Дано сие т. Кашкадамову Б. К. в том, что он является разъездным агентом и уполномоченным по распространению изданий Цекомпома. Просьба ко всем лицам и учреждениям оказывать т. Кашкадамову всемерную поддержку и содействие».

— Ясно. Все в порядке, — сказал уполномоченный Цекомпома, быстро вынимая из портфеля две открытки и брошюру в цветной обертке. — Я надеюсь, что теперь мы с вами быстро договоримся. Конечно, вам не надо разъяснять цели и задачи нашего учреждения. Ближе к делу. Два комплекта наших изданий, состоящих из художественного изображения, художественного портрета известного композитора Монюшко и популярной сельскохозяйственной брошюры в стихах с картинками о разведении свиней — по тысяче экземпляров в каждом комплекте. Комплект двести рублей. Берете или не берете? Обратите внимание на бумагу и печать. Первоклассное исполнение. Может служить украшением любого учреждения и частной квартиры. Посмотрите, например, как сделан композитор Монюшко. Редкое сходство, живой человек, возьмите в руки.

Филипп Степанович взял открытку в руки и полюбовался: действительно, композитор был как живой.

— Берете?

— Ванечка, а? Как ты думаешь? — спросил порозовевший Филипп Степанович густым голосом и бодро посмотрел на кассира.

— Можно взять, Филипп Степанович, отчего же? —

сказал Ванечка, все еще не веря, что дело оборотилось таким приятным образом.

— Прекрасно. Пишу расписку на два комплекта. Итого четыреста рублей.

Уполномоченный в мгновение ока вывинтил автоматическую ручку и выписал квитанцию.

— Разрешите получить?

— Ванечка, выдай, — распорядился Филипп Степанович, — а квитанцию подшей.

— Аблимант, — сказал кассир и выдал, но, выдавая, подсчитал на глаз оставшуюся сумму, поморщился и погладил себя по макушке.

— А я ведь, знаете ли, — сказал, разглаживая усы, Филипп Степанович, после того как все формальности были выполнены, — принял вас было совсем за другое лицо. Такой, представьте себе, официальный вид.

— Ага, — сказал уполномоченный многозначительно, — понимаю. Надеюсь, вы не обижены покупкой? Я извиняюсь, конечно, что так напугал вашу даму. Куда, кстати, прикажете доставить комплекты?

— Гм... Ванечка, как твое мнение? Впрочем, доставляйте куда хотите. Нам не к спеху. А вы знаете, вышло совсем даже недурно, что она того...

— Будьте уверены, — с почтительным ударением сказал уполномоченный, — понимаю.

— Может быть, они выпьют с нами портвейн номер одиннадцать? — спросил Ванечка, которому стало жалко, что такой исключительно приятный человек может уйти не обласканным.

— Это мысль! — воскликнул Филипп Степанович. — Товарищ уполномоченный, рюмку вина? — и сделал жест широкого гостеприимства.

Уполномоченный от портвейна не отказался, но заметил, что лично он предпочитает шато-икем марки «Конкордия» — оно и легче, и голова после не болит, и на шампанское похоже, — словом, безусловно отличное вино.

— Это мысль, — сказал Филипп Степанович и, рассказав, что у старика Саббакина тоже, помнится ему, по-

давалось к столу шато-икем, послал номерного за шато-икемом и закусками.

За вином разболтались, и уполномоченный Цекомпома оказался хотя и плутом, но парнем замечательно компанейским и необыкновенным рассказчиком, а рассказывал он такие интересные истории, что тебе и куплетиста никакого не надо. После пятой стопки, лихо сдвинув на затылок кепку и устроив на толстеньких, бархатных, как у хомяка, щечках ямочки, уполномоченный положил на стол фальшивую руку, скрипнул ею и сказал:

— Скажу определенно: нет приятнее людей, чем в провинции. Вообще провинция — это золотое дно, Клондайк. Столица по сравнению с ней — дым. Да. Подъезжаешь, например, на какой-нибудь такой дореволюционной бричке к уездному центру и определенно чувствуешь себя не то Чичиковым, не то Хлестаковым, не то, извиняюсь, представителем РКИ. «А скажи, братец ямщик, какой у вас тут уисполком — одноэтажный или двухэтажный?» Если одноэтажный — дело дрянь, хоть поворачивай обратно, если же двухэтажный, — ага! — тут совсем другой табак. «А скажи ты мне, братец ямщик, кто у вас председатель уисполкома, и какой он наружности, и чем он дышит, и нет ли в городе каких-нибудь таких синдикатов или же кустпромов?» Если председатель худой и с большим партийным стажем — хуже, если же толстый, с одышкой, — ага! — очень приятно, дело в шляпе. Тем более если имеется еще и кустпром, — так-так! — тогда совсем великолепно. Ну-с, пока мохнатые лошадки вытаскивают из грязи копыта и теряют подковы, мочатся посреди большака, пока пропускаешь мимо обоз с какой-нибудь кислой кожей, пока то да се — ан все подробности на ладони. А еще покуда два часа тащишься по главной улице до уисполкома — план действия готов. Определенно. Видите, какое отличное винишко! Ваше здоровье.

Уполномоченный чокнулся с сослуживцами, отпил вина и продолжал:

— С худым председателем дело иметь трудно. Упор-



ный народ. На него действовать надо с налету — входить прямо без всякого доклада в кабинет и, с места в карьер, бац портфелем по столу. «Одно из двух — берете три комплекта изданий Цекомпома или не берете? Короче. Мне некогда, товарищ. У меня в четверг, товарищ, доклад в Москве, в Малом Совнаркоме. Ну?» Тут может быть два случая — или же сразу покупает, или же начинает стучать ногами. Покупает — ага! — хорошо. Начинает стучать ногами — еще лучше, до свидания, и поворачивай оглобли. Нет, что и говорить, с толстым председателем куда легче. Особенно летом или же если в кабинете хорошо натоплено. Тут дело наверняка. Толстого берешь измором. Входишь, кладешь на стол портфель, подмигиваешь, сверлишь глазами, замечаешь вскользь, что специально приехал по официальной командировке, а между тем о себе молчок. Пускай толстяк потеет. Помучаешь его часа полтора, вгонишь в полнейшую слабость и уныние, тогда из него хоть веревки вей. Верите ли, когда после всяческих дурных предчувствий, сомнений и угрызений оказывается, что от него требуется всего-навсего купить четыре комплекта, толстяк от радости не знает, что ему делать. Он суетится, сам бежит в бухгалтерию, в кассу, проводит по книгам все, что угодно, лишь бы поскорее отделаться. Тут и композитору Монюшко, как родному отцу, обрадуешься! Очень хорошо. Ага! Дело в шляпе.

Он выпустил в потолок густую струю дыма, подождал, пока он рассеется, и приветливо улыбнулся сослуживцам, как бы желая сказать: «Вот ведь, мол, какие дураки бывают на свете, а мы с вами небось умные». Филиппу Степановичу и Ванечке сразу стало весело и приятно, а уполномоченный притушил папироску о пробку, налил себе вина и продолжал мечтательно:

— Ну, конечно, бывает и такой толстяк, что самого себя в ящик загонит, а комплектов так и не купит. И наоборот. Попался мне, например, на Украине один председатель, худой, как собака. И городок тоже, знаете, паршивенький. Уисполком одноэтажный. А напротив стоит козел и кушает афишу с забора. Ну, думаю, дело совсем

дрянь, однако вхожу в кабинет. «Так и так. Председатель Цекомпома. Из центра». — «Очень приятно. В чем дело?» Объяснил ему все обстоятельно и спрашиваю: «Одно из двух — покупаете или не покупаете?» И что же вы думаете? Встает мой председатель, представьте, со своего места и вдруг расплывается в блаженнейшую улыбку — даже порозовел, шельма, от счастья и заговорил по-украински. «Це нам треба, кричит, мы вас жаждем!» Что такое, думаю? Но раз вы нас жаждете — ага, все в порядке. «Это будет вам стоить, — говорю, — четыреста рублей за два комплекта. Устраивает вас?» — «Четыреста карбованцев!» — воскликнул председатель и почухал потылицу. «А где их, чертова батьки, узять? Гм...» И задумался. Ну, раз такое дело, думаю, — отлично. «Тащите сюда, — говорю, — смету, сейчас мы все это устроим». И что же вы, товарищи, думаете? Действительно, притаскивает мой идеалист-председатель смету местного бюджета. Хорошо. Разворачиваю — мрак. Ни черта не выкроишь. По Наркомпросу, сами понимаете. Учителей обижать как-то довольно неудобно. По Наркомздраву то же самое. Содержание больниц и прочее. Согласитесь, неловко. То, се, пожарная охрана, милиция, соцобес, — одним словом, неоткуда выжать монету. А мой бедный идеалист, вижу, стоит и чуть не плачет — до того ему хочется купить комплекты. Честное слово, первый раз в моей практике! Печально, печально. Вдруг — бац! — что такое? Читаю пункт десятый: «На починку шляхив и мостив — триста пятьдесят один рубль шестьдесят копеек». Ага! Так-так! Что и требовалось доказать. «Выписывайте, — говорю, — дядя, по пункту десятому триста пятьдесят карбованцев. Делаю вам скидку пятьдесят, а мосты подождут. Правильно?» — «Правильно, — говорит, как эхо, — мосты подождут», — у самого же от блаженства рот до ушей и вокруг носа по ползли веснушки такие большие, как клопы. Уж не знаю, как они теперь там без мостив и шляхив выкручиваются. Мое дело маленькое — деньги в портфель, и до свидания.

Немножко помолчали. Посмеялись.

— Да. Нет людей приятнее, чем уездные председате-

ли. А жизнь какая в провинции, а девицы! А развлечения! Нет, по сравнению с провинцией столица — дым. Определенно. Что такое в столице человек, у которого в кармане сто рублей? Или даже тысяча? Ничего. Нуль. Зерно. Песчинка. Моллюск. Зато в провинции, если у вас копитися в портфеле лишних пять червей, вы богач, герой, завидный жених, уважаемый хахаль, влиятельное лицо, черт знает кто, все, что хотите! Удивляюсь вам, товарищи, чего вы здесь киснете, в этой паршивой «Гигиене». При ваших да денежках да куда-нибудь в матушку-провинцию — это же сплошная красота! Да вас бы там туземцы на руках носили! Да вы бы там совершенно определенно светскими львами были! Да там первый ряд в кинематографе тридцать копеек стоит, а обед из трех блюд в ресторане полтинник! А дом, клянусь памятью матери, за восемьсот рублей купить можно вместе со всеми угодами, да еще в придачу взять вдову-хозяйку, у которой припрятано в сундуке тысячи полторы.

Филипп Степанович подмигнул Ванечке, и они оба захохотали.

— Ваше здоровье. Лично я только в провинции и живу полной жизнью. Подмолочу немного денюжат и недельки две купаюсь в уездном блаженстве, пока в пух не проиграюсь. И вам советую. А? Могу вам порекомендовать замечательнейший городишко — Укрмутск. Красивая река, девчонки, большой железнодорожный клуб с опереткой. Одним словом, не о чем говорить. Эх!

Тут уполномоченный шлепнул по столу портфелем и, швыряв винтами, привстал со стула.

— Короче: едем или не едем? — спросил он в упор.

— Едем, и очень даже просто! — закричал Ванечка в восторге и тут же перелил стакан на добрых два пальца.

— Что ж, — заметил Филипп Степанович сквозь мечтательный дым, — я не возражаю. Уж если обследовать, так обследовать.

— Ага! В таком случае едем. Сейчас — два. Поезд в чегыре. Пока то да се. Билеты. Пообедаем на вокзале. Вещей, конечно, нет? Зовите номерного.

Новые горизонты раскрылись перед сослуживцами. Они уплатили по чрезмерно раздутому счету и сразу почувствовали себя легкими необыкновенно.

— Дашь Укрмутск! — закричал Ванечка, выходя, пошатываясь, на улицу с портфелем и лошадью под мышкой. И слово «Укрмутск» — нудное и мутное, как будто бы нарочно сочиненное с перепою тяжелым негодяем, которого в детстве наказывали ремнем, — оно вдруг показалось Ванечке сделанным из солнца.

Ленинград был начисто поглощен густейшим, удушливым и вместе с тем холодным туманом. Будто никакого города на самом деле никогда не существовало. Будто он померещился с пьяных глаз со всеми своими дьявольскими приманками и красотами и навеки пропал из глаз. Отдаленно отраженные фонари набухали слабой радужой тумана и гибели. Потерявшие очертания пешеходы неопределенно намекали о своем существовании скрипом и плеском. Все было туманно и неопределенно за спиной извозчика, и только из окна тронувшегося вагона Филиппу Степановичу показалось, что он увидел Изабеллу, которая бежала по перрону за поездом, подобрав мантию, и кричала, размахивая зонтиком: «Котик, котик! Плати алименты, котик! Куда же ты едешь, котик?»

Но и это, как и все вокруг, было туманно и недостоверно.

### Глава девятая

Поезд медленно тащился от станции к станции. Так же медленно тащилась и ночь навстречу поезду, насквозь проходя дребезжащие вагоны шагами хлопающих дверей, головастыми тенями, взволнованным пламенем свечей, оплывающих в стрекочущих фонарях. Ванечка стоял в тамбуре жесткого вагона и, напирая ладонью на низкую ручку двери, во все глаза смотрел в облитое дождем стекло. От долгого стояния на одном месте колени у

него болели, ныла спина, сосал голод, но главное — невозможно было заснуть: в вагоне шла шумная карточная игра. Едва поезд тронулся от Ленинграда, как уполномоченный вытащил из портфеля новенькую колоду, устроил на щечках ямки и подмигнул соседям — не угодно ли, мол, для препровождения времени по маленькой. И пошла бестолковая вагонная игра в девятку, сперва действительно по маленькой, потом побольше, а к ночи до того все разыгрались, что какие-то два железнодорожных агента, долгое время вполголоса совещающиеся на верхней полке насчет двухсот пудов вымоченной дождем шерсти, спустились вниз и уже раза два, пунцовые и мокрые, отходили в сторонку развязывать штаны, где у них где-то внутри помещались казенные деньги.

Филипп Степанович совсем разошелся — нос у него порозовел, с носа валилось пенсне, карты и червонцы просаливались в потных руках. А уполномоченный совершенно преобразился и принял теперь вид жестокий и неумолимый, как будто бы держал всех за горло своей механической клешней и говорил каждому: «Теперь, брат, не вывернешься, шалишь, не на такого напал!» Все немногочисленное население вагона столпилось вокруг играющих. Проводник и тот, получив пятерку на чай, не только не чинил препятствий, но, напротив, всячески готов был услужить — доставал пиво и свечи, предупреждал о приближении контроля. Несколько раз Ванечка в тоске подсаживался к Филиппу Степановичу и тянул его за рукав, шептал:

— Будет, Филипп Степанович, попомните мое слово, проиграетесь; ей-богу, не доверяйтесь ему, не глядите, что он уполномоченный.

Но Филипп Степанович только сердито отмахивался:

— Бубнишь под руку, и карта не идет, уходи.

Ванечка, зевая, снова шел в холодный тамбур смотреть в стекло. Ненастная ночь проходила мимо поезда забором нечастого леса, запятнанного не то белизной бересты, не то слепым светом луж, не то порошившим снежком, — словом, ничего нельзя было понять, что там такое

делается за стеклом, заляпанным кляксами больших водянистых снежинок, — может быть, хоть похолодает, снегу за ночь нападает, веселей будет. Никогда в жизни не было Ванечке так плохо, и скучно, и жалко самого себя. Мысли приходили в голову обидные, сомнительные и неумытые. Приходили не в очередь и уходили как-то вдруг, не сказавшись, оставляя за собой следы нечистоты, неладности и безвыходной тоски. То вдруг досада возьмет, что зря Мурке шесть червонцев подарил, то злоба накатит, что в баню не сходил, белья не переменил, гитары не приобрел... То вдруг припомнится бессовестная княжна, Европейская гостиница, ситцевая занавеска и прочее, и до того обидно станет, что от обиды хоть из поезда на ходу выброситься впору. А то вдруг ни с того ни с сего дочка Филиппа Степановича Зоя из памяти выльется, апельсинового цвета вязаная шапочка, кудерьки вокруг лба, нахмуренные брови, — а сама смеется и к груди прижимает сумочку с бумагой — стенографию изучает. Острая барышня. Один миг только ее и видел, а из памяти нейдет. Жениться бы на такой, чем зря ездить по железным дорогам, — спокойно, уютно. Можно ларек открыть, торговать помаленьку. В кинематографы, в театры бы ходить вместе. А там, может, родится ребеночек — сам маленький-маленький, а носик с горошину, не больше, и сопит. И под стук вагонного хода, бьющего под подошвы, под беглый гул, под дребезжание стекла, сам того не замечая, Ванечка мысленно пел до одури, до головной боли привязавшуюся песню: «Позарастила стежки-дорожки, где проходили милого ножки». Кончал петь, и начинал сначала, и никак от нее не мог отвязаться, и чумел, глуша те страшные главные мысли, от одного намека на которые становилось вдруг черно и пусто под ногами.

А Филипп Степанович изредка выбегал в расстегнутом пальто в тамбур и, растирая ладонями щеки, свистящим шепотом говорил:

— Понимаешь, так и режет. У меня шесть, у него семь, у меня семь, у него восемь. У меня восемь, у него девять.

Шесть рук подряд, что ты скажешь! Около трехсот рублей только что снял, зверь!

И снова проворно уходил в вагон.

Чуть-чуть начало развидняться. Нападавший за ночь снег держался, не тая, на подмерзшей к утру земле. Пошли белые крыши и огни станций. Поезд остановился. Человек в овчинной шубе открыл снаружи дверь и, показавшись по грудь, втокнул в тамбур горящий фонарик. Зимний воздух вошел в тамбур вместе с фонариком и привел за собой свежий раздвоенный паровозный гудок.

— Какая станция? — спросил Ванечка.

— Город Калинов, — утренним голосом сказал человек в овчине и, оставив дверь открытой, ушел куда-то.

— Город Калинов, — сонно повторил Ванечка про себя. Ему показались ужасно знакомыми эти два слова, сказанные как одно — Городкалинов. Тотчас затем пришел на ум конверт с адресом — по серой бумаге химическим карандашом — Калиновского уезда, Успенской волости, в деревню Верхняя Березовка... И он, неожиданно холодея, сообразил все. На пороге появился Филипп Степанович, каракулевая его шляпа сидела несколько криво.

— Ну и ну, — сказал он хрипло и покрутил головой, — так и режет, представь себе, так и режет, прямо не человек, а какой-то злой дух. Феноменально!

— Филипп Степанович, — умоляюще проговорил Ванечка, — попомните мое слово, проиграетесь. Не доверяйтесь, не глядите, что он уполномоченный. Жулик он, а не уполномоченный. У него карты наверняка перемеченные. Погубит он вас, товарищ Прохоров, не ходите туда больше.

— Чепуху ты говоришь, Ванечка, — пробормотал Филипп Степанович и растерянно поправил съезжающее пенсне, — как же я могу туда не ходить?

— Очень даже просто, Филипп Степанович, — зашептал Ванечка быстро, — очень просто, сойдем потихоньку, и пускай он себе дальше едет со своими картами, бог с ним. А мы тут, в городе Калинове, лучше останемся. Две персты от станции до города Калинова. Город что надо.

Я сам местный, родом из Калиновского уезда. Тут и сейчас моя мамаша, если не померла, в деревне Верхней Березовке проживает — тридцать верст от железной дороги. Ей-богу, Филипп Степанович, лучше бы нам сойти.

— Что ты такое говоришь, в самом деле! — промолвил Филипп Степанович, дрожа от холода и потирая руки, и расстроился. — Как же это так вдруг сойти, когда, во-первых, перед человеком неловко, а во-вторых, билеты...

— Чего там билеты! Сойдем, и все тут. Глядите, снежка насыпало. Санки сейчас возьмем. За полтинник нас духом до самого города Калинова доставят с дымом, прямо в гостиницу. Сойдем, Филипп Степанович.

— А что же, — сказал Филипп Степанович, — Калинов так Калинов, и гора с плеч. Пойдем в буфет первого класса водку пить.

Они с опаской вылезли на полотно, по снежку прошли в темноте под освещенными окнами вагона на деревянную платформу, где несколько неразборчивых фигур сидело на мешках под кубом. Сонный колокол ударил к отправлению, паровоз выпустил пар, и поезд ушел, сразу опростав много светлого места для прибывающего с опозданием утра.

Однако в скудном буфете, где почему-то вместо электричества горела керосиновая лампа, ни водки, ни пива не оказалось, и буфетчик, переставив с места на место скучную бутылку с фиолетовым лимонадом, сердито сказал, что по случаю призыва на три дня запрещена всякая продажа спиртных напитков, и теперь вокруг на сто верст нельзя достать ничего такого, кроме самогонки.

— Приходите завтра, сорокаградусная будет рюмками.

— Вот так фунт, — произнес в усы Филипп Степанович, — хорош же ваш город Калинов, нечего сказать!

— За распоряжение милиции не отвечаем, — еще более сердито ответил буфетчик и, почесав вывернутой ладонью спину, отошел во тьму громыхать тарелками.

Больше делать на станции было нечего. Филипп Степанович и Ванечка вышли к подъезду.



Четыре извозчика с номерами, похожими на календарь, стояли поперек дороги возле круглого станционного палисадника. Два на колесах, два на полозьях. Видно, погода здесь стояла — ни то ни се. Ямщики уныло сидели на козлах, свесив ноги с одного боку. Они не обратили на приезжих никакого внимания. Лошади, уткнув морды в торбы, стояли понуро и смирно, не шевеля даже хвостами. Минуты две пребывали сослуживцы на ступеньках подъезда, дрожа от предутренней зяби, пока, наконец, один из ямщиков не спросил, зевая и крестя бородатый рот:

— Поезд, что ли, пришел?

— Пришел, — сказал Ванечка. — До города Калинова полтинник.

— Сорок копеек положите, дорога не твердая, — быстро сказал извозчик и снял рваную шапку.

— Чудак человек! — воскликнул Филипп Степанович. — Тебе дают полтинник, а ты требуешь сорок. Это что же у вас, такса такая?

— Зачем такса, — обидчиво сказал извозчик и надел шапку, — пускай по таксе другие везут, а я прослышался, думал, вы четвертак говорите, а не полтинник.

— Ну, так вези за сорок, если так.

Извозчик снова снял шапку, помял ее в руках, подумал и решительно надел на самые уши.

— Пускай другие за сорок копеек везут, а я меньше, чем за четвертак, не повезу, — сказал он быстро.

— Экий ты какой упрямец, — сердито проговорил Филипп Степанович, — некогда нам тут с тобой разговаривать, у нас дела есть, нам обследовать надо, то подавай ему полтинник, а то меньше, чем за четвертак не соглашается.

— Пускай другие за четвертак возят, а я, как уговорился, меньше, чем за полтинник, не повезу.

— Да ты что, издеваешься над нами, что ли, или же пьян? — закричал, окончательно выходя из терпения, Филипп Степанович. — То тебе четвертак подавай, то полтинник, сам не знаешь, чего хочешь, пьяница.

— Нешто от пьянства так заговоришься. Вот завтра, как выпустят сорокаградусную, тады — да, а теперь, как есть, чверезый — говорю: четвертак, а думаю про полтинник, — сказал извозчик, снова снимая шапку, — очень они похожи на выговор, четвертак и полтинник.

— Так, значит, везешь ты нас все-таки или не везешь за сорок копеек? — заорал Филипп Степанович осиплым голосом на всю площадь.

— Не повезу, — равнодушно ответил извозчик и поворотился спиной, — пускай другие возят.

— Тьфу! — сказал Филипп Степанович и в самом деле плюнул от злости.

Тут молодой извозчик в сибирской белой папахе, в нагольном полушубке, из-под мышек которого торчала рваная шерсть, лихо встрепенулся.

— Пожалуйте, свезу за тридцать копеек! — закричал он и взмахнул локтями.

Сослуживцы влезли в неладные, чересчур высокие сани, устланные внутри соломой, покрыли колени худым фартуком и поехали в город, оказавшийся ни дать ни взять таким самым, как все уездные города: десять старинных церквей, да две новые, да одна недостроенная, да пожарная каланча, да окруженная еще запертыми на пудовые запоры лабазами пустая базарная площадь, посредине которой стоял рябой мужик с коровой, приведенной бог знает откуда на продажу. Узнавши по дороге от седоков, что они советские служащие и приехали в город Калинов обследовать, извозчик привстал на облучке, прикрикнул на своего серого, как мыш, конька: «Ну-ка, ну!» — и с покушениями на шик подкатил к Дому крестьянина, выходявшему крыльцом на базарную площадь. Однако Дом крестьянина еще не отпирали, и на его ступеньках сидело несколько унылых мужиков, не обративших на сослуживцев ни малейшего внимания. Рядом с Домом крестьянина находился частный трактир с номерами «Орел», а еще немного подальше чайная «Тверь», тоже еще запертые.

Филипп Степанович и Ванечка вылезли из саней и,

расплатившись с извозчиком, пошли гулять вокруг площади. Извозчик навесил на морду коньку торбу, погрозил ему кнутовищем, чтоб не баловался, и пошел следом за седоками — угодить в случае надобности. Покуда извозчик сидел на облучке, он казался еще туда-сюда, но едва слез на землю и пошел, сразу обнаружилось все его худосочие и бедность: сам низенький, нагольный полушубок — латка на латке, и полы обрезаны по карманы, валенки разные, худы и болтаются на тонких ножках, мешая ходить; носик острый, розовый, брови тоже розовые, бороденка кустиками, глазки порочные, голубенькие — сразу видно, что парень и растяпа, и вместе с тем плут, да и выпить не дурак, — словом, человечек из числа тех, которые на военной службе называются балаболками и идут в нестроевую команду.

Сослуживцы, скучая, обошли площадь. На угловом доме висела красная табличка с надписью: «Площадь бывш. тов. Дедушкина». Немного подальше, в начале пустынной, уходящей вниз улицы, виднелась другая табличка, гласившая: «Проспект бывш. Дедушкина». Кроме того, на длинной вывеске, над входом в запертую лавку, значилось большими буквами: «Кооператив имени бывш. Дедушкина». Тут же извозчик разъяснил услужливо, в чем тут дело. Был, оказывается, в городе Калинове начальник милиции товарищ Дедушкин, не человек, а орел! В честь его благодарное население переименовало площадь, улицу, кооператив и еще множество других учреждений и мест. Подумывали даже весь город Калинов переименовать в город Дедушкин, однако в один прекрасный день товарищ Дедушкин жестоко проворовался, был судим выездной сессией губернского суда и посажен в тюрьму на три года со строгой изоляцией и поражением в правах. Долго ломали себе голову правители города Калинова, как выйти с честью из создавшегося тяжелого положения, — не тратиться же в самом деле из-за уголовного преступника на новые таблички и вывески, — пока наконец не придумали всюду перед Дедушкиным приписать

«бывш.» — и дело с концом. Так был аннулирован Дедушкин.

На другом конце площади бывшего Дедушкина с гусем под мышкой шел калиновский мещанин в картузе и яловых сапогах. И на нем самом, и на его гусе лежала печать такой скуки, что невозможно выразить словами. Он так медленно передвигал ногами, что иногда казалось, будто он и не идет вовсе, а печально стоит на месте, приподняв для чего-то и согнув перед собой ногу — раздумывает, ставить ее на землю или не стоит.

— Хорош же ваш уездный Калинов, нечего сказать, — заметил Филипп Степанович, раскуривая папироску. — Водка не продается, чайные заперты, народ какой-то скучный, даже какой-то Дедушкин — и тот бывший, ходи тут как дурак по базару. Провинция, мрак.

— Это, гражданин, верно, что народ скучный, — бойко подхватил извозчик, забегая вперед и заглядывая вверх на Филиппа Степановича, как на солнце, — ваша истинная правда. Потому и скучный, что водки дожидается. Даст бог, до завтра доживем — сорокаградусной попробуем. А чайную сейчас отомкнут, не извольте сомневаться... Вот уже отмыкают, так и есть...

Действительно, в это время дверь частного трактира «Орел» открылась. Мужики, сидевшие на ступеньках Дома крестьянина, переглянулись и, не торопясь, перекочевали гуськом в «Орел», а немного погодя, когда уже никого на ступеньках не осталось, открылся и Дом крестьянина. Сопутствуемые извозчиком, Филипп Степанович и Ванечка вошли в «Орел» и потребовали себе номер. Увидев постояльцев, хозяин чрезвычайно засуетился и крикнул малого. Малый в жилетке тотчас поставил на пол ведерный самовар, с которым он танцевал из сеней, вытер руки о фартук и стремглав бросился вверх по лестнице. Затем вверх по лестнице промчалась насмерть перепуганная бабенка с бронзовым канделябром и двумя берзовыми поленами в руках.

— Куды ключ от первого номера задевала? — прои:

нес где-то вверху шипящий голос. — Не видишь, растратчики из центра приехали, поворачивайся, быдло.

После этого хозяин повел сослуживцев по некрашеной лестнице в дощатый номер, выклеенный изнутри, на манер солдатского сундучка, полосатыми бумажками — голубое с желтым. В номере стояли стол, диван, железная кровать без постели, крытая досками, комод. Над комодом тускло косилось зеркало в деревянной раме со штучками, до такой степени волнистое, как будто бы сделанное не из стекла, но из жести. В зеркале отражался канделябр с воткнутым в него вместо свечи букетом бумажных роз и мышьяково-зеленого ковыля.

Покуда извозчик, почему-то вошедший в номер вместе со всеми прочими, хихикал, мял в руках папаху и поздравлял с новосельем, покуда Филипп Степанович, строго пуская из ноздрей дым, с чувством превосходства оглядывал хозяина и всю трактирную прислугу, столпившуюся в дверях, покуда он распекал, что нету водки, и с тонким знанием дела заказывал забористый завтрак, из которого в трактире нашлась только яичница с колбасой, — Ванечка стоял у окошка и смотрел на площадь. Смотрел и все никак не мог понять, как это так случилось, что вот он вдруг стоит и видит в окно хорошо знакомый город Калинов, виденный им в детстве и уже забытый и вместе с тем такой самый, как будто бы ничего такого с самого детства с Ванечкой не произошло. Как будто бы все как-то сравнялось в памяти между тем городом Калиновом и этим и будто бы ничего между ними не было — ни призыва в шестнадцатом году, ни службы в полевой хлебопекарне, ни полковой канцелярии в Москве, ни эвакуационных пунктов, ни караульного батальона Красной Армии, ни биржи труда, ни военкома товарища Туркестанского, ни дома на Мясницкой, где за фанерной перегородкой, может быть и сейчас, горит под зеленым блюдечком полуваттная лампа... Ничего этого не было. Был только и есть сейчас перед глазами город Калинов и вокруг города Калинова Калиновский уезд, а посередине Калиновского уезда Успенская волость, а в углу Успенской

волости, там, где кончается Бурыгинский лес и река Калиновка делает крюк в добрых восемь верст, между лесом и лугом стоит деревня Верхняя Березовка, заливаемая в половодье до самой церкви... И бегают там ребяташки летом на реку ловить раков, и ходят они зимой через поляну в Бурыгинскую школу... Там обкладывает мать на зиму соломой бревенчатые стены избы, и окошки становятся совсем маленькими... Вся деревня красна в ту пору калиной... А вот и отец возвращается вместе с артелью дранщиков на зиму из города... Земли мало, земля плоха, не прокормит... Кормит мужика ремесло... Там, в теплом хлеву, сестра Груша доит корову, а рядом чинят дровни... И тень от рогатого ухвата, бывало, летает, как черт, поперек всей избы, когда бабка возится вечером возле печи... В люльке плачет ребенок, а где-то вокруг почтальоны с казенными револьверами и шашками развозят почту, в лесу мокнет мох, светят гнилушки, подале шумит мельница и ходит паром, а еще подале — железная дорога в город Калинов, великолепный, интересный уездный город Калинов с базарной площадью, с каланчой, с трактирами, с баранками, с множеством святых церквей... И вот он тут, за окном, лежит как на ладони родной Городкалин, идет мещанин с гусем, моросит по снегу и по соломе мельчайший дождик, посередине площади неподвижно стоит мужик с коровой, и стая галок взлетает без крика в аспидное небо и падает за крыши лабазов, как сотни шапок, подкинутых скрытым от глаз народом.

А уже малый принес в номер яичницу и чай. Извозчик, приглашенный Филиппом Степановичем закусить, со лживой скромностью и покорным удовольствием сидел на краешке стула с шапкой на коленях, дуя в блюдце, и вежливо перекусывал сахарок. Ванечка подсел к столу и, выкатав в полоскательнице стакан, с жадностью напился чаю; однако яичницы не ел — расхотелось. Филипп Степанович тоже лишь поковырял вилкой, и яичницу доел извозчик, из приличия оставив на сковороде два колесика колбасы. Согревшись чайком, сослуживцы растегнули пальто, подперли головы кулаками и погрузи-

лись в молчаливые мысли, тщетно придумывая, что бы теперь такое предпринять, — но ничего придумать не могли. Делать было совершенно нечего. От скуки даже расхотелось спать.

— Значит, у вас тут в вашем уездном городе Калинове ничего такого достать нельзя? — спросил наконец Филипп Степанович невесело и пошевелил перед носом извозчика пальцами.

— Никак нет! — сказал извозчик, встрепенувшись от дремоты, и заморгал глазами. — Ничего такого никак нет. Покорнейше благодарим за чай-сахар. Не успел народ запастись. Не угадал малость. Завтра начнется.

— Так что же у вас теперь в городе Калинове люди пьют? Или, может быть, вовсе пить перестали?

— Которые действительно перестали — дожидаются сорокаградусной. А которые самогон добывают.

— Где же они его добывают?

— А по деревням добывают, известно. Рубль двадцать бутылка наилучшего первача. Не то чтобы имеет какой-нибудь дух, а совсем безо всякого духа, и крепость такая, что во рту горит — лучше тебе водки, куда там!

Извозчик вскочил с места, засуетился, взмахнул длинными рукавами и попросил, чтобы только приказали, а уж он в два счета до ближайшей деревни слетает и привезет хоть четверть; восемь верст туда, восемь обратно, и как раз к обеду можно будет выпить. Ванечка вздохнул и вдруг робко заметил, что лучше всего поехать всем в деревню Верхнюю Березовку, до которой не более верст тридцати, — там у него и мамаша, и родственники, и все на свете, там и самогон дадут самый лучший, не надуют, и заночевать можно будет со всеми удобствами.

— А что же, — воскликнул Филипп Степанович, — правильно! Обследовать так обследовать. Чего мы здесь в городе Калинове не видели? Валяй в Верхнюю Березовку! А?

И, возбужденный новой, представившейся ему целью, Филипп Степанович молодцевато поправил пенсне, свел

к носу глаза и тут же вообразил себе нечто среднее между великосветской зимней охотой с борзыми собаками и удалым катаньем на взмыленных тройках с коврами, бубенчиками, красавицами и остановками в помещичьих усадьбах... Месяц над баней, фаянсовый снег, голубой пламень пунша и прочее...

Тут же сослуживцы сторговались с извозчиком, выказавшим всяческое одобрение этой идее, поспешно расплатились с хозяином, оставили за собой номер, пообещали вернуться завтра к обеду, когда будет водка, и, не теряя понапрасну времени, спустились вниз. Внизу, в чайной, так как извозчик оказался не здешним, решили хорошенько расспросить мужиков, как ближайшей дорогой добраться до Верхней Березовки. Мужики, потевшие над чайниками и похожие на древнегреческих философов, внимательно выслушали расспросы, переглянулись, погладили бороды, посоветовались, а затем один мужик за всех степенно и необычайно подробно описал дорогу — до какой деревни сначала надо доехать, куда потом своротить, через какой мост переезжать и какой рукой надо держаться, когда будет не та мельница, которая в прошлом году погорела, а другая, кузькинская, где мельникова жена без одного глаза и где ходит паром. Тут сидящий поодаль дряхлый старик с сомнением покачал головой и сердито прошамкал, что такой дорогой никак никуда не доедешь, а ехать надо совсем в другую сторону, на Климовку — тут тебе аккурат и будет Березовка. Когда же старику разъяснили, что ехать надо не в Березовку, а в Верхнюю Березовку, старик с неудовольствием поворотился ко всем боком, да так-таки прямо и закатил почти что из Гоголя:

— Я думал, просто в Березовку, а надо в Верхнюю Березовку. Так бы и сказали. Верхняя Березовка одно, а просто Березовка другое... Дороги на них не сходятся. Так бы и сказали сразу... Гм... То Верхняя Березовка, а то просто Березовка... А то была еще одна, Нижняя Березовка, но выгорела лет тридцать тому назад...





Этот умный и смешливый писатель, драматург и вообще классик придумал, как теперь говорят — для молодых и продвинутых журнал «Юность».  
Он же стал его первым главным редактором



Главный редактор журнала «Юность» В. П. Катаев  
и его заместитель С. Н. Преображенский



Члены редколлегии и авторы журнала, 1955 год



Этот рисунок литовского художника Стасиса Красаускаса стал эмблемой «Юности» с самого первого номера — с июня 1955 года



Вверху этой части снимка (слева) В. Катаев, рядом с ним Б. Полевой. Внизу (справа налево) О. Дмитриев, И. Оффенгенден, М. Розовский...



«ПТЕНЦЫ ГНЕЗДА не ПЕТРОВА», а КАТАЕВА



Василий Аксенов



Анатолий  
Гладилин



Юнна Мориц



Фазиль Искандер



Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина, Александр  
Иванов, Григорий Горин



На этом снимке рядом с Андреем Вознесенским  
юная Виктория Токарева, рядом с Юнной Мориц —  
Буллат Окуджава, а между закуривающим Аркановым и  
некурящим Виктором Славкиным стоит Михаил Задорнов



Говорите — Зощенко никогда не смеялся?  
Это он с вами никогда не смеялся! А с Катаевым —  
другое дело...





В. П. Катаев у М. М. Зощенко в Ленинграде. 1955 год.

Обе фотографии сделаны Павлом Катаевым



Цинандали, 1973 год.  
Дегустация на винном заводе. Как тут не выпить!  
В. П. Катаев в центре этой фотографии



И долго еще, с полчаса, старик недовольно бурчал себе в бороду насчет путаницы с Березовками, но его уже никто не слушал.

Филипп Степанович и Ванечка уселись в сани и поехали.

— Стой! — закричал вдруг Филипп Степанович, которого уже начала разбирать потребность управлять и удивлять. — Стой! Как же так, а? Без гостинцев? Э, нет! Уж если ехать в гости к родственникам, то нужно везти подарок. Верно я говорю, кассир? Остановись-ка, кучер, на минуточку. Нужно, брат, такой сюрприз загнать, чтоб твоя матушка ахнула, грандиозное что-нибудь.

Филипп Степанович огляделся вокруг и тут же заметил мужика с коровой.

— Корову, — воскликнул он, — корову! Правильно. Что ты можешь возразить насчет коровы, кассир, а? Незаменимая вещь в сельском хозяйстве. Фурор! Смятение! Общий восторг! Корову, корову! Уж матушка твоя с ума сойдет от радости, будь уверен!

С этими словами Филипп Степанович с ловкостью, необыкновенной для его лет, выскочил из саней и так быстро купил корову, что мужик не сразу даже сообразил, что такое с ним, собственно, произошло. Филипп же Степанович похлопал купленную корову по пестрому боку, похожему на классную географическую карту Австралии, привязал животное к задку саней, сел, накрылся худым фартуком, заметил окаменевшему от изумления кучеру: «Ну, теперь валяй!» — и самодовольно толкнул Ванечку локтем в бок.

— Ну-ка, ну! — воскликнул в восторге ямщик, пуская вскачь своего мышастого конька, и хлопнул себя накрест по бокам рукавичками: то ли, мол, еще будет дальше, с такими господами не пропадешь!

Изумленная корова нагнула рога и рысью побежала за санями. Вскоре путешественники были далеко за городом.

А мужик, продавший корову, еще долго стоял, поливаемый мелким дождиком, посередине площади имени

бывшего Дедушкина, держа в одной руке шапку, а в другой двенадцать червонцев, и все никак не мог прийти в себя и сдвинуться с места.

### Глава десятая

Десять лет не был Ванечка дома и не виделся с матерью. Первое время только писал письма да передавал поклоны, а потом перестал. Иногда ему казалось, что ни ее, ни деревни Верхней Березовки вовсе нету на свете. Но едва мышастый конек, натужив брюхо и раскорячив скользкие ноги, втащил наконец сани по размокшей дороге на кособок, сердце у Ванечки захолонуло от волнения. Тут сразу же, без предисловий, начиналась деревня: серые бревенчатые избы с синими вырезными наличниками вокруг окон, с коньками над пристроенными сбоку на столбиках сенями, с соломенными крышами, с горьким дымком. Во всю длину обширной прямой пустынной деревенской улицы, по обеим ее сторонам, вдоль заборов и палисадников, рябя в глазах, часто краснела тронутая ночными заморозками и исклеванная воробьями рябина. Казалось, что если бы не ее искусственный румянец, озаряющий выдуманным каким-то светом унылый деревенский пейзаж, то от скуки людям невозможно было бы жить под этим невысоким, серым до синевы, неподвижным небом, среди тишины обступивших со всех сторон лесов, насыщенных водянистым хвойным воздухом поздней осени.

На самом въезде в деревню крупная баба в темном платке и узком мужском пиджаке обкладывала избу.

— Стой! — закричал Ванечка вдруг. — Стой! Мамаша! И выскочил из саней.

Баба обернулась к дороге, сощурилась, увидела сани, корову, привязанную к их задку, мышастого конька, городских седоков, шагнула раза два вперед и тут же выронила из рук охапку соломы. В окошко избы выглянуло на смерть перепуганное женское лицо и скрылось. Затем то же самое лицо, но уже в платке, мелькнуло в другом

окошке. Хлопнула дверь, и из сеней выбежала неуклюжая девка в валенках. Обе женщины всплеснули руками и бросились к корове, которая стояла, круто дыша боками, позади саней и лизала драповую спину Филиппа Степановича.

— Так и есть, наша буренка! — завопила в отчаянии крупная баба и схватила Филиппа Степановича за рукав. — Где нашу животную нашел, рассказывай. И веревка у нее на рогах та же навязана, вот она — вся деревня может доказать, что наша, клюквинская веревка. Да что же это такое, прости господи, делается!

— Рассказывайте, куда Данилу девали, разбойники! — заголосила девка, утирая обширное лицо платком и бес толково бегая вокруг саней. — Как повел третьего дня в город Калинов корову, так с того самого дня и пропал. Чужало мое сердце. Рассказывайте, куда мужика задевали!

— Да что вы, мамаша, белены объелись, — проговорил наконец Ванечка, совершенно сбитый с толку бабьими криками, — аль не признали?

Тут баба взглянула на него, присмотрелась, побледнела и ахнула.

— Ванюша! — произнесла она негромко, перекрестилась и схватилась за грудь. — Ей-богу, Ванюша! А мы тебя и в живых не считали. Да что же это такое? Ах ты, боже мой!.. Ванюша!

И женщина, трясаясь от смеха и слез, прижала к своему большому телу маленького Ванечку.

— Ванюша! Городской братец! — воскликнула девка и застенчиво припала лицом к плечу брата.

Тут все разъяснилось и относительно коровы. Оказалось, что купили и привели в подарок как раз ту самую корову, которую Ванечкина мать послала третьего дня со знакомым мужиком Данилой, дочкиным женихом, на продажу в город Калинов. Так что расчеты Филиппа Степановича на фурор и общий восторг не оправдались. Зато удивлению не было конца. Филипп же Степанович, успевший в дороге на остановках основательно напиться самогона под руководством опытного в этих делах извоз-

чика, с достоинством вылез из саней, приподнял шляпу, нетрезво расшаркался во все стороны, выпустил через нос высокомерно-снисходительный звук — нечто среднее между «очень приятно» и «пожалуйста, садитесь» — и тут же понес такую сверхъестественную ахинею насчет обследования деревни, старика Саббакина, негодяя уполномоченного, царя Николая Кровавого, Изабеллочки и прочего, что бабы совершенно обомлели от страха и почтения, а извозчик воскликнул пьяным голосом: «Ну-ка, ну!» — и в восторге похлопал по себе рукавицами.

Затем дорогие гости были введены в избу. Алешка (в дороге выяснилось, что порочного извозчика зовут именно Алешкой) распряг и устроил на покой своего конька, после чего тоже вошел в избу и, помолившись со лживым усердием на иконы, скромненько уселся на лавочке у самой двери — всяк, мол, сверчок знай свой шесток. Сестрица Груша поставила буренку в хлев и, потупясь, села за прялку, пощипывая лен, русой челкой взбитый меж зубьев деревянного гребня. Сама же хозяйка, давно уже привыкшая по своему вдовьему делу к мужским повадкам главы семейства, степенно положила могучие локти на прожженный стол, за которым в красном углу сидели гости, и завела неторопливый хозяйственный разговор. Хотя и говорила она для Ванечки, однако обращалась больше к Филиппу Степановичу, чувствуя в нем главного начальника над своим сыном и вообще лицо, во всех отношениях ответственное, облеченное властью и почтенное. И так у нее это натурально выходило, что казалось иногда, будто и у нее растет окладистая мужицкая борода и глаза пытливо смотрят из-под густых мужицких бровей, словно бы желая попытаться, с каким таким человеком она беседует, и что у него на уме, и есть ли он тот самый человек, за которого себя выдает, — словом, впрямь хозяйские мужские глаза.

Покуда наступал ранний вечер, покуда невидимая бабка возилась на другой половине с горшками и самоваром, вдова, не торопясь, рассказала все про свое житье-бытье, словно делала обстоятельный доклад:

— Земля родит плохо, да и нет ее. Без промысла не прожить, а мужика в хозяйстве нету. Грушу этой осенью берет Данила, сын покойного Никифора, мужик немолодой, тихий. Свадьбу надо справлять, а на что ее справишь? Пришлось корову в город Калинов на базар посылать, а то бы не обернуться. Спасибо, корову обратно задаром привели, хотя кормить ее, впрочем, все равно нечем. Бабка, глядишь, не сегодня завтра помрет, слаба стала. Землемер летом был, землю резал. Да что ее резать: как ни режь, а если ее нету, то все равно ничего не нарежешь. Опять же мельник притесняет — где ж это видано, чтоб с пуда по шести фунтов брали за помол? А живет этот мельник сам как буржуй, одних гусей у него, чтоб не соврать, пятнадцать штук, не считая прочего. Лен в этом году уродился ничего себе. Жить можно. Разве только что без мужчины в хозяйстве туго.

Много еще в таком же роде говорила вдова, невесело улыбаясь сквозь воображаемую свою бороду и показывая при этом два выбитых передних зуба — видно, покойный ее мужик особенно кротким характером не отличался. И никак нельзя было понять, посмеивается ли она над всеми этими своими невзгодами или же прикрывает их смехом, жалуется или только так, лишь бы занять гостей.

Филипп Степанович с пьяным вниманием слушал вдову и, приподняв бровь над припухшим глазом, выпускал из усов папиросный дым, словно желая сказать: «Так, очень хорошо. Вы не беспокойтесь, мадам. Можете во всем положиться на меня, я вам все это быстро устрою и поправлю».

Ванечка осмотрел украдкой за это время избу, в которой он родился, увидел вещи, хорошо знакомые ему с детства: стенные часы с гирями, лампу под жестяным кругом, иконы, картинки, лиловые фотографии, армяк на гвоздике возле двери, кадку и ковшик, липовую прялку с тученым колесом, и ему стало так скучно, как будто бы он никогда не расставался с этими вещами и все время до сих пор, без всякого перерыва, жил среди них — до того

они были знакомы. Да и материнские слова были те же самые, так же хорошо знакомые с детства, как и вещи, — мельник, да землемер, да корова, да трактирщик... И ничего они не вызвали в сердце Ванечки, кроме скуки, переходящей в смертельную, безысходную тоску. Нет, не то вышло, не то. Неладно как-то.

За окном уже было темно. Груша стала зажигать лампу. На мгновение тень от ухвата пролетела через избу, как черт. И никуда уже нельзя было уехать от этой скуки, надо было сидеть, и слушать, и смотреть, а зачем — неизвестно, и совершенно нечего было делать. Алешка сидел возле двери и украдкой зевал в рукав — ждал, когда же наконец дадут поесть. Филипп Степанович тоже впал в тяжелую пьяную мрачность.

Между тем всю деревню облетела весть, что ко вдове Клюквиной приехал из города сын и с ним еще какой-то в очках начальник, оба пьяные, и привели они с собой корову и будто бы собираются обследовать местность, а на предмет чего обследовать — ничего не известно.

Мужики, как водится, подождали для приличия до вечера, а потом помаленьку потянулись ко вдове с визитом, посмотреть на городских приезжих и послушать умные речи, которые, как известно, приятно и слушать. Первыми двинулись старики из наиболее уважаемых, за уважаемыми стариками — сватья да кумовья, затем те, что посмелее, за ними те, что полюбопытнее, а там беспартийная молодежь и некоторые наиболее отчаянные бабы. Словом, к тому времени, как гости кончили пить чай и закусывать, в избу набралось столько народа, что, как говорится, яблоку негде упасть. Каждый входил в избу сообразно со своим возрастом и положением в обществе. Уважаемые старики входили открыто, очень серьезно, аккуратно, не торопясь, здоровались с хозяйкой и приезжими за руку и молча занимали места поближе. Сватья и кумовья входили широко и быстро, не то боком, не то чертом, держась за шапку и весело подмигивая — мы, мол, здесь люди свойские, — однако за руку здоровались

только с хозяйкой и занимали места позади стариков, на лавках, под бревенчатой стеночкой, говоря приезжим что-нибудь приятное. Прочие не входили, а как бы вдвигались в дверь совершенно боком, стараясь занимать собою поменьше места, ни с хозяйкой, ни с приезжими они не здоровались, а тихонько садились куда бог пошлет, поглаживая бородки и покашливая в кулаки — ни дать ни взять профессора, собравшиеся на заседание ученого общества. Молодежь и отчаянные бабы входили на цыпочках с лицами, растянутыми улыбкой, и останавливались подле дверей, а то и вовсе не переступали порога и оставались за дверьми, заглядывая в избу, подперев пальцами щеки.

Однако, как ни казалась изба мала и неудобна, она вместила всех пришедших, даже место еще осталось. Некоторое время, как принято, все молчали, рассматривали Филиппа Степановича, а затем стали перемигиваться, подталкивать друг друга заплатанными локтями ватных пиджаков и полушубков, пока, наконец, не выдвинули вперед и не подзадорили к разговору уважаемого старика в стальных очках, с наружностью знаменитого хирурга Пирогова, видимо, первого местного спорщика.

— Ну-ка, ну-ка, Иван Антоныч, — слышались вокруг сдержанные голоса, — поговори-тка с товарищами вообще насчет делов.

— Не ударь лицом, оппозиция, хо-хо.

— И, например, про землемера заметь кое-что.

Уважаемый старик завозился на своем месте, будто бы отодвигаясь назад, но на самом деле выдвигаясь вперед, поправил очки, кашлянул, оглянулся во все стороны испуганно и вместе с тем неустрашимо, высморкался в кумачовый платок, поднял высоко над очками брови и после этого, махнув рукой, решительно приступил к спору, сказав Филиппу Степановичу невероятно невинным голосом:

— Мы, извините, люди темные, а вы, значит, как бы это, получившие высшее образование. Тут в газетке «Бед-

нота» писалось насчет государства Франции, как будто она, как бы это, готовится, как же это, скажите, следует понимать? Война, что ли, подготавливается?

— Безусловно, — отрезал Филипп Степанович, чувствуя себя в центре общественного мнения, — разобьем!

И победоносным взглядом обвел собрание лысин, бород, полущубков и пиджаков.

— Так, так, — быстро сказал старик и несколько сконфуженно подмигнул слушателям: посмотрите, мол, какие пули отливает городской житель, но ничего, сейчас мы его припрем к стенке, тоже не совсем лыком шиты. — Понимаем. А как вы скажете, может, например, мельник при Советской власти рабочих и крестьян брать по шести фунтов с пуда или не может?

— Не имеет морального права, — строго сказал Филипп Степанович, — ни под каким видом.

— Та-а-ак.

— Эх, Иван Антоныч, — произнес насмешливый голос, — что ж это ты?

Старик вовсе сконфузился, заморгал под очками, высморкался и покрутил головой. Потом отчаянно махнул платком и пошел загигать вопрос, один другого заковыристее. Но не на такого напал. Филиппу Степановичу только того и надобно было. Крепко любил Филипп Степанович удивлять и ставить в тупик людей превосходством своего ума. Старик из кожи вон выворачивался, а Филипп Степанович — раз! — и отрезал ответ, — раз! — и отрезал. Так и крыл, так и крыл, причем потерял всякую совесть и окончательно заврался. Мужики, перепутавшие в восторге свои места, дымили уже махоркой и подбадривали:

— Так его, правильно, бейтесь, товарищи.

Вскоре Филипп Степанович заклевал уважаемого старика, а общество на его место выдвинуло другого уважаемого старика. Однако Филипп Степанович был непобедим. Нос его сильно порозовел, с носа валилось пенсне, из усов исходил папиросный дым, глаза дико блуждали. Он молол чушь.



— Будет вам, Филипп Степанович, — в отчаянии шептал Ванечка, тайком таща бухгалтера за рукав, — разве они что-нибудь понимают, поговорили — и хватит, а то ны такое наговорите...

Но Филиппа Степановича уже никак нельзя было удержать. Он стоял, пошатываясь, в красном углу — дикий и потный — и, надменно улыбаясь, отрывисто бормотал окончательно уже ни на что не похожий вздор:

— Виноват... Ви-но-ват... Прощу вас, шерри-бренди. Честь имею. Я и мой кассир Ванечка. Вот он тут сидит... Что есть Ванечка и что есть старик Саббакин?... Двенадцать тысяч на текущем счету в Госбанке. Он мне говорит — покроем, а я ему говорю: дур-р-рак — и точка. Пр-р-равильно! Чем, говорю, крыть, когда нечем, говорю, крыть... Верно, кассир? А мельника к чертовой матери в поду! Я покупаю всем вам мельницу. Угодно или не угодно? Сегодня, сейчас же мы и поедем. К-ассир, выдай по ордеру на покупку — и точка.

Тут, помаленьку оттеснив уважаемых на второй план, к столу просунулись веселые и уже нетрезвые сватья и кумовья, всячески намекая, что по такому случаю обязательно требуется выпить. В сенях крикнула и растянулась гармоника. Алешка пошептался в дверях с бабами. Ванечка вытащил из кармана деньги. И через десять минут уже кое-где на подоконниках завиднелись желтоватые бутылки, заткнутые бумажными пробками.

Хозяйка пошла алыми пятнами. Ей вдруг сделалось ясно, зачем приехал Ванечка из города, и почему у него деньги, и кто такой Филипп Степанович: все как на ладони. А она-то обрадовалась! Поживет, думала, сынок дома, на Грушиной свадьбе будет гулять, а то и вовсе останется в деревне, за хозяйство возьмется. Все-таки с мужчиной совсем не то, что без мужчины. А тут такой, оказывается, грех! Так совестно, что в глаза людям бы не глядела. До этой минуты ей страстно хотелось, чтобы поскорей разошлись гости и можно было бы остаться с сыном наедине, уложить его спать, почесать ему волосы, поговорить, по-

советоваться, а теперь стало все равно, пусть хоть до петухов сидят.

С покорной и горькой улыбкой она встала из-за стола, пошла по хозяйству и вынесла вскоре краюху хлеба, блюдо соленых груздей, четыре граненых стаканчика, щербатую вилку с коротеньким черенком и щепотку соли. Поставила на стол и низко поклонилась.

И пошла гулянка.

Несколько раз выходил Ванечка, пошатываясь, из чадной избы в прохладные черные сени. Он открывал дверь на улицу, в отчаянии прислушивался. Таяло. Таяла дорога, таял снежок на крыше, с крыши капало. Во тьме по рябинам бродил пьяный шорох дождика. Вдалеке играла гармошка и пели песни. Должно быть, это ребята возвращались с посиделок. Но Ванечке казалось, что скучное пьяное веселье вырвалось вон из прокуренной избы на воздух, перекинулось на тот конец деревни и бродит теперь с невеселыми песнями под гармошку из двора во двор под охмелевшими рябинами, вдоль по мокрой улице. Ванечка выставлял на ветер голову, но ветер не мог утолить дикой тоски, насквозь прохватившей его до самого сердца. Что же теперь делать? Как быть? Не уйти теперь никуда, не уехать, а если и уехать, то куда и зачем? И в первый раз за все это время Ванечка вдруг просто и ясно понял, что погубил себя и выхода у него нет. Тоска была такая, что хоть в петлю. Он возвращался в избу и, улыбаясь, пил вонючий самогон, пел песни, целовался и снова выходил в сени постоять под ветром, слушая нетрезвое бормотание волчьей ночи, желтыми пятнами ходившей в глазах.

Гуляли долго, до полуночи. Не раз и не два бегал Алешка, спотыкаясь, куда-то с пустой посудой и возвращался с полной. Председатель сельсовета, поздно возвратившийся из объезда, услышал о событии и тоже зашел в клюквинскую избу посмотреть на приезжих. Высокий, веселый, молодой, в синей гимнастерке с расстегнутым воротом, он быстро вошел, наклонив голову, чтобы не стукнуться о притолоку, в избу и вмиг оглядел всех.

— Будем знакомы. Предсельсовета Сазонов, — сказал он Филиппу Степановичу и размашисто пожал ему руку.

Таким же образом он поздоровался с Ванечкой, кивнул прочим, уронив на лоб русский чуб, затем с размаху сел на подставленный ему хозяйкой табурет, лихо выставил ногу в сапоге, мелькнул синими своими глазами и весело улыбнулся, отчего на щеках у него сделались милые ямочки, как у девушки. Сидел он, впрочем, недолго, внимательно послушал болтовню окончательно завравшегося Филиппа Степановича, порасспросил, раза два поддакнул, выпил стаканчик самогона, чтоб не обидеть общество, пошутил с Грушей, продолжавшей неподвижно сидеть за прялкой, и скоро ушел, сказав, что не выспался, и пожелав всем счастливо оставаться. Словом, оказался рубаха-парень. Около полуночи, весь мокрый, пришел и Данила, тот самый мужик, жених Груши, у которого давеча в городе Калинове купили корову. Узнавши, какое происшествие случилось с коровой, он, как был в полушубке и шапке, сел в уголке, раскрыл рот, да так и остался сидеть, неподвижный от изумления, пока про него совершенно не забыли.

За полночь гости разошлись по домам. Тяжелый синопный дух стоял в избе. Хозяйка зевала, крестя рот, и устало разгоняла утиральником махорочный дым. Груша прибирала посуду и готовила постели. Алешка успел уже столкнуться с какой-то кривой бабенкой и, наскоро посмотрев конька, пошел ночевать к этой бабе на другой конец деревни. Филипп Степанович лежал навзничь в красном углу на лавке, свесив на пол руку, и трудно мычал, мидрав подбородок, сизый и острый, как у покойника.

Ванечка же, натыкаясь в потемках на какие-то угловатые вещи, ощупью пробрался в сени и оттуда по шатким ступеням спустился в хлев, где тепло и знакомо пахло жидким навозом, животными и птицей. Он нашарил гридку телеги, взобрался на нее и достал в темноте холодными руками потолочную перекладину. На перекладине висели вожжи. Он попробовал их, крепко ли держатся,

сделал петлю и, как во сне, валко став на носки, сунул в нее голову. Телега скрипнула. Грядка ушла из-под напряженных ног. Перепуганная курица упала с насеста, как кочан капусты, и забилась во тьме, крыльями подымая сухую душную пыль. За ней встрепенулась другая, третья. Во всех углах раздалась взволнованная птичья болтовня, полетели перья, пошел ветер... И мать, почуя недоброе, едва успела добежать, хватаясь руками за сердце, и вынуть полумертвого Ванечку из петли.

Почти на руках она внесла его в горницу и уложила на устроенную на полу постель, рядом с Филиппом Степановичем. Она подала ему ковш, но он не стал пить. Она гладила шершавой ладонью его взмокшие взъерошенные волосы и все повторяла:

— Грех-то какой, ах, грех... — И слезы ползли по ее могучему лицу.

— Ничего вы, мамаша, не понимаете, — с тоской выговорил наконец Ванечка и, поворотившись спиной, тяжело и тихо задышал.

— Все как есть понимаю, Ванюша, ох, все понимаю, грех-то какой. Крепись, Ванечка, терпи. Бог терпел и нам велел.

— Скучно мне, мамаша, засудят, — мутно пробормотал Ванечка и смолк.

Среди ночи в окно раздался стук, снаружи к черному стеклу приникло белое лицо Алешки, и вслед за тем он сам вбежал в горницу, торопливо топая валенками и спотыкаясь.

— Хозяйка, слышь, буди пассажиров. Ехать надо. Беда. Пашка-то ваш Сазонов, предсельсовета, в волость за милицией покатил, во крест. Арестовать думает. Я, говорит, подозрение имею... Буди, буди, я уж запряг. Ну-ка, ну! На дворе тает и тает, кабы дорога не тронулась. Тогда, пожалуй, на полозьях и не выберешься. Ох, сядем мы, кажется, с такими делами посередине поля и будем сидеть там.

Филипп Степанович и Ванечка очнулись и как встрепанные вскочили на ноги.

— Кого арестовать? Ни под каким видом! — высокомерно произнес Филипп Степанович, но тут же ослабел, сгорбился и торопливо, заплетаясь, пошел садиться в сани. Он бормотал: — Пашка, Пашка, к черту Пашку, вот еще, скажите пожалуйста... Провинция, мрак... Пашка, а может быть, я граф Гвидо со своим собственным кассиром, понятно?..

— Прощайте, мамаша, — проговорил Ванечка, стуча зубами от ночного холода, охватившего его на дворе, и вылез в сани.

Сослуживцы покрыли ноги фартуком, сани тронулись. Мать побежала за ними, шлепая по воде. Она все норовила догнать и обнять на прощание сына, но злой ветер трепал в темноте ее волосы и мешал смотреть. На деревне пропел петух.

— Ты, Ванюша, хоть бы письмецо написал! — закричала она, плача. — Ну, с богом!

Ветер отнес ее голос в сторону. Она отстала, пропала. Сани, чиркая подрезами по земле, съехали с косогора.

— Ну-ка, ну! — сердито крикнул Алешка и перетянул конька вожжами. — Не догонит авось, Пашка-то.

В полной темноте, еле различая дорогу, они въехали в жуткий лес, а когда из него выехали, то небо кое-где за слямями и обгорелыми пнями уже посветлело. Наступало утро. Потянуло холодом. Дорога отвердела. Под копытами хрустел и ломался лед. Через подернутый сахаром луг возле какой-то деревни шли школьники.

— Здравствуйте, дяденьки! — закричали дети дискантом, завидев сани, и сняли шапки.

«Дяй-дяй-дяй», — туманно отразил их крик в отдалении лес. Сбоку из-за леса тускло вышла река. Шумела мельница. Сослуживцы дрожали друг подле друга, навсквозь пробранные бесприютным утренним ознобом.

— Зачем брали, Филипп Степанович? — тихо сказал Ванечка, с трудом разнимая схваченные ознобом челюсти. — Не надо было пользоваться, Филипп Степанович, эх!

И, сказавши это, покорно сгорбился, натужился, преодолевая озноб, и уже за весь путь до самого города Калинова не сказал ни слова.

### Глава одиннадцатая

В город Калинов приехали к вечеру. В пути проболтались целый день. Дорога растаяла окончательно. Шел дождь. То и дело сани въезжали полозьями в такое месиво, что казалось, тут им и крышка. Однако выдирались. Папиросы и спички все вышли, и достать их было негде. Раза два заворачивали в «Деревенковские потребительские товарищества», но там, кроме веревок и ведер, других товаров не имелось. Часа два ждали парома, кричали дикими голосами через речку, не дождались и поехали вброд. Вымокли по колено в сивой воде, где крутились мелкие льдинки, едва не утонули. Совсем уже невдалеке от города, верстах в пяти, конек вдруг остановился на самой середине какого-то горбатого деревянного мостика, упрямо расставил дрожащие ноги, раздул живот и ни за что не желал сдвинуться с места ни взад, ни вперед — хоть плачь. Уж его и били, и пугали, и тащили под уздцы с грозными воплями — ничего. Вылезли из саней. Не менее часа простоял таким образом конек, отдышался, а потом сам по себе, добровольно двинулся дальше. Версты полторы шли пешком рядом с саними по сверхъестественной грязи, пока конек не отдохнул окончательно, — тогда сели. А уж недалекий лес в сумерках лежал на земле дождевой тучей, и дождевая туча ползла над землей и шумела редким мелкоколесьем. На железной дороге блеснул зеленый фонарик.

Город Калинов был неузнаваем. Куда только девалась вся его давешняя скука! Окна тракторов и винных лавок пылали. Возле них стояли толпы. Над вокзалом пухло багровым паром дождливое небо. Вокруг площади бывшего Дедушкина горело четыре электрических фонаря. Со всех сторон гремели гармоники и бренькали балалай-

ки. В улицах и переулках компаниями и поодиночке шатались калиновские обыватели, пьяные в дым. Вокруг стоял неразборчивый гул и бормотанье гульбы. Отовсюду слышались отчаянные песни. Под самым отдаленным фонарем копошилась драка, движущейся тенью своей занимая площадь. Дождь и тот пахнул спиртом. Лишь трезвый милиционер, перепуганный насмерть, крался вдоль стены, как кот, стараясь не наступить на пьяного и не обратить на себя внимания.

— Ну-ка, ну! — закричал Алешка в восторге, подъезжая к трактиру. — Ну-ка, ну, вот так Калинов! Ай да Калинов! Попробуем сорокаградусной, какая она на вкус, пока всю не выпили. Аккурат спели. С приездом вас!

Филипп Степанович понюхал воздух и встрепнулся.

— Правильно. Необходимо обследовать, — сказал он, суетливо вылезая из саней. — Что ж это ты, Ванечка, а? Плюнь на все и пойдем пить сорокаградусную водку. Положись на меня. Шерри-бренди, шато-икем... Селедочки и огурчиков... И в чем, собственно, дело? Жизнь прекрасна! Двенадцать тысяч на текущем счету, вилла в Финляндии... Лионский кредит... Вино и женщины, масса удовольствий... Кассир, за мной!

— Валяй! — воскликнул Ванечка треснутым голосом. — Чего там, валяй!

И пошло. Двое суток под руководством Алешки пьянствовали сослуживцы в городе Калинове — опухли, одичали вовсе. Когда же очнулись днем и пришли в себя, увидели, что опять едут в поезде. Однако этому обстоятельству несколько не удивились. Напротив, было бы странно, если бы, например, никуда не ехали.

— Едем, Филипп Степанович, — довольно безразлично сказал Ванечка, переворачиваясь на верхней полке жесткого вагона.

— Едем, — сказал Филипп Степанович внизу и, пошарив в карманах, вытащил исковерканную коробку папирос «Шик». Он осмотрел ее со всех сторон и прочитал, что папиросы Курской табачной фабрики «Нимфа» — марка незнакомая, — понюхал, сделал «гм» и закурил. Сейчас

же половина едкого табака высыпалась из мундштука на язык, гильза сморщилась, пожухла, скрючилась, из папиросы с треском повалил дым и запахло паленым козлом.

На противоположной от Филиппа Степановича лавке зашевелилась фигура, с головой завернутая в шотландский плед, и уравновешенный заглушенный голос произнес:

— Я бы вас попросил не дымить! Фу! Это вагон для некурящих.

«Скажите пожалуйста», — высокомерно подумал Филипп Степанович и обиделся. Однако папиросу притушил об лавку и с отвращением в душе пошел в клозет выплюнуть изо рта гадость и напиться. Покуда он, слабо сопротивляясь развинченными ногами ходу поезда, пил из рукомыльника теплую воду и мочил виски, в его памяти возникли и промелькнули разрозненные подробности калиновской пьянки. Как будто был такой, например, момент: через город с трубами и факелами, гремя и звеня, промчался пожарный обоз, и впереди на дрожках задом наперед, как полицеймейстер, стоял, поддерживаемый друзьями, начальник уездной милиции — не Дедушкин, а его преемник в красной фуражке — и кричал: «Началось! Народ, веселись! Объявляю национальный праздник в уездном масштабе открытым!» А может быть, этого и не было... В ресторане «Шато де Флер», который нашелся все-таки, в конце концов, и в городе Калинове, хорошо известные евреи в синих шароварах, прибывшие, как видно, на гастроли, исполняли на помосте украинские национальные танцы... Потом спали мертвым сном в подвале у какой-то жирной вдовы за ширмами, а утром от головной боли пили огуречный рассол. Ездили вместе с жирной вдовой к девочкам, там во дворе привязалась лохматая собака и укусила Алешку за ногу, в комнате пили сорокаградусную водку и слушали граммофон, рассказывавший анекдоты, а девочки с насурмленными бровями хрипло хохотали и щипали за подбородки... Потом как



будто купили в трактире ящик водки и за семьдесят пять рублей вареных раков и бесплатно раздавали посередине площади желающим; народа навалило видимо-невидимо, мещане ссорились, кричали и били друг друга по морде раками. После этого наняли всех, какие только были в городе, извозчиков и велели ездить порожняком вокруг площади бывшего Дедушкина и петь народные песни, — несь город Калинов собрался смотреть на это небывалое зрелище. Кутили на вокзале, пили коньяк рюмками, с кем-то ругались и платили штраф. Ранним утром посреди площади видели рыжего мужика Данилу с коровой. Ужасно удивились. А Данила низко поклонился и безучастно сказал: «Нешто животную зимой прокормишь? Сказано: продать — и продать». Мелкий дождик поливал Данилу с коровой, и вороны взлетали шапками в мутный, как бы мыльный, воздух. Потом прибежал Алешка и сказал, что Пашка Сазонов с комсомольцами в городе и надо уезжать, а куда — не сказал. Он же, должно быть, и билеты покупал, и в вагон укладывал...

— Фу, ерунда какая! Куда же мы, однако, едем?

Когда Филипп Степанович возвратился на место, увидав его, освободившийся уже из плета, сидел на лавочке в егерском белье, опустив на пол голые ноги в сафьянных туфлях на козьем пуху, и вытирал шею одеколоном «Четырех королей». Филипп Степанович сел к окошку и стал искоса разглядывать. Визави был человек наружности приятной, в достаточной мере полный, даже породный, несколько лысый, носил каштановые усы и бороду с проседью, из числа тех довоенных бород путейского обривца, кои обыкновенно тщательно опрыскиваются английскими духами, подстригаются и расчесываются специальным гребешочком на две стороны, прекрасно окружающая свежие губы цвета бледной лососины. Под глазами легкие припухлости, напоминающие абрикосы, а на наружных подушечках пухлых пальцев красивые волоски проде ресничек. Окончив вытираться одеколоном, визави набросил на себя свежую сорочку, натянул на ноги

фильдеперсовы носки, извлек из-под гуттаперчевой надувной подушечки, на которой покоился, предметы своего костюма и стал неторопливо одеваться. Сперва он просунул ноги в просторные, отлично сшитые и выглаженные шевиотовые панталоны, пристегнул резиновые гигиенические подтяжки на колесиках, встал во весь свой небольшой рост, выпятил живот и несколько раз подрыгал ляжками: не жмет ли где-нибудь; затем повязал корректный галстук рисунка «павлиний глаз» и, наконец, надел такой же просторный и свежий, как и панталоны, пиджак с белым платочком в боковом кармане. Штиблет он не надел — видно, страдал мозолями и не любил без надобности утруждать ноги, — остался в туфлях. Совершив, таким образом, туалет, он выпустил воздух из подушечки и аккуратно прибрал постель в парусиновый чехол с синей меткой. Затем обстоятельно осмотрел и пересчитал свои места — все оказалось в полном порядке, аккуратно застегнуто в серые чехлы с синими метками на углах: два баула, плоский чемоданчик, корзинка для провизии, круглая коробка для шляп и несесер.

«Скажи пожалуйста, — еще раз с оттенком легкой зависти подумал Филипп Степанович, — скажите пожалуйста, какой жуир», — и тут же спрятал руки с черными ногтями за спину.

Между тем жуир съел два яичка всмятку и выпил чашку теплого какао из бутылки «Термос», заключенной, как и прочие его вещи, в серый чехольчик с меткой. Позавтракав с завидным аппетитом и испачкав яйцами губы, он тщательно прибрал после себя и, протерев носовым платком оконное стекло, стал глядеть в бинокль Цейсса. Однако шедший навстречу поезду пейзаж был скучен и некрасив. Тогда жуир повесил бинокль на гвоздик, надел на прямой нос золотое пенсне с пружиной и, достав из чемодана книжечку и тетрадь, принялся читать, делая в тетрадке заметки прекрасным автоматическим карандашом. Филипп Степанович изловчился, за-

глянул на обертку книжки и прочитал: «Уголовный кодекс». «Эге!» — сказал про себя Филипп Степанович, и его слегка прохватило неприятным холодком.

С полчаса визави читал и делал заметки, наконец убрал книжечку и тетрадь в чемодан, с хрустом размял грудную клетку и локти, сказал: «Эх-эх-эх!» — и обратился к Филиппу Степановичу сочным, общительным голосом:

— А вас, знаете, вчера в хорошем-таки состоянии доставили в вагон, небось не помните, ха-ха! Где это вы так с товарищем, а? Простите, не имею чести, позвольте представиться, инженер Шольте Николай Николаевич.

— Очень приятно, — сказал Филипп Степанович, пытаясь навести на лицо свое обычное выражение превосходства, но выражение не вышло, — Филипп Степанович Прохоров, ответственный работник по финансово-счетной части, а это мой кассир — товарищ Клюквин Ванечка.

— Далеко изволите следовать?

Филипп Степанович неопределенно махнул рукой. Инженер Шольте скромно поклонился, как бы показывая, что не имеет в виду задавать интимных вопросов, если и спрашивает, то исключительно для приятного проведения времени.

— По личному делу едете, осмелюсь задать вопрос, или же по командировке?

— По командировке из Москвы, — сказал Филипп Степанович, разглаживая усы, и покосился вверх, на Ванечку, — по командировке ездим, я и мой кассир. Обследуем, знаете ли, различные обстоятельства. Обследовали, например, на этих днях город Ленинград. Полнейший, можете себе представить, мрак. Провинция! То есть решительно нечего обследовать. Ну — памятники, о них и не говорю, но прочее, представьте себе, из рук вон. В гостиницах клопы, всюду одна и та же украинская канелла. Во Владимирском клубе, правда, пальмы, но искусственные. На каждом шагу какое-нибудь жульничество. Всякие уполномоченные проходу не дают. Я ему —

шесть, он мне семь. Я ему — семь, он мне восемь. У меня восемь — у него девять. Прямо шулера какие-то. Ужас!

Филипп Степанович склонил набок голову, как бы с удовольствием слушая самого себя — очень понравилось, — и продолжал:

— А в провинции — еще хуже. Извозчики четвертака от полтинника не отличают. Коров каких-то на площади продают — одну пришлось купить, и главное, куда ни пойдешь — везде все имени бывшего Дедушкина. Штрафуют на каждом шагу за каждый пустяк. Паромы не ходят — хоть вброд переправляйся. В деревне же, скажу я вам, абсолютный мрак. Председатели сельсоветов перешли все границы нахальства. В одном месте нас, извините, даже арестовать хотели, но я сказал — ни под каким видом! Что это такое, говорю, в самом деле? Вот тут и обследуйте после этого! До сих пор голова трещит от всего этого.

Инженер сочувственно закивал бородой.

— Нет, не-ет! Что ни говорите, а в прежнее время этого не было, — продолжал Филипп Степанович. — В прежнее время, бывало, мы со стариком Саббакиным зайдем в трактир Львова у Сретенских ворот. Тут тебе и селяночка, тут тебе и графинчик очищенной, тут тебе и уважение... Не-е-ет!

Тут Филипп Степанович, не отрезвевший еще как следует после вчерашнего, напал на своего конька и выложил инженеру все.

— А осмелюсь спросить у вас, — сказал инженер, сочувственно выслушав Филиппа Степановича, — большими ли вы располагаете суммами, то есть, я хотел сказать, много ли вами получено средств на обследование?

— Да что ж, — произнес Филипп Степанович высокомерно в нос, — не слишком: тысяч десять-двенадцать, — и с косого глаза посмотрел на инженера: каково, мол, это вам покажется, удивляйтесь!

— О! — сказал инженер, сделав рот ноликом, и сладко

зажмурился. — О! Это солидная сумма, весьма, так сказать, внушительная!

— Я думаю, — заметил небрежно Филипп Степанович и навел на лицо достойное выражение.

— С такой суммой, хе-хе, за границу можно катнуть, половину земного шара обследовать.

— Н-да, это возможно. А вы как, тоже по командировке?

— По командировке, батенька, по командировке! — вкусно вздохнул инженер. — Именно по командировке.

— Обследуете тоже?

— Обследую тоже. Вернее — кончил обследовать. Все обследовал, что только можно было, и теперь возвращаюсь к пенатам.

— И большие суммы, извините, при вас были?

— Гм. Рублей этак полтораста своих да примерно тысячи полторы позаимствованных. При известной аккуратности и экономии на такую сумму можно с большим вкусом попутешествовать, ни в чем себе не отказывая, месяца два с половиной, три. Позвольте, когда я выехал? Если не ошибаюсь, числа второго августа. Да. Месяца четыре, значит, обследую. Конечно, без особых излишеств, но бутылку хорошего заграничного вина отчего бы иногда и не выпить? Мы, исследователи, всегда должны сообразоваться со своими финансами, не так ли?

При этих словах инженер несколько подмигнул Филиппу Степановичу.

— Вы так думаете? — проговорил в нос Филипп Степанович, и тут ему вдруг стало ужасно обидно.

— Обязательно. Экономия на первом плане, — с убеждением сказал инженер, делая в слове «экономия» округленные ударения на э и о, — обязательно. Уверяю вас, что без экономии исследование может принять весьма и весьма уродливые формы и не доставить никакого удовольствия.

Инженер сделал небольшую паузу, почесал безымянным пальцем с двумя обручальными кольцами крыло носа и снова обратился к Филиппу Степановичу:

— Крым обследовали?

— Нет-с.

— Напрасно. Виноградный сезон в этом году в Крыму был совершенно изумительный. Какое море, какие женщины! Клянусь небом, я никогда в жизни не видел таких женщин. На Кавказе изволили побывать?

Филипп Степанович мрачно мотнул головой.

— Милый, — не воскликнул, но запел окариной инженер, извлекая из голоса своего целое богатство нежнейших и задушевнейших нот, — милый мой. Вы не были на Кавказе? Не верю своим ушам, этого не может быть! Это неслыханно! С вашими средствами не обследовать Кавказа? Да вы в таком случае ничего не видели, если не видели Кавказа. Кавказ — это же тысяча и одна ночь, сказка Шехерезады, поэма, бог знает что такое! Одна Военно-Грузинская дорога чего стоит — уму непостижимо. Двадцать рублей, и вас везут на автомобилях между небом и землей, а вокруг горы, сакли, шашлык, черкешенки, кахетинское вино в бурдюках, то есть симфония ощущений! А Минеральные Воды! Кисловодск, Железноводск, Ессентуки! Какое общество! Какие женщины! Клянусь вам, я никогда не видел таких женщин. Правда, жизнь несколько дорога — мой бюджет доходил, например, до семи-восьми рублей в сутки — но зато жизнь! Я удивляюсь вам, Филипп Степанович, честное слово. При ваших средствах не быть на Кавказе! Немедленно же, немедленно поезжайте, милый, туда. Вы будете там принцем! Вас там женщины на руках будут носить, клянусь честью.

«Скажите пожалуйста, крыть нечем этого инженера», — подумал Филипп Степанович с некоторой обидой и решил подпустить шпильку.

— А скажите, я извиняюсь, что это вы за книжечку с собой возите, я заметил, — вероятно, интересные сочинения Зоценко?

— Какое там Зоценко! — добродушно отозвался роскошный инженер и махнул пухлой рукой. — До Зоценко ли мне, посудите сами, если я возвращаюсь к месту служ-

бы? Это, батенька, «Уголовный кодекс». Без него человек как без рук. Усиленно рекомендую и вам приобрести.

— Это зачем же?

— То есть как это зачем? А если ваше дело возьмут вдруг да и запустят показательным процессом, тогда что? Схватитесь, да поздно будет. А так, по крайней мере, предстанете во всеоружии юридических тонкостей. Главное дело, милый, хорошенько проработайте последнее слово. В последнем слове весь эффект процесса, а остальное — миф, уверяю вас.

Тут инженер вытащил часы с брелоками, погрузился в расчеты и, наконец, сказал:

— Без четверти три. Опаздываем на восемнадцать минут. Ну и порядочки. Через полчаса Харьков. А вам, Филипп Степанович, я настоятельно рекомендую, не откладывая в долгий ящик, — на Кавказ. Без разговоров сходите, батенька, в Харькове и сейчас же берите билеты прямого сообщения Харьков — Минеральные Воды. Советую, конечно, в международном вагоне. При ваших средствах это стоит гроши, но зато какой комфорт! Совершенно европейский способ сообщения — красное дерево, собственная уборная, зеркала, отлично вышколенная прислуга, идеальное постельное белье, прохладные простыни, скользкие наволочки, синяя лампочка-ночник, вагон-ресторан под боком — симфония ощущений!

— Это идея! — воскликнул Филипп Степанович, и новая цель предстала перед ним и овладела воображением.

— Еще бы! Будь я на вашем месте, я бы всю жизнь ездил исключительно в международных вагонах. Но, увы, по одежке протягивай ножки. Впрочем, при известном навыке можно и в жестких вагонах устроиться с некоторым комфортом. Но вам, Филипп Степанович, извините меня за откровенность, должно быть прямо-таки совестно ездить в третьем классе. Итак, милый, на Кавказ, на Кавказ! Вы едете, а в зеркальных стеклах навстречу вам движется, можете себе представить, этакая панорама, картинная галерея. Сперва луга, буйволы, туземцы, туманные очертания горной цепи... Там дальше мох тощий,

кустарник сухой, а там уж и рощи, зеленые сени, где птицы щебечут, где скачут олени, а там уж и люди гнездятся в горах, и ползают овцы по злачным долинам или что-то в этом роде. Изумительное зрелище! Байрон!

Инженер сладострастно зажмурился и хрустнул пальцами. Филипп же Степанович пришел в страшнейшее волнение. Он уже едва сидел на месте от нетерпения скорей приехать в Харьков, немедленно сесть в международный вагон и мчаться на Кавказ. Именно на Кавказ — и никуда больше. Как это ему раньше не пришло в голову? Путались черт знает где, а о Кавказе не подумали. Чепуха какая-то. Теперь кончено. Все, что было, зачеркивается. И точка. То все было не настоящее, чушь, абсурд, мрак. Настоящее начинается только сейчас. В воображении Филиппа Степановича возникали и пропадали с быстротой молнии ослепительные картины воображаемого Кавказа: снежные верхушки гор, ущелья, дымные водопады, необыкновенной красоты женщины, башня Тамары, черкесский бешмет с патронами, серебряный кинжал, тесно перетянутая талия, какой-то общий восторг и взмыленный скакун, несущий над пропастью графа Гвидо в папаше, заломленной набекрень.

Едва поезд подошел к Харькову, Филипп Степанович стал будить Ванечку.

— Вставай, Ванечка, вставай. Сейчас мы едем на Кавказ. В международном вагоне. Определенно. Харьков — Минеральные Воды — и точка. Пока то да се, билеты надо заказать, пообедать... «В полдневный зной в долине Дагестана», — пропел Филипп Степанович дрожащим от нетерпения голосом и потянул Ванечку за ногу.

— На Кавказ... Поедем, — безучастно промолвил Ванечка и покорно, с портфелем под мышкой, слез с верхней полки.

— Счастливого пути, — сказал инженер и сделал ручкой. — Счастливы, завидую вам. Мне время гнить, а вам цвести, ха-ха, — поправил пенсне и погрузился в книжечку.



Сослуживцы сошли с поезда и направились в буфет первого класса.

— Это что за станция? — вяло спросил Ванечка.

— Харьков, Ванечка, Харьков. Прямое сообщение Харьков — Минеральные Воды. Кавказ, брат, это нечто замечательное. Ты никогда не бывал на Кавказе? Я тоже не бывал, но говорят, первоклассный курорт. Увидишь — обалдеешь. Международный вагон, зеркальные стекла, идеальное белье, вагон-ресторан. И что мы только раньше думали с тобой, брат кассир... Масса удовольствий, европейский способ сообщения... Шерри-бренди... Правильно я говорю, и выпьем по этому случаю водки — надо согреться.

Они подошли к роскошной стойке, украшенной канделябрами и пальмами, и выпили по большой рюмке водки. Закусили бутербродами с ветчиной и повторили. Затем Филипп Степанович послал Ванечку за международными билетами, а сам принялся разгуливать по буфету, где в большом синем воздухе носился фаянсовый стук тарелок, звенели колокольчики рюмок, набухал гул голосов, предвещаая массу не испытанных еще удовольствий и симфонию ощущений.

Ванечка, сонно волоча ноги, ушел и вскоре так же сонно пришел обратно.

— Не хватает денег, — вяло сказал он и поковырял пальцем в прорехе портфеля.

— Как это не хватает? — воскликнул Филипп Степанович в сильнейшем волнении. — Не может этого быть.

— Очень просто, не хватает, — сказал Ванечка, — до Минеральных Вод за международные билеты спрашивают сто двадцать шесть, а у меня на руках одиннадцать рублей сорок пять копеек.

— Ты сошел с ума, дурак! — закричал Филипп Степанович, багровея, и расстегнул пальто. — Было же двенадцать тысяч, куда они могли деваться? Это ерунда!

— Все, Филипп Степанович. Может, у вас кое-что осталось?

Покрываясь пятнами зловещего румянца, Филипп Степанович дрожащими руками принялся хвататься за портфель и за карманы, но денег не оказалось.

— Позвольте, — беззвучно бормотал он, проводя рукой по холодеющему лбу, — позвольте, не может же этого быть. Куда ж они девались?

— Проездили, Филипп Степанович, — сказал Ванечка покорно.

С блуждающими глазами и отвисшей челюстью, роняя пенсне и криво его поправляя, Филипп Степанович, сильно жестикулируя, побежал в мужскую уборную и там начал выворачивать карманы. Нашлась скомканная надорванная пятерка, и больше ничего не было. Ледяной липкий пот выдавился на лбу Филиппа Степановича. Нос заострился, отвердел, как у покойника. В глазах потемнело, и сквозь темноту с желудочным урчанием вокрут по кафельным стенам бежала волнистая вода.

— Виноват, виноват, — бессвязно произнес Филипп Степанович, схватив Ванечку за плечо костлявыми пальцами, — виноват... Надо подсчитать... Тут явное недоразумение... Постой, гостиница шестьдесят, два комплекта свиной конституции четыреста, билеты двадцать, кинематограф десять, на чай три, Алешке пятнадцать... Так где же в таком случае остальные?

— Ехать надо, Филипп Степанович, — тихо проговорил Ванечка.

— Почему ехать, куда ехать? Нет, ты постой, билеты двадцать, свиная конституция четыреста, раки семьдесят пять...

— Чего там считать, — с тупым равнодушием сказал Ванечка, отворачиваясь, — в Москву надо ехать, там все посчитают. На билеты бы хватило.

— Ты думаешь? — дико озираясь, прохрипел Филипп Степанович, и Ванечке показалось, что Филипп Степанович на его глазах вдруг медленно обрастает седой щетиной стариковской бородой. — Ты думаешь, надо

ехать? Да, да, именно ехать. Как можно скорее. Там мы на месте все это выясним. Едем!

С закатившимся, как бы вставным, глазом, припадая и волоча за собой окостеневшую ногу, Филипп Степанович заторопился к кассе. Однако на билеты до Москвы не хватало двух рублей. С минуту Филипп Степанович стоял возле кассы поникший, пришибленный свалившимся на него потолком. Затем вдруг его охватила и понесла суетливая, сумбурная энергия безумия. Он бросался послать куда-то немедленно телеграмму, с половины дороги возвращался, бормотал, спотыкаясь бегал по незнакомому запутанному вокзалу, добываясь начальника станции, требовал у носильщиков какого-то коменданта, грозился написать заявление в жалобную книгу и пугливо отскакивал от собственного отражения, шедшего на него с грех сторон в сумрачных зеркалах буфета. А Ванечка бегал за ним, таща за рукав, и покорно шептал, что не надо никаких телеграмм, а надо идти, пока не стемнело, в город, на барахолку и продавать пальто. Обессилев от хлопот, Филипп Степанович сдался на Ванечкины доводы. Они вышли с вокзала и, расспросив встречного красноармейца, вскоре добрались до Блакбазы. Рынок уже кончился. Свистели милиционеры, разгоняя торговков. Накрывал холодный дождь. Начались сумерки. Незнакомый город зажигался вокруг туманными огнями. Несколько барахольщиков налетело из подворотни. Ежась от холода, Ванечка снял свое пальтишко. Барахольщики повертели его в руках, подбросили и предложили семьдесят пять копеек. Набавили до рубля. Сказали, что больше никто не даст, и ушли. Подошли другие барахольщики, посмотрели вещь, оскорбительно засмеялись в лицо, сомкнули и сказали, что даром не возьмут. Тогда Филипп Степанович быстро снял свое пальто. Барахольщики ловко роняли его под фонарем, пересчитали дыры и латки, о существовании которых едва ли до сих пор догадывался и сам Филипп Степанович, ткнули в лицо протертыми локтями и карманами, посоветовались и, сказавши, что

теперь не сезон, предложили три с полтиной. Филипп Степанович ахнул, но барахольщики уже удалялись, не оборачиваясь, Филипп Степанович побежал за ними, чавкая отстающей подметкой по лужам, и, задыхаясь, бросил им тяжелое пальто, то самое пальто с каракулевым воротником, прекрасное, элегантное пальто, которое всегда казалось ему необыкновенно дорогим, солидным и вечным.

На обратном пути заблудились в незнакомых улицах. Пока расспрашивали прохожих, пока кружили в переулочках, стала совсем ночь, злой дождь лил во всю ивановскую, ледяной ветер крыл со всех сторон. Со шляпы Филиппа Степановича побежала вода. На Екатерининской улице под розовыми фонарями гостиниц и кинематографов по щербатым плиткам изразцового тротуара плясали стеклянные гвозди, пеннистая вода окатывала из водосточных труб худые штиблеты. Черным глянец блистали зонтики, макинтоши, крыши экипажей. Пешеходы сталкивались и с бранью расходились.

— Изабеллочка! — вдруг закричал Филипп Степанович диким голосом и в ужасе прижался к кассиру. — Изабеллочка! Вон она. Бежим!

И точно: нагоняя их, по плещущей мостовой, как призрак, катил экипаж на дутых шинах. В экипаже, освещаемая беглым светом фонарей, сидела Изабелла в розовой шляпе с крыльями. Навалившись грузным своим телом на тщедушного типчика с портфелем под мышкой, она стучала по спине извозчика зеленым зонтиком, громко командуя:

— Извозчик, прямо и направо! Котик, ты ничего не имеешь, мы остановимся в гостинице «Россия»? — Щеки ее воодушевленно тряслись, серьги грузно болтались, она была ужасна.

Филипп Степанович вобрал голову в плечи и, прыгая боком через лужи, изо всей мочи пустился бежать по улице, сбивая прохожих и щелкая по изразцам кожаным языком отставшей подметки.

— Интеллигент! Писатель! — кричали ему вслед и улюлюкали раклы<sup>1</sup>, из подъездов кино, приведенные в восторг его длинными ногами, кургузым пиджаком, заляпанным грязью, пенсне и странного вида каракулевой шляпой с обвисшими полями. Ванечка едва поспевал за ним. Только очутившись на вокзале, Филипп Степанович несколько пришел в себя. Его бил озноб. На щеках выступил шафранный румянец. Руки тряслись. С сивых усов падали капли. Он хотел говорить, но не мог, непослушный язык неповоротливо забил рот — выходило пугливое молчание.

Поезд в Москву уходил утром. Ночь провели на вокзале в помещении третьего класса. Филипп Степанович сидел, забившись в угол грубого деревянного дивана. Его душил сухой, дерущий грудь кашель. В мозгу тошнотворно скребли жесткой щеткой. Скулы туго подпирали дикие глаза, глаза бессмысленно блуждали, почти не узнавая окружающего. Всю ночь Филипп Степанович бормотал в усы неразборчиво какие-то слова. Иногда он вдруг вскакивал, хватал Ванечку костлявыми пальцами за плечо и шептал:

— Изабеллочка. Тсс! Вон она. Бежим!

И ему казалось, что он видит Изабеллу, которая в роювой шляпе с распростертыми крыльями плывет на него, ядовито улыбаясь из непомерной глубины вокзала, стуча ботами, размахивая зеленым зонтиком и говоря: «Котик, котик, куда же ты едешь, котик? А ну-ка, плати алименты, котик». Он, корчась, прятался за перепуганного кассира, тряся весь и, прижимая голенастый палец к усам, шептал с хитрецей:

— Тсс! Не увидит. Тсс! А вот и не увидит!..

Иногда его лицо становилось осмысленным. Тогда он, поправив пенсне и откашлявшись, говорил с убедительной лаской:

---

<sup>1</sup> Раклы — босяки, золоторотцы, на харьковском жаргоне. (Примеч. автора.)

— Постой, ведь мы не посчитали корову. Корова — сто двадцать, раки семьдесят пять, гостиница шестьдесят, фрукты восемь... Н-не понимаю...

В переполненном вагоне ему стало совсем худо, однако лечь было нельзя, билеты купили сидячие. Он сидел, полулежа в тесноте, положив ослабевшую голову на Ванечкино плечо, полузакрыв покрасневшие веки, и трудно дышал, словно выталкивая свистящее дыхание из опустившихся на рот усов. Вокруг пищали дети, скрипели корзинки, гроыхал чайник, торчали с верхней полки толстые подошвы подкованных сапог с налипшей на них кожурой колбасы, крутился и падал табачный дым. Решетчатый скупой свет мелькал из окна по хаосу угловатых вещей, слабо перебивая унылую вагонную темноту. Гул и колесные перебои обручем обхватывали голову, давя на виски стыками. И надо всем этим кошмаром царила, как бы руководя им и подавляя атлетической комплекцией, усатая дама в ротонде и дымчатом пенсне. Вошла она в вагон еще в Харькове, поместилась против Филиппа Степановича, и сразу же оказалось, что ею заполнено все отделение. Ее сопровождал хилый молодой человек с плохими зубами, в полосатых брючках и с галстуком бабочкой. Суетясь, он тащил следом за ней объемистый баул, непомерной величины парусиновый зонтик и гроыхающий чайник. Подле нее он копошился, как у подошвы горы, а она мела подолом вагонное сметье и говорила громким басом:

— Да будет тебе под ногами путаться! Садись на лавку и сиди смирно. Тьфу, сморчок, смотреть на тебя противно — и в кого это ты только уродился таким поганцем, прости господи.

— Фи, мамаша, как вы выражаетесь при посторонних. Они могут подумать бог знает что.

— А вот ты у меня поговори еще, цац. Не смей меня называть мамашей. Какая я тебе мамаша? Добро бы еще был законный, а то, извините, байстрик.

— Хи-хи, — тоненько хихикнул молодой человек и поправил галстучек, — вы ее, товарищи, не слушайте.

— Как это не слушайте? Извините, пожалуйста! Нет, слушайте все, как я из-за этого недоноска третий год сужусь.

Дама грозно уперла руки в бедра, выставила вперед чудовищный бюст, по форме своей напоминающий сердце, и, уставившись в упор на Филиппа Степановича глазами, заклеенными черными пластырями пенсне, пробасила:

— Нет, слушайте все! И вы, молодой человек, слушайте! — Она ткнула Ванечку пальцем в грудь. — И вы, там, на верхней полке, и вы, мадам. Все слушайте, какие мне приходится терпеть муки ради этого шмендрика, которого я, — тут ее голос дрогнул и вдруг перешел на флейту, — которого я, может быть, носила под своим сердцем!

Затем она вытерла щеки большим полотняным платком, трубно высморкалась и рассказала всем подробно и громко свою длинную историю, которая в коротких словах заключалась в том, что в свое время она жила экономкой у некоего полтавского холостяка-помещика, отставного гвардии ротмистра Попова-Попова, красавца и негодяя. Отставной ротмистр ее соблазнил, вследствие чего в тысяча восемьсот девяносто шестом году родился сын. Жениться и признать ребенка красавец-негодяй решительно отказался, несмотря на благородное происхождение экономки. Она поклялась отомстить, хотя и продолжала оставаться экономкой. После революции хутор у отставного ротмистра Попова-Попова отобрали и объявили совхозом, а самого его сделали заведующим. Однако же, и впад в ничтожество, покрыть старый грешок Попов-Попов отказался. Тут вышел советский закон об алиментах, и, хотя к тому времени сыну уже оказалось под тридцать и молодому человеку пора было самостоятельно поступить на житейский путь, обольщенная экономка решила жестоко судиться и не оставлять дело до тех пор, пока ей не присудят с негодяя алименты за все тридцать

лет, с начислением установленной пени и взысканием судебных издержек. И началась волынка. Она подавала в нарсуд, из нарсуда переносила в губсуд, из губсуда в верхсуд, из верхсуда во ВУЦИК. Всюду отказывали. Она ездила к Петровскому в Харьков и рыдала в приемной необыкновенным басом. Петровский тоже отказал. Теперь же она ехала в Москву к самому Калинин.

Голос ее гремел, как орган, то рокочущими низами, то глицериновой фистулой верхов, а вся ее повесть в целом звучала взволнованной и мощной ораторией. Говорили она до чрезвычайности долго, а когда выходила по своей надобности из вагона, молодой человек говорил соседям:

— И совершенно напрасно мамаша тратится, я уже, слава богу, не маленький, мне в киностудию поступать пора-с.

Дама говорила весь день и всю ночь — заговорила всех в доску. У Филиппа Степановича начался жар. В ушах шумело нестерпимо. Печень ныла. Сердце давало перебои. Дикие мысли скакали в голове, как остатки разбитой в бою конницы. Голос дамы забивал душной ватой, а сама дама реяла и простиралась до необъятных размеров. Она качалась уже в воздухе. На ее голове расцветала вдруг, как виктория-регия, розовая шляпа с крыльями. В ушах начинали болтаться серьги.

— Изабеллочка, — в ужасе шептал Филипп Степанович, хватаясь за Ванечку потными руками, — тсс.

И грозный бас всю ночь стучал молотком по вискам:

— «Извините, говорит, мадам, но закон обратной силы не имеет», а я ему: «А ребенок, спрашиваю, обратную силу имеет?» Так я и самому Калинин скажу. «Ребенок, скажу, товарищ, обратную силу имеет? Пускай негодяй платит алименты за все тридцать лет».

Пытка продолжалась до утра. В десять приехали в Москву на Курский вокзал. Филипп Степанович еле держался на ногах. Ванечка посмотрел на него при белом утреннем свете и ужаснулся — он был страшен. Они вышли в город. Термометр показывал пять градусов холода.



Дул гадкий ветер. Обглоданные им деревья упруго свистали в привокзальном сквере. Камень города был сух и ледяной. По окаменелым отполированным лужам ползла пыль. Граждане с поднятыми воротниками спешили по делам. Трамвай проводил по проволоке сапфирным перстнем. Обозы ломовых упрямо везли зашитую в рогожи кладь. Дети бежали, раскатываясь по лужицам, в школу, иные были в башлыках. Приезжие с корзинами в ногах скакали гуськом в экипажах, изумленно глядя на кропотливое трудовое движение Москвы, освещенной трезвым, неярким, почти пасмурным небом.

— Постой, — сказал Филипп Степанович, как бы приходя в себя после обморока, и засуетился, наводя на ужасное лицо выражение превосходства, — постой! Прежде всего спокойствие. Тсс!

И он озабоченно поднял вверх указательный палец.

— Ты вот что, Ванечка... Отправляйся ты прямо, не идя домой, на службу... У нас какая сегодня наличность в кассе? Впрочем, это не суть важно... Затем, значит, ты того... Ты там присмотри за ними, чтобы они не напутали. И молчок, тсс! Никому ни звука. Как ни в чем не бывало. Понятно? А я сейчас. Вот только съезжу домой и устрою кое-какие дела... Отчет надо подготовить. Главное, тсс! Ни звука. И все шито-крыто. Корова — сто двадцать, раки — семьдесят пять, свиная конституция — четыреста... А пальто — это вздор, воздух сравнительно теплый, и я ни капли не озяб без пальто... Сейчас вот я пойду к портному и закажу себе другое пальто. Я, представь себе, без пальто чувствую себя гор...раздо бодрее, чем в пальто. Надо только воротник поднять, и все в порядке. Так ты, значит, отправляйся, а я это все оборудую... Можешь на меня положиться... К двенадцати я заеду. Ну, пока.

Ванечка грустно подсадил Филиппа Степановича на извозчика. Филипп Степанович поднял воротник пиджака и, придерживая его у горла, поехал, валясь поголубевшим носом вперед.

— Главное, спокойствие, никакой паники, тсс! И все в порядке... Можешь положиться на меня... Я это сейчас все улажу... — разговаривал он по дороге сам с собой убедительным голосом. — Сейчас я все сделаю. Вино-ват, какое у нас сегодня число? А Изабеллочке — дуля с маком! — И он украдкой показал извозчику язык.

Ванечка некоторое время стоял, равнодушно смотря ему вслед, потом подумал, повернулся и, роя носками землю, пошел в МУУР.

### **Глава двенадцатая, и последняя**

Тяжело сопя, Филипп Степанович взобрался по лестнице на третий этаж и остановился возле двери. Тут он сердито покашлял, оправил одежду, потер озябшие руки и, наконец, четыре раза позвонил. За дверью шумно пробежали и притихли. Дверь распахнулась.

— Филя! Филечка! Дружок! — воскликнул рыдающий женский голос, и вслед за тем жена припала к плечу своего мужа.

Бодро покашливая, Филипп Степанович вступил в переднюю.

— А вот и я, Яниночка, — сказал он несколько поспешно и развел руками.

Она оторвалась от его плеча и, пошатываясь, отступила.

— Боже мой, боже мой, — прошептала она и в ужасе заломила руки. — Филечка! Котик! В каком ты виде! Бескалош! Где твоё пальто? Какой ужас! Тебя искали, за тобой приходили, боже мой, что же это будет! Все продано. Зоя ходит стирать белье. Мы не имеем что есть. Я схожу с ума.

— Прежде всего спокойствие, — высокомерно сказал Филипп Степанович. — Все в порядке. Ванечка уже там. Тсс!

Он таинственно поднял палец и блуждающими глазами посмотрел вокруг. Из дверей в коридор выглядывали

соседи. Не замечая их, Филипп Степанович деловито прошел в комнаты.

Голая чистота нищеты посмотрела на него из пустого угла столовой, где должна была стоять ножная швейная машина Зингера. Занавесей на окнах не было. Над столом не было лампы. Но ничего этого не заметил Филипп Степанович, весь охваченный лихорадочной суетой деятельности.

На подоконнике боком сидел Коля в пионерском галстуке. Прикусив изо всех сил руку, чтобы не плакать, с пылающими от стыда малиновыми ушами и заплаканными глазами, он в отчаянии смотрел в трубу самодельного громкоговорителя, сделанного из бутылок за время отсутствия Филиппа Степановича. Из трубы слышался строгий, будничный голос, произносивший с расстановкой: «...запятая предлагает краевым запятая областным и губотделам труда выработать такие нормы запятая причем должны быть учтены местные условия работы точка абзац при составлении норм запятая...»

— Вот что, Николай, — деловито сказал Филипп Степанович, — все — вздор! Сейчас мы будем составлять отчет. Возьми бумажку и карандаш и записывай. Ты должен помочь отцу. Сейчас я тебе продиктую все по порядку, а потом мы перепишем. Главное, спокойствие. Пиши же, пиши...

Филипп Степанович забегал вокруг стола, как был, в шляпе, с портфелем под мышкой, сильно жестикулируя и бормоча:

— Пиши: железнодорожные билеты — восемьдесят пять, на чай — три, извозчики — семнадцать, раки — семьдесят пять, свиная конституция — четыреста, корона — сто двадцать... Пиши, пиши, сейчас мы это все устроим. Ванечка уже там. Надо только поторопиться.

Жена стояла в дверях и безмолвно крутила руки. Коля сидел на подоконнике спиной, давя изо всех сил головой в раму. Филипп же Степанович продолжал бегать по ком-

нате, натываясь на углы мебели, и, размахивая руками, бормотал:

— Пиши, пиши... Сейчас... Погоди... Все это чепуха! На чем я бишь остановился? Виноват! А уполномоченный-то оказался гу-усем! У меня шесть — у него семь. У меня семь — а у него восемь! Как это вам понравится? Ха-ха. У меня восемь — у него девять!

Филипп Степанович засмеялся сухим, деревянным смехом и сам вдруг испугался этого смеха. Он очнулся, посмотрел вокруг осмысленными глазами и весь осунулся. Его лицо стало сизым. Он слабо потрогал пальцами длинную свою шею.

— Яня, — сказал он густым, высоким, нежным и спертым голосом, — Яня, мне худо.

— Филечка, дружок!

Он обнял ее за толстые плечи, пахнущие кухней, опираясь на них, доплелся до постели, лег и застучал зубами...

Вечером его взяли.

В самом начале марта, около четырех часов дня, из ворот Московского губернского суда под конвоем вывели двух человек.

Морозный день был прекрасен. Ванечка шел косолапо, с поднятым воротником, глубоко засунув руки в карманы пальтишка, несколько сбоку и впереди Филиппа Степановича, который еле поспевал за ним, торопясь и спотыкаясь. Лютый воздух цепко охватывал дыхание и возился вокруг кропотливым, кристаллическим мельканием секундных стрелок. Янина и Зоя ожидали Филиппа Степановича на улице. Едва его вывели и повели посередине самой дороги, они побежали за ним по обочине тротуара, обегая снежные кучи и скользя по накатанным выемкам подворотен.

Филипп Степанович был одет в потертый дамский сапог на вате, голова его была по-бабьи закутана в башлык, завязанный на затылке толстым узлом; из башлыка тор-

чали поля каракулевой шляпы уточкой, мертвый нос да острая седая борода; в руках болталась веревочная кошелка с бутылкой зеленого молока. Ничего не видя и ни на что не обращая внимания, он шел старчески, валясь вперед, путаясь и усердно семена согнутыми в коленях и одеревенелыми ногами.

Солнце опускалось за синие крыши. Розовое, совершенно чистое небо хорошо и нежно стояло за куполами Страстного монастыря. Иней падал с белых ветвей бульвара. Твердый снег визжал и трещал под подошвами — селитрой. Дворники сбрасывали с крыши пятиэтажного кафельного дома снег. Плотные пласты вылетали на обморочной высоте из-за карниза в голубом дыму и, увеличиваясь, неслись вниз компактными штуками белого материала, разворачиваясь на лету волнистыми столбами батиста, и хлопались, разлетаясь в пыль у подошвы дома. Санные колес и трамвайные рельсы блистали на поворотах сабельным зеркалом. Через дорогу под барабан важно переходил отряд пионеров. Рабфаковцы в пальтишках на рыбьем меху перескакивали с ноги на ногу или лепили друг другу в спину снежками. Под деревьями бульвара мелькали пунцовые платки и щеки. Звенели и слипались, как намагниченные, коньки. На площадках трамвая везли лыжи. В засахаренных окнах были продукты — леденцовые глазки. Иногда из переулка с Патриарших прудов долетало несколько парадных тактов духового оркестра. Тончайший серп месяца появился над городом, и человек в австрийской шинели уже устанавливал у памятника Пушкину телескоп. Гроздь воздушных шаров — красных, синих, зеленых, — скрипя и покачиваясь, плыли над толпой, радуя глаза своей свежей яркостью волшебного фонаря и переводных картинок. Город дышал молодым дыханием езды и ходьбы.

Сослуживцы дошли до угла Тверской и вдруг увидели Пикиту.

Он бежал навстречу им, за решеткой бульваров, кишил и делал знаки. Ванечка вынул из кармана руку и ук-

радкой показал Никите растопыренную пятерню — пять лет.

Никита вытянул лицо и покачал головой с состраданием. «Пять, мол, лет. Ай-яй-яй».

И тут Ванечка вдруг, как будто в первый раз, сквозь сон, увидел и ощутил по-настоящему всю свежесть и молодость движущейся вокруг него жизни.

Пять лет! И он стал думать о том чудесном, замечательном и неизбежном дне через пять лет, когда он выйдет из тюрьмы на свободу.

Думая об этом, он улыбнулся и, оглядевшись, увидел двух женщин, бегущих рядом с ними по обочине. Одну — толстую, взволнованную, утирающую лицо платком, другую — молодую, тонкую, в апельсинового цвета вязаной шапочке, в бедном синем пальто, без калош, озябшую, милую, с заиндевевшими кудерьками волос и слезинкой, замерзшей на румяной щеке.

*Декабрь 1925 г. — август 1926 г.*

*Москва*

# Святой колодец







— **З**апейте водичкой. Вот так.

А теперь спите спокойно. Я вам обещаю райские сны.

— Цветные?

— Какие угодно, — сказала она и вышла из палаты.

После этого начались сны.

Мы сидели под старым деревом на простой, некрашеной, серой от времени скамье где-то позади нашей станции, рядом со Святым колодцем, откуда по железной трубке текла слабая, перекрученная струйка родниковой воды, сбегая потом в очень маленький круглый пруд, на четверть заросший осокой, изысканной, как большинство болотных растений.

Невдалеке стояла сосна, совсем не похожая на те мачговые сосны, которые обычно растут в наших лесах, стесняя друг друга и безмерно вытягиваясь вверх в поисках простора и света, а сосна свободная, одинокая и прекрасная в своей независимости, с толстыми лироподобными развилками, чешуйчато-розовыми, и почти черной хвоей. И во всем этом пейзаже было нечто тонко живописное: в игрушечном прудике, превращавшемся во время короткого, теплого дождика в картинку, кропотливо вышитую бисером, в четырех закрученных облачках, которые ползли по голубым линейкам неба, как белые улитки, на разной высоте и с разной скоростью, но в одном

направлении, а в особенности в фигуре старика, пришедшего к Святому источнику мыть свои бутылки.

Старик вынимал бутылки одну за другой из мешка, полоскал в воде и ставил шеренгой для того, чтобы они высохли, прежде чем он пойдет их сдавать в стационарный продовольственный магазин. Здесь были самые разнообразные бутылки — белые и зеленые — из-под вермута, зубровки, портвейна, «столичной» и «московской», кагора, рислинга, «абрау-каберне», «твиши», «мукузани» и многие другие — и среди них лилипутики четвертинок, как маленькие дети среди нищих, — и каждую из них старик тщательно полоскал снаружи и внутри и ставил одну возле другой, причем мы заметили, что, хотя ряд и удлинялся, количество бутылок в мешке не убавилось, как будто бы мешок был волшебный, и это нас немного беспокоило, подобно простому фокусу, который трудно разгадать.

Жена сказала, пожимая плечами, что это вовсе и не мешок, а самая обыкновенная прорва, в смысле прорва времени, попросту говоря — вечность.

Вечность оказалась совсем не страшной и гораздо более доступной пониманию, чем мы предполагали прежде.

Мы заметили над прудом крутой полукруглый мостик, который вместе со своим отражением составлял виньетку заглавного «О», и на этом мостике стоял другой старик — а быть может, и тот же самый, — но только с узкой, чрезвычайно длинной седой бородой и еще более узкими — как тесемки — усами, — старый китаец, одетый в шелковый бедный халат; его воронкообразная шапочка по форме и по ярко-оранжевому цвету напоминала перевернутую шляпку известного грибка лисички. Он низко держал в сморщенных старческих руках хрустальную мисочку, в которой плавала глазастая золотая рыбка цвета настурции. Старик предложил нам с церемонной вежливостью купить эту рыбку на обед, но так как он говорил на одном из неизвестных нам диалектов Южного Китая,

то мы молча пошли дальше, а старик долго кивал нам вслед своей — в общем-то, еще совсем не старой — головой на тонкой фарфоровой шейке, в то время как появился еще один — третий! — старик, а может быть, все тот же самый, — но на этот раз опять китаец — и шел по горизонту, держа на плечах коромысло с двумя мелкими плетеными корзинами, делавшими его похожим на весы.

Слишком большое количество стариков китайцев слегка нас встревожило — в особенности встревожил человек-весы, — и мы поспешили покинуть эту прелестную местность, напоминавшую окрестности Куньмина — города вечной весны, и переселиться в другое место, быть может, куда-то в Западную Европу.

Куньмин — город вечной весны.

А старик — заметьте себе! — тем временем все полоскал и полоскал свои бутылки, и в музыкальном бульканье воды мне чудились спорящие голоса.

— Здравствуйте. Как самочувствие?

Я уже был морально подготовлен ко всему и не слишком испугался.

Мне понравилось его почти юношеское лицо, узкое, с темными ласковыми глазами гипнотизера, которые проникновенно смотрели в меня как бы из прорези полумаски. Он осторожно, почти неощутимо, потрогал мои руки на сгибах, где мутно просвечивали голубые узлы вен.

— До завтра, — сказал он.

— Завтра — это только другое имя сегодня, — произнес я, повторяя чью-то чужую мысль.

Он или не оценил, или просто не понял моей излишней гонкой шутки, потому что ничего не ответил и как-то совсем незаметно исчез.

Так наступила пора великих превращений, как некогда сказал умирающий Гёте.

«Святой колодец» — название небольшого родничка вблизи станции Переделкино Киевской железной дороги, возле которого я обдумывал эту книгу и размышлял о своей жизни.

Первое время мы совсем не скучали. Мы опять любили друг друга, но теперь эта любовь была как бы отражением в зеркале нашей прежней земной любви. Она была молчалива и бесстрастна. Мы занимали, сообразно своему вкусу, не большой, но и не маленький пряничный домик в два этажа с высокой черепичной крышей и прелестным садиком, полным цветов. Перед ним рос постоянно цветущий конский каштан, который был, по крайней мере, в пять раз выше дома. Для того чтобы увидеть все дерево целиком, от земли до кроны, нужно было отойти на сто метров, да и то начинала кружиться голова, а домик тогда казался совсем маленьким, просто игрушечным. Цветы сами по себе напоминали маленькие восковые деревца — елочки, — в известном порядке рассажённые по всей кроне, которая была составлена из больших пяти-, семи- и даже девятипалых листьев, как будто бы тщательно нарисованных тонким английским графикам-прерафаэлитом вроде Обри Бердслея. Ствол дерева был почти черный, даже, можно сказать, совсем черный, что еще сильнее подчеркивало восковую розоватость соцветий и полупрозрачную зелень кроны.

Я это все описываю так подробно потому, что теперь у меня совсем исправилось зрение, я давно уже не носил очков и видел все поразительно точно и далеко, как в юности, когда я мог с наблюдательного пункта вести пристрелку без бинокля.

Возле дома, как и подобает в цветных сновидениях, росло также несколько кустов породистой сирени, цветущей поразительно щедро, крупно и красиво. Мы не уставая восхищались оттенками ее кистей: густо-фиолетовыми, почти синими, лилово-розовыми, воздушными и вместе с тем такими грубо материальными, осязаемыми,

плотными, что их хотелось взять в руку и поддержать, как гроздь винограда или даже, может быть, как кусок какого-то удивительного строительного материала.

Вокруг, за низким сквозным заборчиком, выложенным из чугунно-багрового кирпича — через один, — было также много цветущей жимолости, коротко остриженно-го боярышника, крушины и еще каких-то красивых декадентских растений вроде араукарий или филодендронов. Посреди ровного газона стояли солнечные часы, которыми, впрочем, никто не интересовался.

Нам никто не мешал. Мы жили в полное свое удовольствие, каждый в соответствии со своими склонностями. Я, например, злоупотребляя своим сверхпенсионным возрастом, старался ничего не делать, а жена с удовольствием готовила мне на электрической плитке легкие, поразительно вкусные завтраки из чудесно разделанных, свежих и разнообразных полуфабрикатов, упакованных в целлофан, — как, например, фрикадельки из райских птиц и синтетические пончики. Мы также ели много полезной зелени — вроде салата, латука, артишоков, спаржи, пили черный кофе. Нам уже не надо было придерживаться диеты, но мы избегали тяжелой пищи, которая здесь как-то не доставляла удовольствия. При одной мысли о свином студне или о суточных щах с желтым салом мы теряли сознание. Мы объедались очень крупной, сладкой и всегда свежей клубникой с сахаром и сливками, любили также перед заходом солнца выпить по чашке очень крепкого, почти черного чая с сахаром и каплей молока. От него в комнате распространялся замечательный индийский запах. Я же, кроме того, с удовольствием попивал холодное белое вино, пристрастие к которому теперь совершенно не вредило моему здоровью и нисколько не опьяняло, а просто доставляло удовольствие, за которое потом не нужно было расплачиваться. Мы также охотно ели мягкий сыр, намазывая его на хрустящую корочку хлеба, выпеченного не иначе как ангелами. Я уже не говорю о том, что рано утром мы завтракали рогалями со сли-

вочным маслом и джемом в маленьких стеклянных баночках, который напоминал зеленую мазь или же помаду.

Погода была всегда очень хорошая, не утомительная, чаще всего солнечная, теплая и ласковая, и от мокрой земли пахло весной.

Почти каждый день мы садились в небольшую машину и мчались по шоссе мимо странной живописи и графики дорожных знаков, которые, подобно работам абстракционистов хотя и не имели ничего общего с живописью, но тем не менее руководили нашим движением, предупреждая и давая понять условным языком своих ломаных линий, зигзагов, крючков, треугольников, разноцветных кружков и полосок обо всем, что подстерегает нас впереди, то есть в самом недалеком будущем. Курбе говорил: «То, чего мы не видим, несуществующее и абстрактное, не относится к области живописи». Это верно, но к какой-то области оно все же относится! Я думаю, к области новой — третьей — сигнальной системы, которая идет на смену устаревшей. «Только письмо и звук, — говорил Джон Бернал, отказывая цвет в этом праве, — воплощают мысль человека, а теперь счетные устройства и их коды могут материально воплотить человеческую мысль в совершенно новые формы, в какой-то мере заменить язык и даже пойти в своем развитии дальше языка».

Мы мчались мимо реклам, нарисованных светящимися красками, то и дело въезжая в зеленые тоннели вязов, смешивавших над нами свои таинственные кроны.

Сигналы из будущего неслись нам навстречу, предостерегая и предотвращая опасности, подстерегавшие нас за каждым поворотом времени.

На поворотах мелькали бело-черно-красные столбики, напоминавшие абстрактное изображение аистов, стоящих вдоль дороги.

У меня уже не болело плечо. Никогда не кружилась голова, не ломило затылок.

Жену тоже ничего не терзало. Мы почти никогда не

спали, ни днем, ни ночью, а чаще всего сидели в старомодных креслах перед камином, где тлело громадное бревно, положенное косо. Она вязала. А я старался ничего не делать. Даже не думать. Я только смотрел в окно и собирал различные наблюдения, не имевшие никакой ценности: ни научной, ни художественной, ни философской. Так, например, я заметил, что из одной и той же почвы, почти из одного и того же места растут два совершенно различных растения — одно красивое и ценное, вроде конского каштана, другое некрасивое и дешевое, с плохой древесиной, вроде ольхи. Вообще я очень много наблюдал за материей, принявшей ту или другую форму. Я пришел к выводу, что не только содержание обуславливает форму, а еще что-то другое. Наблюдая за природой, я сделал вывод, что раз все, что мы видим, есть физические тела и как таковые имеют объем — тело дороги, тело кленового листа, многочисленные тельца песка (ибо каждая песчинка есть тело), даже тело тумана, — то и живописи в чистом виде не существует, она всегда лишь более или менее удачная имитация скульптуры.

Итак, пусть лучше вместо живописи будет раскрашенная скульптура, а дороги пусть лучше стоят где-нибудь на опушке леса, накрученные на громадные дощатые катушки вроде тех, на которые наматывают электрический кабель.

Я проводил время бесполезно, так как не стану утверждать, что занятие вопросами формы приносит пользу.

Даже очень красивый закат среди деревьев и колоколен имел не только цвет, но также форму, объем, вес, как будто был отлит из гипса, раскрашенного каким-нибудь посредственным пейзажистом.

Когда-то мы с женой дали слово любить друг друга до гроба и даже за гробом. Это оказалось гораздо проще, чем мы тогда предполагали. Только любовь приняла дружную форму.

Я носил поверх свитера потертую, удобную куртку. И

прочные башмаки. Жена одевалась, как и прежде, тоже во что-то шерстяное, серенькое, и в ее ушах ярко блестели различными цветами — от фиолетового до зеленого — очень маленькие бриллиантовые сережки, еще не превратившиеся в чистый уголь. Часто мы совершали прогулки пешком, и тогда она надевала короткое кожаное пальто и красные перчатки.

Однажды на пешеходной дорожке мы встретили Джульетту Мазину с коротеньким зонтиком под мышкой и поздоровались с ней. Она нас не узнала, но улыбнулась приветливо. В другой раз мы увидели старичка в соломенной шляпе, который уступил нам дорогу и долго потом смотрел нам вслед через старомодное, какое-то чеховское пенсне глазами, полными слез. Но лишь после того, как он скрылся из глаз, я понял, что это был мой отец.

Некоторое время мы смотрели на старую водяную мельницу с остановившимся колесом, по зеленой бороде которого скупно сочилась вода. Перед мельницей стояли старые головастые ветлы, похожие на богатырские палицы, из которых во все стороны торчали голые прутья, и все это напоминало мучения святого Себастьяна, утыканного стрелами. Особенно восхищались мы цветом листвы далеких рощ — туманно-синей, волнистой, с большими купами отдельных деревьев — вероятно, буков, — мягко-округлых, как раскрашенные облака. Ячменные поля колосились, и был отчетливо — как в бинокль — виден каждый отдельный колос, тяжелый, граненый, скульптурный, хорошо раскрашенный; ярко-желтые полотнища сурепки лежали на полях, давая представление о малейшей складке местности. На горизонте как бы прямо из-под земли росла готическая колокольня с прямым крестом, на вершине которого можно было простым глазом разглядеть железного петушка.



Но особенно скульптурным делался пейзаж, когда вдалеке появлялось ярко-алое пятно, резкое, светящееся, постепенно вырастая и превращаясь в объемное тело молодой молочницы, едущей на своем белом мотороллере с серебряными бидонами за спиной. У нее была высокая прическа соломенного цвета, так удачно сочетавшаяся с ирко-алым платьем, говорившим без слов, что девушке ровно девятнадцать лет, потому что я давно уже заметил, что восемнадцатилетние блондинки чаще всего носят синее, а двадцатилетние — черное, с золотым пояском. У нее в руке был длинный початок молодой кукурузы, который она грызла; издали можно было подумать, что она играет на флейте.

Когда мы проходили мимо ферм, откуда густо пахло навозом и парным молоком, и мимо маленьких городков с ночными бильярдными, шоссе превращалось как бы в главную улицу, по которой бегали дети, гуляли, обнявшись, влюбленные и целые благовоспитанные семьи шли в полном составе в гости к бабушке и дедушке, неся в руках нарциссы, завернутые в папиросную бумагу, в то время как в церкви позванивали тонкие воскресные колокола и в пролете каменной готической двери, всегда напоминавшей мне след раскаленного утюга, пылали золотые костры восковых свечей. Мы раскланивались со всеми, и все любезными улыбками отвечали нам, хотя никто нас не узнавал. Все это было очень мило, но безмерно тоскливо.

— Ты знаешь, я ужасно соскучилась по нашей внучке, — вдруг сказала жена.

Я удивился, так как привык к мысли, что со всем этим давно уже покончено. Сам я никогда ни о чем не вспоминал. Я всем простил и все забыл. Слова жены грубо вернули меня к прошлому. В моем воображении появились маленькие детские ручки, крепенькие и по-цыгански смуглые, с грязными ноготками. Они протянулись ко мне, и тотчас же я почувствовал страстное желание увидеть внучку, втащить к себе на колени, тискать, качать, щекотать, нюхать детское тельце, целовать маленькие, штыливо-разбойничьи воробыные глазки, только что

ставшие познавать мир. Я вспомнил, что ее зовут Валентиночка. Не составляло никакого труда ее увидеть. Я уже стал ее видеть, но были сложности. Нянька. Не могла же Валентиночка появиться здесь одна, без няньки. Должна была бы появиться и нянька.

— Понимаешь ли, — сказал я, — допустим, появится нянька. Это еще куда ни шло. Но нельзя же разлучить девочку с родной матерью.

— Тем более что это ведь как-никак наша родная дочь, — заметила жена с упреком. — Неужели ты забыл наших детей? Ведь у нас были дети. — Она заплакала. — Ты помнишь? Были прелестные дети. Девочка и мальчик.

Я улыбнулся:

— Конечно, конечно. Перестань плакать. Двое отличных ребят. Я даже помню, как я их называл в шутку. Шакал и Гиена. Это было не похоже, но забавно.

— Я их очень люблю, — сказала жена, все еще продолжая просветленно плакать. — Я их люблю больше всего на свете.

— Даже больше Валентиночки? — лукаво спросил я.

— Ну разумеется!

— А ведь существует мнение, что бабушки любят своих внучат гораздо сильнее собственных детей.

— Чепуха! Никого, никого, никого не любила я так сильно, как своих детей.

— Шакала и Гиену, — сказал я. — Но разве ты меня любила меньше?

— Тебя я никогда не любила.

Она решительно вытерла глаза душистым платочком.

— А их безумно любила. Моих дорогих Шакала и Гиену. Ты помнишь? — спросила она.

И я понял: она имела в виду один день, видение которого вечно и неподвижно стояло передо мной и не переставало тревожить мое воображение своими резкими красками, своим темным рисунком, хотя и несколько траурным, но все же ярко освещенным серебряным солнцем.

Трудно сказать, в какое время года это было. Да и было ли это на самом деле? И если было, то в каком измерении? Такие слишком резкие тени, такие слишком яркие краски могли быть и весной, и в разгар осени, но, судя по той жажде, которая тогда мучила всех нас, судя по зною и пыли, вероятно, это было лето, самый зенит июля со всеми его городскими запахами бензина, ремонта, жидкого асфальта, известки, плохой масляной краски, сваренной на ужасной искусственной олифе, которая могла отравить человека, свести его с ума своим острым чадом. Да, теперь припоминаю: это действительно было лето, и мы блуждали в раскаленной «эмке» вокруг колхозного рынка у Киевского вокзала, то и дело попадая в какие-то ямы, в строительные тупики, подпрыгивая на выбоинах мостовой, буксуя в песке или же отпечатывая свои шины в только что положенном, еще дымящемся асфальте. Изсюду висели выгоревшие кумачовые полотнища с белыми буквами, и по фасадам домов тянулись электрические лампочки слабого накала, которые, вероятно, забыли погасить, и это придавало знойному дню еще больше блеска, способного довести до отчаяния.

Каждый миг нам приходилось останавливаться, схватить задом, выскакивать на тротуар, разворачиваться, каждый миг мы попадали в новую безвыходную ситуацию, но непременно в поле нашего зрения была какая-нибудь гипсовая статуя или же бюст Сталина — даже в окне булочной, которое было задрапировано красным кумачом, добела выгоревшим на адском солнце, чью силу с трудом выдерживали гирлянды сушек и баранок, развешенные над бюстом, как странные окаменелости.

Заднее окошко было завалено авоськами с вялой зеленью, с помидорами и синими сморщенными баклажанами, так что теперь я с уверенностью мог бы сказать, что это происходило в конце лета, и мы уже побывали на Киевском колхозном рынке и теперь колесили, отыскивая неправочную станцию, а вокруг толпились старые-пре-старые избушки дореволюционного Дорогомилова и но-

вые многоэтажные дома, еще не оштукатуренные, но уже изрядно обветшавшие, с захлавленными балконами, с приплюснутыми крышами, с дорическими, ионическими, коринфскими колоннами, лишавшими света и без того крошечные окошки, с египетскими обелисками по сторонам крыши и ложноклассическими изваяниями — порождение какого-то противоестественного ампира, от которого можно было утореть, как от запаха искусственной олифы.

Жена, полумертвая от жары, сидела сзади, заваленная покупками, я помещался рядом с шофером, а дети — Шакал и Гиена — помещались позади, положив лапы и подбородки на спинку моего сиденья, покрытого выгоревшим чехлом. Им тогда было — девочке одиннадцать, а мальчику девять, и я их в шутку называл Шакал и Гиена. На самом же деле они бывали шакалом и гиеной в самых редких случаях, когда крупно скандалили или сводили друг с другом личные счеты. А в основном мы ничего не могли о них сказать плохого.

Превосходные дети, их так теперь нам не хватало!

Тогда девочка недавно болела тифом, и волосы на ее голове еще не вполне отросли и портили ее славненькое, в общем, личико, у мальчика же на лбу росла коротенькая челка школьника младшего возраста, и он уже заметно вырос из своей детской курточки. Девочка мрачно смотрела вперед, обуреваемая какими-то скрытыми чувствами неудовлетворенности, а мальчик еще все вокруг воспринимал с жадным, даже несколько восторженным любопытством, и в его небольших подслеповатых глазках мир отражался в идеально-улучшенном, зеркально-миниатюрном воспроизведении. Девочка еще не достигла возраста Джульетты, но уже переросла Бэки Тэчер, была неинтересно одета, много, самозабвенно читала, размышляла о жизни и уже — по нашим сведениям — раза два или три бегала на свиданья, и ее душонка мучительно переживала какие-то не совсем ясные для меня бури. Она была дьявольски упряма и начисто отвергала действительность, что становилось вполне понятным, стоило

лишь посмотреть на ее веснушчатый, поднятый вверх носик и сжатые губы, в одном месте запачканные школьными лиловыми чернилами.

Мальчик достиг возраста, когда уже перестают мучить котят и в громадном количестве истребляют писчую бумагу, покрывая ее сначала изображениями воздушных боев, горящих самолетов с неумелой свастикой на крыльях, танков, из пушек которых вылетают довольно точно произведенные снаряды, затем однообразными повторениями одного и того же знакомого лица в профиль — с черными усами, с удлиненными глазами гипнотизера; и наконец чудовищными, ни на что не похожими клубками, каляками, молниями и пеплом атомного взрыва с разноцветной надписью «керосимо». Он был от всего в восторге. Мир казался ему прекрасным и полным приятных сюрпризов. Он жадно всматривался вперед, все мотал на ус и лишь ожидал подходящего случая, чтобы чем-нибудь восхититься.

— Смотрите! — вдруг закричал он в восторге. — Продают квас! Вот здорово!

Действительно, далеко в перспективе улицы можно было разглядеть желтую цистерну с квасом, окруженную толпой.

Девочка посмотрела и презрительно пожала плечами.

— Вовсе не квас, а керосин, — сказала она.

— Квас, квас! — радостно и доброжелательно воскликнул мальчик.

— Керосин, — сказала девочка тоном, не допускающим возражений.

Это мог быть, конечно, и керосин, который развозили в подобных же цистернах, но в данном случае это был действительно квас.

— Квас. Я вижу, — сказал мальчик.

— Керосин, — ответила девочка.

— Квас.

— А вот керосин.

Они уже готовы были превратиться в гиену и шакала, но в это время машина приблизилась, и мы увидели цис-

терну, вокруг которой стояли граждане с большими стеклянными кружками в руках.

— Я говорил — квас, — с удовлетворением сказал мальчик.

— Не квас, а керосин, — сквозь зубы процедила девочка, ее глаза зловеще сузились и губы побелели.

Машина остановилась.

— Ты помнишь этот ужасный день? — спросила жена. — Ты помнишь эту кошмарную желтую бочку?

На ней было написано золотыми славянскими буквами слово «квас».

Красавица в относительно белом халате, в кокошнике — царица Несмеяна, — с засученными рукавами, то и дело вытирая со лба пот специальной ветошкой, полоскала толстые литые литровые и пол-литровые кружки и подставляла их под кран, откуда била пенистая рыжая струя.

— Я же говорил, что квас, — с великодушной, примирительной улыбкой сказал мальчик.

— Керосин, — отрезала девочка и отвернулась.

Рядом с машиной стоял высокий гражданин в широких штанах, бледно-голубых сандалиях, в добротной черно-синей велюровой шляпе чехословацкого импорта, которая высоко и прочно стояла на голове, опираясь на толстые уши. Гражданин жадно пил из литровой кружки боярский напиток. Зрелище было настолько упоительное, что Шакал и Гиена засуетились, вылезли из машины, стали вынимать из карманов деньги, примкнули к очереди, выпили по полной литровой кружке, отчего их животы надулись, затем возвратились на свое место и положили липкие лапы и подбородки на спинку переднего сиденья, и мы поехали дальше, любуясь железными конструкциями строящегося университета, который виднелся с Поклонной горы, где недалеко притулилась знаменитая кутузовская избушка.

— Ну? — спросил мальчик с торжеством. — Кто был прав?

— Все равно керосин, — ответила девочка и высокомерно вздернула подбородок, на котором блестели капли кваса.

Мы тогда едва выдержали эту духоту, эту страшную, неопишемую жару, как бы прилетевшую откуда-то из Хиросимы. Даже показалось, что на нас начинает обугливаться одежда. А теперь мы вспоминали об этом просто с грустью.

— Все равно я тебя никогда не любила, — повторила она, опять заплакала и сквозь слезы первая увидела Валентиночку, появившуюся с удивленной нянькой.

А Валентиночка, не обратив на нас ни малейшего внимания, тотчас же побежала по каменной дорожке, сложенной из равноугольных плит, между которыми зеленела молодая травка, в садик, залезла в сарай, где у нас в большом порядке хранились садовые инструменты, и вытасила оттуда старые громадные деревянные башмаки садовника, которые тут же стала мерить. Потом она села на трехколесный велосипед и поехала.

Затем появился наш сын, аспирант, «шакал»: в старых, очень узких блуджинсах, в очках, в вельветовой куртке и в сильно поношенных кедах, свидетельствовавших о его принадлежности к новой генерации сердитых молодых людей.

«Боже мой, — подумал я, — неужели он и здесь раскидает все эти вещи в своей комнате по полу, а кеды просто-напросто поставит на письменный стол, заваленный окурками?» И все же у меня рванулась и задрожала душа от любви к этому долговязому и страшно худому молодому человеку, нашему сыну, которого мы когда-то вместе с женой купали в ванночке: я держал его — теплого и скользкого — на руке, а жена поливала из кувшина, и мы оба, смеясь от счастья, приговаривали:

— С гуся вода, с гуся вода, с мальчика худоба!

Он был у нас тогда действительно пухленький. Теперь, видимо, наступило время худобы.

— Здорово, родители, — сказал он, вытянув шею, и потерял о мою щеку лицом не вполне взрослого мужчины, который бреется еще не каждый день. — Как существуете?

— Удовлетворительно, — ответил я, чувствуя к нему такую любовь, что от нее кружилась голова — как раньше, когда я еще в таких случаях принимал спазмальгин.

Появилась дочь, переводчица, так называемая «гигиена», в высокой прическе, каштановая, весело оживленная, хорошенькая, с наркотическим блеском узких глаз.

— Здравствуй, пулечка, и здравствуй, мулечка, — сказала она отчетливым дискантом, по очереди целуясь с нами с видом вполне послушной, добродетельной молодой женщины.

Я всегда с удовольствием целовал ее мягкие, теплые щеки и шейку и любил погружать пальцы в шапку ее густых, вьющихся каштановых волос, взбитых по моде того времени. Потом она как ни в чем не бывало легла на диван, вытянула скрещенные стройные ноги в нейлоновых чулках и легких туфельках и стала читать — время от времени заглядывая в словарь — книгу, захваченную с собой, причем я заметил, что несколько страниц с углов обуглились. Это был какой-то новый советский роман неизвестного мне автора, который она должна была срочно перевести на английский.

Явился также Олег в штатском, но прежде, чем он появился в комнате, я услышал его голос. Он разговаривал в саду со своей дочкой — моей внучкой. Он взял ее на руки, а она отталкивала его растопыренной пятерней, извиваясь, как угорь, и дрыгая ногами, так как он помешал ей лезть на ограду, вдоль которой стояли на коротких ножках деревца шпалерных груш, тянувших низко над землей ветки в форме семисвечников. Я натянул свитер, вышел из дома и стал отнимать у Олега девочку. Он завладел ее голыми ножками, а я ручонками, и мы оба тинули ее в разные стороны, как хлопушку с бумажным



кружевцем, а потом раскачивали ее, как гамак, и весело смеялись, а она лягалась, и ее воробьиные разбойничьи глазки сверкали радостью сопротивления. Боже мой, как я любил эту капризную девчонку со смуглым, точно слегка закоптевшим тельцем и каштановыми, как у матери, волосами, мою дорогую обожаемую дочкину дочку. Ее ноги были в старых и новых ссадинах.

Прошел теплый дождик, такой легкий и непродолжительный, что мы его даже не заметили. В семь часов мы, как всегда, сели за стол. Я уже — как известно — мог есть все что угодно, но по привычке ограничивался лишь гречневой кашей, творогом и кружкой кефира.

Сын, разумеется, уже исчез, — испарился! — и мы ужинали без него. Я пошел наверх к нему в комнату и, убедившись, что носки, трусы, подтяжки, штаны и все прочее разбросано по полу, а кеды стоят на письменном столе, понял, что все идет правильно: он успел переодеться для вечерних походов. Когда после еды я вышел в садик, то увидел его уже за оградой. Он ехал на мотороллере, а сзади, обняв его голыми руками, грациозно, по-дамски сидела молодая молочница в красном платье, и они промчались по шоссе вдаль, где вместо предметов уже светились их неоновые контуры и плоская овальная крыша заправочной станции с горячей надписью «SSO» светилась, как прозрачная плита искусственного льда. По шоссе проносились длинные машины, унося на своем лаке светящиеся отражения ночного неона.

Название: после смерти.

— Тебе не кажется, что в нашем доме стало довольно спокойно? — спросил я жену вечером.

— Можно подумать, что тебе это не нравится.

— Нет, мне это нравится...

— Так что же?

— Ничего.

— Но все-таки?

— Знаешь, мне кажется, что они занесли сюда возбудителей каких-то никому не нужных воспоминаний, тягостных ассоциаций, может быть даже старых снов. Нет ничего ужаснее старых снов, которые уже когда-то снились. Я боюсь, что мне опять может присниться говорящий кот или что-нибудь еще похуже.

Предчувствие меня не обмануло. Зараза уже проникла в мою кровь, в мой мозг, и этой ночью мне долго и сладко снился Осип Мандельштам, бегущий в дожде по Тверскому бульвару при свете лампионов, мимо мокрого чугунного Пушкина со шляпой за спиной, вслед за экипажем, в котором я и Олеша увозили Надюшу. Надюша — это жена Мандельштама. Надежда Яковлевна. Мы увозили ее на Маросейку — угол Покровского бульвара, в пивную, где на первом этаже, примерно под кинематографом «Волшебные грезы», выступали цыгане. У нас это называлось: «Поедем экутэ ле богемьен» («слушать цыган»). Мы держали Надюшу с обеих сторон за руки, чтобы она не выскочила сдуру из экипажа, а она, смеясь, вырывалась, кудахтала и кричала в ночь:

— Ося, меня умыкают!

Мандельштам бежал за экипажем, детским, капризным голосом шепелявя несколько в нос:

— Надюса, Надюса... Подождите! Возьмите и меня. Я тоже хочу экутэ.

Но он нас так и не догнал, а мы, вместо того чтобы ехать на Маросейку — угол Покровского бульвара, почему-то поехали в грузинский ресторан, который тогда помещался не там, где сейчас находится «Арагви», и даже не там, где до «Арагви» помещалась «Алазань», а — вообразите себе! — в том доме на бывшей Большой Дмитровке, а теперь Пушкинской, где сейчас находится служебный ход Центрального детского театра, что может показаться совершенно невероятным, но тем не менее это

исторический факт, и содержало эту шашлычную частное лицо, так как был разгар нэпа. Но это, в сущности, не важно, а важно то, что шел дождь и мы таки втащили Надюшу за руки на второй этаж в отдельный кабинет — удивительно скучную и плохо освещенную комнату, никак не обставленную и похожую скорее на приемную в собачьей лечебнице. Сюда нам принесли бутылку «телиани», а как только его принесли, тотчас появился мокрый и возбужденный Мандельштам, прибежавший по нашему следу, и он сейчас же начал с завыванием, шепеляво и очень внушительно — «как Батюшков Дельвигу!» — читать новые стихи, нечто вроде:

Я буду метаться по табору улицы темной  
За веткой черемухи в черной рессорной карете,  
За капором снега, за вечным за мельничным шумом...

И так далее — можно проверить и восстановить по книжке Мандельштама, если ее удастся достать, — мне именно так приснилось: «если ее удастся достать», а Мандельштам моего старого сновидения тем временем сел пить «телиани», вспомнил гористую страну и, шепеляво завывая, стал вкрадчиво и вместе с тем высокомерно, даже сатанински гордо декламировать о некоей ковровой столице над шумящей горной речкой и о некоем духанщике, где «вино и милый плов».

И духанщик там румяный  
Подает гостям стаканы  
И служить тебе готов.  
Кахетинское густое  
Хорошо в подвале пить, —  
Там в прохладе, там в покое  
Пейте вдоволь, пейте двое,  
Одному не надо пить.

Его мольбы не имели никакого практического смысла, так как мы пили вчетвером и само собой подразумевалось, что одному не надо пить. Одному надо было только платить! Затем пошли очаровательные трюизмы:

Человек бывает старым,  
А барашек молодым,  
И под месяцем поджарым  
С розоватым винным паром  
Полетит шашлычный дым.

Собственно говоря, все это мне вовсе не снилось, а было на самом деле, но так мучительно давно, что теперь предстало передо мной в форме давнего, время от времени повторяющегося сновидения, которое увлекло меня вместе с розоватым винным паром (и, разумеется, под месяцем поджарым) в ту самую легендарную ковровую столицу, любимую провинцию тетрарха. И то, что раньше не было вполне сном, а скорее воспоминанием, теперь уже превратилось в подлинный сон, удивительный своим сходством с действительностью: например, снег был совсем настоящий, и громадные хлопья падали величаво-медлительно, садясь на вечнозеленую листву магнолий. Весь город был облеплен теплым южным снегом. Прохожие с непривычки скользили и падали, как пингвины, автомобили с ужасающим визгом тормозов делали юзы, крутились на месте, даже ехали в обратную сторону, в городе было смятение, снегопад не прекращался, знаменитая гора тонула в мыльной воде зимнего воздуха, снег, как стая чибисов, кружился над монументом Шота Руставели, и сочные отпечатки новых резиновых галош по всем направлениям пятали белые тротуары центрального проспекта, где в окнах воспаленно желтели пирамиды японской рябины — единственного плода этой небывалой зимы, так как все цитрусы с божьей помощью вымерзли, а местное правительство уже разрабатывало далеко идущие планы открытия для всех трудящихся нарядных катков и лыжных станций.

Симпатичные молодые милиционеры с черными усами и бархатными глазами, стоя на перекрестках, молчаливо регулировали беспорядочное падение снежинок,

громадных, как куски ваты. Они поеживались в своих шинельках с иголки и в мягких сапожках без каблучков, не отвечая на наши вопросы.

Мы были крайне подавлены столь странной зимой сравнительно недалеко от субтропиков... Мы обращались на разъяснении этого таинственного явления к многочисленным прохожим, но все они, так же как и хорошие милиционерчики, молчали, бросая на нас доброжелательно-ускользающие взгляды.

Хотелось спать.

Но кто бы мог поручиться, что я уже не сплю? Не сплю давно?

Нет ничего ужаснее смертной скуки, которая медленно, неотвратно медленно начинается во сне и безысходно длится потом целую вечность.

Что же все это значит, господи боже? Можно было сойти с ума от невозможности постичь душу этого города. Но в этот миг на площади Святого Лаврентия в метели появилась незнакомая и в то же время мучительно знакомая фигура знаменитого поэта Ромео Джероламо: шурящая среднерусская шуба, богатырская фигура, царственно мерцающая снежинками пыжиковая шапка, прекрасное скульптурное лицо пожилого римского легионера и хрипло-гортанный, с могучим придыханием голос хорошо пообедавшего человека.

— Не удивляйтесь, друзья мои, — сказал он с радушной улыбкой восточного гостеприимства, — и, пожалуйста, умоляю вас, не ищите здесь какой-нибудь мистики, а тем более сказочных мотивов тысячи и одной ночи. Все это объясняется гораздо проще: они просто не понимают по-русски.

Но вы, конечно, заметили, что я говорю во множественном числе «мы». Надо объясниться. Мы — это я и еще один, скажем, — человек. Вернее — фантом, мой странный спутник, который приехал со мной в этот край и теперь неотступно, как тень, сопровождал меня на полшага позади: противоестественный гибрид человеко-дятла с костяным носом стерляди, клоунскими глазами, грузная скотина — в смысле животное, — шутник, подхалим, блатмейстер, доносчик, лизоблюд и стяжатель-хапуга.

А ведь я помнил его еще худым нищим юношей с крошечной искоркой в груди. Боже мой, как чудовищно разъелся этот деревянный мальчик Буратино на чужих обедах, в какую хитрющую, громадную, сытую, бездарную скотину он превратился. Увидел бы его Николай Васильевич Гоголь, не «Портрет» бы он написал, а нечто в миллионы раз более страшное...

Старик у Святого колодца мыл бутылки, а он — мой тягостный спутник — тем временем всюду шнырял, вынюхивая, где бы пожить, где бы хапнуть кусок и потом с ужимками отнести его в свою вонючую нору и закопать, как собака закапывает куриную ногу, — где-нибудь в уголке, под шведским или финским диваном или под каким-нибудь финским пуфиком, раздобытым путем унижений, по блату.

Он был моим многократно повторяющимся кошмаром, прелюдией к еще более страшному сновидению о горящем коте.

Он непрерывно присутствовал рядом со мной, прислушиваясь к моему дыханию, он быстро считал мой пульс; он повсюду шлялся за мной по улицам и по крутым горным тропинкам моих сновидений; время от времени он наклонял ко мне свое костяное рыло с отверстиями ноздрей и тревожно заглядывал в мою душу своими тух-

лыми глазами, как бы спрашивая: ты не знаешь, где бы чего хапнуть на дармовщинку? Или рвануть у наивного начальства подачку?

— Ага, ага, — верещал он, — ты теперь сообразил? Они не понимают по-русски. Этим надо воспользоваться, не упустить случая. Ведь верно? А? Ты со мной согласен?

Я умирал от неслыханной, смертельной тоски в этом прелестном полуденном краю, заваленном полуночным снегом.

Знаменитый поэт размахисто раскланялся с каким-то прохожим, причем с его величественной пыжиковой шапки с царственной щедростью сыпались снежинки.

— Кто этот гражданин? — тревожно спросил мой тягостный спутник. — А? Вы мне не скажете, кто это? — Он жарко дышал в лицо знаменитого поэта и просительно заглядывал ему в глаза. — Это руководящий работник, не правда ли? Или, может быть, даже член центральной комиссии? Почему же вы нас не познакомили? Познакомьтесь! Умоляю вас! Пока еще не поздно. Я поцелую ему ягодицы, я полижу их.

— О, не волнуйтесь, — сказал поэт. — Этот человек не заслуживает такой чести, тем более что сейчас довольно-таки холодно. Этот человек всего лишь дегустатор винтреста.

— Ты слышишь! — простонал мой тягостный спутник. — Винтреста! Вдумайся! Его ни под каким видом нельзя выпустить из рук. Иначе мы будем последними идиотами. Верно? Ты со мной согласен?

— Если вам так угодно с ним познакомиться... — галантно сказал поэт и сделал повелительный знак, после чего дегустатор остановился как вкопанный перед солнцем поэзии, и не прошло и часа, как мы уже были самыми лучшими друзьями и сидели у дегустатора в гостинной за столом под громадным оранжевым абажуром, и мой

тягостный спутник, стоя от волнения на хвосте, тыкался носом в корректные усы дегустатора, и его круглые глаза, подернутые нагло-томной пленкой, как бы непрерывно гипнотизируя, твердили: дай по благу вина, дай по благу вина, дай что-нибудь, дай, дай, дай!

— Вот увидишь, он даст! — обращался ко мне тягостный спутник и снова припадал к усам дегустатора. — Даст бесплатно, могу поручиться! — шептал он мне. — Два ящика знаменитого вина «мцване».

...Как труп в пустыне я лежал...

И его голос дрожал глиняной свистулькой, как запавший клапан испорченной шарманки.

А тем временем собирались гости, и мало-помалу разгорелся восточный пир с легким европейским оттенком, который сообщил ему молодой элегантный тамада с двумя или тремя университетскими значками. Он не слишком пытал нас традиционными тостами и не слишком настойчиво заставлял осушать окованные серебром туры рога, так что мы помаленьку надрались без посторонней помощи. А время текло, и пир все продолжался и продолжался, не иссякая. Наши хозяева, и тамада, и все гости, страстные болельщики за местную футбольную команду «Динамо», и дамы — свежие, как только что распустившиеся бутоны ширазских роз или же крепкие влажные овощи, сорванные на заре в огороде, ни в одном глазу, — красивые, румяные, черноволосые, кудрявые, с алебастровыми бюстами, ни дать ни взять ангелы, написанные кистью Пиросманишвили.

Бутылки сменялись на столе среди зелени, фруктов и овечьего сыра каждые пятнадцать минут, как почетный караул, ночь тянулась без исхода, и я всем своим существом чувствовал приближение чего-то страшного. Можно было подумать, что всему этому — как в аду — никогда не будет конца. Однако это оказался не ад, а всего лишь чистилище.



В четыре часа сорок две минуты пополуночи пир начал иссякать, речи сделались сначала аритмичными, а потом совсем перестали прощупываться, сопротивляемость упала до нуля, еще немного — и должна была наступить клиническая смерть, но, по-видимому, распорядитель пира не считал, что веселью пришел конец, и он, как опытный тамада, всегда имел под рукой верное средство для того, чтобы вдохнуть жизнь в замирающее застолье.

— Прошу вашего внимания, — сказал он совершенно свежим, утренним голосом. — Дамы и господа! Сейчас перед вами предстанет кот. На первый взгляд обыкновенное домашнее животное. Кот Васька. Но не делайте поспешных выводов. Иди сюда, генацвале! Кис-кис-кис!

Двери бесшумно, сами собой, как в американском театре ужасов, распахнулись, и в комнату обреченной походкой вошел громадный светло-серый кот, вышколенное домашнее животное с прищуренными глазами, в глубине которых мерцала вечность, и хвостом, поднятым вверх, как мягкий столб дыма, колеблемый темным ночным воздухом этой таинственной горной страны.

Кот — младший брат тигра — обошел, как гладиатор, вокруг пиршественного стола и остановился возле хозяйни, словно желая воскликнуть: «Ave, Caesar, morituri te salutant!»

— Но, товарищи! — торжественно произнес хозяин, поднимая вверх безымянный палец с бледным обручальным кольцом. — Но, товарищи! Это далеко не простой кот. Это говорящий кот. Он умеет разговаривать.

— Не может быть!

— Но тем не менее — факт! Эврипид, иди сюда! Кис-кис-кис!

Кот еще крепче зажмурился и покорно прыгнул на колени своего хозяина.

— Так. Теперь сиди.

Кот сел, как человек, положил большую детскую голову на край стола и посмотрел вокруг прелестными се-

ро-зелеными глазами капризной девочки. Хозяин почесал его за ухом, и кот стал мурлыкать с таким видом, будто боялся щекотки.

— Внимание, — провозгласил тамада, — попрошу наполнить ваши бокалы.

— Сейчас он будет разговаривать, — сказал хозяин. — Вам это кажется невероятным? В таком случае прошу убедиться. Эврипид, друг мой, скажи им «мама».

Кот весь сжался и болезненно зажмурился. Хозяин обхватил его голову двумя руками, соединив сверху большие пальцы, а указательные сноровисто сунул коту в рот и растянул его, отчего на детском лице кота появилась напряженная, неискренняя улыбка.

— Говори! — повелительно молвил хозяин.

Кот сделал судорожное глотательное движение горлом, разинул свою небольшую розовую треугольную пасть с мелкими зубками и вдруг напряженным, механическим голосом, но совершенно отчетливо произнес, как человек, на чистейшем русском языке:

— Мама.

После чего хозяин сказал «молодец» и сбросил кота на пол.

— Неслыханно! — закричали гости. — Неслыханно! Невероятно! Какое чистое произношение! Артикуляция! Дикция! Совершенно как в Академическом Малом театре! Даже скорее как в Художественном!

Все в один миг оживились, и в затухающий пир была влита свежая струя бодрости, которой, впрочем, хватило ненадолго, так что через час в общественных баках уже явно стала ощущаться нехватка горючего. Однако, по-видимому, время расходиться по домам еще не наступило, и хозяин как бы вскользь заметил, что его кот умеет разговаривать не только по-русски, но также и по-французски.

— Кис-кис-кис! — позвал он.

Кот долго не появлялся, но наконец все-таки вышел из дверей, которые снова сами собой распахнулись перед

ним и затем сами собой бесшумно затворились. Кот страшно медленно направился к хозяину, как бы исполняя тягостную обязанность, связанную с неслыханными муками и унижениями, но — увы! — неизбежную, как рок. Он замедленно прыгнул на колени хозяина и положил подбородок на скатерть, уже основательно залитую к тому времени основными марками местных вин. Морщась от винного запаха и острого аромата сациви, кот с немой мольбой посмотрел на людей лунатическими глазами и снова изо всех сил зажмурился.

— Внимание! — крикнул тамада. — Попрошу всех наполнить бокалы.

— Итак, — деловито сказал хозяин и обхватил большую голову кота обеими руками, но на этот раз уперся указательными пальцами в ушные отверстия кота, а в его рот вставил мизинцы, как-то по-особому скрючил их, ристянул и вывернул так, что розовый рот кота стал напоминать неестественно-странный цветок вроде орхидеи. Кот рванулся, намереваясь замыкать раздражающим голосом, но вместо этого громко и отчетливо произнес на чистом французском языке:

— Маман.

— Вот, — сказал хозяин и смахнул кота на пол, после чего животное с улыбкой отвращения медленно удалилось восвояси, зная, что на сегодня его роль окончена и можно беспрепятственно приступить к ловле мышей.

— Ты понимаешь, это профанация, — простонал человек-дятел, провожая своими тухлыми глазами удаляющегося кота. Его толстое горло раздувалось, и он даже всхлипнул от огорчения. — Иметь такое выдающееся животное, такой мировой аттракцион и употреблять его для развлечения гостей на среднем неофициальном междусобойчике, где даже нет более или менее ответственного начальства. — Он схватился руками за голову с хохолком. — Господи боже мой, да если бы у меня был такой золотой кот, то я бы его, подлеца, научил рассказывать еврейские анекдоты. Я сделал бы из него кота-затейника.

Он бы у меня, сукин кот, выступал только на самых ответственных концертах, и я бы сделался первым человеком среди местной художественной интеллигенции, может быть, даже доктором наук гонорис кляузе. И — ты можешь себе представить! — какую на этой почве можно было бы создать грандиозную рекламу, какой неслыханный подхалимаж, какой космический бласт!

Он пригорюнился, пустил слезу, потом встрепенулся и сделал бурную попытку уговорить хозяина совершить благородный акт восточного гостеприимства и подарить ему говорящего кота. Но из этого ничего не вышло, потому что хозяин оказался человеком с высшим образованием и не признавал этих глупых феодальных штучек — дарить гостю то, что ему понравится. Как ни старался мой тягостный спутник, как ни суетился, как ни кричал, выпуская из горла самые нежные звуки: «Да! Я подхалим! И горжусь этим! Презирайте меня, но только подарите мне говорящего кота! Я из него сделаю человека! Ну, хотите, я создам в вашу честь хорал!» — но, увы, ничего не получилось. Как говорится, нашла коса на камень.

Единственно, что утешало человека-дятла, — это перспектива в конце концов получить бесплатно ящик, а может быть, даже и два, баснословного вина «мцване». Теперь он удвоил свое внимание ко мне. Он боялся, что я заболēju и, не дай бог, еще того хуже, умру. Мало ли что может случиться с человеком в дороге.

— Умоляю тебя, — шептал он по ночам, подходя к моей постели, в то время как в окнах блестели зимние точные звезды. — Умоляю тебя, береги свое здоровье. Учи, что вино будет столько же твое, сколько мое.

...Мы были как два каторжника, прикованные к одному ядру. Я умирал, я падал, а он — мой тягостный спутник — безжалостно толкал меня куда-то все дальше и дальше. Он уже стал моей болезнью, он гнезвился где-то

внутри меня, в таинственной полости кишечника, а может быть, и ниже, он был мучительно раздувшейся опухолью, аденомой простаты, непрерывно отравлявшей мою кровь, которая судорожно и угрюмо гудела в аорте, с трудом заставляя сокращаться мускул отработавшего сердца.

Хоть бы эту опухоль скорее вырезали!

Кто же он был? Он был модификация Фаддея Булгарина, гонитель всего нового, человек с водевильной фамилией Прохиндейкин.

Далеко внизу лежала потонувшая в нескончаемом снегопаде прелестная горная страна со всеми ее магнолиями, драценами, симпатичными милиционерчиками, говорящим котом и пыжиковой шапкой знаменитого поэта, и мы летели в столицу нашей родины на содрогающемся от обледенения пассажирском самолете, и смерть летела рядом с нами, каждый миг готовая расстроить все наши планы. Над Сурамским перевалом сходила с ума небывалая снежная буря, и наша машина ползла на ощупь, как слепая, посредине горных склонов, каждый миг готовая шаркнуть алюминиевым крылом по невидимой в тумане скале и рухнуть на дно ущелья, в бурную горную речку с обледеневшими берегами.

В течение часа мы избежали тысячу смертей, и когда пилот наконец посадил свою грузную машину на песчаном аэродроме рядом с бунтующим морем, то у него дрожали руки и пот градом катился по как бы натруженному лицу с пепельными губами. В столицу нашей родины мы прибыли еще засветло; и тут же расстались. Надолго. Слава богу, кажется — навсегда. Но мучительный сон тянулся, тянулся, он казался бесконечным, хотя на самом деле продолжался, быть может, всего лишь какую-то долю секунды, как смерть. Но ведь никто не знает, сколько

времени длится смерть: может быть, один миг, даже и того меньше, а может быть, и всю жизнь. Человек вечно живет и в то же время вечно умирает.

Нет, не так: «в звезды врезываясь».

Я вечно умирал, и вечно жил, и время от времени возвращался в прелестный край, некогда воспетый Осипом Мандельштамом.

Разумеется, на аэродроме я прежде всего увидел пыжиковую шапку классика. Он возвышался, как монумент, еще более величественный и прекрасный, чем когда-то. Мы обнялись. И даже, по свидетельству историков, прослезились.

— Много воды утекло, кацо!

— Ох, много, генацвале!

— Как поживает ваш тягостный друг? — спросил великий стихотворец, после каждого слова делая еще более глубокое, гортанное придыхание, которое всегда казалось мне великолепной цезурой посередине шестистопной строчки классического александрийца. — Неужели он и теперь процветает так же, как раньше? Впрочем, я всегда подозревал, что он далеко пойдет, этот любопытный гибрид человека и домашней скотины. А вы знаете, почему? Потому, что он не только обладает редким бесстыдством лизоблюда и подхалима, но также и потому, что всевышний наделил его феноменальной, — он сделал великолепное придыхание на этом нарядном слове, — *феноменальной* способностью, редчайшим умением сниматься рядом с начальством. Едва лишь фотографии наведут свои магические субъективные объективы на центральную фигуру, как сейчас же рядом вырастает мучительно примелькавшаяся голова с костяным носом вашего тягостного спутника, выработавшего в себе условный рефлекс в ту же секунду — ни позже, ни раньше — оказаться в самой середине группы, сноровисто стать на хвост и вследствие

этого сделаться ровно на три четверти выше остальных и даже самой центральной фигуры. Феноменально! — Он сделал хриплое придыхание. — Прямо-таки феноменально! Будучи пигмеем, казаться великаном! Но будем надеяться, что этот исторический нонсенс скоро навсегда отойдет в вечность. Ведь не может же подобное безобразие продолжаться вечно...

— А как поживает говорящий кот? — спросил я, желая переменить неприятную тему.

— Говорящий кот? — удивился поэт. — Не знаю, какого говорящего кота вы имеете в виду? Ах да, действительно. Припоминаю. Он говорил по-русски и по-французски. Но, по правде сказать, я давно уже потерял его из виду...

...Мне опять долго и сладко снился горбатый город, и мы сидели в духане над горной речкой, которая бежала где-то внизу, как стадо овец, по камешкам, по-зимнему мутная и головокружительно скучная, свинцовая, дымная. Высоко над обрывистым туманным берегом синел силуэт древнего замка, и церковь с конусообразным куполом, и старый толстый шарманщик, быть может последний шарманщик на земном шаре, крутил свою одноногую уличную шарманку, увешанную цветным стеклян-русом, как пасхальная карусель, извлекая из ее дряхлого ищника пронзительные и вместе с тем небесно-музыкальные звуки мещанских вальсов, маршей и гавотов моего детства, и я плакал об Осипе Мандельштаме, о цыганах, о догоревшей жизни, о первой любви, о всех кораблях, ушедших в море, о всех забывших радость свою, да мало ли о чем может плакать пожилой человек после четвертой бутылки красного, как кровь, «телиани». И я становился на колени, целуя смуглые, волосатые, безмерно старые руки шарманщика, а тем временем великий поэт, утешая меня, гладил мою пыльную и уже несколько лы-

соватую голову блудного сына и, отвлекая от слишком грустных мыслей, говорил мне:

— Друг мой, не надо плакать. Не стоит. Все мы у господ бога корабли, ушедшие в море. Вернемся лучше к печальной действительности. Вчера вы поинтересовались судьбой говорящего кота. Я навел справки. К сожалению, должен сообщить вам неприятное известие: несколько лет тому назад говорящий кот скончался во время очередного выступления, будучи не в состоянии произнести слово «неоколониализм».

Но можно и так: повесть о говорящем коте.

Весь в слезах я проснулся, но уже мир вокруг меня потерял свое прежнее безмятежное спокойствие. Целый день я не находил себе места.

— Чего тебе не хватает? — спросила жена.

— Многого, — ответил я.

— Например?

— Ну, уж раз кто-то занес сюда возбудителей моих старых снов и кошмаров и раз все вокруг нас так разительно изменилось, то — вообрази себе — я начинаю ощущать отсутствие Козловичей. Откровенно говоря, их немного не хватает.

— Ну что ж, — сказала жена, — все-таки это лучше, чем говорящий кот.

И сейчас же после этого вошли Козловичи.

— А, это вы! — радостно воскликнул я, разглядывая Козловичей: они нисколько не обгорели и совсем не изменились. Он был в несколько эстрадном пиджаке цвета кофе о-лэ, и брюках цвета шоколада о-лэ, и в ботинках цвета крем-брюле при винно-красных шерстяных носках. Рукава его пиджака были на несколько микронов короче, чем требовала мода, а манжеты высывались, быть может, на полтора микрона больше, чем требовала та же мода. Но это ему даже шло. Он по-прежнему был интен-



сивно розов, с желтыми волосами, расчесанными на прямой пробор, от лба до затылка, как у известного русского авиатора Сережи Уточкина. Его зубы сверкали слоновой белизной. Он был доброжелателен, всеяден и слегка разводил руками, рассказывая, с какими приключениями они добирались к нам. Что касается мадам, то она была в узких и коротких штанах эластик, которые необыкновенно шли к ее стройно-склеротическим ногам с шишками на коленях. У нее на шее висел крупный археологический камень с дыркой посередине, болтаясь на серебряной веревке поверх красной кофточки-джерси. Было страшно представить, что стало бы с ней, если бы она, забыв снять этот камень, бросилась в воду. У нее были прелестные детские глаза и взбитые рыжие волосы, что в соединении с вздернутым носиком давало полное представление о ее душевном состоянии, которое отражалось на ее лице, измученном возрастом и ощущением собственной красоты. Старушка все время требовала простой холодной воды и с наслаждением вливала ее в себя, как бы желая потушить адский огонь, пожиравший ее детскую душу.

Сам Козлович пил со мной ледяное белое вино — душистое и горьковатое, как миндаль, — ничуть не опьянявшее и не вредившее здоровью.

Козловичи сидели на низких старомодных креслах перед камином и, дополняя друг друга существенными подробностями, уточняя хронологическую последовательность событий, рассказывали историю о том, как они собирались путешествовать по Турции, Японии, Южной Америке и социалистической Польше и как у них в конце концов сторел любимый пудель.

Мы радовались, как дети, слушая их взволнованное повествование.

Когда сам Козлович уже покрылся пятнами и стал по-немногу сердиться, однако все еще мужественно продолжал улыбаться всеми клавишами своих зубов, в салон бочком вошел наш милейший друг Вяткин и, потирая,

как с морозца, свои небольшие, слегка обутлившись руки, посмеиваясь и стыдливо похохатывая, подсел к пылающему камину и тоже стал вместе с нами пить холодное потустороннее вино, закусывая сыром.

Я задернул шторы, и все это вдруг стало немного напоминать вечера под Москвой, только не было телевизора и ни разу не позвонил телефон.

Поздно ночью мы устроили Вяткина внизу в свободной комнате, а Козловичей отвели через темный сад в старый нормандский овин, где для них был уже приготовлен ночлег. Я зажег фонарь — старый каретный фонарь, найденный на чердаке, — и светил им, пока они поднимались по узенькой скрипучей лесенке, молчаливо удивляясь нашей нелепой фантазии отправить их спать на сеновал. Мы с женой весело переглядывались. Спотыкаясь, Козловичи один за другим — он впереди, она сзади — вошли в дверцу и вдруг очутились в странном темном помещении, под самой соломенной крышей, где, очень возможно, на нашесте спали жирные куры. Мы объяснили, что это старинный нормандский овин, и это немного обнадежило Козловичей. Они покорно отдались в руки судьбы.

Тогда я вдруг щелкнул выключателем, и Козловичи увидели, что находятся в громадной низкой комнате со скошенным потолком. Посредине стояла громадная старинная деревянная кровать под балдахином из веселенького коттончика. Полог был отдернут, и виднелась постель, застланная свежими голландскими простынями, приготовленная на ночь по-французски — конвертом, — с маленькой пуховой перинкой. На ночном столике были приготовлены графин с сахарной водой и старинный нормандский молитвенник с серебряным крестом на черном бархатном переплете.

Вообще казалось мрачновато.

Козловичи были смущены. Возможно, они боялись крыс. Тогда я торжественно распахнул другую дверь и показал им великолепную, ультрасовременную ванную

комнату с кобальтово-синим фаянсовым туалетным столом на одной ножке, молочно-белой ванной, всю залитую ослепительно ярким электрическим светом, сияющую кафелем, никелем, всю увешанную пушисто-душистыми розовыми, салатными, голубыми полотенцами и простынями и устланную грубыми кокосовыми ковриками. Для того чтобы убедить Козловичей, что это не сон, я открыл несколько кранов, и с симфоническим шумом из них хлынула добела взбитая, как яичные белки, горячая и холодная вода, наполняя помещение поистине вагнеровской музыкой и запахом мыла «герлэн».

— Спокойной ночи, — сказали мы Козловичам. — Если ночью услышите за окнами шум, не пугайтесь, — значит, начался прилив и воды Ла-Манша поднимаются по шлюзам, наполняя маленькую гавань Гонфлер, где сонно покачиваются рыбацьи баркасы с изображением святой девы на дряхлых парусах. Утром Дениза принесет вам пти-дежене: кофе, круассаны, масло и сливовый джем. Не рассчитывайте на жареную колбасу!

Мы оставили их очарованными.

В особенности все это нравилось самой мадам Козлович.

Мы с женой спустились по лесенке в сад, и я задул фонарь.

Может быть, мое обнаженное тело лежало где-то в ином измерении и голубые люди при свете операционного прожектора рассматривали на нем давние шрамы: пулевые и осколочные и следы разных болезней, войн и революций.

На газоне стояло несколько невымытых машин, приехавших ночью. Одна из них показалась мне знакомой.

— По-моему, приехали Остапенки, — шепотом сказала жена. — И спят в машине.

Они действительно спали в полуобгоревшей машине, как сурки.

— Пройдемся немного, — предложил я. — Пускай спят.

Она взяла меня под руку, и мы пошли в глубину темного сада, туда, где за каретными сараями и дощатым сортирчиком был сломанный забор, а за ним справа налево тянулся канал, по которому бесшумно, на уровне плоской земли, с погашенными сигналами, как бы текли низкие моторные баржи, наполненные очень важным и очень тяжелым грузом, направляясь из Анверса в Маас, а быть может, в Монс или Наахрихт, если, конечно, такой город существует в действительности.

Мы шли вдоль канала, мимо фламандской ветряной мельницы с неподвижными крыльями, увешанными снастями, как мачты фрегата; мы шли очень долго и молча, пока вдруг не очутились на площади, охваченной морозным туманом, так что нельзя было понять — что это за площадь.

— Куда ты меня привел? — спросила жена тревожно.

И сейчас же я понял, что эта площадь — аэродром, и под нашими ногами я увидел громадные шестиугольные плиты взлетной дорожки.

Решетчатые радиолокаторы вращались, как зубообразные кресла.

— Ты опять улетаешь? — спросила жена покорно, так как понимала, что ничего другого мне не остается.

Я промолчал, рассматривая свою обувь; она имела еще вполне приличный вид: очень черные, блестящие, хорошо начищенные мокасины, как нельзя лучше соответствующие серому костюму и нейлоновым носкам глубокого цвета жженой кости. Превосходные мокасины с длинными носами и низкими, широкими, очень устойчивыми каблуками, за которыми приходилось особенно ухаживать, так как малейшая потертость сразу делала их

непристойно вульгарными. Каблуки должны быть всегда безукоризненно черными, без малейшей потертости. Тогда мокасины со своими языками и перемычками на подъеме могут иметь место во время заграничного путешествия. Эти мысли внушила мне жена, и я их твердо усвоил.

Мы не успели проститься.

Она еще стояла одна посредине громадного пустынного аэродрома, а я уже перевел стрелки своих часов на два часа назад и сквозь разрывы тяжелой дождевой облачности смотрел на Амстердам, который можно было с высоты нескольких тысяч футов принять за небольшой коврик с абстрактно-геометрическим орнаментом, но внизу дождя не было, и когда я сошел с самолета, для того чтобы пересечь на другой, трансатлантический, то мои мокасины ничуть не пострадали, даже напротив: освещенные молочно-матовыми плафонами Амстердамского международного аэровокзала, рядом с ослепительными чемоданами и ботинками миллионеров они казались еще вполне зеркальными, так что я не имел никаких претензий к аэрокомпании KLM. Во время посадки тоже, слава богу, все обошлось благополучно, и мои мокасины даже и в этом громадном пассажирском самолете, среди сотен пар разнообразной обуви, казались не самыми худшими. В особенности выгодно они отличались от желтых солдатских бутс моего соседа, сержанта американских вооруженных сил в Голландии. От времени и от ежедневной чистки они стали темно-коричневыми и глянцевыми, как стекло, и вызывали во мне тревожный вопрос: где они, черти, достают такой замечательный крем для ботинок? Или, может быть, это не крем, а особая стекловидная жидкость, куда опускают обувь, и она потом делается как бы покрытой тонкой стеклянной глазурью, а потом еще более блеска придают башмакам специальные высо-

кокачественные сапожные щетки особой формы и бархатки, принятые на вооружение в американской армии.

Сержант сидел рядом со мной, поставив ноги на плинтус перегородки, отделяющий наш туристский класс от уборных и штурманской будки. Это был здоровенный парень лет двадцати пяти с коротко остриженной головой, в тиковом комбинезоне цвета хаки, крепко затянутый старым кожаным поясом с такой же стекловидной поверхностью, как и бутсы.

У него был вполне мирный, доброжелательный вид, но что-то меня в нем тревожило, какая-то неуловимая подробность в его одежде, зловещее напоминание, сигнал всеобщей опасности. Это был маленький вылинявший треугольник из черно-лилового плюша с чем-то зловеще красным, с желтой молнией и надписью «Spearghead», лоскуток, пришитый к рукаву комбинезона.

Может быть, это была каинова печать ядерного века.

В тот же миг мне стало ясно, что это парень из атомных войск и теперь он — сделав или еще не успев сделать свое дело — летит с базы домой в отпуск, предварительно выстирав свой выцветший комбинезон и до стеклянного глянца надраив все кожаные предметы своей амуниции.

А может быть, в мире уже все совершилось, и он, так же как и я, был не более чем фантом, пролетающий в этот миг над океаном.

Во всяком случае, у него были все признаки живого человека: на крупном деревенском пальце — тонкое обручальное кольцо, скорее серебряное, чем золотое, и уж конечно, не платиновое; оно подчеркивало его солидность и положительность молодого семейного человека, может быть, даже счастливого отца нескольких здоровых детей, чем он выгодно отличался от двух своих товарищей, летевших вместе с нами все в том же туристском классе через океан. Один из них был в униформе, а другой в штатском, но все равно было сразу понятно, что он, хотя и носит штатское, — тоже солдат, может быть, даже званием

пониже, чем мой сосед, но зато, безусловно, богаче. Он уже изрядно выпил и, как только мы поднялись в воздух, вытащил из узкого кармана толстую бутылку «Boll-69», содрал с нее хрустящую обертку, вынул зубами пробку и сделал большой глоток, но своим товарищам не предложил, а потом глотнул еще раза два, после чего стал заигрывать со стюардессой — высокой, как гренадер, девушкой в синей пилотке, лишенной всякого чувства юмора, чем, по моим наблюдениям, отличаются все стюардессы туристского класса на лайнерах КЛМ.

Подвыпивший атомщик в штатском — тут мне вдруг пришла в голову мысль: не сгорела ли где-нибудь его униформа? — все никак не мог успокоиться и задремать. Видимо, его нервная система была совсем расшатана и алкоголь уже не действовал на нее как снотворное. Его все время терзала жажда деятельности. Он вызвал звонком стюардессу и сначала послал ее за глобусом, и она принесла из штурманской рубки резиновый глобус, который он надул ртом через специальный отросток и стал пьяными глазами разыскивать Северную Америку, желая определить трассу нашего полета, измерил ее пальцами, выпустил воздух из глобуса и вернул его сморщенное вялое тело стюардессе, тут же потребовав электрическую бритву, потому что компания КЛМ была обязана выдавать ее пассажирам туристского класса по первому требованию. Стюардесса принесла коробку с электрической бритвой, напоминавшей хорошо отшлифованный прибором морской булыжник, и солдат в штатском быстро нашел в подлокотнике своего кресла скрытую розетку и ловко включил прибор, что показало его техническую сноровку. Он побрился и, многозначительно подмигнув, возвратил бритву стюардессе, лишенной не только чувства юмора, но также и самого элементарного секса.

Я смотрел на этих американских солдат, славных малых, и никак не мог заставить себя поверить, чтобы они могли что-нибудь наделать. В особенности вызывал теплые чувства мой сосед, положительный, уравновешен-

ный добряк, видимо хороший мастеровой, с толстыми, но тренированными пальцами и коротко остриженной умной головой.

Третий солдат не отпечатался в моей памяти; он сидел где-то сзади и все время как бы прятал свое темное, как бы обуглившееся лицо между двух ладоней, приставленных к иллюминатору.

Я осмотрел свои мокасины и снова убедился, что они ничем не хуже остальных двухсот или двухсот пятидесяти отлично вычищенных ботинок, которые находились в первом и туристском классах самолета. Стало быть, пока все шло прекрасно. И это меня несколько успокоило, как будто бы я принял пятнадцать капель валокардина.

Но что ждет меня по ту сторону Атлантики? Где я буду чистить мои мокасины?

Я вспомнил, что в больших стандартных отелях Соединенных Штатов обуви не чистят, и опять почувствовал беспокойство. Я стал думать о континенте, к которому медленно приближался, и меня охватило предчувствие беды, не слишком большой, но достаточно неприятной, чего-то унижительного, связанного с моими мокасинами. Теперь я уже твердо знал, что где-то в Нью-Йорке давно поджидает меня человек, собирающийся причинить мне ущерб. Он хочет отнять у меня нечто очень дорогое. Жизнь? Не знаю. Может быть. И я заранее холодел, чувствуя свое бессилие и одиночество, и представлял себе, как в один прекрасный час останусь с глазу на глаз с этим не имеющим формы человеком где-то в глубине абстрактной нью-йоркской улицы, лишенной всяких реальных подробностей, к которым я имел сильное пристрастие как писатель и человек.

Боже мой, куда меня несет!

Милый пейзаж старой Англии неощутимо отодвинулся в никуда, уступив место черным, как бы обуглившимся скалам берегов Шотландии. В неподвижных водах от-



ражалось бессолнечное алюминиевое небо. И сейчас же появились другие далекие острова — такие же скалистые, но уже называвшиеся Ирландия. Это было последнее, что я мог заметить из подробностей того мира, который я так опрометчиво покидал неизвестно зачем.

Длилось все то же самое утро, которое началось бог весть когда на туманном аэродроме, где мы стояли, как маленькие фигурки, на шестигранных плитах взлетной дорожки. Несколько раз я уже переводил часы, каждый раз теряя время, которое неизвестно каким образом пропало навсегда.

Было еще без десяти десять того же самого утра, и наш воздушный корабль уже висел на громадной высоте над Атлантическим океаном, покрытым пеленой белых испарений, как муха над алюминиевой кастрюлей, где на медленном огне знойного солнечного утра чуть поднималась жаркая, легкая пена закипающего молока, которое все никак не могло надуться шапкой и сбежать.

Время — странная субстанция, которая даже в философских словарях не имеет самостоятельной рубрики, а ходит в одной упряжке с пространством, — это самое время казалось почти неподвижным, потому что мы и солнце двигались в одном направлении с востока на запад с вполне соизмеримой скоростью, — но солнце несколько быстрее нас. Таким образом, наше передвижение в пространстве можно было определить как отставание от солнца. Мы стремились перешагнуть рубеж сегодняшнего утра, но утро чудовищно растянулось во времени и пространстве, очень неохотно переходя в полдень, так что иногда казалось, что я со своим узколокальным представлением о времени уже никогда не вырвусь из плена этого нескончаемого атлантического дня и никогда не увижу заката. А в той стране, где я оставил всех дорогих для меня

людей, уже наступила ночь и над острыми крышами в черном небе сверкали граненные звезды Большой Медведицы.

Я уже никогда не увижу заката, так и перейду в вечность, не взглянув в последний раз на звездное небо.

Да, самое лучшее: в звезды врезываясь.

Самое тягостное было ощущение потери времени. Даже часы перестали его отражать с присущей им механической точностью. Движение времени можно было определить только по блеску обуви, которая постепенно тускнела без всяких видимых причин, просто так, как все в мире. Обувь обнаружила способность стареть. Мои превосходные молодые мокасины на глазах у меня вступали в зрелый возраст, становясь немного более матовыми, чем в юности, но, разумеется, им было еще далеко до вечера, а тем более до ночи с ее непоправимой потертостью, царапинами, сточенными каблуками и сероватым звездным светом.

Я поглядывал на них, как на часы, с ужасом замечая, что не только мое тело, но и так называемая душа стареет вместе с ними, покрывается царапинами времени, серовато-звездным налетом вечности, то есть бесконечной длительности времени существования мира, обусловленной несотворимостью и неуничтожимостью материи.

При этом во мне продолжало непрерывно усиливаться и нарастать предчувствие колоссальной неприятности, к которой я приближаюсь. Несомненно, это явление было следствием раздражений, несущихся в мою нервную систему из внешнего мира. Назовем их сигналами будущего.

Кто мне вернет пропавшее время?

Между тем бесконечный день над Атлантическим океаном тянулся, тянулся, тянулся, и я не знаю, чем бы это все кончилось, если бы наш лайнер вдруг каким-то

чудом сравнивал свою скорость со скоростью солнца. Тогда бы я погрузился в вечный день — без утра и вечера, — нескончаемо длинный, как полный текст Библии со всеми ее повторениями и вариантами, — в вечное бодрствование и был бы испепелен вечным светом и вечной усталостью непрерываемой жизни. К счастью, наша четырехмоторная улитка ползла над облаками Атлантики все-таки медленнее солнца, ползла как бы со страшным усилием, и лопасти ее винтов не сливались, а замедленно мелькали как бы в обратную сторону с необратимым постоянством.

Улитка при всем старании не могла вылезти из своего домика, и таким образом солнце постепенно все-таки уходило от нас, и бесконечно мучительный день медленно переходил в мучительный вечер, который вдруг обозначился вдалеке воздушными горами облачного Синая, откуда вверх били дымно-лиловые лучи Моисеева света, и немного подальше разлеглись облачные библейские львы не видимой глазом Гренландии, а может быть, не Гренландии, а полуострова Лабрадор, после чего стали постепенно наливаться электрическим светом молочно-белые овальные плафоны и внутренность самолета как бы замкнулась в самой себе, отрешенная от внешнего мира, где вечер вытеснял день, а ночь вытесняла вечер. И когда я, прикрыв сбоку лицо ладонями, прильнул к тонко вибрирующему стеклу иллюминатора, то уже ничего не увидел, кроме самоварного огня, бьющего из моторов, и нескольких звезд в темном плотном небе.

Я чувствовал, что за моей спиной спят полтора десятка пассажиров, откинувшись на валики откидных кресел и подняв вверх измученные лица, а рядом со мной дремал американский солдат-атомщик, и я чувствовал человеческое тепло его плеча.

Невозможно определить, сколько времени прошло, если неизвестно, что из себя представляет само время. Раз шесть нам подавали на маленьких пластмассовых подносах еду, минеральную воду, чай, кофе, фрукты.

И раз шесть я засыпал с поднятым лицом, и просыпался, и опять засыпал...

Вдруг мой сосед, перегнувшись через меня и обдав жаром своего большого тела, заглянул в окно и дружелюбно произнес:

— Лонг-Айленд.

Я увидел в иллиминаторе ночь, как пласт угля, по которому во всю ширь до самого горизонта медленно и молчаливо двигались в обратную сторону врезанные в него световые сигналы, целая сложная система сигналов: точки, пунктиры, линии, геометрические фигуры, параболы, заставлявшие меня составить представление о населенном материке, где шла своя, еще не понятая мною ночная жизнь. Я видел ряды бело-зеленых сильных газосветных фонарей вдоль непомерно длинных городских магистралей, разноцветные огни светофоров, светящиеся тельца бегущих автомобилей, эллипсоиды освещенных стадионов с бегающими крошечными фигурками спортсменов, провисшие цепи мостов, иллиминаторы трансатлантических пароходов и вращающиеся маяки с узкими крыльями прожекторов, оббегающих горизонт со скоростью секундной стрелки. Подо мной на страшной глубине плавал ночной Нью-Йорк, который, несмотря на весь свой блеск, был не в состоянии превратить ночь в день — настолько эта ночь была могущественно черна. И в этой темноте незнакомого континента, в его таинственной глубине меня напряженно и терпеливо ждал кто-то, желающий причинить мне ущерб. Мне — одинокому, внезапно заброшенному сюда выходцу из другого мира, — но не старого, а быть может, еще более нового, чем этот.

О, если бы вы знали, как я был одинок и беззащитен, когда, спустившись по трапу высотой с двухэтажный дом, я вошел в лилово-зеленое пекло почти тропической нью-йоркской ночи — тяжелой, влажной, бездыханной, — и как я пошел по однообразно светящимся коридорам таможни, как бы вырезанным в ледяном теле айсберга, где, освещенный со всех сторон, я был лишен своей тени, где

воздух был «кондишен», так что я мог несколько минут наслаждаться искусственной прохладой, и как я потом под взглядом красавицы таможенницы, острой блондинки с раскованными глазами кинозвезды, с пистолетом в белой кобуре, взял со светящегося конвейера мой ползущий чемодан и снова окунулся в ночной зелено-лиловый зной, где все виды искусственного света были не в состоянии хотя бы немного отодвинуть от меня черноту этой дьявольской, почти тропической августовской полночи незнакомого континента, где вместо Цельсия температуру показывал Фаренгейт, чудовищно ее преувеличивая, отчего влажная жара казалась еще более невыносимой.

В номере на двадцать третьем этаже стандартного туристского отеля, где на серой гипсовой стене над пружинной кроватью висела цветная репродукция зимнего пейзажа Утрилло, ночной зной и духота были еще более ужасны, чем на улице. «Эр кондишен» не было. Его заменял специальный холодильник с вентилятором, вделанный в нижнюю часть квадратного американского окна и наполовину выставленный наружу и повисший над стрит — на манер цветочного ящика. Я тотчас повернул пластмассовое колесико, и пронзительная могильная струя охлажденного воздуха пролетела по темноватому номеру, минуя мое потное, горячее лицо, и мне пришлось повернуть другое пластмассовое колесико, для того чтобы направить холодную струю на изголовье своей постели. Теперь в мое лицо косо ударила режущая струя ледяного воздуха, заменив одну муку другой — муку субтропической духоты мукой антарктического ветра, дующего с угрюжающим постоянством по диагонали от окна к кровати в ночном сумраке этого чистого, но очень скучного туристского номера, откуда открывался вид на скопление полуосвещенных небоскребов и на какой-то шпиль, по которому вверх и вниз каждые шестьдесят секунд бежала цепочка электрических лампочек, считая минуты и часы нью-йоркского времени.

Я погрузился в мертвый сон, а когда проснулся, то почувствовал, что могильный ветер холодильника продолжал шевелить мои волосы, а в окне — типичном американском окне, открывающемся, как вагонные, — над знакомым скоплением небоскребов в голубом свежем небе неслись белые атлантические облака и над рекой Гудзон, кое-где видневшейся в пролетах улиц, носились чайки. Я спустился вниз и вышел на улицу. Было раннее утро, воскресенье, безлюдье, где-то позванивали церковные колокола, солнце золотило верхушки Колумбовой колонны, в Центральном парке в сухой августовской траве кое-где валялись пустые бутылки из-под джина и водки, из травы кое-где высывались черные гранитные скалы, темненькие белочки в потертых, давно не отремонтированных шубках доверчиво подходили ко мне и смотрели, как девочки, добрыми выпуклыми глазками, иногда бесшумно проносились запоздавшая машина, стремительно унося за город на воскресную прогулку счастливую парочку: его, незаметного молодого человека, и ее, ослепительную, как небожительница, высокую, стройную, с развевающимися золотыми волосами.

Грипп, насморк, кашель, головная боль, потеря равновесия — расстройство вестибулярного аппарата.

Я уже не сознавал, куда иду и что делаю. Меня вела, как говорилось в старину, таинственная сила предопределения. А в действительности, подчиняясь сигналам из окружающей меня среды, я шел вперед из улицы в улицу, пересекая узкие скверы, прямо в мышеловку, поставленную для меня в одном из закоулков этого, в основном кирпичного, довольно старого города. Здесь меня на каждом шагу подстерегали явления и картины, которые я ощущал как сигналы бедствия. Неряшливая пустота этих бедных кварталов пугала. Я не сомневался, что где-то очень близко, может быть вот за этим кирпичным углом, меня огра-

бят. Но что можно у меня забрать, чем поживиться? Желтый сертификат — свидетельство о прививке оспы — и сорок бумажных долларов со слегка обгоревшими уголками, надежно зашпиленных во внутреннем боковом кармане. Их бы я не отдал, даже если бы в мою печень был наставлен бесшумный автоматический пистолет из ближайшей телефонной будки.

Нигде ни одного полисмена, ни одного прохожего, ни одного свидетеля. Все пусто, все заперто, люди молятся или отдыхают, всюду субботний сор, и даже возле кирпичного пожарного сарая или возле кирпичного фасада клиники имени президента Франклина Делано Рузвельта нет ни дежурных, ни сторожей, ни швейцаров.

Особенно настойчивые сигналы стали поступать в узком треугольнике Линкольн-сквера в тот самый миг, когда вдруг среди пыльной августовской зелени городских деревьев я увидел зловещую голову Данте в средневековом чугунном шлеме. Вместе со всеми кругами своего ада он не предвещал мне ничего хорошего, но ничего хорошего не предвещала также сильно уменьшенная и все же довольно-таки громоздкая, грубая копия статуи Свободы — невежественное подобие, поставленное на крыше своего пятиэтажного дома каким-то чудаком, который злоупотребил правом свободного американца как угодно поступать со своей собственностью. Я даже сперва отшатнулся, когда вдруг увидел над собой эту знакомую женщину, но не из позеленевшей бронзы, с поднятым факелом, а совершенно черную, как бы слепленную из смолы. И хотя это было нечто претендовавшее на искусство, оно казалось мне во сто раз уродливее круглых баков водяного отопления, водруженных на своих железных треножниках над крышами других домов, индустриальные силуэты которых все время маячили передо мной в отдалении.

Я зазевался, и меня едва не сбил с ног длинный автомобиль, который энергично вела молодая старуха в белом шелковом костюме, так густо покрытом черными яблоками, что его можно было скорее назвать черным в белых

яблоках, а рядом с дамой сидел и смотрел в изогнутое ветровое стекло с мягким верхом большой пойнтер в драгоценном ошейнике, тоже весь темновато-белый, в черных яблоках или, вернее, черный в белых яблоках, в точности подобранный под цвет черно-белого ансамбля молодой, подтянутой старухи, пролетевшей мимо меня купаться на Джонс-Бич, как новый сигнал, предупреждающий о близкой беде.

Более зловещим показалось мне явление другого автомобиля — не менее роскошного и длинного, — в просторной кабине которого ехал костюм. Не человек в костюме, а именно сам по себе костюм — элегантный, свежоотутюженный, висящий на тончайших проволочных плечиках, прицепленных к потолку кабины. Костюм был совершенно готов, чтобы его надели и тотчас отправились в гости, даже угол свежего батистового платочка торчал из его нагрудного кармана. Перед самым моим носом автомобиль с костюмом остановился, шофер в форменной фуражке вышел на тротуар, с легким полупоклоном открыл дверцу и помог костюму выйти из машины: высоко поднял его и бережно внес в красную лакированную дверь особняка, распахнутую перед ним человеком в визитке старшего лакея. Через несколько секунд машина тронулась дальше, и я снова остался один, совсем один, среди утреннего воскресного Манхэттена, испытывая известное унижение оттого, что костюм прошел перед самым моим носом, не обратив на меня никакого внимания, и даже не извинился за то, что пахнул мне в лицо английской лавандой фирмы «Ярдлей». И в тот же миг мне померещилось, что из-за кирпичного угла на меня кто-то смотрит почечным глазом.

Я не стал уклоняться от неизбежной встречи и смело свернул за угол. Но за углом никого не было. Я увидел другую улицу, такую же пустынную и кирпичную, как и



предыдущая. Но было в ней все же нечто особенное: небольшое чахлое деревцо, каким-то чудом выросшее возле старого дома с черными каменными лестницами, ведущими прямо с улицы в каждую наружную дверь первого этажа.

Множество подобных черных лестниц я видел потом в Гарлеме.

До сих пор не могу забыть эту картину: черная каменная лестница с потертыми черными перилами, большое деревцо, окно — обыкновенное нью-йоркское окно без переплета, с подымающейся нижней рамой, как в вагоне, — и в этом окне, увешанном птичьими клетками, среди множества цветочных горшков — прелестная и очень бледная в своей грустной прелести девушка-подросток лет четырнадцати, с длинными волосами, старомодно ниспадающими на ее узкие плечи, с тонкими полуобнаженными руками и длинными пальцами, которыми она грациозно касалась своего еще совсем по-детски овального подбородка и нежной шейки с голубыми каменными бусами. Это была полуженщина-полуребенок, и она нежно и грустно смотрела на мальчика, сидевшего на черных ступенях, как бы у ее ног, положив свою ирландски рыжую голову на поднятые колени.

Я понял, что они любят друг друга, и я также понял, что им некуда уехать из Нью-Йорка в это знойное августовское воскресенье. Я понял, что здесь их рай, счастье, их грусть, их безнадежность, их все. Они скользнули блуждающим взглядом по моим слегка пыльным ботинкам и снова погрузились в глубину своего горестного, нищего счастья под сенью единственного на всей улице деревца с ломкими перистыми листьями и слегка неприятным ореховым запахом, которое у нас на юге называют чумак-дерево.

Я прошел мимо десяти или двенадцати мусорных баков, выставленных в ряд, из-под крышек которых высывалась всякая дребедень: остатки субботнего вечера,

раковая скорлупа, картонные коробки, гнилые корки грейпфрутов. Я прошел мимо больших красных ворот пожарной команды, мимо пустыря, заваленного старыми, облезлыми автомобилями, густо поросшего южным бурьяном, напомнившим мне детство и Молдаванку. Затем я миновал заправочную станцию, где никого не было и блестя на солнце пистолеты заправочных наконечников. Несколько раз мне пришлось перешагнуть через еще не вполне высохшие темные потеки детской мочи, спускавшиеся с кирпичных стен дома и продолжавшиеся поперек тротуара.

А колокола все время утомительно позванивали, напоминая о воскресенье.

...Как труп в пустыне я лежал...

Но вот я опять повернул за угол и очутился на улице, которая, по-видимому, тянулась от самой Парк-Баттери параллельно Гудзону, мимо обгоревших деревянных пристаней, откуда все еще продолжало тянуть гарью, на несколько десятков миль, которые назывались здесь «майлс», однообразно кирпичная, с одной стороны — резко освещенная солнцем, а с другой стороны — резко погруженная в сырую черную тень со всеми своими безлюдными барами, галантерейными магазинчиками, красивыми заведениями, прачечными и итальянскими съестными лавчонками, где в окнах висели целые гроздья соломенных фьясок с кьянти «суффино», похожих на мандолины, связки испанского лука, седые шелудивые косы чеснока и палки сухой миланской колбасы в серебряной сетке.

Это была Десятая авеню, из конца в конец безлюдная и как бы распиленная вдоль резким светоразделом.

Точнее сказать — она сначала показалась мне безлюдной, но это был обман зрения, так как я сейчас же заметил очень далеко впереди, по крайней мере на расстоя-

нии мили, в перспективе пустынной улицы маленького человечка, который, выйдя из-за угла, стоял на перекрестке и неподвижно смотрел на меня. Хотя до него было еще очень далеко, я отчетливо видел его толстенькую фигуру, неряшливый пиджак, одутловатое лицо старого неудачника, нищего, способного на все ради самого ничтожного заработка, а главное — я понимал, что он смотрит на мои ноги, словно изучая мои мокасины. Я тоже посмотрел на них и ужаснулся. До сих пор я считал, что они имеют вполне приличный вид. Как мог я рискнуть в такой пыльной обуви выйти на воскресную прогулку!

Позади человечка я заметил будку для чистки сапог. Такую точно будку я видел когда-то в Москве возле Центральных бань на Неглинной. Человечек продолжал смотреть на меня гипнотизирующим взглядом и даже сделал небольшой полужест, как бы желая одновременно усыпить мою бдительность и завлечь в свою мышеловку.

Я приблизился осторожными шагами лунатика. Будка была заперта на обыкновенный, довольно неуклюжий восточноевропейский висячий замок начала XIX века, и у меня отлегло от сердца. Но незнакомец быстро щелкнул ключиком и распахнул фанерную дверь. В конце концов, ничего страшного в этом не было. Никакой чертовщины. Чего проще: у кого-то запылились башмаки, он идет в будку к чистильщику и вскоре выходит в сияющих, невероятно черных башмаках, один вид которых сразу возвращает его в общество приличных людей. Так поступает все цивилизованное человечество. И все же я колебался. Кроме кругленькой суммы в сорок долларов, надежно спрятанной у меня на груди, у меня еще была отложена в специальном маленьком карманчике известная сумма мелочи: семьдесят четыре цента. Время от времени я засовывал пальцы в карманчик и в глубине его ощупывал монеты — тяжеленький серебряный полдолларовик, казавшийся мне целым состоянием, и двадцать четыре цента разными монетками на мелкие уличные расходы. Но я не знал, сколько стоит чистка. Вернее сказать, до

меня доходили слухи, что примерно это обойдется центов в пятнадцать, даже, может быть, в двадцать. Определенной таксы не существует. Все зависит от свободного предпринимателя. Говорили, что в собее у негра можно вполне прилично почистить ботинки даже за десять центов, но, конечно, «того блеска» уже не будет. Кто хочет, чтобы его ботинки блестели, как стекло, должен раскошелиться. Я готов был раскошелиться. Но, конечно, до известных пределов. Я даже согласен был отдать за чистку все мелкие монетки. Это, разумеется, тоже не мало. Но пусть уж будет так: ведь мне предстоял длинный воскресный день в Нью-Йорке. Не мог же я провести его, шляясь по улицам и барам в грязных ботинках, тем более что мне предстояло посетить два знаменитых на весь мир музея: «Метрополитен» и нового искусства, а если останется время, то еще и третий — Соломона Гутенхайма, похожий на четырехъярусную артиллерийскую башню сверхдредноута. Мог ли я посетить эти святыни в столь запущенной обуви? Это было бы надругательством над мировой живописью.

Стоять в неряшливых стоптанных ботинках перед «Откровением святого Иоанна» Эль Греко или перед «Мадам Шарпантье и ее детьми» Ренуара, где чернобровая дама в черно-лиловом шелковом платье, с черно-лиловыми глазами и черно-лиловыми волосами, а сама вся как бы сделанная из парижского сливочного масла, и две прелестные, похожие на нее маленькие девочки в голубых платьицах, а также лежащий на ковре сенбернар с черно-лиловой шелковой шерстью с белыми пятнами, как бы рифмующийся с самой мадам, — все они вместе — мадам, девочки и собака — как бы являлись высшим проявлением той богатой, артистической, недоступной парижской жизни конца века, в присутствии которой находиться в нечищенных башмаках было бы равносильно святотатству. Я уже не говорю о хохочущей, разорванной на куски лошади и потрясающей электрической лампочке, вспыхнувшей в последний раз перед всеобщим атом-

ным уничтожением на панно Пабло Пикассо «Герника» в Артмузее. На панно — черные, как звездное небо, лестницы и полы ведут вас к громадному окну, выходящему во внутренний двор, где вы вдруг видите посредине безукоризненного, чистейшего ярко-зеленого газона три древнерусские березки с плакучими нестеровскими ветвями и шелковисто-белыми, девственными стволами, украшенными черными черточками и полосками кисти самых лучших абстракционистов, может быть, Малевича или даже самого Кандинского.

Разве мог я решиться осквернить все это своими нечищеными мокасинами?

А незнакомец стоял возле будки и, стараясь заманить меня в свое логово, делал разнообразные знаки и на разных языках пытался вырвать у меня согласие почистить обувь.

— Инглиш?

— No!

— Итальяно?

— No!

— Суэден?

— No.

Это было все, что он мог мне предложить.

— Франсе? — спросил я с надеждой.

— No! — в свою очередь, ответил он и легонько подтолкнул меня плечом к фанерной двери своей будки.

— Дейч? — спросил я с отчаянием.

Он горестно развел короткими руками и, в свою очередь, спросил:

— Испано?

— No, — удрученно ответил я.

Это был пожилой, обрюзгший человек с одышкой, в сношенном пиджаке, в помятой сорочке с отстегнутым воротничком, и крупная медная заколка, позеленевшая от времени, натерла на его шее красное пятно. У него была плешивая голова, мешки под глазами, как у старого

сердечника, от него исходил дурной запах итальянской кухни — лук, жаренный на прогорклом оливковом масле, и тертый чеснок. Он был небрит. Типичный нищий-неаполитанец, лаццарони, состарившийся где-нибудь в лагуче на Санта-Лючия. Но он не был суетлив. Напротив. Он был малоподвижен, потому что каждое движение заставляло его астматически вздыхать — со свистом и бульканьем.

— Рүссо? — безнадежно спросил я.

— Но, — с одышкой ответил он.

И мы оба вспотели.

Он подтолкнул меня к высокому креслу и помог мне на него вскарабкаться, как на трон. Таким образом, мои мокасины оказались на уровне его серого небритого подбородка, форма которого могла сделать честь любому римскому императору, и он бросил на мокасины презрительный, но вместе с тем и алчный взгляд.

У нас не было общего языка. Вторая сигнальная система как бы отсутствовала. Друг для друга мы были глухонемые. Мы должны были объясняться жестами или движением лицевых мускулов, как мимы. Этот старый итальянец оказался прирожденным мимом.

— Ну, эччеленцо, почистим? — спросило его безразличное лицо.

— А сколько это будет стоить? — безмолвно спросил я, делая самые разнообразные телодвижения и жесты, и даже нарисовал в воздухе указательным пальцем вопросительный знак.

Он понял.

— Двадцать пять центов, — сказал он комбинацией лицевых мускулов и для верности буркнул по-английски: — Твенти файф.

Я не поверил своим ушам и, несколько преувеличенно изобразив на своем лице ужас, спросил бровями, щеками и губами:

— Как! Двадцать пять центов? Четверть доллара за простую чистку?

— Да, — с непреклонной грустью ответили мешки под его глазами.

— Почему так много? — воскликнули морщины на моем лбу. — Варум? Пуркуа? Уай?

Он величественно — как Нерон на пылающий Рим — посмотрел вокруг на старые, наполовину уже разрушенные дома этого квартала, где в скором времени должен был вырасти грандиозный, ультрамодернистский Музыкальный центр, и ответил мне целой серией жестов, телодвижений, гримас и сигналов, которыми без слов изобразил исчерпывающую картину нью-йоркского летнего воскресенья с его слабым колокольным позвякиванием, пустотой, зноем, безлюдьем и законами о запрещении воскресной торговли.

Я понял: все вокруг заперто, почистить обувь негде, он специально отпер для меня свое предприятие и рискует неприятностями с профсоюзом, и я должен платить по двойному тарифу. Я посмотрел на свои ноги и окончательно убедился, что провести в такой обуви нью-йоркское воскресенье просто неприлично, — и смирился.

— Хорошо, — сказал я. — Ладно. Идем. Бьен. Уэл.

Тогда он неописуемо ленивым движением достал щетку и двумя скорее символическими, чем реальными движениями утомленного аристократа смахнул пыль с моих мокасин, отчего они вовсе не стали лучше. Совершив это действие, он слегка передохнул и вытер носовым платком свою серо-буро-малиновую шею. Затем, порывшись на полках, где, как и во всех подобных заведениях земного шара, у него хранились разных сортов стельки, шнурки, подковки, винтики, шпунтики, шурупчики и прочая мелочь, он протянул мне пару шнурков в целлофановом пакетике.

— Купите! — сказала его лицо.

Ах, так этот старый мошенник хочет на мне нажиться? Ну уж дудки! Не на такого напал.

— Нет! — крикнуло все мое существо. — Но! Найн! Нон!

Он небрежно швырнул пакетик обратно на полку и показал мне глазами, которые вдруг стали игривыми, как у Бригелло, цветные портреты голых и полуголых красавиц, вырезанных из разных иллюстрированных журналов, причем возле каждой вырезки на стене были жирно написаны столярным карандашом пятизначные нью-йоркские телефоны с двумя литерами спереди.

— Может быть, это? — спросило его лицо старого сводника, но так как я в смятении замахал руками, он, облив меня презрительным взглядом, еще раз обмахнул мои мокасины, затем достал флакон, вынул пробку с проволокой, на конце которой был прикреплен ватный тампон, и слегка помазал аппретурой потертые ранты моих мокасин, после чего обмахнул их бархаткой и сказал жестом:

— Готово!

Как? Это все? Я не верил своим глазам. Но передо мною уже твердо лежала в воздухе его сизая, как пепельница, ладонь с черными линиями жизни, роговыми мозолями, венеринными буграми и прочими деталями хиромантии. И я осторожно выложил на эту ладонь свою мелочь. Двадцать четыре цента. Я прощался с ними со слезами на глазах, как с родными детьми. Всё. Не хватало всего лишь одного маленького центика, медного клопика, почти не имеющего никакой ценности.

Однако старик смотрел на меня неумолимо требовательно, и его ладонь продолжала все так же твердо торчать перед моими глазами.

— Может быть, хватит? — сказало все мое существо, пытавшееся в тот миг как бы примирить славянский размах с американской деловитостью.

Но он даже не ответил мне, настолько он чувствовал себя хозяином положения.

— Двадцать пять центов, — с ледяным упорством говорил вся его фигура, ставшая чугуновой.

Ничего не поделаешь! На его стороне, по-видимому, был закон или, во всяком случае, все силы профсоюзов. Я смирился. Мне, конечно, очень не хотелось менять свои тяжеленькие, красивенькие, серебряненькие полдолла



ра. Но ничего не поделаешь. Я был в его руках. Тогда я забрал с его жесткой ладони всю свою мелочь и положил вместо нее прелестную серебряную монету в пятьдесят. Он не глядя бросил ее в отвисший карман своего пиджака и повернувшись ко мне согбенной спиной, стал убирать бархатки и щетки.

— А сдачи? — воскликнул я по-русски, чувствуя, что произошло непоправимое.

Он ничего не ответил, но его спина выразила, что сдачи не будет.

— Почему? По какому праву? Варум? Пуркуа? Пер кэ? Это нечестно. Дас ист ниht гут. Се тре мовэ. Но буоно. Ведь мы же сговорились за двадцать пять центов!

Для большей наглядности я написал в воздухе дрожащим указательным пальцем большое двадцать пять и громадный вопросительный знак, к которому прибавил еще восклицательный высотой в двенадцать инчей.

— No! — резко сказал он, отрицательно мотнул головой, и над каждым моим ботинком написал в воздухе большим пальцем с иссиня-черным мраморным ногтем цифру «25». Затем он поставил между ними плюс и, начертив знак равенства, аккуратно изобразил цифру «50».

Я застонал, как подстреленный, потому что понял, что этот подонок считает двадцать пять не за оба мокасины, а по двадцать пять за каждый. Я ничего не мог с ним поделать: именно в таком смысле он истолковал наше соглашение. Что делать, что же делать?

Дать ему по морде? Но закон был на его стороне, так как у меня не было свидетелей и я был всего лишь одинокий старый чужестранец, без связей, без знакомств, заброшенный в глухую страну сновидений и блуждающий по ней на ощупь, как слепой.

Мне стало так жалко себя, что я готов был лечь на раскаленный тротуар возле кирпичной, слегка выветрившейся стены, под железную пожарную лестницу и запыть на всю Десятую авеню, что меня обманули, ограбили, провели, как последнего пижона... Но что я мог сде-

лать? Ничего! Я даже не мог пожаловаться Генеральной Ассамблее ООН, чье плоское стеклянное здание возвышалось, как шведский книжный шкаф, над железными мостами и бетонными эстакадами Ист-сквера: ведь я не был даже самым захудаленьким государством.

Я был всего лишь частным лицом.

И я смирился, снова погружаясь в глубину таинственных сновидений, не достигающих до моего сознания — так глубоко они лежали на темном, неосвещенном дне той субстанции, которую до сих пор принято называть душой.

А он тем временем потихонечку, довольно вежливо, я бы даже сказал дружелюбно, выпихнул меня своим грузным телом из будки и повесил на дверь замок. Я посмотрел на него из самой глубины сна, в который был погружен, — на него, старого, больного, с опухолью в мочевом пузыре, с одышкой гипертоника, с трясущимися опухшими глянцевиными руками, в красных матерчатых комнатных шлепанцах на босу ногу, в старой итальянской соломенной шляпе, с лентой, пестрой, как змея в одном из рассказов Конан Дойла, и мне вдруг стало жалко не себя, а его. Я как-то отраженно подумал, что, может быть, он папа или даже дедушка той женщины-девочки, которую я только что видел в окне старого кирпичного дома, изуродованного по фасаду зигзагами железных пожарных лестниц и переходов, среди клеток с бирюзовыми инсепараблями — попугайчиками-неразлучниками, канарейками и говорящими скворцами. Мне захотелось плакать — широко и сладко, — и я простил старого мошенника и вспомнил свою первую любовь.

Затем я провел восхитительный день, свой первый день в Нью-Йорке.

За мной заехал Митч со своей девушкой, которая была в летнем платье — по-американски пестром, а он в черном летнем костюме — мохнатом и в талию, отчего

туловище Митча показалось мне еще больше вытянутым. И он повез меня на своем наемном «Кадиллаке» с ветровым стеклом, в верхней своей части аптекарски синим, вокруг Манхэттена.

Мы сидели все втроем впереди, как за одной партой, дружески прижавшись друг к другу, от девушки сильно пахло духами «Мицуко», и мы с безумной скоростью мчались по белым эстакадам, ныряли в белокафельные тоннели под Гудзон, где на несколько минут нас охватывала городская ночь со своей тревожной системой световых сигналов, вылетали на солнечный свет, поворачивали по головокружительным виражам, возвращались назад, пробежали, как звук, по новому висячему мосту Джорджа Вашингтона, по сравнению с которым знаменитый Бруклинский мост, некогда воспетый Маяковским, — ничто, пролетели, как муха, в середине громадной арфы с белыми струнами висячей конструкции; Митч захотел показать мне какое-то знаменитое шоссе, по которому может мчаться шестнадцать рядов машин в одном направлении, но не нашел его, и мы снова мчались и мчались вокруг Манхэттена, перескакивая с эстакады на эстакаду, и все время видели то сбоку, то сзади, то впереди светлые силуэты небоскребов, пересечение стальных светлых балок, ферм, креплений над обгорелыми остатками грузовой пристани, иногда попадая в желто-опаловый дым догорающего маслобойного завода, распростершего над Нью-Йорком зловещую тень своего извержения в классической форме извержения Везувия.

Плавные, но очень крутые виражи бросали нас друг на друга, и мы все мчались, все мчались, как безумные, среди белого джаза Нью-Йорка.

В особенности же прекрасен был этот город в разгар зимы, когда в докрасна раскаленных ущельях Таймсквера, под дикие звуки флейт и барабанов Армии спасения бушевали снежные вихри, обрушиваясь с металлических верхушек небоскребов и превращая стоянки авто-

мобилей в ряды глубоких кладбищенских сугробов, озаренных движущимися заревами световых сигналов и реклам, и когда тихим и мягким утром на длинных ступенях лестницы Нью-Йоркской публичной библиотеки, между двумя каменными львами, можно было увидеть еще одного, третьего, льва, вылепленного нью-йоркскими мальчишками и студентами из снега, и эти три льва смотрели белыми глазами на самую богатую улицу мира — Пятую авеню, на виднеющиеся кое-где знаменитые готические церкви: собор Святого Патрика, церковь святого Фомы, так называемую — «Маленькую церковь за углом», в соседстве с которыми новейшие небоскребы напоминают нагромождение корсетных коробок — высоких и узких, алюминиевых, стеклянных футляров, куда эти церкви, по-видимому, кто-то прячет на ночь вместе со всеми их портиками, дверями, мраморными шпилями колоколен и даже, кажется, химерами, как на карнизах собора Парижской Богоматери, так что обстановка сложилась самая естественная для несколько фантастического появления одного человека, который внезапно возник рядом со мной на лестнице библиотеки, как бы представляя четвертого льва с многозначительно поднятыми бровями. Я думаю, этот человек был одним из последующих воплощений покойного говорящего кота или даже — что еще хуже — моего давнего тягостного спутника, человека-дятла с порядочно поредевшим за это время хохолком, и в ту же минуту я услышал его жаркое дыхание и деформированный пространством и временем голос, таинственно забубнивший мне на ухо: «Должен вас предостеречь: ведите себя более осмотрительно. Не следует так откровенно восхищаться. Что вы нашли в том самом ихнем Джордж Вашингтон-бридж? Не видели дерьма! Такой самый, как наш Крымский, только еще длиннее. Будьте крайне осторожны в своих высказываниях, а то сами не заметите, как нарветесь на провокацию».

У него была такая артикуляция, как будто сильно распухший язык с трудом помещался во рту, так что обычно

венные слова еще кое-как пробивались наружу, хотя и в несколько деформированном виде, а слова длинные или научные, такие, к примеру, как «неоколониализм», вылазили на свет божий из недоразвитого толстого ротика уже просто-таки в укороченном виде, без гласных, одни только согласные: «нклнлзм», «сцлзм», что, впрочем, не мешало ему быть весьма красноречивым.

— Если хотите знать, я сам крепко пострадал, в смысле — погорел. Вообразите себе такую картину: посылают меня в Америку, в Город Желтого Дьявола.

Я вообразил.

— Приезжаю, заказываю в центовке визитные карточки, одеваюсь как положено, по мировому стандарту, беру на выплату кар и так далее. Слава богу, на отсутствие у себя вкуса пожаловаться не могу. Чего-чего, а за вкус ручаюсь. Сами видите: ни за что не отличишь от иностранца. Верно? Тергалевые брюки двадцать один сантиметр без обшлагов, узкие мокасины, задние разрезы на пиджаке, нейлоновая сорочка, скромненький галстук с абстракционным рисунком. Тоненькая золоченая цепка. Все о'кей! Получаю приглашение на обед. Иду, обстановка следующая: деловой ленч в пальмовом зале «Уолдорф Астории». Кардинал Спэллман, Рокфеллер-младший, мэр города Нью-Йорка Роберт Ф. Вагнер, наш представитель по мировым стандартам Сидоров, дамы, господа, представители влиятельных кругов Уолл-стрига. Моя соседка слева — звезда экрана Агата Бровман, «мисс Голливуд» одна тысяча тридцать девятого года. Ленч, конечно, при свечах. Хрусталь, серебро, салфетки из голландского полотна, никакой синтетики. Все — о'кей! У меня нервы, конечно, натянуты, но я не показываю вида и держу себя абсолютно как джентльмен. И что же вы думаете? Поймали-таки меня на провокацию, подлцы. Кончается ленч, лакеи в белых шелковых чулках подают хрустальные мисочки с полосканием. Тут уж, сами понимаете, я стреляный воробей, меня на мякине не проведешь. Знаю, что к чему. Ученый. Читал инструкцию.

Если после ленча подадут тебе мисочку с водой, то боже упаси ее пить, потому что это не лимонад, а полоскание для пальцев. Некоторые наши на этом крупно погорели, но только не я. Беру мисочку и, чтобы все видели, начинаю мыть в ней руки. А это как раз оказался ананасный компот. Понимаете! Так я, вообразите себе, на глазах у всей «Уолдорф Астории» вымыл руки в ананасном компоте, так что он стал даже немного синий, вроде лиловый.

Ну, конечно, меня вызвали и говорят: ты, Федя, в Городе Желтого Дьявола не прошел. Придется тебе отправиться на какой-нибудь другой континент. Там мы тебе что-нибудь подберем. И вот — завтра улетаю. Так что учитите: здесь на каждом шагу можете нарваться на провокацию. И боже вас сохрани, никогда не мойте руки в ананасном компоте. Ну, авось когда-нибудь встретимся.

Он пошарил в бумажнике и вручил мне маленькую визитную карточку с немного захватанными уголками, где было напечатано латинскими буквами:

*«Альфред Парасюк, кюльтурель».*

Говорящий кот! Говорящий кот!

Американцы дали мне понять, — разумеется, со всей деликатностью! — что действительно не следует чрезмерно восхищаться Нью-Йорком, потому что этот город — отнюдь не Америка.

— А что же?

— Все, что угодно, но только не Америка. Если вы хотите увидеть подлинную Америку, то ищите ее где-нибудь в другом месте материка.

— Хорошо. Я буду ее искать.

И я полетел в Вашингтон, округ Колумбия, хотя меньше всего можно было назвать полетом бесцветное передвижение по воздуху над просторами восточной части Североамериканского материка в длинной закупоренной комнате пассажирского самолета, оклеенной синтетическими обоями с серебряным абстрактным узором и таинственными пробоинами в панелях, превращавшихся но-

чью в подобие карты звездного неба, в чем я убедился впоследствии, когда мне пришлось несколько раз передвигаться над Штатами после наступления темноты. Чехлы кресел были пропитаны запахом виргинских табачков, и я увидел двух молчаливых попутчиков в противоположных концах пустого салона первого класса. Один был черный, другой белый.

Впервые в жизни я видел такого негра — безукоризненно элегантного, одетого во все темное тропикаль, корректного и, видимо, богатого, с утонченно интеллигентными чертами прекрасного лица европейца, белоснежным воротничком вокруг длинной, несколько женственной шеи и с музыкальными пальцами, на одном из которых неярко светилось бледное обручальное кольцо очень хорошего тона — совсем тонкое, как новорожденный месяц в сумерках матовой узкой руки с дымчато-розовой ладонью.

Я уже когда-то видел подобные глаза, глядящие вам прямо в душу как бы из прорези полумаски.

— Отлично. Завтра я вас усыплю в лучшем виде. Ручаюсь, что вы даже не заметите. А теперь спите спокойно.

— Доктор, — сказал я тогда, — вы обещали меня усыпить, и это очень хорошо, но обещаете ли вы потом разбудить меня?

Он не оценил моей шутки, ничего не ответил и незаметно вышел.

Может быть, мой попутчик-негр был врач, отвергший психоаналитический подход «великого Фрейда» к функциональному психическому расстройству и ведущий поиски чисто медицинских средств излечения и предупреждения неврологических и психических расстройств, состоя на службе в какой-нибудь могучей фармацевтической корпорации.

А белый был обыкновенный американский генерал, по-видимому, одного из высших рангов. Он был в непромокаемой шелковой куртке цвета луковой шелухи на алой муаровой подкладке и на длинной «дубль-молнии» самой

надежной конструкции; прямые армейские брюки были заправлены в довольно высокие сапоги, руки в замшевых перчатках лежали на костлявых коленях, большой штабной портфель помещался в багажнике над его головой. У него было заурядное генеральское лицо, энергично выбритое, мускулистое, решительное, с красивыми бровями, лицо пятидесяти- или шестидесятилетнего, не слишком сильно, но регулярно пьющего мужчины, способного на любые, даже самые страшные, военные действия, если этого потребует обстановка или приказ высшего начальства. Если бы не его большая генеральская фуражка с американским орлом и маленьким лакированным козырьком, как в старой русской армии, надетая по-казацки несколько набекрень, его можно было бы принять за Врангеля, или Колчака, или еще какого-нибудь из контрреволюционных генералов времен интервенции. В его полукрытых глазах под щелочками ирландских бровей бежали крошечные зеркальные отражения полутолых человечков, пылали бамбуковые хижины, стреляли базуки, ползла по земле удушливо рыжая овчина горящего напалма и джунгли тонули в ядовитом дыму, над которым висели брюхатые стрекозы вертолетов с вяло вздернутыми хвостами.

Эти два гражданина Соединенных Штатов, столь чуждые друг другу по всему своему человеческому облику и вместе с тем скованные между собой нерасторжимыми узами древнего преступления, в котором ни один из них не был повинен, были соединены всей мощью американской государственности еще более прочно, чем фазы земных суток, когда на нашей планете одновременно существуют, преследуя друг друга по пятам, белый день и черная ночь со всеми ее безумными сновидениями и подавленными желаниями.

А я — выходец из совсем другого мира, — как бы попавший в зону душевной невесомости, почти что плавал в своем откинутом кресле где-то на пересечении дня и ночи и, покончив с грейпфрутом и громадными подогретыми тостами-сандвичами с консервированной ветчи-



ной и консервированным сыром, который был украшен мокрыми листьями салата и покрыт каракулями майонеза, уже держал в руке до смешного невесомую пластмассовую чашку, куда стюардесса в сексуальной пилотке на обесцвеченных волосах наливала через мое плечо из кувшиноподобного термоса широкую струю тяжелого, как золото, мокко, над которым клубился божественно горький пар.

А когда утром меня приготовили, то есть вынули из моего рта старые зубные протезы, сняли с моей руки позеленевшие от времени стальные часы, побрили все мое тело, и тут же, не откладывая дела в долгий ящик, молоденькие девушки быстро и весело — с явным удовольствием — повезли меня на каталке по холодному коридору, покрытому скрипучим линолеумом цвета Атлантики, потом опустили в грузовом лифте и снова еще быстрее покатали уже в другом направлении по такому же безлюдно-стерильному атлантическому коридору в операционную, двери которой сами собой распахнулись перед нами, как в нью-йоркском интернациональном аэропорту, и я увидел голубых людей — главным образом молодых изящных женщин в полумасках, — и они переложили мое тело на узкий и твердый стол под круглым, еще не включенным прожектором, то я окончательно примирился со всем дальнейшим...

Между тем в иллюминаторе продолжали плыть грустные пространства зимней Америки — лесистые, иногда гористые, немного зеленые, с декадентскими облаками на горизонте. Масштаб местности увеличивался на глазах, из чего можно было заключить, что начался плавный спуск. По какой-то совершенно непонятной зрительной ассоциации я безошибочно узнавал никогда раньше мною не виденные города, над которыми первый раз в

жизни летел в обществе моих молчаливых ангелов: одного черного, как ночь, другого белого, как день.

Нью-Джерси, Филадельфия, Балтимора — все было позади.

Когда же я увидел внизу совсем приблизившееся к глазам плавно закруглявшееся шоссе с белыми прерывистыми линиями посередине и на нем не слишком часто и не слишком быстро бегущие туда и обратно автомобили, плоские, как портсигары, которые огибали высокий электротрансформатор строгой формы, выкрашенный оранжево-красным краплением, таким ярким, почти что светящимся среди вялых зимних газонов и узкоперых елей, то я понял, что мы приблизились к Вашингтону, к его новому, ультрамодернистскому аэропорту Даллас, но это меня теперь уже совсем не радовало, потому что я предчувствовал, что в столице Соединенных Штатов со мной повторится то же самое, что было в Нью-Йорке.

— Вашингтон — это не Америка.

— А что же?

— Все, что угодно, но только не Америка. Проезжий двор, где постояльцы меняются каждые четыре года. Настоящую Америку надо искать в другом месте.

— Где?

— Не знаю.

— На юге?

— Может быть. Это зависит от ваших политических убеждений.

— На юго-западе?

— Если вы отречетесь от совести и чести.

— На западе?

— Быть может, не уверен.

— Но все-таки?

— Ищите, ищите.

Это было странно и тягостно. В какое бы место Соеди-

ненных Штатов я ни попадал, я всюду слышал одно: это не Америка. Вы не туда заехали. Ищите Америку где угодно, но только не здесь. Ищите, ищите.

Тогда я понял, что ни один американец не уверен, что он живет в настоящей Америке. Он убежден, что где-то в другом штате есть какая-то настоящая, подлинная Америка, обетованная земля для американца. Ему трудно поверить, что место, где он живет, именно и есть та самая знаменитая на весь земной шар великая Америка.

Я видел Вашингтон, Хьюстон, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Денвер, Чикаго, Бостон, наконец, злополучный Нью-Йорк, откуда, собственно, и начались поиски настоящей Америки.

Я уже не говорю о пути в ущельях Невады — слоистого плоскогорья, где белые полосы снега перемежались с винно-красными и палевыми полосами горных пород горизонтального залегания, кое-где как бы вышитые зелеными шерстяными елочками хвойного леса, что придавало им оттенок чего-то кустарного, белорусского, — и где в одном месте над нашим алюминиевым поездом на головокружительной высоте висел ледяной орган замерзшего водопада, из которого, как из моей немой души, нельзя было извлечь ни одного звука, ни одного стога, и где вдоль обледеневшей и занесенной снегами реки Колорадо, истыканной большими и малыми следами разных диких зверей, даже, может быть, оленей, — бесконечно долго длился зимний североамериканский закат, который я наблюдал, сидя под стеклянным колпаком на втором этаже обзорного туристского вагона.

Но я понял всю тщету своего путешествия лишь тогда, когда в конце концов в один прекрасный день увидел в иллюминаторе французского трансатлантического самолета пляжи Лонг-Бича и Джонс-Бича, заснеженные леса Канады, полуостров Лабрадор, а потом голубой кружок Атлантического океана с редкими белыми точками волн и мутной тенью атомной подводной лодки с ядерными ракетами.

Итак, я возвращался с пустыми руками, мне нигде не удалось найти настоящую, подлинную Америку, к чему я, впрочем, совсем не стремился: теперь в этом можно признаться. Америка была для меня последней надеждой еще хоть один-единственный раз увидеть женщину, которую любил с детства, а точнее говоря — с ранней юности, потому что, когда мы узнали друг друга, ей было лет пятнадцать или около того, мне же немногим больше шестнадцати, а быть может, наоборот — ей шестнадцать, а мне пятнадцать, — но теперь это уже не имело значения. Может быть, она давно где-нибудь умерла и от нее осталось только имя, которое по какому-то странному суеверию я боюсь не только написать на бумаге, но даже произнести вслух, потому что в конце концов любое человеческое слово, написанное знаками или произнесенное голосом, всего лишь только искаженное отражение самой вещи, ее приблизительное подобие, продукт деятельности второй сигнальной системы. Пусть лучше ее имя лежит в глубине моего сознания, как неприснившийся сон.

Вернее всего, она совсем забыла обо мне, тем более что между нами не только никогда не было никакой близости, но я даже не вполне уверен, догадывалась ли она, что я ее полюбил на всю жизнь с того самого лилового мартовского вечера, когда мы всей нашей маленькой компанией возвратились домой после прогулки по еще заколоченным приморским дачам, разыскивая в прошлогодней листве маленькие бледные фиалки — первые фиалки этой весны, распространявшие огуречно-водянистый, нежный, слабый аромат, — и потом она зашла к своей подруге, для того чтобы почистить ботинки и причесаться. Никогда не забуду я, как она сняла перед зеркалом в ореховой раме свою форменную касторовую шляпу с атласным салатно-зеленым бантом и круглым гимназическим гербом, набрала полон рот шпилек-невидимок, которые проворно вынимала одну за другой из прически, и я вдруг увидел всю массу ее каштановых волос с рыжи-

ми кончиками, тяжело опустившуюся на ее детскую прямую спину, перекрещенную черными бретельками ее форменного, будничного саржевого передника. Ее маленькие ноги были обуты в башмачки на пуговицах, и темно-зеленое гимназическое платье закрывало лодыжки. Она была совсем некрасива — маленького роста, с незначительным лицом, кое-где покрытым веснушками, со щечками как у лягушонка, крошечным подбородком, выпуклыми веками и карими глазами, женственными, но лишенными индивидуальности, что, как я понял впоследствии, и есть ее индивидуальность. Так как она держала во рту шпильки, то ее щеки казались еще более лягушачьими, рыжеватые брови благовоспитанной, прилежной девочки хмурились, тесные рукава были обшиты узкими кружевцами, откуда высывались кисти еще по-детски красных маленьких рук с неровно подстриженными ногтями, на которых я заметил несколько белых пятнышек — верная примета того, что скоро ей предстоит получать подарки. Эти подарочные пятнышки делали ногти немного сизыми, почти мраморными. Плоская грудь под черным передником тихо дышала. И я вдруг с ужасом понял, что полюбил ее на всю жизнь. Я ни секунды не сомневался в значении для меня того, что случилось, и ужаснулся, так как уже тогда твердо знал, что отныне я ее буду любить всегда, а она меня никогда не полюбит. И меня охватила такая щемящая — я даже не боюсь сказать — безумная грусть, описать которую не могу, потому что у этой грусти не было никаких причин и никакого внешнего выражения, как у абсолютного безмолвия.

Мы стояли в огромном мире друг перед другом — девочка-гимназистка и мальчик-гимназист — вот она и вот я, — и у меня под черной суконной гимназической курткой с потертыми докрасна серебряными пуговицами, под нижней сорочкой, на худой шее висел эмалевый киевский крестик вместе с холщовой ладанкой, где были за-

шиты два зуба чеснока, которые, по мнению тети, должны были предохранить меня от скарлатины и других напастей. Увы, они не предохранили меня ни от скарлатины, ни от еще большей напасти — от неразделенной любви на всю жизнь. Но, может быть, все же я просто выдумал эту вечную любовь.

Моруа утверждает, что нельзя жить сразу в двух мирах — действительном и воображаемом. Кто хочет и того и другого — терпит фиаско. Я уверен, что Моруа ошибается: фиаско терпит тот, кто живет в каком-нибудь одном из этих двух миров; он себя обкрадывает, так как лишается ровно половины красоты и мудрости жизни.

Я всегда прежде жил в двух измерениях. Одно без другого было для меня невысказано. Их разделение сразу превратило бы искусство либо в абстракцию, либо в плоский протокол. Только слияние этих двух стихий может создать искусство поистине прекрасное. В этом, может быть, и заключается сущность мовизма.

Посмотрев в большое окно, некогда выходившее в цветущий сад, полный перистой зелени белых акаций и лазури солнечного южного полудня, я увидел девушку, которая стояла, прячась за цветущим кустом, между двух молоденьких черных кипарисов. Она была белокурая, в веселеньком платьице и стройно стояла на розовой от зноя дорожке, посыпанной морским песком с ракушками. Мне показалось, что она исподтишка подглядывает за мной. Я опустил горячую полотняную штору и продолжал писать, а когда я пишу, то время для меня исчезает и не мешает моему воображению.

...Если бы я был, например, жидкостью — скажем, не-большой медленной речкой, — то меня можно было бы не перекладывать с каталки на операционный стол, а слегка наклонить пространство и просто перелить меня из одной

плоскости в другую, и тогда мое измученное тело все равно повторило бы классическую, диагонально изломанную линию снятия со креста: голова свесилась, ноги упали, а тело со впалыми ребрами висит косо в руках учеников...

Когда наконец я снова поднял штору, уже приближался желтый вечер, но девушка продолжала неподвижно стоять на прежнем месте. Я ушел из комнаты, а утром вернулся, посмотрел в окно и снова увидел девушку. Мне это показалось чрезвычайно странным, даже зловещим, но, всмотревшись, я понял свою ошибку. Это была вовсе не девушка за кустом, а сам куст — цветущий розовый куст между двух молодых кипарисов, который я принял за девушку в цветном платье. Цветущий розовый куст как бы подсматривал за мной из глубины солнечного сада. А девушки совсем не было, или это была Людмила в шапочке-невидимке в саду Черномора. А вернее, девушка была когда-то гораздо раньше, может быть, полстолетия назад, и тогда она действительно стояла на цыпочках, как балерина, на дорожке, посыпанной морским песком с рубчатыми ракушками, и она подсматривала за мной, а может быть, за кем-нибудь другим. Что же здесь действительность и что воображение? И в чем разница: был ли это розовый куст или семнадцатилетняя девушка? И вдруг я опять посмотрел в окно и на месте куста увидел девушку в нарядном платье. На этот раз ошибки не было, потому что девушка держала в руках лейку, из которой, изгибаясь, как конский хвост, бежали струи сверкающей воды. Она улыбнулась мне и ушла вместе со своей лейкой, оставив между двух молодых кипарисов пустое место. Но едва я на миг отвернулся, как на пустом месте уже снова стоял знакомый розовый куст, а девушки и след простыл.

Нечто подобное — весьма отдаленно подобное — произошло со мной в Вашингтоне в тот день, когда я вдруг заметил, что рядом со мной что-то порхнуло. Я обернулся, но ничего не заметил. Я стоял на двенадцатом этаже в коридоре гостиницы «Stalter Hilton», дожидаясь лифта:

красная светящаяся стрелка, толстая и короткая, тупо показывала, что лифт наверху, но скоро вернется. Я был один. Из скрытого репродуктора тянулась выводимая на трубе приглушенная мелодия бразильской босановы, безысходно щемящая музыкальная фраза, так нескончаемо растянувшаяся, как будто бы ее кто-то невидимый писал на незнакомом языке, не отрывая серого карандаша от бесконечно длинной стены, разделяющей земной шар по экватору на две равные части, — какое-то одно-единственное слово, растянувшееся на тысячи миль однообразного пространства. Бесшумно подошел и остановился лифт, бесшумно раздвинулись половинки толстой бронзовой двери, и я шагнул в роскошную комнату лифта, почувствовав, как под моими подошвами мягко спружинил пол, покрытый толстым ковром из синтетического меха. И в тот самый сокровенный миг, когда мое тело уже не находилось в коридоре, но еще не стояло в лифте, возле меня опять что-то мелькнуло — на уровне моего уха, — и у меня осталось такое впечатление, что пролетел голубь. Но половинки бронзовой двери бесшумно сошлись, и я мягко, почти неощутимо, вместе с комнатой лифта, наполненной леди и джентльменами, упал в пропасть и вышел на нижнем этаже в холле, затянутом цельным нейлоновым ковром размером в несколько сот квадратных метров. Проходя мимо стойки портье, я увидел стол, покрытый плоской кучей писем, которая сама собой увеличивалась, потому что откуда-то сверху мягко падали и ложились один за другим длинные конверты. Тогда я еще не понял связи между этими письмами и голубиным порханьем, которое заметил в коридоре, дожидаясь лифта. Однако вечером, возвращаясь в свой конструктивно целесообразный номер, едва лишь я шагнул из лифта в глухо молчаливый коридор, где все еще продолжалась щемящая музыкальная фраза босановы, как возле моего лица опять что-то порхнуло — белое, как голубь, — и пропало. Я остановился и с осторожностью сумасшедшего, подозревающего, что за ним кто-то тайно наблюдает, внимательно осмотрелся вокруг в глухой ночной тишине рес-



пектабельной гостиницы, где откуда-то просачивалась надтреснутая бразильская мелодия. Я осмотрел каждую пядь стены, служебный столик с неубранной посудой и вдруг заметил на уровне своей головы застекленное оконце и под ним — медную начищенную полосу со щелью, какая бывает в почтовых ящиках, и в тот же миг за стеклом сверху вниз пролетело письмо — длинный конверт: синяя наклейка «*By air mail*» и непогашенная марка с профилем Джорджа Вашингтона в белом парике с косичкой. Таков был способ отправлять почтовую корреспонденцию в больших американских отелях. Письмо бросают в щель на любом этаже, и оно летит вниз, мелькая в окошечках, пока мягко не ляжет на стол портье, откуда его уже заберет почта.

Мимо меня сверху вниз пролетели белые голуби писем, как бы сигнализируя, что настало время и мне, воспользовавшись силой земного притяжения, бросить вниз свой конверт.

«Ждите меня, никуда не выходя из дома, между пятым и двенадцатым этого месяца, так как я точно не знаю, когда попаду в ваш город. Быть может, это последний случай увидеться нам в этой жизни. Не пропустите его».

Я подписался своим полным именем, но ее назвал так, как привык называть с детства, уменьшительно.

Щемяще грустны были эти зимние дни в Вашингтоне, освещенном нежным солнцем, которое еще не стало весенним, хотя уже было и не вполне зимним. Такое солнце бывает в первую неделю после рождественских каникул. Праздники прошли, оставив после себя венки остролистника или омелы, украшенные разноцветными лентами, над красными полированными дверями дощатых особняков — серых с белыми окнами и тонкими столбиками галерей, неубранные сутробы загрязнившегося снега, придававшие вашингтонским улицам нечто захолустное. В готических окнах новеньких с иголки церкви, освещенных, как театральные макеты, розово догорали

прощальные свечи минувшего праздника. Христос родился, вырос, затем улетел на небо, скрестив вытянутые ноги с красными дырами от гвоздей. Остались догорающие огни. Остались пустые ясли, снопы овсяной соломы, рогатые головы жующих волов с раздутыми ноздрями, золотые короны царей и драгоценные ларчики магов, муляжи которых я встречал повсюду: посреди непомерных газонов университетов и медицинских центров, при входе в отели, на школьных площадках; они были электрифицированы, и от них тянулись толстые провода. Синяя вифлеемская звезда исчезла с морозного неба, и маленькая зимняя луна ярко-гелиотропового цвета стояла непомерно высоко в мраморном небе над правым берегом старой индейской реки Потомак, над оленьими рогами североамериканского заповедного леса, над однообразными крестами Арлингтонского кладбища, где тогда еще не было могилы президента Кеннеди, и над кирпичными корпусами фабрики возле старомодного каменного моста с могучими быками в стиле тяжелой английской архитектуры викторианского века. Под голыми деревьями иногда появлялись фигуры одиноко шагающих людей. Среди них я увидел индейца в мокасинах, с томагавком, украшенным бахромой, в руке, с иссиня-черными прямыми волосами, висящими вдоль гончарного лица, который бесшумно скользил по опавшим зеленым листьям. Затем я увидел майора милиции Джорджа Вашингтона, высокого, долговязого, до сумасшествия настойчивого, в своем красном мундире и треуголке едущего верхом в гости к знакомой вдове. И когда их призраки — индейца и Вашингтона — пересекали зловещую поляну Арлингтонского кладбища, президент Кеннеди спокойно спал в Белом доме.

Перед отелем стоял бетонный вигвам ночного бара и рядом с ним громадный столб индейского тотема с чернораскрасным, чудовищно размалеванным лицом.

Чувство одиночества, охватившее меня с того самого мига, как я разжал пальцы и длинный конверт с красивым круглым вензелем отеля канул в медную щель и, ме-

няя центр тяжести, полетел вниз, — с каждой минутой усиливалось. Подобное чувство охватывало меня иногда и раньше, не часто, но почти всякий раз, когда я оказывался за пределами родины. Отчаянное, ни с чем не сравнимое чувство тоски по родине свойственно моей душе. Теперь же к нему примешивалось чувство смерти — иначе никак не могу его назвать. Смерть напоминала о себе все время.

Ее дуновение коснулось моих волос, когда я увидел посреди длинного экрана лезвие раскрытого перочинного ножа, отливающего красно-синим блеском цветного фильма. В зале царило безмолвие ужаса, пронизанное сосудисто-волокнутой мелодией все той же босановы, аритмично мерцающей, как умирающее сердце. Полосы света — чернильно-синего, розового, красного, наконец, зеркально-белого — резкие до боли в глазах — медленно, одна за другой, прошли по лезвию безмерно укрупненного ножа, готового в любой миг войти в живот и вспороть его снизу вверх, выпустив внутренности, а вокруг стояли белые и черные, курчавые, ирландские рыжие, прекрасные и отталкивающие, неподвижные, как статуи, отверженные, нищие духом и отталкивающие прекрасные в своей молодости — юноши Вест-Сайда.

На глазах у всех была зарезана, поругана, обещана и растоптана нежная любовь двух незащитных возлюбленных — мальчика и девочки, — а вокруг уже не торжественно гремел серебряный и хрустальный джаз рокфеллеровского центра, а черный джаз ночного Гарлема, барабашки Смула, смоляной и кирпичный джаз железных пожарных лестниц, подземных коридоров, брандмауэров, решеток и бетонных дворов, залитых нефтью, смешанной с кровью, — скользких, безвыходных ловушек, где каждую секунду можно было споткнуться о красный обрубок толстого пожарного крана с медной крышечкой, отражавшей колодец кирпичного двора и какой-то отдаленный пожар.

На глазах у всех умирала поруганная любовь, и неоткуда было ждать спасения, и маленькая вашингтонская девочка-модница с хвостом льняных волос на макушке с нейлоновым мешочком воздушной кукурузы в дрожащей руке с перламутровыми ноготками, плакала, содрогаясь всем своим нежным, девственным телом, и слезы текли из ее синих глаз по прелестному, немного капризному личику прилежной школьницы, в то время как рыжий мальчик в блуджинсах, с двумя игрушечными пистолетами в белых лакированных кобурах на ковбойском поясе — наверное, ее младший брат — сердито говорил ей:

— Ну! Чего ты плачешь, дура? Ничего особенного не случилось. Просто они подрались на ножах. А зачем он связался с его сестрой? Перестань хныкать, ты мне мешаешь смотреть.

Но его голос непроизвольно срывался, рот кривился от непреодолимой муки, слезы сами собой бежали по веснушчатому лицу, и подбородок будущего боксера вздрагивал совсем по-детски, и в конце концов он положил свою голову с шевелюрой как у президента Кеннеди на плечо старшей сестренки, и они, не стесняясь своих слез, вместе оплакивали судьбу двух молодых возлюбленных Вест-Сайда. Это был дневной пятичасовой сеанс в кино на окраине Вашингтона, в зале сидели главным образом школьники — девочки с хвостиками на голове и мальчики — в блуджинсах и клетчатых куртках — у них еще продолжались каникулы, — они молчали, охваченные ужасом, смотрели на черно-цветной экран, блестящий во тьме, как клеенка, и слезы текли по их лицам, слегка подсвеченным фотографически красными фонариками запасных выходов.

И с тех пор я полюбил Америку.

Не страну новых цезарей в демократических пиджаках и широкополых стэтсоновских шляпах, которая представлялась мне современным вариантом великой Римской

империи со всеми ее грубыми изваяниями и монументами, стадионами, ристалищами, мавзолеями, курульными эдильми, мраморными креслами законодателей, грандиозными обелисками, отражающимися в длинных зеркалах прямоугольных прудов среди холмов заповедного индейского леса и английских лужаек города Вашингтона, который вознес в бледное небо североамериканской зимы туманную, высокую папскую тиару антихудожественного капитолийского купола, как бы утверждая надо всем Западным полушарием горькую истину, провозглашенную моим другом Анри Барбюсом, что всякие купола, самые величественные, просто смешны, как колпаки, которыми гасили свечи.

Я полюбил Америку вашингтонских школьников, мальчиков и девочек, которые в разноцветной тьме дневного сеанса оплакивали разбитую и поруганную любовь белого Ромео и темной Джульетты и, может быть, оплакивали свою незащитную юность.

Я понял трагедию великого государства, выбравшего путь Рима, но не путь Афин.

Возмездие за преступление предков, которые обратили в рабство целый народ, лишили его родины и оставили своим потомкам ужасное наследство. Освобожденные рабы все равно остались рабами, потому что Америка не стала их родиной.

Я понял, что до тех пор, пока в Америке живут рядом черные и белые, не сливаясь и не признавая друг друга и формально считаясь равноправными гражданами этой несметно богатой и жестокой страны, где традиция властвует над законом и где белый полицейский может безнаказанно застрелить черного мальчика и целый народ лишен прав свободного человека, — Соединенные Штаты будут самым несчастным государством в мире, как богат, больной раком. Ему нет спасения. Для него нет лекарства. В листовке куклуксклановцев, наклеенной на стене одного вашингтонского дома, я прочитал: «Мы считаем

необходимым, чтобы негритянская и все другие цветные расы в Америке осознали, что они живут на земле белой расы по милости белых. Они не должны забывать, что белая раса — это правящая раса по праву наследия и что она не собирается уступить это право». Не касаясь уже всей моральной низости этих слов, в них заключается прямая ложь: черные живут на земле белой расы вовсе не по милости белых, а потому, что некогда белые насильно привезли их сюда в цепях и превратили в рабочий скот, в рабов, так что говорить о милости — это значит сознательно лгать. Затем: «Белая раса — это правящая раса по праву наследия» — тоже ложь. Белая раса живет в Америке по праву сильного и жестокого, на исконной земле цветных людей, индейцев, презрительно названных краснокожими, которых они почти полностью истребили, а остальных заперли навечно в особые концентрационные лагеря, так называемые резервации. А то, что белые, правящая раса, не собираются уступить свое право, — чего же иного можно ожидать от грубых и предприимчивых завоевателей, неслыханно обогатившихся на чужой, захваченной ими земле, применяя рабский труд? Так что же теперь делать? Черных уже двадцать миллионов. А главное, является вопрос, от которого холодеют правители сегодняшней Америки: что будет, если начнется мировая война? Можно ли ручаться за крепость американского тыла с двадцатью миллионами униженных и оскорбленных негров? В этом-то я и почувствовал страшную трагедию черно-белого государства, выросшего в результате страшного преступления, за которым не сегодня так завтра, не завтра так послезавтра — а в случае атомной войны немедленно — последует еще более страшное возмездие.

Однако стало подмораживать, розовый закат блестел на крышах одноэтажных домиков пригорода, похожих на киоски, — парикмахерских, кафетериев, аптек, хорошеньких заправочных станций, — и я шел вдоль провинциально широкой улицы вашингтонской окраины, дыша холодным воздухом, в котором были как бы смешаны

тончайшие предвесенние запахи жизни и смерти, но, в общем, это была светлая, даже приветливая улица, где почти все было новое: новые прачечные, новые бетонные светильники, новые столбики с зелеными и красными сигналами переходов — неяркими, но очень заметными, временами судорожно мерцающими, — и все это чем-то напоминало выставку.

Но больше всего мне понравился здесь небольшой особняк в глубине палисадника без забора, с безупречным газоном и двумя вечнозелеными магнолиями с пластами легкого снега на мглистых, глянцевых листьях — прелестный желтовато-розовый, как рахат-лукум, особнячок с рождественским веночком омелы над входной дверью и двумя стеклянными фонарями в виде факелов, матово светящимися в предвечернем сумраке. Окна домика были задернуты белыми шторами, освещенными изнутри приветливым праздничным светом, так что мне сразу представилось, как хорошо и уютно в этом доме, где радушные хозяева ждут гостей, а может быть, гости уже пришли и теперь сидят за старинным столом красного дерева чиппендейл перед лиможским блюдом с плумпудингом, охваченным голубым пламенем ямайского рома.

Черные мысли рассеялись. Вы заметили, как легко рассеиваются черные мысли?

По карнизу вилась надпись — белое по голубому, — которую я не умел прочесть, но можно было не сомневаться, что она обозначала нечто вроде радушного приглашения войти. Этот домик как бы сошел с рождественской поздравительной картинки; он представлял собой яркий пример счастливого образа жизни среднеамериканской семьи, но в то же время в нем было нечто холодно-официальное, специфически вашингтонское, так что мне даже на минуту показалось, что, быть может, это какое-нибудь государственное учреждение, но я сейчас

же отогнал от себя эту странную мысль и, улыбаясь, продолжал смотреть на гостеприимно освещенные непроницаемые окна.

— Хорошо бы войти в этот коттедж и посмотреть, что там делается.

— Вам он понравился?

— Очень.

— Это похоронное бюро панамериканской компании добрых услуг, — сказала переводчица, прочитав надпись. — Зайдем?

Не замедляя шага, я прошел мимо подъезда с двумя электрическими факелами и веночком остролистника, ясно представляя себе, как однажды маленькая пожилая женщина в Лос-Анджелесе переступила порог примерно такого же домика и увидела розово освещенный зал, где в образцовом порядке по номерам были выставлены на полу, как чемоданы, разные гробы мал мала меньше — прочные изделия американского фасона: широкие, с крышками — не высокими и островерхими, как у нас, а плоскими, удобными, не причиняющими беспокойства при погребальном обряде. Я неоднократно видел такие гробы в американских кинокомедиях, в театрах и потом однажды по телевизору, когда такой же гроб, покрытый звездно-полосатым флагом, установленный на старинном артиллерийском лафете и прикрепленный к нему двумя солдатскими ремнями, остановился у ступеней собора, где ждал его католический епископ в своей зловеще раздвоенной митре.

Обратимо ли время! Грустная мелодия босановы.

Год назад у женщины, которой я послал письмо, умер муж. Я его очень смутно помнил, он тогда назывался Костя — тонкий, предупредительный студент в мундире с иголки и в твердом, высоком, темно-синем воротнике,



из-под которого выглядывала тоненькая полоска крахмального воротничка, — хорошо помню также золотые дутые пуговицы с накладными орлами, — и, возможно, год назад она вошла в точно такое же бюро добрых услуг, для того чтобы выбрать гроб и заказать еще кое-что из необходимых вещей: траурные извещения, визитные карточки и коробку папетри с элегантными конвертами и бумагой в черной рамке. Может быть, там же она купила черную вуаль и белые погребальные цветы, а также заказала сильно увеличенную цветную фотографию — замечательную имитацию портрета масляными красками работы хорошего художника-реалиста, умеющего довольно точно передать сходство с оригиналом и вместе с тем сообщить его лицу приличную случаю значительность.

До сих пор не могу понять: почему она вышла замуж именно за него? И каким он стал впоследствии? Он всегда казался мне посредственностью. Во всяком случае, он был недостоин ее. А, собственно говоря, почему недостоин? Студент-медик из хорошей семьи, с состоянием, наследник дачи на Среднем Фонтане, в перспективе — практикующий врач, недурен собой, некоторые даже считали его красивым — словом, вполне порядочный молодой человек, завидная партия, и, вероятно, безумно ее любил. Тогда было принято говорить: «Он ее безумно любит». И на фронт должен был идти не простым рядовым, польноопределяющимся или даже прапорщиком, а военным врачом. Гораздо меньше шансов, что убьют. А что представляла из себя она, если не считать ее необъяснимой прелести, сводящей мужчин с ума? Тогда тоже принято было говорить: «Она сводит всех мужчин с ума». Если отбросить словесные украшения, она была просто-напросто бедная невеста, дочь промотавшегося бессарабского помещика, бесприданница, и на лучшую партию — как тогда говорили — вряд ли могла рассчитывать. Так что все было естественно, но помню, как страшно удивило меня известие, что она вышла замуж, хотя в то время моя любовь к ней уже давно прошла. Но это удивление

было ничто в сравнении с чувством, которое я испытал в тот поздний вечер в неосвещенном городе, когда я ворвался к ним в комнату и увидел супружескую полуторную кровать, покрытую красным, стеганым, атласным, явно приданным одеялом и ее порозовевшие от волнения веки.

Они — он и она — молодожены, стояли передо мной радостно смущенные, так как это был самый разгар их медового месяца, а я был первый гость, пришедший к ним в их маленькую, почти бедную комнату, которую они наняли по объявлению, не желая жить ни у его, ни у ее родителей, сразу же заявив о своей независимости, тем более что уже шла революция и происходила переоценка ценностей. Они были счастливы в своем гнездышке, — с милым рай в шалаше! — и ее маленькие меховые туфельки застенчиво выглядывали из-под кровати.

Больше всего меня поразило выражение счастья на ее уже вполне женском лице.

Я стоял в дверях, ломая обеими руками свою защитного цвета офицерскую фуражку с дырочкой и овальным пятном на месте кокарды, которую я уже снял вместе с погонами и нашивками за ранения. Мы с ней давно не виделись, а в этой комнате с толстыми стенами я вообще был впервые. Она стала меня усаживать, а он — тоже в военной гимнастерке с университетским значком, без погон, но при этом в длинных студенческих брюках со штрипками — засуетился, видимо намереваясь разжечь керосинку со слюдяным закопченным окошечком, чтобы напоить меня морковным чаем с монпансье, что по тем временам считалось некоторой роскошью, он даже стал протирать полотенцем стаканы, а я не знал, куда деваться от жгучего стыда, и проклинал себя за то, что, как всегда, оказался тряпкой и согласился пойти к ней за деньгами. «Она тебе не откажет», — говорили друзья, это верное дело, у нее, безусловно, есть деньги, у молодоженов всегда есть деньги, а больше нигде достать, и, что самое главное, это совсем близко, так что мы еще успеем заско-

чить с черного хода и взять у этого грека несколько бутылок сухого эриванского, единственного вина, которое еще осталось в городе, потому что нет ничего хуже, когда люди недопьют. Она тебя любит, она тебе даст, — они говорили, что если я не пойду к ней, то буду не друг и товарищ, а самый последний предатель и мещанин и так далее. Я говорил, что не желаю унижаться, и чувствовал, как у меня дрожат губы. А они твердили:

— Унизься, дурак, унизься! Ну что тебе стоит унизиться!

У меня уже шумело в голове, мне было море по колено, и я храбро пошел к ней, а они дожидались меня в подворотне, — они оба потом стали знаменитыми людьми, и их имена можно найти в энциклопедическом словаре.

Она, конечно, сразу поняла, что я пьян, но не испугалась и стала еще приветливее, ласковые огоньки затеплились в ее глазах.

— Сколько лет, сколько зим, — сказала она и назвала меня по имени, как в детстве. — Вот так мы и живем. Садитесь и рассказывайте.

— Я к вам по делу, — через силу сказал я и тоже назвал ее уменьшительным именем. — Дайте мне взаймы рублей пятьдесят, я вам отдам не позже чем послезавтра, честное благородное слово.

Между нами всегда были такие возвышенные отношения — как тогда принято было говорить, «платоническая любовь», — и мне очень нелегко было вытолкнуть из себя эти слова, я бы их ни за что не произнес, если бы уже не был пьян. И я чуть не сломал лакированный козырек своей фуражки. Она была смущена еще больше, чем я, но и глазом не моргнула.

— Ах, пожалуйста, пожалуйста.

Она пошептала с мужем, и Костя достал из-за иконы с двумя венчальными обожженными свечами и восковым флердоранжем странную ассигнацию в пятьдесят карбованцев, выпущенную гетманом Скоропадским, — деньги, которые тогда ходили у нас на юге. На бумажке

были стилизованные, остро графические изображения украинца и украинки в свитках и сапогах работы знаменитого графика Егора Нарбута, странный фигоподобный герб, — и я как сейчас вижу грубую печать, толстую бумагу и плохие краски, желтую и голубую, этих денег, которые тогда уже почти ничего не стоили.

— Вы не беспокойтесь, я вам непременно на днях отдам, занесу. Когда вас можно будет застать дома? — говорил я, глядя на нее и удивляясь, как она похорошела, стала почти красавицей, и стараясь не замечать новенького атласного стеганого одеяла, от которого как бы распространилось по всей комнате алое зарево, в то время как на самом деле электричество не горело — не было тока — и комната освещалась самодельным светильником-коптилкой. Больше мы с ней уже не виделись, и последнее впечатление было: он, она, пятьдесят карбованцев, стеганое атласное одеяло, темный двор и друзья с поднятыми воротниками, которые ждали меня в темной подворотне, прижавшись к стене, а потом пустынная ночная улица, скользкие плитки лавы, по которым мы бежали, мокрая гранитная мостовая, винтовочный выстрел за углом и громыханье броневика, заставлявшего дрожать стекла в домах, начало переворота.

Конница Котовского с красными бантами в гривах лошадей лилась по чугунно-синим гранитным мостовым, высекая подковами искры.

Может показаться странным, что одновременно с этим на подоконнике стояли одна на другой несколько круглых никелированных коробок с двойными проволочными ручками. Но ведь неизвестно, что такое время. Может быть, его вообще нет. Во всяком случае, каждому известно, что «не существует истинно прекрасного без некоторой доли странности». Это выдумал не я. Это открыл Френсис Бэкон, основатель английского материализма.

Доля странности заключалась в том, что в никелированной поверхности круглых коробок хотя и с мягкими

искажениями и наплывами, но, в общем, довольно реалистично отражалась комната, наполненная голубыми де-нушками в марлевых масках, что отчасти напоминало «Принцессу Турандот» с ее увлекательным вальсом на губных гребешках. И в тот самый миг, когда я наконец разглядел плащаницу своего распростертого тела, очень иркий, но вместе с тем совсем не резкий свет операционной лампы, похожий на солнечный, ударил вдруг мне в глаза сверху, и я почувствовал позади себя присутствие пылающего шестикрылого серафима, перед лицом которого все расступилось.

Перстами, легкими как сон, моих зениц коснулся он, и я увидел с высоты двадцать шестого этажа город Хьюстон — тревожное смешение старинных деревянных домиков, окруженных галерейками, и диких пустырей с белыми небоскребами супермодерн, которые были беспорядочно расставлены то там, то здесь, как пластинчатые прямоугольные башни, транзисторы и аккордеоны; в пролетах между ними виднелись бесконечные плоскости техасских прерий и небо в длинных мутно-розовых и серо-голубых полосах мексиканского заката, как бы напечатанного в литографии начала прошлого века на глянцевой обложке ковбойского романа для железнодорожного чтения: знаменитый ковбой Буффало-Билль, крутя над головой лассо, стоит на стремянах взвившегося на дыбы мустанга.

Я смотрел в пространства Техаса, стараясь ориентироваться по заходящему солнцу и представить, в какой стороне находится Мексиканский залив, а где расположен главный город штата — Даллас.

Странная мысль, вернее ощущение, овладела мною, как только я поселился здесь, в одной из стеклянных ячеек «Sheraton Hotel», напоминавшего издали раму сотового меда, поставленную ребром среди нескольких других по-

добных же стеклянных рам, где в каждой ячейке жила человекоподобная пчела, может быть даже личинка. Это было ощущение единства моего собственного тела и тела гостиницы, где меня поселили. Одновременно я был и человеком и зданием. У нас была общая структура, были общие клетки, обмен веществ, биотоки, химические реакции, рефлексы высшей нервной деятельности, работа пищеварительного тракта, кровообращение и температура, которая в виде многочисленных лифтов то поднималась бесшумно до сороковых градусов, то опускалась ниже нуля и на некоторое время замирала в состоянии анабиоза среди громадного пространства, устланного желтым мохнатым синтетическим ковром; на нем стояли страшно тяжелые сафьяновые кресла и диваны ярко-красного цвета, где сидели обычные посетители гостиничных холлов: переводчики, руководители делегаций, агенты компаний, коммивояжеры, переодетые полицейские, детективы и журналисты, увешанные портативной электроаппаратурой, набором фото- и кинокамер и зеркальных старинных блицев. Тут же в прямоугольном мраморном бассейне, откуда торчала одна-единственная изящная тростинка, над мозаичным дном в голубой мелкой воде плавала деревянная утка-селезень с золотисто-зеленым ромбом бокового перышка — и неуловимое, кругообразное движение искусственной птицы поворачивалось у меня под ложечкой, как легкое поташнивание, как напоминание о скрытом сердечно-сосудистом заболевании.

Здесь же я сделал открытие, что человек обладает волшебной способностью на один миг превратиться в предмет, на который он смотрит.

А что, если вся человеческая жизнь есть не что иное, как цепь превращений?

В течение одной поездки из Хьюстона на ранчо я последовательно превращался в разные предметы. Сначала я на некоторое время превратился в автостраду, распростертую на равнине Техаса, твердой и плоской, как новороссийская степь, с сухими пыльными цветочками и:

числа тех, на которых всегда остаются следы колесного дегтя, и я — рассеченный осевыми линиями, ярко-белыми, прерывистыми, стремительными, — уносился вперед и назад к горизонту, где иногда появлялись видения новейших крекинг-заводов и таинственные серебряные шары водонапорных установок, и надо мной в три или четыре яруса проносились железобетонные пересечения эстакад, по которым один над другим разбегались мои бетонированные двойники, унося на себе встречные и попутные машины, неудержимо увлекая мое тело в разные стороны Техаса со скоростью восемьдесят или сто двадцать «майлс» в час, что практически делало их как бы неподвижными. Затем ненадолго я был грустным зимним солнцем Техаса, а также одним из первых автомобилей второй половины XIX века — прелестным произведением еще не вполне зрелого технического гения, называвшимся тогда «самодвижущийся экипаж», — с ярко начищенными медными фонарями и сигнальным рожком с гуттаперчевой грушей, которая с усилием выталкивала из его завязанного узлом тельца резкие гусиные крики, заставлявшие лошадей шарахаться в сторону и становиться на дыбы.

Именно в таком красном автомобильчике Эмиль Золя сжал на процесс Дрейфуса, и подобным же автоматическим экипажем управлял, вцепившись в руль, страшный, мохнатый как черт шофер со зверским мефистофельским лицом, в громадных очках, так гениально грязно нарисованный на литографском камне Тулуз-Лотреком.

Свято сохраненный для потомства, чистенький, вымытый, с сафьяновыми креслицами, возвышающимися над комически маленьким радиатором, я, силой своего воображения превращенный в автомобиль, стоял на невысоком круглом пьедестале, окруженный папоротниками и мхами, посредине универсального магазина суперконструктивного стиля второй половины XX века, простершегося среди пустой, еще не заселенной прерии, на пересечении новеньких штатных и федеральных авто-

страд с их многочисленными ответвлениями, дорожными знаками и железобетонными светильниками, божественно изогнутыми, как стебли искусственных растений будущего, когда человечество научится создавать все тела органического мира, придавая им произвольную форму. Но зачем, спрашивается, понадобилось строить этот универсальный магазин, чудо строительной и архитектурной техники, верх простоты и удобства — без всяких модернистских украшений и финтифлюшек, — непомерно громадный и плоский, со светящимися потолками, газонами и цветниками, врезанными в черный и белый мрамор полов-площадей, удобно и красиво вмещающий в своих боксах миллионы предметов первой, второй, третьей, двенадцатой и сотой необходимости? Вокруг простерлась до самого безоблачного горизонта пустыня, и немногочисленные покупатели, приехавшие сюда из Хьюстона скорее из любопытства, чем по необходимости, растворились среди плоско организованных пространств и свечения молочных потолков. Однако было бы неправильно считать, что вокруг была пустыня. Пустыня, да не совсем. Она была легко, и почти незаметно разделена на строительные участки, куда под землей уже стройно тянулись водопровод, газ, телефон, электрический кабель, канализация, теплоцентраль — вся та сложная система нулевого цикла, которая превращала землю почти в живую плоть.

Некоторое время я был плотью сухой тexasской земли, отличаясь от нее только еще более сложной системой обратной связи.

На таком земельном участке не составляло никакой трудности возвести дом. Архитектура уже не имела значения. Можно было с удобством жить в простом деревянном ящике, где сразу же появлялись горячая и холодная вода в ванне, огонь в очаге, ватерклозет, душ, телевизор на десять программ с ретрансляцией из Нью-Йорка, Сан-Диего и Мельбурна, телефон с отличной слышимостью,



лампы дневного и скрытого света, лед в холодильнике, так что можно было немедленно поселиться здесь с любимой женщиной и начать размножаться, не откладывая дела в долгий ящик, если, конечно, у вас было достаточно долларов, чтобы сделать первые взносы за участок с нулевым циклом и за все прочее. К тому же здесь, в штате Техас, проблема долларов решалась очень просто. Для этого даже не нужно было заходить в банк. Деньги можно было получать не внутри банка, а снаружи, прямо на улице: ваша машина проезжает мимо ряда косо поставленных мраморных кабинок. Вы останавливаетесь возле одной из них и прямо из машины протягиваете в окошечко с автоматической бронзовой решеткой ваш чек, раздастся звонок, решетка щелкает, хорошенькая кассирша с пистолетом под прилавком протягивает вам пачку зеленых бумажек, вспыхивает лампочка, скрытый в мраморной стене фотоаппарат делает с вас моментальный снимок, бронзовая решетка опускается, вы едете дальше по своим делам. Остается неясным, откуда раздобыть чек? Говорят, что об этом можно найти много интересного в «Капитале» Маркса. Но лучше не будем упоминать о Марксе в Техасе, самом — как утверждают — богатом нефтяном штате Америки, где я слышал эпическое повествование об одной бедной пожилой даме, которая в один прекрасный день обнаружила на своем маленьком земельном участке пласт высокооктановой нефти.

#### Легенда о бедной вдове.

«...И тогда, — гласит легенда, — бедная вдова обратилась в банк, где ей немедленно открыли кредит в один миллион долларов, так что она смогла купить все, что ей было нужно».

Не знаю, что ей было нужно, но думаю, что ей удалось легко и быстро удовлетворить все свои текущие потребности, а остальной капитал поместить на выгодных усло-

виях в какую-нибудь слаборазвитую или колониальную страну с дешевой рабочей силой, после чего она была принята в самом лучшем обществе штата. Меня долго преследовал образ этой пожилой хьюстонской дамы, и, по-моему, я даже с ней где-то встречался: в упомянутом универсальном магазине среди прерий, где она покупала все, что ей еще все-таки не хватало, или на рауте при свечах (дамы в вечерних туалетах, мужчины в черных галстуках), где она стояла полтора часа подряд, разговаривая со мной на ломаном французском языке с сильным мексиканским акцентом на тему о сравнительном психоанализе героев Достоевского и Толстого, а я (в хорошо начищенных мокасынах и черном шелковом галстуке) стоял, держа в руке высокий, обернутый бумажной салфеткой стакан с джин-тоником, в котором ландышево позванивали ломаные ледяные трубочки, и тоже шпарил по-французски, мучительно выковыривая из своей памяти, разрушенной склерозом, остатки французских идиоматических выражений, похожих на окаменевшие позвонки доисторических животных.

У нее на носу сидел слуховой аппарат, в виде богатых очков, усыпанных мелкими алмазами, а золотой шнур соединялся с полупроводниковой транзисторной батареей, которая гнездилась где-то на груди под драгоценным капом из дикой смутло-песчаной норки, отливавшей бесценным блеском при свете витых восковых свечей, расставленных там и тут по всему старомодному салону, где происходил раут.

Ее рысистые ноги мускулисто переминались, шелковые длинноносые туфли на очень высоких каблуках и с брильянтовыми пряжками слегка скользили взад и вперед по ковру, словно собираясь сделать несколько па мэдисона, а глаза, пронзительные, как у галки, с непреклонной доброжелательностью глухой классной дамы смотрели прямо в мои глаза, и она, не умолкая ни на минуту, разговаривала по-французски, причем из ее открытого рта, оборудованного лучшими, совершенно новыми

искусственными зубами и розовыми пластмассовыми деснами самой дорогой и самой знаменитой компании стоматологических протезов, все время вылетали сухие французские фразы, а когда их не хватало, на помощь приходили немецкие и даже итальянские слова-ублюдки, немедленно вызывавшие во мне ответный рефлекс красноречия.

В общем, все это напоминало историю небольшой Вавилонской башни, чему отчасти способствовало впечатление от ее шляпки, сооруженной из розовых ангельских перьев, и вуалетки, прикрывавшей страстное лицо Савонаролы.

Потом она без передышки перешла к проблемам современной музыки и сделала интересное замечание:

— ...Ваш знаменитый композитор (не в состоянии говорить его фамилию), о котором я когда-то довольно много читала в нью-йоркских газетах, совершил блестящий эксперимент, превратив популярную мелодию «Пойду к Максиму я» из «Веселой вдовы» Легара в лейтмотив своей симфонии, а потом через несколько лет гениально вывернул наизнанку «Аве Мария» Шуберта, создав оригинальный романс для одного популярного советского кинофильма...

Заметив, что я теряю сознание, старуха сделала небольшую паузу и бросила мне якорь спасения в виде вопроса: что я думаю об абстракционистах? Она пришла в неописуемый восторг, услышав в ответ, что абстракционизм не имеет ничего общего с искусством, в частности с живописью, а скорее всего бессознательная попытка создать третью сигнальную систему связи, и затем обрадовалась, как дитя, и даже захлопала в ладоши, узнав, что я являюсь основателем новейшей литературной школы *мо-вистов*, от французского слова *mauvais* — плохой, — суть которой заключается в том, что так как в настоящее время все пишут очень хорошо, то нужно писать плохо, как можно хуже, и тогда на вас обратят внимание; конечно,

научиться писать плохо не так-то легко, потому что приходится выдерживать адскую конкуренцию, но игра стоит свеч, и если вы действительно научитесь писать паршиво, хуже всех, то мировая популярность вам обеспечена.

— Вообразите, я об этом до сих пор ничего не слышала, — в отчаянии воскликнула она, — наш Техас в этом отношении такая жуткая провинция! Мы обо всем узнаем последними! Но вы действительно умеете писать хуже всех?

— Почти. Хуже меня пишет только один человек в мире, но это, как вы сами понимаете, уже профессиональная тайна.

— Вы открыли мне глаза. Мерси. Прозит, — сказала она, поднимая стакан со льдом, после чего, исполняя общественную обязанность моей руководительницы, села за руль своего спортивного кара и с быстротой смерти домчала меня до подъезда «Sheraton Lincoln Hotel», где меня дожидалась знакомая деревянная утка, неумолимо плавающая в плоском бассейне. Затем путем нажатия разных кнопок я очутился в своем конструктивном номере лицом к лицу с ночным техасским небом, местами подкрашенным неоновым и аргоновым заревом, которое лежало длинными горизонтальными полосками в щелях между пластмассовых лент жалюзи на единственном окне, занимающем всю стену моего номера сверху донизу.

Оставшись один, я еще некоторый промежуток жизни продолжал быть хьюстонской дамой и все никак не мог отделаться от оригинальных идей относительно мовизма, пока не перевоплотился в свой гостиничный номер со всей его тоской ожидания, со всеми его механизмами, системами прямой и обратной сигнальной связи, со стопками махровых салфеток, махровых полотенец, махровых купальных простыней, модного, почти черного цвета — в то же время стерильно чистых, — в изобилии разложенных в ванной комнате с раздвигающейся мутно-зеленой стеклянной перегородкой, которая стыдливо отделяла ванну от душевого бокса, где, нажав несколько

кнопок, можно было запрограммировать себе душ любой температуры с точностью до полутора градусов в ту или другую сторону, разумеется, по Фаренгейту!

По Фаренгейту, господа, по Фаренгейту!

В изголовье моей механической койки помещался пульт дистанционного управления, так что я мог, не вставая с ложа, закодировать жизненный процесс своего отельного номера. Простым нажатием кнопки я мог заказать любую комнатную температуру и влажность, мог узнать прогноз погоды, давление атмосферы, биржевой курс, таблицу спортивных соревнований, рысистых бегах, последние известия, наконец, я мог приказать разбудить себя в определенное время, хотя времени как такового, в общем, не существует. Я был одновременно и человеком, и его жилищем — так много общего было между нами, начиная с заданной температуры наших тел и кончая заранее запрограммированным пробуждением. Сначала пробуждалась комната, потом человек, если у него не было бессонницы.

Я нажимал с вечера кнопку, устанавливая минуту пробуждения, и это пробуждение наступало довольно точно, но не сразу, а как бы желая постепенно приучить меня к состоянию бодрствования и не слишком резко прервать мой сон, полный страстного ожидания встречи с ней и утомительных сновидений, которые потом невозможно было восстановить в памяти, потому что никто до сих пор не знает, каков физический механизм памяти.

Первой начинала пробуждаться комната, постепенно восстанавливая внешние, чисто функциональные связи системы и среды, весьма важные для процессов управления. Сначала сама собой в маленьком холле зажигалась неяркая лампочка. Потом в дистанционном аппарате что-то тихо щелкало, возникал ворчливый шум как бы с трудом начавшегося кровообращения. Я открывал глаза

и вскакивал: кто зажег свет, если дверь номера еще с вечера была собственноручно мною намертво заперта патентованным замком, о чем свидетельствовала крошечная изумрудная лампочка — таинственный глазок, вделанный в ручку двери со стороны коридора? Кто посмел? И тут же вспыхивала вторая лампочка, более сильная, в ванной комнате. Затем зажигался торшер в моем изголовье, яркий, сияющий, золотой, как шестикрылый серафим с марлевой маской на лице. И вдруг весь апартамент озарился заревом плафона. Приборы дистанционного аппарата показывали все, что я у них требовал накануне. Шум в аппарате зловеще нарастал. Наконец раздался пронзительный электрический звонок, который я никак не мог остановить, хотя и нажимал подряд все кнопки. Непрерывный, пронзительный звон сводил меня с ума, и тут же в кобальтово-синюю ванну стала низвергаться вода заданной температуры, наполняя номер бешеным гулом горячего водопада. В отчаянии я стучал кулаками по панельному устройству, но машина не унималась, с неумолимым упорством продолжая выполнять заданную ей программу.

Тогда я вылил туда кувшин кипятка, и «оно» успокоилось.

Все это было довольно-таки странно, но самое страшное таилось в телевизоре — в этом приборе, быть может наиболее похожем на человеческий мозг, во всяком случае — на его способность превращать сигналы, идущие извне, в живые отпечатки, светящиеся, движущиеся изображения окружающего мира. Большой плоский телевизор стоял в противоположном конце номера, по диагонали от моего ложа, но я мог в любой момент включить его, не вставая с постели, стоило мне только нащупать нужную кнопку, и тогда начиналось нечто похожее на игру в пятнашки: все десять телевизионных программ одна за

другой быстро пробежали по сверхчувствительному, приятно выпуклому экрану молочной голубизны, вытесняя друг друга и не давая возможности сосредоточиться ни на одной, а я должен был мгновенным нажатием кнопки поймать и остановить ту программу, которую хотел бы смотреть. Но это оказалось мучительно трудно. Едва я собирался прихлопнуть усмирение необъезженных лошадей — чертовски злых, бешеных животных, которые, упиравшись передними ногами в землю и выбросив задние почти вертикально вверх, сбрасывали с себя неудачливого седока в ковбойской шляпе, и он катился кубарем в пыли прерии, а потом навсегда замирал на спине, раскинув руки среди каких-то степных, почти украинских цветочков, — как вдруг экран начинало лихорадить, по его светящимся строчкам бежали черные полосы смерти и врывалась новая программа: два космонавта с тонкими рогами антенн под синтетическими шлемами сидят рядом в межпланетном корабле, управляя сложными и запутанными приборами, и время от времени смотрят в черный иллюминатор, где медленно проплывает громадная ярко-белая луна, а в это время сзади вдруг отодвигается потайная дверь и входит негодяй, держа в каждой руке по бесшумному автоматическому атомному пистолету... Еще миг — и вспыхнут выстрелы, но тут, прерывая на самом интересном месте тягостное сновидение, очень крупным планом выкатывается, вернее скользит, как по льду, разворачиваясь из своей хрустящей обертки, большой кусок туалетного мыла с глубокой, выразительно вдавленной печатью фирмы, и бархатный бас незримого, идеально чистоплотного мужчины — самца-друга и любовника — вкрадчиво рекомендует умываться именно этим душистым, элегантным, недорогим и полезным для кожи мылом. Я нажимал кнопки, но телевизор уже окончательно вышел из-под моего контроля. Кадры сменяли друг друга с ужасающей быстротой, программа вытесняла программу, черные полосы смерти чередовались с белой рябью жизни, возникали люди, пейзажи, конферен-

ции, взмахи филладельфийского оркестра, спектакли, богослужения, аэродромы, ракеты, белый поднос хоккея с кружащимися фигурками.

И выступление всемирно известного русского эксцентрика с пузатой фигуркой ваньки-встаньки и глупо лицемерной улыбкой вокруг злого, щербатого рта; он показывал свой коронный номер: искусство ставить твердую фетровую шляпу в форме перевернутого вверх дном горшка на лысую голову, поддерживая ее одними только ушами; едва он в четвертый раз проделал этот опыт и уже собирался раскланяться, как вдруг высунулась нога, дала ему под зад, и он вылетел с арены...

Но я уже ничего не понимал, бессильный справиться с аппаратом, вышедшим из повиновения. Иногда мне даже казалось, что аппарат существует совершенно самостоятельно, по своему собственному произволу. Но самое тягостное было то, что я уже никак не мог не только приказывать ему, но даже хотя бы просто прекратить его механическую работу, мелькание, разорванные звуки, мгновенные обрывки какой-то музыки или человеческой речи, заставить его замолчать, померкнуть, сделаться мертвой вещью. Кажется, мы поменялись с ним функциями. Не я управлял им, а он мною, пользуясь все тем же самым дистанционным устройством. Он насильственно останавливал мои мысли, гнал их вперед и назад, и в моем мозгу, измученном ожиданием, мелькали отрывки различных сюжетов, навязанных мне чужой волей.

Из личности свободной я стал личностью управляемой. О, как тягостно быть управляемым, в особенности если тобой управляет механизм! Я сделался придатком этой проклятой полупроводниковой машины.

Я был не волен даже в своих сновидениях. Чужая воля, сила извне, гоняла их вперед и назад по своему усмотрению. Именно так: «и назад», хотя известно, что время необратимо, то есть всякий материальный процесс развивается в одном направлении — от прошлого к будущему.



му. Однако здесь, в Хьюстоне, я убедился, что в момент крайнего душевного напряжения или длительной потери сознания из этого правила бывают исключения, и тогда время начинает бежать в обратном направлении — из будущего в прошлое, принося с собой обломки событий, которые еще должны произойти. Я не знаю, как объяснить это явление, но здесь оно произошло со мной, когда я наконец страшным усилием воли вырвался из плена управляющего мною электрического прибора и остановил на экране телевизора несколько сюжетов, принесенных из будущего. Потом, года через полтора, в другое время и в другом месте, я увидел эти же самые кадры, появившиеся вполне законно, по дороге из прошлого в будущее.

Но теперь, в Хьюстоне, они были выходцами из будущего.

Я увидел убийство президента за год до того, как оно совершилось.

Улица в траурном Далласе, носившая название Хьюстон-стрит, прыгала во все стороны, потому что кинооператор ехал в машине, снимая президента. Потом запрыгала другая улица. У кинооператора дрожала рука. Президент сполз с сиденья, и его голова нырнула вниз, в темноту, поползла по коленям Жаклин. Кто-то вскочил. Кто-то бежал. Толпа устремилась в сторону. Все это произошло на расстоянии каких-нибудь двухсот миль от Хьюстона, я впервые в жизни стал свидетелем обратного движения времени. Люди в широкополых техасских шляпах с загнутыми вверх полями осаждали двери госпиталя, куда унесли президента, но вот толпа замерла, разделилась, и между двумя рядами неторопливо проследовал, прижимая к груди молитвенник, корректный священник в хорошо сшитом гражданском костюме, в глубоко черном шелковом галстуке, в черной широкополой шляпе, одновременно и техасской и ватиканской. Его лицо было бесстрастно, а глаза устремлены вперед и несколько выше, чем когда смотрят вперед обыкновенные люди. Он был уже необыкновенный человек. Он был священником,

внезапно сделавшимся известным всему миру. Громаднейшее паблисити!

И сейчас же по какому-то безрадостно серому коридору полицейские провели неврастеника в наручниках, но не успел он выйти за рамку кадра, как из стены вышел толстый человек, которого сначала никто не заметил, и проворно сунул в пень неврастенику пистолет, и неврастеник повалился на руки полицейских и на глазах у всех превратился в тень, и все побежали и окружили толстяка с пистолетом, желая, в свою очередь, тоже превратить его в серую тень, но в это время лента кончилась, а когда экран снова вспыхнул, я увидел Жаклин в бежевом пальто с черным меховым воротником, которая бежала, держась за металлические ручки санитарного автомобиля, безуспешно пытаясь открыть задние дверцы, за которыми покачивалось окоченевшее тело президента, и ее лицо — показанное самым крупным планом, — прекрасное, неподвижное, с широко расставленными темными глазами и коротким, немного вздернутым носом, — прыгая, держалось некоторое время, занимая весь экран, а потом Жаклин быстро, как школьница, подобрала полы пальто и прыгнула на сиденье рядом с шофером, и на ней была очень короткая — по моде того сезона — юбка, открывшая зрелые ноги молодой, богатой, счастливой американки, еще не вполне осознавшей, что вот она уже вдова...

А потом весь экран заполнило крупным планом лицо моего тягостного друга с костяным рылом.

Дятел, дятел, тук-тук-тук.

Выяснилось, что он привык выступать со своим художественным стуком в третьем отделении.

Книга превращений. Концерт. Репортаж.

Вдоволь насмотревшись в темный иллюминатор самолета компании «Дельта» на ночные города, разбросан-

ные в просторах континентальной Америки, как связки елочных украшений, я стоял в номере лос-анджелесского отеля возле стандартного торшера, прижав к уху телефонную трубку, и слышал ее голос. Самое поразительное, что это был не чей-нибудь другой, а именно ее голос, и он произнес с волнением мое уменьшительное имя и сказал, что она ждет меня вот уже целую неделю, никуда не отлучаясь из дома.

— Вы рады? — спросил я.

— Очень, — ответила она с тем особенным, тайным значением, с каким она всегда произносила это слово в прежней жизни. Это было «ее» слово. Она носила его на себе, как брошку с полудрагоценным камнем. Оно — это слово — выделяло ее из всех ее подруг. Оно сводило с ума ее поклонников: произносить слово «очень» именно с такой интонацией, в которой можно было найти любой самый сладостный смысл, было ее изобретением.

— Вы любите Брамса?

— Очень, — произносила она негромко, значительно, заставляя предполагать всю глубину, страстность и богатство ее натуры.

— Вы любите осень?

— Очень. — Она слегка опускала на карие глаза свои женственно выпуклые веки.

— Вы любите весну?

Веки радостно поднимались:

— Очень! — И взгляд ее проникал в глубину души.

Однажды я, преодолевая робость, за которую сам себя презирал, в отчаянии спросил, стараясь улыбнуться замерзшими губами:

— Вы меня любите?

— Очень, — ответила она серьезно глубоким, приглушенным голосом и посмотрела мне прямо в глаза своими совсем некрасивыми глазами, которые казались мне прекрасными.

Боже мой, как я мучился!

Студент Саша Миклашевский, богач и красавец, спросил ее:

— Вы любите кататься на лодке при луне? У меня есть на Ланжероне ялик.

Он был высок ростом и строен.

Она подняла к нему голову, отягощенную короной каштановых волос с челкой, и, глядя на его маленький румяный рот, который он в это время незаметно для себя облизывал, сказала:

— Очень.

А потом все играли в поцелуи, и, когда настала их очередь, они удалились в соседнюю комнату, побыли там некоторое время и вернулись с таинственными, скромными улыбками, и я тогда чуть не сошел с ума от ревности: мальчик-гимназист, у которого на глазах у всех отнимали его девочку.

Но все же это было ничто в сравнении с тем отчаянием, даже ужасом, когда много лет спустя, после долгого отсутствия, после войны, Сморгони, удушливых газов, ранений, Февральской революции, многих романов и связей с разными женщинами, считая, что я уже навсегда избавился от своей юношеской любви, казавшейся мне совсем несерьезной и даже комичной, я пришел к ней и застал в гостинной молодого человека — мальчишку, — курчавого ученика музыкального училища. Он, не сводя с нее огненных, нежных, молящих глаз, аккомпанировал себе на старом рояле, ударяя по желтым клавишам своими железными пальцами виртуоза с такой страстью, что в пыльной мещанской гостинной вся плюшевая обстановка ходила ходуном и не было слышно грохота ломовиков, мчавшихся порожняком под балконами по Херсонскому спуску на Молдаванку, пел романс «Безумно жаждать твоих лобзаний», а она стояла — маленькая, с чувственно полуоткрытым ртом, полуопущенными веками — и смотрела на его скачущие, худые, почти мальчишеские руки с кольцом, сплетенным явно из ее волос, на одном из пальцев... Его звали Рафаил, Рафа, фамилию его я уже забыл.

— Вам нравится? — спросила она меня.

— А вам?

— Очень.

Тогда я мог бы убить себя, если бы, по счастью, не оставил свой офицерский наган дома на вешалке.

На рассвете мы возвращались с ним, усталые, измученные, по пустынному и неряшливому после дневных митингов городу, и он торопливо шагал рядом со мной, слегка подскакивая, по шуршащим осыпавшимся сухим цветам белой акации, ласковый, доброжелательный, нежно поглядывая на мой Георгиевский крест, мерцающий в предутренних сумерках, зеленоватых, как морская вода.

Через сорок лет, прижав к уху телефонную трубку, в Лос-Анджелесе, машинально положив свободную руку на небольшое, изящное издание Библии на английском языке — убористый шрифт, тончайшая бумага, — непременную принадлежность каждой американской гостиницы, я как будто бы не просто разговаривал по телефону со знакомой дамой, которая объясняла, как отыскать ее дом, а давал какую-то странную клятву. В то же время я видел за окном внутренний сквер с квадратными газонами, каннами и магнолиями, угол светло-серого бетонно-стеклянного многоэтажного корпуса, вдалеке две светло-серые бетонные эстакады, одна над другой, наискосок, — знаменитое круглое здание, — и редкий поток неподвижных автомобилей как наглядное доказательство того, что неподвижность есть всего лишь форма движения. И наконец, я видел перемежающиеся ряды высоких железобетонных светильников и еще более высоких вашингтонских пальм с непропорционально маленькими головками-метелочками, порывавшихся и поломанных сухим зимним ветром из Мексики, острым, как наждак, холодным, беспощадным, несущим вдоль калифорнийских пляжей длинные, плоские тихоокеанские волны, такие же дикие и враждебные всему живому, как и те злые чайки, которые на раскину-

тых крыльях носятся над ними, оглашая окрестности убийственно механическими кошачьими криками.

...И однообразно голубое (может быть, даже синее) небо, отполированное все тем же мексиканским ветром, пронсящимся откуда-то из Сан-Диего над скучными промышленными апельсиновыми садами, которые были увешаны смугло-желтыми стандартными — один в один, — как бы искусственными плодами, подогревающимися снизу керосиновыми печками, возле каждого дерева, — ветром, пронсящимся над вечнозелеными кустами растения пуансета, осыпанного ярко-красными цветами, хорошо заметными издалика, как сигнальные огни семафоров, над игрушечной страной Диснея. Эта страна казалась воплощением моего детского представления о мире с его резиновыми слонами, обдающими наш колесный пароходик струями воды, как из брандспойта, с путешествием на подводной лодке, где в иллюминаторах сквозь бисерные потоки воздуха передо мной передвигались безмолвные картины зеленого подводного царства. И среди колышущихся водорослей и мутных обломков кораблекрушений таились все сокровища моей фантазии: громадная раковина, рубчатые створки которой — как бы дыша! — медленно приоткрывались, показывая неземную радужную белизну жемчужины величинной с кокосовый орех; возле обломка грот-мачты, обросшей тропическими моллюсками, позеленевший бронзовый сундук, из которого на илистое дно струились золотые монеты — старинные полновесные дублоны! — и морское чудовище смотрело на меня выпученными глазами, между тем как мексиканский ветер все пронсился и пронсился — над виллой Стравинского, одно имя которого само по себе уже было как бы зимним ветром из глубины Мексики со всеми его смычковыми, духовыми, ударными, щипковыми инструментами, связанными между собой гениальным контрапунктом; над собачьим кладбищем на вершине голого холма; над кафетериями и конторами Голливуда; над «косыми скулами» Тихого

океана, за угрюмо пылающим горизонтом которого на склоне другого полушария мне все время чудились очертания моей страны; над вечерней улицей, где я наконец разыскал ее темный дом.

Еще издали я увидел ее неподвижную фигуру, хотя в сумерках она почти сливалась с обнаженным черно-железным кустарником, росшим перед небольшим одноэтажным домом. Можно было подумать, что она ждет меня здесь с незапамятных времен, вечно, и уже превратилась в небольшое серое изваяние. Эта мысль не показалась мне странной, потому что формальное измерение времени, искусственно оторванного от пространства, общепринятое у людей — годы, сутки, часы, минуты, столетия, — дает лишь условное, искаженное представление о подлинном времени. С трудом переводя дыхание, я довольно быстро взошел с проезжей части улицы по каменным плитам, заменявшим лестницу, на верх поросшего травой откоса, что было весьма обычно для темноватой провинциальной американской улицы, и остановился со шляпой в руках, не в силах поверить, что передо мной действительно стоит она, и все еще продолжая думать о песочных часах, о том, что гораздо более точное представление о времени дает не песок, сыплющийся неощутимой струйкой из одной колбочки в другую, а простой камень, «с течением времени» превращающийся в песок, или же песок, превращающийся постепенно в камень и снова «с течением времени» делающийся песком, потому что здесь я не только ощущаю, но вижу разрушительное или созидающее действие времени, не отделимого от материи. Точнее всего я могу узнать время не по часам, а, например, рассматривая свою руку, усыпанную уже довольно крупными коричневыми пятнышками старости — так называемой гречкой, и я вижу неотвратимое разрушение своего тела, и когда я протягивал ей свою руку, то подумал: «Без четверти вечность». Вероятно, она прочитала мои мысли, потому что сказала: «Сорок лет» — и ввела меня в свой дом. И вот мы опять, как тогда, в на-

чале жизни, стояли друг против друга — вот я и вот она — одни-единственные и неповторимые во всем мире, посреди традиционного американского полуосвященного холла, где в пустом кирпичном камине бушевало, каждый миг распадаясь на куски и вновь сливаясь, газовое пламя — искусственное, неживое, слишком белое, такое же самое, как почти во всех местных холлах и ресторанах, — бесцветно слепящее и обжигающее лицо пламя богатой калифорнийской зимы, — а на низком прямоугольном длинном столе для газет и журналов, тревожно озагаемый льющим мертвым светом, стоял в серебряной раме на подставке портрет красивого господина с добрым незапоминающимся лицом — копия с фотографии — масляными красками. Я, конечно, не узнал бы «Костю» в этом респектабельном джентльмене, изображенном почти во весь рост, по колени. Если бы из-под его жилета выглядывали концы муаровой орденской ленты, то его легко можно было бы принять за президента какой-нибудь не слишком большой европейской республики вроде Португалии; все аксессуары, окружавшие его, были именно такого сорта: массивный чернильный прибор, которого он касался кистью красивой руки с тонким обручальным кольцом, и полки красного дерева с солидно переплетенными книгами позади немного седой благородной головы порядочного человека.

Она хотела что-то сказать, вернее всего подтвердить, что это именно он, но подумала и промолчала, так что он как бы остался лишь свидетелем, но не участником нашего свиданья, продолжавшегося почти всю ночь и потом перед моим отъездом еще несколько часов подряд до тех пор, пока мы не выпили весь запас чая, который был в доме; желтые этикетки «липтон» в громадном количестве висели из-под крышки английского чайника, где мокли и никак не могли размокнуть остывшие и разбухшие мешочки из папиросной бумаги с заваркой мелкого черного цейлонского чая. Эти мешочки всегда удивляли ме-



ня поразительным свойством своей шелковой бумаги промокать, но никогда не разваливаться даже в самом крутом кипятке. Мы все время пили чай, и наконец разбухшие мешочки «липтона» вытеснили всю воду из чайника, и уже больше нечем было утолять жажду, а все это никому не нужное, выдуманное свидание представлялось мне тягостным погружением в самые нижние слои бесконечно глубокого моря, разделявшего нас тяжелой водой молчания, сквозь которое с трудом взаимопроникали наши слова, иногда доходя до сознания, подобно какой-то слуховой галлюцинации, а иногда растворяясь без следа где-то рядом с сознанием, как неприснившиеся сны, не оставляющие в памяти никаких следов.

У нас плохо работала обратная связь, все время прерываемая какими-то помехами извне черной и белой рябью.

В сущности, я пришел сюда лишь затем, чтобы узнать, любила ли она меня когда-нибудь. Всю жизнь меня мучил вопрос: «Что это было?» Но всю жизнь — она и я — мы находились в необъяснимом оцепенении, близком к небытию. Как человек, погруженный в наркотический сон и при этом каким-то образом все-таки сознающий, что он спит, мучительно хочет проснуться, но никакими, самыми отчаянными душевными усилиями не может вырваться из крепкой оболочки сна, так и я теперь никак не мог разорвать туго спеленавшего меня молчания и уже готов был задохнуться и навсегда остаться лежать на дне под страшной тяжестью давивших на меня километров неподвижной воды, как вдруг последним усилием воли наставил себя увидеть большое окно, за которым очень красиво, но как-то отвлеченно сияло солнечное русское июньское утро со всеми его подробностями: верхушками больничного сада, ангельским небом, по которому где-то в районе Кунцева струился нежный, шелестящий свист реактивных двигателей шедшего на посадку самолета, и вострадой, по которой я сотни раз в жизни проезжал

туда и назад, всякий раз любясь зрелищем рождения нового мира и многобашенным пирамидальным зданием, напоминавшим по ночам елку с электрическими лампочками. Среди полей, лугов и лесов угадывались химические заводы, космодромы и клетчатые рогатки высоковольтных передач, шагающих во все стороны единственной в мире, неповторимой, трижды благословенной страны моей души, которая дала мне столько восторгов, столько влетов, падений, разочарований, столько кипучей радости, высоких мыслей, великих и малых дел, любви и ненависти, иногда отчаяния, поэзии, музыки, грубого опьянения и божественно утонченных цветных сновидений, которые так сладко и нежно снились мне на рассвете при робком щелканье первых соловьев, — словом, столько всего того, что создало меня — по своему образу и подобию — именно тем, что я есть, или, вернее, тем, что я был, потому что я уже не мог вырваться из пелены сна, но вдруг в последнем порыве, от которого содрогнулось все мое существо, я все-таки сумел заставить себя произнести слова — не те, самые главные, единственные, — а другие, слова, поразившие меня своей бедностью:

— Скажите, почему вы тогда не вышли за меня замуж?

— Молодая была, глупая, — тотчас с какой-то бездумной горестной легкостью ответила она, как будто ожидала этого вопроса, и продолжала, слегка склонив голову, немного снизу глядеть на меня, не вытирая глаз и покорно улыбаясь, в то время как позади нее на стене я видел смутно знакомую мне акварель — единственную вещь, которую она более сорока лет тому назад захватила с собой: русская девушка, почти девочка, в цветочном платочке, осторожно несущая перед собой четверговую свечку в бумажном фунтике, чтобы мартовский ветер ее не задул; свечка озаряла девичье лицо снизу таким образом, что нижняя часть щек, круглых и румяных, как наливные яблочки, была ярко и нежно освещена, а верхняя то

нула в тени, и счастливые глаза с сусальными огоньками в каждом зрачке смотрели невинно и ясно прямо на меня, и сейчас же я вспомнил Блока:

Мальчики да девочки  
Свечечки да вербочки  
Понесли домой.

Огонечки теплятся,  
Прохожие крестятся,  
И пахнет весной.

— Помните? — спросил я, и она сейчас же, словно беспрерывно читала мои мысли, ответила автоматическим голосом:

Ветерок удаленький,  
Дождик, дождик маленький,  
Не задуй огня!

В Воскресенье Вербное  
Завтра встану первая  
Для святого дня.

Она замолчала, но теперь уже я, в свою очередь, читал ее мысли и видел то, что видела она: наш первый, последний и единственный поцелуй, который никогда не считался за настоящий, потому что мы не просто поцеловались, а «похристосовались», то есть совершили обязательный обряд.

Возле празднично убранного стола с куличами, розовыми стружками гиацинтов, крашеными яйцами вокруг зеленой кресс-салатовой горки, с окороком и серебряной бутылкой малиновой наливки братьев Шустовых она стояла с невыспавшимся после пасхальной ночи, но свежeweмытым лицом и выжидательно смотрела на меня, слегка приподняв руки в длинных кружевных рукавах, до половины закрывавших ее пальцы с наполированными ноготками. Она смотрела на меня, не скрывая любопытства: что я буду теперь делать? Впервые я увидел ее тогда не в гимназической форме, а в легкой великоватой блузе

с дырочками «бродери», сквозь которую просвечивали розовые шелковые бретельки и которая ей совсем не шла, придавая ее девичьей фигурке нечто дамское.

— Христос воскрес, — сказал я более решительно, чем этого требовали обстоятельства, и неуверенно шагнул к ней — чистенький, вымытый, тоже не выпавшийся, пахнувший тетиным одеколоном «Брокар», с жесткими волосами, насаленными фиксатуаром, и в новых скрипящих ботинках.

— Воистину, — ответила она и спросила, улыбаясь: — Надо целоваться?

— Приходится, — сказал я, с трудом владея своим грубо ломающимся голосом.

Она положила мне на плечи руки, от которых как-то по-старинному пахло цветущей бузиной — может быть, именно потому, что кружева рукавов были как бы немного пожелтевшими от времени, — и мы формально поцеловались, причем я близко увидел ее растянувшиеся в улыбку сомкнутые прохладные губы с маленькой черной мушкой и глаза, не выражавшие решительно ничего, даже смущения. Тогда же я впервые увидел ее отца, хотя часто бывал у них в гостях: ее отца никогда не было дома, всегда он либо уже ушел, либо еще не возвратился из клуба.

Он вошел в новом сюртуке и белом жилете, на ходу вкладывая в бумажник крахмально-белые карточки, приготовленные для визитов, на которые он отправлялся. Она представила меня, назвав мою фамилию и уменьшительное имя. Мы похристосовались, он слишком внимательно, с каким-то непонятым любопытством посмотрел на меня, затем пожал мою ледяную руку и налил в две зеленые рюмочки — себе и мне — малиновой наливки. Мы чокнулись, выпили, и я, никогда в жизни еще не пивший вина, почувствовал, что сразу опьянел от одного лишь запаха, наполнившего мой рот и носоглотку восхитительным летучим, как бы горящим малиновым вкусом, а за окнами с высохшей, потрескавшейся замазкой раз

давался утомительный перезвон пасхальных колоколов из Михайловского монастыря, над кустами сирени с надутыми почками и воробьями, по водянисто-голубому небу плыли белые облака, солнце сияло в ртутном шарике наружного термометра Реомюра, по крашеному подоконнику ползала ожившая муха, и я смотрел маринованными глазами на ее отца, на твердые белоснежные манжеты с золотыми запонками, на его крепкую голову, постриженную бобриком и хорошо посаженную на короткое, коренастое туловище отставного офицера, который проживает молдавское имение своей жены за ломберными столами дворянского собрания и в Екатерининском яхт-клубе.

— Вы помните моего покойного папу? — спросила она, продолжая непостижимо следовать за моими мыслями.

— Я всё помню, — ответил я грустно.

— Я тоже, — сказала она, и мы замолчали, и это молчание длилось невероятно долго, длилось до тех пор, пока она не решилась сказать мне то, что, по-видимому, тяготило ее уже много лет, всю жизнь.

Она положила свою сухую, уже старчески легкую руку на мое плечо и, глядя на меня, по своему обыкновению, как бы немного снизу, произнесла голосом сестры:

— Вы знаете, мой покойный папа незадолго до своей смерти вынул из секретного ящика своего письменного стола и молча показал мне фотографическую карточку вашей покойной мамы, ту самую, где — вы помните? — ваша покойная мама снята семнадцатилетней епархиалкой в форменном платье с круглым отложным, твердо накрахмаленным воротничком вокруг нежной шеи, с овальным смуглым лицом и японскими глазами. Оказывается, они — мой папа и ваша мама — были когда-то знакомы. И я думаю, — она вздохнула глубоко и почти неслышно, — и я думаю, что мой папа был когда-то влюблен в вашу маму и, может быть, даже любил ее всю свою жизнь до самой смерти. Вот что случилось в нашей жизни, мой друг, — грустно прибавила она...

А тем временем мы уже опять стояли — на этот раз

навсегда прощаясь — перед ее домом — я и она, — и мне запомнилось лишь немного из того, что она тогда — последний раз в нашей жизни — говорила, неотрывно глядя в мое лицо:

— ...На улице бы я вас не узнала, а в поезде бы узнала. Когда же мне сказали, что вы расстреляны, я пришла домой, села на диван и окаменела... Я даже не могла плакать... Я совсем окаменела. Я не могла согнуть рук. У меня было такое чувство, будто бы я превратилась в кусок камня... И уже вокруг меня ничего не было... Какое счастье, что это оказалась неправда и вы живы... вы живы...

— А может быть, это все-таки правда и я давно мертв?!

— Тогда, значит, нас обоих уже давно нет на свете.

— Быть может.

И вырвал грешный мой язык.

Зимний ветер из Мексики пролетал над крышами Лос-Анджелеса. Сухо шелестели вашингтонские пальмы. Лежала грифельная полоса Тихого океана, и где-то за далеко тлеющим горизонтом ощущался другой материк, и там мерцала страна моей души.

Она все еще продолжала стоять сверху у порога — маленькая, темная, неподвижная — и с ужасом смотрела на мои обуглившиеся крылья, — и потом, когда уже машина, распластавшись, текла мимо бетонных светильников и коттеджей, я в последний, в самый последний раз обернулся и увидел ее совершенно неподвижную фигурку, которая как бы лишний раз подтверждала, что неподвижность есть всего только одна из форм движения, — темную фигурку на верху откоса, рядом с голым, как бы железным кустарником.

Потом я еще раз увидел растение, осыпанное ярко-красными, как бы светящимися цветами — сигналами калифорнийской зимы, — но я уже забыл, как оно называется. Его название вертелось на языке, я мучительно

напрягал память, но не мог вспомнить — ассоциативные связи разрушились, и не у кого было спросить.

Теперь Америка почти совсем потеряла для меня интерес, она как бы лишилась души, напоминая прелестную искусственную страну вроде Диснейленда. Зачем я сюда так страстно стремился?

Вечная любовь. Альфред Парасюк. Книга для немногих. Пуансета. Голубые люди. А теперь в подробном изложении.

— Мы тогда в Париже бегали с Костей каждый день в пять часов вечера в «Куполь», но никак не могли вас застать. Где вы тогда пропадали?

Что я мог ей ответить? Я пропадал у Барбюса. Я был влюблен в его «Кларте». Я не отрываясь смотрел в узкое темное лицо Барбюса, на волосы, косо упавшие на широкий, наклонившийся ко мне лоб, и слушал его голос, в котором для меня тогда звучала величайшая истина нашей эпохи:

«Никто не подозревает, какую можно создать красоту! Никто не подозревает, какую пользу могли бы извлечь из расточаемых сокровищ, каких высот может достичь возрожденная человеческая мысль, заблудшая, подавленная, постепенно удушаемая постыдным рабством, проклятием заразной необходимости вооруженных нападений и оборон и привилегиями, унижающими человеческое достоинство; никто не подозревает, что она может открыть в будущем и перед чем преклониться. При верховной власти народа литература и искусство, симфоническая форма которых едва еще намечается, приобретут неслыханное величие, как, впрочем, и все остальное. Националистические группировки культивируют узость и невежество и убивают самобытность, а национальные академии, авторитет которых покоится на неизжитых суевериях, — лишь пышное обрамление развалин. Куполы институтов, вблизи как будто величественные, просто смешны, как колпаки, которыми гасили свечи. Надо рас-

ширять, интернационализировать неустанно, без ограничения все, что только возможно. Надо разрушить преграды, пусть люди увидят яркий свет, великолепные просторы; надо терпеливо, героически расчистить путь от человека к человечеству: он завален трупами людей, и каменные изваяния заслоняют дугу далекого горизонта. Да будет все это преобразовано по законам простоты. Существует только один народ, только один народ!»

А где была ты?

— У меня здесь больше никого нет. Никого на свете. Я могу жить вполне прилично, но я осталась совсем одна.

Это было последнее, что я от нее услышал; и эти бедные слова преследовали меня еще некоторое время днем и ночью, сначала в ущельях Невады, где, может быть, в это время в пещерах производились подземные атомные взрывы, не слышные снаружи, но о которых я догадывался по усиливающемуся сердцебиению, потрясающему всю нервно-сосудистую систему моего организма; потом среди железных эстакад Чикаго, в утренних зимних сумерках его гангстерских трущоб, в угольно-черных щелях между старинными небоскребами и новейшими шестидесятиэтажными пластинчатыми винтообразными башнями двух зданий недорогих квартир, возле непомерно длинной набережной, охваченной облаками морозного тумана, все время наползающего на город с озера Мичиган, о присутствии которого можно было лишь смутно догадываться по льду на ресницах, по оловянно-перламутровому мерцанию, по могучему северному ветру, несущему в лицо жгучий холод всего водного пространства невидимого озера, окаменевшей от стужи Канады, ледяных пространств Арктики; наконец — эти бедные слова преследовали меня среди респектабельных кирпичных домов и церквей, придающих городу Бостону особую, почти религиозную строгость и скуку в те дни, когда в молчаливом многоэтажном госпитале, днем и ночью окруженном фоторепортерами и операторами телевизион-



ных корпораций, на высокой кровати, поставленной посредине отдельной палаты, подпертый свежими большими подушками, среди цветов и золотогорлых бутылок французского шампанского в ушате с битым льдом, — неумоимо разглагольствуя, умирал столетний Роберт Фрост, знаменитый американский поэт, поворачивая во все стороны грозные, как у пророка, и наивные, как у ребенка, рыжие глаза на неподвижном пергаментно-пятнистом лице, уже как бы захватанном коричневыми пальцами вечности.

Я видел, как он, как глыба, придавленная к земле страшной тяжестью годов, казавшийся горбатым, с длинными руками, почти касавшимися пола, и короткими, как корни, кривыми ногами, в просторном новом костюме, поддерживаемый почитателями и вашингтонскими чиновниками, шел среди колонн и скульптур конгресса принести свои поздравления вновь избранному молодому и веселому президенту Кеннеди, как бы олицетворяя старую Америку Марка Твена и Лонтфелло, пожимающую руку Америке новой.

Теперь он, лежа с бокалом в руке на высокой хирургической кровати, смотрел на меня в упор и, стараясь, чтобы клико не пролилось на его белоснежную рубашку, открывавшую коричнево-пергаментную шею, усеянную гречкой, говорил в повышенно пророческом бостонском стиле, обращаясь к кому-то, видимому лишь ему одному.

Может быть, он видел за моей спиной испепеленные крылья, и это заставляло его еще больше волноваться.

— ...Мне смешно, — говорил он, — слышать, когда люди уверяют, что ее не будет. Можете мне поверить: она вполне может когда-нибудь разразиться. Но если она разразится... Люди, я призываю вас... Человечество, прислушайся к моему голосу... Во имя высшей правды, если начнется всеобщее мировое безумие, — не отравляйте колодцев, оставляйте на деревьях яблоки, чтобы люди могли утолить голод и жажду, если мы не хотим, чтобы

жизнь на земле навсегда исчезла. Я кончил. А теперь говори ты, — сердито сказал он и с усилием коснулся своим бокалом моего бокала. Он в упор смотрел на меня своими настойчивыми глазами, которые в этот миг вдруг показались мне искусственными, глядящими в прорези пятнистой маски, молчаливо требуя моего ответа.

Что мог сказать ему я в эту последнюю минуту нашей земной встречи? Я мог сделать лишь одно — громко провозгласить название этого вечнозеленого калифорнийского растения, осыпанного среди зимы ярко-красными, светящимися цветами, но я забыл это слово, единственное, которое могло спасти мир и спасти нас всех. Подавленный, я молчал, но во мне уже таинственно звучал далекий голос другого великого поэта Америки, родившегося здесь, в Бостоне, более века тому назад:

— Что за надпись, сестра дорогая,  
Здесь, на склепе? — спросил я, утрюм.  
Та в ответ: — Улялюм... Улялюм...  
Вот могила твоей Улялюм!

И когда французский самолет повернул в океан и я уже успел просмотреть сегодняшние парижские газеты с громадными траурными клише обледеневших трущоб и трупов людей, замерзших предыдущей ночью в Бельвиле, и пожарных, откачивающих воду из подвалов, где лопнули трубы, и я узнал, что «божол» снова подорожал на десять сантимов за литр, и я дремал в ожидании Европы, — то все это время испытывал чувство сладостной опустошенности, как человек, который нырнул на страшную глубину для того, чтобы поднять со дна мраморную статую богини, и всплыл на поверхность, полумертвый от нечеловеческого напряжения, простирая к небу ладони, в которых среди водорослей и голубого, текущего по рукам песка оказалась всего лишь маленькая, почти черная от времени терракотовая статуэтка женщины, вдовы, пролежавшая на дне несколько тысячелетий.

Да, припомнил я волны Оберы,  
Вспомнил область туманную Нодд!

Может быть: «Опыт построения третьей сигнальной системы?»

Теперь, когда я возвращался обратно из мира Стравинского в мир вывернутого наизнанку Шуберта, ко мне постепенно — миг за мигом — возвращалось время, которое так необъяснимо исчезло, когда я летел через океан туда, — вздох за вздохом — возвращалась жизнь, погруженная в гипнотический сон.

Да, припомнил я берег Оберы,  
Вспомнил призраков в зарослях Нодд!

...И гад морских подводный ход, и дольней лозы прозябанье...

Поседевшая от горя жена по-прежнему стояла на промасленных шестигранниках взлетной полосы, которая теперь превратилась в посадочную площадку и отражала сигнальные огни аэровокзала, с трудом пробивающиеся сквозь ночной туман. Она взяла меня молча под руку, и мы снова пошли как ни в чем не бывало по забытой улице, где старик в вязаных обгорелых перчатках с отрезанными пальцами жарил каштаны... Над жаровней носились плотные облака морозного воздуха, освещенные заревом голубой электрической вывески театра Сары Бернар, где на сцене бегал в коротких сапогах, заложив руку за борт пикейного жилета, император французов, и мы купили у старика пакетик крупных обутленных каштанов, обжигавших руки; но обутленная скорлупа легко снималась, и мы ели каштаны, как школьники, потратившие на лакомство свои два последних су и потерявшиеся в большом городе. Я потерял перчатку, пальцы озябли, и я дышал на них, стараясь согреть.

Нам страшно захотелось вернуться назад, туда, где в своей люлочке спала наша внучка, изо всех сил сжимая в

смутлых кулачках маленькие морские звездочки, собранные во время отлива; туда, где под толстой соломенной крышей нормандского овина, под величественным балдахинном спали Козловичи и видели во сне две Германии — одну Демократическую, другую Федеративную, — будучи не в состоянии решить, по какой из них прокатиться в туристском автобусе; где в садике под цветущим каштаном валялся мотороллер юной молочницы, а она сама, смешав свои белокурые волосы со стриженными волосами нашего сына — Шакала, спала блаженным сном праведницы, положив обольстительную пунцовую щеку на его голую руку, а на полу были разбросаны: красное платье, нейлоновые чулки без шва, на спинке стула висел черный девичий бюстгальтер с белыми пуговицами, а на письменном столе, рядом с бидоном, стояли резиновые кеды, а сам Шакал спал посапывая и казался без очков как новорожденный котик; туда, где наша дочь Гиена, скрестив ноги, спала крепким сном, спрятав под подушку новый роман одного из самых известных современных мовистов, в то время как ее муж, стоя у чертежной доски с тяжелым противовесом, обдумывал принцип моделирования третьей сигнальной системы; где на газоне стояла полуобгоревшая машина и в ней спали Остапенки, оба крупные, счастливые, большие любители путешествий; где по шоссе бесшумно неслись, распластавшись, машины лучших мировых стандартов, отражая своей поверхностью поток неоновых огней гостиниц-обержей и тревожных сигналов заправочных станций, дорожных указателей, светящихся реклам, городов и театров; где мы так нежно и так грустно любили друг друга.

Но, вероятно, в этот миг что-то произошло, потому что мы уже ничего вокруг не узнавали. Да, собственно, ничего и не было. Торчал лишь обугленный угол электрического трансформатора, срезанного по диагонали. Он торчал, как обломок зуба. Остальное все — поле, дачи, сосны, рощи, кладбище, станция, церковь времен Иоанна Грозного, тонкая перекрученная струйка родниковой во

дички, все люди — знакомые и незнакомые, — все перестало существовать, все изменило форму. Волнистый пепел простирался во все стороны до самого пустынного горизонта, по серой черте которого волнисто двигались маленькие шафранно-желтые шапочки лисичек и на коромыслах качались чашечки крошечных весов. А за горизонтом простиралась такая же самая пустота и так далее и так далее до бесконечности, а затем и после бесконечности, а с бесцветного — и, в общем, больше уже не существующего — неба сыпалась странная, невидимая и неосязаемая материя, продукт какого-то распада. Наша одежда и наши волосы тоже превращались в ничто и падали неосязаемыми частицами сухого тумана, и мы медленно и безболезненно, разматываясь, как клубок шерсти, съеденной молью, стали разматываться, разматываться, разматываться, превращаясь в ничто.

Нам совсем не было страшно, а только бесконечно грустно.

— Вернемся назад, — успела промолвить жена, становясь совсем прозрачной, размытой и неподвижной, как сновидение или даже как воспоминание о сновидении. Она прижалась к моему плечу, тая на глазах и теряя вес, и я понимал, что мы уже никогда никуда не вернемся, потому что я не мог вспомнить названия вечнозеленого куста, усыпанного среди зимы очень яркими пунцовыми цветами, а лишь одно это могло спасти нас: за серой пеленой неба, улетаая в мировое пространство, уже безмолвно бушевало и лизало со всех сторон вселенную странное пламя распадающейся материи, невидимое, неосязаемое, холодное и вместе с тем распространявшее острый, неприятно свежий запах железной ржавчины, запах кислорода, которым я, оказывается, давно уже дышал через гуттаперчевые трубки, глубоко вставленные в ноздри, слыша, как на губах сквозь марлю шипят пу-

зырьки кислорода, и довольно ясно понимая, что я уже не сплю, а лежу на высокой хирургической кровати в своей палате, что черная кровь, которая по капле стекает в банку из дренажей, есть моя кровь, что за окном внизу сияет сад моей души, что узкоглазый анестезиолог не забыл меня разбудить, что человек не может умереть, не родившись, а родиться, не умерев, и что сравнительно недалеко, возле Святого колодца, вероятно, по-прежнему стоит знакомый старик и терпеливо моет свои бутылки.

*1962—1965*

*Переделкино*

# Кубик









Классик за работой на даче в своем любимом  
Переделкине



Неужто кошка Бася  
просит писателя  
почитать что-нибудь из  
новенького?  
Хорошая Бася, умница!

А стоит зайти  
внучатой племяннице  
Наташеньке, как  
тотчас в беседу  
вмешается  
Степка-растрепка,  
а от него даже  
взрослым просто так  
не отделаться.  
Да и не хочется





Пора и передохнуть — спуститься со второго этажа в столовую, расположиться в своем любимом кресле. И что может быть лучше этого? Разве только работа...



Валентин Петрович на прогулке с женой Эстер и внучкой  
Тиной. И кого только не встретишь на переделкинских  
дорожках!  
Сегодня это знаменитый театральный режиссер  
Юрий Завадский





Валентин Петрович и Эстер Давыдовна со своим добрым знакомым — замечательным скрипачом Леонидом Коганом



В переделкинских снегах...



Сорок лет вместе. И впереди еще двенадцать...  
Перedelкино, 1974 год



Одесса.

Памятная доска на доме, где родился и прожил 25 лет до отъезда в Москву выдающийся русский писатель XX века Валентин Петрович Катаев.

К сожалению, в Лаврушинском переулке Москвы на доме, в котором он жил и работал более шестидесяти лет нет никакого памятного знака



... **Н**еужели этот мальчик тоже я?..

В один прекрасный день ему стало казаться, что в городе орудует преступная шайка.

Кое-где на стенах появились буквы ОВ. Что они обозначают? Не Оля же, в самом деле, какая-нибудь Васильева и не Осип же, в самом деле, какой-нибудь Вайнштейн! Зачем бы им понадобилось шляться по всему городу, по окраинам, по воровским трущобам, за вокзалом, в приморских переулках, на кладбищах, всюду на заборах царапая свои инициалы?

Нет, нет!..

Что-то опасное и в то же время притягательное было в этих то больших, то маленьких буквах ОВ, какой-то тайный смысл. Они были совсем не то, что, например, общеизвестные черные буквы ПК на красной железной табличке в нижнем фойе городского театра возле плоского стеклянного ящика с брезентовым пожарным шлангом с длинным коническим наконечником из ярко начищенной красной меди, снабженным лопаточкой, которая придавала трескучей водяной струе форму широкого пальмового листа.

Она — эта табличка — принадлежала к семейству пожарных орудий, таких, как широкий брезентовый пояс с кольцом, асбестовая несгораемая рубаха, топорик, багор,

раздвижная лестница, медная каска, в которой в час беды, под звон ночного набата, отражался огненный хвост летящего факела.

Буквы ПК обозначали не что иное, как пожарный кран.

ОВ — были нечто совсем, совсем другое.

Преступников следовало обезвредить, упрятав в тюрьму Синг-Синг, главаря посадить на электрический стул, а сокровища забрать себе. Но необходимо действовать крайне осторожно, чтобы не спугнуть голубчиков, распутывать клубок не торопясь, ярд за ярдом, пока все нити не будут в руках, в противном случае негодяи могут убить его отравленным кинжалом негуса в спину или покончить с ним выстрелом из бесшумного духового ружья, а труп выбросить в Темзу.

Он видел даже высокий решетчатый мост и желтую луну в ярко-синем лондонском небе над Темзой, куда падало его бедное тело.

Весь погруженный в эти мысли, стиснув зубы, наморщив лоб и сжав кулаки, с безумными глазами, мальчик дошел до угла и вдруг увидел новую девочку, сразу же удивившую его своим бедным клетчатым платьем.

Вы заметили, что удивление — первый шаг к любви?

Ее выгоревшие, стриженные волосы торчали во все стороны из-под ядовито-зеленой, почти синей гребенки из числа тех круглых кухаркиных гребенок, которые, будучи неряшливо положены на чугунную доску кухонной плиты, вдруг покрываются черными язвами ожогов и, прежде чем вспыхнуть, наполняют всю квартиру клубами удушливого, непрозрачно-белого дыма, нестерпимым, пронзительным запахом горящего целлулоида.

У нее были кошачьи глаза цвета еще не вполне зрелого крыжовника; она была прекрасна, как ни одна девочка в мире; у нее были бедные шерстяные чулки на клетчатых подвязках с металлическими пристежками.

Надувшись от смущения и засунув руки в карманы, причем его животик и короткая нагнувшаяся шея сразу же сделали его чем-то отдаленно похожим на кузнечика, мальчик повернулся к девочке боком, как бы собираясь в случае чего подрагаться, и спросил:

— Девочка, хочешь со мной играть?

Она окинула его презрительным взглядом и сказала:

— Мурло.

Мальчик опешил.

— Сама мурло, — немного подумав, ответил он и стал еще более похожим на кузнечика, собирающегося прыгнуть.

Но тут наверху отворилась форточка и женский голос позвал:

— Саня, иди заниматься.

И девочка исчезла.

Неужели этот мальчик тоже я? Если и не вполне, то, во всяком случае, отчасти. Не исключено, что это все тот же милый моему сердцу Пчелкин, только совсем маленький, лет восьми.

— А это видела? — спросил в следующий раз он, или я, похлопывая себя по мелкому карману штанов, откуда выглядывал кончик рогатки. — Знаешь, как бьет?

— А как? — спросила она.

— Навылет!

— Смотря через чего, — заметила она.

— Через чего хочешь, — хвастливо сказал мальчик.

— А через доску? — спросила она.

— Через доску не, — честно ответил он.

— А через фанерку? — продолжала допытываться она.

— Через фанерку тоже не, — выдавил из себя мальчик, вдруг потерявший способность врать перед этой девочкой.

— Так через чего же?.. — насмешливо спросила она.

- Через картонку — да. Хочешь, дам стрельнуть?
- Смотря чем.
- Кремушком.
- Тю! Нашел чем! Кремушком даже кицку не подобьешь.
- Зато голубя подобьешь.
- Голубя грех. Голубь — святой дух, — набожно сказала Санька и перекрестилась. — За голубя бог накажет.
- За белого да, — сказал мальчик. — Белый безусловно святой дух. Его — грех. А дикаря не грех. За дикаря не накажет.
- Все равно. Дикарь тоже святой дух.
- А вот нет!
- А вот да!
- Много ты понимаешь в голубях.
- Во всяком случае, больше твоего.
- Спорим!
- Не хватало! И не стой передо мной, как лунатик. Ты мне уже надоел. Отлипни. Иди, откуда пришел.
- Не твоя улица.
- А вот моя.
- Ты ее не купила. Улица общая. Хочу и стою.
- Ну и стой, если тебе так нравится на меня смотреть. Любишься. Пожалуйста.
- Саня, иди делать арифметику, — слышался голос из форточки. — А ты, мальчик, ступай отсюда со своей рогаткой и не морочь девочке голову. Иди, иди...
- Ты опять тут? — спросила Санька по прошествии того, что в физике называется временем.

Он притворился, что не слышит, но через несколько земных суток, оказавшись, как по волшебству, на том же самом месте, спросил чужим, как бы безвольно расцепленным голосом:

- Так будешь со мной играть?
- Не буду
- Почему?

— Потому что не собираюсь.

— А если я тебе подарю свои кремушки?

Она подумала, молчаливо пошевелив губами с небольшой заедой в одном углу рта.

— Смотря какие кремушки.

Мальчик вынул из кармана четыре кремушка и подкинул их на ладони так, что они чокнулись.

— Это не настоящие, а простые: обыкновенные галечки с Ланжерона, — сказала девочка презрительно. — Вот у меня кремушки — так настоящие, ты таких сроду не видел. Они электрические. Их чокнешь — искры летят, как из кресала.

Она из предосторожности и застенчивости повернулась к мальчику худой, твердой спинкой, залезла через квадратный вырез платья за пазуху и достала кукольный чулочек, откуда вытряхнула на ладонь несколько темных от мазута кремушков.

— Обыкновенные железнодорожные, — презрительно сказал мальчик, — таких между шпал валяются миллиарды.

— Зато настоящие кремушки. А у тебя просто галечки. Таких на Ланжероне можешь за одну минуту набрать миллионы миллиардов. Они без электричества. А мои с электричеством.

Мальчик засуетился и стал чокать своими кремушками, но искры не высекались. Электричество не показывалось. Один камешек даже мягко раскололся.

Девочка оскорбительно громко захохотала.

— Можешь спрятаться в будку со своими простыми галечками и даже не думай равнять их с моими железнодорожными, электрическими, со станции Одесса-Сортировочная.

Тогда-то и прилетел воробей, легко сев на забор, утыканный сверху зелеными и голубыми бутылочными осколками.

— Например, в воробья попадешь? — спросила девочка.

— Oго!

Вот этого-то именно и не следовало говорить, да еще так хвастливо. А может быть, именно следовало.

...Как знать, как знать!..

История девочки Саньки и мальчика Пчелкина, которую я собираюсь здесь рассказать, как и все то, что происходит в мире, не имеет начала, а тем более конца, так что примем за точку отсчета тот характерный звук, который раздался на одной из четырех тенистых улиц дачной местности «Отрада» в начале этого века.

«Для меня главное — это найти звук, — однажды сказал Учитель, — как только я его нашел — все остальное дается само собой. Я уже знаю, что дело кончено. Но я никогда не пишу того, что мне хочется, и так, как мне хочется. Не смею. Мне хочется писать без всякой формы, не согласуясь ни с какими литературными приемами. Но какая мука, какое невероятное страдание — литературное искусство!»

«Не смею», — имел мужество признаться Учитель. Это надо заметить. Он не смел, а я смею! Но точно ли я смею? Большой вопрос. Скорее — хочу сметь. Вернее всего, я просто притворяюсь, что смею. Делаю вид, что пишу именно то, что мне хочется, и так, как мне хочется. А на самом деле... А на самом-то деле?.. Не уверен, не убежден. Кое-кто, правда, осмеливается писать «так, как ему хочется», не согласуясь ни с какими литературными приемами. По-видимому, литературный прием, заключающийся в полном отрицании литературного приема, это и есть мовизм.

Кое-кто написал однажды и даже напечатал черным по белому: «С выпученными глазами и облизывающийся — вот я. Некрасиво? Что делать».

Я так не умею, просто не могу. Не смею! По природе я робок, хотя и слыву нахалом. В глубине души я трус. Я еще, как некогда сказал о себе Чехов, не выдавил из себя раба. Я даже боюсь начальства. Недавно, уже дожив до седых волос, я испытал ужас, когда на меня вдруг, совсем, впрочем, не грозно, а так, слегка, поднял голос один крупный руководитель. Я почувствовал головокружение, унижительную тошноту и, придя домой, лег на постель, не снимая ботинок, в смертной тоске, в ужасе, вполне уверенный, что теперь уже «все кончено»... Чувство, что меня только что выгнали из гимназии: сон, который повторяется в моей жизни бесконечное число раз, как зеркало в зеркале — уходящий в вечность ряд уменьшающихся в перспективе зеркал, — в одну и в другую сторону, — в пропасть прошлого и в пропасть будущего и мое опрокинутое, полуобморочное трусливое лицо, вернее — бесконечное число лиц и горящих стеариновых свечей и отчаяние, отчаяние...

Мне стыдно во всем этом признаваться, но что же делать, дорогие мои, что же делать?..

Слово «звук» не вполне точно выражает то, что мне нужно, чтобы «остальное далось само собой», как сказал Учитель. Я думаю, одно дело звук, а другое дело интонация, музыкальная фраза, мелодия. Учитель, видимо, не отделял одно от другого. Да и надо ли отделять? Ведь и без одного и без другого ничего не сделается само собой. Но лично я очень строго разделяю эти понятия: интонация и звук. Ну, интонация, мелодия — это ясно: то самое, внутреннее, а потом и внешнее, заставляющее сжиматься горло и дрожать на губах — «м... м... м... м...» — запевка всей вещи, ее музыкальный ключ, ее тайная горечь: никто в эту ночь не спал в доме Болконских. Звук же совсем другое дело. Весьма возможно, что звук — самое не исследованное в мире. В звуке содержится гораздо боль-

ше того, что мы улавливаем своим несовершенным слуховым аппаратом. Это всегда какая-то тайная информация, поток сигналов, как бы моделирующих звучащую вещь в мировом пространстве. Волшебный «эффект присутствия».

Не может быть звука вне материи, породившей его, так же как не может быть сознания вне бытия. Звук — это сознание колеблющейся материи.

Заседание — это тоже нечто материальное, обладающее присущим ему одному звуком, в особенности если заседает Бодлеровский комитет в Намюре, в душевной комнате с видом на мост через реку, по которой буксир с усилием тянул баржу, почти до самой палубы погруженную в воду, и я, подобно этому буксиру, погруженный с головой в медленное течение почти ощутимого средневропейского времени, произносил на ужасном французском языке свою речь, свое эссе о Бодлере, и вот уже наконец дотопал до финала, где заключалась мысль, что будто бы каждый великий поэт постоянно умирает и постоянно рождается в поколениях для новой, еще более прекрасной жизни, так непохожей и в то же время так похожей на прежнюю, как звук не похож и вместе с тем до ужаса похож не только на душу композитора, виртуоза, но так же на всю материальную структуру инструмента, родящего эти звуки, будь то дыхательный аппарат, горло певца, его носоглотка, маска, диафрагма или группа духовых, ударных или смычковых инструментов. В прелюдиях Скрябина я всегда, кроме души композитора, ощущаю громоздкое тело концертного инструмента, все материалы, из которых он построен на фортепьянной фабрике, ощущаю даже самую фабрику с ее высококвалифицированными столярами, обойщиками, политурищиками и хозяином-немцем, поклонником великого Баха, Бетховена или Моцарта, чьи латунные медальоны украшают его из-



деля. Фортепьянный концерт как бы проецирует — во всех четырех или даже пяти измерениях — вещественное содержание инструмента, не только его неповторимую конструктивную форму с черным лакированным крылом поднятой объемной крышки, в которой снизу отражается внутренность инструмента, как бы модель целого среднеазиатского города с глухими дувалами, но без крыш, пересеченного натянутыми струнами внутренних коммуникаций, может быть, даже некоего железнодорожного узла, — не только его силуэт, напоминающий выкройку фрака, но также и его вес, его замшелые молоточки, сорта дерева, доску резонатора из бледного бронзового сплава, даже литые стеклянные розетки, подложенные под медные колесики его могучих бильярдных ног. Мощный удар по клавишам, аккорд, является в одно и то же время и смертью звука, и рождением его для новой, уже не материальной, но духовной жизни, — наверное, даже вечной, так как она уже таинственным образом навсегда остается в сознании человечества и, таким образом, начнет отсчет своего бессмертия, в то время как на маленькой старомодной бельгийской станции резервисты прыгали на ходу в отходящий воинский эшелон, и почти никто из них потом не вернулся живым...

Звук, раздавшийся тогда, состоял из множества других, сопутствующих ему звуковых колебаний, которые все время создавали стройную картину небольшого уличного скандала.

Галечка вылетела из рогатки, с шумом выдирая из акации божественно-перистые желто-зеленые веточки; в тот же миг старая, никуда не годная резинка порвалась именно в том месте, где была прикручена проволочкой от домашнего электрического звонка к одному из концов рогатки, выломанной из куста великолепной персидской сирени на даче местного греческого негодантa Халайдж-

оглу; кожичка тоже оторвалась с собственным, особым звуком, шлепнув мальчика по глазу; рогатка сухо треснула, раздался мелодичный, хотя и жидковатый звон, и выбитое из рамы уличного фонаря стекло — каким-то чудом пока еще почти совсем целое, — с водянистым звуком поколебавшись в воздухе, на некоторое время как бы повисло в пустоте, а затем легко — планирующими зигзагами, — все еще продолжая оставаться совершенно целым! — упало на тротуар, музыкально распавшись на четыре разноформатных куска; а воробей как ни в чем не бывало продолжал чирикать на заборе, с большим любопытством посматривая сквозь листву акации то на мальчика, то на девочку с таким видом, как будто бы не имел никакого отношения ко всей этой суматохе.

— Киш, паршивый! — закричала девочка, замахав руками на воробья, который продолжал попрыгивать на одном месте, а затем перебрался на другое, поближе, как бы желая лучше рассмотреть свежий синячок под глазом у мальчика, не понимая, что мальчик хотел его убить.

Синяк, похожий на цветок анютины глазки. Ну — непохожий! Не все ли равно?

— Бежи! — крикнула девочка, но теперь в ее голосе слышался ужас.

Увы, было уже поздно: перед мальчиком, заслоня собою всю природу, стоял довольно известный в этих краях дворник Василий. Он подобрал с тротуара четыре осколка, завернул их в фартук, покосился на фонарь, в котором стояла керосиновая лампа с жестяным резервуаром и медной горелкой, из прорези которой высовывался почерневший язык фитиля, — и, широко, медленно шагая, блестя своей нагрудной бляхой, повел мальчика за ухо по мостовой, как арестованного. Рука дворника держала ухо мальчика таким образом, что оно сложилось вдвое, как блинчик.

— Дяденька, — рыдая, произносил мальчик общеизвестные слова, которые еще никогда никому не помогли, — я больше никогда не буду, отпустите, умоляю вас.

— Бежи, дурень, — сказала девочка, в отчаянии ломая руки. — Чего ж ты не бежишь?

— Когда он не пускает, — продолжая рыдать, ответил мальчик.

— Тогда кусай его за руку! Кусай!

— Не достаю, — успел ответить мальчик и тут же был введен во двор, где уже в полном составе стояли родственники и прислуга, на чем я и закончу описание этой ужасной, молчаливой картины, будучи не в силах изобразить дальнейшее: уплату сорока копеек серебром, сожжение в плите остатков рогатки, наложение на ухо тряпочки со свинцовой примочкой и прочее.

— Видала ухо? — спросил мальчик, остановившись перед девочкой, которая, стоя на одной ноге, как цапля, подбрасывала на ладони электрические кремушки. — Теперь уже, слава богу, как слива, а было как вареник с вишнями.

— Дай потрогать. — И девочка протянула светящиеся на солнце розовые пальчики к уху мальчика.

— Не лапай, не купишь, — сварливо буркнул мальчик скорее по привычке.

Девочка отдернула руку и вспыхнула.

— Тогда скатертью дорожка, — сказала она, повернувшись спиной.

— Ладно тебе, ладно. Если хочешь, потрогай. Мне не жалко.

— Не нуждаюсь.

— Почему?

— Потому, что *то* ты не хотел, а *то* теперь я не хочу. — сухо сказала девочка, не оборачиваясь, — можешь уходить, откуда явился.

— Пожалеешь, да поздно будет, — горько сказал мальчик.

— А что? — встревожилась девочка, услышав в этих словах тайное обещание, и глаза ее загорелись любопытством. — А что?

— Ничего. Одна тайна, — загадочно усмехнулся мальчик.

— Какая? — еще больше встревожилась девочка. — Скажи!

— А будешь со мной играть?

— Смотря какая тайна.

— Преступная шайка, — прошептал он, раздув ноздри и приблизив свое лицо к ее лицу. — Я их выслеживаю. Уже все нити у меня в руках. Две буквы.

— Какие?

— О и В.

— Ну и что? — равнодушно сказала девочка.

— А то, что это таинственные знаки. Поняла теперь?

— Да? — спросила девочка с непонятной интонацией иронии и превосходства.

Ее лицо было так близко, что мальчик не только видел созревший ячмень на рубиновом веке Санькиного глаза с желтой точкой, как зернышко проса, но также чувствовал жар, исходивший от ее пылающих щек, и луковый запах бедного платья из шотландки, обшитого бордовой тесьмой.

С глазами, сияющими торжеством, она ухватила его за рукав, молча повела через их двор, и они спустились в подвал и на ощупь пошли в крошечной тьме, полной опасностей, — по земляному коридору, где справа и слева нащупывались дощатые двери дровяных сарайчиков с висячими замками на задвижках, которые, будучи задеты локтем, издавали тяжелые звуки постукивания по неструганым сухим доскам, давая представление о поленицах дубовых дров с их сухо-кисловатым запахом и серебряными лишаями мха, о пустых бутылках и о разной домашней рухляди.

— Не бойся, — шепнула Санька, задевая Пчелкина плечиком, и вдруг отошла в сторону, как бы сразу растворилась в подземной тьме.

Мальчику стало страшно, но сейчас же он услышал успокоительные звуки: девочка рядом с ним рылась в куче хлама, наполнявшего воздух невидимой душной пылью, той особенной пылью, которая свойственна лишь подвалам и чердакам. Раздалось позвякивание чего-то медного и шуршание спичечной коробочки, так что в воображении мальчика встала вся картина, скрытая мраком, прежде чем она явилась воочию перед его глазами при лазурно-багровом сжатом пламени огарка, постепенно и таинственно осветившего во всех подробностях старый каретный фонарь с зеркальным рефлектором и толстыми бемскими стеклами, facets которых, как бы сквозь слезы счастья, отбрасывали на ракушниковые стены короткие радуги, бессильные полностью преодолеть мрак подвала. Девочка подняла над головой фонарь, и мальчик увидел, что ее глаза при этом блеснули торжеством. Радужный световой круг полз по стене, остановился: в середине этого многослойного хрустального круга мальчик увидел буквы ОВ. На этот раз знакомые буквы были огромны, как будто бы их нацарапали малограмотные великаны. Один нацарапал кривое О, другой — косое В.

Наверное, эти буквы были здесь вырезаны давно, потому что почти совсем сровнялись с поверхностью ракушниковой стены, покрытой многолетним слоем бархатно-черной пыли самоварного угля, некогда хранившегося здесь в туго набитых, звенящих джутовых мешках с сетчатым верхом, сквозь который виднелись крупные куски. Если бы не селитренные кристаллики, выступившие по контуру букв, то их можно было бы совсем не заметить, но при свете фонаря они морозно мерцали — пугающе грозные, — вызывая в воображении груды сокровищ, добытых путем кровавых преступлений неуловимой шайкой...

- Видал буквы? — спросила она.
- Еще раньше тебя, — ответил он.
- А вот я раньше.

— А я еще в прошлом году.

— А я еще в позапрошлом.

— А я еще в поза-поза-поза-позапрошлом.

— Все равно мои буквы.

— А вот мои.

— А вот я сейчас задую фонарь, тогда посмотрим. —

Она проворно открыла стеклянную дверцу и задула свечу. — Боишься? — раздался ее шепот в темноте.

— Не боюсь, — сумрачно пробормотал мальчик и соврал, потому что на самом деле было так страшно, что сердце дрожало, как овечий хвост. — Только ты не уходи, — жалобно попросил он.

Она затаилась и молчала.

— Где ты там? — позвал он.

Она молчала. Не слышалось даже ее дыхания. Он сделал несколько плавательных движений руками, как бы желая разогнать темноту, но от этого она стала еще непрогляднее.

— Где ты там, Санька?

Теперь ему показалось, что ее уже вовсе нет в сарае, — наверное, незаметно выбралась наверх, во двор, где в небе горело солнце, а его оставила одного на съедение крысам. Он ужаснулся.

— Ну, Санька же... Не будь вредной... — взмолился он и жалобно заныл.

Молчание, молчание, глухая тишина.

Было слышно, как по стенам бегут сверху вниз маленькие ручейки подземной пыли и что-то потрескивает — может быть, медленно нарастают на таинственных буквах селитренные кристаллики. Он затаил дыхание и вдруг услышал недалеко от себя звуки как бы мягко тикающих часиков, но только это тиканье было не механическое, а живое, теплое и каким-то необъяснимым, волшебным образом давало представление о маленьких ребрах, грудобрюшной преграде, спертом дыхании и нежном шелесте кровообращения. Он протянул руку и пальцами коснулся теплой материи ее платья.

— Это ты? — спросил он.

Она молчала и, видимо, отодвинулась, потому что пальцы Пчелкина перестали ощущать материю и теперь блуждали в темноте.

У него уже успело составиться кое-какое представление о девочках: белые башмачки на пуговицах, английские локоны по сторонам личика, холодное, шелковое платье с воланами на разгоряченном теле. Нарядная, с густыми ресницами, опущенными на фарфоровые щеки. Прямая, как струнка, идет прямо на него, покачивая белым атласным бантом. Не доходя двух шагов, останавливается и делает то, что у них называется «реверанс»: одну ножку заводит назад, другую выставляет голым коленом вперед и слегка приседает, как послушная цирковая лошадка.

— Мальчик, хотите со мной играть?

— С девочками не играю.

— Извините.

И уже через минуту — обольстительная и навсегда потерянная — бежит как ни в чем не бывало вокруг громадного газона вместе с другим мальчиком, — даже, может быть, с кадетиком в красных погонах, с рубашкой, вздувшейся на спине пузырем! — высоко подбрасывая в небо и ловя на косо натянутую между двумя палочками нить ту новомодную игрушку, странную штучку, как бы составленную из двух черных резиновых конусов — носик к носику — наподобие песочных часов, под названием «дьяболо». А то и ловит деревянный шарик на шнурке в лакированную чашечку на ручке — так называемое «бильбоке», маленькая бессердечная кокетка, холодная, скользкая, как ее шелковое платье, жестокая и, наверное, дура душой.

Подобное представление о девочках было ничуть не лучше представления девочек о мальчиках: идет мимо, засунув немытые руки в мелкие карманы, плюется через выпавший зуб, заплетает ногу за ногу, делает вид, что ни

на кого не обращает внимания, а сам небось норовит зацепить локтем или дернуть за локон.

Может быть, он и был именно таким мальчиком, да она была совсем другая девочка. Ему еще никогда не попадались такие девочки.

— Боишься? — слышалось возле самого его уха.

— Боюсь, — сказал он.

— Ага, трусишка, сознался!

Послышались знакомые звуки фонаря и спичек, появилось лазурно-желтое сжатое пламя огарка, и на стене из тьмы медлительно выступил алмазный вензель.

— А буквы чьи: мои или не мои? — спросила она.

— Твои, — согласился мальчик.

— Так-то лучше. Теперь я буду твоя повелительница.

— Хорошо, — покорно сказал Пчелкин. — Будь.

Они уселись рядом на крупную модель черноморского военного корабля времен Севастопольской кампании — фрегата без мачт и такелажа величиной с маленькую настоящую шлюпку, который лежал на боку, весь в пыли, среди прочего хлама, рядом с медной яхт-клубской сигнальной пушечкой на деревянном ступенчатом лафете, и Пчелкин сейчас же представил себе, как фрегат под всеми парусами огибает маяк на выходе из военной гавани, а из пушечки вылетает маленькое белое облако и звук выстрела сначала катится по синей воде, а потом прыгает по амфитеатру портовой части города и стучит, как резиновый мячик, в каждое окно, неся с собой эффект присутствия великолепной картины выхода в открытое море стопушечного фрегата.

— Тут все мое. И фрегат мой. И пушечка моя. Мой дедушка был боцман, севастопольский герой, его даром пускали в городской театр. А ты просто мурло.

Мальчик был очарован. Неприятный же вопрос о том, кто первый открыл таинственные буквы, решил сам собой: они открыли оба и теперь вместе будут распу-



тивать клубок и следовать за нитью до тех пор, пока не откроют тайну и не завладеют сокровищами.

И тогда...

А что, собственно, будет тогда? Ну что? Что?

— У нас будет мешок денег, — сказал мальчик.

Она засмеялась.

— Чудило. Не мешок, а сто мешков.

— Тысяча тысяч мешков, — поправил он.

— И тогда мы себе купим все на свете.

Кто из нас не говорил так? Или, во всяком случае, не думал. В один роковой миг в детскую душу вселяется жажда обогащения. Является разрушительная идея денег. Вы заметили, что дети часто говорят о деньгах? Они их копят, собирают, ищут на тротуарах. Они вдруг начинают понимать, что за деньги можно приобрести почти все на свете.

Но почему, собственно, кубик? Потому что — шесть сторон в трех измерениях пространства и времени. А может быть, просто имя собачки. А верней всего, просто так. Захотелось. Что может быть лучше свободной воли!

Многие мои детские мечты из-за отсутствия денег так и остались навсегда мечтами, терзая душу своей несбыточностью. С деньгами связано все самое возвышенное и все самое низменное. Звук разбитого стекла уже содержал в себе, кроме всего прочего, страшное требование уплатить сорок копеек, и крупные осколки падали на тротуар со скрежещущим звуком «соррок-соррок-соррок»... Что может быть желаннее иметь рогатку с хорошей, новой резинкой квадратного сечения? Но резинка стоила денег. Прежде чем получить в руки пол-аршина черной резинки квадратного сечения, надо было положить на

прилавок аптеки двадцать копеек... Двадцать! Почти недоступная для меня сумма! Где ее взять? Ах, да о чем речь! Все, все в этом мире стоит денег.

Чижик... Ну да, простой чижик. Птичка, которая летает со своей стаей среди кустов сухого репейника, мелькая мутно-серо-зелеными крылышками; она ничего не стоит до тех пор, пока ее не накроют сеткой, и в тот же миг чижик уже не бесплатный, он уже стоит три копейки. Даже четыре. В этом есть какое-то наваждение, колдовство. Превращение бесплатной, свободной птицы в товар, имеющий рыночную стоимость, в детские годы мучительно терзало мое воображение, мой слабый, невинный ум, еще незнакомый со знаменитой формулой Маркса насчет сюртука и холста.

Время давно скосило мой детский каблук, ботинок покривился, но я до сих пор мучительно переживаю угнетающую мысль, что набойки стоят пять копеек, а то и весь гривенник — круглый, серебряный, с рубчатым краем, с орлом и решкой, с тонким, почти волосяным звоном, когда он бежит, как по треку, по мраморному кружку кассирши и вдруг падает плашмя, придавленный проворным пальцем с новеньким обручальным кольцом.

Я мог бы рассказать сотню историй, где деньги были причиной детских преступлений, не говоря уже о невинных похищениях сдачи, оставленной на буфете, о продаже старьевщику за три копейки еще вполне годных сандалий «скороход»... Всегда нужны были деньги, без которых невозможно было осуществить мечту, пусть самую скромную. Даже пустить обыкновенный монгольфьер из папиросной бумаги стоило денег. Всего два листа папиросной бумаги, немного тонкой проволоки для каркаса, клей, кусочек гигроскопической ваты, несколько золотников спирта, спички... Казалось бы, какие пустяки! Но все это надо было купить.

Чудо полета не могло произойти бесплатно. Неужели и Христос в своем кубовом хитоне ходил бесплатно по водам Тивериадского озера?

В конце концов не так уж дорого: четыре копейки два листа тончайшей папиросной бумаги, пять копеек гуммиарабик, шесть копеек кисточка. Вата — даром — в ящике у тети. Две унции спирта — десять копеек. Проволока — даром — в сарае, где целыми связками лежат разноцветные стеклянные фонарики для царских дней. Спички — даром — из кухни с плиты. Всего копеек не больше тридцати. Тридцати!.. Громадная сумма. Где ее взять? Пришлось прибегнуть к унижительным просьбам, к мелкой краже сдачи с буфета, наконец, к экономии на церковных свечах и просфорках. Для того чтобы могло совершиться чудо полета, пришлось ограбить бога, в которого я еще тогда так свято, так горячо верил всей своей душонкой. Тем ужаснее была экономия на священных предметах. Подлинное святотатство, связанное с ложью.

- Ты поставил свечку?
- Поставил.
- А купил просфору?
- Купил...
- А ты положил что-нибудь на тарелку?
- Положил.
- Сколько?
- Эти... три копейки.
- А ты не сочиняешь?
- Святой истинный крест...
- Не крестись, не надо. И никогда не призывай имени господа бога всуе.

Если бы бог действительно существовал, то он бы немедленно разразил меня — маленького лжеца и святотатца, бросил бы на меня испепеляющую молнию, вверг бы мою душу в преисподнюю, в геенну огненную.

К счастью, бога не существовало. Он был не более чем незрелая гипотеза первобытного философа-идеалиста.

И вот мальчик и девочка стоят на краю обрыва, поросшего душистой полынью.

У нее в поднятых руках монгольфьер, неумело склеенный из драгоценной папиросной бумаги, которая крахмально шуршит при малейшем движении голых, худых рук девочки. Она сжала губы и дышит носом. Но даже эта предосторожность не может остановить опасного колебания папиросной бумаги. Мешок монгольфьера, еще не наполненный горячим воздухом, все время никнет, норовит сложиться пополам и свешивается набок. Приходится приподнимать пальчиками его неумело склеенный купол, готовый вот-вот разойтись по швам, и тогда все поггло!

Под монгольфьером на проволочке висит тампон гигроскопической ваты, облитой спиртом, источающим летучий наркотический запах, от которого у детей слегка кружится голова.

Осторожно, чуть дыша, с остановившимся сердцем, мальчик поджег спичкой вату. Спирт жаркой невидимкой вспыхнул в опасной близости с папиросной бумагой, которая могла загореться при малейшем дуновении морского ветерка. Так уже случалось несколько раз: дуновенье — и монгольфьер уничтожался сразу, лишь на один миг охваченный голубым, а потом розовым огнем — жаркой плазмой пламени, — и вот уже в траву падал лишь почерневший проволочный обруч и продолжающий гореть сине-желтым огнем кусочек ваты...

И огонь бежал по сухой летней траве приморских холмов, и горячо, до головокружения, пахло горящим спиртом...

Сколько невозвратно погибших усилий!

С неистощимым упорством они снова воздвигали это легкое, почти невесомое здание полета. Теперь они не торопились. Они выбрали самое тихое время за несколько минут до начала вечернего бриза, когда небо, и земля, и море, и круглое нежно-малиновое облако над заливом охвачены мертвым штилем, который Учитель назвал бы Летаргией. Такую полную неподвижность я видел только один раз на сцене городского театра, где среди неподвижно повисших новгородских парусов, мертвых багровых облаков, освещенный со всех сторон неподвижным искусственным светом рампы и софитов, богатый гость Садко в стрелецком кафтане и с подстриженной бородкой, держа в руках свои звончатые гусли, вслед за тяжелым бочонком червонного золота медленно опускался в театральный трап, в пучину океана, как бы скованного переливчатой музыкой Римского-Корсакова, протянув между нарисованным небом и картонным морем свои гусельные струны.

Все вокруг было тягостного штилевого цвета, и даже полная луна на еще дневном небе казалась нарисованной мелом. Спирт горел. Жаркий воздух, струясь вверх, наполнял монгольфьер, медленно расправлял складки папиросной бумаги. Монгольфьер сперва принял форму папской тиары, затем округлился, и пальцы детей ощутили, что он становится все более и более невесомым. Они стояли, повернувшись друг к другу, образуя поднятыми руками воздушную арку, как в известной игре: «паци-паци-пасира, золотые ворота, ключиком-замочком, шелковым платочком», — и слегка поддерживали самыми кончиками пальцев, чутких, как у слепых, уже совсем невесомый, полупрозрачный белый храм монгольфьера, поднимаемого вверх потоком нагретого воздуха. Миг божественного равновесия — и вот уже монгольфьер поднялся над протянутыми к небу руками и стал уходить в оцепеневшее небо, давая понять о своем движении вверх только тем, что он стал уменьшаться, оставаясь все та-

ким же круглым, — и мальчик и девочка стояли, задрав головы, а он все уменьшался и уменьшался, как бы оставаясь на одном и том же месте — такой же белый, будто нарисованный мелом, как и священная облатка белой июльской луны, к которой он приближался до тех пор, пока воздушное течение не подхватило его и плавно понесло в открытое море по направлению к Констанце, к Турции, к Босфору, к Стамбулу, — все такой же целый, не тронутый невидимым, но тем более опасным огнем, который принужден был нести с собой, пока вдруг не накрепился, и тогда гангрена огня с молниеносной быстротой съела папиросную бумагу, и монгольфьер превратился в нечто, освободив место в непомерно громадном небе, а проволоочный кружок вместе с горящей ваткой упал в открытом море, где кувыркались дельфины, вспарывая кожаными ножами своих плавников синюю воду Понта Эвксинского, быть может, потому именно Эвксинского, что оно имело густой оттенок синьки...

Но все равно, чудо уже совершилось. Оно было как бы преддверием другого чуда — чуда богатства, которое сулили две буквы: О и В. И хотя очень скоро Санька умерла от дифтерита, как это часто бывало с детьми, и ее узкий розовый гроб увез катафалк с серебряным крестом на крыше и со стеклянными — почти каретными! — фонарями по углам на Второе христианское кладбище, где в нетопленной, промерзшей церкви гроб поставили на ужасный помост, покрытый старым черным ужасным сукном, побитым молю, и рыдал хор мальчиков из сиротского приюта, наряженных в не по росту длинные кафтаны с дутыми серебряными пуговичками в виде бубенчиков, и синие клубы ладана уже касались белого личика покойницы с печатной молитвой на лбу, а потом на крышку гроба посыпалась земля, — но все равно ничто не изменилось в мире, потому что на месте Саньки явилась другая девочка с голыми полными ногами, в английских локонах, с красным лакированным «бильбоке» в ру-

ке, и Пчелкин спросил ее: «Девочка, как тебя зовут?» — а она ответила: «Тебе какое дело?» — и, пожав худенькими плечиками, ушла походкой принцессы, со скрипом затворив за собой калитку, а он дерзко крикнул ей вслед: «Сама мурло!», но в следующий раз они подружились, и он посвятил ее в тайну букв О и В, и они сидели во дворе за домом на досках и строили воздушные замки, охваченные страстной жаждой обогащения, а когда однажды Пчелкина увезли навсегда к бабушке в Екатеринослав, вместо него появился другой мальчик, и новая девочка поведала этому новому мальчику тайну загадочных букв, сулящую им сказочные богатства. Потом на смену новой девочке пришла другая — совсем новая, а на смену новому мальчику, утонувшему против большефонтанского маяка, явился другой — совсем, совсем новый, можно сказать новейший, и эти новейшие мальчик и девочка, как и прежние, продолжали жить мечтой о сокровище, спрятанном где-то рядом... Разные мальчики и разные девочки росли, вырастали, продолжая оставаться все теми же, первыми, единственными мальчиком и девочкой, и они стояли друг против друга возле старого ракушничкового забора с бутылочными стеклами наверху, и перед ними поблескивали селитренным блеском давно-давно выцарапанные кем-то буквы О и В.

Эти буквы забывались и вновь всплывали где-нибудь в самом неожиданном месте — то большие, то маленькие, то кривые, то старые, еле заметные, то совсем свежие, как будто их вот только что — сию минуту — вырезали на стене неуловимые преступники, давая тайный знак своим сообщникам.

Не хочу сказать: «Между тем шло время», — потому что время никуда и никогда не идет: ни справа налево, ни слева направо, ни вверх, ни вниз. Оно гнездится где-то во мне самом, делая свои отпечатки в самых тайных клетках моего мозга, вернее же всего — оно просто рабочая гипотеза, абстракция, а я человек земной и верю только в

мир материальный, который хотя постоянно изменяется, но всегда остается по самой своей сути единым, и вот однажды в этом материальном мире среди развалин разбомбленного и взорванного города на чудом уцелевшей могиле Канта чья-то недрогнувшая рука написала мелом по-русски:

«Ну что, Кант, теперь ты видишь, что мир материален?»

А мальчик и девочка, так и не открыв тайны ОВ, пертерпев тысячи изменений — качественных и количественных, — вдруг в конце концов из бедных русских превратились в богатых пожилых — как это ни странно — французов, хотя, увидев со спардека туристского теплохода забытый берег своей бывшей родины, очень взволновались, глаза их наполнились слезами — может быть, впрочем, лишь потому, что в их воспоминаниях это море, куда некогда упала черная железка сгоревшего монгольфьера, и этот берег были совсем другими: неизмеримо более прекрасными, почти сказочными, полными прелестных подробностей и поразительно прозрачных, почти светящихся красок, на самом же деле все оказалось гораздо беднее и некрасивее: новороссийская степь, которую они видели в своих снах когда-то драгоценного, амethystового цвета, в лучах заходящего солнца, и резко очерченные высокие глиняные обрывы, сотни верст песчаных пляжей и отмелей, просвечивающих сквозь малихитовую воду, воображаемые виноградники, их античные листы с бирюзовыми пятнами купорося, — все это превратилось в низкую полосу черной земли, протянувшейся над невыразительной морской водой, и бедный солнечный закат некрасивого, небогатого, какого-то восточно-красного, степного цвета под бесцветным небом... И не слишком длинный силуэт города, некогда казавшегося лучшим в мире...



Ну и так далее — как любил говорить председатель земного шара Велемир Хлебников, прочитав начало своей новой поэмы и вдруг потеряв к ней всякий интерес...

Уже давно мир охвачен опасной жаждой обогащения.

Лишь в одном месте на берегу моря они увидели две ноздреватые скалы, в подводной части поросшие зеленой бородой тины и водорослей. Процесс всемирного разрушения, казалось, совсем не коснулся их. Яма между ними, наполненная тихой морской водой, казалось, была та самая, в которой некогда девочка Санька училась плавать. Впервые, со сладким ужасом, голая, худая, покачивая раскинутыми руками, вроде канатной плясуньи, девочка опускала сначала одну ногу, потом другую в мелкую воду, коварно реявшую по смоленской крупе перламутрового песка, а дальше начинались колючие камни и дно стремительно понижалось. Свежая морская вода была так прозрачна, что сквозь нее в глубине во всех подробностях виднелась растительность подводного царства. Девочка на цыпочках начала входить в воду; пальчики ее ног то натывались на колючие камни, обросшие гнездами старых мидий, то скользили в зарослях водорослей, сквозь которые стремительно проносились стаи почти прозрачных мальков, делая резкие повороты и скрываясь из глаз с молниеносной быстротой. У нее захватывало дух от страха каждый раз, когда она начинала ощущать, как уровень воды ползет вверх по ее телу, сначала до шершавых колен, потом до пупка, потом по ребрам до крошечных, совсем кукольных сосков, до горячих подмышек, и она, чтобы не замочить сухих рук, покрывшихся гусиной кожей, старалась держать их выше уровня поднимающейся воды и с удивлением рассматривала нижнюю половину своего тела, голубого и нежного, почти не преломлявшегося сквозь слой прозрачной воды. Все ее косточки были легки, как у птицы. Наконец вода

подступила ей к горлу, коснулась ее узкого детского подбородка. Боясь захлебнуться, она плотно закрыла рот и стала дышать носом и в этот же миг почувствовала, что пальчики ее ног больше не касаются дна, а как бы висят среди полупрозрачных серых креветок, мальков и всего этого японского пейзажа подводного царства. Уровень воды перестал подниматься, остановившись примерно на уровне ее рта. Она осторожно вздохнула, испытывая чувство невесомости, как тот монгольфьер, который некогда на миг неподвижно повис над поднятыми к небу руками мальчика и девочки, а потом стал удаляться по направлению к предвечерней июльской луне, как бы нарисованной мелом в летаргическом небе. И теперь снова — уже не она, не ее тело, а лишь ее не имеющая возраста кочующая душа — стояла около каменистой ямы, где впервые в жизни испытала наслаждение невесомости, вспоминая, как ее уже теперь не существующее детское тело в первый и последний раз в жизни пришло в равновесие со всей вселенной и стало воистину частью мироздания, как любая звезда, как любой красный или белый карлик, как любой атом космической пыли, как альфа-частица, как позитрон, как любой продукт распада, происходящего в миг превращения одного элемента в другой...

А уж потом не то... совсем не то...

Старая богатая дама в темно-зеленых очках заплакала и стала вытирать щеки шелковистой бумажкой «kleenex», которую вынула из сумочки, — она всегда брала с собой во время автомобильной поездки небольшой запасец этой бумаги, которой так удобно было вытирать руки, стирать дорожную пыль со своих нежных щек.

— Я здесь когда-то училась плавать, — сказала она, — здесь учились плавать все наши девочки.

— А меня, — ответил он, — тоже учили плавать где-то здесь, поблизости, в Сухом лимане.

Ведь, в сущности, он и был я. Во всяком случае, мы оба были созданы из одних и тех же элементарных частиц, но только в различных комбинациях.

— Здесь было село Александровка. Но я его что-то не вижу. Ну что ж, поехали дальше? Давайте. Я сидел на корме шаланды в матроске, в соломенной шляпе, в чулках и башмаках, как приличный городской мальчик. «Умеешь плавать?» — спросил студент. «Не умею», — сказал я. Тогда он просто взял меня за шиворот и швырнул, как щенка, в теплую, совершенно пересоленную — так называемую рапную — воду лимана, которой я нахлебался на всю жизнь... Но выплыл... И плыл за лодкой по-собачьи, пуская пузыри и рыдая, пока студент не втащил меня в лодку, причем я ободрал не только свою матроску, но и кожу на груди. Зато без хлопот научился в десять минут плавать. До сих пор у меня в горле эта едкая, целебная соль Сухого лимана.

Они поехали посмотреть это место, но вместо него нашли громадный новый грузовой порт — скопление железных кранов, которые в беллетристике обычно сравнивают с клетчатыми жирафами, стальными страусами и тому подобным, что хотя и довольно похоже, но лично на меня уже не производит никакого впечатления, как давно отчеканенная и уже сильно потертая разменная монета. Пусть ею расплачиваются другие. В крайнем случае, если уж вам так хочется: морды морских коньков.

Интуристы велели поворачивать и поехали обратно в город мимо кукурузных полей, новостроек и каких-то космических ракетных установок, скрытых в пыльной зелени акаций. Уже потянулись пригороды, как вдруг в глаза бывшего мальчика и бывшей девочки бросились знакомые, но давно уже забытые буквы О и В, совсем новые, только что вырезанные на ракушниковых камнях какого-то глухого забора с битым стеклом наверху.

Ошеломленные Мосье и Мадам схватились за руки, как дети.

— Ты видишь? Ты видишь?..

Самое поразительное заключалось в том, что под свежесжатыми буквами в небольшой траншее сидели какие-то люди. Не могло быть сомнения, что именно они только что и нацарапали эти буквы.

— Подождите! Остановитесь! — взволнованно крикнул Мосье Бывший Мальчик водителю.

Они вышли из машины и по вспаханной земле неумело пошли к траншее.

(В сущности, им уже не нужны были никакие сокровища; они и так были сказочно богаты; но старая мечта вдруг с новой силой встала перед ними, опьянила, привела в смятение, словно обварила их души кипятком.)

Что же они увидели?

Глубоко в траншее сидели двое: чумазы юноша и девушка, оба в старых рабочих спецовках с новенькими значками какого-то фестиваля; вокруг них валялись черные слесарные инструменты и на разостланной газете «Черноморская коммуна» стояла бутылка кефира — ярко-белого, как в первый день творения, с еще более яркой зеленой крышечкой, на которой был оттиснут день его появления на свет: вторник — и, разумеется, два бублика. Неожиданно увидев людей, стоящих во весь рост над их ямой, они в замешательстве отпрянули друг от друга — небось целовались! — и залились темным румянцем.

— Простите, мы вам, кажется, помешали завтракать, — на хорошем русском языке вежливо сказал Бывший Мальчик. — Приятного аппетита.

— Милости просим, садитесь с нами, — бойко сказали девушка, поправляя косыночку.

— Мерси, мы уже завтракали, — сказала Мадам Бывшая Девочка. — Не можете ли вы нам сказать, кто написал эти буквы ОВ?

— Ну мы, а что? — спросил парень и бдительно насупился.

— Что же это обозначает?

— То и обозначает. А вы кто такие?

— Интуристы.

— Из какой, я извиняюсь, страны?

— Из Франции.

— Ну, из Франции — это еще ничего. Интересуетесь, что обозначают эти буквы ОВ? Пожалуйста. Могу сказать, в этом нет никакой тайны: одесский водопровод. Каждый раз делаем эти отметки О и В, чтобы всегда было известно, где проложены трубы, чтобы даром не ковырялись другие чудаки.

Бывшие Мальчик и Девочка посмотрели друг на друга и невесело рассмеялись.

— Как просто! — воскликнула она.

Штучка посильнее «Фауста» Гёте...

Они взялись за руки и некоторое время стояли перед ракушниковой стеной своего детства, с крупными буквами, которые вдруг потеряли для них всякий интерес, как, впрочем, и все в мире, лишенное тайны, однако же они — эти некогда великолепные буквы — остальную жизнь продолжали преследовать их, время от времени вдруг возникая в воображении, иногда без всякой видимой причины, как, например, однажды совершенно неожиданно Мосье Бывший Мальчик увидел их внутренним взором как бы рядом с собою, когда он поднимался по старой винтовой парижской лестнице, сначала по ковровой дорожке, кое-где протертой до основы, а потом уже без дорожки, прямо по деревянным, музыкально поскрипывающим ступеням я — в соответствии с жанром психологической новеллы — «ловил себя на мысли» и так далее, в то время когда он никогда ни на чем себя не ловил, и просто привычно морщился от сладкого химического

запаха дезодорантов, незаметно расставленных кое-где на лестнице, чтобы хоть немного отбить застоявшиеся кухонные и другие, еще более неприятные запахи, вызывавшие в человеке непривычным легкую тошноту; однако дезодораторы не только не устраняли вонь, но усугубляли ее, доводили до непереносимой приторной мерзости, подобно тому как нечистоплотная красавица не может смягчить запах своего тела, натираясь под мышками герленовскими духами, абстрактной смесью амбры, мускуса и болгарского розового масла. Скверный запах на лестнице Мосье переносил стойко, как должное, твердо зная, что есть люди очень богатые, менее богатые и просто бедные, которые живут, как им и полагается, в бедных кварталах, где по железным эстакадам каждую минуту со страшным шумом проносятся поезда метро, а под эстакадами всегда царит сырой сумрак и бетонные стены воняют мочой и на мокрой черной земле попадают окаменевшие собачьи экскременты, почему-то чаще всего принадлежащие таксам, — такие же длинные, узкие, напоминающие бледные стручки перезрелой фасоли.

### Тайные свидания. Рассказ в духе Мопассана.

Она открывала ему опрятную лакированную дверь, не дожидаясь звонка, пропускала в свою комнату и через полчаса уже провожала его по коридору обратно до дверей, придерживая голой рукой на горле пестрый халатик, а он небрежно, хотя и не без удовольствия, целовал ей что попало — полный локоть, щеку или шею за ухом — и говорил ей: «А бьенто, шери», — на что она неизменно отвечала ему: «А бьенто, мосье мон ами», — не решаясь назвать его просто «мон ами» или еще проще — «шери», ни что, по парижским неписаным законам, имела полное право, разумеется, наедине.

Обычно в таких случаях принято оставлять что-ни будь на камине, но он изменил этому правилу, деликатно

кладя одну или несколько очень крупных ассигнаций на письменный столик, где иногда находил наспех брошенные школьные учебники дочери своей любовницы, которая всегда была или в школе, или на это время уходила к подруге, и когда он подсовывал деньги или узкий голубой чек под учебник алгебры или под изящный светящийся внутри электрический глобус, его подруга — назовем ее Николь — довольно холодно благодарила его коротким: «Вы очень любезны». Она была довольно привлекательна, имела ровный, покладистый характер и никогда не обременяла его никакими просьбами, а тем более требованиями, видимо довольствуясь тем, что он ей давал, и не делала ни малейших попыток узнать, кто он такой, хотя и подзревала — по разным мелочам его туалета, — что он богат, даже, может быть, очень. Она знала свое место и никогда не пыталась перешагнуть черту, которая их разделяла. Самое же главное — она была добрая женщина и не старалась казаться тем, чем она не была. Догадавшись, что у нее есть дочь-школьница, он спросил: «Но где же ваш муж, Николь?» — «Его нет», — ответила она коротко, и он больше не стал ее ни о чем расспрашивать, главным образом потому, что ему это было совершенно безразлично. В начале их связи, которую он, в сущности, даже и не считал связью, он сказал ей:

— Вы не должны на меня сердиться, Николь, как-никак я уже старик.

Не опуская ресниц, она сказала:

— Каждому столько лет, сколько он сам себе дает. Вы, мосье, совсем не кажетесь мне старым.

— Мерси, — ответил он на ее любезность.

Как это ни странно, Мопассан до сих пор не вполне признан во Франции.

Зачем она ему была нужна? Просто он давно уже привык иметь кого-нибудь на стороне. Для него не представляло никакого труда взять себе любую красавицу из тех,

которые самой природой были созданы для богатых стариков его круга. Они попадались на его пути всюду. Но по всем своим привычкам он был человек умеренных вкусов. Все его тайные подружки были женщины простые, незаметные. Одна сменяла другую, а эту он получил от своей прежней любовницы, которой посчастливилось найти себе мужа. Николь была всегда к его услугам, стоило только ему заблаговременно позвонить по телефону. Вариант отельчиков и студий она отвергла, не желая себя компрометировать, и ему это понравилось. Понравилось ему также и то, что она не сидела дома сложа руки, а работала, так что дни и часы свиданий приходилось совмещать с ее рабочим днем. Однажды, через несколько лет, она объявила ему, что завтра будет занята, так как ее дочь выходит замуж, и прибавила, как бы для того, чтобы предупредить его подозрения, что венчание состоится в церкви Сент-Огюстен на бульваре Мальзерб.

— Вот как! — воскликнул он. — Это очень шикарно!

— Да, ее берут в хорошую семью, — ответила она без скромной гордости.

Ее можно было понять: одна, без мужа, она все-таки сумела дать дочке образование, поставить на ноги и удачно выдать замуж.

...Многие, особенно во Франции, считают Мопассана «мове». Может быть, именно поэтому я его так люблю: мовист! Кстати: рассуждая о женщинах, старик Карамазов тонко заметил: «Не презирайте мовешек», или: «Не пренебрегайте мовешками» — что-то в этом роде, уже не помню...

Ему захотелось посмотреть на эту свадьбу (а может быть, проверить свою любовницу), и он поставил свою машину на стоянке возле церкви, а сам вмешался в толпу любопытных перед церковной оградой. Судя по тому, что несколько дам в толпе были в настоящих норковых шуб



ках, свадьба была богатая. Он едва не опоздал. Таинство только что кончилось. Гости выходили из церковных дверей. Три маленькие девочки с распущенными волосами, в гранатовых бархатных платьях испанских принцесс с длинными тяжелыми шлейфами, не без труда преодолевая каждую ступеньку, спускались по лестнице. Самая маленькая, совсем крошечная, с трудом приподнимала ручками грузную материю, для того чтобы освободить ножки в белых лайковых башмаках, но окончательно запуталась в шлейфе и уже готова была зареветь и сесть на ступеньки, с отчаянием протягивая ручки в длинных белоснежных перчатках к пожилой нарядной даме, которая поправила ей подол и под общий смех свела за ручки маленькую инфанту вниз по лестнице, в то время как из обитых сукном церковных дверей, из холодного мрака, в глубине которого пылали золотые костры свечей, на ослепительно яркий парижский полдень вышли присутствующие при таинстве, среди которых Мосье не без труда узнал немного смущенную Николь; она была в шляпке, белых перчатках, старалась держаться на втором плане, очевидно стесняясь, что попала в такое избранное общество, в то время как отец жениха, красивый старик в визитке, с красной розеткой Легиона и цветной ниточкой Сопротивления в петлице, в полосатых брюках и серых гетрах — точно такой, как в начале века в иллюстрированных журналах было принято изображать дипломатов, — все время старался оказывать своей новой родственнице, матери жены его сына, знаки внимания, как бы подчеркивая, что хоть она и женщина другого общества, всего лишь скромная лаборантка, без мужа, но что же делать? — что же делать! — с этим приходится мириться, тем более что она держится превосходно, скромно, ненавязчиво и, надо надеяться, не будет злоупотреблять своим новым положением, жаль только, что отсутствует ее муж, отец невесты — а теперь уже и жены, — потому что два отца, одинаково одетые в визитки, и две матери, примерно в одинаковых шляпках, всегда придают свадебной

процессии известную респектабельность, семейную законченность, особенно когда так удачно одеты маленькие сестренки и кузины жениха в своих длинных бархатных платьях, с распущенными волосами — настоящие испанские принцессы, — озаренные этим сверкающим парижским полуднем, когда немного туманный горячий воздух пронизан по всем направлениям зеркальными стрелами проезжающих машин и то и дело — от парка «Монсо» до «Мадлен» — слышится острый визг тормозов, — и он деликатно поддерживал Николь под локоть, рукою в замшевой перчатке из самого лучшего перчаточного магазина на авеню Опера. И вот наконец в открытых дверях церкви, где в черной глубине дрожали огни свечей, появились жених и невеста, оба молодые, строгие, он в очках и белом галстуке, она в коротком платье, в нарядной белоснежной фате — тоже чересчур короткой, — даже как будто немного легкомысленной, но не обыкновенно идущей к ее русой, небрежно подстриженной под мальчика голове — на вид жесткой, а на самом деле, если потрогать, мягкой, как шелк; она держала в руках белые, еще не вполне распустившиеся розы от Баумана, и ее круглое серо-зеленоглазое лицо с густыми мальчишескими ресницами казалось типичным лицом хорошенькой прилежной сорбоннской студентки из числа тех, которые всегда пишут какую-нибудь диссертацию и временами проводят вечерок в Куполе, где в веселой компании едят шестифранковый луковый суп в маленьком закопченном горшочке и пьют красное «ординер» в очень умеренном количестве, всего два-три глотка за весь вечер.

Пока свадебная процессия рассаживалась за оградой по своим автомобилям, а зеваки снаружи делали, как водится, различные замечания и обменивались мыслями по поводу свадьбы, он потерял из поля зрения Николь и думал о ее дочери, удивляясь, как долго уже тянутся эти тайные свидания с ее матерью и вообще как быстро летит время. И представлял себе, как молодые муж и жена

поедут в свадебное путешествие по-студенчески: по каким-нибудь общеизвестным туристическим маршрутам, как они будут спать в больших отелях и в семь часов утра съедят свой средневропейский маленький завтрак — пти дежёне — в постели, пачкая тончайшие линобатистовые, скользкие наволочки абрикосовым джемом, и как они будут подниматься пешком на какую-нибудь лесистую гору, осматривать замок, равнодушно трогать руками средневековую мебель и ходить рядом, прижавшись друг к другу; как он будет забрасывать себе на шею, как коромысло, ее крепкую, покрытую золотистым загаром руку, а она будет обнимать его за талию, и они будут целоваться — он бородатый, в очках, нагруженный фотоаппаратами и транзисторами, в ярко-красном свитере коль-руле, а она в хорошо сшитой, складненькой мини-жюп, — однако целоваться не так уж часто и не так уж откровенно, как все эти разбогатевшие неженатые западные немцы, которых расплодилось великое множество, как будто бы их совсем и не побили, а, наоборот — они всех отлупили и победили и теперь пользуются плодами своей победы. И они — он и она — через несколько дней поедут в тесном туристском автобусе по каменистой дороге вдоль болтливой болгарской речки, которая, пробиваясь сквозь горные хребты, стремительно с шумом бежит в Эгейское море, и над ними низко пролетит громадный долговязый аист, свесив свои зубчатые крылья и длинные ноги. А быть может, уже в другой стране, в Молдавии, их повезут на экскурсию, где они увидят в холодных монастырских катакомбах среди груды других черепов череп легендарной Калипсо, гречанки легкого поведения, с которой целовался Байрон и которой, как говорят, великий русский поэт посвятил стихотворение «Черная шаль», — череп, который теперь, в отличие от других черепов, лежит на особом аналое посреди ледяного погребца и его можно взять в руку, как шкатулку или, вернее, как пустой панцирь черепахи, на котором какой-то ученый румынский монах вырезал мемориальную надпись, и они — он и она, — лежа вечером в постели, бу-

дуг представлять себе, какой была из себя эта обольстительная гречанка — черноглазая, страстная, с горячим дыханием, — и как она после ряда приключений и светских скандалов в русском аристократическом обществе Кишинева наконец уединилась, выдав себя за юношу, в Румынии, в Нямецкой обители, а потом умерла и только тогда, при омовении тела, обнаружилось, что молодой послушник — женщина...

Мосье старался представить их во всех тех местах, которые он сам уже посетил отчасти как любитель путешествовать, отчасти по коммерческим делам, которые у него случались почти во всех частях земного шара, а в последнее время также в социалистических странах.

Одно время у него появились крупные интересы в Румынии, и он соединил приятное с полезным.

Если бы он был великим живописцем, то, несомненно, написал бы большое полотно в духе флорентийских фресок Мазаччо или Пьетро Перуджино, а может быть, даже самого Эль Греко. И назвал бы его «Крещение младенцев в Констанце»; в той самой Констанце, до которой так и не долетел детский монгольфьер, сгорев в июльском предвечернем небе незадолго до Первой мировой войны по дороге в Истрию, в Трою, в Элладу, в Афины, над которыми вечно царит мраморный ковчег Парфенона, терзал человеческую душу своей неслыханной красотой.

Их было четверо, этих румынских младенцев: три мальчика и одна девочка. Они были крепко завернуты в белые парадные одеяльца и лежали на руках у своих крестных матерей, напоминая голубцы или даже плацинды с творогом. Рядом с крестными матерями стояли крестные отцы, напоминая стражей, держа в руках вместе

поднятых мечей удивительно большие палки крестильных свечей, украшенных атласными бантами и букетиками живых цветов. Об этих крестильных свечах следует сказать особо. Они были сделаны — скорее скатаны, чем отлиты — из неестественно белого воска, более напоминающего нутряное сало, чем продукт, вырабатываемый трудолюбивыми добруджскими пчелами, которых здесь — кстати сказать — возят на грузовиках и расставляют ульи возле поля, где начало что-нибудь цвести, а по окончании цветения увозят в другое место, так что пчелам не приходится далеко летать, и они работают со всеми удобствами, имея возможность тратить свою энергию, не только добываясь количества, но также и качества.

Необожженные льняные фитили этих свечей были сильно выпущены в виде неразрезанной петли, как того, может быть, требовал церковный ритуал.

Окруженные родственниками, просто зеваками, а также иностранными туристами, все эти люди толпились посередине церкви, составляя живописную группу, в которой преобладали парадные цвета упомянутых белых детских одеялец, белых свечей, до синевы белых мужских нейлоновых сорочек, а также смуглые лица крестных матерей, их маслинново-черные прически, так хорошо рифмующиеся с новыми черными брюками, черными пиджаками и оранжевыми, немного волосатыми руками мужчин.

Путешественников-молодоженов не могло не волновать зрелище крещения только что появившихся на свет малюток. Она с нежной, лучезарной улыбкой несколько застенчиво положила руку на плечо своего мужа, который, уже как бы чувствуя себя отцом, начинал возиться со своими фотоаппаратами, чтобы снять младенцев. Один из них уже немного перерос грудной возраст и вертелся на руках у крестной, которая с опаской поглядывала на свое праздничное платье. Вокруг в сумраке летнего полдня матово золотились иконы, в несколько рядов, сверху донизу, покрывая высокие стены, колонны, двери притворов и царские врата с красной шелковой завесой,

просвечивающей сквозь червонные завитки деревянной резьбы, кое-где озаренные скупыми огоньками свечей. Это была не слишком старинная православная церковь, известная в Констанце тем, что ее расписал весьма талантливый местный художник, человек бесшабашной жизни. Так как, по румынской восточнохристианской традиции, пришедшей сюда из Византии, храмы расписываются не только внутри, но также и снаружи пестрыми многофигурными фресками, на что обычно уходит несколько лет, то наш живописец нашел для себя самым удобным на все время работ переселиться в церковь вместе с женой, детьми и всеми своими подручными учениками, которые внутри храма не только ели, спали и выпивали розовое добруджское вино, имеющее тот недостаток, что оно несколько более сладковато, чем бы следовало, — вроде «анжу розе», — что не мешает ему, как говорят, «очень хорошо давать себя пить», — но также жарили мясо на шкаре, раскладывая уголья прямо на каменном полу — к ужасу и тайному восхищению церковной общины.

Больше ничем этот кафедральный собор не знаменит, разве еще тем, что именно здесь венчались родители знаменитой современной художницы Франчески Буковалэ, некогда расписавшей смелыми фресками местный спортивный зал, а теперь приведшей сюда, в церковь, нас, своих московских друзей. Говорят, сохранилась фотография, снятая за несколько лет до катастрофы (имеется в виду, конечно, Первая мировая война), на которой изображены родители Франчески; они стоят на ступенях церкви — после бракосочетания, — он во фраке и шапокле, она в длинной густой фате с флердоранжем в волосах и букетом роз в руках, туго обтянутых по самый локоть белыми лайковыми перчатками, и перед ними как бы открывается рай, исполненный вечного счастья, долголетия и всяческого благополучия, в то время как на заднем плане довольно разборчиво получился кусок фрески — фрагмент ада, — написанный на наружной цер-

ковной стене: огненно-суриковая река, охваченная сернистым дымом, — по всем видимостям, геенна, фигурки чертей, волокущих в эту самую геенну различных грешников, а также наглядные, почти научно-популярные, как в детской азбуке, изображения семи смертных грехов, из которых особенно удачно вышел на фотографии грех прелюбодеяния: двое довольно прилично одетых любовников на высокой византийской двуспальной кровати с надежной спинкой, смятые шелковые одеяла, а черти с хвостами, рогами, копытами и гнусными свиными рыльцами, угрожая трезубцами, уже собираются тащить бледных от ужаса прелюбодеев прямо в огненную реку, протекающую поблизости.

Я уже не помню последовательности отдельных моментов крещения, да это и не важно, так как хронология, по-моему, только вредит настоящему искусству и время — главный враг художника.

Знаю только, что хора не было, и это очень обедняло торжество, так как молодой человек в штатском, стриженный, бритый и даже в небольших испанских бачках, — псаломщик, заменяющий хор, — исполнял свои песнопения гнусаво, хотя и самоуверенно; к счастью, он торопился и, по-моему, пропустил добрую половину текста — что называется, пятое через десятое. Он уже сноровисто распорядился всей церемонией, давая указания, куда кому идти и где стоять; он же в надлежащее время вынул из бокового кармана парикмахерские ножницы и привычным движением обрезал необожженные фитили крестильных свечей, расправил их пальцами, подровнял, зажег, и в церкви как бы сразу прибавилось радости. Священник и дьякон в быстром, бодром темпе делали свое дело, однако относились к службе добросовестно, и если полагалось прочесть из Евангелия, скажем, две страницы, то батюшка читал их полностью, от строчки до строчки, не делая поблажек восприимчикам и зевакам, которым не терпелось увидеть поскорее самый торжественный

момент — опускание младенцев в купель. Серебряная и, как водится, довольно помятая купель стояла тут же, рядом со столиком, и вода в ней таинственно поблескивала, слегка позлащенная отблесками свечей.

Франческа шепотом высказала предположение, что, наверное, в этой самой колченогой купели крестили и ее и что с тех пор прошло уже несколько войн и одна большая революция, а купель была все та же, лишь немного больше помялась.

Франческа оказалась сентиментальна, и слезы блеснули на ее щеках и на длинных ресницах.

Впечатляющим был момент, когда под руководством псаломщика крестные отцы с белыми дубинами своих нарядных свечей и крестные матери с младенцами на руках выстроились в шеренгу, повернувшись лицом к запахнутым церковным дверям, за которыми угадывался знойный портовый город с его музеями, минаретами, генуэзским маяком, с памятником великому римскому поэту-изгнаннику Публию Овидию Назону, с археологическими раскопками на том месте, где в древности находился город-государство Тома, некогда основанное пришельцами из Милета, с торговым центром эпохи императоров Константинов, с площадью и торговым базаром, с крупной городской набережной за площадью Овидия, где совсем недавно был обнаружен фрагмент очень хорошо сохранившейся мозаики, обломок головы Гермеса, — все это у входа в громадный порт, за которым великолепно простиралось Черное море — Понт Эвксинский — и сбоку припека виднелась маленькая прямоугольная гавань для небольших судов, у входа в которую грязные волны сбились в кучу и топтались на месте, как отара овец у тесных ворот загона, как бы подтверждавшие тревожные, плохо сформулированные мысли Осипа о том, что «проза асимметрична, ее движения — движением



словесной массы — движение стада, сложное и ритмичное в своей неправильности; настоящая проза — разноречием, разлад, многоголосие, контрапункт...».

И вот началась церемония Изгнания Сатаны, быстро и умело проведенная бритым батюшкой в старой глазетовой ризе с круглым крестом, рельефно вышитым серебром на горбатой спине. В тонких очках, докрасна натерших его хрящеватую переносицу, с кудрявой серебристо-темной шевелюрой, с живыми глазами, он скорее напоминал не апостола, а школьного учителя — строгого, но справедливого, который публично выгоняет из класса провинившегося ученика. Крестные матери прилежно повторяли за ним гневные слова, обращенные к изгоняемому из младенцев Сатане, и плевали в малюток, причем это было отнюдь не символическое плевание, а самое что ни на есть подлинное, старательное — вроде того, как плюются между собой поссорившиеся девочки, так что обильная слюна восприимчив вполне материально текла по красным, сморщенным личикам младенцев. Затем вслед за не на шутку рассердившимся священником они трижды повторили: «Изыди, Сатана! Изыди, Сатана! Изыди, Сатана!» — а священник при этом непреклонным жестом указывал на распахнутую дверь, так что Сатане ничего больше не оставалось, как покинуть храм, и я живо представил себе изгнанного Сатану, который в прозрачно развевающихся одеждах, опозоренный, оплеванный и бездомный, слоняется по всей Добрудже, ища, в кого бы вселиться.

...По ее густым темно-зеленым кукурузникам, по бесконечным пшеничным полям — какого-то особого оранжевого цвета, какого я больше нигде не встречал, — по отлогим холмам и длинным степным, почти незаметным долинам, где так удобно было разбивать коновязи и прятать артиллерийские парки, обозы первого разряда и передки батарей, в то время как трехдюймовочки, укрытые на обратными склонами холмов, со звонким тюканьем,

выбрасывая красные кинжалы пламени, стреляли за сухой степной горизонт и с наблюдательного пункта, разместившегося в копне пахучей соломы, стоя наверху, как аист, я видел в цейссовский бинокль, между его плюсами, черточками и минусами, как, подобно коробочкам хлопчатника, в воздухе лопались наши шрапнели, в то время как походные колонны генерала Макензена из-за горизонта наступали на нас, опускаясь в лощины и вновь показываясь уже гораздо ближе, на каких-то по-турецки сухих холмах, таща за собой толстые пушки крупных калибров, и все это было так красиво и так грустно, и так хотелось получить легкое, — и, совсем, совсем легкое! — ранение и получить Георгиевский крест и героем возвратиться домой — в страну ОВ, — в знойный город, где на бульваре вокруг черноголового Пушкина уже начали желтеть клены и платаны, в цветниках горели винно-красные канны с чугунно-синими толстыми листьями, а на горизонте весь день сонно маячили серые паруса заштитлевших дубков с арбузами из Голой Пристани, и сердце мое — а может быть, это был уже не я, а ты — Мосье Мой Друг и Мой Двойник, — но это не имеет значения, — и сердце Мое — или Твое — изнывало в ожидании вечера, предчувствуя свидание, которое наконец успокоит душу, взбудораженную жаждой любви, которая одна могла нас всех спасти от смерти, но так и не спасла; вернее сказать, спасла одного из нас...

Между тем дьякон уже опрашивал крестных матерей и, наклонившись над столиком, заполнял метрики младенцев, те самые метрики, которые, весьма вероятно, и некий час пройдут через опытные руки воинского начальника и будут фигурировать в канцелярии призывного пункта в День Всеобщей Мобилизации, а затем вернуться в семью в казенном пакете с сургучными печатями.

Но торжественная минута приближалась, наступили пауза, легкое замешательство: крестные матери, наклонившись над столом, вынимали из одеял и освобождали из теплых сырых пеленок крошечные тельца слегка за-

превших малюток, и вот священник, деловито засучив рукава и поправив очки, приступил к таинству: он проворно брал горячего младенца, укладывал его себе на правую руку так, что личико оказывалось надежно прикрытым ладонью священника, и затем — ногами вверх, головой вниз — гоп! — глубоко окунал ребенка в купель, и в тот миг, когда казалось, что младенец захлебнулся, вытаскивал его из купели, поворачивал вверх головкой, по которой ручьями, как с утопленника, текла вода, возносил вверх, к небу, и снова головой вниз опускал в купель до самого дна, и так три раза — пока наконец ребенок снова не попадал в теплое одеяльце крестной мамы, быстро превращавшей его опять в плацинду. Когда же очередь дошла до девочки — самой крошечной из всех детей, — то между вторым и третьим погружениями в купель священник сделал некоторую довольно значительную паузу, высоко над головой держа крошечную голенькую будущую даму, с которой ручьями текла вода, как бы раздумывая, стоит ли ее вообще крестить, достойна ли она этого — крошечное существо, похожее на очищенную раковую шейку, — как бы не вышедшее еще из утробного периода, — но затем махнул рукой и с улыбкой всепрощения окунул ее в третий раз, под одобрительные восклицания прихожан. Вообще каждый раз, как из воды появлялся младенец со своими слипшимися волосами, кисло зажмуренными глазками и ртом, открытым, как у золотой рыбки, толпа раздражалась сдержанным одобрительным смехом, и я, увидев личико одного из младенцев с головой продолговатой, как дынька, увидев кисло зажмуренные глазки и горестно сжатый лобик, — вдруг вспомнил, как лет около семидесяти тому назад крестили моего младшего брата Женечку, ставшего впоследствии знаменитым Евгением Петровым, и я увидел его, поднятого из купели могучей рукой священника, с мокрыми слипшимися волосиками, с дынькой крошечной головки, увидел страдающе зажмуренные кислые глазки китайчонка, по которым струилась вода, открытый булькающий ротик, судорожно хватающий воздух, — и острая, смертельная

боль жалости пронзила мое сердце, и уже тогда меня охватило темное предчувствие какой-то непоправимой беды, которая непременно должна случиться с этим младенцем, моим дорогим братиком, и потом, через много лет, точно с таким же выражением зажмуренных китайских глаз на удлинившемся, резко очерченном лице мужчины с черным шрамом поперек носа лежал мертвый Женья, засыпанный быстро увядшими полевыми цветами в наскоро сколоченном из неструганых досок случайном военном гробу, и взвод солдат стрелял из винтовок в воздух, отдавая ему прощальный салют, знак воинской почести среди этой донской степи, где в разных местах валялись части разбившегося «Дугласа», а на горизонте кое-где вставал дым горящих хуторов, и там уже кружились немецкие «Мессершмиты».

Под пенье псаломщика, предводительствуемые священником, восприемники со своими пылающими гигантскими свечами трижды обнесли своих младенцев вокруг уже праздно купели, а из-под серебряной крышечки кадила, звенящего всеми своими серебряными цепочками, вылетели клубы бальзамически едкого дыма тлеющего росного ладана, покрывая все вокруг мгlistыми лиловыми облаками.

Художница Франческа стояла у распахнутых дверей собора, пропуская мимо себя процессию крестных матерей, которые бережно засовывали под одеяльца окрещенных младенцев метрические свидетельства, где были навечно записаны их имена: Пауль, Петру, Христиан и девочка Даниела — такая крошечная, что среди белоснежных кружев с трудом можно было рассмотреть ее личико величиной с грецкий орех.

Франческа была в коротеньких брючках, туго натянутых, синих, в мелкую розочку. На ней был грубо вязанный толстый свитер с короткими рукавами. Ее полуобнажен

ные тонкие жилистые, как бы копченые коричневые руки художницы, которая, видимо, также занимается скульптурой, были украшены толстыми серебряными браслетами, а на пальцах горели перстни с крупными янтарями, и ее кокосовое лицо напоминало музейный муляж как бы с нахлобученной конической шапкой иссиня-черных конских волос — лицо пугающее и вместе с тем волшебнопредкрасное своими янтарно-коричневыми, живыми, добрыми, женственными глазами, полными любви и счастья, — говорящее моему воображению о пальмовых циночках, кокосах, Океании, может быть, даже о древней культуре ацтеков, о серебряных рудниках Мексики.

Она была мексиканским божеством, переселившимся на Сен-Жерменский бульвар в кафе «Де Маго».

Скоро новокрещеных младенцев разнесли по всем четырем сторонам Констанцы, где их уже ожидали родители — настоящие отцы и настоящие матери, хлопочущие у праздничных столов, где можно было заметить бутылки добруджского розового, импортного итальянского кампари, графины цуйки, запотевшие голубые сифоны содовой, только что вынутые из холодильников, ну и, разумеется, дымящуюся мамалыгу с четырьмя сортами закусок: соленой и сладкой брынзой, шкварками и жареным карпом из дельты Дуная.

Некоторых, более зажиточных, младенцев везли на такси, и так как свечи не помещались внутри, их выставили в открытые окна наружу, как стволы корабельной артиллерии.

Город снова впал в полуденное оцепенение, и отвесные лучи июльского солнца падали на все его археологические памятники — громадные сосуды из красной глины для зерна, вина и масла, остатки крепостных стен, мраморные капители античных колонн и обломки скульптуры — руки, ноги и торсы, — водруженные в разных мес-

тах города на железных полках неутомимым археологом Канараке, страстным поклонником древней культуры Левого Понта, другом Кув де Мюрвиля и восхитительным собеседником, одержимым благородной идеей превратить родную Констанцу в древние Афины или, по крайней мере, в Неаполь; во всяком случае, кажется, по его инициативе на набережной против знаменитого на все Черное море казино выстроен аквариум вроде неаполитанского аквариума на Виа Караччиоло, где в темном коридоре в стеклянных ящиках, эффектно освещенных скрытыми электрическими лампочками, я долго в этот знойный полдень любовался обитателями Черного моря и дельты Дуная, проплывающими мимо меня за толстыми стеклами на фоне марсианского пейзажа подводного царства. Там я лицом к лицу столкнулся с мучительно знакомым молодым осетром, который смотрел на меня своими круглыми выпуклыми глазами наглеца, двигая костяным рылом и шевеля небольшими усиками сукинсына, надежно защищенного от общественного мнения толстым стеклом аквариума и дымчатыми очками.

Я заметил, что иногда телевизор похож на аквариум, где время от времени возникает узкая рыба голова.

Мы были окружены турецкими названиями: Меджидие, Бабадах, Байрам-Деде, Исакчи, Мэчин, Таравердиев, — а между тем Черное море, которое, если верить энциклопедическому словарю, является всего лишь заливом Средиземного, подобно тому как соловей является не более чем маленькой птичкой из семейства воробьиных, гнало крупную красивую волну на кессоны нового мола, взрывалось, как гейзеры, и крепкий ветер нес нам в лицо тучи соленых брызг, и мы гуляли по мокрой набережной возле казино, попирая ногами мозаичные изображения крабов и морских коньков, а неистовое добруджское солнце продолжало палить обнаженную голову римского

поэта, о котором другой изгнанник сказал, что, «мешая в песнях Рим и снег, Овидий пел арбу воловью в походе варварских телег»...

Почему лучшие мировые поэты всегда изгнанники?

...Затем, обнявшись, молодожены стояли в маленьком провинциальном археологическом музее перед плексигласовой витриной, где на черном бархате лежал венец чистейшего золота.

Болгария. Город Враца. Фракийские находки. В 1966 году в городе Враца при постройке кооперативного дома нашли остатки фракийской гробницы IV — III веков до нашей эры. Восемнадцатилетняя фракийская принцесса в золотом венце, и при ней нянька, двое слуг, ездовой конь, разубранный серебряными украшениями. Золотой венок остролистого лавра весом в двести сорок шесть граммов чистого золота. Золотая чаша — двести семьдесят граммов, сережки и т. д. Предметы маникюра, весьма напоминающие современные. Она была женой фракийского полководца. Ее убили коротким обоюдоострым мечом и похоронили вместе с мужем. От самой принцессы ничего не осталось, она давно уже превратилась в прах. Но, затмевая все вокруг, ее золотой венец сиял, как желтое солнце.

— Ты бы хотела быть фракийской принцессой? — спросил он, вытаскивая из футляра маленький фотоаппарат, чтобы снять свою молодую жену на фоне золотого венца.

— Ничуть, — ответила она. — Зачем?

— А золотой венец?

— Мне дороже жизнь.

Сначала он не понял, а потом помрачнел.

— Ты уверена, что я умру раньше тебя? Не рассчитывай на это. Я не фракийский полководец.

— Но ты можешь сделаться французским солдатом.

— Только в случае войны.

— Этого-то я и боюсь, шер.

Бородатый и широкоплечий, он действительно мог бы сойти за фракийского военачальника, а она со своими серо-зелено-голубыми глазами и персиковыми щечками, прелестная, восемнадцатилетняя, вполне подходила для фракийской принцессы...

Он достал из кармана куртки маленький стеклянный кубик, укрепил его над видискателем фотоаппарата и несколько раз щелкнул, вызвав в середине кубика с крошечным зеркальным рефлектором магниевые вспышки, как бы вырвавшие из времени и пространства и навсегда сделавшие неподвижными золотой венец фракийской принцессы, хорошенькую француженку в мини-жюп и четырех болгарских милиционеров с револьверами в белых кобурах, которые днем и ночью бдительно охраняли бесценные фракийские находки. Значительно позже, уже вернувшись в Париж, молодой турист проявил свои снимки и остался недоволен: лучше всего получились милиционеры, их белые кобуры, все остальное вышло так себе и не производило особого впечатления, в особенности не удался знаменитый на весь мир золотой венец. О нем можно было только догадываться.

Выходя из музея, он выбросил уже теперь ненужный ему кубик с истраченными лампочками, и долго еще в цветнике возле фонтана валялась эта плексигласовая штучка с маленькой мертвой машинкой внутри, но с еще вполне целым зеркальным рефлектором, в фокусе которого, как в мертвом зрачке, может быть, навсегда остался нетленный отпечаток золотого венца вокруг прекрасного, хотя и невидимого лица мертвой фракийской принцессы с закрытыми глазами, ждущей часа своего воскрешения, или, как теперь принято говорить научно, «эффекта присутствия».



Воскрешение — это переход «эффекта отсутствия» в «эффект присутствия».

Плексигласовый кубик. Латерн мажик. Эффект присутствия. Мертвый глаз. Зрачок.

У нее на розовом носике возле глаза был след маленькой старой ссадины, белое атласное пятнышко: однажды во время студенческой демонстрации на площади Республики ее саданул какой-то хулиган-фашист палкой, но промазал, зацепил только краем.

Ничего не изменилось после свадьбы дочери.

— Теперь я осталась совсем одна, — сказала она без всякой грусти. — Но я рада, что, по крайней мере, девочка так удачно устроилась. Выгодный брак по любви — это случается не часто.

Она не изменила своего образа жизни, продолжала работать лаборанткой в маленьком кустарном производстве косметического крема в Нейи, и от ее рук всегда пахло миндальным маслом и душистыми притираниями.

Мосье встречался с ней один или два раза в месяц, по-прежнему не удлиняя своих не частых коротких свиданий. Иногда он уезжал по делам или путешествовать, и они не виделись два-три месяца. Но, возвратившись, он звонил ей домой, и свидания продолжались по-прежнему.

— Наверное, без меня вы путались с кем-нибудь другим, — сказал он шутливо.

— Клянусь, — ответила она вполне серьезно и подняла над головой руку.

Всякий раз после более или менее продолжительного перерыва он давал ей денег раза в три больше, чем обычно, считая, что она не должна терпеть убытки потому, что он засиделся на курорте или летал в Америку. Она принимала это как должное и говорила: «Мерси, мерси, вы слишком добры». — «А, пустяки», — отвечал он.

Поставив дочку на ноги, она как бы еще больше посвежела, стала менее озабоченной.

Однажды он не виделся с ней целых полгода, а когда наконец позвонил, то услышал незнакомый женский голос, чего раньше никогда не случалось. Он положил трубку и позвонил позже. Послышался все тот же чужой, неприятный голос пожилой дамы, по-видимому соседки, подумал он, и попросил позвать к телефону Николь.

— Она умерла, — услышал он в ответ.

— Когда?! — воскликнул он.

— Ровно месяц назад, в пятницу.

Он долго молчал, совершенно не зная, что сказать.

— Если вы тот самый мосье, друг бедной Николь, который время от времени навещал ее, то я прошу вас зайти, я соседка покойной и должна вам кое-что передать.

Он молчал.

— Не беспокойтесь, все останется в строгой тайне.

— Хорошо, мадам, — сказал он, — я сейчас приеду.

На лестнице возле знакомой двери его встретила пожилая дама, которая, недоброжелательно оглядев с ног до головы всю его уже немного расплывшуюся фигуру и все еще довольно красивое лицо с изящным матово-мучнистым носиком и мутноватыми лазурными глазами, которые когда-то, видимо, были тоже очень красивы, ввела его в свое жилище на той же площадке, жилище, о котором ничего нельзя сказать, кроме того, что здесь обитает одинокая, бедная, порядочная и чистоплотная женщина; и там, не подавая ему руки и не называя по имени, — ведь они не были официально представлены друг другу! — протянула довольно большую коробку из-под бисквитов.

— Покойная Николь просила меня, если вы придете, передать вам это, а также письмо. Вот оно.

— От чего она умерла?

— Ей сделали неудачную операцию запущенного аппендицита. Накануне смерти я посетила ее в клинике, она была уже очень плоха, но в полном сознании и, видимо, сильно страдала.

Он развернул записку, нацарапанную карандашом, и, повернувшись лицом к стене, прочел следующее:

«Мой дорогой Мосье и Друг. Вероятно, я умру, и мне бы не хотелось, чтобы Вы думали обо мне плохо. Возвращаю Вам все то, что Вы мне оставляли, начиная с того дня, когда я поняла, что люблю Вас. Эти бумажки имели для меня ценность только лишь как сувениры, как память о Вас. Я знаю, Вы не любили меня, но иногда — сознайтесь! — Вам было со мной неплохо, и я рада, что могла Вам доставить хоть маленькую радость и минутный отдых. Спасибо за то, что Вы были ко мне всегда так добры. Не сердитесь. Я любила Вас. *Николь*».

В коробке находились связки кредитных билетов разных достоинств и невостребованные чеки. Он не знал, что с ними делать, и сначала подумал, не отдать ли все эти бумажки пожилой даме, но, взглянув на нее, на ее строгие глаза, не посмел этого сделать. Тогда он взял коробку под мышку и, притронувшись к шляпе, спустился вниз по знакомой вонючей лестнице, почти теряя сознание от слащавого химического запаха дезодораторов, а затем пошел по безрадостной Театральной улице и повернул за угол, где на грязном тротуаре стоял его маленький спортивный «Ягуар», где на красных сафьяновых подушках терпеливо дожидался маленький чертенок Кубик, уткнув морду в вытянутые лапы.

Потом он некоторое время искал забвения в путешествиях...

...Чернильница, брошенная в черта, была тяжелая, литого иенского стекла, и она со звуком «брамбахер» разлетелась вдребезги, оставив чернильное пятно на облупленной стене недалеко от окна, откуда Лютер иногда с опаской посматривал на карнизы замка, по которым ходили красивые откормленные голуби, на бронзовые пушки возле амбразур, на широкий тюрингенский пейзаж,

на верхушки остроконечных черепичных крыш города Эйзенаха, потонувшего в синем тумане лесистого дефи́ле, в то время как забрызганный чернилами черт, по всей видимости, нырнул в камин, ободрав ноги о громадное буквое бревно, целое дерево, приготовленное для топки, и вылетел из трубы замка в виде хвоста темного дыма, а затем превратился в комету. Однако это не более чем легенда, и не будем на этот счет строить никаких иллюзий, хотя путешественники и экскурсанты, к числу которых принадлежали Мосье Бывший Мальчик, и Мадам Бывшая Девочка, и все сопровождающие их лица, остановившиеся здесь проездом на Лейпцигскую ярмарку, и мы, и все прочие до сих пор с любопытством рассматривают стену с оббитой штукатуркой, под которой заметны не то старые кирпичи, не то почерневшие дубовые балки. Несколько поколений почитателей Лютера брали себе на память по кусочку священной штукатурки, пропитанной чернилами, так что теперь Мадам и Мосье, сопровождающие их лица и мы все не заметили ни малейших следов знаменитой кляксы, которая, как уверяют, была некогда весьма похожа на тень распластанной лягушки.

Как это ни странно, легенду чернильницы и черта разрушил наш Петр Великий, однажды посетивший замок на горе Варбург. Непомерно высокий, как ярмарочный великан, в треугольной шляпе и военных ботфортах, он поклонил свой громадный указательный палец, потер тогда еще сохранившуюся кляксу, попробовал на язык, понюхал, раздув кошачьи усы, затем по-солдатски сплюнул на дубовый пол, вытер палец о полы шелкового, и цветочках камзола и сказал сопровождавшему его обер-коменданту замка:

— Это шарлатанство, герр комендант: чернила-то совсем новехонькие, химические, это я чувствую на вкус и на запах.

Обер-комендант не осмелился, да и не нашелся, что ответить, только поморщился. А лет этак что-нибудь через полтораста другой чужеземец — в просторном скурту

ке и белой пуховой шляпе, человек с молодой дымчатой бородой и пронзительными серо-голубыми глазами — хотя и несколько медвежьими, — придирчиво, со знанием дела осмотрел тяжелый грубый деревянный стол, за которым Лютер перевел Евангелие на простой, народный немецкий язык, желая сделать священную книгу доступной не только для избранных, но и для самых простых людей, — а затем долго глядел в окно, рассматривая пейзаж с такой тщательностью, словно хотел открыть в нем что-то весьма для себя важное, какую-то самую сокровенную суть. Вслась нагладевшись на этот саксонский пейзаж, он произнес загадочные слова: «Театр военных действий». Обмениваясь мыслями со зрителем замка, пожилым немецким служакой из отставных военных, чужеземец выказал изрядное знание немецкого литературного языка, но его мысли о боге, о народе, дворянстве, герцогах, королях, о войнах, которые в течение многих столетий терзали — и еще много раз будут терзать — эти живописные, прелестные среднеевропейские земли с их мягким климатом, плодородной почвой, редкостными еловыми лесами драгоценных пород, как бы нарочно созданные природой для счастья человека, весьма смущали, даже сердили зрителя, принужденного слушать эти дерзкие, смутьянские речи, о чем он впоследствии написал в своих мемуарах. А когда историки прочитали эти мемуары, то заинтересовались оригинальным чужеземцем, имени которого зритель так и не удосужился узнать. Однако при просмотре толстой книги, где посетители записывали свои впечатления о замке Варбург, была обнаружена запись незнакомца и его подпись: граф Лев Толстой. Вот к каким открытиям привело слово «брамбахер», преследовавшее нас — и их — во все время, пока мы носились по рокадам Восточной Германии, по полям бывших и будущих войн.

Брамбахер.

«Разве вещь — хозяин слова? — слегка шепеляво говорил Изгнанник, высокомерно задирая маленькую лысеющую головку с жиденьким хохолком. — Слово Психея. Живое слово не обозначает предмета, а свободно выбирает, как бы для жилья, ту или иную предметную значимость, вещьность, милое тело. И вокруг вещи слово блуждает свободно, как душа вокруг брошенного, но не забытого тела».

Вокруг какой вещи свободно блуждало это мучительно привязавшееся к нам слово, как бы нарочно созданное для того, чтобы вселиться в грохот сражения, а потом тревожно метаться в подавляющей мертвой тишине внезапно заключенного перемирия?

«Пиши безобразные стихи — ударение на «о», — если сможешь, если сумеешь», — говорил Изгнанник, стоя на тесном балконе пятого этажа и разглядывая все еще мирные крыши Замоскворечья, на которые уже незаметно напознала тень войны, ночных бомбежек, вой сирен воздушной тревоги, автогенный блеск зажигалок, скрещенные прожектора с кусочком плавящегося сахара над голубым пламенем жженки. «Пиши безобразные стихи — если сможешь, если сумеешь. Слепой узнает милое лицо, едва прикоснувшись к нему зрячими перстами, и слезы радости, настоящей радости узнавания, брызнут из глаз его после долгой разлуки. Стихотворение живо внутренним образом, тем звучащим слепком формы, который предваряет написанное стихотворение. Ни одного слова еще нет, а стихотворение уже звучит. Это звучит внутренний образ...»

Молнии еще нет, добавлю я, есть только та внезапно проведенная между небом и землей борозда — безмолвная и невидимая, может быть, лишь слегка шуршащий зигзаг, — как бы первый карандашный набросок молнии, с

Психея, след, по которому через мгновение, слепя и все-  
ляя в душу восторг грозы, промчится подлинная молния,  
преображая окружающий пейзаж, делая мир черно-белым  
негативом. Может быть, это и есть один из главных зако-  
нов мовизма — начертить бесшумный проект молнии.

«Как странно, как странно», — звучит из «Спидолы» на  
письменном столе, где пишутся эти страницы, мучитель-  
но-страстный голос, как бы опережая или прокладывая  
путь к чему-то еще более мучительному, страшному, не-  
поправимому, как сама смерть, которая все-таки сильнее  
любви.

Не знаю, вокруг какого брошенного тела блуждало  
слово-Психея «брамбахер». Во всяком случае, не вокруг  
бутылки немецкой минеральной воды с привкусом зале-  
жей железного лома, ржавеющего под слоем этой серой  
земли со времен множества битв, некогда здесь гремев-  
ших, или, может быть, того самого железа, из которого  
иерусалимские кузнецы выковали некогда синие кустар-  
ные гвозди, которыми римские legionеры-захватчики  
прибили к деревянному кресту молодого пророка-мови-  
ста Иисуса Христа, создателя новой религии — «умерен-  
ного демократа», как его назвал однажды Пушкин. Вода в  
бутылке, ржавая на вкус, лишенная настоящей души,  
выделяла пузырьки сухого углекислого газа третьего сор-  
та, во всяком случае, не идущего ни в какое сравнение со  
свежим, острым углекислым газом минеральной воды  
«борзиг», «аполинарас» или нашего нарзана, доставать  
который становится все труднее и труднее, а «брамбахер»  
преследует меня повсюду, как та оса, которая однажды  
решила меня во что бы то ни стало погубить.

Лично я предпочитаю «ижевскую» или в самом край-  
нем случае «перье» в зеленой, отчасти напоминающей  
ваньку-встаньку овальной бутылке, извлеченной из ве-

дерка с колотым льдом, — воду такую острую и холодную, что ее глоток обдирает гортань и язык, как битое стекло.

Дальше идет описание моей схватки с осой — воспоминание, вызванное, возможно, тончайшим, чисто музейным звуком дрожащего листового золота.

Все осы злы. Но не все умны. Бывают осы злые, как человек, к тому же еще и коварные. Я сразу узнаю их по нервному, целенаправленному полету. Они уже издали узнают меня среди множества других людей и немедленно бросаются на меня в слепой ярости, готовые вонзить свое жало мне в голову и убить на месте. Одна такая оса в течение нескольких дней преследовала меня. Я сразу узнавал ее, потому что она, влетев в форточку, имела обыкновение сначала плавно спуститься по воздуху вдоль стены, как бы измеряя глубину комнаты от потолка до пола, затем она снова поднималась тем же путем до потолка, причем никогда не изменяла строго горизонтального положения своего длинного тела, как бы слегка надломленного посередине вроде коромысла. Мне казалось, что она старается не смотреть в мою сторону, для того чтобы не вызвать подозрений, а все время что-то вынюхивает на потолке, и вдруг она стремительно бросалась на меня, кружась над головой и задевая мои волосы. Я с отчаянием отмахивался от нее руками, норовил убить ее газетой, даже кричал на нее: «Поди прочь, гадина!» Она делала вид, что оставляет меня в покое, но вдруг возвращалась и с удвоенной злостью продолжала свое нападение.

Я боялся этой завистливой, низменной твари, боялся ее полосатого тела, жесткого звука ее полета, в котором мне слышалась дрожащая струна смерти; мне трудно было понять ее необъяснимую ненависть именно ко мне, желание меня погубить. Я становился болезненно подозрительным, меня охватывало нечто вроде мании пресле



дования. Я бросался на нее с открытой книгой, желая ее прихлопнуть, уничтожить, так как понимал, что не я ее, так она меня! Как-то я воевал с ней в течение целого длинного летнего дня и вконец обессилел. Настала ночь, и оса исчезла из поля моего зрения. Форточка была открыта, и я подумал, что насекомое улетело спать в свое мерзкое грушевидное гнездо, слепленное из серого воска. Я еле добрался до постели, лег щекой на еще прохладную подушку и сейчас же увидел свой постоянный, единственный, никогда не прекращающийся сон: человека с узкими глазами убийцы.

Я видел его в виде прямоугольного цветного портрета в обществе других портретов: кудлатого журналиста с крючковатым носом и пенсне без ободков, тыквоголового китайца, молодого рыжеватого неврастеника. Бонапарта кисти Антуана-Жака Гро. Поднятые на палках, они бежали, как на ходулях, над невежественной толпой на фоне парижских фасадов, зловеще озаренных багровыми дымными фестонами мусорных куч, подожженных вдоль всего Бульмиша, вдоль позолоченных пик Люксембургского сада и музея Клонии.

Вдруг я услышал нечто, прервавшее мой сон. Это был звук осы, которая вдруг завозилась где-то совсем близко от моего лица, под моей подушкой... Она вывернулась из-под горячей наволочки, выползла и так стремительно бросилась на меня, что я еле успел закутать голову одеялом, но сейчас же с ужасом понял, что она тут же, завернута вместе с моей головой и уже путается у меня в волосах, ползет по щеке, катясь, как маленький раскаленный уголек, пытается проникнуть в мое ухо, — Психея, избравшая своим временным убежищем мое похолодевшее тело, — я вскочил, обливаясь потом, с гудящей осой в шелюре, завернутый вместе с нею в одеяло, и она, путаясь в тяжелых складках, вдруг вырвалась и прожгла мне через рубашу руку, и тогда я наконец бросился на нее, схватил пальцами ее извивающееся, упругое, как бы зарья-

женное электрическим током тело, сжал ее, как щипцами, превратил в комок, бросил на пол и окончательно раздавил босой пяткой, явственно услышав в ночной темноте хруст ее проклятого тела, неповторимый звук, в котором как бы заключалось все: подбородок, крашенные усы, багровая индюшечья кожа его шеи, прищемленная стоячим воротником императорского мундира, — и шелест темного яда, проникшего в мою кровь, заставившего мгновенно распухнуть мою руку... А полосатый комочек все еще катался на полу, и я еще раз раздавил его, надеюсь, на этот раз уже окончательно...

Звук раздавленной осы. Не более чем крошечный «брамбахер», ничем не лучше звука разбитой об стену чернильницы. Не более чем филологический эксперимент. Осип считал, что Лютер был плохой филолог, потому что вместо аргумента запустил чернильницей. В свою очередь, этот аргумент Осипа тоже не имеет ровно никакого значения, потому что на самом деле Лютер никогда не запускал в черта чернильницей. Даже и не думал! А все произошло потому, что на вопрос одного из обитателей замка, где он скрывался от преследования, что он делает по ночам в своей комнате, Лютер ответил: «Воюю с чертом», имея в виду свой перевод Евангелия на простой немецкий язык. «Как же вы с ним воюете? Каким оружием?» — «Чернильницей», — ответил Лютер, показывая на свою рукопись и на письменные принадлежности: чернильницу и гусиное перо.

Это сразу же превратилось в легенду, которая облетела весь мир. Таким образом, игра слов сделалась метафорой, а метафора, в свою очередь, чуть ли не реализовалась в историческое событие, в театральную сцену с участием Черта, нечто весьма похожее на «эффект присутствия», где изображение, переданное по лазерному лучу, игольчатому лучу квантового генератора — как предсказывает современная физика, — будет не только объемным, но создаст чудо «эффекта присутствия».

Метафора, рожденная в моем воображении, в один прекрасный день сможет материализоваться в комнате моего читателя в полном своем объеме, в абсолютной своей подлинности. Вероятно, к этому с помощью науки в конце концов и придет искусство будущего — мовизм. И пожалуйста, не думайте, что это мои домыслы или, чего доброго, мистификация. Отсылаю неверующих к номеру «Правды» от воскресенья 29 сентября, ищи на первой полосе в самой середине:

«Лазер выходит в эфир. Киев, 28 (ТАСС). Сегодня здесь закончилась Всесоюзная конференция по проблемам передачи информации лазерным излучением. Возможности, которые открывает лазерное излучение для сбора, хранения и передачи информации, кажутся поистине фантастическими. В одном кубическом сантиметре вещества, обладающего эффектом объемной фотографии (голографии), получаемой с помощью оптического луча, может содержаться столько же сведений, сколько в пяти миллионах книг. Игольчатый луч квантового генератора может передать одновременно несколько тысяч телевизионных программ. Причем изображение будет не только объемным, но и создаст «эффект присутствия»...»

В конце концов я начинаю подозревать, что все мои странные цветные сны, мои метафоры, обладающие почти полным эффектом объемной фотографии, приходят ко мне откуда-то по вполне реальному лазерному лучу, а оса, с которой я сражался однажды ночью и которая так больно (но, к счастью, не смертельно!) ужалила меня, была, быть может, первым в истории удавшимся физическим опытом.

Слово, рожденное материей, обратно превращается в материю, в вещь. Самый надежный способ организации материи есть превращение ее в отпечаток мысли, а потом в слово, в метафору, которая в конечном итоге с по-

мощью оптического луча квантового генератора станет не только объемной, но и создает «эффект присутствия». До этого, конечно, еще очень далеко, — не надо обольщаться! — но ведь что такое далеко?

Надо уже сейчас готовиться к этому чуду, приучая себя мыслить образами, ибо это есть один из самых экономных способов художественного — да и не только художественного! — мышления: например, описание пятьюдесятью словами бабочки, моделирующее целый сложный ассоциативный, не только художественный, но также научно-исторический комплекс:

«Длинные седые усы этой бабочки имели остистое строение и в точности напоминали ветки на воротнике французского академика или серебряные пальмы, возлагаемые на гроб. Грудь сильно развитая, в лодочку. Головка незначительная, кошачья. Ее глазастые крылья были из прекрасного старого адмиральского шелка, который побывал и в Чесме и при Трафальгаре». Не хватает только лазерного луча, для того чтобы рядом с нами, вдруг, возникло объемное, цветное и вполне материальное изображение.

О, как страстно жаждет моя душа создания этого феномена.

«Желание создать есть уже создание», — сказал Скрябин, у которого желаний было все-таки больше, чем созданий, как и у всех нас, впрочем.

«Эффект присутствия» — вот сокровенная суть подлинно современной поэзии.

«Однажды удалось сфотографировать глаз рыбы, — заметил Осип, — снимок запечатлел железнодорожный мост и некоторые детали пейзажа, но оптический закон рыбьего зрения показал все это в невероятно искаженном виде. Если бы удалось сфотографировать поэтиче

ский глаз академика Овсяннико-Куликовского или среднего русского интеллигента, как они видят, например, своего Пушкина, получилась бы картина не менее неожиданная, нежели зрительный мир рыбы».

О, как страшен зрительный мир рыбы, в котором агонизирует Пушкин!

«Экутэ ля шансон гриз», — грустно и мечтательно процитировал все тот же Осип строчку из Верлена. А я уже давно заметил, что он любил «экутэ». Его «экутэ» породило множество подражателей, — например, В. Набокова.

Мы окружены великой анархией вечно разрушающейся и вечно воссоздающейся материи, огромной, неизмеримой, без начала и конца. Она непрерывно уничтожает старые формы и создает новые.

Есть такие небесные тела — пульсары. Они вечно, с точностью атомных часов, увеличиваются в объеме и опадают: так сказать, раздуваются, как лягушка, на лугу увидевши вола»...

А что, если мы тоже так же ритмично пульсируем?

Боже мой, из какой мелочи, из какой трухи, из какой мировой пыли мы все состоим!

Я не пишу, не создаю музыку, не вижу, не слышу, не понимаю, — да и зачем? — я непрерывно звучу, как некий резонатор, волшебный прибор, принимающий отовсюду из мирового пространства миллионы миллиардов сигналов, с непостижимой скоростью несущихся в мое бедное тело, в мою нежную, такую хрупкую Психею. Все, кому не лень, посылают в мою душу, в мой мозг свои сигналы, свои категорические приказы, как бы управляя мною на расстоянии: все эти пульсары, туманности, астероиды, белые и красные карлики, солнечный ветер,

магнитные поля, северные сияния, вся беззвучно гремевшая вокруг меня бесконечная и безначальная Материя, весь этот космический «брамбахер». Они насылают на меня объемные сновидения, мучающие меня, как события подлинной жизни. Они погружают меня в божественную кажущуюся летаргию вселенной, против моей воли они заставляют меня мыслить, воображать, творить. Со стороны может показаться, что я творю из ничего. Но это совсем не так. Я творю из подручного материала неистовствующей, вечно изменяющейся Материи. Я ее крошечный слепок. Каждый атом, из которого состоит мое тело, мой мозг, — модель вселенной. Я ее раб, и вместе с тем и ее повелитель.

Я жертва космических бурь, протуберанцев, бешенства солнечной плазмы.

«Ум человеческий, — писал Ленин, — открыл много диковинного в природе и откроет еще больше, увеличивая тем свою власть над ней...»

«Представление не может схватить движения в целом, например, не схватывает движения с быстротой 300 000 км в 1 секунду, а мышление схватывает и должно схватить».

Мое мышление схватывает не только быстроту самого взрыва, но также тишину, наступающую после взрыва, тишину, более могущественную, чем сам взрыв. Чем страшней взрыв, тем страшней тишина. Пустота, возникающая на месте взорванного здания, материальнее самого строения. Строение разрушено, его больше не существует, тишина уже стоит на его месте и будет стоять вечно. Пустота тоже материальна. Но она неразрушима. Ее ничем нельзя взорвать.

«Что ж: броди среди этих развалин, черным воздухом смерти дыши. Как он страшен и как он печален, этот город, лишенный души».

Город нельзя разрушить. Навсегда остается эффект его присутствия, более прочный, чем грубая каменная суть его домов, дворцов, колоколен, башен, эстакад. Разве можно изменить воздух, свойственный только ему одному: сухой, среднеевропейский, насыщенный запахом бурых брикетов, спрессованных из каменноугольной пыли и торфа. Все призрачно в этом абстрактном городе зияющих архитектурных пустот, созданных из самой прочной тишины затянувшегося перемирия, где некогда при свете все того же пепельно-серебряного солнца можно увидеть среди университетских корпусов ту самую маленькую площадь, где некогда горел костер и почерневшие страницы великих книг устилали своим пеплом всю пустынную улицу вплоть до самых брамбахерских ворот, повернутых всей своей серой колоннадой в туманное Никуда с крылатым гением золотой победы, летящей над призрачной зеленью потустороннего парка.

...Отлично ложилось оно на музыку, ненадолго поселилось в слове «Вагнер», сразу же одухотворив его, придав ему внешний вид: выдвинутый вперед подбородок деревянного щелкунчика, бархатный берет, вставные глаза и стук дирижерской палочки по пульта из черного дерева, как бы по волшебству поднимающей из оркестровой ямы первые парадные такты «Тангейзера», в одном названии которого было больше истинной музыки, чем во всей этой опере, некогда родившейся все в том же легендарном замке на вершине горы Варбург, где Лютер воевал с Чертом, а глубоко внизу, в Эйзенахе, в средневековом домике родился Иоганн Себастьян Бах, и Психея брамбахера, покинув милое тело Вагнера, уже металась по маленькому музею старинных музыкальных инструментов, не в состоянии сразу решить, куда бы ей вселиться: в узкий треугольный еловый столик Цимбалб, откуда некогда своими могучими пальцами молодой Бах извлекал слабые, дребезжащие, какие-то провололочные аккорды, или в европейскую сестру тех самых почерневших от времени

дощатых кобз, которые я еще застал в своем детстве на украинских базарах: на холщовых коленях сидящих среди базарной толкотни белоглазых слепцов-кобзарей с седыми волосами, подстриженными «под горшок», которые пели старинные украинские псалмы и после каждой строфы вертели ручку этой странной «шарманки» с волосяными струнами, производившими жалобное, ноющее жужжанье — очень долго не утихающее, как бы дополняя смысл старинной баллады, поэмы еще каким-то другим, тайным значением, каким-то гоголевским предвечерним степным пейзажем с мучнисто-розовым заходящим солнцем, сухой пылью, запахом скота, чабреца, полыни, предчувствием холодной лунной ночи с матовой росой, лежащей на кавунах и дынях, ночующих на твердой, потрескавшейся земле бахчи; или в семистольную цевницу Пана, или, наконец, в так называемый гармонiuм — изобретение Вениамина Франклина — его хобби, — инструмент со стеклянным цилиндром в середине, издающим под опытными пальцами музыканта мокрый звук удрученно поющего иенского хрусталя, подобно тому как поют винные бокалы, если осторожно провести мокрым пальцем по их верхнему факету, — или в стаканы, которые тетя мыла в полоскательнице своими длинными музыкальными пальцами. Да мало ли куда каждую минуту порывалась вселиться непоседливая Психея, пока мы как очарованные рассказывали по этой средневековой комнате-музею, похожей на старинную гавань, тесно заставленную судами и суденышками, начиная от маленького фарфорового кораблика итальянской окарины, как бы всегда наполненной нежным посвистываньем средиземного ветерка, — до громоздкого баркаса контрабаса с морскими канатами слабо натянутых струн... Стихия музыки, как предметная значимость, как некогда брошенное милое тело, неодолимо влекла к себе Психею, и она, следуя за нами, залетала то под готические своды лейпцигской Томас-кирхи, где посередине громадного, некрасивого и холодного пространства лютеранского храма ле-



жала как бы распростертая на полу, широкая, совсем простая и все же невероятно торжественная, как его собственная органная музыка, могильная плита Баха, в течение многих лет заставлявшая ежедневно звучать неподвижный воздух, хранящий голос Лютера, раздававшийся иногда с трибуны, высоко прилепившейся к каменному столбу, как маленькая неуклюжая беседка, сделанная руками малоталантливого каменотеса, слепого последователя великого реформатора; то — вдруг капризно променяв музыку на поэзию — проникала вслед за нами в готический погребок Ауэрбаха, с красноногим Мефистофелем верхом на громадной, овальной бочке, окруженной пьяными студентами...

Я уже не помню, когда именно тайный советник Гёте, надутый господин с высокомерными, отечными глазами немецкого сановника, любивший надевать черный фрак с белой звездой и высокий черный цилиндр, любитель античной скульптуры, анатомии, оптики, минералогии и физики — не говоря уже, конечно, о поэзии, — автор военно-патриотических агиток и апофеозов, а также Вертера, маленький томик которого всегда возил в своем походном чемодане большой мастер истреблять людей — кровавый император Наполеон... Когда именно этот тайный советник превратил плод своей досужей фантазии, Мефистофеля, в пуделя — и превратил ли вообще? Не ручаюсь, но могу дать честное слово, что совсем недавно мы увидели глухой ночью в одном из средневековых закоулков Веймара, где-то на задах городской ратуши, а может быть, между большим домом Гёте и маленьким домом Шиллера, освещенных газосветными призрачными фонарями второй половины XX века, — на мостовой, блестящей, как черная змеиная шкура, — мы увидели — человека с черным пуделем на поводке. «Это он!» — успел воскликнуть я, но в тот же миг человек и пудель повернули за угол и навсегда исчезли из глаз, как бы растворились среди круглых подворотен и нависших чердаков

этого старинного переулка, оставив после себя совсем слабый запах паленой шерсти и серы.

Не знаю, успела ли вселиться Психея брамбахера в черного пуделя — плод досужего воображения Гёте, — но кажется, не успела, потому что я еще долго чувствовал ее присутствие сначала в переоборудованном номере старинной веймарской гостиницы под вывеской «Слон», выходящей на средневековую рыночную площадь с фонтаном и весьма некрасивой статуей Нептуна или Тритона, для чего-то вывезенной неутомимым тайным советником из Италии, а потом в разных других местах, где мы побывали, надеясь еще хоть раз увидеть легендарного Доктора с не менее легендарной собакой, еще раз доказавших мне могущество поэтической мысли, превратившей метафору в предмет, в милое тело, в вещь. Однажды нам показалось, что это именно они мелькнули в подземной пустоте, темной, как безысходная ночь, на черных гранитных ступенях, поблескивающих в слабом свете подземных фонарей искрами селитры: там беззвучные рельсы эсбана или унтергрунда плавно заворачивают в никуда, чем-то очень отдаленно напоминая неполное кровообращение в результате удачной операции артериально-венозной системы. Затем пудель мелькнул за углом серого мавзолея, где перед ложноклассическими почерневшими колоннами стояли два серо-зеленых солдата в почти плоских — как тарелки — военных касках, — сухие, вытянутые, желтолицые, как два муляжа, поставленные при входе в гулкое помещение, где нет ничего, кроме черного Камня Каабы, на котором некогда лежал круглый венчик из дутого крупновского железа с прорезями дубовых листьев — звонкий сквозной брамбахер, — а теперь там же твердо и вещественно лежит его пустота, его обратный слепок, — плод моего воображения! — как бы выдутый «из ничего», прочного, как самая высококачественная послевоенная — или даже предвоенная — тишина... И сухие венки с выпцветшими национальными лентами, и черная, никогда не высыхающая сырость под бетонными стенами, навсегда лишенными солнца, жестко, гулко отра-

жающими каждый человеческий шаг, потревоживший кубическую пустоту этого старого городского резонатора, уцелевшего во время катастрофы.

И все-таки мы его наконец настигли, но уже где-то совсем в другом измерении, и тогда увидели, что это был совсем маленький черно-пепельный пуделек на узком поводке, который вечно кружился под ногами у Мосье Своего Хозяина, когда он выводил его погулять. Дома же он бегал на свободе и вечером сидел под столом, иногда без всякого видимого повода рыча и покусывая ботинки гостей. Довольно часто собачку водили делать туалет в специальное заведение, по-моему, где-то недалеко от Бальмена или Кристиана Диора, в районе Елисейских Полей и Рон-Пуэн, в шикарном доме, по всему фасаду которого снаружи в дни Рождества среди гирлянд хвойной зелени ярко и празднично горели жирондели электрических свечей, не боявшихся ни дождя, ни снега...

...Но это уже из другой оперы...

Там Кубика фигурно стригли, мыли специальным собачьим шампунем, вычесывали хвост, а так как собачка была нервная, с плохим характером, а главное, избалованная богатой жизнью, то приходилось прибегать к успокоительным уколам.

Поверьте мне. Я сам однажды был избалованной собачкой, правда недолго. Тогда меня все раздражало. На меня вдруг нападало необъяснимое желание кусаться. Я думаю, что меня больше всего раздражали запахи. В особенности я не переносил запаха того подлеца, который в собачьей парикмахерской занимался моей внешностью. От него пахло аткинсоновской лавандой, которую он по своему невежеству считал самым элегантным одеколо-

ном в Европе, в то время как все порядочные люди никогда не употребляли ее после бритья, считая это дурным тоном. А он, дурак, почему-то вообразил, что самые изысканные французы употребляют именно эту лаванду. Мне же, с детских лет привыкшему только к туалетной воде Ланвена, одна мысль об аткинсоновской лаванде причиняла чисто физические муки, я начинал рычать и чувствовал непреодолимое желание немедленно укусить парикмахера, распространившего ненавистный мне запах. Когда же мне делали успокоительный укол, я сразу переставал раздражаться и покорно, даже не без некоторого удовольствия отдавался в руки этого человека, который, завязав мне на всякий случай морду специальной лентой, приводил меня в порядок. И когда за мной заезжал Мосье и надевал на меня поводок, я уже был одним из самых красивых карликовых пуделей не скажу всего Парижа, но, во всяком случае, Восьмого аррондисмана, куда, как известно, входят Елисейские Поля, с его лучшим рестораном Фульеца, где я пользовался разными привилегиями, главным образом той, что меня, в нарушение всех правил, охотно пускали в общий зал вместе с моими хозяевами, — Мосье и Мадам — и подавали мне отличный штатобриан, разрезанный официантом на маленькие кусочки, и ставили мне серебряную мисочку, куда Мосье собственноручно наливал для меня превосходную гигиеническую воду швейцарских ледников с красивым названием «эвиан» — единственное, что я переносил из напитков без особого раздражения. В самом крайнем случае я еще мог пить воду «витель». Не буду лгать: все это подавалось мне, конечно, под стол, во главе которого с одной стороны всегда сидела Мадам Моя Хозяйка, а напротив нее, с другого конца, — Мосье Мой Хозяин, а между ними всякий сброд — биржевики, маклеры, валютчики, петрольщики, которых я ненавидел всей душой за омерзительный запах их дорогой, но неряшливой обуви, а также за то, что я внутренним чутьем понимал, что именно они когда-нибудь разорят и ограбят Моего Хозяина, пустят

все его богатства под откос, доведут его до опеки и первые же будут потешаться над его крахом, предварительно хорошенько награв на нем руки. Я их всех называл про себя презрительной кличкой «и сопровождающие его лица». Иногда, не в силах совладать со своим характером, я кусал их за ноги, но не слишком сильно, потому что зубы у меня были мелкие и слабые, хотя в случае особенно сильного раздражения я мог ими укусить до крови, что и случилось однажды, когда в бюро я укусил за палец самого Мосье Моего Хозяина, собиравшегося подписать ловко подсунутый ему страшно невыгодный контракт, и другой раз в скором поезде Париж — Довиль, где я цапнул за ногу одну даму, поднявшую такой скандал, что Мосье Мой Хозяин едва его сумел потушить, и то лишь обязавшись платить пострадавшей пожизненную ренту в триста тысяч старых франков, что, в общем-то, для него было в то время сущим пустяком, хотя все же не очень приятно. Я бы еще многое мог рассказать о Своем Хозяине, например, о том, как он в конце концов, вдруг, совершенно неожиданно, прогорел дотла и превратился почти в нищего, но мне больно об этом вспоминать, да и нет больше времени, так как моя душа снова вернулась в тело автора этих строк, а я, к несчастью, как был, так и остался довольно глупым и дурно воспитанным неграмотным пуделем, и мой ум постепенно померк, как испорченный телевизор, и уже не способен больше ни на какие обобщения и абстракции.

Снова обретя свою живую бессмертную человеческую душу, я продолжу начатую здесь печальную историю, но уже не как участник ее, а лишь как свидетель, хотя и не вполне посторонний, но достаточно беспристрастный.

Я бы, конечно, мог прибегнуть к старому, надежному литературному приему, которым иногда пользовались Наши Великие: перевоплотиться в животное и писать как бы от его имени. Но я вовсе не желаю очеловечивать этого пуделя с высокой, искусно сооруженной прической

и африканскими глазами, весьма похожими на небольшие эскорго. Пусть собака остается собакой со всем ее сложным собачьим характером.

Самое основное в Кубике был черный цвет, несколько пыльный, матовый, — не только цвет самой шерсти, но также и кожи, из которой эта шерсть росла, — черный цвет носа, губ и когтей, — за исключением недоразвитого декоративного ротика — миниатюрной пасти, где за ожерельем мелких зубов шевелился узкий красный язык, покрывавшийся легкой горячей пеной, когда собачке вдруг хотелось кусаться. Внезапное желание укусить возникало, как молниеносный припадок безумия, — и тогда берегись!

Но, может быть, подобные припадки вызывал не только какой-нибудь неприятный запах, но еще какие-то частные причины, таящиеся в неисследованных глубинах спящего сознания.

Мадам Хозяйка и Мосье Хозяин были уверены, что более умной собаки еще не видывал свет! Простим же им это невинное заблуждение, вполне понятное, если принять во внимание, что у них никогда не было детей. Собачка заменяла им единственного обожаемого ребенка — гениального, как все единственные сыновья, наследники более чем крупного состояния. С того дня, как Мосье Хозяин принес двухмесячного Кубика в бархатном кармане своего великолепного демисезонного пальто от Ланвена на драгоценной шелковой подкладке, с вышитой гладью большой монограммой и подал Мадам Хозяйке, держа в ладони, как маленькую прелестную игрушку, и Мадам Хозяйка, прижав его к дряблему, но нежному подбородку, под которым матово сверкали четыре нитки самого отборного крупного натурального жемчуга от Картье, воскликнула: «Ах, какой славенький Кубик!» — и бросила на мужа благодарный взгляд все еще прелестных карих иронических глаз, — с того самого мига собачка стала главным существом в этой богатой парижской квартире, за-

нимавшей целый этаж в одном из самых фешенебельных районов, не буду уточнять каком: парка «Монсо», Отейля, Фобура, Сент-Оноре или Марсова поля.

Поздно вечером, перед сном, Мосье Хозяин лично выводил собачку погулять возле дома, предварительно надев на нее вязаное пальто; там он снимал с нее поводок, и собачка бегала по асфальту между кое-как поставленными на тротуаре автомобилями лучших мировых марок последних моделей, брошенными богатыми хозяевами на ночь. Запах дорогих автомобилей, самого очищенного высокооктанового бензина и набора превосходных смазочных масел, первоклассной резины и сафьяна сидений не раздражал собачку, даже наоборот — по-видимому, доставлял ей большое удовольствие, так как она вообще любила запахи богатства, роскоши и очень тонко в них разбиралась, в то время как запахи не то чтобы нищеты, а просто приличной бедности могли — как я уже говорил — вызвать в ней приступ мгновенного умоисступления и жажду кусаться.

Пока собачка бегала вдоль стен, возле фонарей, по чугунным составным решеткам, плоско лежащим на земле вокруг элегантных платанов, необыкновенно подходивших к стилю высоких парижских окон с низкими балкончиками, просторных подъездов с медными розетками электрических звонков, говоривших о богатстве и комфорте, Мосье Хозяин без шляпы и пальто, подняв воротник пиджака вокруг шерстяного кашне, прохаживался по-домашнему от подъезда до угла и обратно, все время видя над крышей противоположного дома утолщение на верхушке Эйфелевой башни, откуда вырывались в туманный воздух влажной парижской ночи медленно вращающиеся по горизонту два или три луча маяка. Наверху всегда было туманно, и эти немного расширяющиеся лучи всегда напоминали Мосье Хозяину какую-то русскую народную сказку в книжке с картинками, где старуха, а может быть, и не старуха, несет на палке конский череп, из круглых глазниц которого бьют в разные стороны страш-

ные лучи, постепенно поглощаемые непроглядным русским туманом забытого детства.

В эти минуты Мосье Хозяин был вполне доступен для людей, искавших с ним встречи, но только эти люди — увы! — не знали, что он прогуливает по ночам своего псика, а в другое время он был недоступен. Дойдя до угла, он видел ночные огни площади, стоянку такси рядом с отделением «Лионского кредита», несколько угловых бistro, устричных прилавков и два довольно приличных ресторана, создающих впечатление кое-где разбросанных рубиновых угольев, — ночной парижский пейзаж, который он предпочитал всем другим пейзажам мира. В это время он обычно обдумывал свои новые финансовые операции, то самодовольно улыбаясь, то болезненно морщась, если предчувствовал опасную неудачу. А собачка в это время пускала по серым цокольным стенам жиденькие потеки, принимаясь к запахам роскоши и бедности, которые всегда тонко сплетаются в туманном парижском воздухе. Она шныряла между мусорницами, полными всякой дневной дряни, выставленными из домов к обочине мостовой, — длинная шеренга баков и цилиндров, из-под крышек которых выпирал мусор: картонная тара, стружки, черные водоросли, пластмассовые бутылки, пергаментные стаканчики, комки оберточной бумаги, кожура фруктов, скорлупа лангустов, раковины устриц, обглоданные куриные кости, букет засохших цветов... На рассвете сюда придут мусорщики-негры и опрокинут всю эту дрянь в свои гремящие и воняющие машины — неуклюжие, как танки, — но прежде чем придут эти машины, появятся с небольшим перерывом — один за другим — несколько нищих стариков и старух и будут копать в мусорных бидонах, надеясь извлечь для себя хоть что-нибудь годное в пищу.

Собачка видела их однажды на рассвете, когда заболела расстройством желудка, наевшись в ресторане Фукеца фирменным блюдом так называемого кассуле, которое там обычно готовят по пятницам, и ее при-



шлось несколько раз в течение ночи срочно выводить на улицу.

Старик копался в мусоре, и собачка видела, как он извлек из бидона куриную кость и половину круассана и, завернув все это в пергаментную бумагу, раздобытую тут же, бережно спрятал во внутренний боковой карман поношенного клетчатого жакета. Старик этот вызвал в Кубике припадок такого озлобления, что если бы не понос, обессиливший собачку, то она, наверное, куснула бы этого неряшливого человека, от панталон которого воняло плохо отстиранным бельем.

Дико озираясь по сторонам своими светящимися африканскими глазками, собачка бегала туда-сюда по улице, и черная прическа на ее голове время от времени еще больше поднималась, становилась дыбом, а усы топорщились под дрожащим носом, делая ее чем-то похожей на капитана Скарамуша кукольного театра «Гран-Гиньоль».

Я склонен думать, что это была собака не натуральная, а искусственная, созданная человеческими руками, в лаборатории какого-нибудь гениального экспериментатора-кибернетика или бионика, сумевшего создать во времени и пространстве искусственное существо — подобие гораздо более сложного животного организма по типу обыкновенного карликового пуделя, каких миллионы, очень может быть, того самого, которого мы, как я уже упоминал, однажды ночью видели в Веймаре и который, по словам ныне забытой, но замечательной поэтессы Наталии Крандиевской, кажется, Фаусту прикидывался пуделем, женщиной к пустыннонику входил, простирал над сумасшедшим Врубелем острый угол демоновых крыл — или что-то в этом роде.

Я думаю, что экспериментатор создал в своей лаборатории именно этот тип собаки, даже не подозревая, какой оборотень послужил ему моделью. Мне кажется, ученый слишком усложнил нервную организацию этой собачки, сделал ее чересчур восприимчивой к сигналам

внешнего мира. Кубик был один из первых, не вполне удачных экземпляров искусственного животного, созданного в упомянутой лаборатории с чисто коммерческими целями — на продажу — ввиду большого рыночного спроса именно на такую породу собак.

В Кубике было множество недостатков, чисто технических просчетов, недоделок. Для обыкновенной натуральной собаки он, например, получился слишком глупым. Его мозг был создан небрежно из недорогого материала, без учета равновесия, гармонии, взаимодействия всех его сигнальных узлов, а уж о сером веществе и говорить нечего: оно получилось совсем не того высшего качества и клетки коры головного мозга не очень закрепляли впечатления и удерживали информацию.

...А потом со страшным скрежетом на улице появились уродливые гиганты-роботы, и негры со светящимися глазами и белоснежными, фосфорическими зубами с хохотом стали опорожнять мусорницы в разинутые пасти своих железных машин, облитых помоями, и распространилось такое зловоние, что Кубик завыл и потерял сознание.

Самый же главный дефект в конструкции этого животного был тот, что аппарат ощущения времени работал крайне неkoordinированно и эффект времени в ощущении животного не имел той диалектической непрерывности, без которой даже весьма сложное живое существо остается на самой низкой ступени своего интеллектуального развития, «...отмечая и подчеркивая прерывистость времени, — прочитал я в одной умной книге, — следует опасаться и абсолютизации этой стороны времени».

По-моему, в случае с Кубиком произошла именно эта абсолютизация.

«...Уместно вспомнить апории Зенона, в которых ставится вопрос о прерывности и непрерывности времени, в

частности апорию «стрела». В этой апории Зенон пытался доказать невозможность движения ссылкой на то, что летящая стрела находится в каждый определенный момент времени лишь там, где она находится, то есть что каждый данный момент времени она покоится, а стало быть, в целом она неподвижна».

Мучительная прерывистость времени, каждый миг которого, как проклятая стрела Зенона, останавливался над бедным недоделанным животным, причиняла невероятные страдания его несовершенному мозгу, и Кубик моментами впадал в буйный идиотизм, будучи не в силах справиться с миллионами угрожающих сигналов, летящих в него со всех концов не только возбужденного Парижа, находящегося на грани революции, но и всего мира со всеми его зонами напряжения и военными действиями с применением самого совершенного способа уничтожения людей, животных и растений.

Здесь нельзя не вспомнить задачу, которую великий экспериментатор Капица задал не менее великому теоретику Ландау: «С какой скоростью должна бежать собака, к хвосту которой привязана сковородка, чтобы она не могла слышать грохот сковородки о мостовую?» Ответ Ландау был величественно прост: «Собака должна сидеть на месте».

Настоящая, натуральная собака — да. Но сидеть на месте в то время, когда весь мир грохотал по мостовой бесконечности, как сковорода, привязанная к его короткому хвостику, как бы состоящему из семи или восьми распущенных черно-серых веревочек, — искусственной собаке было не под силу. Стрела Зенона впивалась в ее черное тело, и собака вдруг начинала вертеться на поводке, как бешеная, сверкая своими безумно светящимися глазами, полными статического электричества.

В такие минуты лишь Мосье Хозяин и Мадам Хозяйка могли кое-как его успокоить: в нем было надежно запрограммировано уважение к хозяевам.

Впрочем, это всего лишь мои догадки. Очень возможно, что я ошибаюсь. И даже наверное. Просто это была паршивая собачонка, воспитанная в буржуазном духе: она ненавидела бедность — все ее оттенки и виды — и бесилась всякий раз, когда чувствовала наступление какого-нибудь социального конфликта. В особенности ее раздражало приближение какой-нибудь забастовки; сначала оно приводило ее в состояние депрессии, а потом она — вдруг — теряла рассудок и могла укусить первого встречного из низших слоев общества.

Однажды в Монте-Карло, где Мосье и Мадам вместе с приглашенными и сопровождающими их лицами проводили пасхальные каникулы — «ваканс», — занимая целый этаж в лучшей в мире гостинице «Отель де Пари», на прелестной тончайшей японской бумаге которой — с нежно-голубой коронкой наверху — пишутся страницы этой печальной истории, Кубик устроил большой скандал, укусив официанта, вкатывавшего в салон люкс стол с сервированным на нем пятичасовым чаем.

С утра назревала забастовка электриков, и уже было известно, что повсюду в Монако в течение трех часов будет выключен электрический ток.

...О, эти не слишком крупные грушевидные жемчужины яркой, живой белизны, в которой как бы вследствие некоего оптического чуда угадываются все семь светящихся цветов весенней радуги; они свисали с декадентских веточек, набранных из светлых изумрудов чистой воды... Что это? Вход в старинную станцию парижского метрополитена или первомайские ландыши, украшающие по бокам пасхальное яйцо из чистого золота, покрытого сеткой голубой или гранатовой драгоценной эмали, выставленное в пустой витрине легендарного Картье — золотых дел мастера и брильянтика — на черной бархатной подушке среди скрытой электрической сигнализации как символ воскрешения Христа...

А Мадам, в прелестном весеннем костюме от Диора, в тужельках первой весенней модели, в темно-зеленых легких дамских очках на слабых, стареющих глазах, с милой улыбкой, уже несколько сгорбившаяся, идет мимо витрины дальше, все дальше, совершая с Кубиком предпраздничную прогулку по пустынному солнечному Монте-Карло, время от времени заходя в нарядные магазины и делая, — нет, не делая, а совершая! — совершая небольшие покупки, делая заказы: там пасхальные яйца из шоколада «миньон», которые душистая продавщица с серебряными щипчиками в руках затейливо завертывает в золотую бумагу, здесь выбирает сырые цветы — темно-синие пармские фиалки, белую и лиловую отборную сирень, горшочки с кустиками азалии, густо усыпанными розовыми цветами, розы цвета кардинал — маленькие бутоны на длиннейших стеблях, — букетики первых незабудок и тигровые орхидеи в прозрачных кубических коробках, перевязанных лиловыми шелковыми лентами с праздничным бантом, а затем, присев на золоченый стул, пишет за крошечным будуарным столиком, скрытым в тропически влажной глубине магазина, среди драгоценных растений, дышащих теплой сыростью оранжерейной земли, поздравительные карточки, вкладывая их в крошечные, совсем кукольные конвертики, а потом идет дальше, в другие лавки и магазины делать заказы на фрукты, касаясь небольшой изящной ручкой в замшевой перчатке разных плодов: авокадо, персиков, очень крупного дымчатого алжирского винограда, манго, лесной удлиненной земляники и сухой садовой желтовато-розовой клубники, мандаринов, черешни — выставленных в плетеных корзиночках, коробочках, нейлоновых сетках, а Кубик — тем временем — вертится на своем поводке под ногами Мадам Хозяйки и сопровождающих ее лиц, благосклонно перенося запахи их, в общем-то, довольно тщательно вымытых тел, надушенных приличной туалетной водой и духами, а также их легкой, модной, очень дорогой весенней обуви, и ему нравится опережать их и пер-

вому останавливаться возле тех магазинов, куда они собираются войти.

Он прекрасно изучил эти магазины, наполненные драгоценными пасхальными сувенирами, а также поздравительными картинками, разноцветными восковыми свечами самых причудливых форм, подносами с воспроизведенными на них картинами постимпрессионистов, еще более ярких и художественных, чем их подлинники в холодных холщовых залах парижских музеев. Кубик видел, что у нарядной девушки Ренуара с вишневыми губками, в деревенской соломенной шляпке с маками или васильками, сидит на руках странное мохнатое существо, в котором он не хотел и никак не мог признать своего брата собачку, хотя в глубине души и чувствовал нечто родственное, заставлявшее его еле слышно повизгивать и еще шибче кружиться на поводке вокруг старчески прелестных ножек Мадам Хозяйки.

По календарю еще зима, февраль, но молодой предпасхальный воздух, льющийся вдоль побережья Ривьеры прямо из Италии, дрожит над божественно-лазоревым заливом, над квадратной акваторией гавани, где на якоре стоит яхта легендарного Арахиса — неряшливого старика, носатого грека-пиндоса в больших очках с залапанными стеклами, с плохо застегнутой ширинкой поношенных серых штанов — как говорят, самого богатого человека в мире и собственника всего, что видит вокруг бедный человеческий глаз — и ванны литого чистого золота в будуаре яхты, — кроме, конечно, высокой гряды Приморских Альп, не пускающей сюда зимний холод, дожди, парижские туманы, назревающую на Левом Берегу революцию... — таким образом, больше половины года здесь царит мягкая, прохладная весна, светит солнышко и даже в январе, среди влажных газонов, прямо в открытом грунте, под войлочными стволами финиковых декоративных пальм, как бы среди вечного пасхального стола, цветут нежные цикламены, осененные водянистым перезвоном итальянских колоколов, доносящихся сюда из Вентимильи...

...и странные флаги над глупейшими куполами и безвкуснейшими вышками игорного дома — казино, — где в похоронной тишине громадных, недоброжелательно-равнодушных залов днем и ночью бегают по кругу и щелкают по металлическим шипам костяные шарик рулеток.

Все было бы здесь хорошо, — лучше не надо! — если бы не забастовка электриков, приближающаяся из метрополии, неотвратимая, как тень давным-давно уже предсказанного затмения, которая вот-вот пересечет высокий гребень Приморских Альп и траурным покрывалом сползет на весь этот сияющий радостью и комфортом весенний мир экс-монархов и миллиардеров.

...сигналы тревоги, сигналы бедствия неслись отовсюду, ну и так далее.

У Кубика были слишком восприимчивые рецепторы и плохо работала тормозная система. Он раньше всех почувствовал приближение тени, сползание ее с горы. А ведь, в сущности, какой пустяк была вся эта забастовка электриков: с четырех до семи; всего каких-нибудь три часа без электрического тока — и то не абсолютно, потому что освещены были электричеством собственной станции больницы, родильные дома, пункты «Скорой помощи», все медицинские учреждения, а также, разумеется в первую очередь, громадное здание игорного дома с его могучим подземным хозяйством: дежурными пожарными командами, нарядами вооруженной охраны, бюро тайной полиции, сейфами, набитыми запасом резервной валюты, золота, драгоценностями и всяческими ценными бумагами.

Ну, и что за беда, если в течение каких-нибудь трех часов в «Отель де Пари» не будет электрического освещения? Там уже давно повсюду в апартаментах, ресторанах, холлах и коридорах на всякий случай были приго-

товлены спиртово-калильные лампы, свечи в серебряных шандалах, плошки с таким расчетом, что в нужный миг — когда вдруг всюду, как по команде, погаснет электричество — весь отель мягко, хотя и скупое, засветится внутри как бы восковым церковным светом — таким теплым, живым, трепетным, а в роскошном баре нижнего этажа, скорее похожего не на бар, а на библиотеку какого-нибудь английского замка, с его глубокими кожаными креслами, старинными раскрашенными гравюрами на мотивы скачек и охоты, не тесно развешанными на матовых, темно-зеленых стенах, как будто дьявольски элегантного, суконного, охотничьего цвета, с солидной стойкой и круглыми столами ценного палисандрового дерева, что напоминало не только библиотеку, но также некую респектабельную контору в старом лондонском Сити, а в этом роскошнейшем баре, говорю я, — вдруг зашипели калильные лампы в стиле начала XIX века, воспламеняя красное опорто в толстых, как лампы, старинных стеклянных рюмках, поставленных на легкие кружочки прессованной японской бумаги все с тою же голубой коронкой «Отель де Пари»...

Могло показаться, что отсутствие тока даже к лучшему: гораздо красивее, праздничнее, таинственнее — в особенности робкие, даже как бы несколько греховные огоньки парафиновых плашек в конце длинных, заворачивающих куда-то гостиничных коридоров, поглощавших шаги толстой дорожкой, и уже совсем волшебным блескела внизу в громадном холле против входной вертящейся двери бронзовая лошадка с выставленным вперед, как медная ручка, коленом, до золотого блеска натертая руками суеверных игроков в рулетку, верящих, что прикосновение к ноге бронзовой лошадки на высоком пьедестале принесет им удачу.

Однако остановились лифты, и тут уже ничего нельзя было поделывать: как бы ни был богат постоялец отеля, будь он королем нефтяного флота всего земного шара



вроде южноамериканца греческого происхождения Арахиса, все равно ему — хочешь не хочешь — приходилось с легкой одышкой тащиться вверх по ковровой дорожке парадной лестницы в свои апартаменты, выходящие окнами в морской простор. Даже сама мадам Ротшильд бодро поднималась пешком по лестнице в легком распахнутом манто из серебристо-розовых норок, всем своим видом показывая, что ей это даже любопытно. Бывшая югославская королева, дама бедная и сварливая, тоже делала вид, что, в сущности, ничего особенного не произошло, хотя ее склеротические ноги порядком-таки побаливали и даже как бы слегка потрескивали на каждой ступени. Конечно, для Кубика ровно ничего не составляло, крутятся на поводке, взбежать на свой бельэтаж, но животное настолько привыкло ездить вверх и вниз в зеркальном лифте, что один лишь вид парадной лестницы, неярко озаренной канделябрами, по которой надо было бежать наверх, перебирая лапками по жесткому ковру, привел его в состояние скрытого бешенства. Сотни тысяч, миллионы тревожных, пугающих сигналов возбуждали его несовершенную, болезненно-чуткую нервную систему, вселяя в животное ужас перед какими-то непостижимыми силами, власть которых делала бессильным даже Мосье Хозяина, — несомненно, самое могущественное существо в мире, разумеется, после Арахиса...

Кубик смутно представил себе всех этих подлецов в старых тергалевых костюмах, пропитанных запахом пота и ненавистной лаванды Аткинсона, которые, где-то собравшись вместе по ту сторону горной цепи, в полутемном помещении, молчаливые и неумолимые, приказали погаснуть яркому электрическому свету и остановиться лифтам ровно на три часа — ни секунды больше, ни секунды меньше, и плевать им на то, что короли, королевы и самые богатые люди в мире — даже Арахис, даже Арахис! — в это время должны, кряхтя и делая вид, что в ми-

ре ровно ничего не произошло, подниматься со своими породистыми собаками по великолепной мраморной лестнице середины XIX века с торжественными двойными спусками, как бы созданными для полонеза Огинского.

О, тягостное чувство зависимости от каких-то подлецов, думал Кубик, чувствуя расстройство своего вестибулярного аппарата, от подлецов, называющихся забастовочным комитетом...

...и тень упала на княжество Монако...

Стрела Зенона в каждый данный момент времени висела в состоянии покоя над возбужденной собакой, а стало быть, в целом она — эта стрела Зенона — была неподвижна.

Ну уж!..

Впрочем, все это весьма возможно, однако лишь при условии, если точно известно, что из себя на самом деле представляет слово «момент», не говоря уже о таком противоестественном сочетании, как «момент времени». Таким образом, лишь не зная, что такое время, можно себе представить неподвижно летящую стрелу. Но... кто знает доподлинно, что такое время и как его себе вообразить... У Кубика воображение было сконструировано на скорую руку, весьма халтурно, в самом зачаточном виде. Это были какие-то нервные вспышки, дающие обрывки картин и образов, ничем между собою не связанных, что причиняло собачке дополнительные муки. Вселенная постоянно грохотала за ее хвостом, как чугунная сковородка с многочисленными трещинами.

...сковородка Галактики...

Кубик ощущал всю опасность окружающей его вселенной, попавшей в руки негодяев, но эта опасность — или,

вернее сказать, миллионы смертельных опасностей — была лишена зрительного или логического воплощения. Она раздражала нервную систему. И только. Если собака была действительно искусственная, — в чем я не совсем уверен, даже совсем не уверен! — то, по-видимому, ее сконструировали и пустили в продажу люди определенной социальной среды; в противном случае откуда бы у собаки взялось это как бы врожденное презрение к бедности, ненависть ко всему хотя бы отчасти — не скажу революционному, а просто невинно-радикальному. Эта ненависть прилиwała и отлиwała по каким-то еще не исследованным законам. Именно в данный момент неподвижного времени, собственно говоря, и начался бурный прилив ненависти, и глаза Кубика налились кровью, когда он увидел из-под дивана ноги официанта, вносящего накрытый стол. Это был новый официант, совсем недавно устроенный в «Отель де Пари» корсиканской родней.

Актеры любят видеть своего Смердякова — в гримерном зеркале между двух голых электрических ламп — примерно таким: опрокинутое скопческое лицо сероватого оттенка, лакейский фрак, нервные руки в несвежих нитяных перчатках и под черной кожей штиблет на резинках с синими матерчатыми ушками — раскаленные мозоли, доводящие до иступления; отдаленно подобное было и в этом официанте плюс нечто корсиканское: жгучий брюнет, заросшая шея... Однако при наличии высокой чаадаевской лысины и бритого иссиня-голубого рта, окруженного двумя толстыми саркастическими морщинами, он мог бы сойти за католического священника низших степеней, понапрасну бреющего дважды в день свою неистребимую щетину. Его третье имя было Наполеон. Жан-Пьер-Наполеон: дань преклонения перед Императором, обязанным семье нашего официанта своим спасением, когда вскоре после смерти Людовика XVI Корсикой управлял генерал Паоли, человек энергичный и жестокий, ненавидевший революцию, между тем как Наполеон Бонапарт, молодой артиллерийский офицер, проводив-

ший свой отпуск на родине, в Аяччо, старался использовать все свое влияние, а также влияние членов своей семьи для торжества новых идей. Молодой Бонапарт и генерал Паоли уже враждовали между собой, и случилось так, что во время этой кровавой корсиканской вражды предки официанта спасли будущего императора Франции от неминуемой смерти от рук сторонников Паоли... Или что-то вроде этого... в результате чего впоследствии официант получил имя Наполеона от своей семьи, которая вот уже второе столетие плодилась и размножалась в Аяччо, в той самой узкой и темной, как щель, типично неаполитанской улице с развешанным бельем, где некогда в по-провинциальному большой, но нелепой и запущенной квартире промотавшегося дворянина сеньора Буонапарте, едва успев вылезти из портшеза, отпустить носильщиков и, подобрав юбки, добраться по грязной каменной лестнице до своей квартиры, с криками и воплями среди невообразимой суматохи, среди ночных горшков и фаянсовых тазов, на скрипучей двуспальной кровати красного дерева в стиле одного из Людовиков синьора Буонапарте произвела на свет злого, крикливого мальчишку, будущего императора Франции, умудрившегося залить Европу кровью и наделать много других гадостей. Ему-то было хорошо: имя Наполеон как нельзя лучше подходило к белоснежной горностаевой мантии с черными запятыми хвостиков, простертому скипетру и драгоценной императорской короне. Все возможности красоты и величия, заложенные в этом имени, были исчерпаны. А вот каково-то пришлось всем другим Наполеонам, расплодившимся с его легкой руки и постепенно вконец измельчавшим и выродившимся? В лучшем случае это были всего лишь жалкие эпигоны. Постепенно теряя все свое величие, это некогда блестящее, кровавое имя в конце концов стало водевильным: авторы маленьких театров с Больших бульваров вроде «Театра де Нувоте», куда обожали водить своих подруг приказчики, описанные Эмилем Золя, чаще всего наделяли этим именем какого-нибудь глуповатого лакея, тайно влюбленного в свою госпо-

жу. Я заметил, что комплекс неполноценности в высшей степени свойствен людям маленького роста, носящим имя Наполеон. Они всегда немного комичны, и сознание этого постоянно держит их в состоянии скрытой ярости. Чаще всего они в конце концов попадают в дурное общество, делаются анархистами, становясь в надлежащее время под черное знамя Ровашоля.

Увидев Наполеона, Кубик сначала попятился к стене, а потом вдруг стремительно выскочил из-под дивана и, утробно рыча — ему даже не сумели как следует сделать аппарат лая, и этот аппарат часто отказывал — и, говоря, утробно рыча и дрожа мелкой дрожью, он, сверкая своими дьявольскими глазами, впился в лодыжку официанта, порвал черные шевиотовые брюки и трикотажные подштанники и слегка куснул икру Наполеона своими слабыми, совсем детскими зубками.

В течение одного неподвижного мига они — собака и человек, — содрогаясь от бешенства, смотрели друг другу в глаза. О, как они ненавидели друг друга!

«Ровно в 14 часов и одну минуту по астрономическому времени над Москвой будет закрыто 74 процента солнечной поверхности».

*Радио 22 сентября 1968 года.*

Они были наедине в сумрачном салоне, освещенном несколькими свечами, огни которых бесполезно отражались в огромном глазу померкнувшего телевизора, как бы покрытом пленкой катаракты.

— Ах ты, паршивая собачонка, — прошипел приглушенным басом корсиканец, дрожа и бледнея от негодования. — Ты посмел меня укусить? Да? Меня? Человека? Посмел? Укусить? Так я ж тебе покажу, подлец! — И официант, злобно, хотя и набожно бормоча: «О, Санта Мадонна», — стал изо всех сил пинать ногой под диван, пытаясь

попасть Кубику в самую морду или, по крайней мере, угодить в живот и отбить внутренности; при этом Наполеон все время оглядывался на дверь, ощерив клыки, из которых один был с золотой коронкой, и на всякий случай улыбался мягкой отеческой улыбкой, которая в случае внезапного появления Мосье и Мадам Хозяев могла обозначать: «Ах ты, мой милый, нехороший песик, разве можно кусаться?.. Или ты хочешь, чтобы я пожаловался на твое поведение Мосье Хозяину? Ай-яй-яй! Ты же знаешь, дурачок, как это его огорчит! Смотри же у меня, будь панинкой!»

Все это происходило почти в полном молчании, как убийство кинжалом из-за угла, не нарушая глубокой тишины этого огромного отеля; однако если бы можно было поймать и аккумулялировать все нервные импульсы, излучения и сигналы, летящие от одной животной системы к другой, то это был бы уже не просто шум скандальчика, а грохот новейших скорострельных батарей тактического действия или такой брамбахер ядерных устройств, что на месте семизэтажного «Отель де Пари» со всеми его решетчатыми жалюзи, лепными балконами с видом на Средиземное море, — где в это время воровато шныряли посыльные суда, а на горизонте тяжело выступал из воды силуэт утконосого авианосца VI американского флота, — с видом на океанографический музей, где в гигантских полукруглых окнах таинственно белели скелеты китов, и горки старого мертвого жемчуга серебрились, как сухая рыба чешуя, и в подземелье в светящихся аквариумах плавали, поводя усами, морские чудовища, — в один миг должно было возникнуть сернисто-желтое ничто с йодформовыми краями гангренозной язвы, неумолимо покрывая Монакское княжество... И в один миг все бы исчезло, перестало существовать — даже те сухие наивные деревянные кубики на веревочках, которые следовало подкладывать под оконные рамы, в случае сквозняков — надежное старинное средство, которым до сих пор пользовались в этом всемирном отеле, оборудованном по последнему слову техники... А серые деревянные кубики на

веревочках не научились ничем заменить... А чем вы замените хорошее, выдержанное дерево скрипки, фагота? «Не архангельские трубы, деревянные фаготы пели мне о жизни грубой, о печалях и заботах...»

Однако как ни старались животное и человек — оставшись с глазу на глаз — воевать молчаливо, их напряженно-тихий скандал тотчас же был услышан. За отсутствием времени и свободной бумаги у меня нет охоты описывать, как на пороге салона появились Мадам Хозяйка, Мосье Хозяин и сопровождающие их лица и как все они ужаснулись представившемуся им зрелищу. Мадам, как добрая самаритянка, тотчас же перевязала — скорее символические, чем действительные — раны официанта; хорошенькими пальчиками с несколькими колоссальными солитерами чистейшей воды, каратов по тридцать каждый, она деликатно и отнюдь не брезгливо засучила черные служебные брюки с атласными лампасами и в то же время не забыла погрозить хорошеньким морщинистым мизинчиком затихшему под диваном Кубику.

Что касается самого Мосье Хозяина, то он, по-видимому, не очень одобрял прилив подобного человеколюбия, считая его если не вполне притворным, то, во всяком случае, неуместным, так как Мадам приходилось сидеть на полу и Мосье боялся, что она простудит седалищный нерв: Мосье Хозяин предпочитал более реальные и быстрые действия. Нетерпеливо дождавшись, когда перевязка была закончена, он твердо обнял официанта за талию и энергично повел на свою половину апартаментов, приговаривая: «Не будем, мой друг, придавать этой истории слишком серьезного значения. Возьмите это в виде небольшого пасхального сюрприза. Здесь четыре штуки», — с этими словами он достал из бюро две тысячи новых франков еще не согнутыми, немного липкими, пахучими разноцветными пятисотками, попарно скелотыми особой банковской булавкой, и двумя пальцами подал официанту, который принял их с корректным полупоклоном, как чаевые, а Мосье Хозяин, торопясь поскорее по-

кончить с неприятным инцидентом, распахнул перед официантом все четыре створки гардероба, увешанного набором необходимых мужских костюмов, и сдернул с планки несколько галстуков. Разумеется, я мог бы, как говорят, «со свойственной ему наблюдательностью и мягким юмором» описать эти толстые шелковые галстуки от Ланвена, из которых самый дешевый стоил франков сто двадцать, — но для чего? Кому это надо? А если вам так этого хочется, то «вот вам мое стило и — так сказать — можете описывать сами».

Один из трех галстуков, протянутых рукою Мосье официанту, был винно-красный, цвета хорошего старого шамбертена, другой — ультрамариновый, как Средиземное море в яркий солнечный сентябрьский день, и третий — жемчужно-серый, как парижское утро. «Дорогой друг, возьмите их себе, они более или менее подходят к любому костюму, и носите себе на здоровье...» Но этого мало. Вернувшись в салон, Мосье Хозяин налил два необыкновенно высоких, строго цилиндрических стакана шотландского виски двадцатилетней выдержки, долил «перье», собственноручно достал специальными серебряными щипчиками с пружинкой из хрустального ведерка ледяной кубик, в тот же миг магически отразивший в себе навсегда освещенный восковыми свечами салон, и опустил его в стакан официанта. «А теперь выпьем». — «Но, мосье, я на работе...» — «Ничего, это я беру на себя», — тонко улыбнулся Мосье, и двое мужчин сделали по глотку.

Все это произошло так неуловимо стремительно, что обласканный официант первое время чувствовал себя вполне счастливым, как человек, которому неожиданно повезло, и лишь через два дня, поделившись своей радостью с земляком, тоже корсиканцем, шофером изящного грузовичка с плетеным кузовом, привозившим дважды в день в ресторан отеля устрицы, фрукты и свежую зелень, был крайне удивлен, когда земляк пожал плечами и заметил: «Вот уж я никак не думал, что ты такой лопух. Надо было содрать с него, по крайней мере, тысяч двадцать, даже тридцать, конечно, новыми. А в противном случае



пригрозить скандалом. Закон на твоей стороне! Ты мог потребовать, чтобы он сам, мадам и все их сопровождающие лица и гости были подвергнуты в принудительном порядке прививкам против бешенства и разных других опасных болезней». — «Но собачонка вполне здорова, только у нее паршивый характер...» — заметил Наполеон. «Мало ли что! — закричал земляк-корсиканец. — Надо было требовать через полицию медицинской экспертизы и привлечь мосье хозяина собачки к суду за увечье. Был бы я на твоём месте, клянусь Девой Марией, я бы или содрал с него одновременно пятьдесят тысяч новых, или пожизненную ренту за частичную потерю трудоспособности! — все более и более распаляясь, кричал земляк-корсиканец. — А ты, кретин, польстился на четыре пяти-сотки да на пару вышедших из моды галстуков от Ланвена. Если об этом узнает твоя Матильда, то лучше не возвращайся в Аяччо, она тебе проломит голову медной ступкой для миндаля...» — «Но я не думаю, чтобы суд...» — начал Наполеон. «Чудак человек! Неужели ты думаешь, что твой мосье допустил бы дело до процесса? Очень ему это нужно! Ты, наверное, понятия не имеешь, сколько у него миллионов. Для таких людей, как он, сто тысяч не играют никакой роли — лишь бы ему не испортили пасхальных каникул и не мешали наслаждаться жизнью. Чем подвергать мучительной экспертизе своего любимого песика и согласиться, чтобы его самого, его мадам и всех его гостей целый месяц каждый день кололи для профилактики в задницы, он бы, не задумываясь, выложил на стол сто тысяч наличными или чеком на швейцарский банк — и дело с концом: пасхальные каникулы спасены, а у тебя в кармане кругленькая сумма, и ты смог бы наплевать на «Отель де Пари», вернуться в Аяччо и открыть где-нибудь на берегу недалеко от «Дю кап» отличную таверну для приезжих американцев, торговал бы себе потихоньку контрабандными форелями, лангустами, серым домашним хлебом, корсиканским сыром и местным беленьким винцом и в ус себе не дул». — «Ты думаешь?» — дрожа, спросил Наполеон. «Ха! Я в этом уве-

рен». — «В таком случае я пойду к этому подлецу, брошу ему в морду галстуки и потребую деньги!» — «Но торопись, потому что мой друг Гастон слышал в баре разговор Арахиса с каким-то американцем, и этот грек-пиндос на паре колес клялся, что не пройдет и недели, как он пустит твоего мосье в трубу вместе со всей его лавочкой. А что сказал Арахис — то закон. С этим не шутят. Во всяком случае, поторопись. Впрочем, вряд ли что-нибудь выйдет. Надо было это сделать сейчас же после того, как песик тебя цапнул, а теперь, братец, я думаю, поздно. Что с возу упало, то пропало...» И земляк, хлопнув дверью своего пикапчика, уехал, а Наполеон остался стоять возле служебного входа в отель на тротуаре, как пораженный громом. Неужели он прозевал такой неповторимый, единственный в жизни шанс?

Он видел безупречно постриженные газоны перед главным входом в казино, пальмы, магнолии, кедры, редчайшие породы каких-то тропических деревьев, нежные растения, окунающие свои слабые, декадентские ветви в искусственные водоемы с розовыми лилиями, очень высоким итальянским камышом и лотосом, красные дорожки, кое-где в укромных уголках пустые скамьи, известные тем, что почти на каждой из них кто-нибудь застрелился, и Наполеон представлял себе всех этих самоубийц, несчастных игроков, которых так равнодушно — вот уже в течение ста лет — одного за другим убивала рулетка, но в его корсиканском воображении не менее живо возникали и другие картины — картины громадных удач, счастья, неожиданно свалившегося с неба в руки бедного человека и в один миг волшебным образом изменившего его жизнь.

Недавно Наполеон дежурил в ночном буфете казино и собственными глазами видел, как один приезжий итальянец из Вентимильи выиграл четыреста тысяч новых франков — что-то восемьдесят тысяч долларов! Сначала ему страшно не везло, он проигрался в пух, у него оставалась всего одна-единственная жалкая десятифранковая фишка, которую он сжимал в кулаке с побелевшими кос-

точками суставов, не решаясь сделать свою последнюю ставку, после которой он делался нищим...

Вот примерно что из себя представляют фишки казино Монте-Карло. Пять франков — голубой кружок, но его ставят главным образом в общих залах, куда пускают туристов и всякую другую шпану. В главных же залах ходят такие фишки: десять франков — белый кружок, двадцать франков — красно-томатный кружок, пятьдесят франков — оранжевый кружок, сто франков — зеленый кружок. Затем начинаются фишки высокого полета: пятьсот франков — уже не кружок, а прямоугольная плитка цвета слоновой кости, тысяча франков — темно-желтый прямоугольник, пять тысяч франков — довольно большой белый прямоугольник с косой красной лентой через всю фишку, напоминающий этикетку шампанского «кордон руж». Затем десять тысяч франков — большой чисто белый прямоугольник и, наконец, двадцать тысяч франков — очень крупный сине-голубой прямоугольник, при одном лишь взгляде на который сладко кружится голова. И все эти фишки были сделаны как бы из прозрачной и твердой, как сталь, легкой пластмассы.

Некоторые веселые игроки называли в шутку прямоугольные фишки котлетками. Это было инфантильно, но, согласитесь, довольно остроумно.

...котлетки, котлетки, котлеточки...

Итальянец из Вентимильи нервно постукивал кулаком по зеленому солдатскому сукну овального стола, не находя в себе сил расстаться с последней иллюзией. Худой сорокалетний мужчина с испитым лицом мелкого собственника из числа тех, кто дома бьет детей, любит выпить стаканчика три анисовой и способен до закрытия стоять в траттории, склонясь над электрическим бильярдом, где, как обезумевший, мечется металлический кубик,

то есть, простите, шарик. Теперь его испитое лицо было ужасно: наверное, он уже проиграл все свое имущество: лавочку, клочок земли и, может быть, даже обстановку, платья жены и остаток всех сбережений. На его лице с невыразительными, неподвижными глазами, словно бы отлитыми из темного стекла, был написан ужас, а его жена, такая же, как и он, худая, некогда — даже, может быть, не так давно — миловидная носатая итальянка в черном, очень коротком платье, которое в какой-то мере шло к ее шафранно-загорелому лицу с ввалившимися щеками, иссиня-черным волосам, высокой, но уже растрепавшейся прическе и золотому кресту на шее, который, видимо, должен был принести счастье, так как синьора время от времени незаметным движением страстно прижимала его к сизым губам, — сидела рядом с мужем, прямая, неподвижная, как надгробная статуя.

«Ну, голубчики, вы уже готовы», — злорадно подумал тогда Наполеон, собиравший по столам пустые стаканы и красивые миниатюрные златогорлые бутылочки из-под голландского пива. Однако когда он через некоторое время снова вышел из буфета в игорный зал, то с удивлением заметил, что итальянец все еще держится и возле него даже появилось несколько стопочек белых фишек. Через час или два на столе возле итальянца опять уже ничего не было, и он снова сжимал в кулаке томатно-красную последнюю фишку, упершись неподвижным взглядом во внутренность крутящейся деревянной чашки рулетки с перекрещенными над нею никелированными ручками, где, пущенный выхолещенными пальцами крупье в обратную сторону, прыгал по шипам белый шарик, носился, как безумный, туда и сюда по красным и черным клеткам и номерам и все никак не мог найти себе пристанище, пока наконец не упал в тесное стойлице и не застрял там, затих, навсегда утратив свое собственное движение, и неподвижно поехал в обратную сторону, покорно подчинившись движению маленькой карусели, которая стала носить его по кругу, как ребенка в своих легких саночках...

А еще через час официант увидел бледное лицо итальянца над довольно высокой стеной, выстроенной из самых разнообразных фишек. Потом эта стена постепенно разобралась, подобно тому как разбирается стена замка, построенного детьми из кубиков, — и когда уже перед рассветом Наполеон заглянул в полуопустевший зал, то увидел итальянца, который поднимался из-за стола с еще более ввалившимися, обросшими щетиной щеками и странной, полубезумной улыбкой, с которой он смотрел куда-то вдаль, мимо своей жены, судорожно поправлявшей вавилонскую башню окончательно развалившейся прически.

Вокруг них стояла неподвижная толпа. «Ну что, голубчики? — злорадно подумал Наполеон. — Вот вы и лопнули!» — и ошибся, так как уже все вокруг знали, что итальянец грандиозно выиграл. Сначала он действительно был на краю пропасти, казалось, ему уже ничто не может помочь, но вдруг и совсем незаметно, как это нередко случается во время азартной игры, удача медленно, с большой неохотой повернула к итальянцу свое колесо, он стал понемножку выигрывать, и весь выигрыш тут же незаметно совал в карманы, дав мысленно страшную клятву Деве Марии и Сыну ее Иисусу Христу, а также всемогущему господу богу не прикасаться к выигранным фишкам до тех пор, пока окончательно не встанет из-за стола. Теперь Наполеон увидел, как они, итальянец и его халда-жена — он впереди, а она на полшага позади, — с неподвижными лицами, как заведенные, прошли через весь обморочно-огромный полупустой зал, остановились возле кассы размена, где их уже с равнодушным видом ждали клерки, и тогда итальянец стал разгружать свои внутренние и наружные, боковые, маленькие, для часов, и задние, для револьвера, брючные и жилетные карманы, — выкладывая на дубовый прилавок множество разноцветных, разнокалиберных фишек, среди которых ярко бросались в глаза пластмассовые котлетки с красной полосой по диагонали, еще более желанные, почти волшебные котлетки цвета средиземноморской волны, не го-

воря уже о прочей круглой мелочи, в общем напоминающей круглые конторские ластики для пишущей машинки или прессованные таблетки соснового экстракта, еще хранящие тепло человеческого тела, — все эти портативные аккумуляторы, содержащие в себе громадную денежную потенцию.

Молодые прекрасно и скромно одетые клерки тут же сортировали их, молниеносно выстраивая из них башенки и заборчики, высокие и низкие штабеля, и с корректной ловкостью сбрасывали их в особый ящик, а на их место выкладывали на прилавок пахучие кипы новеньких слипшихся разноцветных франков, скрепленных по тысячам небольшой тонкой банковской булавкой, как бы придававшей им еще больше ценности.

О, эти уголки французских ассигнаций со следами неоднократных булавочных проколов!

Итальянец, стараясь держать себя с достоинством, сначала довольно аккуратно, даже не слишком торопясь, запихивал компактные пачки денег во внутренние боковые карманы, но когда увидел, что это неудобно и долго, то стал их брать сначала под мышку, а потом прямо накладывать на вытянутые руки — и в таком виде, с протянутыми вперед руками, на которых, как на двух брусках, кое-как лежали динамитные пачки денег, — направился к выходу, и они оба — он и она, — он на полшага впереди, а она на полшага сзади, поддерживая пачки, падающие у него из-под мышек, — проследовали, как лунатики, мимо игорных столов, часть которых уже закрывали попонами, как скаковых лошадей, через все громадные залы казино, — хотя и расписанные изысканными фресками в духе Пюви де Шаванна, а может быть, самого Пюви де Шаванна, — не знаю, не знаю! — несмотря на серые колонны со смутло-золотыми капителями, несмотря на паркет, блестящие под ногами, как великолепные де-

ревянные озера, несмотря на величественную кафедральную тишину или, может быть, вследствие этой какой-то пугающей, шаркающей тишины, отсутствия смеха и музыки, юности и любви, — даже, черт возьми, разврата! — все эти чертоги с распахнутыми дворцовыми дверями создавали чувство какого-то громадного, но старомодного вокзала — например, унылого, старого, полузаброшенного вокзала в Сан-Франциско, откуда уже давно не ходят поезда, а пассажиров по старой памяти везут именно отсюда в автобусе за город, где и пересаживают в уже готовый трансконтинентальный экспресс с удобными купе, барами, ресторанами, кафетерием и старыми неграми-проводниками в золотых очках и белых перчатках, ласковых и предупредительных, как добрые няньки из хороших домов.

Они прошли через все двери, а затем мимо сухо поклонившегося им ливрейного швейцара, которому, впрочем, ничего не дали, — вышли по каскаду шикарной наружной лестницы прямо в застывший в предутренней летаргии парк и, не заходя в гостиницу, пошли прямо по ярким газонам, облитым зелено-ртутным сиянием газосветных ламп, смешанным с синеватым оттенком приливающего средиземноморского рассвета, мимо белеющих скамеек самоубийц — на вокзал...

Наполеон стоял и смотрел, подавленный, очарованный, полный горького восторга и зависти, но швейцар, выдавший виды старый монегаск, посмотрев не без презрения вслед удаляющимся итальянцам, заметил с мудрой, но недоброй улыбкой:

— Ничего. Они вернутся, — сказал он зловеще. — Можете на меня положиться.

Теперь, когда Наполеон вспомнил об этом, в нем с новой энергией вспыхнула надежда. Нет! Надо во что бы то

ни стало вернуть потерянный шанс, который, конечно, больше уже никогда в жизни не повторится. Через несколько дней ему удалось подстеречь Мосье одного, возле лифта. «Мосье, — сказал он решительно, — я не могу рисковать жизнью. Несомненно, ваша собака бешеная. Я требую строжайшей медицинской экспертизы. Я буду настаивать на том, чтобы всей вашей семье и всем лицам, соприкасавшимся с опасной собакой, сделали принудительные прививки, что предусмотрено монахским законодательством. В противном случае...» — «Позвольте, — мягко перебил его Мосье, и его некогда голубые глаза приобрели красивый стальной оттенок, — оставим в стороне монахское законодательство. Все это чепуха. Мне кажется, что мы с вами в расчете, не так ли?» — «Мосье, — сказал официант, — у меня на Корсике семья, жена и дети. Я должен их обеспечить. Я не прошу многого. Дайте пятьдесят тысяч новых франков, и я замну это неприятное для вас дело».

Увидев резко изменившееся, ставшее зловеще-мрачным, несмотря на некоторую старческую одутловатость и лысину, все еще прекрасное, хотя уже и мучнистое лицо Мосье, Наполеон струхнул и почувствовал холод, распространившийся по его спине и ногам. «Для вас, мосье, эта сумма ничего не составляет, а меня и мою семью она сделает обеспеченными до конца дней», — неуверенно, почти жалобно произнес официант, заискивающе глядя в непроницаемые, как у греческой статуи, глаза Мосье. «Безусловно, для меня эта сумма ровно ничего не составляет, — спокойно сказал Мосье, — но тут дело принципа: я не могу позволить себе дважды платить по одному и тому же счету — иначе я не был бы коммерсантом и очень быстро вылетел в трубу. Вы меня поняли?» — «Мосье...» — начал Наполеон, но Мосье резко его прервал: «Довольно. Вы, кажется, решили меня шантажировать? Не думаю, что дирекция отеля захочет держать у себя служащего-шантажиста!» С этими словами Мосье вошел в лифт и, отражаясь в его многочисленных зеркалах, под-



нялся вверх, а Наполеон на ослабевших ногах дотащился до кафельной уборной, где в низких, очень широких писсуарах лежали, подобно кусочкам сахара, белые дезинфекционные кубики, придавая стерильно чистой уборной элегантный запах первоклассного лечебного заведения, сел там на теплое сиденье и заскрежетал зубами: «Ах ты, мерзавец... скот... Презренный буржуа... Кровосос... Ну, погоди... Дай бог, чтобы тебя поскорее сожрал со всеми твоими вонючими потрохами Арахис... А потом... О, потом!.. Я всегда говорил, что потом всех вас нужно вырезать до одного или повесить на фонарях... Мы еще с тобой посчитаемся, подонок!»

Бедняга Наполеон даже не подозревал, что в этот самый момент всемогущий Арахис уже нанес Мосье смертельный удар и его предприятию остались считанные дни.

Через некоторое время встревоженные Мосье и Мадам и все сопровождающие их лица спешно отбыли на трансатлантическом американском «Боинге», делавшем по дороге из Нью-Йорка в Париж короткую остановку в Ницце. Предварительно вкусно позавтракав в стеклянном ресторане аэропорта, любуясь плоской песчаной косой, где каждую минуту спускались и поднимались лайнеры почти всех мировых аэролиний, вся компания — Мадам, Мосье и сопровождающие их лица — забрались в самолет и поднялись в воздух, углубившись на мгновение в море, где на миг перед ними предстало божественное туманное видение Корсики, потом как бы опрокинулась над Лазурным берегом с мысом Антиб, Каннами, Сен-Рафаэлем и вдруг внизу справа развернулась белозубая панорама Альп со всеми их знаменитыми вершинами, из которых одна была мучительно знакома по цветным путеводителям и открыткам — кривой конус со срезанным верхом — не то Маттерхорн, не то Монте-Роза, не то Монблан, — и все это было так сухо, белоснежно, божественно, в особенности после глотка ледяного шампанского, которое разносил маленький индонезиец — с виду совсем

мальчик, а на самом деле седой старичок в очках, — держа в руке толстую бутылку, до горла завернутую в салфетку. Собачку же, которая не выносила воздушных путешествий, отправили с шофером в Париж — на вишнево-красном спортивном «Паккарде» с черными сафьяновыми подушками — с таким расчетом, чтобы она встретила своих Хозяев в Орли, чем вся эта история с Кубиком должна была кончиться — и, безусловно, кончилась бы, — если бы не получила огласку у низших служащих «Отель де Пари» и Наполеон сделался общим посмешищем. Теперь его не называли иначе, чем «этот идиот корсиканец, которого укусила собачонка миллионера и он не сумел содрать с него хотя бы каких-нибудь паршивых ста тысяч новыми». За спиной Наполеона делали непристойные жесты и хихикали в кулак. Об этом наконец узнала жена Наполеона и прислала ему из Аяччо яростное письмо, полное угроз и намеков на то, что он помимо того, что просто дурак, но еще и рогатый дурак, «кокую».

Сатана вселился в Наполеона.

Взяв расчет, он ринулся в Париж, намереваясь совершить что-нибудь ужасное, адское, кровавое, какой-нибудь поступок, от которого содрогнулся бы мир, вселенная, — эта треснувшая в нескольких местах старая чугунная сковородка, привязанная к хвосту взбесившегося животного, не сообразившего, что лучше всего было бы сидеть смирно на раскаленной мостовой Галактики, нервно нюхая свою паленую шерсть. Он сразу же, как это часто бывает с провинциалами в Париже, попал в дурное общество, в темную компанию полууголовных типов — алжирцев-эмигрантов, сенегальцев, мусорщиков, длинноволосых юношей в узких сюртуках и дамских сорочках с рюшем на груди и грязными кружевными манжетами, выдававших себя за «хиппи», а на самом деле продавцов наркотиков, некотирующейся валюты и золота, промышлявших также поставкой агентурных сведений для Цен-

трального разведывательного управления, итальянских анархистов и беглецов из социалистических стран, продавших свою родину, проевших и пропивших деньги в разных кабачках и бистро «Левый Берег», подпольных адвокатов, обещавших Наполеону выколотить из Мосье за укус собаки кругленькую сумму, а пока что вытянувших с официанта последние денежки, оставшиеся у него от ухаживания за обольстительными девчонками с известково-белыми, почти серебряными, порочными лицами, на три четверти занавешенными волосами утопленниц, как бы вырезанными из белого волокнистого дерева, — умевшими брать деньги и ничего взамен не давать... Так что, когда однажды во Франции началась грозная, могучая и молчаливая всеобщая забастовка, охватившая десять миллионов рабочих, то, вместо того чтобы примкнуть к колоннам настоящего организованного пролетариата, Наполеон очутился среди люмпенов, во множестве примазавшихся к честным студентам Латинского квартала. Вконец опустившийся, пьяный, с немытыми руками, давно уже утративший вид официанта из первоклассного ресторана, он выкрикивал провокационные проклятия, потрясая над головой черным знаменем Ровашоля, за что ему было выдано наличными пятьдесят новых франков и еще обещано впоследствии сто, и его несло вместе с толпой по улицам и переулкам, как по глубоким траншеям, проложенным среди гор давно уже не убиравшегося, разлагающегося мусора, объедков, картонок, оберточной бумаги, стружек, охваченных языками пламени ящиков, в тучах удушливого дыма, где время от времени взрывались петарды, патроны, самодельные бомбы, начиненные гвоздями и битым стеклом, и при их вспышках на темном небосклоне погруженного во мрак Парижа на миг возникали то купол Пантеона, то золоченые пики Люксембургского сада, а за ними — лысая могучая голова Верлена, похожего на Ленина, то силуэт церкви, куда некогда хаживал Данте...

Разрушив и уничтожив все, что находилось внутри театра Одеон, разбрасывая вокруг себя превращенные в лохмотья драгоценные исторические костюмы театрального гардероба, осыпанная рваными позументами и кружевами, толпа ринулась обратно на бульвар Сен-Жермен. В общей свалке Наполеон потерял черное знамя, и кто-то сейчас же повелительно сунул ему в руки портрет «великого кормчего», и он понес его, раскачивая над головой, что издали имело вид тыквы на палке. Против воинственного памятника Дантона поперек бульвара стояла цепь полицейских. Наполеон бросился на нее, выкрикивая с пеной у рта проклятия всем подлецам и их прислужникам, которые лишили его состояния, ограбили и затравили бешеными собаками. Два черных аккуратных ажанчика в коротких пелеринках и белых воротничках проворно выдернули его из толпы, взяли за руки и ноги и запихнули в черную полицейскую машину, стоявшую в сыром узком дворе Кур-де-Маршан, где некогда справа помещалась типография газеты «Друг народа» Марата, а слева против нее во втором этаже жил тихий и аккуратный доктор Гильотен, изобретатель известной машины для гуманных казней. Тем временем Мосье Хозяин, как обычно, прогуливал своего Кубика по тихой улице, и если бы не отдаленная стрельба, не горы мусора и не отсутствие электрического освещения, а также слишком редкое движение автомобилей, то трудно было бы поверить, что где-то в других районах города происходят крупные беспорядки, что мосты через Сену блокированы войсками, для того чтобы восставший народ не перешел на правую сторону и не ворвался в Елисейский дворец, оцепленный Национальной гвардией с лошадиными хвостами на касках...

Кубик метался на своем поводке, крутился, как безумный, нервничал, почти терял сознание от охватившего его непонятного ужаса, тихонько завывал, и Мосье Хозяин отвел его по темной лестнице с остановившимся лифтом на третий этаж, впустил в свою роскошную квартиру, тревожно освещенную несколькими красивыми восковы-

ми свечами, при свете которых Мадам просматривала в Салоне старые иллюстрированные журналы, отцепил поводок, и Кубик побежал по длинному темному коридору в спальню, и залез там под громадную, низкую супружескую кровать, и затих во тьме, напоминая кучку древесного угля... Я мог бы еще, конечно, рассказать, как Мосье Бывший Мальчик, подавленный, раздраженный, утомленный многодневным отсутствием электрического тока, отсутствием дел и газет, молчанием холодного телевизора, черными мыслями о близком разорении и гибели от руки всевластного Арахиса, для того чтобы хоть немного рассеяться, взял в кухне пустую корзинку, чтобы принести несколько бутылок минеральной воды и хорошего красного вина, и со свечой в руке пошел в домашних туфлях по бесконечно длинной черной лестнице вниз, в подвал, где были расположены винные погреба жильцов этого богатого дома, и там он осмотрел свои драгоценные пыльные бутылки, хранящиеся на бетонных полках, и бутылки минеральных вод из всех стран мира, коллекцию которых он собирал — это было его хобби, — и вдруг он почувствовал себя странно, как будто бы на него внезапно обрушилась страшная тяжесть его годов, и он увидел буквы ОВ, как бы написанные алмазной пылью на каменной стене погреба, и эти буквы завертелись вокруг него, как волчок, и он с трудом удержался на ногах и, обливаясь горячим потом, присел на ящик с немецкой минеральной водой «брамбахер», а в это время Мадам, встревоженная дурным предчувствием, спустилась в погреб, и Мосье Бывший Мальчик увидел со свечой в руке неразборчиволицую фракийскую принцессу — мертвую девочку Саньку! — в своем сверкающем золотом венце. «Что с тобой? Тебе плохо?» — спросила Мадам Бывшая Девочка. «Ничего», — с трудом ответил он и хотел, для того чтобы успокоить ее, произнести слово «Кубик», но рот его был набит какими-то другими стереометрическими фигурами. Вместо слова «Кубик» он произнес слово «Волчок».

Вокруг них продолжали, действительно как волчок, кружиться алмазные буквы ОВ. Затем Мосье пришел в

себя и стал подниматься вверх по лестнице за свечой, которую несла в дрожащей руке Мадам.

Криз прошел благополучно.

Не повесть, не роман, не очерк, не путевые заметки, а просто соло на фаготе с оркестром — так и передайте.

Я бы, конечно, сумел описать майскую парижскую ночь с маленькой гелиотроповой луной посреди неба, отдаленную баррикадную перестрелку и узкие улицы Мон-мартрского холма, как бы нежные детские руки, поддерживающие еще не вполне наполнившийся белый монгольфьер одного из белых куполов церкви Сакре-Кёр, вот-вот готовый улететь к луне... — но зачем?

1967 — 1968

*Переделкино*

# Воспоминания








# Анатолий Гладилин

## Парадоксы Валентина Катаева

Сто десять лет тому назад, 28 января 1897 года, в Одессе родился Валентин Петрович Катаев. Будущий классик советской литературы успел повоевать с немцами в Первой мировой, заслужил два Георгиевских креста, был ранен. Далее его жизнь пошла удивительно благополучно, что даже странно, учитывая непредвиденные и непредсказуемые выкрутасы XX века. Он умер в конце 1986 года, чуть-чуть не дожив до своего девяностолетия — признанный мастер прозы, лауреат Государственной премии СССР, Герой Соцтруда, три ордена Ленина, орден Октябрьской Революции и прочее, и прочее. Яркий представитель молодой одесской литературной школы (вместе с Багрицким, Олешей, Славиным), а потом фельетонист московской железнодорожной газеты «Гудок» (в созвездии с Булгаковым, Ильфом и Олешей), он первым из гудковцев пробил свои пьесы в престижном МХАТе («Растратчики», «Квадратура круга»). Это ему в голову пришла гениальная идея объединить в соавторы своего брата Евгения Петрова с Ильей Ильфом и подсказать им сюжет «Двенадцати стульев». Индустриальный роман-хроника «Время, вперед!» (1933 год), написанный с явным энтузиазмом — это чувствуется и сейчас по прочтении, — стал, как мне кажется, для Катаева своеобразной охранной грамотой. Певцу сталинских пятилеток простили все его формальные изыски и зачислили в высший эшелон советской литературной номенклатуры. «Беллет парус одинокий», детская классика, появился в 1936



году, накануне «большого террора». У Катаева и дальше случались взлеты, например мой любимый военный рассказ «Отче наш», но в основном автор скользил по ниспадающей линии толстых патриотических повестей — «Я сын трудового народа», «За власть Советов», «Хуторок в степи» — перечислять скучно.

Что еще? Конечно, журнал «Юность», созданный в 1955 году, в котором Катаев широко и целеустремленно печатал бунтарей хрущевской оттепели — Аксенова, Ахмадулину, Вознесенского, Евтушенко, Анатолия Кузнецова, Окуджаву, Рождественского, Юнну Мориц, да и вашего покорного слугу. «Юность» имела несомненный читательский успех, ее тираж превысил тираж всех остальных московских журналов вместе взятых, и на этой волне Катаев возмечтал о большем: взять в свои руки ключевой печатный орган Союза писателей — «Литературную газету». Ему обещали, вопрос был решен, в 1962 году он покидает «Юность», но — интриги или выпал не тот расклад? Короче, в последний момент секретариат ЦК партии Катаева главным в «ЛГ» не утвердил. Катаев жутко обиделся, в «Юность» не вернулся, уехал в заграничную командировку, перенес там тяжелейшую операцию, а затем заперся у себя на даче, в Переделкине.

В году 63-м зав. прозой «Юности» Мэри Озерова сказала мне и Аксенову: «Катаев чувствует себя забытым и обиженным. Вы бы навестили старика, ему будет приятно». Мы отправились в Переделкино. Катаевская дача показалась нам заброшенной и печальной: забор полуобвалился, свет в одном окне. Мы вошли. Эстер, жена Катаева, нянчила внучку. Но нашему приезду очень обрадовались. Катаев сразу спустился из своего кабинета. Эстер зажгла все лампы, накрыла стол, и мы за милой беседой, коньячком и закусоном прекрасно провели вечер. Катаев выглядел бодро, острил, пил, не отставая от нас. Под занавес Эстер предложила: «Валя, прочти ребятам несколько страниц из твоей новой книги». Катаев пишет новую книгу! А мы-то думали... «Валентин Петрович!» — взмолились мы. Катаев не заставил себя упрашивать, сбегал наверх,

принес рукописные страницы и почитал что-то о старике, который долго моет разноцветные бутылки в переделкинском пруду. Выслушав, мы сказали соответствующие слова и заспешили к последней электричке. До станции шли молча. И лишь на перроне переглянулись. «Да, — протянул Аксенов, — по-моему, Валентин Петрович малость сбрендил». — «Впал в маразм», — подхватил я. И в вагоне мы рассуждали о типичной судьбе советского классика: дескать, все они — авторы одной-двух хороших книг, а уж годам к шестидесяти им писать нечего или пишут бред собачий.

Через пару лет, когда появился журнальный вариант «Святого колодца», мы нашли там старика, моющего бутылки, и другие абзацы, ранее прочитанные Катаевым, но все это высветилось, причудливо перемешалось, выстроилось в ассоциативную прозу. Катаев возродился, как феникс из пепла, но в другом качестве — основоположника «мовизма», мастера слова, мэтра русской литературы. И дальше все, что он писал, — «Трава забвения», «Кубик», «Алмазный мой венец», «Волшебный рог Оберона», включая последний рассказ, напечатанный в «Новом мире», перед его смертью (к стыду своему, забыл название), — все это была литература другого уровня. По густоте сравнений и метафор, по красочности и точности деталей он не уступал Набокову. Набокова, кстати сказать, Катаев не любил, но думаю, это была «нелюбовьревность», как не терпит сильный волк-вожак волка-соперника в своей стае, на своей территории (в данном случае — в русской прозе). Других соперников он рядом с собой не видел. Встретившись со мной в Париже, Юрий Нагибин пожаловался: «Твой (!!! — А.Г.) Катаев мне сказал: «Вы все, теперешние прозаики, на одно лицо. Ваши книги не различить». Разумеется, зря он обидел Нагибина, хорошего, самобытного писателя. Впрочем, с высоты Катаева, может, и действительно различить было трудно...

Что же произошло с Катаевым, почему такой резкий перелом в его творческой судьбе? Катаев мне много рас-

сказывал, как он работает — пишет каждый день, перышком, для вдохновения читает стихи, например Пушкина, Мандельштама, готовую рукопись обязательно переписывает еще раз. — но никогда не говорил про этот свой поворотный момент. Осторожно, мы вступаем в область догадок. Мне кажется, причиной была та операция, которую Катаев перенес после своего ухода из «Юности». Ведь у него была на операционном столе клиническая смерть. И вот, оправившись, Катаев понял, что и он может умереть, что общественная и редакторская карьера — это пустое, что надо торопиться реализовать свой потенциал. По инерции он еще написал проходную вещь — «Маленькая железная дверь в стене», но упорно искал иной стиль, а главное, иную точку отсчета. Он нашел и то и другое в «Святом колодеце» и уж больше себе не изменял. Что такое «Святой колодец»? Это взгляд на жизнь после смерти. И последующие книги Катаева — обращение к прошлому, которого уже нет, или выяснение отношений с теми, кто давно уже умер. То есть между автором и его героями — четкая граница, непреодолимая река Стикс, по которой разве что взад-вперед разъезжает Харон на своей лодочке.

Как написал бы сам Катаев:

«Хотелось бы верить...»

Ибо практически невозможно враз отказаться от сорокапятилетней привычки быть советским писателем. Поэтому в каждой книге — срывы. То его бросает в политику — неожиданные славословия революции, пинок Хрущеву или Троцкому (зачем? — инерция), то начинает сводить счеты с каким-нибудь Сергеем Михалковым. Между прочим, страницы про Михалкова (человек-дьявол в «Святом колодеце») написаны блестяще, но сейчас воспринимаются как капустник.

Когда Катаева ввели в секретариат московской писательской организации, я спросил: «Валентин Петрович, зачем вам это надо?» — «Толя, — ответил Катаев, — посмотрите: на даче забор обвалился, уголь не привозят, и

потом, они обещали, что будут крайне редко меня трогать....»

Уголь, забор — как это по-житейски понятно! Забор починили, уголь привезли, и Катаев регулярно приезжал на заседания секретариата.

Приехал он и тогда, когда я решил эмигрировать (я уже рассказывал об этом выше). Согласно процедуре, я подал заявление в секретариат. Мне сказали прийти через два дня. В кабинете — Катаев и Ильин, генерал ГБ, секретарь по оргвопросам. Ильин на цыпочках вышел из кабинета.

— Толя, — сказал Катаев (цитирую слово в слово), — я старый человек. Увы, я никому никогда ничего хорошего не сделал. Для вас я сделаю всё.

Я знал, что Катаев вхож на «самый верх». Мы договорились о «правилах поведения». Он мне позвонил через неделю: «Толя, они ничего не хотят. Им на все плевать. Вы свободны от всех обязательств, можете поступать как угодно». И в его голосе чувствовалось неприкрытое раздражение на них. Они не посчитались с ним, Героем Соцтруда, лауреатом, живым классиком. Ведь он соблюдал все правила игры, а они на него положили.

Это была все та же инерция. Как трудно выйти из шкуры советского писателя!

В Париже он мне позвонил, попросил приехать к нему в гостиницу. В роскошном «Конкорд-Лафайетте» по коридору, где был номер Катаева, шастали смутно знакомые советские рожи. Я спросил: «Валентин Петрович, у вас не будет неприятностей? Может, поедem в какое-нибудь нейтральное место?» Катаев отмахнулся: «Толя, в моем возрасте еще чего-то бояться...» Эстер спала, отвернувшись к стене от света лампы, а мы говорили с Катаевым до утра. Потом мне передали, что Катаева все же вызывали и указали ему — дескать, негоже встречаться с предателем и отщепенцем, который к тому же клеветает по «Свободе». Он приезжал в Париж еще несколько раз, но уж никогда мне не звонил. Я понимал — значит, так надо. Изредка заходя в советский книжный магазин «Глоб»,

я просматривал новые катаевские сборники. Как ни странно, фраза в «Святом колодце»: «Хуже меня пишет только один человек в мире — это мой друг, великий Анатолий Гладилин, мовист № 1» — сохранялась.

(Вынужденное отступление. В свое время эта фраза, как и провозглашенная Катаевым школа «мовизма», вызвала сумятицу в литературных кругах. Катаеву приходилось возвращаться в своих книгах к этому термину, пояснять, что он имел в виду. Цитирую абзац из интервью Катаева болгарской газете: «Джон Апдайк сказал мне, что он тоже считает себя «мовистом», и спросил, на какое место я его ставлю. Я отвечал: «Первый мовист — Гладилин, второй — я, третий — Аксенов, а вы, Апдайк, лишь на четвертом». На самом деле, естественно, Катаев считал себя первым. Повторяю: соперников себе он не видел. Это была игра, поза, из того же разряда, что и фраза «Я никому никогда ничего хорошего не сделал». Делал — и скольким он помогал!)

Из десяти томного собрания сочинений Катаева моя фамилия исчезла. Я все понял. Я ведь тоже в Москве был в шкуре советского писателя. Если писателю ставят условие: или снимите фамилию, или не будет полного собрания, — то выбора нет.

Катаев бы написал, после отступа и с новой строчки: «Кому это сейчас интересно?»

Тогда интересно вот что. Опубликованный в «Новом мире» «Алмазный мой венец» вызвал, мягко говоря, недовольство прогрессивной российской интеллигенции. До Парижа доходили слухи: Москва возмущена! Как посмел благополучный Катаев поставить себя рядом с мучеником Мандельштамом, почему в своей книге так запанибратски общается с великими Пастернаком, Маяковским, Есениным, Булгаковым?! В советской прессе появились ядовито-кислые рецензии. Парадокс: классика отечественной литературы защищала только «Свобода» в лице вашего покорного слуги. Я доказывал, что Катаев вспоминает о своей молодости, а в его молодости существовала другая «табель о рангах». Это был один литературный

круг, со сложными взаимоотношениями: любви, ненависти, признания, ревности — и знаменитого фельетониста «Старика Саббакина» (псевдоним Катаева) в Москве побаивались за его острый, насмешливый язык и дружбы с ним искали. В «Алмазном венце» есть эпизод. Автор приводит Мандельштама к Крупской, чтоб дать ему подработать на «агитках». Им удастся получить аванс под стихи, разоблачающие кулачество, но Мандельштам жестоко критикует варианты Катаева и в конце концов создает свой шедевр:

Кулак Пахом,  
чтоб не платить налога,  
Наложницу себе завел!

Ну разве мог Катаев это выдумать? А вот он описывает потасовку Пастернака и Есенина, с разбитыми в кровь носами, перед кабинетом редактора Вронского. Нам, восторженным почитателям кумиров, это кажется святотатством. Но в той запутанной и непростой жизни именно так и было. Лишь время потом воздвигает пьедесталы, и гении застывают в величественных позах — в парке Монсо...

Кстати, «о птичках». Воспользуюсь случаем и расскажу одну историю, имеющую некоторое отношение к смещению времен.

В октябре 1965 года, после публикации в «Юности» моего романа «История одной компании», я устроил банкет для редакции в ресторане Дома кино. И не потому, что получил кучу денег, а потому, что догадывался: мой новый роман ничего, кроме синяков и шишек, «Юности» не принесет. Приглашенные начинают собираться в зале, оживленный гул голосов... Вдруг возникает Евтушенко — тогдашний член редколлегии «Юности» — и трагическим шепотом (какой он великолепный актер!) мне сообщает: «Толя, я привел с собой Бродского. Его только что выпустили из ссылки. Он умирает с голоду. Разреши ему тут посидеть и поесть». Я сказал — ради бога, никаких проблем. «А Полевой не будет возражать?» — спросил Ев-

тушенко, испытующе глядя на меня. Я сказал, что на банкете я хозяин и мои гости — это мои гости. Я поздоровался с Бродским, посадил его рядом с Евтушенко, и дальше он как-то выпал из поля моего зрения. Ибо для гостей, надеюсь, банкет был праздником, а для меня — мероприятием: по традиции, я должен был произнести тост, развернутый и проникновенный, за каждого человека в редакции, начиная с главных — Полевого и Преображенского — и кончая секретаршей-машинисткой, чтоб никто не обиделся, — не меньше двадцати спичей. Как написал бы Катаев:

«Сколько было выпито, сколько было выпито!»

Через много-много лет запоздалый отклик на этот банкет я услышал от Эллендеи Проффер, американской издательницы Бродского: «Бродский мне рассказывал, что однажды случайно оказался с тобой за одним столом и ты вел себя очень странно. Предлагал выпить то за Полевого, то за Преображенского...»

Что называется, поэтическое видение мира.

Думаю, еще через много лет поклонники Бродского, а его сейчас в России обожествляют, с возмущением воскликнут: «Гладилин претендует, что сидел за одним столом с самим Бродским!»

Однако вернемся к Катаеву. «Новый мир» продолжал регулярно публиковать новые повести Катаева, которые в Москве уже не вызывали такой агрессивной реакции, как «Алмазный мой венец», а скажем так — кисло-сладкую улыбку (хотя, помнится, после «Уже написан Вертер» страсти опять разгорелись). И каждый раз рупор империализма «Свобода» одобрительно отзывалась о советском классике. Но теперь, чтоб избежать упрека в субъективности, я приглашал к микрофону Некрасова, и мы вместе анализировали творчество Катаева. Некрасов был более строг к его политическим эскападам — дескать, уважаемый Валентин Петрович, я тоже, как и вы, состоял в партии, верил в революцию и советскую власть, все же сколько лет прошло, пора бы что-нибудь понять! И каждую нашу «Беседу у микрофона» мы, не сго-



вариваясь, заканчивали так: «Катаев в первую очередь Мастер. Давайте сначала научимся писать, как он, а уж потом будем критиковать»

Иногда я думал: имеем ли мы вообще право трогать Катаева? Он — чудом уцелевший осколок иной эпохи, со своей системой ценностей, и ему отказаться от этого — означало отказаться от собственной жизни. Ведь большинство его друзей, его современников — гордость нашей литературы, — как и Катаев, приняли революцию, участвовали, как говорится, в процессе, ну а потом, ну а потом. Как написал бы сам Катаев, после отступа, с новой строчки, цитируя автора двухтысячелетней давности:

«Не судите, да не судимы будете!»

В конце 89-го года, в разгар перестройки, я на неделю приехал в Москву. Поездка была неофициальной, я старался нигде не появляться, но Паша Катаев, сын Валентина Петровича, убедил меня, что я должен, просто обязан навестить Эстер. Переделкинская дача с развалившимся забором, куда я когда-то, как в роскошную барскую усадьбу, привозил молодежные компании во главе то с Булатом Окуджавой, то с Мариной Влади, а Катаев разжигал на лужайке костер и веселился вместе с нами, — так вот, теперь эта дача показалась мне убогой и невзрачной. И не было хозяина... А в остальном — Эстер по-прежнему нянчила маленькую девочку (правнучку) и радушно пригласила за стол. О чем можно поговорить за полчаса, когда не виделись столько лет? Катаев бы написал:

«О пустяках, о пустяках...»

В порядке информации, что ли, я сообщил, что откликался на каждую катаевскую книгу, садился к микрофону...

— Знаете, Толя, — ответила Эстер, — когда объявлялась ваша передача, посвященная ему, Валя вечером отключал телефон, закрывал на ключ дверь, зашторивал окна, и мы слушали радио.

## Катаев и «Юность»

Валентину Петровичу Катаеву в этом году исполнилось бы девяносто лет... О выдающемся музыканте говорят: «У него абсолютный слух». О Катаеве говорили: «У него абсолютный литературный вкус». В этом мы убедились в первые же дни его работы главным редактором «Юности». Впрочем, он был не только редактором, но и организатором нового журнала для юношества. Он вдохнул в него жизнь и дал ему такое прекрасное название, как нельзя лучше выражающее его предназначение и сущность.

Трудно было найти фигуру более подходящую на пост главного редактора «Юности», чем Валентин Петрович Катаев. Именно он, написавший повесть «Белеет парус одинокий» и «Я сын трудового народа», писатель, любимый многими поколениями юношей и девушек, должен был возглавить такой журнал. С легкой руки Катаева название «Юность» вошло в широкий обиход. Появились радиостанция «Юность», многие молодежные кафе, и даже одна из станций на железной дороге Тюмень — Сургут — Уренгой была названа «Юность-Комсомольская».

В редколлегию журнала вошли писатели, хорошо знающие духовные запросы молодежи, ее жизнь и влечения: Григорий Медынский, Мария Прилежаева, Виктор Розов, Иракий Андроников, Николай Носов, Самуил Маршак...

Первыми читателями «Юности» были дети войны. Именно им, познавшим военные невзгоды, предназна-



чался новый журнал, который призван был стать их искренним другом и советчиком.

Мне посчастливилось работать с Катаевым с первых дней существования «Юности». Через два-три месяца после моего прихода в журнал он назначил меня ответственным секретарем редакции, а впоследствии ввел в редколлегию. Работать с ним было легко и интересно. У него была потрясающая память. Он часто рассказывал всякие занятные истории о своих встречах с Маяковским, Горьким, Есениным, Олешей и другими писателями.

В новый журнал напористо и щедро хлынула творческая молодежь. Начинающие писатели и те, кто уже имел первые публикации, несли в редакцию свои произведения. Катаев сам отбирал перспективные вещи и давал «добро» на их печатание. Многие из тех, кто дебютировал в те дни в «Юности», стали известными писателями и до сих пор помнят добрые советы, которыми напутствовал их Катаев. Став затем авторами «взрослых» журналов, они не порывают связи и со своей «альма матер».

При нем напечатали в «Юности» первые или наиболее значительные произведения тех лет такие прозаики, как А. Алексин, В. Амлинский, А. Адамов, А. Приставкин, Л. Карелин и другие. А также поэты, в ту пору только-только переступившие порог литературного дебюта, — Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, Евг. Евтушенко, В. Берестов, А. Вознесенский, Р. Казакова, С. Евсеева, В. Костров, О. Дмитриев, Дм. Сухарев... Много молодых поэтов привел в журнал Н. Старшинов.

«Юность», чей первый номер вышел ровно 32 года назад, быстро стала популярной. Первоначально тираж журнала составлял всего сто тысяч экземпляров. К началу шестидесятых годов он уже превысил полмиллиона. Сейчас, когда тираж «Юности» перевалил за три миллиона экземпляров, та цифра выглядит скромно. Но в те времена это был рекорд для литературных журналов.

Когда Катаев был назначен главным редактором «Юности», он еще не был членом партии. Как-то его заместитель Сергей Николаевич Преображенский сказал:

«Валентин Петрович, а вы не думаете вступить в партию?» Он ответил: «Да, я давно собираюсь это сделать. Только не знаю, с чего начать!» Ему с радостью дали рекомендации. Вскоре он был принят в ряды КПСС.

Однажды случилось так, что к подписанию сверки Катаев заболел и не смог прийти в редакцию. Я позвонил ему домой, спросил, как нам быть. «Вы не можете ко мне приехать?» — спросил Валентин Петрович. Чувствовал он себя неважно, однако сверку просмотрел и, сделав несколько мелких замечаний, велел мне подписывать ее в печать. Я уже собирался уехать, как в комнату вошла сотрудница «Литературной газеты» — редакция поручила ей взять у Катаева интервью для рубрики «Писатель за рабочим столом». Зашел разговор о значении деталей в художественном произведении.

«Разумеется, — сказал Катаев, — счастливо найденная деталь может многое прояснить. Помните, у Чехова в «Чайке» Треплев размышляет о творчестве Тригорина: «У него на плотине блестит горлышко разбитой бутылки и чернеет тень от мельничного колеса — вот и лунная ночь готова...» А я, проходя утром по сельской дороге, вижу арбузную корку, на которой блестит роса. Она мне о многом говорит: о том, что скоро наступит осень, идет уборка на бахчах, сверкает роса — значит, будет хорошая погода и т. п.»

Мне вспомнился этот разговор, когда Катаев пригласил в свой кабинет нескольких сотрудников редакции, чтобы посоветоваться перед предстоящим ему докладом к столетию со дня рождения Чехова. В Чехова он был влюблен, считал его величайшим русским и мировым писателем. Говоря о мировом значении Чехова, он вспомнил одну из своих бесед с Анри Барбюсом.

На вопрос, кого вы особенно цените из писателей Франции, Катаев ответил: «Золя, Бальзака, Флобера и, конечно, Мопассана...» — «Как, вы увлекаетесь Мопассаном! — воскликнул Барбюс. — Не понимаю, зачем это вам? Ведь у вас есть Чехов!»

Катаев видел в Чехове создателя новой чудесной фор-

мы рассказа, где изображение и повествование органически спаяны. Возьмите, сказал он, любого крупного писателя и проследите, как он пишет. Вы увидите, что изображение существует отдельно от повествования. А у Чехова повествование удивительно мастерски впаяно в изображение. Пейзаж у него существует не сам по себе, а неразрывно слит с образами и поступками героев. По мнению Катаева, Чехов оказал огромное влияние на творчество лучших наших писателей. «Вы это можете проследить на Алексее Толстом. И не только на «Детстве Никиты», но и на «Хождении по мукам».

Публикуя свои произведения в «Юности», Катаев был предельно строг к себе. Отдавая для публикации в «Юности» свой новый роман «Хуторок в степи», он поручил отделу прозы обязательно ознакомить с романом всех членов редколлегии, собрать их отзывы и замечания и только после этого готовить роман к сдаче в набор. К каждой своей публикации — неважно, большой или малой — он был очень внимателен, сам следил, чтобы не проскочила ошибка или опечатка. Столь же требовательно он относился и к работе авторов над своими произведениями. Однажды мне пришлось присутствовать при его разговоре с Юрием Казаковым, предложившим редакции рассказ «Звон брегета».

В редакции рассказ некоторым нравился. Но Катаев отклонил его и решил сам объясниться с Казаковым.

Привожу эту беседу по своей записи:

«КАТАЕВ. Ваш рассказ может быть напечатан и в таком виде, но я хочу предупредить вас, как писатель писателя: вы находитесь на опасном пути. Вся манера письма, вся интонация, вся музыка произведения заимствованы вами у Бунина. Я очень люблю Бунина. Но ведь у Бунина свое, а у вас заимствование.

КАЗАКОВ. Мне кажется, вы не совсем правы. У меня есть рассказы, которые я написал до того, как впервые раскрыл книги Бунина. И, несмотря на это, меня обвиняют в заимствованиях у Бунина.

КАТАЕВ. Дело в том, что вы могли заимствовать не прямо у Бунина, а через посредство других писателей, на которых Бунин оказал огромное влияние. Например, у Паустовского. Это как инфракрасные лучи или как эманация радия. Вы их не видите, а они на вас оказывают воздействие.

КАЗАКОВ. Мне кажется, что даже Шолохов не избежал влияния Бунина.

КАТАЕВ. Это совершенно справедливо. Больше того: Шолохов вышел из «Казakov» Льва Толстого, а затем испытал огромное влияние Бунина. Заимствуют ли (или вернее — крадут) писатели друг у друга какие-то художественные находки? Однажды Алексей Толстой спросил у меня: «Послушай, ты когда-нибудь крадешь у других то, что тебе очень понравилось?» Я ответил, что «краду». Толстой сказал: «Я тоже краду». Но это надо делать умеючи. Представьте себе: у какого-то писателя вы обнаружили деталь, образ, слово, которые теряются в ряду других. А вы возьмете их и поставите у себя так, что они заиграют. Взяли и видите — у вас это стоит по-настоящему здорово! Влияние талантливого писателя просачивается через любые кордоны.

...Часто очень трудно избежать влияния любимого писателя. Но это надо! Когда вы пишете, вы должны как-то чувствовать за спиной «второе я». Вы должны советовать-ся сам с собой, и это «второе я» должно вас удерживать от подражаний. Вот вы сами не так говорите, не тем языком, не с той интонацией, как написали этот рассказ.

...У нас многие не избежали влияния Бунина. Например, Паустовский. Но он внес и свое. Когда вы начинаете читать «Молодую гвардию», вы чувствуете влияние Льва Толстого на А. Фадеева. Но Фадеев внес и свое. А вы говорите чужим голосом... Я бы не стал печатать этот рассказ в «Юности» в таком виде. Я бы его переписал. Вы мне не верите? Не согласны со мной? Ну, тогда как хотите. Можем напечатать рассказ в таком виде. Но вам же будет хуже.

КАЗАКОВ. Я подумаю над вашими словами. Но мне хотелось бы увидеть этот рассказ в «Юности». Может быть, мне просмотреть его и почистить от бунинского влияния?

КАТАЕВ. Нет, упаси вас боже! Его можно только переписать заново. А если вы захотите убрать отсюда Бунина — весь рассказ рассыплется. Уж лучше тогда не трогайте! Давайте его печатать так...»

Мне неизвестно, учел ли Казаков замечания В. Катаева. Знаю только, что рассказ «Звон брегета» напечатан в 1963 году в сборнике рассказов Казакова (М., изд-во «Советский писатель»).

Приведу еще запомнившийся мне разговор Валентина Катаева с Евгением Евтушенко.

Валентин Петрович высоко ценил талант молодого поэта, но был требователен к нему, не прощал двусмысленности, фривольности. Так, однажды Евг. Евтушенко принес нам довольно большую подборку стихов на «интимные» темы. Стихи эти Катаев вернул Евтушенко, сказав при этом:

«Я вам вообще не советую печатать эти стихи где бы то ни было. Не обязательно интимные отношения тащить в поэзию!»

Евгений Евтушенко, улыбаясь, выслушал Катаева и отнес эти стихи в журнал «Октябрь», где они и были напечатаны. Подборка эта подверглась строгой критике, наделала много шуму.

Во время отпуска, который В. П. Катаев с женой проводил в Париже (где уже много лет шла его пьеса «Квадратура круга»), он серьезно заболел. Врачи считали, что нужна срочная операция. Но, верный правилу, что дома стены помогают, он вылетел в Москву, где ему была успешно произведена операция.

После болезни В. П. Катаев стал все реже появляться в «Юности» и в начале 1962 года передал бразды правления новому главному редактору «Юности» Борису Полемому...

### **Зоркость художника**

Для настоящего писателя творческая командировка — это вся его жизнь. Командировка продолжается всегда: и тогда, когда писатель сидит в конторке прораба на строительстве дальнего завода, и тогда, когда он шагает, размышляя, по улицам Москвы. В эту бессрочную, сложную, ответственную командировку его послало дело, которому он служит.

Таким писателем мне всегда представляется Валентин Катаев.

«Устройству» зрения Валентина Катаева нельзя не позавидовать.

Глаз писателя — очень сложный «механизм». Однажды довелось мне быть с несколькими моими товарищами, писателями, в поездке. Мы провели целый день вместе, прошли по одним и тем же улицам, видели один и тот же завод, одних и тех же людей.

Вечером, когда мы обменивались впечатлениями, я поняла, что каждый из нас подметил во многом совершенно разные вещи. А один из нас увидел настолько больше, чем другие, как будто у него было по меньшей мере восемь глаз.

Конечно, это особые свойства наблюдательности. Но есть еще и другая способность: увидеть в обыкновенном необычайное, в простом — поэтическое, в незаметном — значительное.

Валентин Катаев обладает зрением большой силы. Дело не только в том, что он как бы владеет «широкоуголь-



ником», неким дополнением к своему зрительному аппарату, позволяющим ему охватить взглядом сразу огромную площадь, различив в ней мельчайшие детали.

Его зрение поэтично. Это не обязательно поэтичность метафоры, удачных сравнений, на которые, кстати, он большой мастер. В игре метафорами, как мне кажется, не так уж сложно добиться виртуозного умения. Нет, речь идет о другом. Катаев умеет открыть читателям в самом простом и обыденном, в том, что знакомо и буднично, какую-то нежную, глубоко поэтическую новь. Так, к примеру, городской выгон с пыльными бессмертниками, яма с будяками, куда попадают Петя и Мотя в книге «Белеет парус одинокий», становятся прекрасными, наделенными притягательной, тревожной силой. Таким даром мгновенных и чудесных превращений обладают дети — и Катаев это отлично знает. Со щедростью волшебника он возвращает этот дар взрослым, читающим его книги.

Технология писательской работы различна. Я знаю своих товарищей, умело и с пользой составляющих во время работы картотеки, выписывающих на отдельные листки то, что может оказаться нужным для биографии героя, для исторической справки, для характеристики диалога.

Катаев, насколько мне известно, работает по-иному. Но в ту минуту, когда он, рассказывая в беседе о чем-то им увиденном, давно услышанном или найденном, приводит точную характеристику, выразительную подробность, четкую справку, у меня всегда такое чувство, словно он с легкостью и безошибочностью достает нужный ему листок из огромной картотеки, хранящейся в его необычайно цепкой памяти.

Все, чем обладает писатель, всегда должно обращаться им на пользу его дела. Сила зрения и памяти, те чувства, которыми наделила Катаева природа или которые развил в себе он сам, всегда находятся у него в «рабочем состоянии». Умение увидеть и умение сберечь помогают ему придать каждой детали в его произведениях бесспорную подлинность. Оно, это умение, рождает в книгах, написанных Катаевым, одно из важных качеств: достовер-

ность. Достоверность чувств, достоверность обстановки, достоверность языка, характеров, отношений.

Эта достоверность не создается мелким правдоподобием, прилежным умением «фотографировать» жизнь, записать кем-то оброненное слово, старательно зарисовать с натуры характер, не упустив ни одной родинки, ни одной приметы. Природа ее совсем иная.

Живая правда характеров и образов, правда событий и положений, верных черт и правдивых деталей — это тот драгоценный сплав, из которого художник выковывает большую правду жизни.

Вот почему образы героев Катаева полны такой живой, невянущей силы. И, вероятно, именно поэтому любой персонаж произведений Катаева становится для нас зримым, и нам кажется, что мы даже можем узнать его в толпе, как узнают друга или хорошо известного тебе человека.

Сейчас Валентин Катаев работает над новой повестью, в которой мы встретимся со старыми его героями.

Эта повесть будет последним звеном, что свяжет воедино книги «Белеет парус одинокий», «Хуторок в степи» и «За власть Советов».

Вновь ожившие, хорошо знакомые нам персонажи вступают на страницы рукописи. Они радуются, страдают, влюбляются, борются; одни из них находят счастье, других навсегда разлучает смерть.

И когда писатель рассказывал об этой повести, я ощутила силу безусловной материальности, которой обладают для него его герои. Это бывает только тогда, когда в их артериях движется его собственная кровь, когда они созданы как плоть от плоти писателя, рождены им в муках и радости. Никогда в жизни какой-либо «химически созданный» литературный персонаж, как бы точны и безупречны ни были пропорции и дозировки, не внушит нам того чувства, какое с уверенной щедростью дарят герои, соединенные неразрывными связями и с сердцем писателя и с высокой правдой жизни.

Рассказывая о действующих лицах новой повести, Катаев вдруг сказал:

— И тут Женечка... Ну, помните, тот самый Женечка, которому Гаврик принес красного леденцового петуха на палочке, когда пришел к Терентию на Ближние Мельницы. Так вот этот самый Женечка, который уже стал взрослым...

Писатель продолжал рассказывать, а я вдруг с необычайной четкостью увидела палисадник, обсаженный лиловыми петушками, Мотю с облупленным носиком и острым подбородком, в чепчике на остриженной после тифа голове, держащую на руках толстого годовалого ребенка с двумя ярко-белыми зубами в коралловом ротике. Это и был Женечка.

Я стала с нетерпением расспрашивать Катаева, что произошло с Женечкой дальше, и вдруг поймала себя на том, что не только я думаю о Женечке, как о реально существующем человеке, но и сам писатель говорит о нем так же, словно тот давно обрел полную самостоятельность, стал реальным, независимо от писателя живущим и действующим человеком.

Здесь хочется сказать несколько слов об отношении Валентина Катаева к своим героям.

Писатель должен быть мудрее и старше своих героев для того, чтобы глубоко разобраться в человеческой душе, чтобы предугадать и определить те поступки, которые человек может совершить в данном душевном состоянии. Но он должен уметь и оставаться ровесником своего героя, чтобы полностью отождествиться с ним.

Надо уметь самому с огромной увлеченностью пережить вместе с ребятами, толпящимися на страницах рукописи, все их затеи, тревоги, радости, волнения, драться вместе с ними, бороться вместе с ними, любить тех же, кого любят они.

Катаев владеет этим даром отождествления со своими героями, отождествления естественного, свободного, увлеченного, когда он входит в сердце каждого персонажа своей книги как в свой дом.

Много самых различных людей можно встретить на страницах повестей Валентина Катаева. Они очень непохожи друг на друга. Но, как правило, это хорошие люди. Книги Катаева проникнуты огромной любовью к ним, любовью умной и взыскательной.

То, что Катаев стал редактором журнала «Юность», мне кажется, органически связано со всей его писательской биографией.

На страницах журнала рядом с именами крупных писателей встречаются фамилии, до той поры никому не известные; вы можете прочесть и номер журнала, целиком созданный силами молодых. Творчество молодых писателей — это задорный, бурливый источник, откуда журнал с охотой черпает новые материалы.

Недавно Валентин Катаев вернулся из очередной поездки. Он был за рубежом, в Бельгии. Каждый раз, когда я его встречала, он немножко рассказывал мне о своем путешествии.

Это были крошечные истории, беглые, быстрые впечатления. То появлялась в них хозяйка пансиона, очень подробно расспрашивавшая писателя, как и всех других обитателей пансиона, о его привычках, вкусах, желаниях, а в результате всем жильцам подающая одно и то же; то это был точно и тонко выписанный пейзаж берега в Остенде; то улица в старом Брюгге; то улыбающаяся и тревожная официантка в маленьком кафе. И постепенно все беглые впечатления связались соединительной тканью жизни, и из них встал облик чужих городов с их красотой и заботами, их незаметными заплатами и обыкновенными людьми.

Снова проступило в этих рассказах все, что так дорого в писателе: зоркость художника, внимание к людям, неутомимость ума и сердца, жадно познающих и изучающих мир, непрерывность «рабочего состояния», той бессрочной творческой командировки, которая является для писателя естественным состоянием души.

В этом маленьком очерке я не ставила перед собою литературоведческих задач, не претендовала на крити-

ческий анализ произведений Валентина Катаева. У Катаева как писателя есть и свои, подчас неоправданные пристрастия, в книгах его есть и свои просчеты. Но не о них сейчас речь. Подробный разбор его творчества не был моей целью.

Мне хотелось лишь поговорить о том, что, на мой взгляд, является характерным в его писательском облике, об особенностях его мастерства, почерка, о том, чему хочется у него учиться. Об этом стоит подумать, в особенности перед съездом.

Литературно-художественное издание

**Валентин Катаев**

**АНТОЛОГИЯ САТИРЫ И ЮМОРА РОССИИ XX ВЕКА**  
**Том пятьдесят четвертый**

Ответственный редактор *М. Яновская*  
Художественный редактор *А. Мусин*  
Технический редактор *Н. Носова*  
Компьютерная верстка *Т. Комарова*  
Корректор *Л. Баскакова*

ООО «Издательство «Эксмо»  
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18/5. Тел. 411-68-86, 956-39-21.  
Home page: [www.eksmo.ru](http://www.eksmo.ru) E-mail: [info@eksmo.ru](mailto:info@eksmo.ru)

Подписано в печать 04.09.2008.  
Формат 84x108<sup>1</sup>/32. Гарнитура «Букмен».  
Печать офсетная. Бумага тип. Усл. печ. л. 45,36 + вкл.  
Тираж 5000 экз. Заказ № 2940.

Отпечатано с электронных носителей издательства.  
ОАО «Тверской полиграфический комбинат». 170024, г. Тверь, пр-т Ленина, 5.  
Телефон: (4822) 44-52-03, 44-50-34, Телефон/факс: (4822) 44-42-15  
Home page - [www.tverpk.ru](http://www.tverpk.ru) Электронная почта (E-mail) - [sales@tverpk.ru](mailto:sales@tverpk.ru)



**Оптовая торговля книгами «Эксмо»:**

ООО «ТД «Эксмо». 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное,  
Белокаменное ш., д. 1, многоканальный тел. 411-50-74.

E-mail: [reception@eksmo-sale.ru](mailto:reception@eksmo-sale.ru)

**По вопросам приобретения книг «Эксмо»**

**зарубежными оптовыми покупателями обращаться в ООО «Дип покет»**

E-mail: [foreignseller@eksmo-sale.ru](mailto:foreignseller@eksmo-sale.ru)

**International Sales:**

*International wholesale customers should contact «Deep Pocket» Pvt. Ltd. for their orders.*  
**[foreignseller@eksmo-sale.ru](mailto:foreignseller@eksmo-sale.ru)**

**По вопросам заказа книг корпоративным клиентам,  
в том числе в специальном оформлении,  
обращаться по тел. 411-68-59 доб. 2115, 2117, 2118.**

E-mail: [vipzakaz@eksmo.ru](mailto:vipzakaz@eksmo.ru)

**Оптовая торговля бумажно-беловыми**

**и канцелярскими товарами для школы и офиса «Канц-Эксмо»:**

Компания «Канц-Эксмо»: 142702, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное-2,  
Белокаменное ш., д. 1, а/я 5. Тел./факс +7 (495) 745-28-87 (многоканальный).

e-mail: [kanco@eksmo-sale.ru](mailto:kanco@eksmo-sale.ru), сайт: [www.kanco-eksmo.ru](http://www.kanco-eksmo.ru)

**Полный ассортимент книг издательства «Эксмо» для оптовых покупателей:**

**В Санкт-Петербурге:** ООО СЗКО, пр-т Обуховской Обороны, д. 84Е.

Тел. (812) 365-46-03/04.

**В Нижнем Новгороде:** ООО ТД «Эксмо НН», ул. Маршала Воронова, д. 3.

Тел. (8312) 72-36-70.

**В Казани:** ООО «Н КП Казань», ул. Фрезерная, д. 5. Тел. (843) 570-40-45/46.

**В Ростове-на-Дону:** ООО «РДЦ-Ростов», пр. Стачки, 243А.

Тел. (863) 220-19-34.

**В Самаре:** ООО «РДЦ-Самара», пр-т Кирова, д. 75/1, литера «Е».

Тел. (846) 269-86-70.

**В Екатеринбурге:** ООО «РДЦ-Екатеринбург», ул. Прибалтийская, д. 24а.

Тел. (343) 378-49-45.

**В Киеве:** ООО «РДЦ Эксмо-Украина», ул. Луговая, д. 9.

Тел./факс: (044) 501-91-19.

**Во Львове:** ТП ООО «Эксмо-Запад», ул. Бузкова, д. 2.

Тел./факс (032) 245-00-19.

**В Симферополе:** ООО «Эксмо-Крым», ул. Киевская, д. 153.

Тел./факс (0652) 22-90-03, 54-32-99.

**В Казахстане:** ТОО «РДЦ-Алматы», ул. Домбровского, д. 3а.

Тел./факс (727) 251-59-90/91. [gm.eksmo\\_almaty@arna.kz](mailto:gm.eksmo_almaty@arna.kz)

**Мелкооптовая торговля книгами «Эксмо» и канцтоварами «Канц-Эксмо»:**

127254, Москва, ул. Добролюбова, д. 2. Тел. (495) 780-58-34.

**Полный ассортимент продукции издательства «Эксмо»:**

**В Москве в сети магазинов «Новый книжный»:**

Центральный магазин — Москва, Сухаревская пл., 12. Тел. 937-85-81.

Волгоградский пр-т, д. 78, тел. 177-22-11; ул. Братиславская, д. 12. Тел. 346-99-95.

Информация о магазинах «Новый книжный» по тел. 780-58-81.

**В Санкт-Петербурге в сети магазинов «Буквоед»:**

«Магазин на Невском», д. 13. Тел. (812) 310-22-44.

**По вопросам размещения рекламы в книгах издательства «Эксмо»  
обращаться в рекламный отдел. Тел. 411-68-74.**





2)

Желание мне не нудно.  
Вайна или же дрий дама  
Фид с мала вена аманн  
в управени по краше даму  
сине зрав. Потрине даприва  
си, вума не аштарей.  
В ашанин бу зреш то кам-  
мар!

Келатини!

Сирус жлоер в ашарини  
жвеш жсайи чапави. С  
дамажени буз жжорини  
Сам!

Жини жрине руну жжор.

Кам Кам жжорини

Жини

1954

# Гостиница „Астория“



ЛЕНИНГРАД, ул. ГЕРЦЕНА, Д. 39 Т. А. 0-00-31



Дорогой Сергей Николаевич!

Стекло было волевыми и уже-  
нурь. Я был подласа на гарей.  
Огонь прелю, скарый, васаду, што  
В аи подласа иша на.

Гравду

Грассиня

Готерну

Кемесиня

Гмачеру

Кеминьнко.

Оганек (сo воеми крмютрашнн)

Сов. саво.

Юносей

Криводин.

Кареиу вй. Но воеми воеми нурь на-  
Вой дурей васаду криводинн аи  
сав.

Огонь прелю, скарый, васаду, што  
В аи подласа иша на.

2) Делайте мне где нибудь  
удобно или же прийдя там ва-  
дух с моего отца алашын  
в управлении по округе адмис-  
сии прав. Потрясите Гадриковца.  
Он, думаю, не откажется.  
Я остаюсь у царя отъ кам-  
мар!

Немогиш!

Сирус делает в северных и  
южных посадках на "Павлу" О  
деламыми тут и на родине  
сам.

Хищ, хрищ, хрищ, хрищ.

Кам Кам Камбале

Земли

1856

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

# Валентин Катаев

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

ISBN 978-5-699-27598-4



9 785699 275984 > атиры и Юмора России XX века